



**Очерки. Статьи. Портреты.
Дневники. Воспоминания.
Письма. Документы.
Поиски. Находки. Гипотезы.
Художественное наследие.
Литературное наследство.
Мастера исторического
жанра.
Библиографический листок.
Смесь.**

**Историко-
биографический
альманах
серии „Жизнь
замечательных
людей“,**

Страницы
автобиографии ЛЕНИНА.

Новые материалы
о ГОГОЛЕ
и ЧЕХОВЕ.

Письмо
ШАЛЯПИНА.

Очерки
о ГАЙДАРЕ,
ИОФФЕ,
ШВЕЙЦЕРЕ.

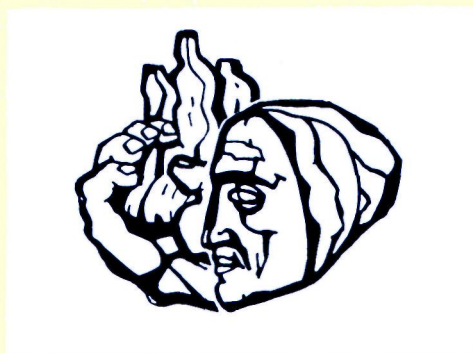
Воспоминания
ШЕЛГУНОВА.

Роман Нины Заречной
Леонида ГРОССМАНА.

Эссе ЧЕСТЕРТОНА.

«ПЕРМСКИЕ БОГИ»

и др. материалы.



том второй.

Издательство
ЦК ВЛКСМ
**„Молодая
гвардия“**
Москва

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:**

М. П. Алексеев
И. Л. Андроников
Д. С. Данин
Б. И. Жутовский
И. С. Исаков
П. Л. Капица
Б. М. Кедров
Н. И. Конрад
Ю. Н. Коротков (редактор)
Д. М. Кукин
А. А. Сидоров
К. М. Симонов
С. Д. Сказкин
С. С. Смирнов
К. И. Чуковский







В апреле — мае 1920 года Натан Альтман провел с Лениным 250 часов в его кремлевском кабинете. Тогда родился первый скульптурный портрет вождя, вылепленный с натуры и экспонируемый в Музее В. И. Ленина.

«Лепить скульптурный портрет Ленина было нелегко, — вспоминал Альтман. — Владимир Ильич не позировал, был углублен в свою работу. Обычно он сидел, низко склонившись над столом, и я видел лишь верхнюю часть его головы. Поэтому я был вынужден пользоваться всяким случаем, чтобы зафиксировать Ленина с разных сторон. Я решил делать наброски в то время, когда он разговаривал с людьми. Так создалась серия зарисовок с натуры, которая помогала мне в работе».

«Серия зарисовок», воспроизводимая здесь, при жизни Ленина была издана небольшим альбомом, который в настоящее время стал библиографической редкостью. Рисунки Альт-

мана создают у зрителя ощущение непосредственного общения с гением — настолько ленинский облик в них конкретен и правдив. Каждый из набросков тонкого художника открывает новый аспект ленинского характера.

Рисунки обошли весь мир. В предисловии к французскому изданию Ромен Роллан писал о них: «Мощный облик, созданный смелым карандашом Натана Альтмана, — облик... льва... до или после битвы... Ленин, которого видел Альтман, не тот Ленин, который стоит, ходит взад и вперед, действует, бьет противника логикой или смехом. Это Ленин, сидящий, сосредоточенный, весь углубленный в свои великие дела, без высокомерия, без резкости. Ленин вспоминающий и предвидящий, мыслящий и мечтающий».

Сейчас Натан Альтман живет в Ленинграде и недавно завершил новый бюст Ленина.





Наим. Левитовский
Масштаб 1/20
1920-1921





Натан Альтман
1920-1921
1920



Б. Яковлев
„Вот она, судьба моя“
Страницы автобиографии Ленина

СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ ЛЕНИНА?.. Но ведь в его многотомном литературном наследии нет обширной автобиографии, подобной, скажем, не только мучительной «Исповеди» Жан-Жака Руссо, но и публицистическому эпосу Герцена в «Былом и думах» или неторопливому повествованию Августа Бебеля «Из моей жизни».

«Опыт революции», который составляет главное содержание жизни Ленина, ему всегда было «приятнее и полезнее проделывать... чем о нем писать».

Не потому ли первые популяризаторы и комментаторы ленинских трудов еще в двадцатых годах безапелляционно заявляли, что даже «в полном собрании сочинений Ильича мы не найдем нигде прямых указаний автобиографического характера»...

То, что не совсем правомерно названо в приведенном утверждении «полным собранием сочинений» Ленина, было их первым изданием, еще крайне несовершенным. Однако и на его страницах нетрудно обнаружить множество прямых и непосредственных «указаний», или — точнее! — высказываний, несомненно, «автобиографического характера».

Впрочем, и новейшие, неизмеримо более осведомленные исследователи излишне категорично заявляют уже не в 1927, как в первом случае, а в совсем еще недавнем 1964 году:

— Очень немного написал Владимир Ильич о самом себе. Если собрать все воедино, рядом с десятками томов его сочинений можно будет поставить совсем тонкую книжицу <?>.

Но автобиографические свидетельства Ленина незачем ставить «рядом с десятками томов его сочинений». Свидетельства эти — органическая, хоть и наименее изученная и никогда еще сколько-нибудь полно не собиравшаяся составная часть ленинского наследия. Предпримем такую попытку вопреки предостережениям скептиков. Попытаемся собрать «все воедино» автобиографические страницы Ленина «о самом себе». О его 53-летнем жизненном и 37-летнем революционном пути. О созданных за эти годы научных и публицистических произведениях.

О выступлениях перед идейными единомышленниками и политическими противниками. О встречах и беседах с ними... И страницы эти (а порой и строки!) составят в общей сложности отнюдь не «совсем тонкую книжицу». Напротив! Они образуют по крайней мере четыре тома общим объемом не менее 150 (ста пятидесяти!) печатных листов...

«Четвертое измерение» ленинской мысли

Столь значительному объему интересующего нас материала не следует удивляться. Мысль Ленина — ученого и публициста, оратора и собеседника всегда развивалась как бы в четырех измерениях.

Посвященная прежде всего настоящему, сегодняшнему дню революции, ее, как говорили тогда, «текущему моменту», она тотчас же устремлялась в будущее. Но непрерывно обогащалась при этом и уроками прошлого. И уроки эти Ленин извлекал не только из многовекового общеисторического процесса. Он естественно и правомерно обращался к личному опыту — жизненному и политическому, возраставшему год за годом и даже день за днем.

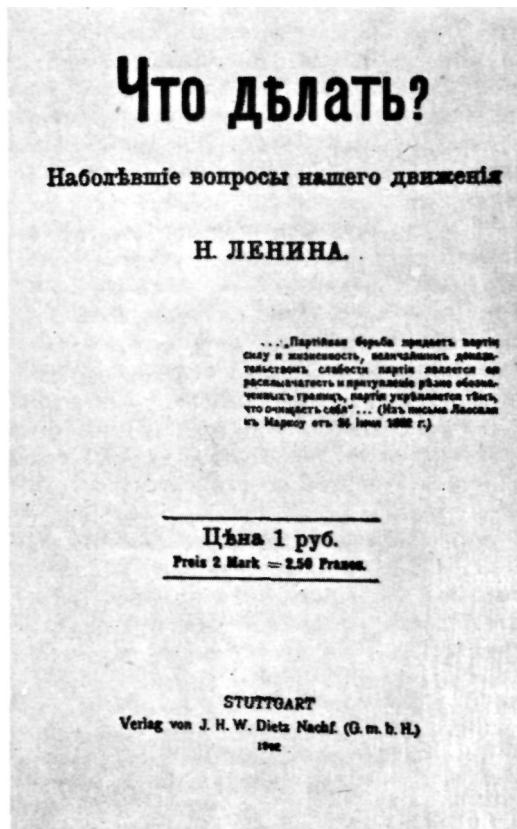
Наглядный пример этого «четвертого измерения» ленинской политической мысли — такой ее общеизвестный образец, как книга «Что делать?». Законченная зимой 1902 года, она содержит более ста автобиографических воспоминаний и рассказов, свидетельств и высказываний, суждений и характеристик. И посвящены они самым разнообразным событиям революционной борьбы, в которой Ленин

участвует к тому времени уже около пятнадцати лет.

Уже в предисловии к книге Ленин ссылается на свои статьи в «Искре» — «С чего начать?» и «Беседу с защитниками экономизма», как и на еще не опубликованные тогда передовицы, написанные для «Рабочей Газеты». Рассказывает он и о своем реферате «Отражение марксизма в буржуазной литературе», статье «Экономическое содержание народничества...», о сожженном цензурой в 1895 году марксистском сборнике «Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России». Сообщает он далее о принятом, как мы знаем, по его предложению зимой 1899 года в селе Ермаковском «Протесте» 17-ти ссыльных социал-демократов против экономистского «Credo».

Целые главы посвящает Владимир Ильич всестороннему разъяснению теоретического и политического смысла своих статей в «Искре» и «Заре». Среди почти двух десятков работ этого периода он, кроме уже названных, особо выделяет памфлет «Борьба с голодающими», «Внутреннее обозрение», статьи «Насущные задачи нашего движения», «Начало демонстраций», «Рабочая партия и крестьянство».

А сколько (и каких!) страниц Ленин уделяет в той или иной форме юношеским воспоминаниям, будь то идейное и нравственное влияние на него Герцена, Белинского, Чернышевского или блестящей плеяды революционеров семидесятых годов. Владимир Ильич пишет об редактированном им первом номере газеты «Рабочее Дело», материалы которого, как он рассказывает в 1902 году, «может быть,



лет через 30 извлечет какая-нибудь «Русская Старина» из архивов департамента полиции». Вздвигаясь рассказывает Ленин и о первом столкновении «старых» и «молодых» членов «Союза борьбы» — на прощальных встречах перед его отъездом из Петербурга в сибирскую ссылку...

Глубоко драматичны строки о безвременной гибели близкого друга Ленина — Анатолия Ванеева, скончавшегося «в 1899 году в Восточной Сибири от чахотки, которую он вынес из одиночного заключения в предварилке». Пишет Владимир Ильич и о на-

мерении петербургских рабочих убить провокатора Михайлова, выдавшего охранке «Старика» и других лидеров «Союза борьбы».

Раскрывает Ленин и творческую историю своих первых листовок, написанных уже в ссылке брошюр «Задачи русских социал-демократов» и «Новый фабричный закон». С беспощадной прямоотой признается он в том поистине «жгучем чувстве стыда, которое... испытывал» от горького «до боли» сознания кустарничества первых кружков пролетарских революционеров, которыми ему довелось руководить.

Так же искренне вспоминает автор «Что делать?» и о своей «ранней юности» с ее восторженным преклонением перед «героями террора», одним из которых, как известно, был его старший брат Александр.

Приводится в книге и весьма характерный, по ленинской оценке, «факт... который бросает некоторый свет на то, как в среде действовавших в Петербурге товарищей возникла и росла рознь будущих двух направлений русской социал-демократии». Точно так же срисована автором с политической природы и «маленькая картинка деятельности социал-демократического кружка 1894—1901 годов». Весьма поучителен и ленинский «разговор с одним довольно последовательным «экономистом»...

— Я помню, один товарищ передавал мне... Пишущему эти строки очень хорошо известно... Как сейчас помню свой «первый опыт»... Расскажем публике четыре факта из прошлого...

В «Что делать?» множество таких мемуарных по их характеру ссылок. А еще больше автобиографических

признаний, в которых отражаются типичные особенности духовной личности Ленина.

Это и знаменитое публицистическое «стихотворение в прозе» о революционерах, что идут «тесной кучкой по обрывистому и трудному пути» истории. И призыв продумывать все, что говоришь и пишешь, «до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной и общественной деятельности». И великолепный — такой ленинский! — афоризм:

— Всякий убежденный в своем мнении человек, думающий, что он дает нечто новое, пишет «с задором»...

Автобиографичны, по самым строгим подсчетам, не менее семидесяти страниц «Что делать?». И составляют они около трети книги. Аналогичная пропорция характерна и для других публицистических произведений Владимира Ильича, будь то «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики...», «Победа кадетов...» и многие другие книги, брошюры, а подчас и статьи.

В научной биографии Ленина, многотомной «Истории КПСС» и ряде специальных монографий раскрывается содержание и значение ленинских идей. Страницы автобиографии Владимира Ильича помогают познать нравственное богатство ленинской личности.

Ленин-мыслитель, Ленин-революционер неотделимы от Ленина-человека. Однако основополагающие ленинские идеи кровно связаны с драматическими, а порой и трагическими эпизодами борьбы за их утверждение. Они освещают судьбы и характеры идейных соратников Ленина и его яростных политических противников.

Кокушкинские «вершняки»

Ленин не посвятил книги своей жизни в революции. Но подлинно автобиографичны не только сотни разбросанных по ленинскому наследию драгоценных строк, а тысячи — это снова не обмолвка и не описка! — именно тысячи страниц.

Многие из них, правда, словно зашифрованы, как шифровалась большевистская конспиративная переписка. По цензурным, политическим, а иногда и по личным соображениям, Ленин нередко делится с читателем своими воспоминаниями как бы анонимно, косвенно, иносказательно. Но вдуваемся хотя бы в немногочисленные, но чем-либо показательные ленинские тексты. Сопоставим их с другими историческими и прежде всего документальными и мемуарными источниками. И тогда сквозь конкретно-политический код или своеобразный полемический словарь давних революционных лет явственно проступят точно начертанные тайнописью личные впечатления, наблюдения, переживания и, разумеется, воспоминания Владимира Ильича. Не всегда легко обнаружить и, так сказать, четко проявить автобиографическую первооснову какого-либо образного мотива ленинской публицистики. Но когда это удастся, перед нами воскресают самые разнообразные эпизоды ленинской юности и даже отрочества.

Осенью 1905 года большевистская газета «Пролетарий» публикует статью Владимира Ильича «Уроки московских событий». В ее тексте трижды возникают образные картины прорванной вешними водами плотины. Выделим этот мотив разрядкой и

посмотрим, как настойчиво возвращается к нему автор. Он пишет:

— Заявкой московских событий были происшествия чисто академического на первый взгляд характера. Правительство даровало частичную «автономию», или якобы автономию университетам. Господа профессора получили самоуправление. Студенты получили право схода. В общей системе самодержавно-крепостнического гнета была пробита таким образом, маленькая брешь. И в эту брешь сейчас же устремились с неожиданной силой новые революционные потоки... На студенческие сходы повалили рабочие...

И далее:

— Представьте себе политическую последовательность московских событий, и вы увидите замечательную типичную и характерную в классовом отношении картину всей революции. Вот эта последовательность: пробивается маленькая брешь в старом порядке; правительство чинит брешь заплатой уступочек, обманчивых «реформ» и т. п., вместо успокоения получается новое обострение и расширение борьбы...

В укреплениях врага опять пробивается новая брешь и движение поднимается тем же путем выше и выше...

На первый взгляд в традиционном метафорическом уподоблении подьема революционного движения бурному паводку нет решительно ничего собственно автобиографического. Но картина, которую Ленин рисует публицистическими средствами, необыкновенно зрима и словно написана с какой-то натуры. Обратимся поэтому к предварительному плану статьи. Ленин начинает его такими строками:

— Когда вода напирала на плотину, брешь вне шлюз (вершняков) есть начало краха, брешь в плотине: поток устремляется.

Вершняки?.. Но ведь так называют шлюзы водосбросов плотины именно в Поволжье! Ни в «Толковом

словаре русского языка» под редакцией профессора Ушакова, ни даже в 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» этого слова нет. Его отмечает лишь Даль, пристально внимательный к редкостным словечкам не только общерусской, но и областной речи.

Вершняк — по Далю — это «творило, запор, подъемный заслон в мельничных плотинах. При двух плотинах, верхней и нижней, бывают затворы верхняки и нижники».

Не опирается ли конспективно набросанная в ленинском плане картина стремительного потока, рушащего плотину, на какие-нибудь личные впечатления или воспоминания Владимира Ильича?

Обратимся к записям его двоюродного брата и сверстника — Николая Веретенникова. Быть может, к 1883 году, когда Ульяновы, как всегда, уезжают летом из Симбирска в усадьбу деда со стороны матери — Кокушкино, относится такое свидетельство меуариста:

— В дождливую погоду, засидевшись часов до двух ночи, пошли мы с Володей к реке. Пробраться к купальне было невозможно — мостки всплыли... Мы сразу догадались, что от непрерывного дождя переполнился пруд. Бросились на плотину. Смотрим, вся вода идет уже через верх.

Я предложил открыть затворы (вершняга), но Володя возразил, что у нас нет ни веревки, ни лома, ни лебедки и поэтому мы с этим делом не справимся...

Не прошло и пяти минут, как раздался легкий, как бы предупреждающий треск, за которым вскоре последовал страшный грохот, и вся масса воды с шумом, громадными валами устремилась с четырехметровой высоты вниз, ломая деревянные и размывая земляные укрепления...

Быстро, на наших глазах, пруд ушел, оголив безобразные илистые берега и оставив в глубине только небольшую речушку.

— Точно после пожара... — заметил Володя.

Веретенников употребляет то же редкостное — кокушкинское! — словечко «вершняга». Перед нами, таким образом, ключ к первоисточнику или, если угодно, жизненному прототипу публицистического образа, намеченного в приведенном фрагменте ленинского плана.

Очевидно, картина разрушения плотины мощным паводком прочно закрепилась в памяти Ленина еще с отрочества и напомнила о себе два десятилетия спустя. С ее образной помощью в политическом сознании Владимира Ильича складывается неизмеримо более сложная «замечательно типичная и характерная в классовом отношении картина всей революции».

Человеческая память многогранна. Порой она запечатлевает картины, казалось бы, случайные и социально незначимые, но зато чем-либо ценные индивидуально. Весной 1932 года Надежда Константиновна пишет о себе и Владимире Ильиче:

— У нас у обоих осталось в памяти много ярких впечатлений детства, к которым потом в течение последующей жизни мы не раз мысленно возвращались...

К числу этих памятных впечатлений ленинского детства можно, видимо, отнести и эпизод с плотиной в Кокушкине. Так — на первый взгляд несколько неожиданно — раскрывается автобиографическое происхождение многого в образном арсенале ленинской публицистики.

Приведем еще один столь же наглядный пример.

Внутренней дисциплине, собранности, сосредоточенности, целеустремленности, умению решительно отбросить все, что мешает главной жизненной задаче, Владимир Ильич учится еще в годы отрочества у старшего

брата. В очерке «Детство и ранняя юность Ильича» Надежда Константиновна Крупская рассказывает с его слов:

— Обывательских сплетен, пустопорожней болтовни, которую так высмеивали поэты «Искры», не терпел Ильич, как и его старший брат — Александр. И когда к ним в комнату приходил кто-нибудь из многочисленных двоюродных братьев, у них была любимая фраза: «Осчастливьте нас своим отсутствием».

И эта «любимая фраза» юного Владимира Ульянова, подобно кокушкинским «вершинякам», возникает в публицистических произведениях Ленина три с половиной десятилетия спустя. Так, зимой 1920 года он скажет, обращаясь в очередных «Заметках публициста» к французским социал-шовинистам:

— Вы хотите «щадить» себя или своих друзей, которые проповедовали «защиту отечества» вчера в Германии при Вильгельме или при Носке, в Англии и во Франции при власти буржуазии? Тогда пощадите III Интернационал! осчастливьте его своим отсутствием.

Симбирское присловье братьев Ульяновых становится оружием политической борьбы. Отметим кстати, что в ленинской публицистике множество деталей, в которых словно кристаллизуются фрагменты его юношеских воспоминаний. Пожалуй, только волжанин, не раз наблюдавший разноцветье речных вод при слиянии Волги и Камы возле Казани, мог написать полтора десятилетия спустя — зимой 1915 года — в статье «Под чужим флагом»:

— Полного соответствия не бывает даже в простейших явлениях природы, как нет полного соответствия между Волгой после впадения Камы и Волгой до ее впадения...

«О времени и о себе»

Автобиографические высказывания Ленина, при всем их подлинно научном историзме, рисуют его путь как бы пунктиром, нередко с разрывами во времени и пробелами в пространстве. Но как рельефно отражают зато они черты ленинского характера, помогая проникнуть (или хотя бы заглянуть!) в психологические переживания Владимира Ильича...

Мы знаем, скажем, что делает Ленин в предоктябрьскую ночь начала новой эры истории человечества. Знаем, что он вечером 24 октября, ежеминутно рискуя жизнью, добирается с Выборгской стороны до Смольного и принимает на себя военно-политическое руководство вооруженным восстанием, штурмом последней цитадели Временного правительства — Зимнего дворца.

Но о чем Владимир Ильич мечтает в эти исторические часы? Об этом, естественно, может рассказать только он сам. Так он и поступает три года спустя в речи на торжественном заседании, посвященном очередной годовщине Октябрьской революции. 6 ноября 1920 года Владимир Ильич говорит москвичам:

— Три года тому назад, когда мы сидели в Смольном, восстание петроградских рабочих показало нам, что оно более единодушно, чем мы могли ожидать, но, если бы в ту ночь нам сказали, что через три года будет то, что есть сейчас, будет вот эта наша победа, — никто, даже самый заядлый оптимист, этому не поверил бы. Мы тогда знали, что наша победа будет прочной победой только тогда, когда наше дело победит весь мир, потому что мы и начали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию. Империалистическая война изменила все формы, в которых мы жили до сих пор, и нам не дано было знать, в какие формы выльется борьба, которая затянулась значительно дольше, чем можно было ожидать...

Мобилизация! Совету ² Кемперу. ¹ Кат. и Ст.
 Два журнала ишт вазе кибель 07 24
 апр. 1917 г. Ишт спрашивають в зрели
 мыслит каком в ироистифемент, ешт
 в шт, ешт в шт солван, в шт чин? какия
 обраран в Штурман в России в какия Штурман
 в ироистифемент с казавати ироистифемент в. о.
 ироистифемент ошт (шт Штурман) вам ишт в рудно!

Видеть на шт ошт в рудно кривит
 поспрашивать, ишт какия в шт саше ишт.
 ишт с рудно, какия вам ишт Штурман
 ишт ишт.

Забудь ишт в рудно, ишт Штурман
 в рудно в в Штурман в 10 апр 1870
 года. Штурман 1870 ишт Штурман в рудно
 Штурман, какия Александр II в рудно
 и рудно (1 мая 1870 г.) на шт Штурман.
 в декабрь 1870 г. в шт Штурман в рудно
 вам ишт Штурман из Каранского урива
 Штурман в рудно в рудно в, в рудно

Видан из Каранки.
 в рудно в рудно 1870 г. в рудно в рудно
 в рудно в рудно в рудно в рудно
 в рудно в рудно в рудно в рудно

К той же октябрьской ночи Ленин
 возвратится и в декабре 1921 года,
 выступая с докладом о внутренней и
 внешней политике республики на
 IX Всероссийском съезде Советов. Он
 скажет тогда:

— В высокой степени странно для тех из
 нас, кто пережил революцию с самого на-
 чала, кто знал и непосредственно наблюдал
 неслыханные трудности прорыва нами импе-
 риалистических фронтов, видеть теперь, как
 сложилось дело. Никто, наверное, не ожидал
 и не мог ожидать тогда, что положение
 сложится так, как оно сложилось... получилось
 это потому, что в основном наше понима-
 ние событий было верно, что в основном

наша оценка империалистической бойни и за-
 путанности, создавшейся между империали-
 стическими державами, была верна... Мы ока-
 зались правы в самом основном. Мы оказа-
 лись правы в своих предвидениях и в своих
 расчетах...

Ленин с полным правом мог отнести
 и себя к числу тех большевиков, «кто
 пережил революцию с самого начала,
 кто знал и непосредственно наблюдал
 неслыханные трудности». Именно он —
 крупнейший политический мыслитель
 века — оказался прав «в своих пред-
 видениях и в своих расчетах». И он
 заслуженно гордится коллективным

разумом партии, динамичностью и последовательностью ее политики.

— Равняться на Ленина никто не может, но всякий должен, — метко сказал Луначарский. И лучшее пособие на этом непростом пути — живое слово самого Владимира Ильича. Более четырех десятилетий тому назад, выступая зимой 1925 года на пленуме Государственного ученого совета с докладом «Ленин в его отношении к науке и искусству», тот же оратор отметил:

— Начиная говорить или писать на ту или иную тему, связанную с освещением ее Владимиром Ильичем, приходится признать, что всякие попытки рассказать его мысли своими словами, в сущности говоря, не ведут к желанной цели. Владимир Ильич как публицист, как писатель говорил необыкновенно сжато построенными и в то же время полными внутреннего содержания формулировками, которые не хочется излагать своими словами. Я поэтому совершенно не считаю неправильным, что настоящий реферат почти весь составлен из цитат. Я только попытаюсь связать эти цитаты между собой, дать им комментарий и сделать из них некоторые выводы, которые, быть может, не сразу бросятся в глаза. Пусть Владимир Ильич говорит о науке и искусстве сам.

Вряд ли кто-либо отважится заподозрить Луначарского в неспособности изложить научные и эстетические идеи Ленина «своими словами». Оратор предпочитает, однако, им подлинные ленинские высказывания.

— Пусть Владимир Ильич говорит о науке и искусстве сам, — заявляет Луначарский. Пусть сам Ленин расскажет потомкам «о времени и о себе», скажем и мы крылатыми словами поэта.

Отметим также, что автобиографический пласт ленинского наследия не только крайне широк. Он необыкновенно многообразен и складывается

едва ли не из всех жанров автобиографической прозы. Это литературные и устные воспоминания в книгах и статьях, речах и докладах. Дневниковые записи и корреспонденции. Биографические очерки и некрологи о так или иначе близких Ленину современниках. Личные письма и анкеты. Письма в редакции и опровержения. Выступления на партийных судах и показания судебно-следственным инстанциям. Это, далее, бесчисленные рассказы близким и друзьям о пережитом и виденном. Лишь микроскопически малая часть их дошла до нас в весьма неравноценных пересказах мемуаристов. Выразительными штрихами и деталями дополняют они аутентичные автобиографические страницы Владимира Ильича. Жаль только, что не все собеседники Ленина записывали или даже запоминали его рассказы. Вот что пишет, к примеру, большевичка Евгения Бош о беседах с Владимиром Ильичем летом 1915 года в Берне:

— В хорошие дни нередко Владимир Ильич и Надежда Константиновна приходили вечером с предложением пойти в лес подышать свежим воздухом, и тут, бывало, «спровоцируешь» Владимира Ильича, и он начинал рассказывать о своих первых революционных шагах, о жизни и работе в ссылке, о борьбе с меньшевиками и расколе... Перед слушателями ярко вставала вся история нашей партии...

Мемуаристка не воспроизводит, однако, ни одного из этих ярких рассказов, видимо уже не доверяя памяти всего лишь восемь лет спустя после ленинских бесед. Еще прискорбнее другой аналогичный случай. О вечере в честь 50-летия Владимира Ильича, устроенном 23 апреля 1920 года Московским комитетом партии, его тогдашний секретарь Александр Мясников сообщает:

— Ленин делился своими воспоминаниями о подполье, о жизни нашей партии и старых большевиков. Я помню, что он в этот вечер был особенно весел. По-видимому, в его памяти воскресли самые радостные дни его жизни, самые лучшие страницы героической истории нашей партии.

Но ни один из десятков старых партийных товарищей Ленина, слушавших тогда его воспоминания, не записал эти, быть может, и впрямь «самые лучшие страницы» ленинской автобиографии.

— Он сам любит рассказывать и рассказывает очень хорошо, — пишет о беседах с Лениным в начале двадцатых годов вдова Джона Рида — американская журналистка Луиза Брайант, за немногими исключениями не воспроизводя этих рассказов. К счастью, иначе поступали Горький и Серафимович, Крупская и Елизарова, Цеткин и Луначарский, Дмитрий и Мария Ульяновы, Адоратский и Воронский, Бонч-Бруевич и Ганецкий... Им история обязана ценнейшими записями, без которых мы никогда не узнали бы о весьма существенных фактах биографии Ленина.

Конечно, передавая ленинские высказывания в форме прямой речи, мемуаристы не претендуют на буквальное, стенографическое воспроизведение слов Владимира Ильича. Впрочем, как известно, его не удовлетворяла как раз стенографическая запись. Еще в 1919 году он написал специальное послесловие к брошюре «Успехи и трудности Советской власти», в котором просил «никогда не полагаться ни на стенографическую, ни на какую иную запись» его речей, «никогда не гоняться за их записью, никогда не печатать» их.

Весной 1922 года — уже не в послесловии, а в предисловии к новой брошюре: «Старые статьи на близ-

кие к новым темы» — Владимир Ильич снова заявил еще более категорично:

— ...я не отвечаю за тексты моих речей, как они обычно передаются в газетах, и убедительнейше прошу не перепечатывать этих речей — по крайней мере без крайней и особой надобности, и во всяком случае без повторения настоящего моего точного заявления. Потому ли, что я говорю часто слишком быстро; потому ли, что я говорю часто очень неправильно в смысле стилистики; потому ли, что обычная запись речей делается у нас наспех и крайне неудовлетворительно; — по всем ли этим причинам и еще каким-либо другим, вместе взятым, — но факт тот, что ответственности за записанные мои речи я на себя текстуально не беру и прошу их не перепечатывать.

— Лучше хороший отчет о речи, чем плохая запись речи, — считал Владимир Ильич.

Это замечание вполне можно распространить и на изложение его высказываний теми мемуаристами, которые и дают как бы отчет о ленинских высказываниях. И память писателя или ученого, историка или публициста оказывается нередко куда надежнее «тимоновых писем» стенографии, как шутливо называл их Владимир Ильич.

Конечно, даже лучшие из подобных записей нельзя отождествлять с подлинным ленинским текстом, но множество немаловажных фактов ленинской биографии восходит исключительно к таким автобиографическим рассказам Владимира Ильича, записанным впоследствии его друзьями и соратниками.

— Познать Ленина означает для коммунистов познать самих себя, — хорошо сказал еще в 1918 году Михаил Ольминский. Именно в этом старый партийный литератор видел «законное оправдание нашего интереса» к неповторимо индивидуальной ленинской личности.

— Чем больше мы сделаем для ее изучения, тем больше, — по справедливому замечанию Ольминского, — двинем вперед знание истории нашей партии и понимание источника наших успехов и неудач, правильных шагов и ошибок.

Внешние события ленинского жизненного пути сложно, а порой и причудливо переплетаются с памятными наблюдениями, впечатлениями, внутренними переживаниями. О них мы узнаем только из автобиографических признаний: дневниковых записей, писем, воспоминаний. Взятые в целом и дополненные мемуаристами, в достоверности воспоминаний которых нет оснований сомневаться, они содержат данные для характеристики ленинской личности, не заменимые ничем другим.

И личность эта, вопреки окрылившимся с помощью Горького известным словам питерского рабочего-большевика Дмитрия Павлова, вовсе не проста, «как правда». Она скорее сложна, как жизнь со всеми ее драматическими конфликтами, нелегкими переживаниями, постоянным нервным напряжением, неутолимимым созидательным трудом. К этому выводу придет каждый, кто ознакомится с ленинскими автобиографическими высказываниями сколько-нибудь полно. Напомним кстати, что, начиная книгу «Государство и революция», Владимир Ильич отмечает, что считает настоятельно необходимым «приведение целого ряда длинных цитат из собственных сочинений Маркса и Энгельса». Как разъясняет он далее, «обойтись без них совершенно невозможно».

— Все, — пишет он, — или по крайней мере все решающие места из сочинений Маркса и Энгельса по вопросу о государстве должны быть непременно приведены в возможно более полном виде, чтобы читатель мог составить себе самостоятельное пред-

ставление о совокупности взглядов основоположников научного социализма и о развитии этих взглядов.

Именно так надо поступить, чтобы получить самостоятельное и возможно более полное представление о совокупности и развитии автобиографических суждений Владимира Ильича. Но это можно сделать только в книге. В данном же кратком обзоре мы ознакомимся лишь с весьма различными по характеру и объему документами 1912—1922 годов, которые отражают не одно чем-либо примечательное событие, а охватывают десятилетия ленинского революционного пути.

«В целях выяснения личности...»

Первый — по времени его записи — именно такой ленинский рассказ датирован 2 июля 1912 года. В этот день комиссар «императорско-королевской полиции» краковского квартала Пулвса допрашивал чужестранца, только что приехавшего в Галицию из Франции. Составляя — «в целях выяснения личности и происхождения Владимира Ульянова» — надлежащий протокол, полицейский комиссар — доктор Стычень — записывает ленинские ответы:

— ...зовут меня Владимир Ульянов, сорока двух лет, родился я в городе Симбирске, той же губернии, сын Ильи и Марии, православного вероисповедания, женат, детей не имею, по профессии литератор и журналист, постоянный житель города Симбирска, русский подданный. Отец мой умер, был директором народных школ в Симбирске. Мать жива и проживает в Саратове и брат Дмитрий — окружной врач в Крыму. Гимназию окончил в Симбирске. Университет, а именно: юридический факультет в Петербурге, где сдал докторский экзамен. Ввиду того, что я занимался социалистической литературой, так как по убеждениям я социал-демократ, а в России развить свою деятельность в этом направлении я не мог, я уехал в Швейцарию, а затем в Париж, где пробыл 3 года. В на-

стоящее время прибыл в Краков и здесь намерен жить. Состою корреспондентом русской демократической газеты «Правда», издаваемой в Петербурге, и русской газеты, издаваемой в Париже под названием «Социал-Демократ», что и является источником моего существования.

В Галицию я приехал из желания познакомиться с здешними аграрными условиями, так как преимущественно этими вопросами я занимаюсь. Намерен также изучать польский язык. Я женат на Надежде Крупской, которая проживает вместе со мной. За политические преступления я был в административном порядке сослан в Сибирь. На военной службе, как старший сын в семье, не служил.

С составителем этой протокольной записи Ленин скорее всего беседует по-немецки. Протокол составлен по-польски и здесь — уже, следовательно, в третий раз! — переведен на русский язык. Трудно поверить, к примеру, что Ленин мог назвать «политическими преступлениями» свою деятельность в петербургском «Союзе борьбы...», за которую его и сослали в Сибирь. Но факты своей жизни — от рождения «в городе Симбирске, той же губернии», до сотрудничества в «Правде» и «Социал-Демократе» — сообщает, разумеется, сам Владимир Ильич. Он умалчивает, естественно, лишь о подлинных целях переезда из Парижа в Краков — поближе к русской границе, редакции «Правды», большевистской фракции Думы.

Краковский протокол — первый в интересующей нас группе автобиографических документов Ленина. Но из Кракова пора перенестись в Поронин — тогда еще безвестную галицийскую деревушку.

«Автобиографические данные»

Тут-то и возникает, видимо, первый, но, к сожалению, неосуществленный замысел ленинской, уже не официаль-

ной, а литературной, автобиографии. В июле 1914 года Ленин пишет секретарю редакции Энциклопедического словаря «Товарищества братьев Гранат», будущему профессору-литературоведу Алексею Дживелегову:

— Многоуважаемый коллега!

Получил Ваше письмо от 24.V. Будьте любезны сообщить, каких размеров и к какому сроку желаете Вы иметь автобиографические данные...

Судя по этому письму, издатели словаря предполагали опубликовать автобиографию Владимира Ильича. Вполне возможно, что он составил бы эти «автобиографические данные». Но 21 июля Ленин сообщает тому же адресату, что ряд «совершенно исключительных и непредвиденных» обстоятельств вынуждает его «в самом начале прервать начатую статью о Марксе». После «безуспешных попыток найти время для ее продолжения» он приходит к выводу, что не сможет «сделать работы до осени».

Вполне естественно, что в создавшейся ситуации Ленин, не написав заказанной статьи, посчитал неуместным послать тому же издательству собственную автобиографию.

Правда, издатели словаря тотчас же обратились к Владимиру Ильичу с настойчивой просьбой завершить начатую работу.

— Связывая с этой статьей целый ряд очень важных для всего характера словаря моментов, — говорилось в письме издателей, — мы не можем решиться на безразлично среднее трактование этой темы, мы все время добивались для нее научно серьезной и сильной разработки... Перебирая не только русские имена, но и заграничные, мы не находим автора. Мы очень, очень просим Вас сохранить за собой эту статью... Мы хотели бы еще и еще раз со всей убедительностью просить Вас не отказываться от нее, вместе с нами видя в такой статье ценное и нужное дело.

Среди всех марксистов мира не было автора, подготовленного лучше, чем Ленин, для работы над статьей о Марксе. Ни Плеханов, ни Меринг, ни Роза Люксембург, ни тем более Каутский или Мартов, при всех их специальных знаниях, не обладали ленинской революционной ясностью понимания основных принципов научного коммунизма.

Это письмо из Москвы, где издается словарь, приходит в Поронин всего лишь за несколько дней до начала войны и «австрийского пленения» Ленина — его ареста жандармерией Нового Тарга. Статью для словаря «Гранат» Владимир Ильич заканчивает уже в Швейцарии. Но не излагает там сколько-нибудь подробно «автобиографические данные» о пройденном к тому времени жизненном пути.

«Под партийным псевдонимом Ленин»

Разрабатывая еще в Поронине план статьи о Марксе, Ленин дважды ставит на первое место раздел, который называется:

— 1. Биография.

Намеревается он, судя по наброскам плана, охарактеризовать основоположника научного социализма как человека.

— Mensch <Человек>, — лаконично отмечает Владимир Ильич.

Продумывая далее архитектуру очерка, он пишет:

— Биография и личная характеристика... 60 тыс<яч> букв.

Именно «личную характеристику» самого Ленина дают нам автобиографические страницы его наследия.

К их числу мы вправе отнести и об-

наруженную профессором Юзефом Серадским последнюю страницу черновика еще одного протокола допроса. Его в начале августа 1914 года под диктовку Владимира Ильича записал по-польски полицейский комиссар Нового Тарга Казимир Гловинский.

Поскольку в опубликованном уже дважды русском переводе документа немало досадных, а порой и анекдотических неточностей, мы воспроизведем текст заново по фотокопии оригинала.

Запись начинается с сообщения о том, что в то время Ленин

— корреспондент и сотрудник газеты «Правда» марксистского направления, издаваемой в Петербурге, и с двадцати лет принадлежит к социал-демократической партии. В литературе выступает под партийным псевдонимом Ленин и Ильин — для легальных изданий на территории России. В двухтомной библиографии Рубакина «Среди книг» отмечены его произведения под принадлежащими ему обоими псевдонимами. Он основал ту фракцию в партии, которая стремится к свержению царского самодержавия и провозглашению в России демократической республики. От его имени сторонников этого направления называют «ленинцами».

В Швейцарии был с перерывами с 1900 года до революции, впоследствии находился в Мюнхене и Лондоне, где издавал социал-демократическую газету «Искра». Жил в Женеве до октября или ноября 1905 года. Потом через Стокгольм и Финляндию отправился в Россию. Оттуда вернулся в Швейцарию и издавал революционную газету «Пролетарий», а позднее «Социал-Демократ». Те же газеты издавал и в Париже.

Ссылаясь далее на деятелей рабочего движения, которые знают его по Международному Социалистическому Бюро, Владимир Ильич называет вслед за Плехановым и Аксельродом такие имена:

— ...в Швейцарии — Николла, Жан Сигг; в Париже — Жюль Гэд, Жан Жорес, Бракке, Жан Лонге; в Брюсселе — Эмиль Вандервельде, Камилл Гюисманс [а вовсе не загадочный

«Камиль Грестале», как ошибочно указывает переводчик]; в Лондоне — Гарри Квелч, Ф. Ротштейн, Г. Гайндман [а опять-таки не таинственный Х. Хиндман в русском переводе]; в Берлине — Роберт Гримм и другие.

Так возникает пусть не исчерпывающий, но все же достаточно полный перечень зарубежных собеседников и корреспондентов Ленина в 1900—1914 годах, составленный им самим.

«Одна боевая кампания за другой»

Зимой 1916 года, все еще в «проклятом далеке» эмиграции, теперь уже не в Кракове, Поронине или Берне, а в Цюрихе, Владимир Ильич узнает, что Горький, оказывается, «недоволен резкостью против... Каутского» в новой ленинской книге об империализме. На глубоко взволновавшее его известие Владимир Ильич откликается в письме к Инессе Арманд. 18 декабря, словно мысленно обращаясь ко всему пережитому почти за три десятилетия политической борьбы, он пишет:

— Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма... Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками.

Перед нами — политическая автобиография, пожалуй, самая краткая и энергичная в истории общественной мысли. Сжатая до всего лишь шести печатных строк, она охватывает почти четверть века.

— Ленин боролся, резко ставил вопросы, — говорит Крупская, — но никогда не вносил он в споры ничего личного, подходил к вопросам с точки зрения дела...

Никогда не внося в борьбу ничего личного, в смысле узкоперсональной заинтересованности, индивидуаль-

ных симпатий и антипатий, Ленин отдавался революционному делу всей своей личностью, всем умом и сердцем. Оттого-то так эмоциональны, так темпераментны решительно все его автобиографические высказывания. И мир ленинских чувств придает особое обаяние ленинским идеям. Порожденные не умоглядными абстракциями оторванного от жизни кабинетного теоретика, они опираются на опыт профессионального революционера.

Неутомимо выступает Ленин во главе одной боевой кампании за другой «против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма»...

— Это с 1893 года, — вспоминает он. Ведь уже в 1893 году — еще в Самаре — он обличает либеральных народников и «народоправцев». Год спустя — в Петербурге — дает первые бои «легальному марксизму». А еще через три года — по дороге из тюрьмы в сибирскую ссылку — завязывает первые схватки с «экономистами». В начале века к ним присоединяются бундовцы и «освобожденцы», эсеры и меньшевики.

В годы первой русской революции Ленин на переднем крае борьбы большевиков против кадетов, октябристов и других буржуазных политиканов. В годы реакции он в идейном авангарде большевистской атаки на анархистов и «отзовистов», «впередовцев» — «богостроителей» и ликвидаторов. В канун первой мировой войны и в ее лихолетье идейными противниками Ленина становятся — среди прочих — троцкисты и бухаринцы, социал-шовинисты и центристы-каутскианцы. Приведенные выше автобиографические строки ограничиваются концом 1916 года. А сколько еще вставало на ленинском пути идейных и политиче-

ских врагов большевизма, который составлял для Владимира Ильича не только, как писал он в 1920 году, «течение политической мысли», а дело всей жизни, историческую миссию, по его точному выражению — судьбу!

Поэтому-то так воинственно неприимим он к тому, что называет политическими глупостями и пошлостями.

Слово «пошлый», как всегда в русском языке, многозначно и, по тому же Далю, означало: «избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая; неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным; вульгарный, тривиальный».

Однако в ленинском политическом словаре это слово и производные от него приобретают иное, неизмеримо более острое — партийное! — звучание, которое и слышится в приведенных автобиографических строках.

Уже в 1893 году — том самом, с которого Владимир Ильич начинает свою политическую автобиографию, — он бичует «либерального пошляка г. В. В.» — «властителя дум» народничества В. П. Воронцова. В одном из полемических плехановских выступлении начала века ему слышится «прямо-таки вопль против пошлого экономизма». Выступает он и против «опошления... марксизма» ревизионистами.

В годы первой русской революции Владимир Ильич бичует новоискровскую — теперь уже не «экономистскую», а меньшевистскую «пошлость Старовера, Мартова и других...». О Бунде он отзывался как о типичном отражении буржуазно-националистического мещанства — «в смыс-

ле пошлости золотой середины бесцветности, общих мест, посредственности...». Вскоре Ленин обличает тупую «пошлость «Речи» — офицоза контрреволюционных кадетов, а Троцкого саркастически называет «героем на час», способным — в дни безвременья и распада — «сплотить всю пошлость вокруг себя». По гневной ленинской оценке политического примиренчества, принимать важные решения «без коллегиального обмена мнениями» — «Трусливо. Дико. Пошло». Для ликвидаторов — по вполне обоснованному мнению Владимира Ильича — избирательная платформа «не серьезное дело, а пошлая болтовня».

В годы мировой войны он непримиримо выступает против «опошления марксизма у Каутского». А столкнувшись с антипартийным поведением группы Бухарина — Пятакова, предлагает «покончить с этой пошлостью раз и навсегда»...

Таким образом, для Ленина пошлость — синоним политической реакционности, тупости, ограниченности, беспринципности, трусости, центристских колебаний и многих других столь же ненавистных ему явлений. Оттого-то и ведет он против «пошлостей» оппортунизма одну боевую кампанию за другой и наотрез отказывается заключить «мир» с пошляками».

Но из предреволюционного Цюриха нам давно уже пора в Петроград куда более бурных дней весны 1917 года...

Ленинский ответ фронтвикам

24 апреля, через двадцать дней после возвращения Ленина на родину из почти десятилетней эмиграции, солдатский комитет 8-й конно-артиллерий-

ской батарее действующей армии пишет с фронта Петроградскому Совету:

— Ввиду того, что между солдатами батареи происходит много трений относительно Ленина, просим не отказать нам дать скорейший, по возможности, ответ. Какого он происхождения, где он был, если он был сослан, то за что? Каким образом он вернулся в Россию и какие действия он проявляет в настоящий момент, т. е. полезны ли они нам или вредны? Одним словом, просим убедить нас своим письмом, так, чтобы после этого у нас не было никаких споров, не теряли бы напрасно время и другим товарищам могли бы в состоянии доказать.

Письмо пересылают Владимиру Ильичу. Вскоре он отвечает фронтовикам:

— Товарищи! Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов переслал мне ваше письмо от 24 апреля 1917 г<ода>. Вы спрашиваете в этом письме, «какого я происхождения, где я был, если был сослан, то за что? Каким образом я вернулся в Россию и какие действия я проявляю в настоящий момент, т. е. полезны они (эти действия) вам или вредны».

Отвечаю на все эти вопросы, кроме последнего, ибо только вы сами можете судить, полезны вам мои действия или нет.

И Ленин так начинает свою автобиографию:

— Зовут меня Владимир Ильич Ульянов.

Родился я в Симбирске 10 апреля 1870 года. Весной 1887 г<ода> мой старший брат, Александр, казнен Александром III за покушение (1 марта 1887 г<ода>) на его жизнь. В декабре 1887 г<ода> я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения; затем выслан из Казани.

В декабре 1895 г<ода> арестован второй раз за социал-демократическую пропаганду среди рабочих в Питере...

Но здесь обрывается и эта рукопись. Из тысяч фактов, которые могли бы составить его автобиографию, Ленин останавливается только на семи событиях 1870—1895 годов.

«Страничка из истории...»

Солдатам вместо Ленина отвечает тогда Крупская.

— Я написала для «Солдатской Правды» о том, кто такой Ленин, озаглавила «Страничка из истории партии», — вспоминает Надежда Константиновна. — Владимир Ильич просмотрел рукопись, внес в нее поправки, и она была напечатана в № 21 «Солдатской Правды» от 13 мая 1917 года.

Исправления, которые внес Ленин в эту рукопись, заслуживают пристального внимания, как еще один его автобиографический документ.

На шести печатных страницах очерка Крупской Владимир Ильич делает шестнадцать поправок. Он уточняет все неполно, а то и ошибочно излагаемые факты его революционной деятельности.

Надежда Константиновна пишет, к примеру, что Ленин «практически стал работать лишь в 1894 году». Ленин зачеркивает слово «лишь» и пишет вместо него: «в массовом социал-демократическом движении». Ведь в казанских, самарских и сызранских подпольных марксистских кружках Владимир Ильич, как известно, участвует еще с 1889—1893 годов.

Крупская далее сообщает, что после первой поездки за границу Владимир Ильич

— На обратном пути... провез чемодан с нелегальной литературой. За это... был он арестован.

Но полицейским ищейкам так и не удалось перехватить ленинский конспиративный чемодан с двойным дном и нелегальной «начинкой». Поэтому Владимир Ильич, вычеркнув приведенные выше слова, сообщает, что арестовали его

— За социал-демократическую работу в Питере...

Касаясь «экономистов», Крупская пишет, что против них «тогдашние ленинцы повели непримиримую борьбу». Владимир Ильич зачеркивает подчеркнутое слово и пишет вместо него: «искровцы».

— О значении «Искры» говорить не приходится, — заявляет Крупская. Ленин не переоценивает историко-партийных сведений читателей «Солдатской Правды», большей частью лишь впервые приобщавшихся к политическим интересам. Поэтому он добавляет:

— «Искра» создала Российскую социал-демократическую рабочую партию.

Разумеется, Владимир Ильич по обыкновению умалчивает о своей личной роли в разработке и осуществлении того организационного плана, который и увенчался полным успехом.

Ошиблась Надежда Константиновна, когда написала далее, что на II съезде партии «раскол произошел из-за второго пункта устава». Ленин исправляет: «первого».

Заменяет он и, видимо, по его мнению, слишком хвалебный эпитет о «ярко выраженной классово-политике «старой» «Искры». Ее главный редактор называет эту политику лишь «последовательной».

Дополняет он Крупскую и в тех строках статьи, которые сообщают о перемене в 1908 году «ближней» эмиграции... на «дальнюю».

Владимир Ильич поясняет эти слова, понятные далеко не всем читателям «Солдатской Правды», и указывает, что ему пришлось

— из Финляндии опять скрыться в Швейцарию.

Аналогичные дополнения Владимир Ильич делает еще в двух местах статьи. Там, где Крупская пишет, что после того, как разразилась война, Ленин «был арестован», он добавляет: «австрийскими властями».

Когда Надежда Константиновна сообщает, что австрийские социал-демократы доказали, «как нелепо обвинять члена Интернационала в шпионстве», Владимир Ильич замечает в скобках:

— (Ленин был с 1907 по 1912 год членом Международного социалистического бюро).

Статья Крупской публикуется в дни разнузданной антибольшевистской травли. Реакционная печать тогда подло спекулирует на вынужденном проезде Ленина и его спутников через Германию, на условиях полной экстерриториальности. Поэтому Ленин вписывает в «Страничку из истории...» такие немаловажные строки:

— Во вторник 9 мая из Швейцарии приехало свыше 200 эмигрантов, проехавших через Германию, в том числе вождь меньшевиков Мартов, вождь социалистов-революционеров Натансон и др<угие>. Этот проезд еще и еще раз доказал, что из Швейцарии нет другого надежного пути кроме как через Германию. В «Известиях Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» (№ 32, от 5 апреля) помещен доклад Ленина и Зиновьева об их проезде через Германию и названы имена тех социалистов двух нейтральных стран (Швейцарии и Швеции), которые удостоверили подписью своей, что поездка через Германию вызвана была необходимостью и что никаких, сколько-нибудь предосудительных сношений с немецким правительством при этом не было.

Уточняет Ленин и последнюю из отредактированных им фраз Крупской, где она пишет о Владимире Ильиче как стороннике «народовластия». Автор «Государства и революции» за-

черкивает этот весьма расплывчатый термин и пишет вместо него о «переходе власти к рабочим, который грозит всему существующему порядку, всем привилегиям сытых и так недавно еще господствовавших».

Таким образом, ленинские исправления, уточнения, вставки касаются событий 1889—1893, 1895, 1899, 1900—1903, 1907—1912, 1914 и 1917 годов.

Нельзя не отметить необыкновенную сдержанность основного текста статьи, оставленного Владимиром Ильичем без изменений.

Крупская не употребляет ни одного из столь нелюбимых им громких слов. Она называет Владимира Ильича лишь одним из «передовых борцов» рабочего класса. К тому же статья о Ленине примерно наполовину посвящена его ближайшим соратникам — питерским рабочим-революционерам: Василию Шелгунову, Ивану Бабушкину и Александру Шотману, Михаилу Заводскому (Никифору Вилонову). Членам группы «Освобождение Труда» — Плеханову, Аксельроду и Вере Засулич. Большевикам — депутатам Государственной думы Полетаеву (и даже его 10-летнему сынишке Миньке!), Петровскому, Муранову, Бадаеву, Шагову, Самойлову.

Не забывает Крупская и о врагах Ленина. Заканчивая свою «Страничку...», она пишет:

— Кто был на Невском 21 апреля, видел эту озлобленную толпу котелков, белоподкладочников, нарядных женщин, видел, как мрачно глядели они на демонстрантов-рабочих, тому ясно было, что эта толпа утопающих, хватающихся, как за последнюю соломинку, за Временное правительство. И из уст в уста среди этой толпы передавался рассказ о том, как Ленин при помощи германского золота подкупил всех рабочих, которые все за него. Выходило так, что не только Ленин подкуплен германским правительством, под-

куплены и все рабочие. «Долой бы всех этих мерзавцев-социалистов», — горячится какой-то краснощекий, упитанный котелок. Класс против класса!

«Страничка из истории большевистской партии» — первая биография Ленина, да еще отредактированная им самим. При всей своей краткости она многому учит и в наши дни. Учит исторической точности и фактической достоверности. Сдержанности и скромности. Рассказу о Ленине в тесной и неразрывной связи с его временем и его соратниками...

«История партии — документ»

Итак, как мы теперь знаем, ни в 1914, ни в 1917 годах Ленин так и не завершает начатые им автобиографии. Однако их как бы чертежи или схемы сохраняются среди уже послеоктябрьских документов. Еще более лаконично конденсируют они в нескольких строках годы и даже десятилетия...

Мы имеем в виду различные анкеты. Их за 1917—1922 годы не раз доводилось заполнять и Ленину. Так, к примеру, 17 сентября 1920 года он отвечает на... сорок пять вопросов бланка для перерегистрации московских коммунистов.

Ленин свободно говорит и пишет на немецком, французском, английском языках. Владеет древнегреческим и латынью. Читает и конспектирует итальянскую, шведскую, датскую, голландскую, польскую и украинскую научно-политическую литературу и периодику. Тем не менее, отвечая на вопрос: «На каких языках, кроме русского, говорите, читаете, пишете?», он сообщает лишь:

— французский, немецкий, английский; плохо все 3.

Ленин блистательно читает лекции, доклады и рефераты на философские, исторические, экономические, историко-литературные темы. Однако, когда составители анкеты запрашивают коммунистов: «В какой области знания чувствуете себя особенно сильным и по каким вопросам можете читать лекции и вести занятия?», Владимир Ильич замечает:

— больше по политическим вопросам.

Ленину принадлежат лучшие большевистские листовки, обращения и воззвания к миллионам рабочих и крестьян. «Можете ли писать листовки, воззвания и что Вами написано в этой области?» — спрашивает анкета.

— Да. Перечислить нельзя, было многовато, — шуточно сообщает Владимир Ильич.

И только на один — двадцать пятый — вопрос Ленин отвечает с вполне заслуженной гордостью профессионального революционера. Составители анкеты предлагают старым большевикам перечислить «документы или удостоверения», подтверждающие их «пребывание в... нелегальной партийной организации».

С 1889 по апрель 1917 года Ленин ни на один день не прерывает нелегальной партийной работы — подпольной в России или законспирированной от зарубежных царских шпионов в эмиграции. В июле—октябре он снова уходит в свое последнее подполье — на этот раз скрываясь от штатных и добротных сыщиков «республиканского» Временного правительства.

Нелегально изданные книги, брошю-

ры, статьи. Доклады и рефераты в подпольных кружках и на собраниях революционеров. Страницы партийных газет, журналов, сборников. Протоколы и стенограммы партийных съездов и конференций, пленумов и совещаний. Подготовленные Владимиром Ильичем проекты большевистских программ, деклараций, резолюций... Вот что составляет «документы или удостоверения» Ленина-подпольщика. Другими «справками», выражаясь канцелярским языком, Владимир Ильич не располагает.

— История партии — документ, — заявляет он в этой графе анкеты.

За четверть века...

В марте 1921 года Владимир Ильич пунктуально заполняет тридцать одну графу очередного опросного листа — на этот раз как делегат X партийного съезда. Ограничимся лишь ответами на вопросы об участии в революционном движении до 1917 года. Ровно четверть века своей партийной работы — с 1892 по 1917 год — Ленин подразделяет здесь на семь периодов:

- 1892—1893... Самара.
- 1894—1895... Петербург
- 1895—1897... тюрьма.
- 1898¹—1900... Сибирь...
- 1900—1905... за границей.
- 1905—1907... Петербург
- 1908—1917... за границей

Перед нами словно разделы ленинской автобиографии за двадцать пять лет, лаконично озаглавленные самим Ильичем.

САМАРА, 1892—1893... Здесь революционная «Юность» Ленина сменяет



¹ Описка: следует — 1897.

его симбирское «Детство» и казанское «Отрочество».

ПЕТЕРБУРГ, 1894—1895... Место уже не государственных экзаменов на юридическом факультете университета, блестяще выдержанных Владимиром Ильичем в 1891 году, а неизмеримо более сложной и высокой школы политического руководства рабочим движением.

ТЮРЬМА, в которой Владимир Ильич проводит четырнадцать долгих месяцев, и СИБИРЬ... Новые, как бы дополнительные курсы ленинского революционного университета.

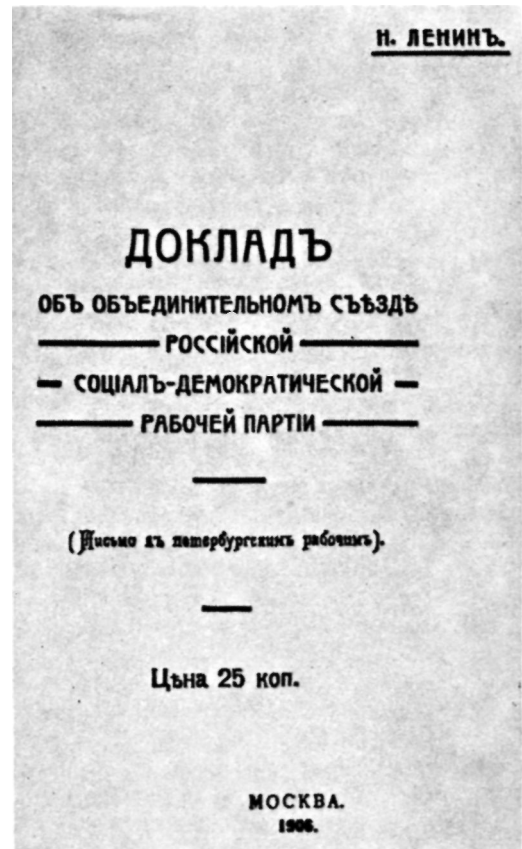
ЗА ГРАНИЦЕЙ, в эмиграции, Ленин трудится почти все первое пятилетие нашего века.

ПЕТЕРБУРГ, 1905—1907... Первый широкий плацдарм политических битв партии рабочего класса.

ЗА ГРАНИЦЕЙ — почти на десятилетие снова оказывается Владимир Ильич после поражения первой русской революции...

Таковы — разумеется, лишь в самых общих чертах — хронология и география дооктябрьского революционного пути Ленина, отмеченные им самим. А за скупыми анкетными записями двадцать партийных газет и журналов, которыми руководил Владимир Ильич: от «Искры» и «Зари» до «Правды» и «Просвещения». За ними четыре (Второй, Третий, Четвертый (Объединительный) и Пятый) партийных съезды. Два конгресса Социалистического Интернационала. Десятки конференций, пленумов и совещаний. Сотни, если не тысячи, в общей сложности, встреч и бесед с товарищами по партии, тюрьме, эмиграции, ссылке. За ними ленинская жизнь в революции и три русские революции в его жизни.

За три с половиной десятилетия революционной деятельности Ленин ос-



тавил наследие такого идейного богатства, такой подлинно энциклопедической, научной широты, такой нравственной чистоты и монолитной цельности, каких не знает история. И немалая часть этого наследия автобиографична, ибо опирается на личный жизненный опыт, личные переживания и впечатления, наблюдения и встречи. Быть может, какому-либо излишне «проницательному читателю», по так полюбившемуся Владимиру Ильичу ироническому эпитету Чернышевского, покажется, что это противоречит общепринятым — и совершенно спра-

ведливым! — представлениям о поистине беспримерной ленинской скромности.

Ленину действительно глубоко чужды, даже отвратительны и ненавистны какие бы то ни было тщеславие, самолюбование, хвастовство — все, что он метко окрестил уничтожающим словечком «комчванство». Ленин никогда не отделяет себя от партии и ее коллективного разума. Ее идеологии и политики. Ее лозунгов и директив. Страстно отстаивает и неопровержимо доказывает он историческую правоту большевизма и, следовательно, своих подсказанных, поддержанных и одобренных партией, а порой и уточненных ею предвидений, выводов, призывов, оценок. Но, всегда опираясь на коллективный политический опыт партии, Владимир Ильич отнюдь не пренебрегает и собственным, личным. Своими воспоминаниями и наблюдениями. Уроками, которые он мастерски извлекает из бесед и встреч не только с соратниками, но и противниками.

В биографии Ленина его историческая личность раскрывается прежде всего в сфере научно-политической мысли и революционного действия.

Большая часть ленинского автобиографического наследия, лишь к немногим страницам которого мы прикоснулись в этом обзоре, посвящена, естественно, главному в жизни и деятельности Владимира Ильича, всему тому, что сделало Ульянова — ЛЕНИНЫМ, по его литературному имени, основоположником ленинизма. Но есть среди этих страниц и такие, на которых Владимир Ильич, при всей сдержанности своих чувств и переживаний, порой даже известной замкнутости, раскрывается и в сфере личной, интимной. На этих страницах Ленин делится воспоминаниями и радостны-

ми и горестными. Исполненными не только мудрости, но и юмора. Не только сарказма, но и напряженного драматизма.

Таковы рукопись «Как чуть не потухла «Искра»?»; предназначенный лишь «для личных знакомых» «Рассказ о II съезде РСДРП»; ленинский дневник заседаний этого съезда; адресованный петербургским рабочим «Доклад об Объединительном съезде». Таковы и тысячи ленинских писем, особенно к родным и близким, Горькому и Луначарскому, Якову Свердлову и Инессе Арманд, Иннокентию Дубровинскому и Никифору Вилонову...

На этих необыкновенно живых, выразительных, увлекательных страницах Владимир Ильич горюет и шутит. Рассказывает не только о важном и значительном для истории партии и революции, но и о забавном, смешном, порой даже странном.

Такие впечатления сохраняются в памяти каждого человека, по-своему пополняя и обогащая внутренний мир. Оставаясь за пределами биографии исторического деятеля, они имеют право на соответствующее их значению место в автобиографии, будь то жанровая бытовая сценка общественных нравов или пленительная картина природы; беседа с ребенком или встреча с чудаковатым собеседником; впечатления от картины или скульптуры, спектакля или кинофильма, симфонического концерта или даже эстрадного выступления... Нам кажутся отнюдь не безынтересными и эти страницы ленинской автобиографии, как ни несоизмеримы они с пусть даже немногими строками, характеризующими Ленина — вождя и мыслителя, борца и трибуна, теоретика и полемиста...





Олег Писаржевский
Академик Иоффе
Главы из книги

Известный советский писатель, популяризатор науки Олег Николаевич Писаржевский (1908—1964) много лет работал над книгой об «отце советских физиков» академике Абраме Федоровиче Иоффе. Первый вариант книги был закончен О. Н. Писаржевским еще в конце сороковых годов, и тогда же рукопись прочитал и одобрил сам А. Ф. Иоффе. Однако требовательность автора к себе была столь велика, что он не считал возможным публиковать свою работу в то время.

В 1964 году Олег Николаевич снова возвратился к этой теме. Он начал писать книгу совершенно заново, но закончить ее не успел. Пять первых глав книги, публикуемые ниже, красноречиво свидетельствуют о том, что читатель потерял в результате безвременной кончины Олега Писаржевского.

Вместо предисловия

«Физик наблюдает явления при различных обстоятельствах и пытается вывести законы их связей».

Так объясняет сущность профессии старое определение, которое, может быть, и говорит что-нибудь уму, но ничего не может сказать сердцу.

Лучше вспомнить, что физики — это те, кто открыл вокруг нас мириады звуков, нами не воспринимаемых, мириады цветов, нашему глазу не видимых. Это те, кто увидел в детской игрушке — палочке янтаря, потерятой шерстью и притягивающей после этого пушинки, — проявление великой силы электричества, перевернувшей весь уклад нашей жизни. Физики — это те, кто сумел в мирах, отдаленных от нас на трудно представимые расстояния, распознать отдельные молекулы, колеблющиеся в унисон с молекулами земных веществ, как камертоны, настроенные на одинаковую высоту тона, или часы, одинаково отрегулированные по звездному времени.

Целеустремленность и настойчивость физиков в их попытках найти объяснение всем явлениям природы может показаться утомительной и прозаичной. Голубизна неба заставляет их думать о молекулярном рассеянии световых лучей; уютная песенка чайника приводит их к размышлениям о причинах разрушения лопастей винтов на морских экспрессах, а гудение ветра в телеграфных проводах нашептывает мысли о вихревом характере движения воздушных потоков.

Остерегайтесь, однако, судить по внешности и не спешите назвать неистового исследователя сухарем и педантом. Физики — это люди, которые, узнавая, с какой скоростью проносятся в пространстве планета, испытывают от этого, по словам Максвелла, «чувство восхитительного возбуждения». Они вычисляют силы, с которыми притягиваются друг к другу небесные тела, и чувствуют, как напрягаются от усилия их собственные мышцы. Для этих людей «момент», «энергия», «масса» не про-

сто абстрактный результат научного исследования, а слова, которые «волнуют их души, как воспоминания о детстве».

Кроме того, физики — это мечтатели, которые справедливо считают свою науку техникой завтрашнего дня.

Один из наших современников, человек глубокого ума и по-детски доброй и ясной души, выдающийся ученый, академик, Герой Социалистического Труда Абрам Федорович Иоффе, был физиком. Как уже было сказано, в одном этом слове заключена целая характеристика. Но когда мы говорим о человеке любой профессии, нас интересует не только то общее, что сближает его с людьми того же образа мыслей и того же направления исканий, но и то особенное, что присуще ему, как яркой, самобытной индивидуальности.

Мне вспоминаются октябрьские дни 1950 года, когда в Лесном — этом «Латинском квартале» Ленинграда — праздновалось семидесятилетие Абрама Федоровича Иоффе. Подобные торжества обычно бывают, хотя бы в силу своего многолюдства, чрезмерно парадны и официальны. Неуловимые оттенки настроений, воспоминания молодости, истинная теплота невысказанных дружеских чувств скрываются за тривиальной оболочкой празднества. Но данное торжество имело свои особенности. Иоффе, приятно взволнованный, улыбающийся, сам встречал гостей. Он переходил от одной группы к другой, готовый принять и подарить дружескую шутку, как всегда, благожелательный, внимательный и остроумный.

Раздвигая плотное кольцо собеседников, окружавших маститого физика, появилась группа его ближайших сотрудников с шутивными дарами лабораторий. Символы научных интересов их общего руководителя были воплощены в крошечной модели циклотрона — могучего орудия ядерной артиллерии, дробящей атомное ядро. Эта маленькая модель напоминала о том, что первые крупные работы по исследованию атомного ядра были выполнены именно в лабораториях Ленинград-

ского физико-технического института, созданного академиком Иоффе. А над собравшимися уже колыхался золотой подсолнечник, окутанный пленкой — гибким стеклом, пропускавшим ультрафиолетовые лучи. Этот подарок напоминал о большой группе работ, возглавленных юбиляром и сосредоточенных в другом, им же созданном, Агрофизическом институте. Задача этого своеобразного научного учреждения — применять новые достижения физики к решению проблем биологии и сельского хозяйства. Агрофизический институт изучил законы движения воды в почве, что позволило целесообразнее применять их для решения таких важных задач, как накопление и сбережение влаги в засушливых районах и как осушение земель в районах, избыточно увлажненных. Предложенные Агрофизическим институтом эмульсии для связывания песков открыли новую стратегию покорения пустынь. Уже на десятках тысяч гектаров «связанные таким образом пески» образовали зону «зеленого наступления» на пустыни. Именно в этом институте были созданы миниатюрные полупроводниковые термометры, столь точные и чувствительные, что с их помощью удалось определить, как меняется температура листьев растений и трав в различное время дня и ночи, как лучше защитить растение от заморозков.

Большое панно изображало новые типы фотоэлементов на фоне портретов знаменитых киноактеров, благодарных тому, кто усовершенствовал способ доносить до публики их неискаженные голоса.

Многие из собравшихся для чествования юбиляра помнили, как начались эти работы, из которых вылилось в дальнейшем новое направление физики. В частности, автор этих строк был одним из слушателей лекций Иоффе, которые он читал в тридцатых годах для широкой аудитории. Студенты, инженеры, школьники как зачарованные воспринимали рассказы этого мага и кудесника о чудесах и тайнах физики, которая в то время совершала лишь первые шаги по пути овладения таин-

ственными и неожиданными свойствами, обнаружившимися в полупроводниках — материалах, распространенных повсюду. Иоффе делился со своими слушателями мечтами, которые казались в то время фантастическими. Он рисовал нашему воображению приборы, способные улавливать свет и настолько эффективно превращать его в электричество, что из них можно создавать солнечные электрические батареи. Он указывал на глубоководные морские водоросли как на пример существования совершенных механизмов поглощения и использования света в самой природе...

Между тем над головами собравшихся вздымался большой плакат, на котором под двенадцатью знаками зодиака были расположены физические приборы, измерительные инструменты и установки для исследований во всех мыслимых в физике направлениях. В центре их — дружеский шарж на Иоффе, на котором он был изображен среди своих многочисленных научных увлечений, вооруженный розовыми очками, намекавшими на богатство фантазии юбиляра и на его неиссякаемый оптимизм.

Невольнo рождался вопрос: в чем же секрет удивительного разнообразия научных исканий, которыми была отмечена большая жизнь академика Иоффе, и не меньшего разнообразия устремлений исследователей, которые, выступая один за другим, называли себя его учениками?

Среди них можно было увидеть экспансивного академика Николая Николаевича Семёнова, одного из творцов теории цепных реакций и руководителя советской школы химической физики; его работы по изучению лавинных химических процессов были увенчаны в 1956 году Нобелевской премией.

Рядом с ним посапывал трубкой фундаментальный и веселый, с оттенком саркастичности академик Петр Леонидович Капица. Еще недавно его имя связывали со сверхсильными магнитными полями; впоследствии оно сочеталось с представлением о существовании

открытой им чудесной и загадочной жидкости — сверхтекучего гелия. Сейчас из недавних научных публикаций и книги, посвященной проблемам электроники больших мощностей, мы узнали о новом направлении плодотворных исканий ученого.

Здесь были академик Абрам Исаакович Алиханов, избравший своей специальностью ядерную физику и стремящийся раскрыть тайну космических лучей; академик Лев Андреевич Арцимович — человек, который создал «звездное вещество»; это ему со своими сотрудниками впервые удалось довести нагрев плазмы до миллионов градусов, то есть приблизиться к тем температурам, при которых в звездах происходит слияние легких ядер с выделением избытков энергии; и многие, многие другие.

Реальная картина развития советской физики была бы искажена, если бы все направления современной физики, представленные яркими именами бывших учеников и соратников Абрама Федоровича Иоффе, представить как лучи, исходящие из одного центра. Нет, это параллельные струи, которые образуют единый научный поток. У академика А. Ф. Иоффе есть свои собственные крупнейшие научные заслуги, которых мы дальше коснемся. Но, помимо этого, нельзя не признать, что он родился под счастливой звездой. Он любил повторять, что ему «чертовски повезло». Но это было «везение» человека, личные особенности и таланты которого оказались в соответствии с историческим этапом, в который ему довелось жить. Если этого чудесного совпадения не происходит, то возникают все предпосылки для биографии гениального неудачника. Бескорыстный энтузиазм и романтическая жажда свершений, которые обуревали Иоффе, как нельзя более отвечали идеалам молодой науки, поднятой волной революции.

Иоффе действительно был величайшим удачником. Наука — разведчик будущего, наука — орудие самопознания страны и средство раскрытия ее природных богатств.

Наука — источник технической революции, которая может обрести присущий ей потенциально гигантский размах только при социалистическом строе. Эта наука была сразу же призвана партией под знамена пятилеток, и Иоффе со своей дружиной оказался в первых рядах волонтеров. Не случайно созданный им Ленинградский физико-технический институт был первым научным институтом, созданным при Советской власти в 1918 году в холодном и голодном Петрограде.

В романах из жизни ученых можно подчас натолкнуться на мрачную фигуру учено-монополиста, который душит молодые дарования, стремясь обеспечить себе первенство в облюбованной им области знания. Вся жизнь академика Иоффе явилась наглядным опровержением этой схемы. Каждый из его многочисленных учеников и соратников испытал на себе всю силу благожелательной поддержки, которую Иоффе умел оказать в тот самый момент, когда она была особенно необходима. В его молодом институте многочисленные лаборатории возникали, как буйные ростки после благодатного дождя. Каждый мог прийти сюда и, если он умел называть интересную тему, тотчас получал возможность занять место за лабораторным столиком. Названные выше выдающиеся советские исследователи и многие другие, чьи имена мы не успели привести, выросли в лабораториях, законом которых было необузданное творчество. Они воспитывались в прославленном семинаре института, где главным правилом была беспощадность к допущенным промахам. На ошибках одного учились все. Любой поворот в работе, любое раздумье на распутье служили предметом всеобщего страстного обсуждения и заканчивались приговором Иоффе, ясным, справедливым и не подлежащим обжалованию. Я не обижу никого из ранних участников семинара Иоффе, если скажу, что вначале как следует понимал физику только один капитан этого шумного корабля, и он делал все что мог для воспитания его команды, не щадя ни времени, ни

силы. Можно сказать без преувеличения, что в СССР нет ни одного физика старшего поколения, который не прошел бы через это горнило.

Иоффе нельзя было больше порадовать, чем поведать ему о новом красивом эксперименте. Новая весть так воодушевляла его, что он должен был встать из-за стола и немножко походить по комнате, удовлетворенно потирая свои крупные, сильные руки.

— Вы должны рассказать об этом, обязательно должны, — говорил он.

А открывая очередной семинар, развивал в мастерском вступлении столько новых мыслей по этому поводу, что скромная работа начинала сиять в его озарении, как подлинная драгоценность.

Иоффе не был чародеем. Просто он любил свою науку и обладал завидной способностью заражать этими переживаниями других. Науку создают не только большие знания, но и большие чувства...

Встречаясь с незаурядным человеком, мы с интересом расспрашиваем события минувших дней: что помогло создать его таким, каким мы его узнали? Между тем я не успел еще ни слова сказать об истории его жизни...

Итак, начнем по порядку.

Город на двух ручьях. Детство. Царская система образования. Реальное училище. Преподавательские шаблоны. Счет настоящего парня. Как до нас доходит свет звезд. Физика ароматов. Ошибка директора. Технологический институт.

Положение биографа легче, чем воспитателя. Не нужно обладать большой проницательностью, чтобы по готовым стеблям угадать, из каких зерен они вышли.

Всякая родина благословенна, и мы благодарны любому краю, который дал человека, сумевшего оставить на земле добрый след. Абрам Федорович Иоффе родился в 1880 году в маленьком украинском городке Ромны.

Если этот город и был чем-нибудь замечательным, то только тем, что через него протекали сразу две речки — Сула и Роменка. Это были скорее два ручья, не менявшие степного колорита местности. Среди безбрежных пшеничных полей возвышались, как пышные зеленые острова, вишневые сады. В своих народных байках украинцы склонны рисовать себя созерцателями и сказочниками. На самом деле у них так много сил, а богатая природа так охотно идет им навстречу, что среди созданного напряженным трудом изобилия они успевают еще слагать легенды и мечтать. Навсегда запоминаются мелодичные и печальные украинские песни, открывающие лирическую душу народа. В зрелые годы, путешествуя по Европе, Иоффе слушал ночные песни неаполитанских рыбаков, и это было одним из самых светлых впечатлений его от Италии: эти песни по созвучию напомнили детство, родную Полтавскую губернию.

Всякому кажется, что самое ласковое солнце светит на его родине и нигде не найти более нежной, изумрудной травы, чем там. На Украине солнце не только ласковое, но и обильное. Там птицы начинают петь раньше и дети развиваются быстрее.

Иоффе научился читать, когда ему не было еще трех лет. В четыре года он уже писал длинные письма. О чем? О медовых и душистых яблоках, которые отец вынимал из кармана, вернувшись со службы, о беззаботных играх на тихой улице, заросшей ромашкой. К семи годам появилась новая тема для писем, заслонившая все остальные. В местном реальном училище открылся приготовительный класс. Мальчик, которому не было еще восьми лет, в компании с более взрослыми друзьями отправился на конкурсный экзамен и сдал его. Это было все, что он сообщал в то время своим корреспондентам — двоюродным братьям и сестрам, жившим неподалеку.

Комментариями придется заняться мне.

Россия в то время переживала полосу реакции, сменившей яркие надежды общества

на возможность его свободного развития. Эти надежды были вызваны эпохой крестьянских волнений, закончившихся освобождением крестьян от крепостного права, но не поколебавших устоев самодержавия. Хотя страна уже прочно вступила на капиталистический путь, но вся полнота власти принадлежала царю, землевладельческое окружение которого неохотно допускало к управлению даже самую влиятельную часть промышленников и ревниво охраняло остатки своих феодальных привилегий. В этих кругах право на образование, особенно высшее, считалось естественным преимуществом «благородного» происхождения. В официальном журнале министерства народного просвещения откровенно высказывалось возмущение попытками выходцев из «низших» сословий изменить свое общественное положение с помощью образования своих детей. По образному выражению знаменитого русского ученого Тимирязева, идеологи самодержавия в то время представляли себе так называемое народное образование как пирамиду, поставленную не на основание, а на вершину. Внизу находилось наиболее пренебрегаемое, сведенное к предельному минимуму низшее образование, охватывающее совершенно ничтожную часть подлинно народных масс. Затем следовала более широкая ступень близких к профессиональным, так называемых реальных, учебных заведений, в которых могли приобрести необходимые деловые навыки будущие коммерсанты и техники. Наиболее широкой и обеспеченной со стороны государства оказывалась система гимназий и продолжающих их университетов. Здесь готовились преданные своей касте и своему строю чиновники всех рангов. В то время, когда учился Иоффе, доступ из реальных училищ в университеты был закрыт. Считалось, что тому, кто предназначен быть простым исполнителем, вредно дышать разреженным воздухом высот науки. Что касается гимназий, то страх перед критическим направлением мысли толкал руководителей министерства просвещения к тому, чтобы по воз-

можности изгнать из преподавания самую мысль. Эта идея понималась буквально и выполнялась неукоснительно. В программе гимназии была введена так называемая «гимнастика ума», которой служили мертвые языки (латинский и греческий). Само по себе это, может быть, было и бесполезно, но эти предметы изучались в таком объеме, что поглощали главные силы и внимание юношества, отвлекая его тем самым от размышлений над доктринами общественного переустройства.

Культивировавшийся в гимназиях дух формального отбывания учебной повинности сказывался на постановке преподавания и в гораздо более жизненных по замыслу реальных училищах. Своеобразное свидетельство этому мы находим в маленькой книжке воспоминаний Иоффе, первая публикация которой в 1933 году давно стала библиографической редкостью.

До школы им руководил только интерес к фактам, рассеянным по книгам. В училище он сразу, с первых шагов столкнулся с новостью — ловко придуманными правилами, позволявшими обойти трудности расчета в уме. Он еще не знал, что эти правила и есть арифметика. Способы, которые помогали, не думая, давать правильный ответ, казались ему не очень честными. «Помню, — писал впоследствии Иоффе, — меня очень удивляло, что школа именно этим механическим правилам сложения, умножения и деления придавала главное значение. После того как мне удавалось разобраться «по существу» в заковыристой задаче, казалось обидным узнать от учителя, что для каждого рода таких задач, с бассейнами, с едущими навстречу путешественниками, с делением наследства, существуют механические шаблоны, дающие правильный ответ без размышлений». Но именно подобные шаблоны, облегчающие преподавателям передачу знаний, а ученикам — освоение этих знаний, возводились в принцип, которому подчинялись и организация занятий и стиль трафаретных учебни-

ков. И здесь качество запоминания ценилось наиболее высоко, а понимание казалось ненужным, даже опасным.

Иоффе вспоминает, что лишь вражда к преподавателям помогала ученикам сохранить индивидуальность. Товарищеская организация учеников спланировалась в противовес мертвящему давлению школьного начальства. Достаточно, чтобы в одном лагере был произнесен запрет вредоносной книги, как в другом тотчас именно ее начинали самоотверженно искать, находили и прочитывали. Протеста против узких казенных рамок учебного быта, сознание искало выхода в собственном творчестве. За пределами убогой школьной премудрости смутно угадывался многогранный мир живой науки. Но прежде чем рассказать о том, как произошло первое знакомство с этим миром, нужно упомянуть об одном приключении, которое знаменовало для Иоффе окончание детства и начало отрочества.

Представим себе шумную ватагу школьников, отправляющихся купаться, и среди них Иоффе. На берегу вспыхивает спор на тему, неизменно волнующую ребят: сколько раз подряд можно нырнуть? Иоффе настаивает, что настоящий парень может нырнуть сто раз. После того как это утверждение вызвало презрительный смех, Иоффе первым прыжком открыл счет «настоящего парня». Косые вечерние лучи солнца уже не грели. Еще прыжок и еще... Усталость сковывала руки и ноги, кожа посинела от холода, а прыгать нужно было еще тридцать раз. Одобрительные крики отметили победу, только когда солнце погасло за ветлами, а с противоположного берега реки потянулась голубая дымка тумана. Измученный и продрогший Иоффе, как настоящий парень, вылезал из воды в сто второй раз. Но победа эта была куплена ценой последовавшего воспаления легких. Нужно признать, что в дальнейшем выдержка и упорство в стремлении к поставленной цели, характерные для Иоффе, получали более продуктивное направление...

Не все преподаватели училища были на одно лицо. Нашлись и исключения. Через посредство одного такого «исключения» Иоффе соприкоснулся с коренными проблемами мироздания. В детстве и в юности первая встреча с наукой — это почти всегда встреча с ярким, интересным человеком или с его зажигательным словом на журнальной или книжной странице. Первым, кто приоткрыл мальчику дверь, за которой находился обетованный край безграничных исканий, был скромный учитель физики роменского реального училища Милеев. Ничем иным не запомнившийся, учитель физики был рядовым, но, по видимому, отнюдь неординарным тружеником на ниве просвещения. Для Него не прошло даром знакомство с Менделеевым, проследшее в студенческие годы. Лекции великого естествоиспытателя, по свидетельству современников, не блистали ораторскими эффектами, но они были проникнуты той подлинной страстью познания, от которой, по выражению одного из слушателей, «холодела спина». Милееву повезло так же, как, впрочем, и его ученикам: в роменском реальном училище нашлось немало пылких умов, готовых вспыхнуть от соприкосновения хотя бы даже с отсветами волшебного пламени. Из числа «роменцев», помимо Иоффе, заметный след в науке оставил еще один его одноклассник — известный впоследствии теоретик в области прикладной механики Степан Прокофьевич Тимошенко.

Немногочисленные плодоносные семена падали на благодатную почву. Однажды на уроке физики учитель рассказал, что распространение света объясняется световыми колебаниями в эфире, быстро передающимися от одной частицы к другой и, наконец, достигающими глаза, вызывая ощущение света. Эти колебания заинтересовали Иоффе. Придя домой, он пытался наглядно представить себе свет лампы и передающие его эфирные колебания в комнате. «Но вдруг мне пришло в голову, — рассказывает он, — а как же свет солнца и отдельных звезд, как он дохо-

дит до нас? Ведь нельзя же себе представить, что в безграничных пространствах вселенной, где ничего нет, все же остается эфир для передачи нам световых колебаний. А за пределами вселенной, куда не проникает ни один световой луч, — неужели и там есть эфир, который миллиарды лет ничем себя не проявляет, но должен там быть на случай, если туда попадет свет, только потому, что иначе нам этого света не объяснить?» Мысль, что все мировое пространство заполнено веществом, единственное назначение которого облегчить нам понимание распространения света, если он там пройдет, — эта мысль казалась юному мыслителю абсурдной.

В училище было не принято говорить с учителями о том, что интересует ученика. На этот раз вопреки кодексу вражды с преподавателями Иоффе принес свои недоумения в школу. Он узнал от учителя, что абсурд, до которого он додумался, есть убеждение физиков. Да, эфир существует везде, но колебания его имеют место лишь там, где есть свет. Можно ли еще по какому-нибудь признаку, кроме света, узнать, что между звездами есть эфир? Нет, другие признаки отсутствуют.

Заметим, что Милеев был не только учеником Менделеева, но и прилежным последователем Хвольсона, автора знаменитого «Курса физики», на котором воспитывалось несколько десятков студенческих поколений. Этот фундаментальный курс содержал в себе прилежно составленную сводку всего, что было опубликовано по физике. Автор этого обширного — пятитомного! — труда проявил не только прилежание, но и поразительную последовательность. Ни в одном разделе своего курса он ухитрился ни разу не высказать собственной точки зрения ни по одному вопросу. Сама по себе эрудиция, не озаренная творческим пламенем, превращается в косную силу. Много позже, уже тогда, когда гипотеза светового эфира была взорвана работами Эйнштейна и новыми представлениями о квантах света, в знаменитом хвольсоновском

курсе по-прежнему приводились подсчеты эфира в объеме земного шара: его вес оказывался равным 13 килограммам...

Иоффе не был удовлетворен полученной справкой. Здравый смысл протестовал против представления о том, что свет распространяется через эфир. Но как же? Нужно было придумать какое-то другое объяснение. Поиски таких ответов на загадки природы представлялись заманчивым делом высшей школы. Она рисовалась в виде таинственной и всеобъемлющей лаборатории, куда можно безбоязненно прийти со всеми вопросами, и все они найдут там правильное разрешение.

Постепенно число таких вопросов росло.

Ну, хорошо, думал он, предположим, что учитель физики прав и действительно колебания светового эфира различной частоты создают разные световые ощущения в глазу, подобно тому как колебания различных «струн», натянутых в улитке внутреннего уха, дают ощущение реальных звуков. Но есть еще одна область восприятия, столь же богатая оттенками и еще более загадочная. Различных запахов не меньше, чем цветов и звуков. Обоняние — это «осозание на расстоянии» — объясняется химическим воздействием частиц пахучего вещества на нервные клетки в слизистой оболочке носа. Их чувствительность поразительна. Одна двадцатипятимиллионная часть грамма розового масла уже воспринимается как запах розы, в то время как никакими химическими средствами не обнаружить в воздухе и следов этого вещества. Не менее удивительна и способность обонятельной системы разделять запахи. Тонкий аромат дорогих духов можно сравнить по сложности с симфонией красок на картине художника или с музыкальным произведением композитора. Есть специалисты — «дегустаторы запаха», которые способны мгновенно разложить эту ароматическую «картину» на составные части, исследовать и оценить каждую часть в отдельности. Как это возможно? Ведь нет же особых нервов для

каждого из многочисленных запахов! Нет ли сходства в механизмах запаха и света? — задает себе будущий физик далеко не наивный, даже с точки зрения современных знаний, вопрос. Не порождается ли запах колебательными движениями, которые действуют на нервы, создавая в них разнообразные ощущения? Если это так, что это за колебания? Луч света не пахнет. «С другой стороны, — пишет Иоффе в своих автобиографических заметках, — я прочел в книжке Тиндаля о теплоте, что ничтожная примесь пахучих веществ к воздуху в десятки и сотни раз увеличивает поглощение инфракрасных волн, которые представляют собой колебания более медленные, чем видимый свет. А известно, что поглощается газом лишь то, что он сам испускает». И вот готова первая научно-фантастическая гипотеза, что механизм, который создает ощущение запаха, — это такие же инфракрасные колебания, как и световые, но еще более медленные.

Колебания чего? Здесь юный физик снова наталкивался на эфир, в существование которого он не верил, и ему очень хотелось без него обойтись.

В этой рано проснувшейся жажде познания было проявлено не то любопытство, которое вполне удовлетворяется поверхностным ознакомлением со случайно заинтересовавшим предметом. В размышлениях будущего друга Рентгена и организатора физики в великой стране легко различить настоящую любознательность, настойчивую и целеустремленную.

В сущности, технологический институт, куда вместо университета вынужден был поступить воспитанник реального училища, совсем не был приспособлен для решения проблем, примеры которых мы только что привели. Однако выбора не было. Рассматривая документы Иоффе, директор Петербургского технологического института случайно не заметил, что заявление о желании поступить в институт написано юношей, которому еще не исполнилось 17 лет, и Иоффе сделался студентом-технологом.

Что такое «чистота эксперимента»? «Микроскопические работы». Сборка моста. Лестное предложение. Иоффе не будет инженером. Лаборатория в коробке от какао. К Рентгену. X-лучи. Ученый, который не любил своего великого открытия.

Однако в конце концов Иоффе так и не стал инженером.

В институте его мало привлекали аудитории, в которых читались технические лекции. Так это было или иначе, но он обнаружил вполне достаточно свободного времени, чтобы начать «испытывать природу». Маленькая комната, в которой он жил, была превращена в лабораторию. Главным прибором исследований послужила коробка от какао, в которую Иоффе положил кусок мускуса. В крышке было вырезано отверстие, закрытое пластинкой каменной соли. Если острый запах мускуса вызывается, как предполагал Иоффе, своеобразными инфракрасными лучами, то для этих лучей мускуса каменная соль должна быть прозрачной. Все щели были замазаны воском, но запах мускуса отчетливо продолжал ощущаться. Как ни странно, это обстоятельство не обрадовало, а скорее смутило Иоффе. На самом деле в этот момент решающее испытание держали не кусочек мускуса и не пластинка каменной соли, а сам экспериментатор. И он блестяще выдержал это испытание, признав, что опыт ему не удался. Как легко было пойти на поводу у готового вывода, который сам просился в руки! Но юный естествоиспытатель требовал большего: безусловной уверенности в том, что запах проникает именно сквозь пластинку каменной соли. Увы! Именно этой уверенности у него не было. Так он впервые на практике столкнулся с тем, что физики называют «чистотой эксперимента», с необходимостью обеспечить однозначные результаты, исключить возможность различного их столкновения. «Я увидел, — вспоминал впоследствии Иоффе, — что слишком беспомо-

щен и в физике и в физиологии, чтобы добиться убедительного ответа; а чтобы продолжать искать, надо было продолжать учиться».

В области физики ближе всего к проблеме, волновавшей воображение молодого экспериментатора, была отличная книга английского физика Тиндаля о теплоте. Там излагались опыты с инфракрасными лучами. Тиндаль утверждал, что их поглощение усиливается в десятки и даже сотни раз, когда в сосуд, через который проходит поток таких лучей, помещают пахучие травы. А в книге французского парфюмера Пьеса утверждалось, что из запахов различных цветов — розы, жасмина, фиалки — можно составить гамму, отвечающую двум октавам. Сочетание запаха, утверждал Пьес, дают ароматные духи, когда, подобно звукам, они создают созвучный аккорд; сочетание же звуков, вызывающих консонанс, отвечает смеси с отталкивающим запахом. Сопоставляя данные Тиндаля и Пьеса, Иоффе находил в них подтверждение своих представлений о связи запаха с инфракрасными колебаниями.

Впоследствии Иоффе не раз возвращался к проблеме, волновавшей юношеский ум. Над ней до сих пор безуспешно бьются биофизики, разделяя свои неудачи с физиологами. Мы еще до сих пор не имеем законченной теории, раскрывающей механизм восприятия ароматов. Новый свет на это пролили данные о частоте колебаний органических молекул. Так же как глаз воспринимает только световые волны определенного интервала частот, так и в определенных химических соединениях запахом обладают, по-видимому, только молекулы с определенным интервалом собственных колебаний в инфракрасной области.

Однако, рассказывая о своих жизненных встречах, Иоффе не мог припомнить, чтобы когда-либо обсуждал с товарищами интересовавшие его вопросы об эфире и природе запаха. В студенческом окружении Иоффе бушевали в то время политические страсти.

Что касается профессоров, то ему также ни разу не пришло в голову с ними посоветоваться: они казались ему чиновниками и узкими специалистами-техниками. «Главный физик» технологического института Николай Александрович Гезехус, автор небезынересных исследований по электризации трением, входил в состав учебной администрации, рассматривавшей дела студентов во время забастовок и демонстраций. Дружеское общение с ним для крамольного студента исключалось.

Впрочем, к чести Гезехуса, нужно заметить, что значительно позже прогрессивная научная молодежь, группировавшаяся вокруг физико-химического общества, всегда находила с его стороны поддержку. Когда в 1911 году общество выступило с резким протестом против разгрома Московского университета министром народного просвещения Кассо, Н. А. Гезехус, единственный из старых членов общества, присоединился к молодежи. Остальные «самоустраились». Тогда же Гезехус возглавил редакцию единственного издававшегося в России «Физического журнала». Гезехус дожил до глубокой старости и умер в 1920 году.

Волей-неволей в дремучий лес природоведения приходилось пробираться в одиночестве. При всей своей кажущейся незначительности цель, поставленная перед собой Иоффе — во что бы то ни стало раскрыть физическую природу запаха, — потребовала немало настойчивости и выдержки. Иоффе понял, что для осуществления подобных исследований, помимо физики, требовалось знание физиологии. В этом отношении обстоятельства складывались благоприятно. В Петербурге гремела слава школы физиологов, организованной замечательным естествоиспытателем и врачом, изгнанным за передовые политические взгляды из Казанского университета, Петром Францевичем Лесгафтом. Иоффе повадился ходить на его воодушевленные лекции. Но при этом допустил некоторую бестактность: он являлся на них в форме сту-

дента технологического института. Лесгафт заметил усердие молодого технолога и... предложил ему довольствоваться своим институтом, освободив место в аудитории для тех, кто не в состоянии нигде учиться (на лекции Лесгафта попасть было не так легко).

«Пришлось покориться, — с улыбкой рассказывал Иоффе. — Я завидовал более предусмотрительным товарищам, которые ходили на лекции, не надевая студенческой формы».

Впоследствии Иоффе близко сошелся с Лесгафтом, который пригласил его читать лекции по физике в созданной им школе. «И тогда, — вспоминал Абрам Федорович, — я еще раз убедился, как много потерял, послушавшись его и прекратив посещение лекций. Лесгафт заражал слушателей энтузиазмом. Перед ними раскрывались перспективы науки, свободной от полицейского гнета, от религиозного дурмана. Ученый с увлечением показывал проявление механики в движениях мышц; законов физики — в физиологии органов чувств; химии — в биологических процессах. Все науки объединились в одно стройное целое».

Пришлось ограничиться изучением печатных курсов по физиологии человека, и в частности физиологии органов чувств.

Вскоре открылась еще одна лазейка в области практического эксперимента.

Иоффе облюбовал одну из лабораторий, которая почти не посещалась студентами. Это была микробиологическая лаборатория (в институте читался краткий курс микробиологии, видимо, в приложении к производству пива). Ему удалось там приобрести себе заветный уголок, в котором в нескольких сотнях пробирок плодились бактерии. Возраст экспериментатора извиняет некоторую непоследовательность увлечений... Целью никем не контролируемых опытов молодого технолога было выращивание чистых культур «микроскопических роботов», разные семейства которых могли выполнять всевозможные поручения — от заквашивания молока для приготовления сыра до производства белка из древесных

опилок. Они действовали при этом с поразившей его воображение титанической производительностью. Эта производительность еще более возрастала под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Этим опытам суждено было прерваться вместе с учебными занятиями. Естествоиспытатель был исключен из института за участие в студенческой забастовке, а за время его вынужденного отсутствия выращенные терпеливым трудом чистые культуры высохли и погибли.

Впрочем, вскоре Иоффе было разрешено возвратиться в институт, хотя он и остался под надзором полиции.

Первые шаги на инженерном поприще натурфилософа, размышлявшего над проблемами мирового эфира, и микробиолога-любителя состоялись еще до окончания института. Они не были неудачными.

Для прохождения первой своей практики Иоффе был направлен на сборку железнодорожного моста на линии Полтава — Ростов. Сборкой должен был руководить специально назначенный инженер. Неизвестно по какой причине, но инженер не приехал на стройку. Восемнадцатилетнего практиканта, целиком принявшего на себя руководство работами, можно было бы в связи с этим обвинить в излишней самонадеянности. Но как показал опыт, эта уверенность в себе не была безосновательной.

Перед Иоффе возникла банальная задача, связанная с простейшими расчетами: надо было забить положенное число свай, соорудить на них громоздкие и надежные подмостья и затем дать свободу действия сборщикам, которые должны были уложить на эти подмостья металлические фермы и соединить их одну с другой. Затем подмостья, сыгравшие свою роль, можно было убрать, и мост должен был повиснуть на собственных металлических скрепах. При наличии грамотного и толкового мастера-десятника сборка заранее рассчитанных деталей моста не могла представить больших затруднений даже для на-

чинающего инженера. Но и среди начинающих инженеров встречаются люди особого склада, которые затруднений не только не избегают, но, наоборот, ищут их и в борьбе с ними видят главное удовлетворение. К их числу принадлежал практикант-технолог, которому задача сборки моста обычным способом показалась слишком обыденной. Большие затраты труда, времени и материала на сооружение подмостьев обеспечивали ее решение наверняка. Но Иоффе хотелось обойтись без этих затрат, и он воспользовался своими полномочиями главного строителя для того, чтобы вопреки обычаю собирать мост не над рекой, а на берегу. Он использовал для этого ближайшую насыпь, рассчитав, что вместо сооружения подмостьев гораздо проще сразу перетянуть уже готовый мост весом в 200 тонн на свои устои по каткам. Однако выигрыш в простоте достигался за счет повышения точности всей подготовительной работы. Малейшая несогласованность в расчетах привела бы к полной неудаче: мост мог упасть в воду. Но эксперимент удался: мост послушно стал на свое место. Оказалось, что риск был вполне оправдан; впоследствии по этому пути пошли многие, и это может звучать как высшая похвала действиям начинающего инженера. В них отчетливо проявился научный подход к решению поставленной жизнью проблемы. К этому эпизоду приложимо замечание одного из крупных советских физиков, сказанное много лет спустя по поводу отчета физико-технического института, созданного тем же Иоффе: «В громадном большинстве случаев всякое производство рутинно. Вложение в него научной свежей мысли <...> почти всегда заменит дорогую и медленную работу производством легким и быстрым». Это одна из формулировок принципа, составляющего сущность приложения к жизни большинства научных идей. Он всегда был близок интересам Иоффе как физика.

Через два года Иоффе получил предложение руководить сборкой и установкой всех

железнодорожных мостов на Сибирской железной дороге, связывавшей Дальний Восток с европейской Россией. Но к этому времени, кроме удачного строительного, у него был уже печальный организационный опыт, почерпнутый как из первой, так и из второй летней практики на Ижорском заводе.

Когда Иоффе уже собрал одну часть двухпролетного моста на близлежащей насыпи и в готовом виде перекатил ее на устои, насколько не подозревая, что совершил один из технических подвигов, которым в истории строительной техники посвящено немало восторженных страниц, в самой конструкции моста обнаружились странные недоделки. Расстояния между устоями оказались на полметра меньше, чем длина металлической конструкции моста. Иоффе распорядился обрубить консоли, заканчивающие пролеты; вместе с тем он обратил внимание, что на среднем быке, где оба пролета соединялись, чугунные подушки, на которые опирались пролеты, слишком близко подходили друг к другу и к краям камня, в который они были врезаны. Молодой технолог боялся, что оставшиеся полосы камня сорвутся и мост рухнет. Он предложил исправить дело, положив между двумя пролетами чугунную болванку. Но здесь он натолкнулся на загадочное сопротивление начальника дороги. Строптивный студент настаивал на своем, и в конце концов начальник в раздражении объяснил ему, что тот не должен совать свой нос в предметы, которые его не касаются. «Если понатыкаете всюду чугуна, то начальнику дистанции не останется более ничего ремонтировать и жить ему придется на одно жалованье».

Так проходило ознакомление с устоями российской действительности, в которой казенный воробей прикармливал не одного чиновничьего коня.

Другой урок Иоффе получил через год, когда во время студенческой практики на Колпинском (ныне Ижорском) заводе соорудил цех гидравлического прессования. Завод принадлежал Морскому министерству и при-

числялся к Управлению кораблестроения и водоснабжения, начальником которого был адмирал Верховский. Адмиральские посещения завода происходили так: рабочие перегонялись из всех цехов в тот, который Верховский собирался осмотреть. Так демонстрировалась «кипучая» деятельность завода. Это была чистая видимость, ибо тот же Верховский запретил оплачивать сдельщину сверх установленной им максимальной ставки, а эту ставку успевали выработать с понедельника до среды. Поскольку дальше приходилось работать бесплатно, вместо этого именно в среду неожиданно ломались станки, и с четверга до субботы цехи простаивали, а ремонтом станков занимался специальный обширный цех. Так шло из недели в неделю.

«На моем участке, — вспоминал Иоффе, — во время посещения адмирала медленно подымались из реки по двум временным рельсовым путям присланные из Петербурга конструкции. «Кипучая деятельность» показана не была, и я был вызван к адмиралу для должного внушения, после которого мне было приказано передать директору завода, что адмирал решил наказать завод за вялую работу: он потребует выплаты неустойки за опоздание. Оказалось, однако, что вместо опоздания было опережение, а заказ был получен для завода адмиралом за взятку в пять тысяч рублей».

На другом заводе — Путиловском — система выплаты зарплаты была хотя и не столь бессмысленной, но также крайне тяжелой для рабочих. Еще один конфликт — и Иоффе оставил работу на заводе в знак протеста. Для того чтобы снова не попасть в зависимость от административного производства, Иоффе согласился принять новое предложение только на том условии, чтобы никто не вмешивался в организацию работы. Завод, выполнявший подряд на изготовление мостов, на это не пошел.

Попытки одиночными усилиями преодолеть эксплуататорские приемы рабочей политики

на заводах выглядели достаточно безнадежно. Нежелание мириться с этим определило отказ Иоффе от инженерной деятельности.

Занятия наукой в пустынных лабораториях высшего технического учебного заведения оказались несбывшейся мечтой. Попытки произвести исследования природы запаха при помощи коробки от какао, каменной соли и куска сургуча показали, что в такой обстановке убедительных результатов получить нельзя. Но дело, конечно, не только в обстановке: умению ставить опыт нужно учиться — это особое искусство. К этой мысли он пришел достаточно рано, чтобы не избрать пути талантливой дилетанты. И он нашел единственный выход в том, чтобы учиться эксперименту в той именно области, в которой он имеет наибольшее значение и лучше развит, — в области физики.

Но как шагнуть от техники к физике или физиологии? Поскольку поступление в университет с дипломом реального училища исключалось, у друзей Иоффе возникла блестящая идея. У молодого технолога за время его весьма успешной, хотя и очень короткой, инженерной карьеры скопилось немного денег. А что, если обратить их на поездку в какой-либо из крупных физических центров Европы и поучиться физическому эксперименту у настоящих его мастеров? Тогдшний президент Палаты мер и весов, ученик и соратник Менделеева Николай Григорьевич Егоров, у которого Иоффе решил попросить совета, не только горячо поддержал его, но и дал в качестве рекомендации отписки своих научных статей с посвящениями выдающемуся немецкому физики Рентгену. К этим рекомендациям присоединился и Н. А. Гезехус.

В декабре 1902 года Иоффе приехал в Мюнхен.

Что он привез туда, кроме тощего кошелька с запасом средств для полуголодного полугодового существования?

«Книга Бельтова (Г. В. Плеханова) о диалектическом материализме, некоторые главы

«Капитала» и дискуссии в Вольном экономическом обществе, — вспоминал Иоффе, — заложил в моем сознании фундамент марксистского понимания не только окружающей жизни, но и науки. Помнится, что термодинамику и в особенности статическую физику я воспринимал в Мюнхене как конкретное развитие идей диалектического материализма; вспоминаю, какими мистическими и оскорбительными для человеческого разума представлялись мне книги Дюгема и Маха. Меня увлекала идея далеко идущего анализа физической природы зрения, слуха, запаха и вкуса, создающих безграничное многообразие ощущений путем сочетания колебаний. Заманчивой загадкой были световые колебания без эфира».

Лаборатория Рентгена в Мюнхене находилась в это время в зените мировой славы. Несколько лет назад, находясь еще в Вюрцбурге, Рентген сделал исключительно важное открытие, заметив свечение экрана вблизи стеклянной трубки при прохождении через нее катодных лучей. Свечение не прекратилось после того, как трубка была окружена черной бумагой или черным сукном. Это наблюдение определило развитие физики на многие десятки лет.

Заметка Рентгена об этом своей лаконичной ясностью прекрасно характеризует весь жизненный стиль этого замечательного экспериментатора. Он писал: «...По поводу этого явления проще всего предположить, что черный картон, непрозрачный ни для видимых, ни для ультрафиолетовых лучей солнца, пронизывается каким-то агентом, вызывающим энергичное свечение. Для краткости я буду употреблять для этого агента выражение «лучи». Для отличия от других лучей я буду называть их X-лучи».

В течение последовавших трех лет Рентген исчерпывающе разработал свою находку. С пронизательностью большого ученого он сразу заметил все основные направления, по которым его открытие практически используется в науке и технике и до наших дней.

Во втором и третьем сообщениях в 1896 и 1897 годах Рентген извещал, что новые лучи способны создавать «теневые картины, получение которых доставляет особого рода удовольствие». Среди этих картин были «фотографии запертого в деревянном ящике набора разновесок», затем «кусочек металла, неоднородности которого делаются заметными», и, наконец, «темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки», поставленной между разрядной трубкой и фотопластинкой. Из этих первых опытов выросла вся современная металлургическая рентгенография, а также медицинская рентгеноскопия, которая знаменовала переворот в хирургии, физиологии и т. д.

За один только 1896 год об открытиях Рентгена было напечатано свыше тысячи статей. Он был избран почетным членом почти всех научных академий мира, получил первую Нобелевскую премию, которую пожертвовал на стипендии при университете. Обнаруженные им лучи положили начало всей современной электронике; из них родилась новая физика атома. Но странное дело — Рентген сторонился ее. Ученый классической школы, он всячески избегал каких бы то ни было умозрений, признавая за фактами только их осязаемое значение, и насколько можно уклонялся от их теоретического истолкования. Как это ни парадоксально звучит, но можно было думать, что он не любил своего великого открытия, которое дало толчок к поискам новых таинственных лучей и попыткам теоретического объяснения происхождения и загадочной силы уже открытых X-лучей. Рентген готов был считать всякую теорию по этому вопросу преждевременной. Достаточно сказать, что в Мюнхенском институте было запрещено употребление слова «электрон», как новшества, не признанного его главой.

И вот к такому человеку отправился молодой русский инженер, который начал размышлять над физическими теориями еще на парте реального училища.



100 работ в месяц. Неподатливая кривая. Честность перед самим собой — главное достоинство экспериментатора. «Что вы думаете о происхождении энергии радия?» Разногласия. Исследования памяти в тале о том, что оно испытало в прошлом. Явление, которое не существует.

Немецким языком Иоффе владел ровно в той мере, в какой это полагается реалистам, а им полагалось знать его не очень много... По прибытии в Мюнхен он испытал свои знания в беседе с отельной прислугой и убедился, что эта беседа была лишена всякого оживления. Поэтому, прежде чем являться к знаменитому физику, он решил немного потренироваться в беседах на научные темы и для начала пошел в институт Рентгена узнать приемные дни директора. Его встретил ассистент, который из нескольких прекрасно задуманных вступительных фраз Иоффе понял только одно слово: «Рентген». И так как это был день, когда директор принимал у себя посетителей, Иоффе был препровожден прямо к нему в кабинет.

Он был смущен. Он приехал в Баварию изучать вопрос о природе запаха. Но он не имел ни малейшего понятия, как рассказать о своей цели. Может, это было и к лучшему.

На основании тех скромных сведений о посетителе, которые сумел извлечь из него терпеливый и доброжелательный Рентген, Иоффе был направлен в студенческий практикум при институте, получив задание проделать все учебные экспериментальные работы, входящие в обычный университетский курс, и тем самым освоиться с техникой физического эксперимента.

По счастью, в это время были каникулы, и Иоффе, не расставаясь со словарем, скоро изучил терминологию физических учебников. Это позволило ему объясняться на научные темы. Он поставил рекорд, выполнив в течение месяца сто учебных работ, перечисленных в годичной программе практикума. Но, вероятно, одного этого было бы еще не-

достаточно для того, чтобы Рентген серьезно обратил на него внимание. Их сближение состоялось по другому поводу.

В числе задач практикума предусматривалось небольшое исследование, при выполнении которого, следуя проторенными путями, надо было подтвердить один из классических законов физики, относившихся к анализу спектров. Результаты измерений, выполненных Иоффе, не совсем точно укладывались в общую закономерность. В одном злополучном пункте данные эксперимента расходились с предугаданной теорией. Полученные экспериментальным путем данные наносились на график и затем соединялись так, чтобы получилась плавная кривая. Однако одна непокорная точка никак не хотела «укладываться» в кривую. Она все время «выскакивала». В таких случаях у экспериментатора возникает большой соблазн пренебречь этим маленьким отступлением и выровнять кривую, оставив в стороне стропитивую точку. Но поступить так молодому исследователю мешала природная добросовестность. Он снова и снова проверял измерения, повторял расчеты; проклятая точка продолжала торчать там, где ей совсем не было положено находиться. Молодой ученый безуспешно бился над тем, чтобы устранить это расхождение, когда к нему подошел Рентген. Иоффе рассказал ему о своих затруднениях. Рентген решил сам повторить измерения, чтобы показать пример молодому практиканту. Велико было его удивление, когда оказалось, что результаты, полученные Иоффе, полностью совпадают с его собственными, а главное, и те и другие одинаково ошибочны. В конце концов выяснилось, что ошибка заключалась не в эксперименте. Во всем была виновата неправильная таблица, которой пользовался Иоффе. Рентген отметил точность измерений начинающего, которую он сам не смог превзойти. Но больше всего содействовало привлечению его симпатии к молодому экспериментатору то, что тот не поддался соблазну подставить на заранее известное место непокорную точку

экспериментальной кривой, а настойчиво искал причин ее отклонения.

С этого дня отношения между руководителем лаборатории и молодым практикантом резко изменились. Рентген все чаще останавливался у столика Иоффе и с большой доброжелательностью давал различные указания, знакомясь с результатами эксперимента. Он мог простить любую погрешность, неловкость, но выше всего он ставил честь естествоиспытателя. Когда физик «испытывает природу», ставит ей вопросы, получаемые им ответы — это и есть результат поставленного им опыта. Он обязан быть исключительно придирчивым к себе и точным в оценке полученных данных. Во всех случаях он бескомпромиссно борется за истину. Так понимал свое призвание ученый Рентген. Молодой русский пришелся ему по душе.

По окончании практики Иоффе получил почетное поручение: сравнить новый метод измерения одного важного физического показателя, характеризующего изоляторы, со старым и установить пределы точности обоих методов. Это поручение само по себе представлялось высоким знаком доверия.

К маю 1903 года достиг своего максимального напряжения поток новостей, исходящих из лаборатории Пьера и Мари Кюри.

Все началось со спора вокруг тех же самых таинственных икс-лучей. Как уже говорилось, Рентген знал об этих лучах очень много, почти все. Он знал, например, и то, что они способны заставить многие вещества светиться в темноте. Этим пользуются и сейчас во всех наших лечебницах. Светящимся под лучами рентгена веществом покрывают экран. Если стать перед этим экраном, можно увидеть тень, которую бросает ваш собственный скелет. Врач на таком экране видит кость, изувеченную при переломе, и благодаря этому может соединить ее так, чтобы она правильно срослась.

Эти лучи, пронизывающие насквозь живое тело, как бы не замечая одежды, беспрепятственно пробираются через любую упаковку

к фотопластинке. Добравшись до нее, они ее портят без остатка.

Все это знал и предсказывал Рентген. Но некоторые ученые с ним спорили. «На фотографические пластинки, — говорили они, — действуют не икс-лучи, а излучение светящегося экрана».

— А вот посмотрим, так это или не так, — решил французский физик Анри Беккерель. И он начал свою проверку.

Известно, что многие вещества сами светятся, побывав не только под рентгеновыми лучами, а просто под лучами солнца. «Если засиявшее под действием солнца вещество падает на фотопластинку, значит, здесь икс-лучи ни при чем», — думал Беккерель. Для своих опытов он брал сильно светящуюся в темноте после облучения урановую соль, клал ее на закутанную в черную бумагу фотопластинку и оставлял на солнце. Опыт удался, пластинка засвечивалась.

Но однажды он для проверки проявил пластинку, на которой урановая соль лежала в полной темноте в шкафу во время плохой погоды. И эта пластинка тоже была засвечена!

Если бы Беккерель не понимал ничего в фотографии, дело ограничилось бы взбучкой помощнику за небрежное обращение с фотопринадлечениями. Беккерель, однако, понимал, что при неосмотрительном обращении пластинку можно засветить с одного какого-нибудь края, но посередине — так, чтобы края остались целыми, — невозможно! Здесь виновата урановая соль.

Так Беккерель открыл таинственное излучение урановой соли, которая сама по себе действовала на фотопластинку так же, как и рентгеновы лучи. Это загадочное излучение было названо радиоактивностью от латинского слова «радиус» — «луч».

«Подумайте, какой счастливый случай, что Беккерель взял именно урановую соль», — удивлялись потом некоторые рассказчики этой истории. На самом деле случайной здесь была только дата исследования — 1 марта,

сумрачное пасмурное утро марта 1896 года, а поиски шли уже давно и велись многими учеными над самыми разнообразными веществами. Не Беккерель, так другой скоро известил бы мир о том же самом открытии.

Дорога открылась, только никто не знал, куда она ведет. На этот неизвестный путь смело вступила никому не ведомая молодая исследовательница, полка Мария Склодовская. Она попросила разрешения у Беккереля основательно изучить таинственные лучи, испускавшиеся ураном. Беккерель обрадовался этому предложению. Ему нужны были помощники, которые отважились бы заняться разгадкой открытого им таинственного явления.

Склодовская всего четыре года назад приехала в Париж из Варшавы, которая тогда принадлежала России. Она бежала от полиции, так как, подобно Иоффе, участвовала в революционных кружках. Она мечтала учиться. В России для женщины это было невозможно. Приехав в Париж, она поселилась на маленьком чердачке, в мансарде; и часто весь ее обед составлял черствый маленький хлебец. Она бралась убирать университетские лаборатории и мыть в них посуду после опытов, лишь бы иметь возможность, засунув озябшие руки в старенькую муфту, ходить на лекции. Но вот университетский курс завершен. Мария начала первую свою самостоятельную научную работу. Казалось, трудности кончились.

В действительности главные испытания только начались.

С помощью своего молодого мужа, тоже ученого, Пьера Кюри, исследовательница соорудила прибор, который мог измерять силу урановых лучей. Производя свои измерения, она неожиданно натолкнулась на нечто необычайное: некоторые образцы руды, из которой добывался уран, испускали гораздо больше таинственных лучей, чем сам уран в чистом виде. Что за нелепость?

Объяснить это можно было бы только тем, что в руде, кроме урана, таился еще какой-

то излучающий элемент, несравненно более сильный, чем уран, никому еще не известный элемент...

Пьер и Мари Кюри назвали его радием, что по-латыни означает «луч». Предстояло выделить этот элемент, о присутствии которого они только догадывались, в чистом виде. Не легкое дело! Тонны радиевой руды нужно было переработать, чтобы собрать хоть сколько-нибудь заметное количество радия. А где ее взять?

То, что супруги Кюри называли радиевой рудой, было, по существу, отбросами завода, добывавшего уран в Иохимстале (тогдашней Австро-Венгрии). Ведь еще никто не подозревал, что после извлечения урана на заводской свалке остаются еще какие-то бесконечно более мощные, чем сам уран, лучеиспускающие элементы.

Австрийское правительство, у которого исследователи попросили тонну этих отбросов, милостиво соизволило удовлетворить их просьбу. Никогда еще так дешево никто не приобретал славы покровителя наук!

Эту тонну руды, драгоценной только в глазах Мари Кюри и ее мужа, свалили в холодный сарай во дворе школы, где читал лекции Пьер. Этому полуразвалившемуся сараю суждено было стать неудобной колыбелью великих открытий. Прошел год напряженного труда, и к тому времени, когда иссякла тонна руды, накопились сначала сотые, затем десятые доли грамма радия. Уже ясно было, что излучение радия не вдвое, не втрое, не в тысячу, а в миллионы раз сильнее излучений урана.

Теперь уже весь мир облетел слух:

— Женщина-исследовательница открыла новое вещество, которое светит в темноте, делает раны на коже и убивает микробов...

Вот это была новость так новость!

Как бы удивились в то время физики, если бы им сказали, что это же вещество впоследствии расскажет, сколько лет земной коре; оно же даст возможность металлургам

рассмотреть, что делается в сердцевине толстой металлической болванки! Как бы они изумились тогда, если бы им рассказали, что за десятки лет этого замечательного вещества будет собрано всего лишь несколько сот граммов, хотя на земном шаре нет места, где бы его не было!

Как бы они поразились в то время, услышав, что изучение испускаемых радием лучей откроет ученым тайну строения атомов — основных кирпичиков, из которых сложены все окружающие нас тела и мы сами! Ведь в дальнейшем оказалось, что мощное излучение радия, которое лечит рак, есть не что иное, как осколки взрывающихся один за другим атомов радия. По этим осколкам удалось догадаться, из чего сделан и как устроен сам атом.

Но такие знания сразу не даются. Над их завоеванием должны были десятки лет работать многие ученые во всех странах мира.

Одно из сообщений, опубликованных Пьером Кюри, содержало сведения о том, что радий якобы выделял при излучении теплоту. Иоффе взялся за проверку этого сообщения. Сам по себе факт, сообщенный Кюри, представлялся несомненным: та сторона стеклянной трубки, в которой находилась крупинка радия, всегда оказывалась теплей. Но Иоффе предстояло впервые количественно измерить выделяемую радием энергию (о ее ядерном происхождении в то время еще никто и не подозревал). Он заказал два маленьких сосуда с полыми стенками, между которыми искусственно создавался вакуум, что исключало отвод тепла через стенки сосуда. Мы легко узнаем в этом описании обыкновенный термос — в науке подобные сосуды носят имя их изобретателя английского физика Дьюара. Маленькие дьюаровские сосудики были наполнены маслом. В один из них была помещена трубка с радием, а в другой — такая же трубка, конец которой нагревался током, протекавшим по платиновой проволоке. После многократных проб

при помощи термоэлементов Иоффе впервые точно измерил излучаемую радием энергию и установил пределы возможных ошибок.

Но какова же причина самого явления?

Сейчас мы ее уже знаем. Объяснение пришло из опытов гениального английского физика Эрнеста Резерфорда, доказавшего, что радиоактивные излучения — это вполне материальные вестники перестроек, происходящих в атомных ядрах, о существовании которых до этого никто не подозревал. Рентген и Иоффе были далеки от этого предположения, и не будем их за это упрекать. Удача исследователя, подобная той, которая посетила Резерфорда, — это очень редкая, случайная добыча охотника. Чаще всего это закономерные результаты целеустремленных поисков, которые могут не заключать еще элемента предвидения, но логикой неопровержимых фактов приводят исследователя к пониманию действительной картины изучаемого им явления. Здесь очень многое зависит от исходных предпосылок, от направления поисков. Резерфорд изучал самое явление радиоактивности. Рентген и Иоффе задумывались лишь над его следствиями. Они искали подходящих аналогий в том, что уже известно. А известно было, например, что при определенных изменениях магнитного поля магнитные материалы нагреваются. Не действует ли и здесь подобный же механизм?

Иоффе тотчас же изготовил батарею из 600 чередующихся элементов: железо — константан — медь, и, поместив ее в переменное магнитное поле, убедился, что температура спаев железо-константан была выше спаев медь-константан. Должны были пройти десятки лет, прежде чем Иоффе вернулся к этим интересным явлениям, относящимся к области термозлектричества, для новых плодотворных находок. В то далекое время они ничем не помогли для прояснения интересовавших его явлений.

Но, может быть, на разогрев радия действуют быстрые изменения магнитного поля Земли? Такой эффект в принципе возможен, но только в отношении сильно магнитных тел. Каковы же магнитные свойства радия? Ответить на этот вопрос могла лишь трубка с радием, подвешенным к полюсу мощного электромагнита. Но вместо ожидаемого мощного притяжения трубка вытолкнулась из поля, как оказалось, благодаря диамагнетизму сургуча, использованного для закрепления подвеса.

Во всяком случае, неслыханно высокого ферромагнетизма, которым можно было бы объяснить нагрев радия, «ожидать не приходилось», как дипломатично в таких случаях пишут физики, излагающие отрицательные результаты эксперимента.

Таким образом, более привычные, «близко лежащие» объяснения загадочного нагрева трубки с заключенным в ней радием отпали и на первый план выдвигалась ошеломляющая своей новизной гипотеза Резерфорда. Рентген и Иоффе, идя «от обратного», были полностью подготовлены для ее восприятия.

На семинаре, где Иоффе выступал с сообщением о сенсационных работах Резерфорда, Рентген отказался от своей обычной сдержанности и рассказал несколько занимательных историй о том, как с разных сторон поступали к нему сведения о веществах, излучающих невидимые лучи, и как он доказал ошибочность предложения выдающегося французского математика Пуанкаре проверить, не являются ли рентгеновы лучи радиоактивным излучением стекла вакуумной трубки. Эти воспоминания как бы подводили черту под небольшим, но насыщенным событиями периодом блуждания научной мысли. Они заключали в себе также более или менее убедительный ответ на вопрос, который всегда волновал историков науки: как могло случиться, что такой блистательный экспериментатор, как Рентген, оказался, в сущности, в стороне от разгадки явления радиоактив-

ности — явления, которое многими сторонами соприкасалось с его собственным изумительным открытием.

Иоффе дает в своих воспоминаниях такое объяснение этой любопытной психологической загадке. Вслед за открытием рентгеновых лучей, которые, как мы знаем, сам Рентген назвал и всегда называл икс-лучами, последовала целая серия «открытий» новых таинственных лучей, которые вскоре благополучно «закрывались». Несуществующие «г-лучи» были открыты в том же Мюнхенском университете профессором физики Грецем, которому не давали покоя лавры Рентгена. Последними были «Н-лучи» француза Блондло, безжалостно разоблаченные американским физиком Робертом Вудом.

Такие «новости» стекались к Рентгену со всех сторон, и, естественно, всякое новое упоминание о таинственных излучениях вызывало в нем повышенную напряженность, не притягивало к себе, а отталкивало.

Радиоактивность была исключением, но интерес к ней пришел, увы, слишком поздно...

На ошибках тоже можно учиться. Русский практикант начал свой путь в физике совсем не так плохо: измерения тепловой энергии, в которую обращалась энергия радиоактивных излучений, — это был скромный, но фундаментальный вклад в науку. Остальные эксперименты, поставленные с увлечением и изобретательностью, может быть, не дали столь значительных результатов, но продемонстрировали и знание, и хватку, и остроту теоретического анализа. Однако на пути дальнейших успехов возникали неодолимые препятствия: роковое полугодие заканчивалось, тощий кошелек неудержимо пустел.

И тут произошли события, о которых долго говорили в университетских кругах. Чопорный, сухой, нелюдимый Рентген, ограничивший состав своей лаборатории узким кругом совершенно необходимых помощников, по собственному почину предложил молодому русскому стать его ассистентом. Можно было

браться за диссертацию. Можно было забыть на время о материальных трудностях. Но Иоффе больше всего радовало в этом лестном предложении то, что оно заключало в себе признание. Сам Рентген, человек легендарной требовательности и строгости, признавал за ним право заниматься физикой. Это было дороже любых почестей и наград.

И молодой ученый с воодушевлением отдался работе над новой проблемой, которая была перед ним поставлена Рентгеном. В широкий круг физических интересов этого замечательного ученого входили особые электрические свойства некоторых кристаллов, которые получили название пьезоэлектриков. Если пьезоэлектрический кристалл сжать или растянуть, то в нем появляются электрические заряды, и, наоборот, если к нему приложить электрическое напряжение, он сокращается или расширяется. Этим эффектом сейчас широко пользуются в радиотехнике для создания особо чувствительных микрофонов, звукозаписывающих устройств, репродукторов и т. п. У других кристаллов под действием тех же сил менялись оптические свойства. Надо было выяснить, что именно вызывает эти эффекты: упругое напряжение всего кристалла или деформация отдельных его частей. Иоффе должен был решить этот вопрос, воспользовавшись явлением так называемого «упругого последействия». Явление это заключается в странной способности многих тел долгое время хранить следы деформаций, причиненных каким-нибудь внешним воздействием. Следы отдельных деформаций могли накладываться друг на друга. Это было, по выражению самого Иоффе, нечто вроде памяти в теле о том, что оно испытало в прошлом. И самое изменение формы тела, скажем, его растягивание или изгибание под действием внешних сил, например какой-нибудь нагрузки, происходило ни сразу, а также постепенно в течение длительного времени. Тело как бы медленно сжималось и так же медленно расправлялось от сжатия.

Историки науки разным авторам приписывают афоризм, который в одном из своих вариантов звучит так: «Прежде чем измерять, надо знать, что ты измеряешь». Иоффе начал свою работу с попытки наглядно представить себе физическую сущность главного объекта будущих исследований — кристалла.

Для этого он прослушал курс лекций по кристаллографии Пауля Грота — одного из крупнейших авторитетов в этой области. Перед его глазами прошли тысячи однообразных кристаллических конструкций, идеальных геометрических форм, образцы непревзойденной симметрии. Далеко идущая правильность этих конструкций в свое время значительно облегчила химикам понимание атомистического строения материи. Все это говорило о том, что в кристалле находят свое выражение простые и основные закономерности, которым подчиняется строение твердого тела. Но если так, то для «упругого последействия» не было места в этой простой и правильной системе. И все-таки оно существовало! В этом противоречии для Иоффе заключалась неотразимая привлекательность. Что касается Рентгена, то он возлагал на исследование «упругого последействия» практические надежды, которым не суждено было сбыться. Он рассчитывал с его помощью ответить на вопрос о ближайших причинах так называемого пьезоэлектрического эффекта в кварце. Рентген хотел узнать, что вызывает появление электрического заряда в кристалле: приложенная к нему сила или вызванное этой силой сжатие? Но как разделить эти факторы? «Упругое последействие» как будто указывало путь к этому. Если положить на кварцевый кристалл определенный груз, сила его давления не будет меняться. А сжатие благодаря «упругому последействию» может продолжаться еще долгое время. Если электризация при этом будет усиливаться, значит, она зависит от сжатия. Если же она останется неизменной, значит, она определяется не сжатием, а самой силой давления

груза. Таким образом, достаточно проследить образование заряда, связанного с «упругим последствием», и необходимый ответ будет получен.

Иоффе приступил к опытам с глубоким недоверием к самому их замыслу при всей его простоте. Он никак не мог понять, откуда вообще могло взяться «упругое последствие», которое, кстати сказать, обычно наблюдали не на чистых кристаллах, а на телах, состоящих из массы мелких кристалликов, или на шелке и паутине, где сжатие или растяжение производило сложную перегруппировку в расположении самих кристаллов. Что может происходить при сжатии какого-нибудь кристалла? Сближение атомов или молекул друг с другом? Почему же такое сближение завершается не в ничтожную долю секунды, а тянется длительное время? Нет, что-то здесь было не так. Хотя заряды в кварце действительно развивались постепенно на протяжении часов. Серией остроумных опытов Иоффе удалось показать, что причиной затягивания деформации в кристалле были появляющиеся при изменении формы и медленно рассасывающиеся электрические заряды. Достаточно было избавиться от этих зарядов, и затягивания деформации не наблюдалось. Ответ на поставленный Рентгеном вопрос звучал очень неожиданно: все способное быть измеренным «упругое последствие» полностью исчезало.

К сожалению, только специалисты смогут оценить захватывающий интерес экспериментов, проведенных Иоффе, и их остроту, подогреваемую тем, что в процессе работы обозначались резкие расхождения между учеником и учителем. Дело дошло до того, что Рентген отнимал у Иоффе образцы кристаллов, подвергал их неизвестным операциям и возвращал молодому ученому для последующих измерений. В конце концов он убедился в правильности его выводов, среди которых был, впрочем, один, который не встретил ни сочувствия, ни понимания со стороны Рентгена.

Открытия и «закртия». Страна аномалий. Заряды в кристалле. Ошибка Томсона. Иоффе проявляет настойчивость. «Я жду от вас серьезных работ, а не сенсационных открытий». Мистические экспериментаторы. Поучения о вреде скромности. «Разгадка семи мировых загадок». «Аутодафе» многолетних записей.

С доказательства этого вывода, к которому мы сейчас и перейдем, началась поистине сокрушительная работа Иоффе в области изучения свойств твердого тела. Эту работу можно сравнить с расчисткой плодородной земли от бурелома. Но у дровосека есть много преимуществ. Прежде чем срубить дерево, ему не нужно доказывать, что оно загромождает путь. Борьба же с предрассудками в любой области знаний связана не только с открытием новых, но и с «закрытием» многих старых путей, ведущих в тупики ошибок и заблуждений, а на это уходит больше всего времени и усилий.

В изогнутой пластинке кварца электрические заряды заполняют весь его объем. Иоффе пробовал извлечь их оттуда, то есть заставить электрический ток течь через кристалл. Таким образом, он очутился в центре области, которая на мировой карте знаний была обозначена как «Страна аномалий».

Нужно пояснить, что слово «аномалия» на языке науки — это псевдоним незнания. Когда исследователь затрудняется объяснить непонятный факт, являющийся исключением из общепризнанного правила, он говорит: «это аномалия», — и пробует пройти мимо него. Иоффе всегда именно здесь останавливался. Слово «аномалия» служило ему указанием на существование каких-то противоречий с общепринятой точкой зрения на вещи, а по мере роста экспериментального мастерства он постепенно становился большим специалистом по раскалыванию этих крепких орешков. Токи в кристалле мало походили на давно известные токи в металлах. Это были очень слабые токи, которые с течением времени исчезали почти совсем. Когда снималось

напряжение, создававшее ток, сам кристалл длительное время отдавал ток обратного направления. Почему? На это был один ответ: «Такова аномалия». В различных образцах одного и того же вещества токи отличались в сотни тысяч раз. Достаточно было нагреть или осветить кристалл, чтобы надолго, а иногда и навсегда изменить его электрические свойства. Почему это происходило, тоже не было известно; для удобства и эти явления были отнесены к числу аномалий. Дело доходило до того, что все эти запутанные движения электрических зарядов в кристаллах ученые отказывались считать электрическим током.

Естественным началом исследования всего этого ряда электрических аномалий явилось стремление по возможности увеличить число зарядов внутри кристалла и тем самым повысить его электропроводность. Иоффе по-прежнему был убежден в существовании простых закономерностей, которым должны подчиняться все явления, происходящие в кристалле. В поисках этих закономерностей он старался изолировать основное явление от побочных влияний. Первый успех этой тактики, который привел к устранению «упругого последствия», сильно вдохновил его.

Простейший способ увеличения числа зарядов в кристалле был связан все с теми же рентгеновыми лучами. Уже известно было, что они способны создавать в воздухе заряженные частицы. Можно было думать, что под действием этих и подобных им лучей в кристалле будут образовываться лишние заряды, которые усилят ток.

Знаменитый английский физик Дж.-Дж. Томсон как будто даже наблюдал это явление. Рентген показал, что ток, который, как казалось Томсону, шел через кристалл при облучении его рентгеновыми лучами, на самом деле обтекал вокруг кристалла по наэлектризованному облучению воздуху.

И все-таки Иоффе считал, что проводимость кристалла должна увеличиться под действием облучения. «Безнадежная попытка», — резюми-

ровал спор на эту тему Рентген. «Я хочу попробовать», — отвечал Иоффе, и это было уже дерзостью. Рентген редко ошибался в своих опытах, а как раз те эксперименты, которыми он раскрыл ошибку Томсона, были образцом изящества и точности.

Между тем наступали каникулы, и Рентген уехал отдыхать. В Италии его застало сообщение Иоффе о первых результатах наблюдения — так-таки увеличивавшейся! — проводимости кристаллов под действием X-лучей и ультрафиолетового света. Рентген прислал в ответ гневную открытку, которую Иоффе любовно хранил в своем архиве. «Я жду от вас серьезных научных работ, а не сенсационных открытий», — писал Рентген. Он выражал этим свое искреннее убеждение, что только классическая физика, не смущаемая никакими загадочными X-лучами, достойна серьезного ученого. Он был безнадежным консерватором, великий Рентген!

После возвращения из путешествия произошел решительный разговор со строптивым учеником. Иоффе заявил, что он согласен не печатать своих работ, но приостановить их не соглашался. «Если их нельзя продолжить здесь, мне придется искать для них другой приют», — добавил он. Рентгену удалось выдержаться от превращения этой размолвки в разрыв. Но совместная работа в кабинете кончилась.

Прошло несколько трудных недель. Проклятые кристаллы каменной соли, которую изучал Иоффе, кого угодно могли привести в отчаяние. После воздействия рентгеновыми, ультрафиолетовыми лучами или под действием радия электропроводность кристалла иногда поднималась и вдруг, по необъяснимым причинам, почти исчезала. Нельзя было получить двух повторяющихся измерений. Ни разу нельзя было предвидеть результат опыта. Стена, закрывавшая область электрических свойств кристалла, казалась совершенно глухой, и неизвестно было даже, где искать в ней брешь. Это само по себе было печально, но как сознаться в этом Рентгену?

Неожиданно из глубокой тьмы, окутывавшей своевольное поведение непокорных кристаллов каменной соли, брызнул луч света. Он не мог, конечно, сразу осветить всю дорогу, но, во всяком случае, обозначал, где искать ворота в стене, казавшейся неприступной. Это был простой буколический луч солнечного света, и Рентген при всем желании не мог бы против него ничего возразить. Солнечный луч наверняка был вне подозрений в сенсационности...

Открытие, настоящее большое открытие рисковало остаться незамеченным. Ведь Иоффе почти все перепробовал. Он испытал действие одних рентгеновых лучей. Сами по себе они не давали определенного результата. Он безуспешно пробовал выставлять кристаллы на свет, но не наблюдал в них никаких изменений. Он пробовал затем побывавшие на солнце кристаллы облучать рентгеновыми лучами и не видел больших перемен. Терпеливо продолжая свои пробы, вспоминая, впрочем, все чаще при этом слова Рентгена об их безнадежности, Иоффе готовился к очередным измерениям электропроводности облучаемого рентгеновыми лучами кристалла. Который раз он включил измерительный прибор, но вдруг стрелка его поползла вправо, показывая увеличение тока в кристалле. Еще минута, и ток упал. Прошло немного времени, и он снова стал возрастать. Все оставалось на своих местах, Иоффе не шевелился, но, несомненно, какие-то неуловимые условия опыта менялись. Иоффе проверил свои приборы — нет, не от них зависят результаты странного самопроизвольного опыта. Сама природа производила у него на глазах эксперименты с его аппаратурой.

Этими мистическими экспериментаторами оказались... облака. Когда они закрывали солнце, освещение уменьшалось и ток в кристалле падал; стоило им открыть солнце, и ток возрастал. Он возрастал в миллион раз под действием света после облучения кристалла рентгеновыми лучами... Это была именно та последовательность облучений,

которую Иоффе еще не испробовал.

Оказалось, что хотя свет сам по себе не действует на соль, но после облучения X-лучами соль становится чрезвычайно светочувствительной. Прямая зависимость между электропроводностью и облучением была установлена. Теперь уже было за что зацепиться, чтобы карабкаться дальше. Все это было необычайно просто, но это простое надо было суметь разглядеть.

Преисполненный скрытого торжества, Иоффе появился перед Рентгеном. Две последние недели они совсем не разговаривали друг с другом.

— Вы разрешите показать вам мои опыты? — сказал Иоффе.

Рентген иронически улыбнулся.

— Ну что же... Вам удалось сделать еще какое-нибудь открытие?

— Да, но так как вы не любите, когда об открытиях говорят или пишут, я хочу его просто вам показать.

В молчании они проследовали в лабораторию. В затемненной комнате ток, шедший через каменную соль, был едва заметен. Затем взвилась штора на окне, и показания прибора, измерявшего токи в кристалле, резко изменились... Рентген снова зашторил окно и поднес к соляному кристаллу зажженную спичку. Сомнений не было.

Свет спички заставлял возрастать ток в кристалле. Новое явление было основано на действии доброго старого классического света.

Эпизод с участием в опытах Иоффе солнечного света растопил лед между друзьями, и с тех пор совместная работа над изучением электрических свойств кристаллов уже не прерывалась. Но Рентген остался верным себе до конца.

Когда я говорил о трагической судьбе первых работ Иоффе над электропроводностью кристаллов, я имел в виду 300 страниц заметок и 17 толстых тетрадей с описанием всех экспериментов, проведенных на протяжении нескольких лет, — тетрадей, которые были преданы огню в 1923 году.

Первое открытие, сделанное Иоффе, и последовавшие за ним другие шаг за шагом позволили разобраться в сложной картине электрических явлений в кристалле. Выяснилось, что ток в кристаллах ничем не отличается от токов в жидких электролитах или в металлах. И там и здесь механизм его заключается в перемещении электрических зарядов (в одних кристаллах это ионы, в других — электроны). Часть этих зарядов, однако, не доходит до электродов и постепенно накапливается в толще кристалла. Расположив вдоль кристалла систему электрических зондов, Иоффе обнаружил места сосредоточения этих зарядов, и ему удалось даже измерить их величину. Оказалось, что ток, создаваемый зарядами, прибавляется к тому току, который сам исследователь возбуждает, присоединяя к кристаллу источник электрического напряжения. Наложение двух различных токов и было единственной причиной всех «электрических аномалий». Как только удалось разделить эти токи, вся картина получила простое и ясное физическое истолкование. Громадные отличия друг от друга разных образцов кристалла объяснились присутствием в них примесей. Иоффе разработал методику получения чистых кристаллов (растворяя наиболее чистые кристаллы и затем последовательно их кристаллизуя). Ему удалось изготовить десятки образцов с одинаковыми свойствами и устранить влияние примесей. Полная противоречий и аномалий область физики делалась основой теории электрических свойств твердого тела.

Результаты этих исследований в то время тоже не появились в печати. Это было следствием манеры Рентгена не спешить с опубликованием законченных работ и не огорчаться, когда они теряли интерес новизны после чужих публикаций. Эта манера не мешала, впрочем, Рентгену читать своему воспитаннику поучения о вреде скромности. Это было непоследовательно, но своевременно: Иоффе нуждался в ободрении для того, чтобы с одинаковым мужеством встречать

все новые и новые препятствия, которые ежедневно возникали на неизученном поле знаний. Профессор поместил ученика в своем кабинете и каждый день находил повод отметить у него какой-нибудь маленький успех. Много позже Иоффе понял, насколько преднамеренными были эти похвалы, как мало в них было от холодной любезности коллеги и как много от чуткости умелого воспитателя. То были не только уроки эксперимента, то были практические занятия по педагогике. Иоффе сохранил самые теплые воспоминания о своем учителе, хотя они не могли не ссориться друг с другом.

Мне однажды пришлось услышать от Иоффе следующие слова: «Ученик и учитель всегда бывают противоположны друг другу, а не наоборот». Это замечание вспомнилось мне, когда я размышлял над его собственными отношениями с Рентгеном. В основе их лежала дружба, искренняя и глубокая и в то же время постоянно прерывающаяся вспышками резких разноречий. Один из подобных конфликтов обусловил трагическую судьбу главной части многолетних работ Иоффе в лаборатории Рентгена.

Разногласия состояли, говоря обобщенно, в том, что Рентген требовал описания фактов, а Иоффе стремился их объяснить. В то время как Рентгену ряд наблюдаемых им явлений представлялся как поучительное собрание равноценных и по-своему интересных феноменов, Иоффе хотел видеть в каждом новом факте ключ к пониманию единой картины природы, а для этого он искал не гармонии, а ее нарушений. Он радовался не «еще одному отличному факту», добавлявшему лишний штрих в прекрасную, но неподвижную классификационную схему. Он приходил в восторг, когда вновь обнаруженный факт опровергал остальные, противоречил сложившимся взглядам. И вот двум столь разным людям пришлось начать одну из интереснейших страниц в изучении одного из трех состояний земных тел, которыми занимается физика.

Иоффе собрал весь экспериментальный материал, группировавшийся вокруг семи основных типов кристаллов, которые исследовались на протяжении ряда лет, и добавил к этому нагромождению описаний и бесконечных измерений несколько страничек текста, которые он озаглавил: «Разгадка семи мировых загадок». По этому заглавию мы можем судить о полемическом задоре автора. Его позиция была достаточно крепка: теоретические выводы на одной четверти страницы сразу ориентировали читателя, который пожелал бы изучить огромный экспериментальный труд. Иоффе специально приехал в Баварию уговаривать Рентгена печатать их общие работы (в то время как эти исследования получали свое завершение, Иоффе работал уже в России). Рентген пытался доказать, что объяснения, приводимые Иоффе, не эквивалентны фактам, что факты сложнее и не поддаются простому и однозначному истолкованию. Иоффе рассказывал мне, что эта, вероятно, самая немногочисленная из всех теоретических конференций продолжалась с утра и до вечера несколько дней подряд. В конце концов Рентген вынужден был согласиться с обобщениями, которые охватывали всю совокупность фактов, но праздновать победу было еще рано. Подготовленные к печати статьи, в которых экспериментальные результаты излагались на фоне тех представлений, которые выработались в процессе исследований, остались у Рентгена. После окончания войны с Германией — в 1922 году — Рентген представил целиком на усмотрение Иоффе опубликование совместных работ. Первая часть этих многолетних исследований вместе с позднейшими ленинградскими результатами была направлена в печать в обработку Иоффе, но в это время Рентген умер. Он позабыл вынуть весь экспериментальный материал из папки, на которой еще во время войны сделал надпись: «Сжечь после моей смерти». В 1923 году его душеприказчик буквально выполнил его распоряжение...

Слово о друге

Мне всегда будет памятен ноябрьский день 1964 года, когда срывающийся голос по телефону сообщил мне о смерти Олега Николаевича Писаржевского. Дико и невозможно было поверить в эту смерть. Всего двумя днями раньше, прочтя залпом статью Олега в «Литературке» — «Ученые должны спорить», я тут же, радостный, позвонил ему и слушал его рассказ о том, как возникла и готовилась эта статья, как она будет продолжена, о предстоящей поездке в Италию, о будущих книгах. И конечно, мы, как и всякий раз, сетовали, что грешно жить почти что рядом и так редко видеться и что надо будет хоть Новый год вместе встретить...

Более двадцати лет знал я Олега и с гордостью называл его в числе своих друзей. С первых дней знакомства бросался в глаза его жадный интерес к жизни, к науке, к людям, которые ее делают. Поражал образцовый порядок его картотеки, огромные стеллажи, где в сотнях папок были разложены газетные и журнальные вырезки, короткие записи или стенографические наброски, посвященные буквально всем сколько-нибудь интересным направлениям физики и химии. Долгое время я недоумевал, к чему все это нужно, зачем Олег с такой настойчивостью допытывается до сути всякого, даже мимоходом брошенного собеседником замечания о путях науки, о будничных радостях и горестях жизни научного работника. Лишь потом, когда пришли «Менделеев» и «Ферсман», когда появились замечательные статьи Олега о дружбе наук и ее нарушениях, о наших современниках — крупнейших ученых и делающих первые шаги в науке аспирантах, я понял, что каждое ружье у Олега стреляет. Да к тому

же и просто интересно, необычайно интересно было раскрывать любую из его папок и погружаться во вчерашний день науки, связанный живыми нитями с сегодняшним и завтрашним. Помню, например, как после сообщения ТАСС в сентябре 1949 года о нашем первом атомном взрыве Олег безошибочно вытянул из своей сокровищницы папку довоенных вырезок со скупыми сообщениями о работах физиков-ядерщиков, о лаборатории молодого ученого Игоря Курчатова, о смелых предсказаниях академика А. Ф. Иоффе.

Тесное и дружеское общение с учеными в повседневной жизни, живой интерес к ним обусловили главное отличие очерков и статей Олега Писаржевского от работ многих других журналистов, которое хочется специально здесь выделить.

Как правило, журналисты особенно охотно бросаются на любой материал, уже ставший злободневным благодаря какому-нибудь официальному оповещению о сделанном открытии, о полученной награде или премии. В таких случаях обычно не жалуют эпитетов и сплошь да рядом не только до приторности подслащивают описываемых героев, но даже переиhrывают самое существо работы, чтобы поярче, поцветистее поднести ее «широкому читателю». Подобный путь был чужд Олегу. Он охотно писал о самом процессе научного творчества, притом подчас творчества людей, весьма далеких от провозглашения их триумфаторами. Он угадывал будущих крупных ученых в совсем молодых, начинающих исследователях. Мало того, он обратился к подготовке биографии уже упоминавшегося выше отца советской физики — академика А. Ф. Иоффе

в те годы, когда этот замечательный ученый был отстранен от руководства им же созданным Физико-техническим институтом АН СССР. Он подготовил биографию Д. Н. Прянишникова, когда наследие основателя нашей агрохимии подверглось наибольшему опасностям со стороны противников «дружбы наук» и проникновения физики и химии в современную биологию.

В конечном счете чутье Олега не обманывало ни его, ни читателей, и его произведения также оказывались злободневными, но в лучшем смысле этого слова, когда писатель не торопится запечатлеть уже объявленную «злоу дня», а напротив, актуальность и значимость ранее описанных им работ получают в конечном счете заслуженное признание.

Ко всякому своему делу Олег относился с увлечением, а каждое увлечение становилось для него делом. Таких главных увлече-



ний было у него два — цветы и музыкальные записи (последним он заразил и меня). Помню прекрасную его фонотеку, его оживленные рассказы чуть ли не о каждой новой пластинке, а позднее — пленке с воспроизведением полюбившихся записей, с описанием их истории и объяснением разных тонких различий в манере исполнения.

Строгий порядок стеллажей с вырезками, коллекций пластинок и пленок — все это может навесть на мысли о сухости, педантизме.

Ничуть не бывало! За рубежами этих святая святых — полуразвалившийся и тем особенно удобный старый диван, на котором мы коротали вечера еще в первые послевоенные годы, слушая музыку, обсуждая десятки животрепещущих вопросов и даже, признаюсь, трудясь над совместным полнометражным сценарием отнюдь не на научную тему (было и такое), так и не увидевшим света. Круглый стол в необычно уютном беспорядке. Среди разбросанных книг, пластинок, обрезков газет импровизированный холостяцкий ужин, и так мы сидели до полуночи. А подчас и за полночь Олег мог разбудить меня, прибежав с новой пластинкой и требуя немедленного ее исполнения. И до чего же хорошо становилось всегда от его жизнерадостности, бодрости, оптимизма, вечного движения! В надписи на подаренном мне «Ферсмани» он назвал себя бесшабашным. Действительно, и в этом есть доля правды. Весь этот необычный слав — от педантизма и великолепной точности на одном фланге до бесшабашности на другом — это и был Олег Писаржевский, неповторимый и незабываемый.



Борис Камов

**Командир
отдельного полка**

Эпизоды биографии Аркадия Гайдара

Еще совсем недавно был полк — 58-й отдельный по борьбе с бандитизмом.

Шестьдесят младших командиров.

Тысяча триста бойцов.

И командиром он, Голиков.

Еще совсем недавно не было покоя ни днем, ни ночью. То полк гонялся за бандами. То банды гонялись за полком. А гоняться было где — Сибирь. И прятаться бандам было где — тайга...

Еще совсем недавно не спал по четверо суток. Бойцов уложит. Командиров уложит. А сам не спит. Или над картой сидит, донесения разведчиков перебирает — думает, или обходит «секреты».

Проверку постов не доверял никому. Помнил, что случилось на Украине, под Кожуховкой. Их только-только произвели досрочно в краскомы, выдали новую форму, удостоверения с красной звездой — и бросили рядовыми в прорыв, под Фастов.

И командир их курсантской роты, а его друг Яшка Оксюз — «Ну что их проверять, свои же хлопцы!» — не обошел в полночь караулы. И то ли часовой заснул, то ли как... Но получилось неладно. И Яшка погиб. И он заменил его.

Были у него друзья раньше. Были и потом. Но такого... такого больше не было.

Бессонные ночи — они поначалу изматывали сильнее всего, пока не научился спать по двадцать-тридцать минут — где попало, при любом шуме.

Уронит голову на стол. Или растянется на траве. Прижмется щекой к гладкому изгибу снятого, потом конским пахнущего седла. Коротко вздремнет. Успеет увидеть даже сон. И снова свежий.

А то еще приспособился спать на ходу. Не слышно топота тряпками перевязанных копыт. Не брякнет сабля. Не звякнет котелок. И только ходят под тобой теплые бока верного усталого коня, успокаивая и убаюкивая.

А мимо проплывают ели и сосны, лишь где-то сверху освещенные луной. И мучительно хочется уснуть.

И вдруг не выдержит, прикроет веки. И хотя знает, не прошло и минуты, тут же вздрогнет, испуганно их откроет. И снова чувствует — отдохнул.

В одной случайно подобранной книге — в той брошенной усадьбе была старинная библиотека — прочел: помалу спать и высыпаться, изумляя своих маршалов, умел Наполеон.

А из другой — какого-то словаря (читал, что подалось) — узнал: научиться помалу спать можно только в детстве.

А потом в один день разучился... Разучился спать вообще. Потом — это после того — будь он проклят! — последнего боя.

Бандиты появлялись каждую ночь то в одном, то в другом селе. Кого хотели — грабили, кого хотели — убивали, и опять скрывались в горах, и гоняться за мелкими группами всем полком было бессмысленно...

И он придумал перенять их тактику и разделил весь полк на мелкие отряды.

Начальство чоновское его за это похвалило: сразу оказались перекрыты все пути-дороги и банды остались в горах без подкрепления и продовольствия.

И тогда — правда, все больше офицеры — начали сдаваться, и он возил их за собой в обозе, поскольку девать их ему все равно пока было некуда, и сами пленные и бойцы, случалось, над необычным таким положением невесело смеялись.

А тут донесение: банды, собравшись с силами — терять теперь нечего, — ударят поутру.

Офицеры, тоже про это как-то прослышав, тревожно зашептались. И отослать их поздно, да и с кем? И оставлять в такую минуту при себе — как оставишь?..

И он принял самолично (комиссар с другой частью полка мотался где-то километров за тридцать) решение... Трагическое, но единственное, чтобы не погибнуть всем.

Бой он выиграл...

Атаман бандитский вот только, жалко, бежал.

А когда его, Голикова, дело разбирали, все рассказал товарищам: и про свои сомнения и про опасения, что его потом неверно поймут...

И все-таки судьбой доверенного ему революцией отряда он рисковать не мог. Чего бы ему это потом ни стоило.

Тем более, будь с ним весь полк, а то ведь осталось при нем совсем ничего, и собрать остальных уже нет совершенно времени, потому что бежал разведчик кружным путем, и донесение пришло поздно, да и в бою, он знал, ребят ему, наверное, попортят... Так и получилось: кого насовсем, кого только ранило, а все ли выживут — неиз-

вестно... А ребята, между прочим, мировые... Любой стоит десяти...

И каждый, кто слушал его, понимал: как ни крутись — выходила беда. И выбрал парень наименьшую. Но коль скоро нарушил закон революционного гуманизма, хотя и в безвыходном положении, хотя и во имя революции, должно его наказать.

Думал: исключат, разжалуют и понизят.

Не разжаловали. Не понизили — исключили. На два года. «За жестокое обращение с пленными».

Раньше просил — не отпускали. А тут вдруг:

— Хотел учиться?.. Езжай учишь.

В Красноярском губкоме комсомола ему выдали «Аттестацию»:

«Начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом, бывший командир 23-го полка, ныне командир 58-го отдельного Нижегородского полка армии по подавлению восстания Голиков Аркадий состоит членом РКСМ с августа 1918 года, т. е. с самого начала его организации.

Несмотря на свою молодость (18 лет), за время четырехлетнего пребывания, как члена РКСМ в частях Красной Армии, занимал ответственные посты, задания на которых выполнял с успехом...»

И далее говорилось, что, находясь с 14 лет на командных должностях, товарищ Голиков является одним из немногих членов Российского Коммунистического Союза Молодежи,

«доблестно вынесших на себе тяжесть всей гражданской 1918—1922 гг. войны...».

В Москве, в Академии генерального штаба, приняли документы.

Товарищи перед отъездом советовали: будешь в Москве — обжалуй.

Приехал в Москву, но жаловаться не стал. Все-таки, хоть и без вины, а виноват...

А так пролетят эти два года. Или теперь уже даже меньше. Приедет он к ним опять. Соберутся все снова... Кое-кого, конечно, к тому времени не будет: перебросят, повысят... Пересмотрят его дело. И все станет, как было.

На медицинской комиссии, которую предстояло пройти, чтобы попасть в академию, врач долго, с удовольствием выслушивал его через трубку. Просил дышать, не дышать. Вздохнуть поглубже.

Наконец, постучав сморщенными пальцами по голой его груди, где сердце, не удержался:

— Как молот!..

И объяснил, что теперь ему нужно подойти к тому вон столу.

Невропатолог попросил вытянуть перед собой руки. И руки почему-то задрожали. Посадив на стул, постучал по коленкам молоточком. Озабоченно провел за чем-то ногтем по коже. И стал задавать нелепые вопросы: не болел ли чем дедушка, не болела ли чем бабушка, не падал ли он в детстве из люльки...

Из люльки, ответил, слава богу, его не роняли, а с лошади падать приходилось. В декабре девятнадцатого его ранило и вышибло из седла.

Но с тех пор нога давно зажила. Барабанная перепонка зарубцевалась. А ушиб тем более прошел...

— Боюсь, молодой человек, что ушиб-то и не прошел...

К учебе в академии его признали по здоровью непригодным.

К дальнейшей службе пока что тоже.

Когда такое объявили — не поверил: подумалось, наверно, с кем-то спутали — ведь всего лишь за месяц до отъезда он боролся с медведем.

Полк тогда стоял в одном селе, из которого только утром удалось выбить банду, и настроение у бойцов было тусклое — и бойцов можно было понять: не успеешь справиться с бандитами тут, как они уже «шалют» по соседству...

И захотелось ребят немного развеселить, и он принялся бороться с привязанным к цепи медведем.

Медведь был молод и приручен, и они обхватились и пытались повалить один дру-

гого, и кругом собрались хохочущие, изумленные бойцы, и сбежались крестьяне.

Местные были на стороне косолапого и кричали: «Мишанька, надай!», а бойцы орали: «Не подведи!» — командиру.

Схватка в общем-то закончилась вничью, если не считать, что медведь тупыми когтями оцарапал ему нечаянно щеку...

...Полтора года оплаченного отпуска прошли между лечением в разных институтах и госпиталях и новыми, каждые шесть месяцев, комиссиями, в бесплодных надеждах на полное выздоровление и в тяжких раздумьях.

Давний шум в висках и непроизвольное подергивание губ, которые он раньше принимал за простую усталость, были, как выяснилось, проявлениями все той же болезни.

Теперь он спускался по широкой лестнице с деревянными перилами. В руке была крепко зажата бумага — выписка из приказа Революционного военного совета Союза Советских Социалистических Республик (по личному составу) от 19 апреля 1924 года.

В ней говорилось о зачислении в резерв бывшего командира 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом товарища Голикова Аркадия Петровича с 1 апреля с. г.

И подпись: М. Фрунзе.

Трудно сказать, почему он поехал в Ленинград.

Может, потому, что там теперь жил его бывший учитель Николай Николаевич Соколов («Галка» — звали его ребята), который, прочтя однажды его классное сочинение, сказал, что, кажется, у него, Аркадия, к литературе есть способности.

Но пока служил в армии, пока думал остаться в ней навсегда, разговор тот с «Галкой» выглядел туманно-далеким и для будущего не самым главным, а теперь вдруг все это вспомнилось с внезапной надеждой...

А может, поехал просто потому, что в Ленинграде он еще не бывал, а между тем оставались деньги: шестимесячное жалованье по должности командира полка из оклада

71 рубль 50 копеек, выходное пособие за 14 дней из того же расчета, выплаченное напоследок. И неиспользованный литер.

В Ленинграде было одиноко и голодно.

Деньги, к которым он никак не мог привыкнуть, скоро вышли.

Вещи, какие только можно было продать, спустил на толкучке, пока, наконец, не закончил роман (думал, что это роман, — оказалось, повесть, но это все равно) и не принес его в Госиздат.

Здесь, в огромном здании Дома книги на углу канала Грибоедова и проспекта 25-го Октября (так назывался в ту пору Невский), ему повезло.

Впервые за два года.

Константин Федин, Михаил Слонимский, Илья Груздев и Сергей Семенов не только быстро прочли и поздравили с увлекательной, хотя, конечно, и рыхловатой рукописью. Но и помогли.

Помощь была быстрой, солдатской — сразу нашлось где ночевать.

Ночевал у всех по очереди.

Рукопись его редактировали тоже сообща, но особенно много Сергей Семенов.

Однажды ненароком узнал: у них до удивления похожие биографии. Только и разницы, что Семенов на десять лет старше.

У Семенова за плечами был полный курс наук четырехклассного городского училища, потом должность рассыльного и сортировщика писем на почтамте.

В феврале или марте 1918-го он курсант Петроградской военно-инженерной школы, а ровно через год уже дерется на Украине под тем же Кременчугом и тем же Крюковом с бандами того же самого Григорьева, что и киевские курсанты, а среди них он, Голиков...

Затем Семенов — политкомиссар 58-го отдельного стрелкового батальона войск внутренней охраны, инструктор-контролер политотдела 25-й отдельной бригады ВОХР... И все это с четырехклассным образованием...

Рвется учиться.



Ему обещают, но пока посылают на подавление банд в Западную Сибирь, в Ачинский уезд, куда через год ему на смену приедет он, Голиков...

Наконец в январе 1921-го Семенов добивается своего — отпускают доучиваться в Военно-инженерную школу в Петрограде, которая помещалась в знаменитом Инженерном замке, где убили Павла I и где еще учился Федор Достоевский.

Семенов мечтает на всю жизнь остаться в армии.

Но вспыхивает кронштадтский мятеж. Слушателей школы бросают на его подавление. Во время штурма одного из фортов Семенов проваливается под лед.

Бронхит.

Воспаление легких.

Туберкулез.

К учебе в Военно-инженерной школе его признают по здоровью непригодным.

К дальнейшей службе пока что тоже.

С отчаяния он пишет свой первый в жизни рассказ «Тиф»...

И становится писателем.

...Голиков и раньше знал, что рукописи правят и переделывают, но когда Михаил Слонимский, строка за строкой разбирая главу, однажды ему предложил:

— Тут два очень похожих эпизода, их бы лучше соединить и сделать один, — возмутился:

— Но ведь это... ведь это... получится обман... Стычка с Битюгом была в восемнадцати километрах от того места, где находился я...

Слонимский объяснил: то ведь не рапорт, а повесть.

Долго не соглашался: мучило сомнение, можно ли так поступать.

События, о которых он писал, — это все еще было живое, как собственное тело.

А потом понял.

Понравилось.

В самом деле, а что было бы, если бы было?..

И пока повесть, уже без него, готовилась

к печати (Семенов взял ее в альманах «Ковш», где был членом редколлегии), написал рассказ.

Ему вспомнился случай с командармом-пять, когда командарм ехал на броневике в разведку и попал в бандитскую засаду.

Но писать все, как было, ему уже было неинтересно. И он повернул по-своему: броневик взорван, все убиты, командарм ранен. И его спасают ребята — Жиган и Димка.

Только будет он уже не командармом, а просто членом РВС, ну, скажем, Сергеевым.

Рассказ, как и повесть, новые друзья опять прочли по кругу. На этот раз даже особо и не правили. Два-три эпизода просто посоветовали убрать. И Семенов снова отдал рукопись, на этот раз в редакцию «Звезды», которая помещалась в том же Доме книги.

Второй номер журнала за 1925 год появился в апреле.

В оглавлении сначала шел Ю. Либединский, «На переломе» — из повести «Комиссары», за ним сразу Арк. Голиков, «РВС», рассказ.

...Закрывая журнал, взглянул на обложку. На внутренней стороне было напечатано: «В журнале принимают участие...» И в длинном списке, после А. Безыменского, Н. Брауна, В. Вересаева и перед С. Есениным, стояло: «А. Голиков».

Но ведь если пишут на обложке, значит, принимают всерьез?.. Значит, он писатель?..

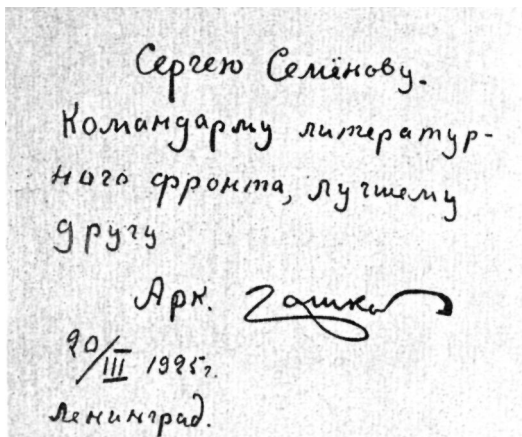
И с благодарностью подумалось обо всех. Особенно о Семенове.

Месяц назад принес Семенову свою фотографию. Снимался еще командиром полка. Чернил поблизости не оказалось — написал карандашом:

Сергею Семенову —
командарму литературного фронта,
лучшему другу.

Арк. Голиков
20/III 1925 г., Ленинград

Дождался выхода альманаха «Ковш», в двух книгах которого печаталась повесть «В дни поражений и побед», и уехал в Пермь.



Там теперь жили его арзамасские друзья Коля Кондратьев и Саша Плеско.

Друзья прислали как-то ему письмо. От Шурки, правда, была только приписка. Писал Коля. Жаловался, что скучновато, работает в крестьянской «Страде», а хотелось бы в рабочую массу...

Плеско — тот был в другой газете, в «Звезде».

И вот он в Перми. И вот он держит в руках свежий номер газеты «Звезда», где напечатан его рассказ «Угловой дом». И подписан рассказ так: «Гайдар».

Номер праздничный. От 7 ноября. Тут же, на другой только полосе, воспоминания Николая Подвойского об Октябрьских днях в Петрограде.

Подвойского встречал.

Наркомвоен Украины Подвойский в августе девятнадцатого отправлял их, киевских курсантов, только что досрочно произведенных в командиры, в прорыв, в бой, чтобы ценой чего бы то ни было задержать на несколько дней Петлюру, не дать ему с ходу вернуться в Киев.

Тогда как раз и погиб Яшка.

И новый его рассказ — **«УГЛОВОЙ ДОМ»**, — если разобраться, получился о том же:

— НА ПЕРЕКРЕСТКИ! — ЗАДЫХАЯСЬ, КРИКНУЛ КОМАНДИР ОТРЯДА. — Всю линию от Жандармской до Покровки... Сдыхайте, но продержитесь три часа (так начинался рассказ «Угловой дом»),

И вот:

Нас было шестеро, остановившихся перед тяжелой кованой дверью углового дома.

Три раза дергал матрос за ручку истерично звякавшего звонка, три раза в ответ молчала глухо замкнувшаяся крепость. И на четвертый, оборвав лязгнувшую проволоку, ударил с досады матрос прикладом по замку и сказал, сплевывая:

— Не отпрут, сволочи, а занять надо. Р-раз, через забор, ребята!

Исцарапав руки о железные гвозди, натканые рядами, мы пробрались во двор, достали лестницу, вышибли окошко, выходящее в сад.

Я первым прыгнул в чужую, незнакомую квартиру, за мной матрос, потом Галька, потом все остальные.

— Вперлись куда-то к бабам в спальню! — пробормотал Степан-сибиряк, с удивлением поглядывая на свои огромные грязные сапоги и на белоснежное одеяло пуховой кровати.

Мы распахнули дверь в следующую комнату и столкнулись с седоватым джентльменом, лицо которого выражало крайнее удивление и крайнее негодование на способ, при помощи которого мы проникли в дом.

— На каком основании вы ворвались в чужую квартиру без согласия ее хозяина? — спросил он. — Будьте добры тотчас же покинуть помещение!..

Вопреки обыкновению матрос не изругался сразу, а вежливо объяснил седоватому джентльмену, что юнкера собираются атаковать революционный штаб и мы имеем огромное и вполне законное желание всеми способами противодействовать этому. Внезапное же появление через окошко со стороны дамского будуара объяснил недостатком времени и не-

возможностью дозвониться в, очевидно, испорченный звонок.

Но так как это объяснение далеко не показалось удовлетворительным седоватому джентльмену, то матрос загнул особую, припасенную только для торжественных случаев формулу, от которой едва ли не случился обморок с одной из девиц, имевших неосторожность выглянуть из соседней комнаты...

И добавил, что начихать вообще ему на все права, установленные буржуями, тем более что стреляют уже возле Семеновской площади.

Через пять минут все хозяева были заперты в чулан. И матрос стал комендантом крепости.

...Я бы мог многое рассказать, что было дальше, как стучали приклады в окованную железом дверь, как насильовали мы белоснежные постели, стаскивая перины и затыкая ими обстреливаемые окна. И как встретилась Галька у веранды с пробирающимся к окну юнкером.

И Галька была красива, юнкер был тоже красив.

И Галька разбила ему голову выстрелом из нагана, потому что красота — это ерунда, а важно было три часа продержаться на перекрестке до тех пор, пока со станции Морозовки не подойдет сагитированный и взбольшевиченный батальон.

Я мог бы многое рассказать, и мне жаль, что в газетном подвале «Звезды» всего шесть колонок.

И потому продолжаю прямо с конца, то есть с той минуты, когда Гальки уже не было, а была только счастливая улыбка, заывшая на мертвых губах ее взбалмошно кудрявой головки; когда Степан-сибиряк и Яшка валялись — должно быть, впервые за свою жизнь — на мягком персидском ковре, разрисовывая его кровью, а нас осталось всего трое.

Звякнуло разбиваемое в сотый раз окно, заклубилась пылью штукатурка лепного по-----, заметалась рикшетом пойманная пу-

ля и, обессиленная, упала на мягкий плюш зеленого кресла.

Звякнули в сто первый раз осколки стекол и стыдливо опустили глаза строгие мадонны, беспечные нимфы раззолоченных картин от залпа особенной ругани, выпущенной матросом, когда рванула контрреволюционная пуля в приклад матросской винтовки, искорежила магазинку и коробку.

— Лучше б в голову, сука! — проговорил он, одной рукой отбрасывая винтовку в сторону, другой выхватывая маузер из кабуры.

— Сколько времени еще осталось?

Но часы, тяжелые, солидные, едко смеялись лицом циферблата и умышленно затягивали минуты. Сдерживали ход тяжелых стрелок. Для того чтобы дать возможность сомкнуться кольцу молчаливо враждебных стен и сжать мертвой хваткой последних трех из банды, разгромившей бархатный уют пальмовых комнат.

Оставалось еще сорок минут, когда матрос, насторожив вдруг спянное сережкой ухо и опрокидывая столик с китайской вазой, с ревом бросился в соседнюю комнату.

И почти одновременно оттуда три раза горячо ахнул его маузер.

Потом послышался крик. Отчаянный женский крик...

Мы со Степаном бросились к нему.

Распахнули дверь.

И сквозь угарное облачко пороховой дымки увидели плотно сжатые брови матроса, а в ногах у него белое шелковое платье и тонкую, перехваченную браслетом руку, крепко сжимающую ключ.

— Курва! — холодно сказал матрос. — Она выбралась через окошко чулана и хотела открыть дверь.

У меня невольно мелькнула мысль о Гальке. На губах у Гальки играла счастливая полудетская улыбка...

А у этой? Что застыло у нее на губах? Сказать было нельзя. Потому что губы были изуродованы пулей маузера. Но черты лица были окутаны страхом, а в потухающих гла-

зах, в блеске золотого зуба была острая, открытая ненависть.

И я понял и принял эту ненависть, как и Галькину улыбку.

Впрочем, это все равно, потому что обе они были уже мертвы.

Мы кинулись назад и, пробегая мимо лестницы, услышали, как яростно ударами топора кто-то дробил и расщепывал нашу дверь.

— Точка! — сказал я матросу, закладывая последнюю обойму. — Сейчас вышибут дверь. Не пора ли нам сматываться?

— Может быть! — ответил матрос. — Но прежде, чем это случится, я вышибу мозги из твоей идиотской башки, если ты повторишь еще раз.

И я больше не повторял.

Мы втроем метались от окна к окну.

А когда последний патрон был выпущен и взвизгнувшая пуля догнала проскакавшего мимо кавалериста, отбросил матрос винтовку, повел глазами по комнате, и взгляд его остановился на роскошном, высеченном из мрамора «изваянии Венеры».

— Стой! — сказал он. — Сбросим напоследок эту хреновину им на голову.

И тяжелая изящная Венера полетела вниз и загрохотала над крыльцом, разбившись вдребезги... И это было неважно, потому что Венера — это ерунда, а перекрестки... революционный штаб... и т. д.

.....

Это было все давно-давно.

Дом тот все там же, на прежнем месте, но седоватого джентльмена в нем нет.

Там есть сейчас партклуб им. Клары Цеткин. И диван, обитый красной кожей, на котором умерла Галька, стоит до сих пор.

И когда по четвергам я захожу на очередное партсобрание, я сажусь на него, и мне вспоминается: золотой зуб, поблескивающий ненавистью, звон разбитого стекла и счастливая улыбка мертвой Гальки.

У нее была темно-кудрявая огневая го-

ловка. И она звонко, как никто, умела кричать:

— Да здравствует революция!

...Началась суматошная, для него еще во многом новая жизнь газетчика.

«Сигнал».

Кропотливая проверка.

Фельетон.

Жалобы обиженных «героев».

Выхваченный из кипы только что доставленной почты конверт.

Снова проверка.

Снова фельетон, статья, зарисовка. Иногда по два, а то и целых три совершенно разных его материала в одном и том же номере.

Удивил один случай.

Выдвигенец из кузнецов, заместитель директора завода эмалированной посуды Чубук зарвался.

Начал кутить. Вызывать после кутежей к ресторану машину. А если к утру трещала голова, то и вовсе не выходил на работу.

И тогда рабочие его сняли.

И вернули обратно. В кузнечный.

Случай на первый взгляд банальный: не можешь — долой с коня!

Но познакомился с Чубуком — и поразило спокойное мужество. Чубук принял приговор коллектива как должное.

В крушении человек раскрылся больше, чем во взлете.

И последняя часть полуфельетона-получерка **«ВЕРХ И ВНИЗ»** писалась хорошо:

«...БЫЛА НАКОВАЛЬНЯ И ЧЕРНЫЕ ОТ УГОЛЬНОЙ КОПОТИ РУКИ.

Были розовые лепестки февральского банта.

Была серая шинель и горячая от расстрелянных обоем винтовка Октября.

Был кожаный щит фырчащей машины и телефонные перезвоны кабинета завода...

И... опять наковальня.

Круг.

Но все это — ничего.

Ничего, что ноют по вечерам отвыкшие от милога руки, — привыкнут опять...

— Расскажи, как ты был директором, — добродушно спросит иногда кое-кто из ребят.

— Был, — спокойно отвечает он. — Был да сплыл... Может, и ты будешь... Я не сумел... Я сорвался... Но нас много... Выбирать есть из кого...

— Эй, берегись!

И корезится, захваченная в щипцы, раскаленная болванка, не хочет ложиться на наковальню — врет, ляжет!

И все увереннее и увереннее бьет по железу рабочий кузнечного цеха товарищ Чубук.

Бьет со спокойной яростью.

— Врешь, перекуем!.. Мы все можем!.. Перекуем, когда надо, и себя.

Держись, сволочь!»¹

Странно: в судьбе Чубука было что-то сродни его собственной.

Незаконченный пятый класс реального.

Февральские и июльские дни в Арзамасе. Серая солдатская шинель и горячая от расстрелянных обойм курсантская винтовка.

Сначала рота.

Потом полк.

Срыв.

И биография делает круг.

Жизнь начинается сызнова.

И я это «Держись, сволочь!» вложено очень многое...

Работе он отдавался весь. А прошлое не забывалось. Не заслонялось.

Наоборот, оно врывалось и существовало в повседневном, напоминая о себе то соощенном о внезапной — после перенесенной операции — смерти наркомвоенмора Михаила Васильевича Фрунзе.

А Фрунзе он тоже видел.

(«Я сидел в приемной РВС — он вошел, проходя к себе в кабинет. Все встали. Через девять минут Медянцева вышел из кабинета и сказал мне: «Ну вот, — приказ подписан». Это было, кажется, 14 апреля 1924 года.

Этим приказом я зачислялся в резерв при ГУРККА»)².

То телеграммой о назначении на место Фрунзе бывшего командарма-пять.

(Однажды отряд киевских курсантов выручил поезд, на который напала банда.

— Но кто? Чей это состав? — спросил Ботт, закладывая на ходу обойму в еще горячую карабинку.

— Как чей? — удивленно ответил матрос. — Это же поезд командующего.)

То неожиданной ассоциацией.

То приступом лишь на время отпускавшей его болезни со звучным красивым названием «травматический невроз».

По труднообъяснимой причине думалось чаще всего о девятнадцатом годе. О первых боях.

Один свой рассказ он даже назвал...

«ПЕРВАЯ СМЕРТЬ».

«В ЭТОМ, НЕСОМНЕННО, БЫЛА КАКАЯ-ТО СИСТЕМА. Почему именно после обеда и после трех часов, набросив внакидку мягкий больничный халат, я отправлялся по ковровым коридорам института нервных больных в узкий проход, ведущий к черной лестнице, спускался вниз, долго стоял у двери запертой кухни и потом, теряя сознание, падал в глубокий темный обморок?..

И однажды, в мертвый час, когда в нижнем этаже остановили свой бег бесчисленные машины, цепко хватающие своими щупальцами головы больных, когда перестали шуметь потоки воды, смешанной с электричеством, и потухли фиолетовые лампочки кабинета свечения, и спустилась тишина, нарушаемая

¹ Аркадий Гайдар, Вверх и вниз. Газета «Звезда», 1925, 22 ноября.

² Аркадий Гайдар, Дневник. Первая половина 1932 г. Цитирую по книге Веры Смирновой «Аркадий Гайдар». М., «Советский писатель», 1961, стр. 133.

В дневнике у Гайдара неточность. Приказ об увольнении был подписан не 14, а 19 апреля 1924 года (см. выписку из приказа Реввоенсовета Союза ССР (по личному составу) — ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 11).

только легким стуком переставляемых шахматных фигур да жужжанием вечно неумолчного, полусумасшедшего, полуразбитого летчика Чекаменева, подражавшего рокоту пропеллера, в комнату вошла сестра и сказала коротко:

— Голиков, к доктору, на гипноз.

Провожаемый любопытными взглядами повернувшихся голов, я спокойно вышел.

* * *

— Это нужно, — сказал доктор. — Сядьте, расслабьте мускулы, распустите мысли и старайтесь не думать ни о чем.

Мне было приказано сесть.

Я сел.

Было приказано лечь.

Я лег.

И доктор монотонным, ровным голосом рассказывал мне о том, что я хочу спать и что у меня тяжелеют веки, что я засыпаю, что я уже сплю...

Но это была явная ложь, ибо в этот момент спать мне вовсе не хотелось, а в голове были прозаические мысли о том: дадут ли сегодня на ужин какао или просто сладкое молоко?

И мне стало неудобно. Думаю: старается, старается человек, а я все ничего.

Спрятав усмешку в края губ, я решил быть серьезным.

Но в ту же минуту кто-то положил мне тяжелые мохнатые лапы на виски, стало темно, и, вздрогнувши, рывком, я открыл глаза.

Доктор улыбался.

Напротив, за столом, сидел откуда-то взявшийся ассистент и что-то дописывал.

— Как вы себя чувствуете? Вы выглядите хорошо, несмотря на то, что вы всего проспали пятьдесят четыре минуты.

Я не знал, проспал ли я четыре или пятьдесят четыре минуты, но я знал, что относительно моего вида доктор говорит неправду, ибо лицо у меня было холодное и, вероятно, бледное.

— Доктор, — сказал я, показывая головой на ассистента, — что он записал?

— Потом, — колеблясь, ответил доктор.

Но я был настойчив.

Тогда он взял меня за руку и спросил:

— Может быть, вы помните историю с мадьярами?..

Точно от гула орудийного взрыва дрогнул под ногами гладкий, протертый сулемой пол.

Я сел на стул и, жадно глотая воду из протянутого мне стакана, сказал улыбаясь:

— Еще бы не помнить!..

Это было в огневом девятнадцатом, когда Железная бригада курсантов была брошена в прорыв стихийно наседающей петлюровщины, как последний мешок земли бывает брошен с тем, чтобы хоть на минуту задержать разрыв дрожащей и ломающейся под напором воды плотины.

Было за полдень.

Было сухо.

Небо было такое серое, как шинели курсантов, распластавшихся в цепи, как их сосредоточенно-сумрачные, наполненные холодной решимостью лица.

Боя не было — должен был быть скоро.

По цепи, по ротам поехала батальонная кухня. И с той стороны никчемный и ненужный снаряд зажжужал, разрывая серое полотно воздуха, и, с фейерверочным треском разорвавшись шрапнелью, сорок из двухсот пятидесяти пуль всадил в стенки походной кухни.

— Командир роты, — сказал мне, подвезая, помкомполка, — бой близок, а люди голодны. Идите в тыл, в штаб и скажите, что я приказал прислать консервов. А если нет, то сала, и потом пусть вскипятят хотя бы воду для чая. В общем сделайте!..

Я повернулся и пошел. Тропка изгибалась меж кустами. Я шел к себе.

Впереди была цепь. И потому я был спокоен. И когда сзади послышался лошадиный топот, я не повернул даже головы, а просто сделал полшага в сторону, с тем чтобы пропустить скачущих кавалеристов.

Но топот вдруг резко оборвался.

Горячее лошадиное дыхание опалило мне шею. Послышался металлический лязг движущего затвора, и на своем затылке я почувствовал холодное прикосновение винтовочного дула.

Негодую на дураков-кавалеристов, я острожно, иначе бы мне разбили череп, поворотил голову, — и умер в ту же минуту, потому что увидел вместо наших кавалеристов два ярко-красных мундира и синие суконные шаровары, каких ни бригада, ни красноармейцы никогда не носили.

«Кончено, — мелькнула тысящесекундная мысль, — как это ни больно, как ни тяжело, а все равно кончено».

И, побледнев, я пошатнулся с тем, чтобы по железному закону логики спусковой крючок приставленной к затылку винтовки грохнул взрывом.

— Н а ш ! . . — коротко крикнул один.

Шпоры в бока, нагайки по крупу, и опять никого и ничего.

Посмотрел вокруг, сделал машинально несколько шагов вперед и сел на срубленный пенёк.

Все было так дико и так нелепо. Ибо вопрос был кончен: позади были петлюровцы, и опыт войны; и здравый смысл, и все, все говорило за то, что я обязательно должен быть мертв.

...Далеко, на левом фланге, отбивалась бригада красных мадьяр.

Бригада была разбита, и двое мадьяр прискакали сообщить об этом в штаб нашего полка.

* * *

— Как странно, — сказал мне доктор, — сейчас, вероятно, вы ничего не помните, а у нас записано: «И у одного из них с правой стороны не хватало на груди медной пуговицы...»

— Да, этого я не помню.

— Это у вас в подсознании, и навсегда, — был ответ доктора¹.

...Долго шел к своему читателю.

Очень долго, почти пять лет...

Сегодня кажется: чего же проще: ведь именно «РВС» был первой всерьез удавшейся ему вещью?

Но в жизни, к сожалению, не всегда видишь, что прямой путь короче окольного.

Менее чем через год, уже на Урале, задумал «РВС» переиздать.

«1. Тов. Гайдар-Голиков, — гласил договор, — обязуется представить... к шестому марта 1926 года совершенно в готовом для печати виде труд свой под названием «Реввоенсовет» с правом напечатания в газете «Звезда» и переиздания отдельной книжкой изданием «Пермкнига» в тираже не более 7 тысяч экз.

2. Размер повести исчисляется в два с половиной печатных листа».

На страницах газеты рассказ (или, как он значился в договоре, повесть) печатался две с половиной недели, с 11 по 28 апреля.

Текст, разумеется, никто не правил. Сокращать не предлагал. И в газетной редакции появилось немало сцен, которых не было в журнальной. По-видимому, в газете печатал, как вещь поначалу, еще в Ленинграде, написалась — со всеми эпизодами.

А в «Пермкниге», отдельным изданием «РВС» так и не вышел.

Дело в том, что в Госиздате, в Москве, куда он ненадолго приехал, ему предложили выпустить «РВС» повестью для детей.

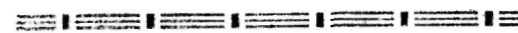
Удивился:

— Да вы знаете, какие там у меня... картинки?

Без них он книги своей уже не представлял.

А «картинки» действительно были.

«ПРИЕЗЖАЛИ СЕГОДНЯ В ДЕРЕВЕНЬКУ ЗЕЛЕНЬЕ, человек двадцать. Заходили двое и в Димкину хату, гоготали весело с Головнем о чем-то, пили чашками мутный и терпкий самогон.



¹ Аркадий Гайдар, Первая смерть. Газета «Звезда», 1926, 26 сентября.

Димка смотрел из-за печки с любопытством, и в окошко видно было ему, как сидел верхом на соломенной крыше наблюдатель и смотрел не в поле, а на улицу, покрикивая Палагеевой Маньке:

— Иди сюда, иди сюда, гарнусенька... А, не идешь, сукина дочь, вот я до тебя слизу...

Но не слез, однако, потому что из-за ворот вышел другой, должно старший, и крикнул сердито:

— О то ж я тебе слизу, бабник... — И, заметив испуганную Маньку, сказал успокаивающе: — Та не бойся же, кралечка, идем до дому... — и тихонько пхнул ее пальцем в грудь...»

Был и мрачный фольклор, сплавленный с жестокой прозой войны:

«— ЗАЧЕМ У САРАЕВ? — НЕОХОТНО СПРОСИЛ ЖИГАН, — можно еще куда-нибудь, а то рядом с мертвыми.

— А что тебе мертвые?

— Ничего, а все же... Знаешь историю про кузнеца Егора и про Парфена косоногого?.. Нет?.. Ну, так помалкивай. А я, как со спекулянтами ехал, под лавкой сидел и до самой точки все слышал.

А была такая история.

Доказал мельник Парфен на Егора, да еще на двоих, что они с партизанами путались...

Повели их немцы вечером да к ночи и постреляли, и пошли себе дальше, потому что в одежде ихней не нуждались — обмундировка на самих была справная...

А Парфен сидит дома и думает: «Пошто мануфактуре пропадать? Ежели что не очень испоганено — пригодиться по хозяйству может».

Ждали... ждали дома бабы, не идет Парфен... А самим пойти боязно.

Под утро пошли с мужиками, смотрят — лежат двое совсем раздетые, белье рядом, в узелках. А над кузнецом — Парфен, наклонившись (пинжак, видно, расстегивал), да так и сдох... потому что ему в шею лапами, как



клещами, впился, да так и не разжал... до смерти...

Рассказ, по-видимому, произвел сильное впечатление, потому что Димка подобрал салазками ноги, свесившиеся над водою речки, и обернулся назад для чего-то...

— А может, он живой еще тогда был? — высказал предположение Димка, немного подумав.

— Это всяко понимать можно... Только навряд... после немцев не оживешь, пуля у них тяжелая...»

Не обошлось в повести и без смешного... Хотя смешно ли?

«— Вырасту, тоже в солдаты пойду, — сказал как-то Димке Марьин Федька.

— А к кому — к белым либо красным? — поинтересовался Димка.

— Нет, — отрицательно махнул головой Федька, — в кавалерию...»

Но в Госиздате успокоили: сами посмотрят. Если надо, аккуратно, не разрушая «художественной ткани», выправят.

И правда, выправили.

Когда прислали книгу: обложка красная, буквы желтые, и белым пламенем взрывается черный броневик — своих не узнал.

«Картинок» — ни смешных, ни печальных — не было и в помине. Попа Перламутрия заботливый редактор переквалифицировал в фельдшера, а в иных романтических местах, чтобы читатель не оставался в волнующем неведении, редактор старательно добавил от себя дюжину-другую разъясняющих слов.

Возмущенный Гайдар куда-то даже там писал. Но что толку, если книга все равно испорчена?

Это было его первое знакомство со «спецификой» детской литературы.

...Новое издание «РВС» вышло только в 1930 году, после «Обыкновенной биографии», которая далась ему невероятно трудно.

«Обыкновенную биографию» он писал уже второй раз.

В первый не получилось.

В первый — это когда он еще начинал.

Ведь повесть «В дни поражений и побед» он поначалу вел от Арзамаса, от детства, от описания шалостей на уроках закона божьего.

«— БАТЮШКА! — ЗВОНКО СПРАШИВАЛ СЕРГЕЙ (главный герой повести. — **Б. К.**), вставая с места, — разрешите опросить?

— Ну, что тебе? — бурчал тот.

— У Адама и Евы были два сына... К<аин> и А<вель>.

— Ну?

— Каин убил Авеля...

— Ну и убил... Так чего тебе?.. — сердился отец Фермапонтый.

— А бог наказал его и послал в другую страну... А откуда, батюшка, другая страна с людьми-то взялась, — ничего и не написано...

— Была, раньше была другая страна, — недовольно бормотал себе под нос батюшка, но вдруг, уяснивши преднамеренную постановку казусного вопроса, кричал и злобно гудел:

— Дурак, болван, пошел на заднюю парту!

Сергей уходил с обиженным лицом и внутренне радуясь, что подвел батюшку.

А в отместку за это на следующем уроке путем хитроумных приспособлений продемонстрировались «вопиющие камни» при помощи уличного кота, заблаговременно посаженного в холодную классную печь, или «сошествие князя тьмы и злобствования» в виде страшной рожи, подозрительной по сходству с отцом Фермапонтием, спускавшейся под дружный хохот с лампового крюка на белой, едва заметной нитке...

Впрочем, это не мешало ему ко дню экзаменов назубок ответить... Так что годовая тройка в балльнике всегда была ему обеспечена.

Принимал он (Сергей. — **Б. К.**) большое участие в составлении классного литературного журнала «Свет», ибо <недурно> владел и стихом и прозой.

(Это были его первые после журнала «Свет» страницы «прозы». Первая художественная автобиография. И он писал, за исключением незначительных каких-то подробностей, не особенно отступая от фактов.)

«Так шло время со своими мелкими интересами, замкнутой училищной жизнью, веселыми, но пустыми каникулами, до начала 17-го года, то есть до времени, когда Сергей оканчивал четвертый класс.

Февральская революция бурно кинула его сначала в ряды кружковой молодежи, потом в явно большевистскую <среду>, к которой

<примкнула и его мать>, и закружилась у него голова под наплывом новых впечатлений, вопросов и проблем, выкинутых из недр народного океана революции.

С тех пор его можно было видеть около крепкого местного большевистского ядра и в минуту торжества буржуазной реакции в июльские дни, и после Октября: на горячих митингах, возле испытанных ветеранов рабочего движения, и с карабином в руках на посту... все тревожные минуты существования рабочей власти.

В свободные минуты он читал книги и брошюры и чувствовал себя в своей стихии.

— Сережа! Не сломай себе голову! — часто говорила ему мать. — Куда ты торопишься?..

— Но ведь он еще совсем мальчик! — с ужасом говорили про него бывшие знакомые и родные его товарищей. — Что у него может быть общего с этими большевиками?..

— Да, — трубил... инспектор, — иду это я часов в десять, с опаской, от отца Кирилла. А на углу это мне: «Стой, кто идет?! Документ!..» Смотрю, Горюнов, с кем-то еще, с карабином.

— Ну и что?! — спрашивал заинтересованный собеседник.

— Что же, ничего не поделаешь. Подошел, посмотрел и говорит: «Это вы?» — «Я». — «Нельзя по ночам разгуливать, извольте отправиться домой». Нет, подумайте, каков!

— Да, — соглашался собеседник. — Но он еще, видно, не злопамятен, а то... Ведь вы в прошлом году настаивали на его увольнении <за организацию протеста> по просьбе законоучителя. Согласитесь сами, что мы бы...

Инспектор хмурился.

Подходил конец 18-го года. Жизнь немного начала принимать более определенные формы...

Резко прозвучал по всей России предательский выстрел наймитки Каплан, и две пули

впились в тело вождя пролетарской революции.

Грохотали залпы красного террора...

Сергею исполнилось 15 (цифру 15 он зачеркнул, поставил 16. — Б. К.). Высокий, крепкий, с белокурыми волосами и прямым голубым взглядом, он производил впечатление по крайней мере 19-летнего юноши. Теперь перед ним во весь рост стоял вопрос, на что держать свой курс и что делать.

Училище было закрыто, да в это время при всем желании сидеть за учебником он и не смог бы, потому что его молодая, горячая натура властно требовала живой и кипучей работы.

Но как раз кстати он получил от своего друга по училищу Николая Егорова письмо... Сергей думал ровно три минуты, по истечении которых не торопясь подошел к матери и сказал:

— Мама, я завтра уезжаю!

— Куда? — несколько побледнев, спросила та.

— В Москву, а затем на Украину, в армию, — добавил он.

Спорить было, конечно, бесполезно. Да мать и не спорила. С грустью посмотрела на него, вспомнив о потерянном одном близком человеке в серой шинели, уронила слезинку и сказала:

— Ну что же, сынок... Тебе виднее...

Получил хорошие документы из горкома Сергей, обошел и тепло попрощался со старшими товарищами...

Потом зашел домой, обнял мать и троих сестреночек. И тоже, повернувшись, вышел с веранды, и видно было, как скрылась за поворотом его высокая, прямая, в серой шинели фигура¹.

Когда писал — нравилось. Потом увидел — не получилось. Скучно. А почему скучно — догадался позже: когда принимался за «ро-

¹ Аркадий Гайдар. В дни поражений и побед. Черновик. ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 12, стр. 14—18.

ман», за первую главу, еще не знал, зачем все это пишет. И в повесть «В дни поражений и побед» детство не вошло.

Конечно, военная его биография началась с 1919 года, с командных курсов. Но всего этого не было бы, не будь Арзамаса, митингов и его, мальчишки, дружбы с настоящими революционерами, недавними подпольщиками.

И теперь, спустя много лет, ему захотелось заново рассказать про те дни в давно задуманной книге «Автобиография».

А работа шла с трудом. И медленно.

— Когда я напишу в день страниц десять, то я чувствую себя хорошо. И никакой усталости. А сегодня, сколько ни пытался, — ни строки. И потому скверно себя чувствую. Не получается... — признался как-то Гайдар в разговоре с молодым парнишкой Женей Коквиным, который в тот день тоже был опечален: у него, Жени, не получился первый его рассказ. Рассказ этот Гайдар только что разбирал на заседании литературного актива библиотеки. И потому разговор был на равных.

...Название «Автобиография» ему скоро перестало нравиться: оно звучало уж слишком анкетно. И тогда решил: пусть длинно, зато точно: «Обыкновенная биография в необыкновенное время». Но в редакции «Октября», где повесть должна была печататься по отделу мемуаров, не согласились. Срезали. И осталось: «Обыкновенная биография».

Под этим названием книга должна была теперь выйти и в серии «Роман-газета для ребят», в двух выпусках за 1929 год.

На внутренней стороне обложки — по традиции — писалось об авторе. И его попросили написать о себе.

Рассказывать читателю — вот так, с глазу на глаз — о прожитом ему еще не доводилось ни разу. Да и читатель был особый — дети. И ему вдруг захотелось им объяснить: хоть он теперь и писатель, хоть и прошел всю гражданскую войну, был он в их возрасте таким же, как и они. И повезло ему только в одном — вовремя родился.

С этого и начал.

«Когда началась империалистическая война, мне было десять лет. В первый же день отца взяли в солдаты. В этом же году меня отдали в первый класс реального училища. Два месяца спустя, захватив гривенник денег, я убежал к отцу на фронт.

На фронт я, конечно, не попал и через четыре дня был задержан на станции Кудьма, возле Нижнего Новгорода.

Рос я среди веселых и озорных товарищей. Ватагами уходили мы в лес, лазали по садам, ловили птиц и доставляли много хлопот нашим матерям.

Читал я много, но без всякой системы. Попадется под руку календарь — читаю календарь. Попадется «Война и мир» Толстого — читаю «Войну и мир», но если после этого подвертывалась поваренная книга, прочитывал ее тоже не без интереса.

Разбирая старые отцовские книги, я наткнулся на несколько книжек очень странного для меня содержания. Помню, одна была антирелигиозная, другая — Степняка-Кравчинского — о революционерах.

Мне было уже около 14 лет. Книги эти меня удивили и заставили насторожиться¹.

¹ Вот как Гайдар описывал свои впечатления от встречи с отцовскими книгами в повести «Обыкновенная биография» («Школа»):

«Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы... Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров» (Аркадий Гайдар, Собрание сочинений в 4 томах. М., Детгиз, 1955, т. I, стр. 108—109).

После Февральской революции я оказался не то адъютантом, не то рассыльным при местной группе социал-демократов большевиков.

В Октябре я получил боевую винтовку и ночью наравне со старшими стоял в караулах. В конце 1918 года, когда мне было четырнадцать с половиной лет, я ушел в Красную Армию.

Я был высоким, крепким мальчишкой, после некоторого колебания меня приняли на командные курсы. Пятнадцати лет я командовал шестой ротой второго полка бригады курсантов на петлюровском фронте, а в семнадцать лет — 58-м отдельным полком по борьбе с бандитизмом.

Все это очень странно, но все это было.

Из армии я демобилизовался окончательно только в октябре 1924 года. Демобилизовался потому, что на почве некоторых потрясений и прежней контузии я заболел острым нервным расстройством.

Первая книга, которую я написал, — это повесть «В дни поражений и побед».

Книгу эту я посвятил славной борьбе красных курсантов. Она издана ЗИФом.

Позже я написал «РВС», «Всадники неприступных гор», «На графских развалинах» и, наконец, эту повесть.

Я пишу главным образом для юношества.

Лучший мой читатель — десяти-пятнадцати лет. Этого читателя я люблю, и мне кажется, что я понимаю его, потому что сравнительно не так давно таким же подростком был я сам.

Я много путешествую, разглядывая жизнь такую, как она по-новому складывается, и в то же время всегда с большой теплотой вспоминаю огневые зори на вражеских фронтах — боевую школу, в которой прошли мои лучшие мальчишеские годы».

К исписанным листкам приложил фотографию: крепкий мальчишка в военном, смелое,

спокойное лицо, шашка и маузер на ремнях, командирская звездочка на рукаве.

На обороте пометил: «Арк. Гайдар, 16 лет, командир 4-й роты 303-го полка 34-й Кубанской дивизии. 1920 год. Кавказский фронт».

Но автобиографию надо было как-то назвать. И он назвал: «Командир отдельного полка». Назвал по привычке. По последней занимаемой в армии должности.

...Он еще не знал: командиром полка он не только был, но и снова стал.

И новый полк его — тоже особого назначения и отдельный. Только небывалый — миллионный. Как бы малыми гарнизонами по всей стране разбросанный. И с этой минуты он — его несменяемый командир.

...Он еще не знал: пройдет не так уж много времени — десять с небольшим лет — и в предчувствии грозы, по слову его, приказу подыметесь мальчишечье-девчачий полк по всей стране. И о делах, о подвигах полка станут рассказывать потом легенды.

И он тем более не знал, что после его, Гайдара, гибели бойцы небывалого полка — пионеры, никогда его, командира, в глаза не видевшие, из года в год, из поколения в поколение будут считать его своим главным командующим.

И будет у этого полка свой устав — им, Гайдаром, оставленные, для них написанные книги.

Свое, им, Гайдаром, подсказанное дело.

И своя, боевая, про него сложенная песня.

И когда в походе на марше или просто на привале в тихую, душевную минуту кто-нибудь запоет:

Слышишь, товарищ, гроза надвигается,

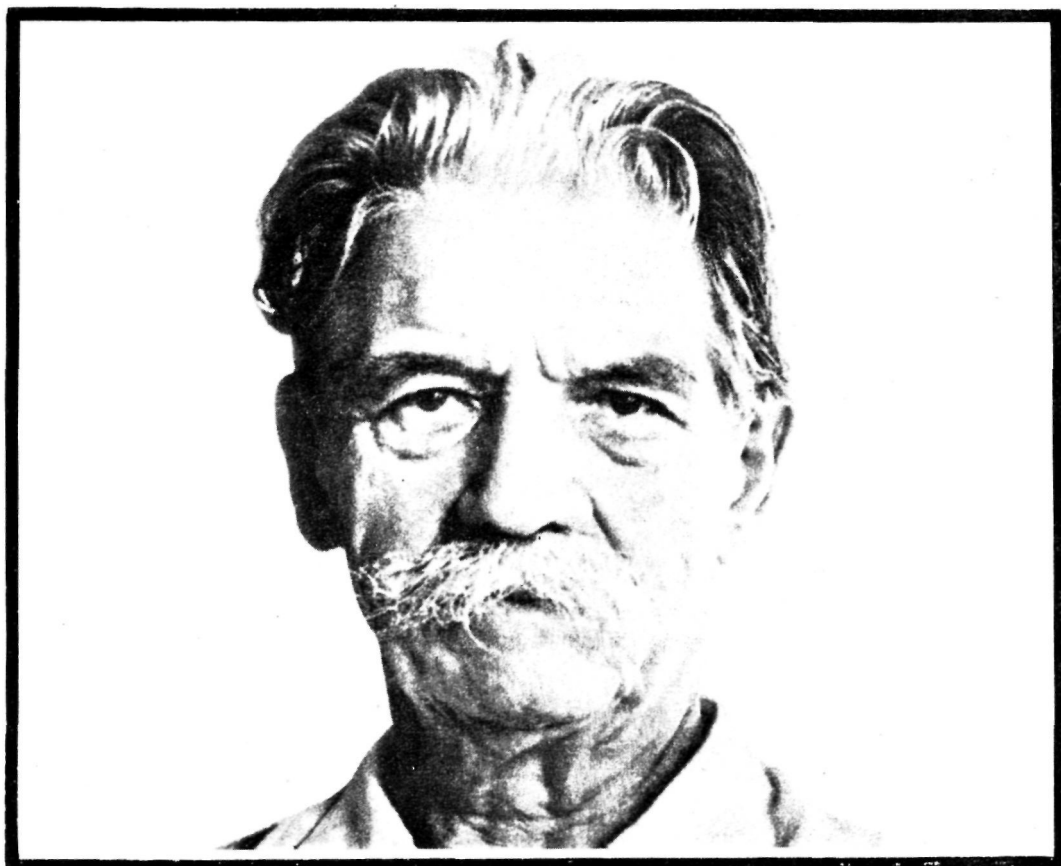
С белыми наши отряды сражаются.

Только в борьбе можно счастье найти... — остальные подхватят:

Гайдар шагает впереди,

Гай-дар ша-гает впе-ре-ди...

А человек, живущий в песне, живет вечно.



Борис Гиленсон
Добрый человек
из Ламбарене

...Да, они, конечно, удивились, веселые, шумные первокурсники-медики Страсбургского университета, когда он, неторопливо облачившись в белый халат, прошел в анатомичку и принялся за работу. Это случилось в самом начале первого семестра, но они уже успели наслышаться о нем, а кое-кто даже побывал на его лекциях в соседнем корпусе, на философском факультете: он читал свою «коронную» тему о Канте. Впрочем, в Страсбурге он был вообще личностью известной, и многие, глядя на их нового сокурсника лет на 10—12 старше их, припоминали, что видели его совсем недавно в местной филармонии, где он давал сольный органнй концерт.

Вряд ли его спутаешь с кем-нибудь другим: благородная, крепко посаженная голова, шапка волнистых черных волос, усы, фигура кряжистая, чуть сутуловатая, какая бывает у тех, кто подолгу ходил за плугом или склонялся за письменным столом.

Нет, не праздное любопытство привело его в анатомичку: он усердно возился с колбами в лаборатории органической химии и исправно записывал скучноватые лекции по анатомии. А когда занятия у медиков кончались, спешил к своим подшефным студентам философам и теологам, у которых вел семинары, или в университетскую библиотеку, где в профессорском зале на его столе громоздились внушительные стопы книг, причем самых разных: теологические фолианты, ноты, жития Иисуса Христа, сочинения Толстого и Гёте. Впрочем, иногда он исчезал из Страсбурга на несколько дней, и потом в местной газете они узнавали, что он был в Париже, где концертировал со своими друзьями из Общества Баха.

Итак, 30-летний Альберт Швейцер, профессор философии и теологии Страсбургского университета, автор диссертации о религиозной философии Канта, известный в Европе органист, стал студентом-медиком в том же самом учебном заведении, где он продолжал профессорствовать. Он решил сделаться врачом, чтобы затем отправиться в джунгли Экваториальной Африки и основать там госпиталь.

Всего несколько недель назад, 18 октября 1905 года, выйдя ранним утром из парижской гостиницы, он подошел к первому же попавшемуся ему на глаза почтовому ящику на Авеню де ла Гран-Арме и, помедлив мгновение, опустил в него пачку написанных за ночь писем. Они были адресованы самым близким ему людям, и в них он извещал об этом принятом им решении. Он предвидел неблагоприятную реакцию и не ошибся в мрачных прогнозах: друзья встретили это известие с недоумением или явно неодобри-

тельно. Родители горько сетовали на безрассудство сына.

Кажется, один только человек тогда понимал его до конца — Елена Бреслау, дочь местного историка, милая девушка, работавшая с детьми-сиротами. Она готова была ехать в Африку и училась на медсестру. Они поженились в 1912 году, когда Швейцер окончил медицинский факультет. Елена ждала этого 10 лет.

То, что большинству казалось эмоциональным порывом, было на самом деле тем жизненным решением, которое Швейцер вынашивал давно и в правильности которого уверился не только на основании чистых умозаключений. Оно отвечало самому существу его характера и его мирозерцания...

Он родился в семье пастора в 1875 году, через пять лет после окончания франко-прусской войны, в маленьком городке Кайзерсберге в Эльзасе, на земле, только что отторгнутой от Франции.

Швейцер был немцем по языку, по своей духовной культуре. Но в равной степени он считал родными язык и культуру Франции. Впоследствии Ромен Роллан писал, «что эльзасская культура соединяет в себе все, что есть лучшего в обеих цивилизациях». Швейцер впитал в себя это лучшее: оно определило его широкое, общечеловеческое, гуманистическое мировоззрение, чуждое национальной ограниченности, этот столь характерный для него сплав немецкой любви к абстрактно-философскому мышлению с французским рационализмом, сочетание духовно-эмоционального и трезво-практического начал.

Он рос одаренным ребенком. В пять лет он уже играл на органе, отдавая дань старой семейной традиции, много читал, отлично учился. Вообще природа была щедра к нему: у него были феноменальная память, музыкальный талант, завидное здоровье, прекрасное сердце. Его детство было безмятежным, счастливым. И именно не от нужды, не от собственной боли, а — что бы-

ваит гораздо реже — от полноты собственного счастья он стал задумываться над горем других, над своими одноклассниками из семей бедняков. Он захотел отплатить столь благосклонной судьбе, помочь тем, кто страдает.

Тогда, в юности, впервые блеснула у Альберта Швейцера мысль: «Жить для других».

Окончив гимназию в Гонсбахе, он поступает в Страсбургский университет, где учится на двух факультетах одновременно: теологическом и философском. Там студентам предоставляли большую свободу, и Швейцер с его неистребимой любознательностью умел быть в курсе всего нового, успевая интересоваться также и естественными науками.

Тогда Швейцер познакомился с сочинениями Толстого; их чтение стало событием в его духовной жизни. Русский гений, по словам Швейцера, «побуждал задумываться над собственной жизнью и вел к простому и глубокому гуманизму». Позднее, когда Швейцер стал уже приват-доцентом Страсбургского университета и начал формулировать свои этико-философские принципы, незримые узы, связывавшие его с Толстым, стали еще теснее.

Во время одной из поездок в Париж он становится учеником знаменитого мэтра, органиста и педагога Шарля Видора. По его совету он начинает углубленно заниматься Бахом, который становится с той поры тем, кем стал Бетховен для его друга Роллана, — спутником жизни Швейцера. Его влечет баховская одухотворенность — та сила, которая высекает искры света из человеческих душ.

И Швейцер начинает трудиться над книгой о Бахе. Он пишет ее по-французски, задавшись поначалу целью пропагандировать наследие композитора, которого во Франции знали плохо. Но книгой заинтересовались в Германии, где баховедение имело давнюю и серьезную традицию. И тогда Швейцер принимается за новую книгу о Бахе, на этот раз уже по-немецки: она в два раза больше

по объему и обширна по материалу. Этот фундаментальный труд в 850 страниц, написанный 29-летним молодым человеком, не музыковедом по специальности, считается отныне классическим.

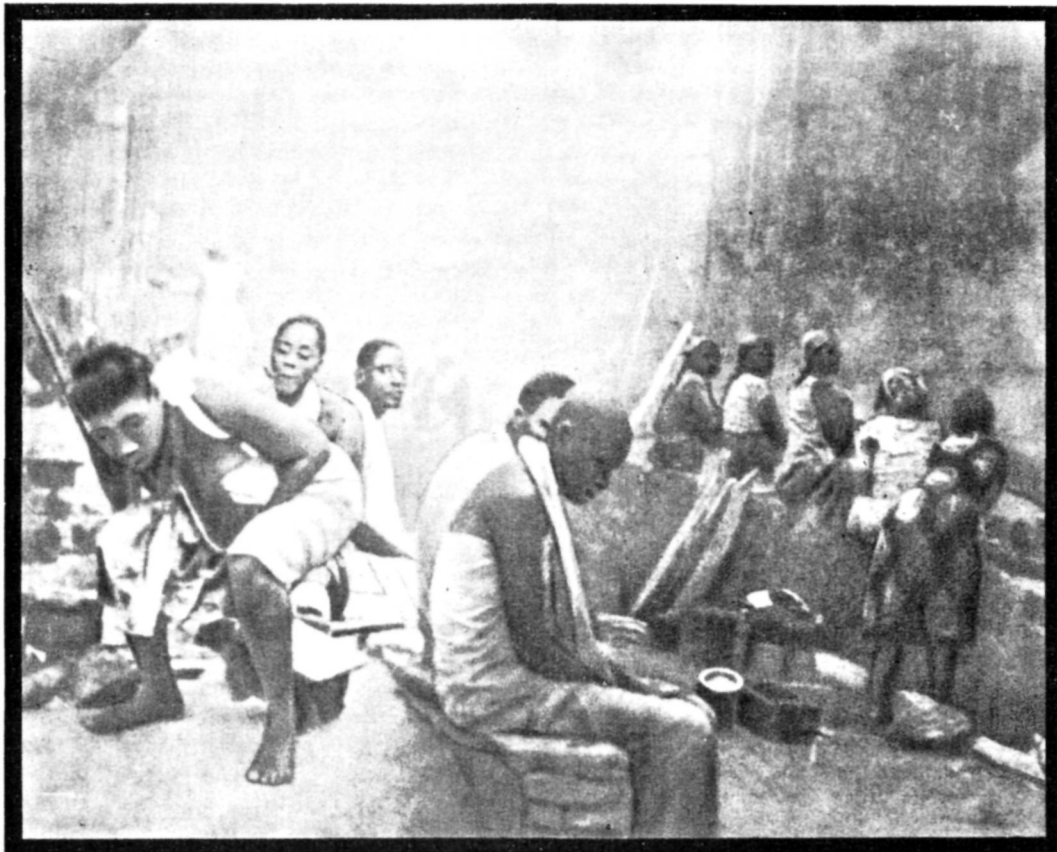
Философия Канта, музыковедение, концертная деятельность, история этических и религиозных учений — таковы сферы поистине энциклопедических интересов Швейцера, в котором, кажется, ожил неукротимый творческий дух людей Возрождения. Но нет, он не может ограничить себя одной областью духовной жизни.

Мысль о нищете и горе, которые он видит в городах Европы, куда едет на концерты, не дает ему покоя. Он знает: беднякам нужны не проповеди, а протянутая рука друга. Еще в бытность свою студентом он принимает участие в кое-каких филантропических начинаниях, раздает пожертвования нуждающимся, пробует перевоспитывать преступников в тюрьмах. Но эти попытки дают ничтожные плоды, в то время как власть имущие проявляют к нему полное равнодушие.

Швейцер рос человеком внутренне углубленным, склонным к самоанализу. Эта рефлексия не парализовала, а, напротив, мобилизовала его волю. В 21 год он нашел свою цель: до 30 лет учиться, совершенствовать свои знания, после 30 — отдать себя на службу человечеству. Он еще не знал, чем конкретно он может быть полезен людям. Но ему крепко запомнились слова его любимого героя Фауста: «Вначале было дело».

Как-то он прочитал в одном из миссионерских журналов, что в Конго срочно требуется врач. Так он принял свое решение, в котором ни разу не раскаивался.

Став студентом-медиком, Швейцер избрал своей специальностью тропические болезни. Ему, привыкшему находиться в мире отвлеченных идей, было очень нелегко на четвертом десятке познавать химию, анатомию, биологию. Но познание приносило радость.



Позднее Швейцер писал, что он «почувствовал почву под ногами».

Он по-прежнему читал лекции, завершал книгу о Бахе, давал концерты. Его время сна сократилось до почти катастрофической цифры: 3 часа в сутки. Так продолжалось семилетие, с 1905 по 1912 год. Он назвал это время «годами борьбы с усталостью».

Готовясь к экзаменам, он пробовал решать проблемы с присущей ему дотошностью, а на это просто не хватало времени. Наконец его, профессора, приняли в студенческий кружок «зубрил». Там царил дух здорового утилитаризма: материал заучивали строго по билетам, а кроме того, тщательно коллекцио-

нировали все дополнительные вопросы, задаваемые на экзаменах. В декабре 1911 года Швейцер сдал итоговый экзамен по хирургии, и старый профессор Маделунг, поставивший последнюю оценку в его матрикул, сказал ему: «Только благодаря вашему здоровью вы смогли все это вынести». Но самое трудное было еще впереди.

«...Река и девственный лес... Кто решится передать производимое ими впечатление? Это было как сон. Сказочно яркие картины, которые, казалось, могли быть лишь плодом человеческого воображения, оказались живой явью». Так вспоминал Швейцер о первой встрече с джунглями, пока легкое



каное несло его вверх по реке Огове от порта Либревиль во французской колонии Габон к мало кому известной деревушке Ламбарене, расположенной в 40 километрах к югу от экватора. В этой местности было два времени года: сушь и пора ливней.

Он прибыл в Африку в феврале 1913 года: сборы отняли у него около года. Колониальная администрация в Париже откровенно ставила ему палки в колеса; особенно были недовольны тем, что Швейцер отказался от всякой миссионерской работы — он ехал лечить людей, а не проповедовать. Ему пришлось запастись семьюдесятью ящиками

с медикаментами и оборудованием. Он истратил все свои сбережения, полученные от органичных концертов, и, кроме того, безнадежно влез в долги.

Начинать Швейцеру пришлось фактически на голом месте. Помимо обязанностей врача, ему на плечи легло множество чисто хозяйственных забот. Он еще не успел распаковать чемоданы, а на каких-то незримых крыльях, пересекая полноводные реки и оцепеневшие в своем величии леса, от деревушки к деревушке летела весть о приезде доктора. И они шли, ковыляя, плыли к нему, укушенные крокодилами и леопардами, отравленные змеиным ядом, прокаженные...

«Мы все здесь больны», — сказал ему как-то один из пациентов. И действительно, местность вокруг Ламбарене казалась каким-то концентрированным средоточием таких разнообразных болезней, которые даже не попали в самые подробные медицинские справочники.

Швейцер умел быть твердым, он научился спокойно воспринимать смерть. Но боль всегда казалась ему страшнее смерти. Боль других людей. Может быть, он даже считал это слабостью, жившее в нем с детства неистребимое чувство сострадания. Глядя, как эти несчастные стекаются к нему в Ламбарене, он чувствовал, что его сердце обливается кровью.

Но, наверно, без того чувства не было бы Альберта Швейцера!

Вряд ли на медицинском факультете Страсбургского университета его учили, как проводить операцию на открытом воздухе, объясняться с пациентами при помощи жестов и переоборудовать курятник в больничную палату. А именно так — без помещения, без помощников, в условиях, которые, наверно, привели бы в отчаяние его почтенных педагогов, — начинал он свою врачебную практику.

Он вел прием прямо на веранде своего дома: это был период дождей, и, когда начинался ливень, он вместе с пациентами устремлялся лихорадочно собирать медикаменты и прятать их под навес. Сырость была тогда для него опасностью № 1; впрочем, опасности таились на каждом шагу.

Среди деревьев, с трудом различимые глазом, свешивались ядовитые змеи. Рука, нечаянно опустившаяся в траву, могла стать добычей ядовитого скорпиона; полчища белых муравьев неожиданно выползали из щелей, все уничтожая на своем пути — посевы, запасы продуктов; как-то их колонна по шесть муравьев в ряд шествовала мимо Ламбарене 36 часов. Однажды стадо из 20 слонов за ночь уничтожило его фруктовую плантацию.

Джунгли учили Швейцера постоянной, ежеминутной осторожности.

После рабочего дня он чувствовал себя опустошенным, наступал полный упадок сил. Тогда его спасала музыка: он садился за рояль, подаренный ему друзьями из Парижского общества Баха. Это было самое надежное лекарство, возвращавшее ему бодрость.

Они звали его Нгангой, что означало — человек-маг. В глазах своих пациентов Швейцер действительно обладал чудодейственной силой. Когда он давал им наркоз перед операцией, они говорили: «Доктор меня сначала убил, а потом оживил». Причиной внутренней боли всегда был «червь». Лекарство считалось магией, способной изгнать из тела этого «червя»...

Его пациенты покидали госпиталь не только одолевшими болезнь, но в какой-то мере новыми людьми. Они уносили с собой в джунгли первые культурные навыки и привычки, лекарства и, конечно, благодарную память о своем докторе...

И все-таки Швейцер знал, что всепрощающей добротой он ничего не добьется, а может и погубить все дело. Он был строго педантичен, а порой суров. На дверях его дома висели правила поведения: на территории госпиталя запрещалось плевать, сорить, ломать рабочий инструмент.

Однажды — это было уже во время его второго приезда в Африку — крыши в нескольких палатах прохудились, двое больных умерли от простуды. Необходим был срочный ремонт. И тогда Швейцер обратился к вождю одного из племен, пришедшему к нему с пораненной рукой, с просьбой достать для госпиталя триста штук черепицы. Лишь в этом случае Швейцер согласился его оперировать. Вождь долго торговался, и в конце концов они сошлись на двухстах. Операция была сделана, но обещание осталось невыполненным. Тогда Швейцер перестал навещать больного и отменил перевязки. Вождь забеспокоился. После этого Швейцер обещал доставить лечение до конца в том случае, если в госпиталь будет доставлено 500 штук черепицы. На этот раз соглашение было выполнено.

Да, Швейцер мог быть суровым, если речь шла о судьбе его детища!

Его первыми помощниками стали жена и африканец-кок по имени Джозеф, незаменимый переводчик, с подлинно лингвистическим блеском владевший шестью негритянскими диалектами. Он познакомился с анатомией на кухне и напоминал Швейцеру историю болезней примерно в следующих выражениях: «Этот старик поранил себе печенку», или: «У этой женщины боли в правой верхней котлете и нижнем филе». У него была завидная память, и позднее он стал заучивать названия лекарств по-латыни, запоминающая буквенное начертание слов на бесчисленных склянках в аптеке, хотя не был знаком даже с алфавитом. Когда летом 1914 года Швейцер на некоторое время покинул госпиталь, чтобы отдохнуть на берегу моря, Джозеф весьма удачно его замещал. Этот простой, выросший в лесах африканец, преданный и отзывчивый, стал для Швейцера олицетворением талантности его народа.

Да, Швейцеру приходилось читать книги колонизаторов о «природной отсталости» негров. В Африке он понял ложь этих «теорий». В Габоне, в одном из самых глухих уголков континента, жили племена со сложной и богатой культурой, создатели красочных легенд, отличные ткачи, мастера резьбы по слоновой кости, природные танцоры.

Он полюбил этих людей, и не как филантроп, а как собрат по нелегкой жизни в джунглях. В книге «На опушке девственного леса» Швейцер пишет: «Кто может описать несправедливости, которым они подвергались в течение веков со стороны европейцев?!»

Даже сюда, в Ламбарене, долетел ветер мировой войны, едва не истребивший его госпиталь. В августе 1914 года в Ламбарене прибыл отряд туземных колониальных войск, и Швейцер, как немецкий подданный, фактически оказался под домашним арестом. Тем временем негров мобилизовали в армию.

В госпитале катастрофически таяли запасы медикаментов. Грозил голод.

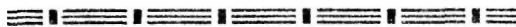
Теперь деревушка Ламбарене, затерянная в сердце Африки, стала для Швейцера той своеобразной вышкой, с которой он обозревает европейскую панораму. Здесь, в тиши девственных лесов, наедине с самим собой, он не оставляет своих идейных исканий. В них есть что-то близкое этико-религиозной философии Толстого: то же страстное обличение современной цивилизации, войн, стяжательства, эгоизма и столь характерная уже для Швейцера апелляция к духовным ценностям XVIII—XIX веков, к Канту и Гёте, призыв к возрождению в человеке истинно человеческого.

Швейцер не раз говорил, что зло коренится в самой природе нашей цивилизации. Но он заблуждался, конечно, полагая, что оно может быть исправлено с помощью реформы человеческих душ, реформы «сверху».

И как часто это бывает, к одному из самых главных своих выводов Швейцер пришел совершенно случайно. Плывая в пироге по Огове по срочному врачебному вызову и наблюдая заходящее солнце, он увидел целый остров крокодилов, хорошо заметных на поверхности. В этот самый момент в его сознании блеснуло всего несколько слов. «Ehrfurcht vor dem Leben»¹ — «Уважение к жизни».

Эта формула, несложная, но емкая, вошедшая в себя мысль о том, что всякая жизнь священна, что все живое достойно жизни, — эта формула стала и девизом Швейцера и самым решительным выражением его философии любви к людям, которой он подчинил свою жизнь и деятельность.

В годы войны Швейцер мучительно размышлял о происходящем: разразившаяся катастрофа, писал он, «есть результат кризиса западной культуры». Так складывался замы-



¹ Слово «Ehrfurcht» имеет также оттенок: преклонение, пиетет.

сел его исследования об оскудении духовных, моральных и этических ценностей в современном ему буржуазном мире. Впоследствии он назвал своей четырехтомный труд «Упадок западной культуры».

И тогда Швейцер услышал Ромена Роллана, человека, вставшего «над схваткой». В далекой Швейцарии он, травимый «патриотической» прессой, обличал безумие по обе стороны фронта. В Ламбарене его поддержал Альберт Швейцер. Они были уже лично знакомы; это произошло еще в 1905 году: Роллан посетил Швейцера в его скромной квартирке на Монпарнасе. Они сразу же почувствовали какое-то родство душ в самых разных сферах, особенно философской и музыкальной.

В книге «Старые и новые музыканты» Ромен Роллан тепло отзываясь об исполнительском искусстве Швейцера. Его книгу о Бахе Роллан оценивает следующим образом: «...Являясь плодом гармонического сочетания немецкого и французского духа, она обновляет изучение Баха и историю других классиков».

(В те годы Роллан писал свою эпопею о Жан-Кристофе, и, наверно, общение с органистом помогло писателю в его работе: в Швейцере было действительно что-то жан-крестофское...)

Из Африки Швейцер писал Роллану: «Дорогой друг! Как восхищаюсь я Вашим мужеством, тем, что Вы решились плыть против течения... Я всем сердцем с Вами, хотя в моем теперешнем положении я лишен возможности оказать Вам действенную поддержку».

Между ними завязалась переписка. В одном из писем Швейцера к Роллану мы читаем: «Вы всегда будете иметь меня на своей стороне...»

Сознание того, что он не одинок, давало Швейцеру душевные силы продолжать работу над своим трудом о современной культуре. Когда кончался рабочий день врача, начиналось время писателя: Швейцер аккурат-

но отодвигал склянки с лекарствами и погружался в свою рукопись.

А из Европы приходили трагические известия. В 1916 году в своем родном городе погибла мать Швейцера, попав под копыта солдатской лошади. А в сентябре 1917 года у дверей его дома появился полицейский из Либревилья, который сообщил Швейцеру, что согласно распоряжению правительства Клемансо он, как немецкий подданный, подлежал высылке в 24 часа с последующим препровождением в лагерь для интернированных лиц.

Мог ли он себе вообразить, что вернется во Францию в качестве пленника, что живописный монастырь в Каркассоне превратится в некое подобие концлагеря для него, как и для других ни в чем не повинных лиц? И что там для восстановления музыкальной техники он будет часами барабанить по деревянному столу, имитируя игру на органе...

Он был болен. Его жена, с трудом переносившая африканский климат, теперь оказалась вместе с ним в еще более вредных для здоровья условиях. И снова Швейцера спасал труд — он возвращал ему силы духа. Он ухаживал за больными и по ночам писал свою книгу.

Там, в Каркассоне, его философия отливалась в афористически простые сентенции:

«Человек, развивший в себе духовные и умственные силы, считает добром: сохранять жизнь, способствовать ее росту, поддерживать всякую жизнь в ее высшем развитии.

Человек, развивший духовные и умственные силы, считает злом: разрушать жизнь, приносить ей вред, насильственно сковывать ее развитие».

В июле 1918 года состоялся обмен пленными, и Швейцер вернулся в Германию.

В дороге с ним произошел на первый взгляд малозначительный эпизод: на одной из станций какой-то незнакомец, узнавший в нем известного в довоенной Европе органиста, попросил в знак уважения к Швейцеру помочь поднести его багаж. С тех пор

Швейцер дал себе слово, что он всегда будет помогать тем, кто обременен тяжелой ношей. Правда, его энтузиазм зачастую наталкивался на подозрительность; вместо благодарности те, кому он хотел помочь, обращались за помощью к полиции...

После войны Швейцер занял должность пастора в маленькой церкви в Эльзасе, возвращенном теперь Франции, и попутно работал в качестве хирурга в местной больнице.

А Германию между тем сотрясали могучие толчки, страну охватила революция.

И Швейцер снова озадачил всех, публично выразив свое восхищение Розой Люксембург, которую церковь провозгласила «исчадьем ада». Пастора Швейцера потрясла сила ее духа; он часто цитировал «Письма Розы Люксембург из тюрьмы», эти удивительные документы чистой человеческой души. В них есть следующие строки: «Я бы ничего не хотела вычеркнуть из своей жизни или что-либо пережить иначе, чем оно было». Наверно, они были так понятны Швейцеру.

В 1920 году он отправляется с лекционное турне в Швецию, затем в Англию, Швейцарию, Чехословакию. Повсюду его приветствуют толпы людей. Так приходит к нему слава, которой он не ищет, но которая с той поры неумолимо растет и достигает всемирных масштабов.

Только теперь на средства, вырученные от лекций, он смог расплатиться с друзьями, ссудившими ему деньги на покупку оборудования почти 10 лет назад.

В 1924 году выходит его книга о пережитом в Африке — «На краю девственных лесов». Деловито, скромно, словно стыдясь эмоций, повествует он о работе врача в джунглях: для него она не самопожертвование на людях, а выполнение внутреннего долга. Эта книга превратилась в обличение колониализма.

С возмущением пишет он о тех, кто отрывает крестьян от своего труда и заставляет идти в джунгли на лесосплав, в то

время как их поля зарастают сорняками, а семьи умирают с голоду. О тех, кто за бездельушки выменивает слоновую кость и драгоценности. О тех, кто идет к неграм не с книгой, а с опиумом и ромом.

В феврале 1924 года — на этот раз уже без семьи — он снова отправляется в Африку.

Его ждали заброшенные бараки госпиталя, паутина на окнах, сгнившие от дождей крыши. Он оказался отброшенным на много лет назад: так альпинист, с огромным трудом уже достигший большой высоты по дороге к вершине, вдруг срывается, скользит вниз, туда, откуда начинал путь. Нужно было неиссякаемое терпение Швейцера, чтобы возобновить прерванное восхождение...

Следующий год в джунглях был дождливым, вода затопила посевы, начался голод, в палатах не хватало коек из-за непрерывного наплыва больных. И тогда Швейцер принимает решение перенести госпиталь на новое, более удобное место — в 20 километрах вверх по Огове, на островок, где обезлюдившая деревня почти заросла лесом и кустарником.

Знакомые в письмах отговаривали Швейцера от его затей, и он, привыкший преодолевать почти невозможное, на этот раз должен был, казалось, отступить перед силой джунглей. В Европе вот уже два года, как его ждали жена и дочь, а Швейцер истосковался по семейной жизни. И все-таки снова в нем взяла верх воспитанная с детства привычка браться за самые трудновыполнимые задачи.

Тогда, стоя в своем знакомом по множеству снимков защитном шлеме, широкоплечий, с уже поседевшей копной волос, опираясь сильными руками на заступ лопаты, повторял он любимые стихи из «Фауста»:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

Позднее, в речи при вручении ему премии Гёте, Швейцер сказал: «Гёте стоял рядом со



мной в самом сердце джунглей, улыбаясь тепло и одобрительно». И все-таки Швейцер, ставший на время инженером, прорабом, бухгалтером, измученный отупляющей физической усталостью, не утратил поэтического ощущения бытия.

Да, он умел каким-то особым слухом улавливать бетховенскую музыку в этом трудовом однообразии стройки, наполненном волнениями, спорами с рабочими и сотнями самых разных неурядиц. Ранним утром на берегу он встречал команды рабочих и раздавал им лопаты и специальные ножи для обрезания сучьев. Эти минуты были для Швейцера *lento*, за которым следовало

moderato — неторопливое постукивание инструмента о деревья, пока люди шли по своим рабочим местам. Их прибытие он сравнивал с *adagio*. Перед началом работы Швейцер любил пошутить, это лучше всего подымало настроение и напоминало *scherzo*. И наконец, когда все, приободренные, с веселым чувством, принимались за труд, ему слышались ликующие звуки *finale*.

Так рос маленький медицинский городок с колонками, ваннами, холодильниками, черепичными крышами и предметом особой гордости Швейцера — колоколом, отлитым в родном Эльзасе и присланным ему в подарок.

Когда строительство подошло к концу,



в его дневнике появилась короткая запись: «Впервые мои пациенты получили возможность находиться в человеческих условиях». И разве мог он искать лучшей награды за все, что он вынес, чем те наивные слова, которыми его, входящего в палаты, встречали больные: «Какая хорошая хижина, доктор!»

В октябре 1927 года Швейцер возвращается в Европу. Город Франкфурт присуждает ему премию Гёте «за заслуги перед человечеством». Он жертвует ее безработным. В речи о Гёте он говорит, что свободный человеческий дух не может мириться с «социальной и экономической несправедливостью». Эта

мысль снова звучит в его выступлениях на гётевских торжествах в 1932 и 1949 годах.

В Европе Швейцер заканчивает обширный труд «Индийская философия в ее развитии»: он был навеян, в частности, книгами его друга Роллана о Рамакришне и Вивекананде. В ней Швейцер выступал как популяризатор малоизвестных в Европе духовных богатств: хотел, чтобы Запад лучше понял Восток. Одновременно он продолжает давать органные концерты, попутно отстаивая свою систему органостроения, основанную на сохранении старых конструкций. Он не только пишет обширный труд по этому вопросу, но даже созывает конференцию специалистов. Его

друзья шутят: «В Африке он лечит старых негров, а в Европе — старые органы». Сам Швейцер объясняет это так: «Борьба за хороший орган была для меня частью борьбы за правду».

В это время к власти в Германии приходят нацисты. С тревогой следит Швейцер за их первыми шагами.

Останки отца жены Швейцера, профессора Бреслау, видного историка средневековой Германии, выбрасывают, как еврея, с «кладбища для арийцев».

И Швейцер дает себе слово, что никогда не вернется в третий рейх.

Теперь он все чаще с тревогой размышляет о приближающейся войне, вопреки прогнозам оптимистов он уверен в ее скором наступлении. Перед отплытием в Африку в феврале 1939 года он усиленно запасается медикаментами и оборудованием и успевает провести новую реорганизацию госпиталя.

Неожиданно в Ламбарене приходит лстивое письмо от самого министра пропаганды доктора Геббельса: он зовет Швейцера вернуться в Германию и «давать там органнные концерты». Швейцер с негодованием отвергает это предложение.

Между тем пламя разразившейся в Европе войны перекидывается на все новые страны и материки. Совсем рядом с Ламбарене сражаются вишисты с войсками «Свободной Франции»: некоторые госпитальные постройки до сих пор хранят следы пуль. К счастью, детище Швейцера оказывается пощаженым. Некоторые врачи покидают Ламбарене, на больницу опускается тень голода. Швейцер садится за счеты, сокращает рационы, но спасает госпиталь.

Даже в День Победы жизнь в Ламбарене течет по строго установленному Швейцером распорядку; и только старый эльзасский колокол звучит с какой-то торжественной звонкостью. А в дневнике Швейцера появляется изречение его любимого древнекитайского мудреца Лао-цзы: «Оружие — инструменты

зла, недостойные людей благородного образа мыслей». Выше всех благ на земле он ценит «спокойствие и мир». Может быть, именно в этот день 70-летний Швейцер решил посвятить оставшиеся годы делу предотвращения войн.

Уже вступив в восьмое десятилетие, он сохранил какую-то крестьянскую кряжистость своей массивной фигуры: лишь на лице доброго патриарха прибавилось неумолимых морщин, а шапка волнистых, все еще густых волос стала совсем белой. Он по-прежнему ходил уверенным широким шагом и по старой студенческой привычке спал по пяти часов в сутки. Возраст, казалось, не сказался на манере его музыкального исполнения: его сильные пальцы, умеющие сжимать скальпель хирурга, ложась на клавиши рояля, сохраняли былую гибкость и уверенность...

Наверно, Швейцер верил в свое здоровье, в свое долголетие. Когда один из друзей, видевший, как он трудится, не щадя себя, заметил, что человек не имеет права безрассудно тратить свои силы, Швейцер немедленно парировал: «Нет, имеет, если у него много сил!»

В октябре 1948 года Швейцер отплывает в Европу. В порту Марселя его приветствуют толпы народа, а он, широкоплечий, в неизменном черном сюртуке, сгибаясь под тяжестью двух увесистых чемоданов, как обычно, ищет самую дешевую гостиницу. В каюте третьего класса он направляется в Лондон, чтобы вторым иностранцем за всю историю получить высший орден Великобритании...

Его ждут Париж, Брюссель, Нью-Йорк. С ним беседуют короли, премьер-министры, политические деятели. Но больше всего ему по душе встречи с простыми людьми. Где бы он ни останавливался, к нему направляются толпы паломников: Швейцер по-прежнему, несмотря на крайнюю усталость, не изменяет своей привычке отвечать на каждое письмо и пусть недолго, но лично беседовать с каждым желающим его видеть. На две-

рях его дома в Шварцвальде прибита табличка: «Посетителей просят не задерживаться более пяти минут».

О нем уже выходят книги, его лепят скульпторы, о его жизни сделан во Франции фильм. А он остается все тем же, доступным и простым...

Назойливость интервьюеров утомляет его. «Я превратился в какую-то разновидность африканского слона», — шутит Швейцер. И только самым близким друзьям признается: «Я добился успеха, но никто не знает, как тяжела моя жизнь и какой дорогой ценой я заплатил за свою славу».

Среди массы писем, которые к нему приходят, Швейцеру особенно дорого одно; его написал человек, прошедший через гитлеровские концлагеря. Там есть такие строки: «Какое счастье сознавать, что в середине нашего жестокого века Ламбарене все-таки возможен, что он — явь».

Ламбарене... Это название прочно срослось с именем Швейцера; оно сделалось символом несокрушимости человеческого духа. В памяти людей оно станет в ряд с такими, как Ясная Поляна, Веймар, Ферне...

Осенью 1952 года, в один из дней, когда Швейцер, стоя на лестнице, корректирует работу плотников, чинящих крышу в операционной, в Ламбарене появляется шведский корреспондент. Он сообщает, что норвежский стортинг присудил Швейцеру Нобелевскую премию мира. Швейцер вежливо благодарит: «Я приеду в Стокгольм, чтобы высказать свою благодарность, как только позволят обстоятельства. Всю сумму денег я истрочу на постройку лепрозория». И уже шутливо обращается к шустрой маленькой рыжей собачонке с желтыми пятнами, которая с пронзительным лаем бросается на незнакомца: «Веди себя прилично, Чучу. Ведь теперь ты нобелевская собака...»

Первой палатой Швейцера был переоборудованный курятник. Спустя более чем полвека Ламбарене превратился в медицинский

городок: в нем работает более десяти врачей и европейских медсестер, а также фельдшера, подготовленные из местного населения. Выросли новые постройки — белые домики с красными крышами, прекрасно оборудованный лепрозорий, есть даже небольшой аэродром, и над гладью реки Огове, по которой по-прежнему скользят пироги, кружат вертолеты. Население этой крошечной и прославленной республики колеблется от тысячи до полутора тысяч человек. Всего за время существования Ламбарене через нее прошло около полумиллиона больных.

Принцип «уважения к жизни» осуществлен здесь полностью: тут даже лечатся больные животные — «безрукие» обезьяны, хромые пеликаны и стаи дворняжек. Их покровитель — человек рачительный и практичный: дикие козы, живущие в госпитале, например, предохраняют от бурно наступающих джунглей, а в огромном саду нет ни одного декоративного растения, все они плодоносят. Впрочем, подлинными хозяевами сада являются негритянские ребятишки. А над столом Швейцера символом «уважения к жизни» многие годы вьется белая муравьиная тропка...

В 1960 году Габон обрел независимость. В пробуждении самосознания его народа была и доля труда Альберта Швейцера.

На Западе бытует «легенда о Швейцере», человеке-одиночке, «чудаке», поднявшемся «над временем» и человеческими страстями; его объявляют едва ли не новым Иисусом Христом и «тринадцатым апостолом». Но так ли это на самом деле? Швейцер, при всей своей неповторимости, целиком сын своего века. В его судьбе и его борьбе сложным образом преломились духовные, нравственные искания многих честных людей Запада на больших и трудных дорогах XX века.

Многие годы Швейцер, как когда-то его друг Роллан, защищал принцип «независимости духа». «Политика не мое дело, — настаивал он. — Мое дело — этика». Но именно

наше время, прояснившее многие вопросы, показало иллюзорность абстрактного гуманизма. Движение сторонников мира не могло не захватить такого человека, как Швейцер. Борец против малярии и лепры в Ламбарене, он стал борцом против войны и атомной смерти во всемирном масштабе.

1954 год. В речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии мира он говорит о страшной опасности саморазрушения человечества им же открытыми силами атома, если последние окажутся в руках безответственных правителей.

23 апреля 1957 года. Швейцер произносит в Осло речь, названную им «Декларацией совести». Она транслируется на пяти языках. Как и всегда, Швейцер говорит деловито, веско — об опасности атомных взрывов, о коварной силе стронция-90, о радиоактивной пыли. Говорит о самом важном, коренном — о судьбе жизни на земле. Через год он повторил свой призыв к прекращению ядерных испытаний в атмосфере.

Как-то Швейцер писал: «Идеалы обладают неодолимой силой. Сама по себе капля воды бессильна. Но, попав в расщелину камня, превратившись в лед, она начинает расщеплять скалу. Став потоком, она приводит в движение турбину».

Призыв Швейцера был услышан и поддержан в разных концах земного шара. Его негромкий голос приобрел огромную силу, помноженный на голоса миллионов сторонников мира.

Выступление Швейцера дает новый стимул усилиям борцов против ядерной смерти. По инициативе Лайнуса Полинга ученые обращаются к Организации Объединенных Наций с требованием решительных мер по прекращению испытаний в атмосфере. Петицию подписывают более 9 тысяч деятелей науки из 44 стран; среди них — 36 лауреатов Нобелевской премии. В числе первых ставит свою подпись Альберт Швейцер.

1958 год. В книге «Мир и атомная война» Швейцер высоко оценивает вклад СССР, ко-

торый первым отказался от атомных взрывов.

Осень 1959 года. Швейцер приветствует советское предложение о всеобщем разоружении.

Январь 1960 года. В беседе с делегацией ГДР, прибывшей в Ламбарене, Швейцер одобряет план Рапацкого о создании «безатомной зоны» в Европе.

Май 1960 года. В интервью американскому корреспонденту Швейцер осуждает французские ядерные взрывы в Сахаре.

Июль 1961 года. В ответ на послание Вальтера Ульбрихта Швейцер заявляет о своей поддержке принятого в ГДР «Немецкого плана мира».

Июль 1962 года. Не имея возможности лично прибыть в Москву, Швейцер приветствует Всемирный конгресс за мир и разоружение и желает успеха его работе.

Июль 1963 года. В Москве заключен договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере.

Лето 1965 года. Вместе с группой лауреатов Нобелевской премии Швейцер подписывает призыв к мирному решению вьетнамского конфликта.

В беседе с корреспондентом из ГДР он указывает на недостаточность пассивного пацифизма в наше время, призывая к решительной борьбе против опасности войны. В его последнем письме к Геральду Гетингу, видному общественному деятелю ГДР, Швейцер писал о своей глубокой тревоге по поводу роста реваншизма в Западной Германии.

В ГДР он находит верных и многочисленных друзей. В его честь выпускаются почтовые марки. Рабочие социалистического предприятия «Новая заря» шлют ему в подарок в Ламбарене отлитый ими «Колокол мира».

Швейцер-гуманист, Швейцер — борец за мир, несомненно, значительнее Швейцера — религиозного мыслителя. Недаром в письме к нему Вальтер Ульбрихт подчеркнул, что его тезис «уважения к жизни» обрел в наше время прогрессивный смысл, поскольку «служит

установлению мира и созданию общества, свободного от войны, социальной несправедливости и колониального угнетения».

Швейцера называли «добрым человеком из Ламбарене». Но сам он не раз говорил: «Как трудно делать добро!» Он, мечтавший помочь человечеству, смог осуществить свой идеал добра в условиях особых, исключительных, ценой героического напряжения всех сил, духовных и физических.

У Бертольда Брехта есть драма-притча «Добрый человек из Сезуана»; в ней, в частности, очень остро выражена мысль о том, что человек хочет быть добрым, но не может. Ему препятствуют враждебные, антигуманные условия. Капиталистические отношения.

В триумфе Швейцера просвечивает трагизм. В Европе ему мешала современная цивилизация, или, уточним, буржуазная. Швейцер, бежавший в Африку, все-таки не мог от нее укрыться. Она настигала его в обличье колониализма, принесшего африканцам страшные болезни, голод, алкоголь, невежество. Они, а не ливни, наводнения, жара были в конце концов его главными врагами!

В январе 1965 года ему исполнилось 90 лет; и Либревиле его именем назвали улицу. Вступив в десятое десятилетие своей жизни, он ничем не нарушал раз заведенного распорядка дня: еще в конце августа он продолжал ежедневные обходы палат, принимал корреспондентов, как всегда, лично, преодолевая старческую судорогу, сводившую руку, отвечал на письма. Потом его сердце начало сла-

беть. 4 сентября около полуночи оно остановилось.

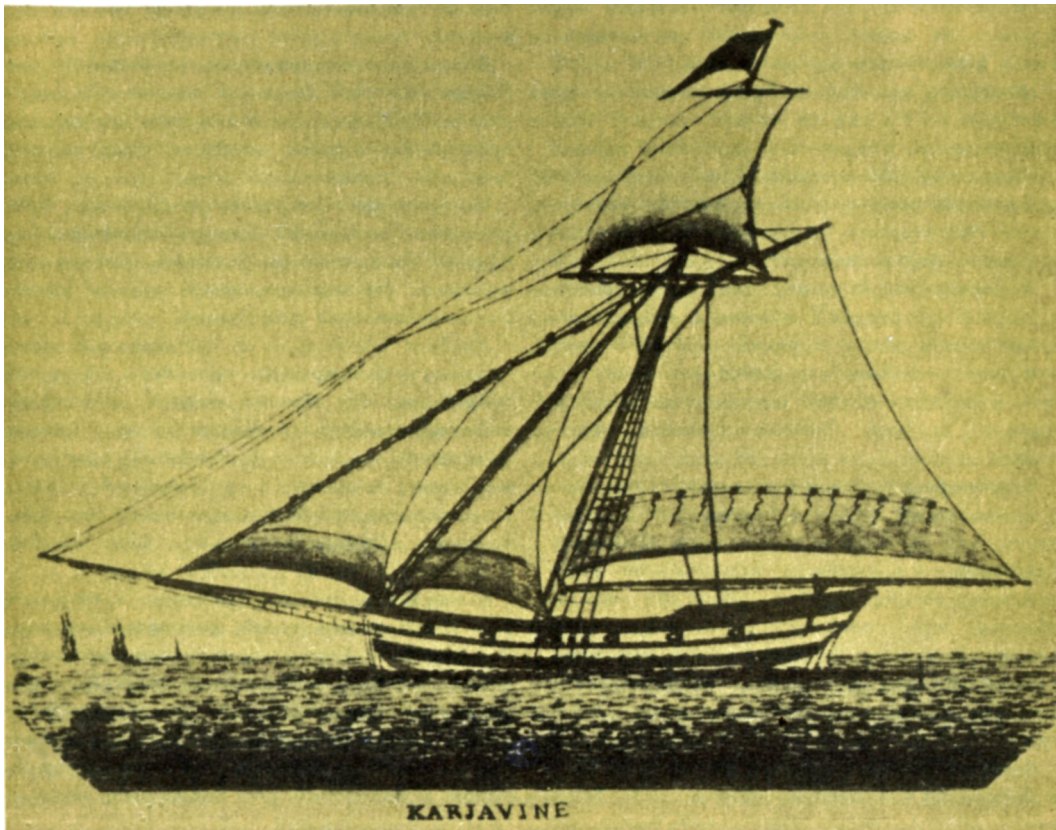
Его похоронили недалеко от госпиталя, на габонской земле, рядом с его женой, умершей в 1957 году. На его могиле установили простой деревянный крест, который он сам для себя сделал.

Но разве такой человек, как Швейцер, нуждается в памятниках? Остался госпиталь, созданный его руками. Остались написанные им книги. Не меркнет самый пример Швейцера — Человека для Людей.

Альберт Швейцер — не побоимся же этого признать — был великим человеком. И не потому лишь, что обладал редкой, многогранной талантливостью. Может быть, самым замечательным в нем был особый, присущий ему как личности внутренний свет. То, что позволяло ему подниматься над личным к общечеловеческому. Свет любви к людям.

Ни разу не сойдя с избранного пути, он был воплощением своей философии «уважения к жизни». Его мысль питалась неистребимой верой в то, что человек добр. В своем служении людям он видел не исключительный, а вполне осуществимый пример; точнее говоря, он лишь следовал той этике, которую считал естественной для подлинного человеческого Человечества.

Одному из последних корреспондентов, посетивших его в Ламбарене, Швейцер сказал на прощание: «Я счастлив, что приехал сюда и работал здесь. Но я считаю, что любой другой человек на моем месте мог бы сделать то же самое».



Ю. Герчук
Жизнь и странствия
Федора Каржавина

В декабре 1870 года профессор Дуров, известный любитель редких книг, купил на Апраксином рынке в Петербурге целую библиотеку редкостей, а заодно с ней объемистую пачку старых бумаг — архив одного из прежних ее владельцев.

Стихи и тетради расходов, медицинские рецепты и дневники путешествий, письма — деловые и любовные, семейные и дружеские. Русские бумаги чередовались с французскими, некоторые были написаны по-английски, по-латыни, по-итальянски. Профессор сортировал документы, подбирая их по датам. Из сотен в большинстве незнакомых имен постепенно выделилось имя автора всех этих днев-

никое, переводов, научных заметок, автора или адресата писем.

Его звали Федором Васильевичем Каржавиным. Давно умерший и забытый, он был известен библиофилам лишь как автор или переводчик нескольких старинных книжек, ценившихся, правда, дорого, но более за их редкость, чем за содержание.

А через несколько лет Николай Павлович Дуров, который был, впрочем, профессором вовсе не истории, а начертательной геометрии, напечатал в историческом журнале «Русская старина» первую статью о необычной судьбе Федора Каржавина и опубликовал в ней некоторые из купленных им документов.

Каржавиным заинтересовались. Ученый и художник, путешественник, авантюрист, вольнодумец — он оказался находкой и для историков и для романистов. Но до сих пор никто еще не написал полной биографии Каржавина, не собрал всех его сочинений. Интереснейшие документы, найденные Дуровым, и другие, ему неизвестные, все еще ждут публикации.

В феврале 1756 года в Тайной розыскных дел канцелярии допрашивали петербургского купца из ямщиков Василия Каржавина. Его обвиняли в том, что он вез без разрешения за границу малолетнего сына Федора и оставил его там у своего брата Ерофея, живущего в Париже, и еще в том, что при встрече обоих братьев в Лондоне они «хулили богопочтение и благочестие христианское и божество, а чудотворения божии и пророчества и чудотворения святых апостолов и святых отцов ложными называли», и непочтительно отзывались об императрице и ее министрах. Как ни странно, Василий Каржавин отделался лишь испугом: пока шло следствие, умер человек, приславший на него донос из Лондона и доказывать обвинение было некому. Увоз же сына, учившегося теперь вместе с дядей в Париже, ему после строгого внушения простили.

И все-таки снятое с братьев Каржавиных обвинение не было ложным. Недаром Ерофей Каржавин, молодой купец из старообрядцев, бежал за наукой из России в далекий Париж: там он узнал многое, что могло поколебать веру в бога. И не случайно, видимо, в его словах, записанных в Лондоне донощиком, повторяются мысли Жана Мелье, священника-атеиста, чье «Завещание» переписывали тогда тайком во многих парижских мансардах.

Этот дядя-вольнодумец и стал в Париже первым учителем восьмилетнего Феди.

Летом 1765 года двое молодых русских возвращались на одном корабле из Франции на родину. Двадцативосьмилетний архитектор Василий Баженов, окончивший учебную поездку во Францию и Италию, и двадцатилетний Федор Каржавин, «Парижского университета студент», покинувший Россию тринадцать лет назад. «В корабельном горохождении» — по словам Каржавина — возникла их многолетняя дружба.

В Петербурге Федор прежде всего пообщался с отцом. Речь шла о его будущем. Он не хотел быть купцом и ростовщиком и предпочел стать учителем французского языка в духовной семинарии Троице-Сергиевой лавры. Через два года его извлек оттуда Баженов, начинающий подготовку к строительству огромного дворца в Московском Кремле.

Задача была грандиозная: «Обновить вид сего древностью обветшалою и нестройного града. Жители оного имеют уже щастье видеть начало великолепных зданий, которых совершение восхитит красотою обширные Российской империи пределы, исчезнет тогда слава древних семи чудес, народы европейские, узрев восставший из недр земных новый Кремль, объяты будут удивлением величавости и огромности оного, и не увидят уже красоты своих собственных великолепностей». Эти торжественные слова написаны рукой Каржавина в записке, которую он сочинял вместе с Баженовым для императрицы.

МАРКА ВИТРУВИЯ ПОЛЛИОНА

ОБЪ

АРХИТЕКТУРЪ,

КНИГА ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ.

съ примѣчаніями Доктора Медицины и
Французской Академіи члена г. Перд.

Съ Французскаго на Россійской языкѣ, съ прибавленіемъ новыхъ примѣчаній, переведены при молельномъ домѣ, въ пользу обучающагося Архитектуры юношества*, изданы въ Римской Академіи святого Луки профессора, Флорентинской и Болонской Академіи члена, Императорской Санктпетербургской Академіи художеств Академика, Императорской Академіи Россійской и Экспедиціи спирома Кремлевскаго дворца члена, г. Коллежскаго Совѣтника

ВАСИЛЬЯ БАЖЕНОВА.

em

ke

Иностранецъ Теодоръ Каржавинъ Федоровъ
Васильевъ Каржавинъ

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

при Императорской Академіи наукъ,
1790 года.

Большая «команда» молодых архитекторов работала под руководством Баженова. Каржавин не был архитектором, но он знал несколько языков, хорошо изучил математику и механику, историю и литературу. «Должность и знание его не в чертежах и не в рисунке, но именно в рассуждениях о математических тягостях в физике и переводе с латинского, с французского и эллино-греческого языков авторских сочинений величавых пропорций архитектуры», — говорит рекомендация, подписанная Баженовым, но написанная рукой самого Федора. Он переводил книги, составлял первый в России словарь архитектурных терминов, учил молодых помощников Баженова...

А с отцом был он по-прежнему в ссоре. В 1772 году в знаменитом сатирическом журнале «Живописец» появился злой фельетон о скряге-ростовщике Живодралове, в котором без труда узнавали старшего Каржавина, а в странной подписи — «Богодар Вражкани» — были прозрачно зашифрованы имя и фамилия его сына. Кончался фельетон так: «А сын его, детина в науках просвещенный и в поступках своих достойный похвалы всех честных людей, по чужим странам скитаюсь, едва ежедневную пищу имеет». «Просвещенный детина» — это, конечно, сам Федор: излишней скромностью он не страдает. Правда, он не скитается в чужих странах и «ежедневную пищу» дает ему служба в Кремле. Но что же делать, если его снова тянет за рубеж, а отец не хочет раскошиться?

Печатное объяснение с отцом, конечно, не помогло. И все-таки через год Федор был снова в Париже, хотя и получил от отца на дорогу не деньги, а проклятие.

Но и во Франции он пробыл недолго. «Именованный Теодор Каржавин, учитель языков, уроженец Петербурга, тридцати двух лет, ростом около пяти футов двух с половиной дюймов¹, волосы и брови каштановые, лицо овальное, полное, идет в Гавр, чтобы сесть на корабль и отплыть на Мартинику с целью торговли», — говорит паспорт, выданный в Париже 14 сентября 1776 года.

Итак, он едет за океан купцом. Недавно еще он отказывался вести торговые дела своего отца, а теперь везет на остров Мартиника, французскую колонию в Вест-Индии, купленные на последние деньги книги, гравюры, картины, чтобы выгодно продать их разбогатевшим плантаторам...

Не странен ли, однако, выбор этих книг? Среди ученых сочинений по медицине и математике в его багаже едут самые острые политические сочинения передовых мыслителей

¹ Около 169 см.



лей Франции: «Общественный договор» Руссо, «Философская и политическая история поселений и торговли европейцев в обеих Индиях» Рейналя — страстный памфлет против колониализма и рабовладения.

Он живет в Сен-Пьере, самом большом городе острова, продает картины и книги, учит детей... Только странствия по острову отличают его от прочих обитателей города. Ему советуют не забираться в горы — это опасно: там беглые. Черные рабы бегут с плантаций от бича надсмотрщика, от мучительного труда под тропическим солнцем. Им некуда уйти с маленького острова. Избегая населенных мест, они мерзнут и гибнут у горных вершин.

Федор не слушает советов. Он рисует портреты негров, взвешивает гнездо колибри, наблюдает, как охотится за этой птичкой громадный волосатый паук, изучает породы змей, гнездящихся в горах, разглядывает страшную на вид игуану — съедобную ящерицу, которую улыбающийся негр тащит за хвост на рынок. Он записывает цены на индиго, хлопок, какао, сахар, ром, расспрашивает об обычаях, поверьях, о кровавой истории завоевания острова европейцами.

«Между змиями мартиниканскими находится один столь злой, что от его угрызания бывает такое воспаление в крови у человека, что она изо всех его отверстий, как то из глаз, ноздрей, ушей и проч. фонтаном потечет. Первые белые жители Мартиники столько надоели частыми своими набегами жителям матерой земли Американской, что сии, набрав у себя в корзинки множество оных ядовитых змиев, привезли их в Мартинику и пустили в жилища своих неприятелей: мщение, достойное древних Эспаньолов, которые с мечом в одной руке и с крестом в другой, сопровождаемые псами, изрубили, растерзали, сожгли двадцать миллионов душ как на островах, так и на матерой земле Америки (именно на островах Порто-Рико, Сан-Доминго и Кубе — два миллиона, а на матерой зем-

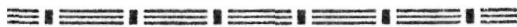
ле — 18 миллионов), не имея никакой причины злобы и огорчения на простодушных народов, которые приняли сих странников с обожанием, — но единственно для мнимого прославления бога и для приведения прочих Американцев (то есть индейцев. — Ю. Г.) к познанию не кровопролитные веры Христовой и духа кротости и человеколюбия, на котором она основана...»

Так писал Каржавин уже много лет спустя, на родине. Пока же он только слушает, смотрит, запоминает. В его дневниках еще нет выводов, только факты, наблюдения, заметки.

«...Теплота от прибытия стояла до конца декабря в 25 градусах выше замерзания днем, а в 20 ночью¹. В день рождества оставил я свой термометр на окне и на солнце, не успел оглянуться, водка закипела и термометр лопнул. Спят на соломе сахарной или банановой, не на шерсти, не на пуху, иногда на бумаге (на хлопке. — Ю. Г.) без одеялов. В конце декабря дожди перестали. Вечная весна, деревья цветут, плод дают — все в одно время. Виноград подрезают раза 4 в год. Земли плоской и на полверсты нет, везде горы да доли. Часов 5—6 идешь на гору, там лед (внизу и стужи не знают). Арапы там беглые и змеи...»

...В 6-е число января, в день богоявления господня, влез я на верх пропасти, шел 12 минут через 204 ступеней, тамо нашел пляску арапов пред барабаном с гремушками на ногах...»

Купеческий корабль «Ле Санти» отплыл из Сен-Пьера на Мартинике 13 апреля 1777 года. Это не было похоже на обычное торговое плавание. Корабль был вооружен пушками и старательно избегал обычных морских путей. Шла война. Английские колонии в Америке боролись за свою независимость. Английские военные корабли и каперы блокировали побережье. Повстанцы нуждались в оружии,



¹ По Реомюру.



боеприпасах, продовольствии. В это самое время французский писатель-демократ Бомарше организовал во Франции торговую контору, тайно переправившую в Америку тысячи ружей. Каржавин принял участие в подобной «торговле» с Америкой, конечно, в гораздо меньших масштабах; но зато он вложил в нее все, что имел, и поставил на карту собственную жизнь. Все его деньги вложены в груз корабля, а сам он не только пассажир, но и начальник обороны в случае стычки с англичанами.

Кроме пушек, корабль охраняют бумаги: в них значится, что он направляется на французский остров Микелон, в заливе св. Лаврентия в Канаде. Путь из одной французской колонии в другую ведет вдоль берегов восставшей Америки. Но англичане не слишком доверяют бумагам: после нескольких стычек с английскими фрегатами «Ле Санти» был захвачен в плен у самых берегов Виргинии. «Но по счастью, — писал позднее Каржавин, — в густом тумане мы скрылись от нашего победителя и счастливо вошли в Виргинию сквозь тысячу опасностей, не зная, куда мы идем, не имея ни опыта, ни лоцмана».

Прошло почти два года, пока он смог снова выйти в море. 1779 год застает его в порту Хемптон в Чезапикском заливе (Виргиния), готовым выйти в плавание на Мартинику на корабле «Ла Жантий» («Милая»). Но война еще не закончена, блокада не снята. Паруса каперов все время маячат на горизонте. Корабль заперт в порту, разбегается боящаяся плена команда, бесполезно расходует продовольствие. Одна попытка выйти в море кончается неудачей. При второй попытке корабль захватили англичане.

Высаженный на прибрежный лед, Каржавин возвращается на берег. Пешком, питаясь солдатским хлебом, который ему выдавали как «военнопленному», пострадавшему от врага, идет он через Филадельфию в Бостон за помощью, «сквозь снег и лед и прочие неудобства зимнего времени», к какому-то знако-

мому мартиниканцу и пешком, не найдя его, возвращается обратно.

«Возвратился я в 19 дней в Филадельфию, претерпев величайшую нужду, быв два дня слеп от преломления солнечных лучей на снегом покрытых полях и в опасности как от англичан, так и от самих американцев, которые меня почли шпионом на заставах, потому что я весьма малое время пробыл в Бостоне, имел на себе пакеты письменные как из Филадельфии в Бостон, так и из Бостона в Филадельфию, и шел не по большой дороге, но по линии, разделяющей их от неприятеля и сквозь Вашингтонову армию».

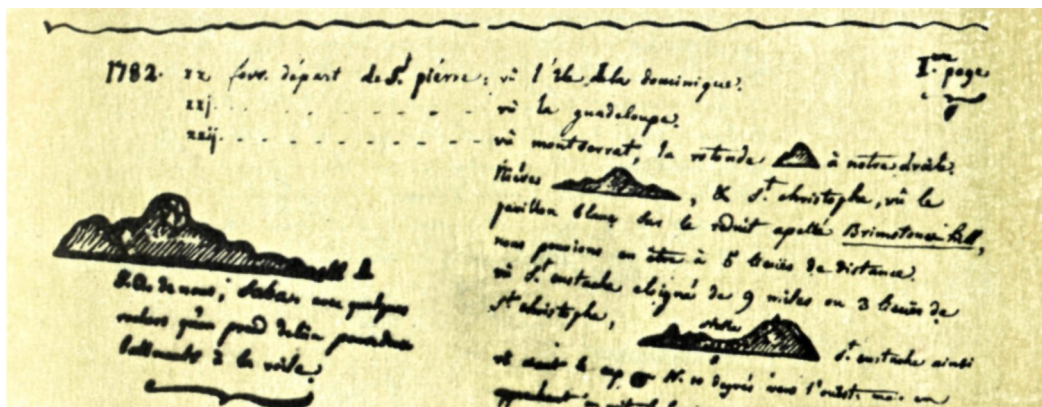
«Я прибыл в Виргинию без средств, потерпев неудачу в делах моих в Бостоне и Филадельфии, и англичане пришли в Виргинию, предавая все огню и крови, вешая французов, рассекая их на тринадцать кусков, расстреливая их на деревьях, как белок, и совершая тысячи ужасов, которые истинны, хотя и не кажутся правдоподобными. Я бежал в глубину лесов...»

В лесах, спасаясь от английского десанта, высаженного в Чезапикском заливе, Федор познакомился с прежними хозяевами страны — индейцами. Для большинства колонистов это лишь презируемые «дикари». Но Каржавин пришел к ним с тем же интересом и уважением к «простым народам», с каким он относился к неграм. Позднее, уже в России, он горячо протестует против употребления самого слова «дикарь», тогда широко распространенного:

«Множество народов я видел, которые не так живут, как мы, не так, как и прочие Европцы; видел я людей разумных, видел и глупых; везде я нашел человека, но дикого нигде, и признаюсь, что дичее себя не находил».

Вернувшись в город после ухода неприятеля, он еще несколько раз отправляется к индейским стойбищам с мелочными товарами французского купца Венея — неудачливый купец, обратившийся в приказчика...

Но не торговля удерживала Каржавина



в Вильямсбурге. Два красных кирпичных здания с островерхими крышами господствовали над городом: колледж Вильяма и Мэри — один из старейших в Америке университетов и Капитолий, куда только что вступил в качестве губернатора Виргинии Томас Джефферсон. У одного из вождей революции, автора Декларации независимости, и у недавнего сотрудника Баженова и Новикова нашлись общие интересы.

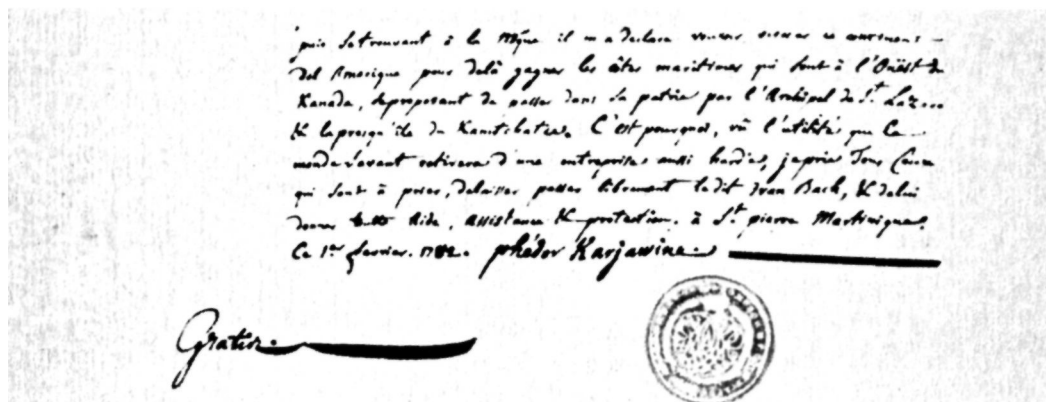
Их могло бы сблизить многое — например, любовь к архитектуре. Но в этот напряженный период войны за независимость, исход которой далеко еще не был ясен, культурный и умный русский человек интересовал Джефферсона совсем с другой стороны. Молодая республика нуждалась в поддержке и помощи других государств. Франция и Испания уже воюют против англичан. Нельзя ли привлечь к этому союзу еще Россию?

Так возник план посылки Каржавина в Петербург с письмом от американского конгресса. Это было почетное предложение, знак большого доверия к иностранцу со стороны руководителей революционного государства. Но Федор не решился принять его. Как встретят в России купеческого сына, вернувшегося на родину послом, да еще от державы, оспаривающей законность и неизбежность королевской власти? «Страх от российского мини-

стра Панина, ежели б я, русский человек, послан был ко своей государыне послом от иностранной короны, и прочее причинили мне предпочть возвратиться в Мартику».

Итак, снова Мартиника. Тропическое солнце и ветер, буйная зелень. Пансиона, где Федор был учителем, уже не существует. «Химия и латинский язык рекомендовали меня помощником главному королевскому аптекарю Дюпарту». Королевский аптекарь слаб здоровьем, ему противны жара и бури, английские корабли и голые негры. Через несколько лет, а может быть, месяцев он вернется, наконец, во Францию и оставит Каржавина полновластным хозяином аптеки.

Однажды Федора пригласили в Адмиралтейство: «Господин Каржавин знает русский язык? Он может оказать Адмиралтейству важную услугу». Англичанин, капитан захваченного вблизи острова корабля, объявил, что корабль плавает под нейтральным русским флагом и принадлежит русскому судовладельцу. Он предъявил бумаги, которые никто не может прочесть... Что ж, у Федора свои счета с британскими каперами. Он перевел бумаги — случайные обрывки, не имеющие никакого отношения к захваченному судну, — и хитроумный англичанин, не думавший встретиться на Мартинике знатока русского языка,



получил по заслугам. А Каржавин прибавил к своему имени титул «королевского переводчика с русского и славянских языков на Мартинике». Но громкое звание не кормит, и королевский переводчик продолжает делать пластыри и пилюли. Однако стать мартиниканским аптекарем ему не удалось.

Ураган, пронесшийся над всеми Антильскими островами, обрушился на Мартинику ночью 10 октября 1780 года. Ломались деревья, летели по воздуху тростниковые крыши негритянских хижин, похожие на огромные парики. Громадный водяной вал шел на Сен-Пьер с моря. Он смыл полтора дома и среди них — аптеку. Семь тысяч жертв унес самый жестокий в истории острова ураган. Каржавин уцелел и снова ищет себе занятие и пристанище. Он торгует табаком, служит приказчиком на купеческом корабле, а в феврале 1782 года решается снова плыть в Соединенные Штаты. Однако человек, попавший во второй раз в плен к англичанам, не сможет рассчитывать на милость... Королевский переводчик достал лист бумаги и написал:

«Всем и каждому, кому о том ведать надлежит. Аз нижеписанной, переводчик Агент для российского народа при адмиралтействе Мартиниканском свидетельствую, что Иван Бах, российской доктор и капитан, родился в Петербурге, путешествует с позволения рос-

сийского Двора и по указу императорского московского университета, для примечаний, касающихся до географии, физики, натуральной истории, и что находясь в Мартинике, он объявил мне, что он хочет ехать в Матерую Америку и тамо пробираться до морских берегов кои лежат на Западе Канадианской земли дабы ему возвратиться в свое отечество через архипелаг святого Лазаря и 1/2 остров Камчатский. Того ради, видя пользу, коя впоследствии ученому свету от толико важного предприятия, прошу всех и каждого пропускать свободно реченного доктора и капитана Ивана Баха и давать ему всякую помощь и защищенье. В Мартинике 1 дня февраля 1782-го года.

Федор Каржавин»

Он переводит этот русский текст на французский и английский языки. Теперь недостает только печати. Федор вспомнил неудачливого английского капитана с его обрывками русских бумаг. Достал из шкатулки палку сургуча и металлическую пластинку с затейливым вензелем. Жирная лепешка сургуча шлепнулась на бумагу. Федор прижал к ней пластинку, поднял ее и критически осмотрел печать. Вокруг вензеля шла четкая русская надпись: «ДОВОЙ ОЦА АРХИМАНДРИТА КОНТОРЫ». Все равно. Будем надеяться, что у англичан не найдется переводчика с русского.

Всѣмъ и каждому, кому о томъ слѣдуетъ надлежитъ

Азъ нижеписанной, Т. е. ересподимъ — Ассентъ для
 Россійскаго Народа при Адмиралтействѣ Мартиниана
 помѣ свидетелствую что Иванъ Бахъ Россійскаго
 Командъ и Капитанъ — роднаго въ Петербургѣ,
 путешествуетъ въ познатиныя Россійскаго Азоровъ,
 и по укладу Императорскаго Имѣнскаго Университета;
 для привязаній находящагося въ Географіи, Языки и
 Исторіи; и что находясь въ Мартинианѣ
 она объявилъ мнѣ что онъ хочетъ брѣжъ въ
 материко Америку, и тамъ пробудетъ, до морскихъ
 брѣжъ хотѣ стѣнѣ на Востокъ Канадіанскій Странъ
 Замѣ ту возвратитца до своѣ отиство урѣдъ
 Архипелага святаго Лавара и острововъ Камчатскій.

Тѣмъ оумъ, вѣда пѣвзу моя востосѣдующе узнану стѣ
 стѣ великаго сѣнѣго предпріятія, Пѣвзу вѣдѣ
 и каждаго пропуситъ свободнаго рѣшениа Командъ и
 Капитана Ивана Баха, и жалитъ ту вѣвну стѣ
 мѣстъ и замѣнѣ въ Мартинианѣ 1^ю сѣ
 февраля 1782. Сѣвну. Федоръ Каржавинъ

Въ
 1782
 1782
 1782



Американский десятипушечный купеческий корабль «Флора» вышел из Сен-Пьера 20 февраля. Один за другим возникают на горизонте силуэты Малых Антильских островов. Доминика, Гваделупа, Монсерра... Пассажир, российский доктор Иван Бах, он же королевский переводчик Федор Каржавин, набрасывает в путевом дневнике очертания их скалистых берегов. Вот тяжелая конусообразная вершина острова Сент-Эташ — потухший вулкан, в широком кратере которого скрываются беглые негры. Остров Саба с прибрежными скалами, похожими издали на идущие под парусами корабля. Сомбрера — пустынный, населенный только птицами остров, куда приезжают охотиться жители соседних островов.

Вражеский корабль появился на рассвете пятого дня плавания. Заметив «Флору», он поднял английский флаг и дал предупредительный выстрел. Весь день, не отставая, маячит вдаль силуэт капера. Федор уже не рисует в тетради силуэты островов, он не сводит глаз с далекого паруса: приближается или нет? Преследование длится два дня, а на рассвете третьего капер оказывается совсем близко. Ядра пролетают над палубой. Теперь уже нет надежды укрыться в одном из портов Порто-Рико — колонии союзной Америке Испании. «Флора» спускает паруса.

На маленьком острове Антигуа англичане устроили сборный пункт для пленных. Город Сент-Джонс переполнен пленными американцами, французами, испанцами, голландцами. (Как Франция и Испания, Голландия теперь тоже воюет на стороне Соединенных Штатов.) Время от времени их отправляют на соседние острова для обмена на пленных англичан. Как и другие, захваченный на американском корабле русский доктор Иван Бах получает скудный казенный паек и право бродить по городу и на одну милю вокруг. У него много времени для дневника, и он пишет о новых знакомых, о ночных тревогах (англичане боятся французского десанта), о большом пожаре, где отличились французские

пленные, о том, как он пытался распродать остатки своих «редкостей» английским офицерам, которые щупали драгоценные рисунки, «как грязное белье», и интересовались, не торгует ли он спиртным.

Наконец власти решили, что этот русский не может считаться пленным. Он потерял паек — и получил свободу. Свободу на чужом острове, без денег и без корабля!

Его выручили скромные медицинские познания и остатки лекарств из полуразграбленного багажа. Дон Антонио Раймон, капитан испанского корабля «Сан-Хосе», идущего в Нью-Йорк для размена пленных, предложил ему место судового врача.

Месяц в захваченном англичанами Нью-Йорке Каржавин провел в хлопотах: ссылаясь на пропуск, данный ему из Антигуа, он хочет перебраться на американский берег Гудзона. Но здесь англичане оказались куда менее сговорчивыми, чем на островах. Его не пустили, и даже пропуск исчез в недрах адмиралтейской канцелярии. Пришлось остаться корабельным лекарем...

Снова на юг, к Антильским островам. Штиль. Медленно тянется время на корабле. Изредка — встречающая бригантина под английским флагом. «Я никогда не видел такого скучного плавания; солнце палит на палубе, жара душит под палубой; к счастью, время от времени ловят несколько рыб, акулу, бонит, морские кошельки и других мелких рыб, которые следуют за нами стаями».

Наконец земля и горячий ветер с берега, приносящий запах цветов... Длительная остановка на Гаити для ремонта поврежденной в плавании обшивки корабля; затем — Куба.

В Гаване Федор расстался с кораблем. Еще на Гаити он отказался от предложения поступить хирургом в испанскую армию: он хочет быть «вольным». И вот он «волен» — как на Мартинике и в Виргинии — без средств для возвращения на родину, без знакомых. Конечно, он не пропадет. Он лечит больных, приготавливает и продает лекарства, а заодно и крепкие напитки, преподает французский язык.

NOUS CONRAD
ALEXANDRE GERARD,

Ecuyer, Conseiller du Roi, Secrétaire du Conseil d'Etat de Sa

Majesté, Son Ministre Plénipotentiaire près des

ETATS UNIS DE L'AMERIQUE.

PRIONS tous ceux qui sont à prior de laisser passer librement et
sûrement le nommé Theodor Karjavine Maître de Langue

allant à Baltimore pour de là retourner en Virginie ^{pour ses affaires particulières} sans permettre qu'il
lui soit donné aucun empêchement, mais au contraire toute aide, assistance et
protection, le présent passeport valable pour quatre mois seulement

FAIT à PHILADELPHIE, le 27 Janvier 1779.

Gerard

GRATIS.

Par Monsieur le Ministre Plénipotentiaire,

N^o 1208

1777



LOUIS-HERCULE-TIMOLEON DUC DE COSSÉ BRISSAC,
 Maréchal des Camps & Armées du Roi, Capitaine-Colonel des Cent Suisses de la
 Garde ordinaire du Corps de Sa Majesté, Chevalier de ses Ordres :

Comte de Vihiers, Seigneur de la Duché-Pairie de Damville, Baron de Lamotte-
 Saint-Jean, Saint-André, Châtelain de Chantemerle, Seigneur de la Ram-
 baudière, la Giffardière, Montigny, Marfilly-la-Champagne, Tranchevilly,
 Martigny-le-Comte, Soufferrain, Communes, Chaux, Meray, Le-Brouillat,
 Saint-Vallier, Champley & autres lieux,

GOVERNEUR ET LIEUTENANT GÉNÉRAL POUR SA MAJESTÉ,
 DE LA VILLE, PRÉVÔT ET VICOMTÉ DE PARIS.

ORDONNONS à tous ceux qui sont dans l'étendue de notre Gouvernement,
 & prions tous ceux qui sont à prier, de laisser sûrement & librement passer. Et
 ay après Le nommé Esbador Benjamin, Maître de Linguère,
 natif de Sedan, âgé de trente-cinq ans, taille d'un pied
 six pouces six lignes, cheveux bruns, yeux gris, nez droit, menton
 plat, sans barbe, sans favoris, sans taches, sans cicatrices, sans
 l'eff. en sa tête & la Marche pour y Commerce.

sans Ledit donner aucun trouble ni empêchement, mais au contraire toute aide
 & assistance en cas de besoin. Le présent Passeport bon pour trois mois seulement.

Donné à Paris en notre Hôtel le premier jour du mois de Septembre
 l'an mil sept cent soixante Sept

Le Duc de Cosse



PAR MONSIEUR.

Le Duc

Испанская колония Куба не очень отличается от французской Мартиники, от английской Антигуа. Тропическая природа, негры, пойманные, как звери, в Африке и заменяющие на плантациях истребленных колонизаторами коренных жителей островов. Рабы избавляют от труда потомков конкистадоров, позволяют им проводить дни в прохладном сумраке домов, а вечера на улице, у решеток больших незастекленных окон, за которыми белеют платья тучнееющих от лени дам.

Место Федора — здесь, среди свободных, но его сочувствие — на стороне негра, трудящегося «для заплаты оброка варвару своему хозяину, которого изъедает лихорадка, потому что ни за что сам приняться не хочет, и предпочитает здоровью своему леньность, которую покоем называет, и ставит себе за счастье, что имеет подчиненного, который наготу и голод терпит, чтобы с потом лица своего пропитать ленивого своего мучителя». Эти слова были напечатаны в России в один год с «Путешествием из Петербурга в Москву». Не случайно Каржавин применил здесь слово «оброк», возвращавшее читателя к русской действительности: на далеких жарких островах он увидел то же, что оставил на родине, — рабство.

Почти два года прожил Федор в Гаване. А после окончания войны он снова в Соединенных Штатах, пересекает теперь уже мирную страну от Нью-Йорка до хорошо знакомого Вильямсбурга.

Здесь, в Виргинии, Каржавину исполнилось сорок лет. А у него все по-прежнему: он опять и лекарь, и торговец, и переводчик французского консульства. Когда он пересек океан, ему было едва за тридцать, он мечтал о исключениях и богатстве, о славе и научных исследованиях. Приключений было довольно.

Денег на возвращение он не накопил и не накопит. Он пишет в Россию, к родным — расчетливым, жадным, недовольным его непослушанием, — просит помощи. Не скоро

нужная сумма была получена его друзьями в России и дошла до Вильямсбурга. Лишь в конце лета 1788 года через Мартинику и Францию он вернулся, наконец, в Петербург.

Через год, в 1789 году, вышла в Москве, в университетской типографии у Николая Ивановича Новикова, книга знаменитого французского архитектора Клода Перро «Сокращенный Витрувий или совершенный архитектор». В кратком предисловии к ней переводчик, «архитектуры помощник Федор Каржавин» обращался к читателям:

«Архитектура, что за вещь? Она есть строение естественное и художественное. Только ли та одна, что в книгах на бумаге видим? Никак, благоразумные читатели! Очевидна бо есть всем не только в городах, но и в селах, где она есть художественная и простая; а естественная архитектура есть во всем свете и в самом составе тела человеческого. Первые Архитекторы не с естества ли веществ в художество свое занимая показали искусство? К тому ж и с простейших самых зданий. Потщитесь и вы, благо-охотные и любопытные читатели! поискать по селам, горам, лесам и протч. нет ли чего приметить, рассмотреть, рассудить, и для вашего и общего в зданиях спокойства рисованием любопытной России представить».

Итак, он вернулся к архитектуре. Он начал с того, что было брошено тогда, пятнадцать лет назад, не кончено, как и сам дворец, который Баженову так и не дали построить. Дворца никогда не будет. Но труды Каржавина можно закончить и издать. Словаря, подобного тому, какой он составлял в Кремле, нет и сейчас, и русские архитекторы все так же путаются в греческих, латинских, немецких, французских терминах. И Федор заканчивает словарь и издает его вместе с книжкой Перро. Он горд этой работой. Еще бы! Ведь это «целая сокращенная наука каков должен быть архитектор, не чужими речью, но нашими собственными, русскими, сколько мне было возможно, изъясненная, наполненная и в аз-

бучный порядок под видом словаря приведенная читателю представляется».

Он издает и Витрувия, полный русский перевод, тоже начатый в Кремле и законченный лишь теперь...

Он работает так, как если бы просто съездил в отпуск и вернулся к прежним делам. Но неужели же он напрасно уезжал и должен вычеркнуть из жизни эти пятнадцатилетние странствия? «Увидит ли когда-нибудь публика североамериканский каржавинский журнал?» — писал Федору его американский друг, профессор Беллини.

В 1790 году вышла в Петербурге книга «Описание хода караванов в степной Аравии» — путевые записки двух англичан, побывавших на Ближнем Востоке. Но главным в книге были не суховатые описания Аравийской пустыни, а своеобразные примечания не назвавшего себя по имени переводчика. Почти не связанные с содержанием основного текста, они занимают около трети книги. В тексте упомянуты скорпионы — и вот переводчик рассказывает, как он сам наблюдал повадки скорпионов в Гаване. В тексте говорится о змее — в примечаниях целый трактат о змеях, европейских и африканских, а больше всего о змеях Северной Америки и Антильских островов.

Иногда в этих примечаниях какие-то слова и фразы требуют, видимо, особого разъяснения, и под ними появляются новые примечания. И вот в эти-то примечания к примечаниям спрятано самое важное: суждения переводчика о вещах, о которых в крепостной России говорить было небезопасно. Правда, речь шла не о русских крестьянах, а о неграбах в Америке...

Надолго запомнит читатель мартиниканского раба, укушенного змеей, который скрывает это, «дабы чрез то скорее умереть и тем самым освободиться от несносных побоев тиранствующего над ним белого человека, который его без всякого права купил вместо скота для обогащения своего потовыми его трудами».

Так в примечания к примечаниям прятал Федор Каржавин свои размышления о переломе и увиденном за океаном. Не случайно он избрал такую странную форму для подведения итогов путешествия, не случайно печатал их анонимно. Человек, вернувшийся из революционной Америки, подозреваемый в сочувствии «идеям свободы и равенства», был враждебно встречен на родине. Но тогда цензура еще не очень внимательно читала примечания в научных книгах, и этим пользовался не только Каржавин.

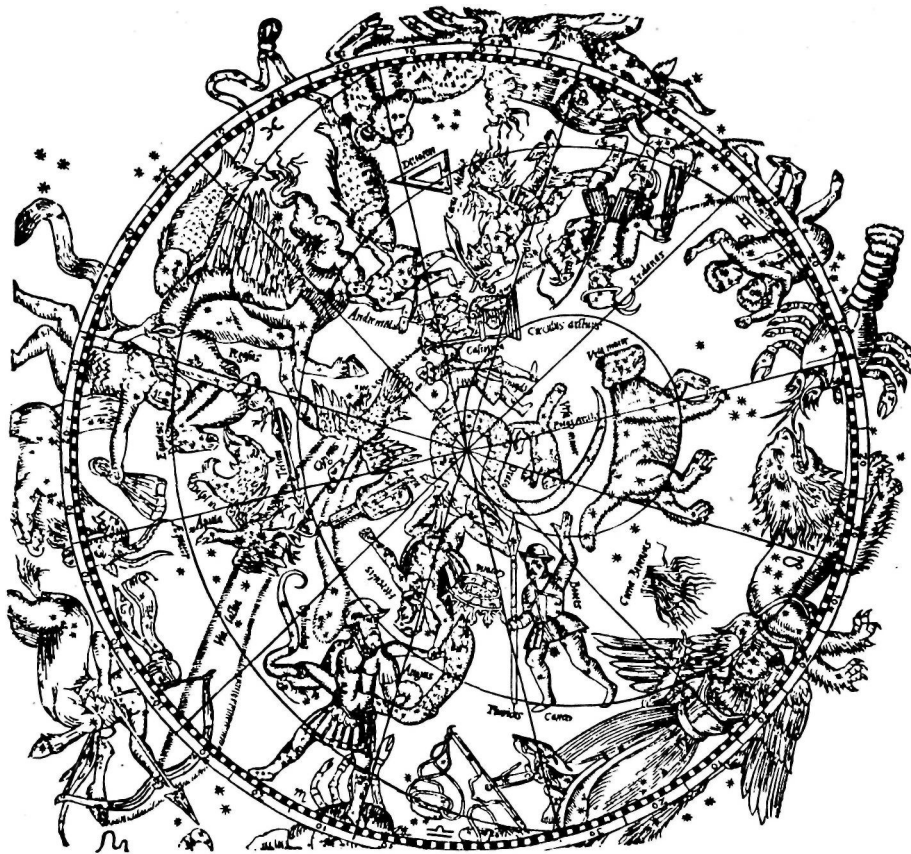
И все-таки полной истории своих странствий он так и не издал, хотя и рассказывал их по кусочкам в нескольких переведенных или написанных им книгах. Он жил в Петербурге, в доме своего старого друга, архитектора Баженова, в комнате, полной книг и заокеанских редкостей. Не скоро дали «вольнодумцу» скромную должность переводчика при адмиралтейств-коллегии.

Он умер в 1812 году, оставив десяток переводов, два учебника французского языка, несколько статей — малую долю того, что мог бы сделать по своим способностям и знаниям. Умер, оставив ворох дневников и писем на нескольких языках, до сих пор не собранных, не прочитанных до конца, не изданных.

Но в последние годы имя сотрудника и друга Баженова, путешественника, теоретика архитектуры, художника и естествоиспытателя Федора Каржавина все чаще появляется на страницах исторических книг и журналов¹. И вероятно, скоро он встанет перед нами во весь рост и расскажет о себе все, что может нас заинтересовать.



¹ Важнейшие публикации — статьи А. И. Старцева — «Ф. В. Каржавин и его американское путешествие» («История СССР», 1960, № 3), М. П. Алексеева — «Филологические наблюдения Ф. В. Каржавина» (сб. «Романская филология», Л., 1961), и разделы в книгах А. И. Михайлова — «Баженов», М., 1951, А. А. Сидорова — «Рисунки старых русских мастеров», М., 1956, Н. Н. Болховитинова — «Становление русско-американских отношений», М., 1966 и др.



А. Штекли
После поражения

В истории борьбы за научное мировоззрение год 1616 — одна из важнейших, хотя и черных, вех. Церковь осудила гелиоцентрическую систему и запретила ее проповедовать. В этой борьбе Галилей играл ведущую роль. Многие историки неверно изображают его позицию. Есть даже такие, кто утверждает, будто Галилей пекся больше об интересах церкви, чем об интересах науки. Другие же считают, что запрет «пифагорейского учения» совершенно подавил Галилея, обрек его на покорность и молчание. Неужели Галилей в самом деле был настолько подавлен случившимся, что замолк, отказался от борьбы, изменил не только тактику, но и суть своих выступлений в защиту мировоззрения, основанного не на библейских текстах, а на объективных научных истинах? Письмо Галилея, написанное им на второй день после того, как

кардинал Беллармино, один из руководителей инквизиции, объявил ему о принятом церковью решении, проливает свет на происшедшее.

Это было его третье посещение Рима. Впервые он приехал в Вечный город, когда ему было двадцать три года. Он, молодой и безвестный, пылал энтузиазмом и любовью к науке. Уверовав в Коперникову теорию, он не хотел примириться с тем, что ее выдавали за абстрактную математическую схему. Каждый новый довод против Аристотеля и Птолемея он воспринимал как подтверждение правоты Коперника. Ведь существуют же физические доказательства истинности Коперникова учения! Галилей поехал в Рим. Там жил и работал крупный математик Христофор Клавий. Пять лет назад он, основываясь на теории Коперника, подготовил календарную реформу и обеспечил переход к новому, григорианскому, календарю. Галилей добился встречи с Клавием. Но тот вылил на него ушат холодной воды. Ничто из того, что свидетельствует против Птолемея, не может служить доказательством правоты Коперника. Таких доказательств нет. И это сказал человек, обильно вкушавший от плодов Коперникова гения! Клавий продолжал считать, что учение о движении Земли только отвлеченная, удобная для расчетов гипотеза.

С тяжелым сердцем уезжал тогда Галилей из Рима. Но встреча с Клавием не поколебала его уверенности. Физические доказательства движения Земли вокруг Солнца существуют, и если они не воспринимаются еще как непроверяемые, то это говорит только о необходимости удвоить усилия и найти новые аргументы.

Годы напряженного труда не пропали даром. Опыты и наблюдения помогли Галилею все глубже проникать в суть физических законов, лежащих в основе реального мира. Мысль, явившаяся ему как озарение, мысль о том, что приливы и отливы объясняются движением Земли и, следовательно, доказывают его, становилась все более неотступной. Но проповедовать ее было не время. Судьба Джордано Бруно, философа, чьи книги сыграли первостепенную роль в развитии его мировоззрения, послужила и ему грозным предостережением. В костре, на котором погиб Бруно, сгорели не только книги Ноланца, но и многие надежды Галилея. Предав сожжению Бруно, самого яростного и блестящего глашатая Коперниковых идей, церковь показала

вольнодумцам, что не потерпит утверждений, будто Земля действительно движется. Гордость Святой службы, кардинал Роберто Беллармино, приложивший больше других инквизиторов усилий, чтобы отправить Ноланца на костер, не поставил вопроса о запрещении Коперникова учения. Он полагал, что Джордано Бруно ложно истолковал гипотезу Коперника, выдавая ее за истину.

Галилео Галилей, не безвестный юноша, а прославленный профессор Падуанского университета, научился осторожности. Затрагивая опасную тему, он избегал категорических суждений. Он научился прибегать к оговоркам: «Если предположить, что Земля вертится...»

А потом настали годы триумфа. Изобретение зрительной трубы было величайшим событием в духовной истории человечества. Галилей направил телескоп на небо и обнаружил невиданные вещи: лунную поверхность, испещренную впадинами, покрытую горами; звезды, огромное количество звезд, о существовании которых никто и не предполагал, потому что увидеть их невооруженным глазом нельзя. Ночи проходили в лихорадочном возбуждении, бессонные ночи невероятных открытий. Млечный Путь — это, оказывается, громадное скопление звезд! Ночи напролет не отходил от телескопа Галилей, записывал и проверял наблюдения, делал рисунки. Болели глаза, мучили застарелые хвори. А душа была полна торжества: близится время, когда он заговорит во весь голос и докажет правоту Коперника.

Одно за другим рушились старые представления о мире: в небе не было хрустальных сфер, с помощью которых переносились планеты, и поверхность Луны не являлась, как уверяли перипатетики, идеально гладкой, она, словно назло им, своими горами и впадинами напоминала Землю.

Галилей обнаружил четыре спутника Юпитера. Это было поразительное открытие: вокруг планеты — не Земли, а планеты — вращались четыре небесных тела! Значит, даже поблизости от Земли могли быть какие-то другие центры небесных вращений. О спутниках Юпитера никто никогда не знал, они существовали независимо от нашего сознания, о них не было ни слова у Аристотеля и его комментаторов. Тяжкий удар для господствующих воззрений!

Изданная в марте 1610 года книга Галилея «Звездный вестник», в которой он сообщал миру о своих открытиях, явилась неслыханной сенсацией. Многие не верили Галилею.

Нет, того, о чем он говорит, просто не может быть! Перипатетики с текстами Аристотеля в руках доказывали, что Галилей заблуждается. Были и такие, кто говорил, что Галилей просто ловкий обманщик. Он нарочно дурачит публику, чтобы потом поиздеваться над легковерием толпы. В свое время насмешник Лукиан писал о Луне еще более поразительные вещи.

Гул враждебных голосов заметно усилился, когда несколько ученых, имевших зрительные трубы, не подтвердили наблюдений Галилея. Этого надо было ожидать. Другим оптикам было далеко до Галилея. Никто, кроме него, не мог делать таких превосходных телескопов. Галилей демонстрировал свой телескоп, посылал линзы, изготовленные в его мастерской, в разные города. Теперь не только он один видел на небе те чудеса, о которых возвестил «Звездный вестник». Это казалось невероятным: фантазии Галилея, плод издевки или больного воображения, подтверждались! Но люди непоколебимых убеждений не поддавались искусу и даже близко не подходили к чертовой трубе: раз она показывает то, чего никто никогда не видел, то этого, значит, не существует. Мир создан творцом для человека, мир — это то, что мы видим. Зачем господь стал бы создавать то, чего человек не может узреть собственными глазами?

Однако постепенно многим пришлось изменить свое мнение. «Выдумки» Галилея подтверждали виднейшие ученые: спутников Юпитера увидел Кеплер, увидел их и Клавий.

Галилей, продолжая наблюдения, делал открытие за открытием. Он обнаружил необычную форму Сатурна и, что особенно важно, фазы Венеры. Один из самых сильных аргументов врагов Коперниковой теории заключался именно в том, что фаз Венеры никто не замечал, а они должны были бы наблюдаться, если бы планета действительно вращалась вокруг Солнца. И Галилею удалось опровергнуть этот аргумент! Заявлять о новом открытии во всеуслышание он не торопился, но Христофору Клаввио написал об этом письмо. Галилей не забывал первой поездки в Рим, отрезвляющих речей Клавия и своего энтузиазма, не подкрепленного достаточными доводами. Но ведь теперь, после его открытий, истинность учения Коперника становится очевидной! Галилей решил снова отправиться в Вечный город.

Вторая поездка в Рим принесла ему триумфальный успех. На следующий же день по

прибытии он явился к Клаввио. Долго беседовал с ним и его учениками: они уже два месяца непрерывно наблюдали за спутниками Юпитера, видели они и странную форму Сатурна и фазы Венеры. Когда кардинал Беллармино послал астрономам Римской коллегии официальный запрос, они все это подтвердили. Многим Галилей не казался уже подозрительным звездочетом, защищающим умопомрачительные идеи. Его приглашали к себе влиятельнейшие люди Рима, аристократы, кардиналы, в его честь устраивались приемы, торжественные заседания, пиры. Его избрали членом Академии Линчей. Ученые Римской коллегии чествовали его как человека, совершившего замечательные открытия.

Галилей был на вершине славы. Враги его оказались посрамленными. Внешне вторая поездка в Рим выглядела сплошным триумфом. Действительно, как астроном Галилей добился признания и доказал свою правоту. Но он был не только астрономом. Не случайно, ведя переговоры о переезде из Падуи во Флоренцию, Галилей настаивал, чтобы великий герцог Тосканы взял его на службу как «первого математика и философа». Коперникова теория была важнейшей частью его мировоззрения. Он хотел во что бы то ни стало доказать ее истинность. Галилей не мог считать, что и как философ он добился в Риме триумфа. В вопросе об истолковании своих открытий Галилей достиг лишь частичного успеха. Да, он показал беспочвенность многих заблуждений, развеял немало мифов, опроверг ряд положений Аристотеля и Птолемея. Но разве, доказав, например, что Венера вращается вокруг Солнца, он не доказал ложности Птолемеевой системы и тем самым не подтвердил правоты Коперника? Ученые Римской коллегии, восторженно приветствовавшие Галилея как астронома, не разделяли его мнения относительно выводов, которые следовало делать из его наблюдений. Они стояли на позиции церкви: движется Солнце, а Земля — неподвижный центр мира. Исходя из этого, они и толковали результаты наблюдений. Да, фазы Венеры наблюдаются, но это не доказывает правильности системы Коперника, а скорее служит аргументом в пользу системы Тихо Браге: планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце по-прежнему — вокруг недвижной Земли.

О системе Тихо Браге говорить спокойно Галилей не мог, считая, что она не имеет никаких преимуществ по сравнению с Птолемеевой. Браге, путая людей, только мешает



истинному познанию мира. Прав или Птолемей, или Коперник. Третьего не дано!

Дальнейшие свои открытия Галилей тоже расценивал как аргументы в пользу Коперника, хотя, памятуя о предостережениях, и говорил о движении Земли с известной осторожностью. Он обнаружил солнечные пятна, доказывавшие, что Солнце вращается вокруг собственной оси, обнаружил, как изменяются очертания Сатурна, и даже стал предсказывать их изменения. Но враги его не дремали. Каждый его новый успех они расценивали как ущерб делу веры. Кардинал Беллармино недвусмысленно дал понять, что рассуждать о теории Коперника можно только как о гипотезе. Однако Галилей, философ Галилей, не хотел идти на такой компромисс. О том, что он верит в движение Земли, знали многие. На него был подан донос, в инквизиции ста-

ли допрашивать свидетелей, его книгу «О солнечных пятнах» велели просмотреть цензорам-богословам.

Дело принимало опасный оборот. Галилею было об этом известно. Его тревожили не только последствия, которые могла иметь эта история для него лично. Он боялся за судьбу науки. Если церковь официально осудит мысль о движении Земли, то начавшимся столь недавно исследованиям вселенной будут поставлены тяжкие препоны. Галилей надеялся убедить влиятельных кардиналов, что запрет «пифагорейского учения» не в интересах церкви. Земля движется на самом деле, и эта истина с каждым днем становится все очевидней! Физические доказательства тому существуют: об этом говорят приливы и отливы, об этом, наконец, говорят пассаты! Несмотря на болезнь, Галилей, которому пере-



валило уже за пятьдесят, решил в третий раз ехать в Рим.

В начале декабря 1615 года Галилей снова вступил на землю Вечного города. Он развил бурную деятельность: встречался с учеными, кардиналами, инквизиторами — со всеми, от кого мог зависеть исход дела, спорил, убеждал, доказывал. Учение Коперника нельзя запрещать!

Предварительное следствие закончилось для Галилея благополучно. Люди, выступавшие против него, не смогли доказать, что он высказывал ересь. Один из них даже приходил к нему извиняться. Друзья, сведущие и осторожные, советовали Галилею не идти дальше. Сам он, разумеется, может исповедовать учение Коперника, но не надо с жаром его пропагандировать.

Разве он приехал в Рим только из опасений

за свою судьбу? Движение Земли — истина, и ее следует отстаивать. Он бросил на чашу весов все: весь свой авторитет ученого, рукопись «О приливах и отливах», все свое красноречие, все свои связи, даже рекомендательные письма великого герцога.

Не только астрономические наблюдения — пассаты, приливы и отливы доказывают, что Земля вертится! Когда кардинал Орсини по поручению Галилея рассказал об этом папе, Павел V не стал медлить. На этот раз не запрашивали мнения ученых и не обсуждали доводов Галилея: мысль, что Земля движется на самом деле, явно противоречила Библии. Папа велел позвать к себе Беллармино.

Кардинал Беллармино, этот столп фанатизма и нетерпимости, обладал огромной властью. Он привык, что каждое его слово воспринималось как закон, распоряжения

выполнялись беспрекословно, малейший намек понимался как повеление. Многие помнили: в процессе Джордано Бруно, закончившемся его сожжением, именно он сыграл главную роль. Он считал естественным, что при том влиянии, которое он имел на дела инквизиции, ученые Италии, а может быть, и всего католического мира внимательно прислушивались к его речам. Открытия Галилея радости ему не доставили, а шум, который они породили, вызвал его озабоченность: авторитет Библии оказывался под ударом. Беллармино вынужден был несколько раз повторять: о движении Земли можно говорить только как об отвлеченной гипотезе. В письме к Фоскарини, которое было доведено до сведения Галилея, он опять это подчеркнул. Но у Галилея словно заложил уши, он шел возможным пренебречь ясным предостережением. Более того, он явился в Рим, чтобы доказать свою правоту. Беллармино не колебался: этому пора положить конец!

Судьбу «пифагорейского учения» решили не ученые-иезуиты, а два прожженных политика — кардинал Беллармино и Павел V, пивший отвращение к науке.

Несколько дней спустя Галилея вызвали в апартаменты, занимаемые Беллармино. Кардинал в присутствии свидетелей объявил ему от имени папы и Святой службы, что учение о движении Земли и неподвижности Солнца признано еретичным. Галилею запрещают разделять, защищать и трактовать это учение. Если он ослушается, то будет заточен в тюрьму. Галилей обещал повиноваться. Случилось это в пятницу, 26 февраля 1616 года. Это был черный день, день поражения.

Ординарная почта тосканского посольства в Риме отправлялась во Флоренцию раз в неделю — по субботам. Галилей регулярно писал Курцио Пиккене, первому статс-секретарю. Но в субботу, 27 февраля, он не воспользовался уходящей почтой. Против обыкновения Галилей не написал Пиккене ни строчки. В письме, которое он пошлет ему через неделю, он объяснит свое молчание просто тем, что-де не было о чем писать.

Да, он потерпел поражение. Но оружия он не сложит. Истина не перестанет быть истинной, даже если о ней нельзя говорить. Ему запретили проповедовать учение Коперника. Он не сможет в открытую выступать против ложной доктрины, но он не откажется от дела жизни. Сейчас он не будет под трубные звуки широких обобщений штурмовать Птолемею систему, он станет исподволь, камень за камнем, разрушать фундамент кре-

пости перипатетиков, делая новые факты достоянием людей.

Галилей, наделенный богатым воображением, не любил, когда дело касалось науки, предаваться безудержным фантазиям. От любви, даже самой заманчивой, мысли надо отказать, если она опровергается опытом, фактами.

О жителях Луны писал не один Лукиан. Даже такие глубокие мыслители, как Николай Кузанский и Джордано Бруно, говорили, что Луна, возможно, заселена. Открытия, сделанные с помощью телескопа, произвели смятение в умах: если Луна своими очертаниями так похожа на Землю, то почему не быть там и жителям? Кампанелла, узнав об открытиях Галилея, размышлял в своей темнице: не исключено, что на всех планетах есть люди — они, вероятно, тоже воображают, будто находятся в центре вселенной. А как они там живут, лучше или хуже, чем люди на Земле?

Кеплер, прочтя «Звездный вестник», писал Галилею, что похоже на истину предположение о том, будто «не только на Луне, но и на Юпитере имеются жители... и если когда-нибудь выучатся летать, то найдутся и колонисты из нашего человеческого рода... Дай корабли или приспособь паруса к небесному воздуху, и найдутся люди, которые не побоятся и таких просторов».

Но теперь о Луне рассуждали не только такие умы, как Кампанелла и Кеплер. То, что в устах ученых звучало как предположение, которое вовсе не мешало исследованиям, могло в устах профанов и начетчиков оборачиваться против самой науки. Галилей хотел держаться лишь известных ему фактов. Надо больше производить наблюдений и правильно осмысливать увиденное, а не делать поспешных выводов путем схоластических умозаключений.

Главная его задача — борьба с таким мировоззрением, которое закрывает людям горизонт частого цитат. Он до поры до времени будет воздерживаться от громких обобщений. Его оружие — факты, новые факты, добытые в результате опытов. О них он будет говорить при каждой возможности: на диспутах, при застольных беседах, в частной переписке. Ибо факты — это те мины, которые в конечном итоге поднимут на воздух цитадель ложных концепций и предубеждений.

В пятницу кардинал Беллармино объявил ему о безоговорочном запрете держаться и проповедовать зловерное «пифагорейское

учение», а в воскресенье Галилей уже взялся за перо. Не родственникам писал он и не близким друзьям — он писал малознакомому человеку, Джакомо Мути. Несколько дней назад, когда Галилей был с визитом у его брата, кардинала, там разгорелся диспут.

Синьор Джакомо, к сожалению, не запомнил аргументации споривших и просил Галилея изложить суть разногласий. Теперь Галилей счел своевременным выполнить его просьбу.

Речь шла о Луне. Алессандро Капоано, римский дворянин, непререкаемый участник ученых собраний, оспаривал утверждение Галилея о том, что поверхность Луны неровна, покрыта впадинами и возвышениями. Синьор Капоано не проводил бессонных ночей у телескопа и не утруждал себя исследованиями. Он, сохраняя верность старым учениям, брался опровергнуть знаменитого астронома доводами логики. С подобным складом мышления Галилей сталкивался на каждом шагу. Раз наблюдения, производимые с помощью зрительной трубы, хоть в чем-то свидетельствуют против истин Аристотеля, то это доказывает лишь несовершенство либо самого инструмента, либо наших органов чувств. Научному опыту противопоставляли священные тексты, факты опровергали цитатами, стараясь задавить противника непререкаемостью авторитета: «Сам сказал!» Результаты опыта не проверяли новыми опытами. Чтобы отринуть их, достаточно было цели хитроумных аргументов. Алессандро Капоано был из числа именно таких софистов.

Ведь известно, начал Капоано, что горы на Земле созданы ради блага растений и животных, предназначенных служить человеку как наиболее совершенному творению господу. А раз лунная поверхность тоже неровна и покрыта горами, то отсюда следует, что и на Луне должны существовать какие-то другие растения и животные, предназначенные служить какой-то другой разумной твари, более их совершенной. Но поскольку этот вывод, противореча писанию, является величайшим заблуждением, то, значит, ошибочно и допущение, будто Луна покрыта горами!

На это он, Галилей, ответил синьору Капоано, что неровность лунной поверхности не произвольное допущение, а истина, добытая с помощью телескопа. Это результат неоднократно повторенного опыта. Что же касается «логических выводов» синьора Капоано, то они не вытекают с необходимостью из по-

сылки и совершенно ошибочны. И он, Галилей, стал доказывать, что на Луне не может быть животных и растений, подобных существующим на Земле, не говоря уже о людях. Доказательства заключались в следующем. Он заявлял прежде и повторяет теперь, что не верит, будто тело Луна состоит из земли и воды, а если их там нет, то нет там и других стихий, без которых они не могут существовать. Но даже если и предположить, а это весьма маловероятно, будто Луна одного вещества с Землей, то и тогда там не может быть ничего из того, что рождается и живет на Земле. Ибо для возникновения и существования известных нам растений и животных необходимы не только земля и вода, необходимо солнце, необходимо определенное чередование тепла и холода, дня и ночи. Однако физические условия на Земле и на Луне совершенно различны. Это зависит от того, что солнечные лучи по-разному освещают их поверхность. За двадцать четыре часа Солнце успевает осветить весь земной шар, а чтобы осветить всю Луну, нужен месяц. Пятнадцать земных суток длится на Луне день, так же длинна там и ночь.

Ясно, что если бы растения и животные, привыкшие к земным условиям, пятнадцать суток каждого месяца подвергались бы подряд воздействию палящего солнца, а затем на столь же долгий срок погружались бы в омерзение и холод ночи, то они никоим бы образом не могли бы выжить, а тем паче приносить плоды и размножаться. А отсюда со всей очевидностью следует, что ничто из живущего на Земле не может возникнуть и существовать на Луне...

Галилей не сопоставляет древних текстов, не обсуждает мнений античных писателей, не ссылается на чей-либо авторитет — он стоит на почве фактов, только фактов, полученных в результате наблюдений.

...В воскресенье, 28 февраля 1616 года, Галилей пишет письмо Джакомо Мути — первое письмо после поражения.

Невзирая ни на что, он будет идти своим путем! Галилей знает и высоко ценит Данте. Любовь к истине, словно Вергилий, будет постоянно влечь его вперед и вперед:

Не все ль равно, что люди говорят?
Иди за мной, и пусть себе толкуют!
Как башня стой, которая вовек
Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют!



Ф. Е. Никольский

Гоголь в Одессе

Вступительная статья и публикация
Н. Ф. Бельчикова

Спасаясь от московских холодов, 24 октября 1850 года Гоголь приехал в Одессу. Он остановился в доме своего родственника, отставного генерала А. А. Трошинского, часто бывал в семье князей Репниных и у князя Д. И. Гагарина. Круг его знакомых в ту пору: Л. С. Пушкин, А. С. Стурдза, Н. Г. Тройницкий, А. И. Соколов, Н. П. Ильин, местный литератор Н. Д. Мизко, артисты П. И. Орлова, А. Ф. Богданов и др. Зимой Гоголь усердно работал над вторым томом «Мертвых душ», а 27 марта 1851 года отправился на родину.

О пребывании Гоголя в Одессе в 1850—1851 годах существует ряд воспоминаний (В. Н. Репниной, А. П. Маркевича, О. О. Чижевича и др.); из них наиболее интересны воспоминания А. П. Толченова¹. Несколько новых штрихов к характеристике Гоголя этого периода добавляют неопубликованные воспоминания Ф. Е. Никольского².

Судьба автора этих воспоминаний необычна. Федор Егорович Никольский (1816—1900) — сын дьячка — не вынес тяжелого и крутого гнета бурсы и за провинности попал в мо-

¹ Опубликованы впервые в журнале «Музыкальный свет», 1876, № 30—33. С незначительными сокращениями перепечатаны в книге: «Гоголь в воспоминаниях современников», М., 1952, стр. 416—427.

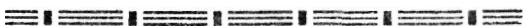
² Отдел письменных источников Государственного исторического музея.

настырскую тюрьму, а потом — в тюремный замок. Там он встретился с культурным и образованным человеком, кандидатом на кафедру естественных наук Варшавского университета Яворским, который за три года заключения сумел пройти со своим новым знакомцем программу тогдашней гимназии. Встреча эта произвела коренной переворот в настроении, поведении и самочувствии Никольского. В августе 1843 года он успешно сдал экзамены в Казанский университет, готовясь к ним вместе с Л. Н. Толстым у адъюнкт-профессора В. А. Сбоева, и был принят на медицинский факультет. В августе 1846 года он перешел на юридический факультет Московского университета. Болезнь легких вскоре заставила его прервать учебу, и 5 марта 1849 года Ф. Е. Никольский выехал в Одессу, где и произошла через два года его встреча с Н. В. Гоголем. После выздоровления Никольский жил в Пензенской губернии, сблизился с кружком Н. П. Огарева и Н. М. Сатина, а через них состоял в переписке с А. И. Герценом¹. В 1860—1870-х годах сотрудничал в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова.

Ф. Е. Никольский вспоминает о своей встрече с Гоголем в Одессе и рассказывает о впечатлении, какое великий писатель оставил по себе у встретившихся с ним. Мемуарист несколько дополняет список одесских знакомых Гоголя, называя имена А. И. Казначеева, Н. В. Самойлова и др. Существенно, как Никольский обрисовал настроение Гоголя: он отметил, что Гоголь на этот раз не проявил ни «одушевления», ни «простоты», ни «общительности», ни «заразительной веселости», о чем рассказывал А. П. Толченев, а был сосредоточенным, замкнутым, молчаливым. Ссылаясь на диагноз доктора-психиатра Щеглова, бывшего на этой встрече, мемуарист отметил необычное поведение писателя. Трудно судить, насколько предположения о нездоровье Гоголя были обоснованы и соответствовали истине, однако не считаться с таким свидетельством едва ли будет правильным.

Рассказ Ф. Е. Никольского, человека, довольно близко вошедшего в среду, где почитали великого писателя, надо признать в качестве источника, не вызывающего сомнений, хотя и недостаточно всесторонне освещающего данный эпизод. Некоторые неточности в сообщении мемуариста отмечены в подстрочных примечаниях.

Пребывание мое на юге можно отнести к самому лучшему времени моей тогдашней жизни, ввиду климатических условий и по смыслу обыденной жизни. Прежде всего поразило меня — это южный климат и его особенности, располагающие к здоровой жизни. Поездка моя туда <...> в марте месяце, когда еще у нас в России снега, вьюги и морозы, а между тем я, начиная от Полтавы, ехал уже зеленеющими и цветущими полями; в Одессу же приехал, там уже на бульварах были в цвету белые акации, а это было в конце марта. При виде всего этого я ощущал какую-то особую радость, и думалось мне, что в таком климате болеть нельзя и что я с божьей помощью выздоровлю. Такие предчувствия, как оказалось после, меня не обманули, и я уже к осени этого лета, после удачного лечения по методу доктора Шмидта², настолько был здоров, что по нескольку часов мог гулять по прекрасной Ришельевской улице и по бульвару над взморьем, что между прочим, должен был



¹ Под фамилией Михайловского значится в списке анонимных секретных сотрудников «Колокола». См.: М. М. Клевенский, Герцен-издатель и его сотрудники. «Литературное наследство», 1940, т. 41—42, стр. 600.

² Шмидт — главный врач Одесского приказа Общественного призрения и заведующий Кульничским лиманом.

делать по приказанию доктора, заставлявшего иногда сыграть с ним несколько партий даже на биллиарде. Такое мое положение чуть было не сбило меня с толку намерением уехать в Москву, но доктор и слышать этого не хотел, сказавши, что я только отудобел и что для полного излечения моей болезни нужно взять еще один курс принятого мною лечения, т. е. пробыть еще одно лето, и что только после того, если с такой же пользой пройдет еще этот курс, какую принесло нынешнее лето, то, по его словам, могу ехать на все четыре стороны. Благоразумие заставило меня остаться. Но кроме того и г. А. И. Казначеев¹ и А. И. Соколов² поддерживали мнение доктора, прибавив к тому, что мне нести трудовую, сидячую жизнь еще нельзя, а следовательно, об университете пока надо забыть.

О способе лечения моего распространяться много не буду, а скажу, только, что я в первый сезон, как я уже сказал, с половины апреля до 20 мая принимал морские грязи на Куяльницком лимане, а вслед за тем отправлен был на Южный берег Крыма в Евпаторию на морские купанья. Курс купанья продолжался полтора месяца, т. е. июнь и половина июля, а с половины июля нас, купающихся больных от приказа Общественного призрения, шесть человек, в числе которых был и я, перевезли в Алупку, в имение светлейшего князя М. С. Воронцова, для пользования виноградом, где я, между прочим, и пробыл до последних чисел августа вместе с од-

ним студентом Харьковского университета, лечившимся от нервного расстройства и малокровия. Все расходы по лечению моему, как-то: содержание, медикаменты и все переезды и разъезды и устройство жизни в Алупке и плата за виноград, — одним словом, весь больничный пансион мой был производим за счет приказа Общественного призрения, по приказанию градоначальника А. И. Казначеева. (Чтобы далее не повторяться, то скажу, что и на втором году был тот же порядок лечения, как и на этот раз.)

Оставшись еще на сезон, я, однако,



¹ Казначеев Александр Иванович (1788—1880) — тогдашний градоначальник Одессы, старый друг семьи Аксаковых.

² Соколов Александр Иванович — одесский чиновник, близкий к литературным кругам.

боялся, что меня замучает скука, потому что мне строго была запрещена сидячая жизнь и в особенности какая бы ни то умственная работа, но благодаря А. И. Соколову и частично А. И. Казначееву я избежал предполагаемой мной опасности. Когда я возвратился из Крыма, г. Соколов тотчас же предложил мне у себя квартиру. Он был холост и занимал довольно большое помещение в доме приказа Общественного призрения, куда перетасили и меня, определив мне две порядочные комнаты, даже с особым ходом. В Одессе он имел большое знакомство, так что не было ни одного вечера, чтобы у него не было пяти-шести человек гостей, когда он был дома, а особливо когда начинался театральный сезон, тогда к городским гостям присоединялись и гости артисты, потому что собственно, что он был одним из директоров Одесского театра. Поэтому, как оказалось, и некогда было скучать, тем более что все удовольствия на подобных вечерах заключались большей частью не в оргиях или попойках, а в чтении чего-либо нового в литературе, умственных суждениях, оценке их же артистов или разборе какой-либо новой пьесы. Сам он был любитель театрального искусства, и потому чаще вели суждения о театре. Особливо в то время являлись часто на гастроли в Одессу артисты императорских театров. В бытность мою пребывали там такие артисты и артистки, как, например: М. С. Щепкин¹, Н. В. Самойлова², и уже пожилая Е. С. Семенова³ (причем замечу, сыгравшая еще довольно хорошо Офелию) и артисты: г. Максимов⁴, г. Толченев⁵ и мой добрый Санчо-Панцо — г. Воробьев⁶, ныне уже покойники. Но что для меня было всего приятнее, так это то, что на одном

из подобных вечеров посчастливилось познакомиться с нашим незабвенным Н. В. Гоголем.

Этого вечера я никак не могу забыть по тому впечатлению, какое на меня произвел этот гениальный человек, так что умолчать об этом было бы непростительно. Встреча моя с ним была, как помнится, в проезд его из Иерусалима через Одессу⁷. О том, что он будет вечером у г. Соколова, я узнал накануне от А. И. <Соколова> и непременно желал увидеть его, как что-то необыкновенное, влекущее к нему и возбуждающее особое любопытство, которое только может явиться при желании видеть какую-нибудь знаменитость. Н. В. в то время был уже в апогее своей славы, так как же было не пожелать взглянуть, а может быть, и поговорить с таким человеком. Видеть-то я его видел, а говорить-то пришлось очень мало, да и он был далеко не так разговорчив: вообще о нем говорили, что он в обществе был мало разговорчив, а на этот раз почти весь вечер совершенно был угрюмым. Как после оказалось, такое

¹ Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — артист Малого театра.

² Самойлова Надежда Васильевна (1818—1899) — актриса Александринского театра.

³ Семенова Екатерина Семеновна (1788—1849), по мужу — кн. Гагарина — драматическая актриса петербургской сцены.

⁴ Максимов Гавриил Михайлович (1810—1882) или Алексей Михайлович (1813—1861) — артисты петербургских драматических театров.

⁵ Толченев Александр Павлович (ум. в 1888) — артист в Одессе, автор упомянутых во вступительной заметке воспоминаний о Гоголе.

⁶ Воробьев — в литературе не известен.

⁷ Это неверно. По пути из Иерусалима Гоголь проезжал через Одессу в апреле 1848 года. На сей раз, как отмечалось уже во вступительной заметке, он приехал в Одессу из Москвы.

его настроение было вследствие тех слухов, какие носились тогда в обществе относительно иерусалимских дел, связанных с политическим настроением европейских государств в смысле тех замешательств¹. Весь мой разговор с ним ограничился тем, как говорится, — «здравствуйте и прощайте». А. И. <Соколов> подвел меня к нему и отрекомендовал как студента Московского университета. Он, подавая мне руку, сказал: «Так это хорошо, а какого факультета?» Я ответил, что юридического. «А какого курса?» Я сказал: «Первого». «Значит, встали на первую ступень умственного развития; ну, дай вам бог добраться до верхней площадки этой лестницы». И замолчал. Вот весь разговор наш с ним. Но и эти немногие слова для меня были тогда драгоценным даром от него. Впрочем, надо заметить, что он и с другими, бывшими в тот вечер, также говорил отрывочно и, видимо, с нежеланием слишком много разглагольствовать. А между тем присутствующие старались по возможности втянуть его в общий разговор, а особенно поэт Щербина, «хохол», как он называл себя, более всех старался, как говорится, подмолодить его, относясь к нему по-малороссийски; но Н. В. или просто отмалчивался, или отвечал коротко, или просто однословно. И такое его мизантропство никого не удивляло, потому что из переписки его с друзьями, разобранной Белинским², все знали уже о перемене его настроения, в смысле религиозном, а особенно, как видно, укоренившемся в нем после посещения им Иерусалима; но страннее всего мне казалось то, что больше всего он старался уклониться от разговоров о каких-либо литературных толках и суждениях и вообще о литературе и литературных деятелях. Он

тогда или вставал с кресла и отходил к окну, а если оставался на месте, то как-то нервно повертывался в кресле. Не зная того психического настроения, в каком он находился на этот раз, лица, не знакомые с ним и с его, так сказать, душевным недугом, могли бы назвать его отношения к тем лицам, среди которых он находился, не знающим общественных условий. Оно и действительно было странно видеть этого хмурого и довольно исхудалого человека, сидевшего потупя нос или медленно проходившего по комнате к окну между довольно многочисленным обществом, толковавшим, спорившим и говорившим то о литературе, то о злобах дня, — людьми, собравшимися именно из желания поделиться с ним своими взглядами и услышать от него самого что-либо, чем он в то время дышал и как он думал о будущем; а между тем он, как бы невежа какой, видимо, игнорировал всем тем, что происходило в его присутствии, считая как бы нестоящим с ними входить в какие-либо рассуждения. Тогда как, кстати сказать, то общество, в котором он находился, состояло из людей, чующих его как гениального писателя, и людей вполне образованных,



¹ Гоголь был там во время обострения взаимоотношений России и Франции из-за привилегий православных монахов, узурпировавших их у католических, интересы которых защищала Франция. Тогдашние споры из-за ключей к вифлеемскому храму имели явно политическую и экономическую подкладку в смысле борьбы против усиления влияния России и были преддверием, как показали дальнейшие события, Крымской войны 1853—1855 годов.

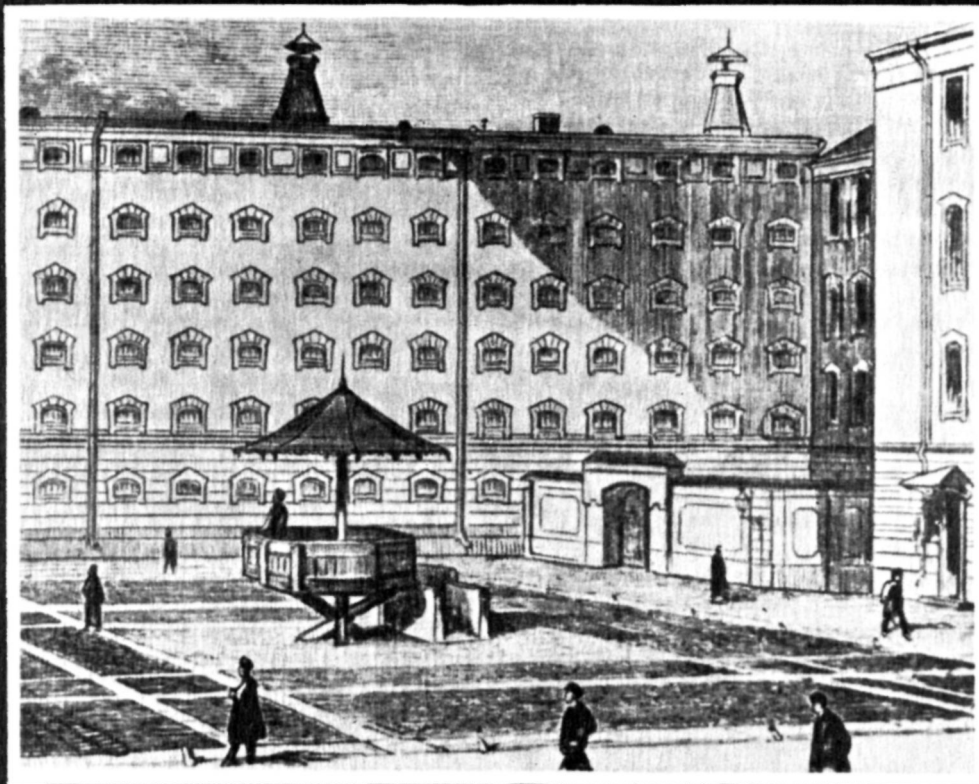
² Мемуарист имел в виду знаменитое письмо Белинского Гоголю из Зальцбрунна 15 июля 1847 года, ставшее политическим завещанием великого демократа, в котором он резко протестовал против суждений писателя в защиту крепостного права и самодержавия и проповеди религиозно-мистических идей в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

как, например, хозяина А. И. Соколова, барона Рено, тогдашнего директора Одесского театра, градоначальника А. И. Казначеева, почитавшего его до обожания, доктора Шмидта, Н. В. Самойловой, директора Ришельевского лицея, брата А. С. Пушкина — Льва Сергеевича и нескольких человек из ученого мира — лицея и других. Может быть, Н. В. и потому был в таком настроении, что все это общество он считал за зрителей, собравшихся посмотреть на него, как бы на какую диковинку. Да это, пожалуй, и так, потому что, несмотря на то, что они с А. И. между собой были друзья, он не засиделся на вечере, так что, любя поесть, не остался даже поужинать и на просьбу хозяина, чтобы он отведал хлеба-соли его, отозвался нездоровьем и тем, что ему нужно приготовить к отъезду в Москву, говоря: «побачить мою милую», которую, как он высказался, «так долго не бачил, и моих милых два Михалко» (напомню Погодина и Щепкина). По уходе его А. И. Соколов проговорил: «А ведь он сделался страннее, нежели прежде был, прежде он был все-таки податливее на разговор, иногда даже пел малороссийские песни, а на этот раз из рук вон; был каким-то нелюдимкой и вот с своим братом, хохлом, — ука-

зывая на Щербину, — не хотел много даже разговаривать, тогда как в другое время с такими людьми, как он, говорил и любил побалакать по-свойски». А доктор Щеглов, психиатр по специальности, заметил в нем какую-то ненормальность, проговорив, что он или был чем-либо особенно занят и обдумывал, или же, как сказал Белинский, что он немножко умственно свихнулся. «Ну и хватил же ты, А<лександр> Васильевич, ты, кажется, ко всем хочешь применить свою психику; просто на него нашел такой стих, вот и все», — проговорил А. И. Соколов. Однако впоследствии оказалось, что Щеглов частью был и прав, и если Н. В., как мы знаем, и не был расположен к тому, на что намекал он, то все-таки в последних действиях Н. В. перед кончиною не был нормален в его душевных способностях. А то, что было говорено Щегловым, было говорено менее, кажется, чем за год до смерти Николая Васильевича. Это было летом 1851 г.¹

Моя встреча с Николаем Васильевичем Гоголем была во второй сезон моего лечения.

¹ По-видимому, здесь автор ошибся: должно быть, весной!



Н. В. Шелгунов
Неизвестные страницы
воспоминаний

Вступительная статья и публикация
Ф. Кузнецова

«Воспоминания» Николая Васильевича Шелгунова, собранные воедино и опубликованные в 1923 году видным историком революционного движения А. А. Шиловым, — бесценный документ героической эпохи 60-х годов — времени Чернышевского и Добролюбова, Герцена и Писарева. Шелгунов писал их на закате жизни, по преимуществу в 1884—1885 годах, оказавшись в очередной ссылке в селе Воробьево Смоленской губернии по обвинению в сношениях с революционными деятелями «Народной воли» и с революционерами-эмигрантами. Писал прежде всего ради того, чтобы защитить от наскоков всех катковствующих и ренегатствующих, которых так много



развелось в трудные 80-е годы, светлую память шестидесятников. «Мне и обидно и досадно не только за истину, но и за тех лучших, чистейших и умнейших людей, которых шестидесятые годы выставили в лице Чернышевского, Писарева, Добролюбова», — объяснил он основную причину, которая заставила его взяться за перо. К сожалению, эти воспоминания, которые Шелгунов озаглавил «Из прошлого и настоящего», в неурезанном виде опубликовать было невозможно. Они были искромсаны цензурой не только в периодике (воспоминания Шелгунова печатались первоначально в журнале «Русская мысль» в 1885—1886 годах), но и в его собрании со-

чинений, издаваемом Ф. Павленковым. По мнению цензора, рассматривавшего это издание, автор воспоминаний, говоря о событиях «прокламационного времени», то есть времени 60-х годов, «рассказал их не только, как выражение безотчетное недавнего времени, но с полным сочувствием к идеям и направлению. Смелым и вдохновенным пером он обновил пагубные влияния, так много причинившие бедствий нашему отечеству». Воспоминания были опубликованы во втором томе павленковского издания сочинений Шелгунова с очень большими вырезками. Они были восстановлены А. А. Шиловым, который имел случайно уцелевший от цензурных выре-

зок экземпляр «Собрания сочинений» (Спб., 1891), где воспоминания были опубликованы в том виде, как их подготовил сам Шелгунов.

Однако Шелгунов, отдававший полный отчет в цензурных трудностях, включил в свое «Прошлое и настоящее» — как оно готовилось для второго тома сочинений — далеко не все. Уже после революции в Красноярске обнаружилась тетрадка с главами воспоминаний Шелгунова, посвященных драматическому периоду его жизни — аресту 1884 года и ссылке в Смоленскую губернию на пять лет. Главы эти, как свидетельствует пометка на заглавном листе, Шелгунов начал писать еще в Доме предварительного заключения, 27 ноября 1884 года, а продолжил уже в ссылке, в имении известной издательницы О. Н. Поповой в селе Воробьеве Смоленской губернии, где публицист провел последние годы своей жизни. Там же в ту пору жил воспитанник О. Н. Поповой — Григорий Александрович Войно, которого Н. В. Шелгунов очень любил. Осенью 1901 года Г. А. Войно умер в Крыму. Среди бумаг, оставшихся на руках его жены, оказалось немало рукописей Шелгунова, большей частью уже напечатанных. Но были и ненапечатанные, и среди них настоящая рукопись. Там же рассказывается история этой рукописи. И в частности, говорится, что воспоминания эти были переписаны женой профессора Томского университета Солнцева, которая уже в 900-х годах передала рукопись Вс. Мих. Крутовскому, а в конце 1934 года его брат, доктор Вл. Мих. Крутовский, прислал эту рукопись из Красноярска в Москву с просьбой опубликовать ее, как важный и интересный документ из жизни Н. В. Шелгунова. С тех пор она хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 559, оп. 1, ед. хр. 1). Мы публикуем наиболее интересный раздел рукописи (первые сорок страниц), полагая, что она в чем-то по-новому освещает облик сподвижника Чернышевского и Писарева, революционного публициста Николая Васильевича Шелгунова.

«Убежденный социалист и убежденный революционер» — так характеризовал Шелгунова близко знавший его по журналу «Дело» Н. Русанов. Вот эта убежденность революционера, демократа и социалиста заставила Шелгунова уже сравнительно немолодым, тридцатипятилетним человеком снять с себя погоны полковника лесного ведомства, отказаться от блестящей карьеры и благополучной жизни, чтобы вступить на превратную журналистскую стезю. Впрочем, это неточно — именовать Шелгунова журналистом, публицистом. Да, он был им, и статьи его, появившиеся на протяжении трех десятилетий в «Современнике», «Русском слове», «Деле», его «Очерки русской жизни», опубликованные в журнале «Русская мысль», оставили глубокий след в нашем общественном самосознании. Но произошло это потому, что Шелгунов в первую очередь был общественным деятелем, революционером и демократом; он и к публицистике-то обратился именно потому, что журнальное слово давало ему наибольшую возможность для воздействия на общество. И не случайно публицистическая деятельность Шелгунова в пору 60-х годов началась составлением прокламаций «К молодому поколению» и «К солдатам», страстным апофеозом народной революции. Не случайно с самого начала 60-х годов Шелгунов оказывается в центре революционных событий времени: он близкий друг Чернышевского, Добролюбова, Михайлова, он принимает участие в обсуждении прокламаций Н. Г. Чернышевского «К барским крестьянам» и «К старообрядцам», он член революционной организации 60-х годов «Земля и воля». Подвиг благородства и самопожертвования, совершенный его другом Михаилом Илларионовичем Михайловым, принявшим вину за составление «Молодой России» целиком на себя, спасает Шелгунова от каторги. В ответ на это Шелгунов и его жена Людмила Петровна Шелгунова отправляются в Сибирь, чтобы облегчить участь друга и помочь его побегу. Поездка в Сибирь дорого обошлась Шелгунову; он был аре-

станован на Казаковском промысле по личному приказу царя: «Шелгунова следует арестовать, и по осмотре его бумаг и снятии допроса решу его участь». Участью революционного публициста оказались двадцать месяцев Петропавловской крепости, а потом многолетняя тяжелая ссылка: Тотьма, Великий Устюг, Никольск, Кадников, Вологда, Калуга, Выборг, Новгород — и так десять лет в глухих городах и городишках провинциальной России, по сути дела, без суда, без доказанной вины, на основании деспотической воли самодержца всероссийского. И все эти годы — непрерывный, изнуряющий журнальный труд. Труд во имя торжества идеалов революционных 60-х годов. Начиная с 1863 года, пожалуй, не было номера «Русского слова», а потом — благосветловского «Дела», в котором не появлялась бы статья Шелгунова, направленная в редакцию из каземата Петропавловской крепости или вологодской, калужской, новгородской ссылок.

И в 70-е и в 80-е годы Шелгунов оставался типичным шестидесятником, революционным демократом и крестьянским социалистом, свято хранившим заветы Чернышевского и Писарева, заветы того благословенного времени, о котором писал: «Это было удивительное время — время, когда всякий захотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Но о сегодняшнем времени шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России...»

Вот эту высокую гражданственность, революционно-демократическую и социалистическую мечту о будущих судьбах России, предания Чернышевского, Добролюбова и Писарева отстаивал Шелгунов и на страницах журнала «Дело». Журнал этот был детищем руководителя «Русского слова» Благосветлова, его гражданским подвигом, — Благосветлов [сделал невозможное, по существу возродив

под новой обложкой и новым названием только что запрещенное правительством «Русское слово». Да, конечно, «Дело» никогда не смогло подняться до блистательного уровня «Русского слова», и не только потому, что в нем уже не было Писарева и Зайцева: правительство поставило новый журнал Благосветлова в немыслимые условия беспощадной предварительной цензуры. И все-таки почти на всем протяжении своего существования, в течение 70-х и начала 80-х годов, демократический журнал «Дело» был вторым по значению, после «Отечественных записок», печатным органом, революционизировавшим русскую мысль. И первая заслуга — в том принадлежит Шелгунову, его статьям и обзорам; наряду с Благосветловым он был, по существу, идейным руководителем журнала, а после смерти Благосветлова, последовавшей в 1880 году, вместе с К. М. Станюковичем — редактором его. Именно с работой Шелгунова в «Деле», а точнее, с редакторством его и связан тот драматический эпизод, о котором рассказано в публикуемом отрывке из воспоминаний. В нем рассказывается об аресте Шелгунова 28 июня 1884 года, о допросах и следствии, которое велось в связи с участием в журнале «Дело» политических эмигрантов и революционеров.

За два месяца до этого на границе, по возвращении из поездки в Европу, был арестован другой редактор «Дела» — известный беллетрист К. М. Станюкович. Департаменту полиции было известно, что еще в 1879 году Станюкович принял участие в сокрытии Леона Мирского, участника покушения на шефа жандармов генерал-адмирала Дрентельна; за ним было установлено наблюдение. Когда в 1884 году Станюкович выехал по личным надобностям за границу, секретные агенты правительства донесли, что он встречался там с политическими эмигрантами и, в частности, с членом ЦК «Народной воли» и редактором «Вестника Народной воли» Л. Тихомировым. В помещении журнала «Дело» был произведен немедленный обыск, взяты редакционные

книги, в результате чего были раскрыты многие псевдонимы, документально установлено сотрудничество в «Деле» не только Л. Тихомирова, но и других эмигрантов: С. Кравчинского, А. Эльсница, И. Добровольского, Л. Мечникова и др. При обыске в записной книжке К. М. Станюковича были обнаружены адреса Кранца (П. Л. Лаврова), Исаака Полоцкого (Павловского), а также письма некоторых эмигрантов. В результате Станюкович был сослан в Сибирь, а полиция всерьез занялась связями журнала «Дело» с революционным подпольем и политической эмиграцией.

Собственно, сотрудничество политических эмигрантов было давней традицией благосветловских журналов. Еще в «Русском слове» начали печататься гарибальдиец и эмигрант Л. Мечников, участник польского восстания эмигрант П. Якоби и др., — и, конечно же, редакция «Русского слова» понимала, сколь не безопасно привлекать к сотрудничеству в подцензурном журнале открытых политических врагов самодержавия. Во всяком случае, сразу же после каракозовского выстрела, в разгар муравьевского разгрома 1866 года, в Женеву, Л. П. Шелгуновой, находившейся там, полетело письмо: «Г. Е. Благосветлов арестован. Событие 4 апреля произвело в России страшную реакцию, Муравьев делает нападение на редакции наших журналов, и в особенности на «Русское слово», поэтому покорнейше просим Вас немедленно известить гг. Якоби, Мечникова и других эмигрантов, чтобы они ничего пока не писали ни в редакцию «Русского слова», ни к Благосветлову, потому что все письма по этому адресу перехватываются и доставляются в III отделение. Сделайте милость, известите их как можно скорее»¹.

Но прошло немного времени, Благосветлов был выпущен на свободу, открыл журнал «Дело», и на страницах его вновь начали появляться статьи не только Л. Мечникова и П. Якоби, но и бежавших из России в эмиграцию П. Лаврова, а также П. Ткачева, активно сотрудничавшего еще в «Русском сло-

ве», затем в благосветловском сборнике «Луч» и в том же «Деле». Редакция не хотела отказываться от таких первоклассных литературных сил и делала все, чтобы превратить сотрудничество Лаврова и Ткачева в постоянное. Следует сказать, что основной круг сотрудников «Дела» состоял из людей неблагодарных в глазах правительства: если Лавров, Ткачев, Мечников, Якоби и многие другие посылали в журнал статьи из эмиграции, то ряд других сотрудников — Шелгунов, Щапов, Берви-Флеровский, Шашков — долгие годы находились в ссылке.

И наконец, очень важный факт, характеризующий позиции «Дела» в конце 70-х — начале 80-х годов, — привлечение к сотрудничеству в журнале активных деятелей революционного подполья, революционеров, близких к «Народной воле». За этим фактом — немаловажная проблема отношения шестидесятников к активному, революционному народничеству 70-х годов. Проблема сложная и пока еще очень мало выясненная. Благосветлов и Шелгунов, руководители журнала «Дело», были людьми, свято хранившими в новых условиях традиции 60-х годов. Это вызывало уважение, но одновременно и некоторое недоверие к «Делу» в молодежной революционной среде, недоверие, определявшееся прежде всего «твердокаменностью», как писал один из современников, с которой «Дело» отстаивало традиции 60-х годов. По-видимому, «Дело» и в первую очередь Благосветлов платили тем же молодому революционному поколению семидесятников. В одном из писем Лаврову незадолго перед смертью Благосветлов писал: «...Все мы смотрим уже в гроб, и если бы были люди получше нас, посвежее и поумнее, то нам следовало бы давно уступить им дорогу. Но их нет. Дряни — сколько угодно, но людей хорошего закала даже не предвидится скоро. Толстой

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, оп. 1, ед. хр. 271, 1866, л. 3.

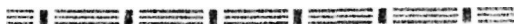
расплодил целый вертоград и на целых два поколения патентованных дураков. Не удивительно, что явились люди, которые требуют дела, а не слова, которые отвернулись от литературы и пошли в народ. Зачем, для чего, с кем — все это не уяснено, не передумано и спутано. Этих бойцов жалко, потому что это даром погибшие силы...»¹.

В этом отзыве Благодетель — сплав уважения, трезвости и все-таки непонимания революционного подвига семидесятников. Воспомним отношение к народникам и народо-вольцам Варфоломея Зайцева (см. публикацию «В. Зайцев в «Общем деле» в первом томе «Прометей»), то восторженное преклонение перед их революционным мужеством, которое сквозит в каждой строке его статьи «Русская революция», и нам будет понятно, насколько разную эволюцию проделали в 70-е годы шестидесятники и соратники по «Русскому слову» Благодетель и Зайцев.

Шелгунов в своем отношении к революционному подполью 70-х годов был, по-видимому, куда ближе к Зайцеву, чем к Благодетелю. Об этом свидетельствуют, к примеру, воспоминания Н. Русанова, активно сотрудничавшего в «Деле», об отношении Шелгунова к событию 1 марта 1881 года, когда народо-вольцы убили Александра II. Русанов был с Шелгуновым в минуты, когда свершилось это событие. «Я до сих пор, — пишет он, — не могу забыть выражения лица Шелгунова. Его глаза смотрели напряженно вдаль, точно старались разглядеть, что делалось за извилиной канала. Тонкий нос, острый подбородок, казалось, впились в пространство. Бледен он был смертельно. Я понимал его: неужели новое неудачное покушение и, может быть, новая ненужная кровь и новые ненужные жертвы?.. В шесть часов вечера я был у Шелгунова, где собралось несколько близких друзей его из литераторов и кое-кто из революционеров. Шелгунов был сдержан, но, очевидно, внутренне доволен, и если не показывал большой радости, то по врожденному чувству такта. Но он был гораздо более

озабочен, чем его друзья, по большей части младшие его по возрасту. Он задавался уже вопросом: «что же дальше, что делать, что предпринять, на что рассчитывать?» Большинство литературной братии отдавалось, напротив, всецело чувству радости и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредатор Николая Васильевича по «Делу» Станюкович особенно врезались мне своим оптимизмом в памяти. Странное дело: революционеры представляли на этом собрании единственно серьезный критический элемент и напирала на то, что, мол, нельзя же только ликовать да ликовать, нужно и поразобрать промеж себя работу для возможного давления на правительство в печати, покамест не ушло время. Николай Васильевич в своем несколько скептическом, но действенном отношении к событиям был согласен скорее с революционерами, чем с записными литераторами, лишь «сочувствовавшими» движению. В эти два месяца Шелгунов употреблял все усилия, чтобы пресса настойчиво заявила о необходимости нового политического режима. И отчасти благодаря его стараниям, которые опирались на подобную же тактику писателей-социалистов и чистых народо-вольцев, составивших тогда радикальную коалицию «Дела», «Слова» и «Отечественных записок», литераторы социалистического и революционного направления временно разобрали между собою в печати роли либерального репертуара. В «Деле», кроме Шелгунова, Станюковича и еще кой-кого из молодых писателей красного оттенка, видное место в выработке плана этой кампании играл Тихомиров, писавший под псевдонимом И. Кольцова, иногда просто И. К., и тогда в публике эти инициалы толковались так: «Исполнительный Комитет»².

Это свидетельство очевидца и современника, человека, близкого и к редакции «Дела»



¹ ЦГАОР, ф. 198, оп. 4, ед. хр. 527, л. 37.

² Н. С. Русанов. Событие 1-го марта и Николай Васильевич Шелгунов. «Былое», 1906, № 3, стр. 41—47.

и к революционным кругам того времени, для нас чрезвычайно важно. Оно важно потому, что помогает нам понять всю сложность отношения Шелгунова к борьбе «Народной воли» — отношения одновременно «несколько скептического» и «действенного», отношения человека, истосковавшегося по революционному действию. Н. Русанов рассказывает далее о том, как подействовало на Шелгунова поражение народовольцев: «...В октябре месяца 1881 года я нашел его страшно похуdivшим, страшно нервным, и его мефистофельская физиономия приняла скорбное выражение. Но в то время, как другие начинали примиряться с входившей во вкус да в аппетит реакцией, Шелгунов все оставался на своем посту верным своим идеалам. Тогда я заметил лишь в нем одну новую черту: он значительно скептически стал смотреть на роль интеллигенции, чем прежде, и будь в это время мало-мальски возможна деятельность среди рабочих или даже среди крестьян, он уделил бы в своем представлении о революционной диктатуре очень почетное место народным массам. Но повторяю, бодрым и верующим он оставался неизменно, и в этом его не успела разочаровать 30-летняя борьба с русским строем»¹.

Вот эта вера в будущее, характерная для революционного демократа-шестидесятника, и в трудных условиях начала 1880-х годов сохранившего в неприкосновенности свои революционные убеждения, свой революционный инстинкт, и заставляла его с открытым сердцем и доверием вглядываться в новое революционное поколение. Это не значит, что Шелгунов полностью сходил с ними во взглядах, но они были близки ему ненавистью к деспотизму, стремлением к революционному пути. И что знаменательно: именно с того момента, когда Шелгунов после смерти Благосветлова возглавил «Дело», на его страницах начали особенно активно выступать деятели «Народной воли». Именно этот факт имеет в виду Русанов, когда пишет в своих воспоминаниях: «Нико-

лай Васильевич, если не ошибаюсь, первым из всего твердокаменного благосветловского «Дела» почувствовал потребность допустить живую струю в этот орган застывшего радикализма 60-х годов»².

С конца 1880 года в «Деле» начинает свое постоянное сотрудничество член ЦК «Народной воли» Л. Тихомиров, опубликовавший за два года под разными псевдонимами (И. Кольцов, И. К. и др.) более десятка статей. В 1882 году в «Деле» начинает сотрудничать герой 70-х годов, убивший генерала Мезенцева, Сергей Кравчинский (псевдоним С. Горский и др.). С 1880 года печатаются эмигрант-народник А. Эльсниц (псевдоним Москвин), а также эмигранты Н. Русанов, П. Аксельрод и др. При Шелгунове в «Деле» была напечатана статья Веры Засулич. Они начинают активное сотрудничество в журнале в самое опасное время — в период разгула реакции, начавшейся после 1 марта 1881 года. И тем не менее Шелгунов не боялся поддерживать систематические связи с этим своеобразным кругом авторов. Участие эмигрантов и революционеров в журнале «Дело» не было секретом для правительства и вызвало даже подозрение, будто бы «Дело» субсидирует средствами «Народную волю». Так ли это — неизвестно. Но известно другое: постоянное сотрудничество политических эмигрантов в «Деле» было серьезным экономическим подспорьем для них.

В записках Л. Тихомирова³ то и дело встречается имя Н. В. Шелгунова как настоящего благодетеля: «Я очень быстро списался с Шелгуновым, который предложил мне жалованье по 100 руб. в месяц с тем, чтобы я покрывал его работой, по 65 руб. за лист, причем писать могу о чем угодно. Он вообще очень высоко ценил мой «талант» и ожидал,



¹ Н. С. Русанов, Событие 1-го марта и Николай Васильевич Шелгунов. «Былое», 1906, № 3, стр. 41—47.

² Н. С. Русанов, На Родине. М., 1931, стр. 213.

³ Л. Тихомиров, Воспоминания. М.—Л., 1927, стр. 146, 141, 82.

что я очень много вопросов «раз разработаю»; и снова: «Деньги явились, однако. Спасибо (покойному) Н. В. Шелгунову. Я попросил у него вперед, под статьи, и он выслал ментально. Он вообще дорожил моим сотрудничеством, да и лично ко мне имел большие симпатии»; и еще о Шелгунове: «Я его хорошо знал. Он меня очень любил, постоянно мною восхищался и даже уверял, что как я войду, так от меня «свет какой-то распространяется».

Знал бы, думал бы Н. В. Шелгунов, что человек, которого с такой щедростью одаривал он вниманием, верой и любовью, из-за которого он получит пять лет очередной ссылки, в ближайшие годы предаст дело революции, откажется от идеалов, перечеркнет не только себя, но и всех людей, с которыми был близок во время «Народной воли»! Но этого в ту пору не знал никто. А, главное, внимание Шелгунова к Тихомирову, его любовь и уважение к нему адресованы не просто личности Тихомирова, а той революционной идее, которая за ним стояла.

Вторая часть воспоминаний, оставшаяся за пределами данной публикации, интересна прежде всего описанием порядков в Доме предварительного заключения, где по отношению к политическим произвол был куда больший, чем к уголовникам. Это «была настоящая нравственная пытка, — пишет Шелгунов, — и пытка преднамеренная, жестокая, ненужная и незаконная, хотя и имела вид законности. Уж если меня, не подходившего ни под какое обвинение, прикрываясь законом, продержали четыре месяца, то что еще могли ожидать те, за кем находили вины?».

Неизвестные главы воспоминаний Шелгунова, посвященные его аресту 1884 года, помогают нам глубже понять сущность позиций этого выдающегося сподвижника Чернышевского и Писарева в пору восьмидесятых годов. Они воссоздают общественную атмосферу той трудной для демократии полосы в развитии страны, которая установилась после разгрома народолюбческого движения.

27 ноября 1884 г.

В среду 27 июня я отправился в редакцию, это был мой последний редакционный день. Кончив занятия, я вместе с Вольфсоном¹ и новым переводчиком, которым он хотел заменить наших прежних заграничных переводчиков, пошли обедать к Палкину. С А. М. Скабичевским² я переговорил окончательно накануне, и теперь мне хотелось кончить с Вольфсоном. Я говорил ему уже также, что считаю себя лишним в редакции, и теперь повторил ему еще раз то же самое. «Может быть, вы гнушаетесь работать со мной?» — сказал мне Вольфсон. Это «гнушание» было не совсем точным, да, пожалуй, и не совсем уместным выражением; особенно оно было неуместно в устах Вольфсона, принадлежащего к числу честолубивых и тщеславных евреев, которые не

¹ Вольфсон Владимир Дмитриевич (1852—?) — переводчик и беллетрист, издатель «Дела» в последний год его существования, которому К. М. Станюкович в связи с арестом передал право издания на журнал.

² Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — критик народнического направления, сотрудник «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

любят замешиваться в толпе и протираются вперед на локтях. Я заметил, что гнушаться им не гнушаюсь, но при новых условиях в редакции мне будет не совсем удобно быть, и что я измучен и хотел бы отдохнуть, и, оставляя редакцию, желал бы, однако, сохранить за собою ведение «Домашней хроники». Так и порешили, что я оставляю редакцию, Скабичевский вступает в нее, и «Домашняя хроника» остается за мной.

Разговор наш вертелся, конечно, на «Деле». Было ясно, что над ним носится что-то злое; но в чем оно заключается, никто не знал. Толстого¹ в Петербурге не было, Феокистова² тоже. Адикаевский³ по обыкновению двуличничал, но вел свою линию, т. е. действовал так, чтобы угодить начальству. В прошении, которое подал Вольфсон, Адикаевский заставил его написать, что редакция «Дела» будет изменена, эмигранты участвовать не будут и направление журнала будет совершенно изменено. Я, к сожалению, забыл подробности этого любопытного документа, копию с которого Вольфсон носил в своем бумажнике, но и сам Вольфсон стыдился своего предательства и смотрел на свою подписку, как на военную хитрость. Ему очень хотелось сделаться хозяином толстого журнала, и для этого он соглашался на всевозможные подписки с тем, чтобы потом их не исполнить. Вольфсону, вероятно, казалось, что он поступает, как Галилей. Но в главном управлении в нем видели «жида», а по «народной политике» журнал должен был принадлежать русскому. Для журнала беда заключалась не в том, что Вольфсон «жид», а в том, что, не говоря уже о Благосветлове⁴, но и в сравнении с Станюковичем⁵ — Вольфсон был просто нравственный и умствен-

ный карапузик. С первого появления Вольфсона в редакции было ясно, что журналом он управлять не может: у него не было ни политического, ни литературного воспитания и ни на волос художественного чутья. При этом Вольфсон был самонадеян, заносчив и принимал тон начальника; Федору (наш рассыльный) Вольфсон кивал головой, как генерал, а секретарю кланялся приветливо и бойко-дружески, но не подавал руки. Все это было очень глупо и совсем не в обычае.

Вернулся я домой из Петербурга измученный, как это и всегда бывало со мной в редакционные дни, и посещение Скабичевского отложил до завтра, но «завтра» оказалось уже не моим. В третьем часу ночи меня разбудил резкий, бесцеремонный стук. Я сразу понял, что это значит, и, пока отворяли жандармам дверь, я наскоро умылся, причесался и начал одеваться. Посетителей оказалась целая толпа: жандармский офицер и с ним два жандарма, прокурор, исправник, сотский или старшина и еще два крестьянина.

¹ Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, один из крупнейших царских сановников, известный реакционностью и мракобесием. В 1866—1880 годах — министр народного просвещения; в 1882—1889 годах — министр внутренних дел и шеф жандармов.

² Феокистов Евгений Михайлович (1828—1898) — историк и публицист, в ту пору начальник Главного управления по делам печати.

³ Адикаевский — чиновник цензурного ведомства.

⁴ Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — общественный и журнальный деятель 60—70-х годов, возглавлявший демократические журналы «Русское слово» и «Дело».

⁵ Станюкович Константин Михайлович (1844—1903) — известный балетрист, активный сотрудник «Дела», который в начале 1882 года входит вместо П. В. Быкова в состав редакции и до июля 1882 года подписывает журнал «за редактора». В 1884 году приобретает журнал в собственность.

Обыск не был особенно строгий, но все писаное осматривали внимательно.

Производил обыск собственно жандармский офицер, исправник сидел на диване и курил; прокурор для облегчения жандарма просматривал без особенного усердия рукописи. Я старался по возможности освобождать мои письма и бумаги из жандармских и прокурорских тисков и всякий раз предупреждал, какую рукопись они берут. После одной, взятой прокуром, я говорю ему: «Это записки Нечаева, гласного Новгородского губернского Земского собрания».

— А вы знакомы с Нечаевым?

— Приятели, — отвечаю я.

Приятельство с Нечаевым сейчас же изменило душевный климат сурового прокурора. Мы сели и стали беседовать о новгородских знакомых. Даже касались общественных вопросов, а обыск производил один жандарм. Впрочем, я старался по возможности облегчить его тяжелую миссию; ему приходилось осматривать три шкапа с книгами, и, когда он садился на корточки, я подставлял ему стул. Жандарм просил меня не беспокоиться, но все-таки садился.

По окончании осмотра офицер просил меня отправиться с ним в жандармское управление. Это был уже арест, но пока замаскированный, и я знал, что домой уже не вернусь. В жандармском управлении нас уже ждали, и меня пригласили сейчас же в комнату следователя. «Подполковник Жолкевич», — отрекомендовался мне жандарм-следователь, протянул руку и просил садиться. Все это делалось очень вежливо и даже приторно. Не успели мы сесть, как вошло новое лицо и тоже отрекомендовалось: «Прокурор окружного суда Богдано-

вич». Опять рукопожатие, и начался допрос.

— Какие у вас были в 1882 году сношения в Киеве? — спрашивает Богданович.

— Никаких сношений в Киеве у меня не было, — ответил я.

— Господин Шелгунов, потрудитесь говорить правду, — сказал Богданович, возвысив голос.

— Да я вам и говорю правду.

— Это ваша телеграмма?

— Позвольте.

Богданович передал мне телеграмму. Это была моя телеграмма из Киева Станюковичу, чтобы он выслал сейчас же 200 р. к Кольцову¹ в Ростовна-Дону, адресуя на имя Михайлова.

— Телеграмма эта моя.

— Почему вы ее послали?

— Я получил от Кольцова письмо, в котором он просил выслать ему скорее 200 руб., и так как деньги высылают контора, то я и телеграфировал в Петербург к Станюковичу.

— Отчего же вы не писали письмом, а послали телеграмму и так спешно, — ехидно улыбаясь, вставляет вопрос Жолкевич, — вы в одном письме к Станюковичу жалуетесь, что у вас нет денег — и тратите 3 р. на телеграмму.

— Очень просто, потому что Кольцов просил прислать деньги скорее; что касается трех рублей, то это вовсе не такие большие деньги, чтобы не послать телеграммы.

— Кольцов был в Киеве? — спрашивает Богданович.

— Нет, в Киеве его не было.

1 Кольцов — один из литературных псевдонимов члена Исполнительного комитета «Народной воли», а впоследствии ренегата Льва Александровича Тихомирова (ок. 1850—1922). Под псевдонимами И. Кольцов, И. К., И. Х., К. М. Григорьев и др. он систематически печатался в «Деле».

— Как же вы узнали, что ему нужны были деньги, и почему вы были в Киеве?

— В Киев я попал случайно. Я поехал отдохнуть и лечиться в Крым, но в Киеве мне очень хвалили местность Баярки, где можно пить кумыс, и я остался в Киеве. Уезжая из Петербурга, я просил секретаря высылать ко мне все письма, которые будут приходить на мое имя, и письмо Кольцова (точно я не помню) было выслано ко мне в Киев.

— Где и как познакомились вы с Кольцовым?

Я ответил.

— Знали ли вы, что это Тихомиров?

— Сначала не знал, а потом узнал.

— Напишите все это.

Мне дали лист бумаги в заголовке которого было напечатано, что при прокуроре следователем-подполковником Жолкевичем производился допрос «обвиняемому» Николаю Шелгунову. Когда я кончил показание, мне дали еще лист, на котором уже заранее было написано, что я обвиняюсь по 250-й статье Уложения о наказаниях и по распоряжению прокурора подвергаюсь заключению под стражу. Все это было данью «легальности», хоть в то же время и жандармы и прокуроры очень хорошо знали, что они только играют законом. Когда мне предъявили обвинение по 250-й ст. и я под ним подписался (законность), я попросил Жолкевича показать мне 250-ю ст. Вероятно, к нему обращаются часто с подобными просьбами, потому что уложение оказалось на полке на виду, и он сейчас же открыл статью. Статья говорила о сообществе с целью ниспровержения в более или менее отдаленном будущем существующего порядка и назначения наказания: максимум 8 лет каторжных

работ и минимум 1 год и 4 месяца крепостного заключения. Жолкевич и сам видел, что по отношению ко мне все это «слишком», и сказал, что максимум едва ли будет ко мне применен. Но я вовсе не желал и минимума и думал, что и его нельзя применить ко мне, хотя при нашей «легальности» все могло случиться.

Когда Богданович начал допрос, я больше думал о том, почему он предлагает подобные вопросы. Было ясно, что он приступил ко мне с готовым мнением. Я поехал в Киев, чтобы видиться с Тихомировым, и, конечно, с разрушительными целями (сношение!); чтобы привести их в исполнение, нужны деньги, и я телеграфирую в Петербург. Затем Тихомиров едет в Ростов-на-Дону и, получив деньги, бежит за границу (конечно, тоже с разрушительными целями). Но так как ничего подобного в действительности не было, то все составленные заранее Богдановичем умозаключения оказались вздорными.

При допросе мне пришлось не раз убедиться в крайней умственной ограниченности жандармов и прокуроров. Они, конечно, могут быть и умными людьми в чем-нибудь другом, но, как следователям, им просто недостает школы. К каждому обвиняемому они приступают с готовым мнением, и, если это мнение не подкрепляется, они подозревают обвиняемого в заипра-тельстве и тогда пускают в ход угрозы и даже пытку. Я не преувеличиваю. Кривенко¹, ответы которого им не нравились, они перевели из предварительного заключения в крепость, где



¹ Кривенко Сергей Николаевич (1847—1906) — публицист народнического направления, активный сотрудник «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

и казематы хуже и кормят из котла, так что человек или болеет, или впадает в истощение сил. Ваничку (фамилию не помню, это был четвертый метальщик) обессилило до того крепостное заключение, что его перевели в лазарет предварительного заключения, где его поправляли 5 месяцев, чтобы он мог отправиться в путь (на 20 лет в каторгу). Это мне рассказывал фельдшер дома предварительного заключения. Капитан Иванов, сменивший Судейкина¹, до того бесится при допросах, если отвечают не то, что ему хочется, что при допросе, кажется, того же Кривенко рванул себя от нетерпения за борт сюртука с такою силою, что разорвал часовую цепочку. Это уже просто неприлично во всяких отношениях. По нашему делу были приглашены для допроса (как свидетели) Павленков² и Благосветлова³; Павленкова вызывали по поводу каких-то статей Кольцова (Тихомирова), а Благосветлову, чтобы получить от <нее> конторские книги за 1881 год (мое редакторство). Но когда Павленков и Благосветлова обнаружили некоторую несговорчивость, то Богданович так на них раскричался, что Благосветлова заплакала. Если так обращаются с свидетелями, то уж, конечно, с обвиняемыми церемонятся еще меньше. Со мной, впрочем, обращались с очень изысканной вежливостью, которой вообще отличаются жандармы старого типа. Говорят, по инструкции, составленной еще при Бенкендорфе⁴, жандармы должны по кротости уподобляться первым христианам. Жандарм должен сносить безответно не только брань и ругательство, но даже и побои. Жандармы нового типа этой инструкции, должно быть, не знают, по крайней мере капитан Иванов, составивший себе репутацию зверя.

Зато Жолкевич был безукоризнен, мало того, что при допросах он потчевал меня чаем и всегда спрашивал меня, каких я желаю булок, но раз, обещая продержать меня дольше обыкновенного, послал даже в трактир за обедом. Когда в начале знакомства я отказывался от чая, Жолкевич мне говорил несколько раз: «Ведь это чай мой».

Прошло ровно 20 лет, как явились «судебные уставы»⁵, а с ними прокуроры и следователи, а между тем нет людей, которые умели бы вести следствие. Если так плохи следователи по политическим делам, для которых, конечно, назначают лучших людей, то что же нужно ожидать от обыкновенных следователей. Мне пришлось иметь дело с тремя следователями: Богдановичем, Жолкевичем и прокурором судебной палаты Котляревским. Богданович был следователь грубый, и допросы его были топорные. Он бросает прямо в лицо обвинение, вроде во-



¹ Судейкин Григорий Порфирович — инспектор секретной полиции, организатор провокации в 80-х годах, которая привела к аресту ряда руководящих деятелей «Народной воли». Убит 16 декабря 1883 года революционерами.

² Павленков Флорентий Федорович (1839—1900) — демократический издатель второй половины XIX века.

³ В оригинале — Благосветлов, что является, по-видимому, ошибкой переписчика; речь идет о жене Благосветлова, после его смерти управлявшей какой-то срок делами журнала на правах собственности.

⁴ Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — первый начальник III отделения собственной его величества канцелярии и Шеф корпуса жандармов, всесильный временщик во время царствования Николая I.

⁵ «Судебные уставы», провозгласившие «суд скорый, правый и милостивый», были введены в результате судебной реформы 1864 года. Однако предусматриваемые «судебными уставами» полная гласность суда, уничтожение формальных доказательств, отделение судебной власти от административной и др. прогрессивные меры на практике были ограничены многочисленными правительственными распоряжениями.

проса, который я уже приводил: «какие у вас были сношения?» — и если не получает утвердительного ответа, то пускает в ход насилие. Жолкевич — постоянно вежливый и не изменяющий себе, винтит душу, как инквизитор, точно запускает в вас пробочник. Вопросы его всегда были мелочные и крайне назойливые. Как привяжется к одному, так же не отстанет, пока не измучит ни себя, ни меня. Так он допытывался, как я познакомился с Кольцовым, какие у нас были отношения. Отношений не было никаких (в том смысле, как думал Жолкевич), а познакомились очень просто: пришел Кольцов ко мне и только — о чем тут писать. Но Жолкевичу желательно было получить нечто систематическое, вроде «истории государства Российского», и на нескольких допросах он приставал ко мне, чтобы я изложил подробно, как познакомился с Кольцовым и какие были у нас отношения, но так я этого и не написал. В другой раз он пристал ко мне с петербургским адресом Кольцова.

— Я не знал его адреса.

— Быть не может, чтобы вы не знали.

— Нет, не знал, да и знать было незачем.

— Ну полно, может ли быть, чтобы в редакции не знали адрес сотрудника? Я очень хорошо знаю редакционные порядки (ничего он в них не знает); бывает, нужно поговорить, изменить что-нибудь в статье, послать книжку, отправить журнал; адрес должен быть известен.

— И мы все-таки не знали его адреса; да и сношений у нас не было таких, чтобы нужно было знать адрес; статьи он приносил сам, книжки журнала и деньги получал в конторе. Наконец, он жил в Петербурге только

наездом. Если есть его адрес, то он должен быть в редакционной книге адресов. (Я очень хорошо знал, что адреса Кольцова нет в книге, и это также хорошо знал и Жолкевич.)

— Не поверю, чтобы вам не был известен его адрес, — опять винтит Жолкевич. — Если бы вы сказали его, это очень ускорило бы окончание вашего дела, а теперь я все-таки его узнаю, но только вы заставите меня обратиться к подвальной аристократии, а мне бы не хотелось в литературном деле, где только показания литераторов и образованных людей, примешивать показания мужиков.

— Что это за подвальная аристократия?

— Старшие дворники.

Но увы! Я все-таки не мог удовлетворить желание Жолкевича, потому что действительно никогда не знал адреса Кольцова.

У Жолкевича был странный ум, пригодный для мелкой подробной работы, но совсем не способный различать важное от неважного, существенное от несущественного; это свойство ума Жолкевича, вероятно, знал хорошо и Котляревский, потому что поручал ему или предварительные, подготовительные допросы, или последующую подчистку и пополнение пропусков, а главные допросы брал на себя.

Порядок допроса был обыкновенно таков. Вхожу к Жолкевичу, и на моем месте уже лежит допросный лист с заголовком, что «допрос обвиняемому Ник. Вас. Шелгунову производил следователь подполковник Жолкевич (он очень гордился тем, что следователь), при товарище прокурора Судебной Палаты Котляревском». Начинает мелочи или в разъяснение предыдущих показаний, или новые. Затем в середи-

не допроса входил Котляревский и давал мне генеральное сражение.

Котляревский не был мучителем, но в нем зато был сильный охотничий инстинкт; если Богданович бил обухом по голове, Жолкевич пытал и тянул жилы, то Котляревский травил. Хохол с мягкими вкрадчивыми манерами, образованный, начитанный, а главное, умный, Котляревский не придавал значения мелочам и бил в точку. Он тоже приступал к допросу предвзято, но, как мастер своего дела и генерал от прокуратуры, мерил не вершками, подобно Жолкевичу, а большими саженьями. Он нюхом понял, что ни в какой «политике» или сношениях обвинять меня нельзя, и ненужных вопросов этого рода мне не делал. Центр тяжести обвинения он видел (и это было правильно) в моем сношении с нелегальным человеком и все свои допросы сосредоточил на получении от меня показаний, когда я познакомился с Кольцовым, знал ли я, что он Тихомиров и скрывается под вымышленными именами от преследования правительства. Это и был единственный пункт, за который я мог быть подвергнут ответственности (конечно, только по соображениям администрации, а не по суду и по закону).

На главном допросе, когда должен был выясниться этот главный пункт, Котляревский прибегнул к своему обычному приему — логической травле. Между прочими поличными было арестовано у Станюковича мое письмо к нему, отправленное мною в дополнение к телеграмме: Письмо начиналось так: «Михайлов просит...» и т. д. Мне помнилось, что Кольцов в письме ко мне о деньгах подписался «Михайлов», в то же время он просит выслать деньги на имя Михайлова. Вот на это-то Михайлове и вертелись все комби-

нации допроса. «Получив письмо с подписью Михайлова, вы, конечно, не могли не обратить на нее внимания, зная же ранее, что Тихомиров называется то Кар...¹, то Кольцовым, вы не могли не видеть в этом желание скрыть свое имя». «Следовательно, не могли не догадываться, что должны же быть для этого причины», «а если есть причины и человек является к вам под разными фамилиями, то самая перемена фамилии уже обнаруживает его нелегальность», «поэтому вы не могли не подумать, что Кольцов человек нелегальный, и уже, конечно, его знали», «если же вы знали, что Кольцов человек нелегальный, вам не могла не быть известна его фамилия», «зная же, что это Тихомиров, вы, конечно, знали, в чем его вина перед правительством». Вот в каком сорте были вопросы Котляревского, которыми он прижимал и в действительности прижал к стене. Уверять, что я не знал о нелегальности Кольцова, было бы глупо. Но Котляревского не удовлетворяло это. Он хотел еще определить, когда я узнал об этом. Мне же этот вопрос казался праздным. Котляревский, однако, знал, что он знает. Кольцов считался членом Исполнительного Комитета, соучастником (совещательным) в убийстве императора Александра. Сношения с таким лицом, даже литературные, имели уже совсем иной оттенок, и вот почему Котляревский добивался определенно, когда именно я узнал, что Кольцов есть Тихомиров.

Я вдавался в подробности допросов только для того, чтобы показать, каким следователям поручается расследование политических дел и как жал-



¹ Кар... — по-видимому, Каратаев, один из псевдонимов Л. Д. Тихомирова.

ко, неумно они его производят; никто из них не производит исследования беспристрастного, не предвзятого, как производит, например, исследование натуралист; вместо исследования прямо приступают с обвинением и добиваются сознания. И Котляревский травил меня, чтобы вырвать сознание. И вот что из этого вышло. Навели справки в Ростове-на-Дону о Михайлове, и такой нашелся, но уже не в Ростове-на-Дону, а в Харькове. Приволокли беднягу в Петербург, посадили в предварительное, подвергли допросу, и, конечно, ничего не оказалось. Этот Михайлов — маленький человечек, служивший в Харькове на железной дороге. (Кольцов, вероятно, только нанимал у него квартиру.) Вслед за Михайловым приехала в Петербург и его жена просить, чтобы выпустили ее мужа на поруки.

— Внесите 500 р., мы его выпустим, — говорит ей Котляревский.

— Пятьсот рублей! Да я здесь отрезала и продала косу, чтобы что-нибудь есть, а вы спрашиваете 500 р., — отвечала она, показывая свои стриженные волосы.

Продержали Михайлова неделю и выпустили без залога.

На следующем допросе Котляревский и Жолкевич бранили мне Кольцова, который так «бессовестно» подвел Михайлова; точно Кольцов подвел его, а не глупая жандармская система, по которой, не разобрав сначала ничего, тащат всякого и сажают в тюрьму.

Такого переполнения предварительного политическими не бывало еще никогда. Два этажа в мужском отделении (около 100 камер) заняты постоянно; не успеет утром очиститься камера, а к вечеру уж занята. Кроме предварительного, наполнена крепость. Это в Петербурге. В Киеве,

в Одессе, в Москве, в Варшаве свои аресты, свои суды. Говорят, что в нынешнюю осень выслано из Петербурга больше 600 человек «неблагонадежных». Это делается по простому, ничем не мотивированному подозрению или по доносу шпиона. Жандарм-офицер, который возил меня к допросу, рассказывал мне, что ему было очень жаль одну девушку, которую арестовали без всякой причины, но на другой же день и выпустили. Попав в омут допросов и в предварительное, я чувствовал, что в этом омуте возможно всякое насилие, всякая несправедливость, и бесполезно искать какой-либо правды. Сами прокуроры и жандармы не больше как такие же жертвы системы, которой они служат. Кто раз попал в это колесо — будет вертеться в нем как белка без конца. Раз я говорю Котляревскому:

— Как же вы обвиняете меня по 250-й статье, разве я к ней подлежу?

— Да нет другой, — отвечает мне Котляревский.

И у человека при этом ответе не шевельнулось никакое чувство, не явилась никакая мысль. По системе я должен быть арестован, а уж закон подбирается потом, какой подойдет. Так со мной поступили и в первый раз, когда военный суд приговорил к лишению мундира, пенсии и ссылке, применяясь к 32-й ст. Положения о дисциплинарных взысканиях. В Вологде, когда я служил в ней, судили рядового Степанова, будто бы ударившего офицера в кабачке. Ударил не Степанов, а другой. Адъютант полка, рассказывавший мне этот случай, возмущался несправедливостью обвинения, но в качестве члена суда все-таки подписался под смертным приговором невинному. Вот что делает

эта несчастная правительственная система с людьми, которые могли бы быть порядочными и честными. Котляревский, Богданович, Жолкевич и другие прокуроры, которых я видел в предварительном и жандармском управлении, в обыкновенных отношениях, несомненно, порядочные люди. Но чтобы существовать, люди эти идут на службу правительству и превращаются в бездушное оружие правительственного произвола, против которого они и сами протестуют.

На одном из допросов Котляревский говорит мне, что не считает запрещение «Отечественных записок»¹ правильным; «можно преследовать людей, подвергать взысканию их, а не печатный орган». (Вероятно, он хотел сказать, что с «Делом» они поступили справедливо, потому что, не запрещая журнала, посадили в тюрьму почти всю его редакцию.) Я ответил ему, что всякий журнал составляют лица, и преследуя лица — преследуют журнал. При этом же разговоре я заметил Котляревскому, что преследование «Дела» начал Плеве (директор Департамента полиции) и что он отлично знал, что с арестом Станюковича и меня и с удалением Острогорского² «Дело» остановится. На это Котляревский мне ответил: «Поверьте, что ни Плеве, ни я не можем в этом деле ничего ни изменить, ни сделать — оно началось не от нас» (следовало понять, что от гр. Толстого). Но несомненно и то, что и Плеве и Котляревский отлично знали, что стоит только сделать жандармский обыск, чтобы найти какой-нибудь обвинительный лоскуток, а за тем подвести обвинение под 250-ю ст. (потому, что другой нет) и посадить человека в тюрьму. Даже срок за-

ключения предпринимается административным произволом. По крайней мере так было со мной.

После первого допроса, когда Богданович дал мне подписать постановление о заключении меня под стражу, я спросил его, не могу ли быть освобожден под залог или на поруки. Богданович сказал, что ранее месяца это едва ли определится. «А какой потребуется залог?» — спросил я. «Тысячи две». Когда через месяц я спросил о том же у Котляревского, он мне ответил, что я не могу быть выпущен до окончания дела, и дружески советовал не просить об освобождении, потому что заключение будет зачтено мне в наказание (наказание за несуществующую вину!).

— у, а долго ли может протянуться вся эта история? — спрашиваю я.

— а месяца четыре. Уж лучше посидите это время, и тогда вы будете вполне свободны, — ответил Котляревский.

Это же самое Котляревский повторил потом несколько раз, несмотря на то, что допросы с меня были уже кончены.

Я был заключен 28 июня, последний допрос был 13 июля, и выпущен я был 25 октября, т. е. просидел почти 3½ месяца лишних исключительно по «административным соображениям». Как мне показалось, соображе-



¹ **Отечественные записки** были запрещены правительством в 1884 году в связи с тем, что, как говорилось в «правительственном сообщении», в редакции этого журнала «группировались лица, состоящие в близкой связи с революционной организацией», то есть «Народной волей».

² **Острогорский Виктор Петрович (1840—1902)** — педагог и писатель; в июле 1883 года был утвержден редактором «Дела»; в июне 1884 года сложил с себя эти полномочия.

ния эти принадлежали Котляревскому и Дурново (директор Д-та полиции). Уже в начале следствия выяснилось, что по 250-й ст. меня обвинять нельзя, а следовательно, и нельзя держать в заключении. Если Богданович распорядился моим арестом, то, казалось, он же мог распорядиться и моим освобождением. Но ведь это был бы произвол. Поэтому делу было дано «законное движение», и оно поступило к прокурору судебной палаты. Но и прокурор судебной палаты знал, что я не должен быть в заключении, и знал он это из записки, которую я ему подал и в которой именно объяснял, что не подхожу под 250-ю ст., знал он об этом и от Котляревского, но он знал также, что мне решено за честь заключение в наказание и что заключение это должно быть не меньше 4-х месяцев. И вот ровно 25 октября меня освобождают «на законном основании» по распоряжению прокурора судебной палаты. Чистое шулерство! И нет выхода из него, и негде искать правды и закона. В политических делах администрация или тот же Департамент полиции и г. министр внутренних дел решают все так, как вздумается, даже прокурор судебной палаты не больше, как чиновник. И это ровно через 20 лет после судебной реформы и нового суда — «скорого, милостивого и равного для всех». Скоро же мы преуспеваем. Я помню николаевское время с его произволом; но в том произволе, право, было больше «законности» и было кому на него жаловаться. Теперь же и жаловаться некому. Вас обвиняют в навязываемой вам вине (на основании административных соображений), по тем же соображениям заключают в тюрьму, но приводят при этом неподходящую статью зако-

на, опять по тем же соображениям выдерживают в тюрьме решенный заранее срок и, когда он кончается, выпускают из тюрьмы по распоряжению прокурора (по закону). Если бы я вздумал выяснять всю эту безалаберность административного произвола, маскирующегося законом, и обратился с прошением к министру юстиции, единственный результат этого мог бы быть тот, что министр внутренних дел послал бы меня в какой-нибудь Сольвычегодск или Яранск.

Дело, по которому я сидел под арестом, называлось «литературным», и таким же оно называлось в доме предварительного заключения. Это было единственное дело с тех пор, как существовала в России литература. Начали это дело Толстой и Плева, которые всю смуту и даже 1-ое марта приписывали журналистике и журналистам. «Дело» никогда не пользовалось у них хорошей репутацией, но в настоящем случае им казалось, что они откроют кое-какие нити, в особенности в сношениях с Тихомировым и Штейном¹. <Кравчинский>² известен им как убийца Мезенцева и переводил у нас под фамилией Штейна, Белидинского и Горского. Жолкевич на двух или трех допросах приставал ко мне с особенной назойливостью относительно Штейна — того, что я не мог не знать, кто скрывается под этим псевдонимом. Я давал уклончивые ответы, которыми, конечно, Жолкевича

1 Штейн — один из литературных псевдонимов народовольца, а впоследствии писателя Сергея Михайловича Кравчинского (Степняка) (1851—1895). Под псевдонимами Штейн, С. Горский он печатался в «Деле», опубликовав, в частности, биографический очерк «Джузеппе Гарибальди» (1882 г., № 9), перевод романа Р. Джованьоли «Спартак» (№ 1—8 за 1881 г., № 8, 10—12 за 1883 г.) и др.

2 В оригинале фамилия Кравчинского опущена.

не удовлетворил. Но иначе не могло быть. Жолкевич искал все «политику» и «сношения», а я не признавал с сотрудниками никаких других сношений, кроме журнальных. Жолкевича, разумеется, я переубедить не мог, но мне было важно поставить на верную точку зрения тех, кто будет рассматривать наше дело; и 13 октября, когда следствие поступило к прокурору судебной палаты, я отправил к нему записку, из которой, как мне казалось, и прокурор и комиссия могли понять, что не редакция «Дела», а правительственная администрация виновата во всей этой каше и в тех неприятных последствиях, которые обрушились на журнал и его редакторов. Вот эта записка.

«Ровно 25 лет, что я участвую в «Русском слове» и «Деле», и за все это время я не припомню, чтобы в этих журналах когда-либо не работали заграничные сотрудники — русские и иностранцы.

Перед самой смертью Благосветлова (в ноябре 1880 г.), когда вступили в «Дело» Русанов¹ и Кольцов, и затем Онгирский², Протопопов³, Анненский⁴, Абрамов⁵, Лесевич⁶ и др., прежний традиционный порядок пошатнулся, и одним фактом вступления новых лиц участие заграничных сотрудников очень уменьшилось. Если бы нынешней весной «Дело» не постигла катастрофа — оно, в силу естественных причин, пришло бы в нормальное положение, на путь к которому становилось.

Политического значения своим заграничным сотрудникам «Дело» никогда и никакого не придавало. Они ценились за большую талантливость, за большое знание и за лучшее образование. И в отношении правительства к сотрудникам из эмигрантов, если не было прямой поддержки, то не было и прямого запрещения. Граф П. А. Шу-

валов⁷ по поводу сотрудничества в «Деле» П. Л. Лаврова⁸ выразился так: «Пусть он лучше пишет в здешнем подцензурном издании, чем будет писать глупости за границей» (это мне говорил Благосветлов).

Цензура относилась с такою же терпимостью к статьям эмигрантов, зная их псевдонимы. Закон не говорил ничего. Таким образом, участие эмигрантов в русской печати всегда существовало без точного юридического его установления.

Нужен был случай, чтобы вопрос этот встал на очередь, и этот случай выпал на долю теперешней редакции «Дела», которая при тех условиях, в которых она находилась, не имела никакой возможности изменить порядок, существовавший более 20 лет. Он



¹ **Русанов Николай Сергеевич (1859—?)** — публицист, начал сотрудничать в «Деле» еще при жизни Благосветлова, которому его рекомендовал Шелгунов. Впоследствии эмигрант.

² **Онгирский Б. П.** — публицист либерально-народнического направления, сотрудник «Дела».

³ **Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915)** — критик и публицист народнического направления. Поместил в «Деле» в 1882—1883 годах ряд критических очерков.

⁴ **Анненский Николай Федорович (1843—1912)** — статистик и публицист, общественный деятель, печатался в «Деле» в 1882—1884 годах.

⁵ **Абрамов Яков Васильевич (1858—1906)** — публицист, исследователь народной жизни, пропагандировавший в «Неделе» теорию «малых дел». В «Деле» печатался в 1882—1884 годах.

⁶ **Лесевич Владимир Викторович (1837—1905)** — философ-позитивист и публицист, сотрудник «Отечественных записок» и «Дела».

⁷ **Шувалов Петр Андреевич (1827—1889)** — граф; с 1866 по 1874 год был шефом жандармов.

⁸ **Лавров Петр Лаврович (1823—1900)** — известный социолог и публицист, один из идеологов народничества. В эмиграции издавал журнал «Вперед», активно сотрудничал в журнале «Дело» почти на всем протяжении его существования.

установился временем и мог измениться только временем.

Но допуская, что вопрос об участии политических эмигрантов есть вопрос редакционного такта, я при всем моем желании не мог миновать нареканий и ответственности. Только при допросах для меня, напротив, выяснялось, что Москвин (барон Эльсниц)¹ есть эмигрант важный, а Драгоманов² — не важный, тогда как я именно и считал Драгоманова за серьезного эмигранта, а Москвина эмигрантом почти не считал. Цензура, существующая для печати, давала хотя приблизительные указания, о чем можно и о чем нельзя писать, но цензура, существующая на имена и авторов, никаких указаний редакция не делала. Если бы редакция знала, какие авторы запрещены, уж, конечно, статьи их в печати бы не являлись.

Насколько участие эмигрантов не составляло тайн, приведу следующий факт. Ткачев³, много лет работавший в «Деле», сделавшись эмигрантом, остался для наборщиков тем же Ткачевым, под каким бы псевдонимом он ни писал. Каждый мальчик в типографии знал его руку и знал бы иначе, как «ткачевскую», до того все это было открыто, всем известно, допустимо и терпимо. При такой практике отношений является, естественно, известная безразличность к именам, псевдонимам и местам, откуда приходят статьи. В последнее время, кроме усиленного поступления заграничных статей, стали приходиться статьи из Сибири и отдаленных губерний (конечно, от политических ссыльных, которых явилось слишком много).

Относительно Кольцова, мне думается, я мог бы еще с большим правом повторить ту же мысль. Кольцов является в «Деле» неизвестным чело-

веком и неизвестным сотрудником. Только почти через два года и совершенно неожиданно для редакции он является эмигрантом; но нецензурность его имени и сотрудничества устанавливается далеко не сейчас. Появляются какие-то смутные слухи частью о Кольцове (на этот раз как о Тихомирове), частью о предстоящих обысках и арестах литераторов (это было осенью, в октябре или ноябре прошлого 1883 года) — и только с закрытием «Отечественных записок», с напечатанием «Правительственного сообщения» в «Правительственном вестнике» явилось официальное указание — и то слишком общее, — какого рода сотрудники в печать не должны быть допускаемы.

При установившейся журнальной традиции и при терпимости, какая существовала по отношению к сотрудничеству эмигрантов, я — журналист старой традиции — не придавал заграничному сотрудничеству решительно никакого угрожающего значения. Я, например, настолько мало интересовался псевдонимами, что фамилию Москвина (барон Эльсниц), работающего в «Деле» чуть не десять лет, узнал только в прошедшем году. И это вполне естественно. У редакции журнала не может быть другой точки зрения на сотрудников, кроме журнальной. По-

¹ Москвин — псевдоним видного бакуниста Александра Леонтьевича Эльсница (1849—1907), привлекавшегося по нечаевскому делу и эмигрировавшего за границу. Опубликовал в «Деле» ряд статей.

² Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — украинский историк и публицист. В середине 70-х годов уехал в эмиграцию. Сотрудничал в «Деле».

³ Ткачев Петр Никитич (1844—1885) — русский революционер, один из идеологов народничества, критик и публицист. Активно сотрудничал в «Русском слове» и, будучи эмигрантом, в «Деле». В Женеве издавал журнал «Набат».

этому и редакция «Дела», в том числе и я, не могла не относиться к печатанию статей отсутствующих сотрудников и эмигрантов (Кольцова тоже) с тем спокойствием, которое создается уверенностью, что редакция не нарушает ни одной из своих обязанностей.

В интересах истины я не могу не обособить деятельности новой редакции, вступившей в управление журналом с 1881 года, от деятельности редакции предыдущей. При новой «Дело» вступало в момент перелома, вызванного поворотом идей и новой внутренней политикой. И в этот-то момент, когда журнал выяснял себе свои задачи и жил исключительно журнальными целями, на меня обрушивается обвинение по 250-й статье Уложения о наказаниях с заключением под стражу, на основании фактов, хотя и представлявших некоторую политическую очевидность, но внутреннее значение которых было совсем иное».

По освобождении меня повторилась еще раз комедия, если не произвола, то многовластия. Лицам, справлявшимся обо мне у прокурора судебной палаты, прокурор сказал, что сделает распоряжение о моем освобождении и что меня «выпустят на все четыре стороны». Я ждал этих четырех сторон так нетерпеливо, что даже потерял аппетит. Прошло, однако, больше двух недель, а о четырех сторонах ни слуху ни духу, да и узнать не у кого. Наконец 25 октября в 9 ч. утра щелкнул замок моей двери и старший объявляет мне: «Извольте собирать вещи, вы освобождаетесь». Вижу, на главном посту ждет меня поручик Легат, и на этот раз один, без жандармов. Карету нагрузили моими вещами и отправили в жандармское управление. Жолкевич

принял меня не в том кабинете, в котором производил допрос, и с большими удобствами. Рядом с его письменным столом стоял стол секретаря. Когда я вошел, Жолкевич писал что-то. Я стал против него и закурил папиросу. (Пишу об этом, чтобы показать либерализм жандармских нравов.)

— Вы едете в Смоленскую губернию? — спрашивает Жолкевич.

— Да, — отвечаю я.

— А где ваша родина?

— В 9-ой линии Васильевского острова.

Жолкевич замолчал и стал опять писать. Писание Жолкевича оказалось жандармским постановлением, которым я отдаюсь «под особый надзор полиции».

— Куда же вы едете в Смоленскую губернию? — спрашивает Жолкевич.

— В сельцо Воробьево Краснинского уезда.

Записал Жолкевич и это. Таким образом, в постановлении получалось, что я еду в с. Воробьево Краснинского уезда, где и отдаюсь под особый надзор полиции. Постановление это Жолкевич дал мне подписать, точно и я участвовал в его составлении.

— А что значит особый надзор? — спрашиваю я Жолкевича.

— Да ничего, это так — слово.

Действительно, и он мне показал «закон», в котором стояло «особый», но без всяких разъяснений. Но каким образом Жолкевич узнал, что я желаю ехать в Смоленскую губернию, и почему он спросил меня о родине? О родине спросил меня потому, что если бы оказалось, что я родился в Восточной Сибири, то жандармское управление отдало бы предпочтение моей родине перед Смоленской гу-

бернией и сослало бы меня в Сибирь. Так в Сибирь (на место родины) был выслан из Петербурга Щапов¹. А почему Жолкевич знал, что я желаю уехать в Смоленскую губернию, это для меня выяснилось из следующего. Перед секретарем лежала на столе целая куча писем, поручик Легат подсел к столу и, как человек, принимающийся за обычное дело, начал читать их и пристукивать клеймом. «Вы кладете штемпель жандармского управления?» — спрашиваю я его. «Нет, товарища прокурора судебной палаты». — «А вам много приходится читать писем?» — «Ужасно много, — отвечает секретарь, — просто времени нет, еще спасибо, что поручик помогает, а то бы не успеть». Значит, все письма, которые я получал и отправлял, читал или секретарь, или поручик Легат, т. е. жандармы, а мы, арестованные, просто душно думали, что корреспонденцию просматривает прокурорский надзор. Конечно, содержание писем докладывалось Жолкевичу.

Подписав постановление, Жолкевич просил меня отправиться в «секретное отделение», в то «секретное отделение», которое при новом правительстве стало пугалом петербургской молодежи. Теперь убитого Судейкина сменил капитан Иванов (при Екатерине II был бы Шешковским)². Иванов встретил меня тем, что я через три дня должен оставить Петербург.

— Как через три дня?! Но мне нужно привести в порядок свои дела, и в три дня я не успею ничего сделать; нельзя ли остаться мне в Петербурге дней десять?

— Подождите в приемной, я доложу.

Ждал я долго, даже очень долго и, потеряв терпение, начал наводить

справки о пропавшем капитане Иванове. Но в то время, когда я искал Иванова, меня искал чиновник того же секретного отделения. «Вы господин Шелгунов?» — «Я». — «Пожалуйста сюда», — и чиновник отворил мне дверь в небольшой, изящно меблированный кабинет.

— Я должен сообщить вам неприятное распоряжение: вам разрешено остаться в Петербурге четыре дня, и 29 октября вы должны выехать, потрудитесь дать подписку в этом смысле.

Чиновник говорил не только вежливо, даже ласково и задушевно, точно он сам чувствовал за меня всю неприятность этого сообщения. Затем он просил меня прочесть «постановление», в котором говорилось, что по сношению градоначальника с Министром внутренних дел и на основании Высочайшего повеления (были обозначены год, месяц и число) я не имею права жить в Петербурге и в Петербургской губернии и должен оставить столицу 29 октября. Подписал я и это постановление. Тогда чиновник сказал мне, что на проезд мне будет выдан «пропуск», что я должен ехать прямым путем, нигде не ночевать, не останавливаться в Москве и по приезде в Воробьево явиться к местной полицейской власти, от которой и получу свой вид. «Да какая же там полицейская власть — сотский?» — «Ну да, вы получите вид от сотского и затем мо-

¹ Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — историк и публицист, сотрудник журналов «Современник», «Русское слово», «Дело».

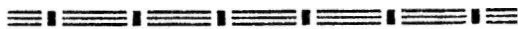
² Шешковский Степан Иванович (ок. 1720—1794) — начальник тайной канцелярии Екатерины II, «сыскных дел мастер», производивший следствие по делу Радищева, Новикова и других, разработавший целую систему допросов «с пристрастием».

жете поехать, куда вам угодно». Странное распоряжение; для того, чтобы поехать, куда мне угодно, я должен сначала прокатиться за полторы тысячи верст. На другой день ко мне пришел помощник пристава и потребовал мой вид, выдал взамен его «пропуск», подписанный капитаном Ивановым. Не зная, справлюсь ли я с своим временем, я спрашиваю помощника пристава: «Ну, а если мне окажется невозможным выехать 29 числа?» — «Да вы и не выезжайте», — отвечает полицейский. «Но ведь вы в таком случае донесете, что я не выехал?» — «Конечно; впрочем это ничего, пока мы донесем и пока придет предписание от градоначальника, вы в это время и уедете». — «А как же вы узнаете, что я уехал, пожалуй, вы вышлете на станцию целую ватагу полицейских?» — «О, не беспокойтесь, у нас для этого есть агенты». И действительно, полицейских не было, но зато был нахальнейший агент, какого только можно придумать. Он почти не отходил от меня и провожавших меня друзей (а их было человек пятнадцать); он ходил взад и вперед около нас и даже нисколько не смущался, если кто-нибудь из нас замечал, что это агент. Затем он сел в один вагон со мной, и за Колпином я его уже больше не видел; вероятно, вернулся для донесения.

И вот я ехал прямым путем, не останавливаясь ни в Любани, где сначала думал побывать у Михайловского¹ несколько дней, ни в Москве, и, приехав в Воробьево, послал «пропуск» к уряднику.

Прошло более двух недель, и я стал беспокоиться, что могу оказаться припильенным к Воробьеву, как совершенно неожиданно является становой с урядником. И откуда правительство

берет таких красивых полицейских! Этот красивый полицейский с стыдливостью, отличающей наших полицейских и жандармов вообще, делал вид, что он приехал не то в гости, не то мимоездом, случайно. Немец не стыдится быть искренним полицейским и жандармом и тащит преступника с откровенностью, не заслуживающей порицания за ее искренность. Мы же, вероятно, в качестве молодого народа, еще не сложившего свою «государственность», уподобляемся Еве, не потерявшей еще своей стыдливости. Впрочем, в Петербурге эта стыдливость начинает понемногу исчезать, и школа Валуева² и Толстого приносит уже свои плоды: чиновник становится уже исполнителем и суров и проникается чувством долга, не заигрывая с тем, кого ему нужно связать, запеть и вообще подвергнуть каким-нибудь «политическим экспериментам». В Богдановиче я не заметил подобной стыдливости: он суровил и грубил с сознанием своего прокурорского права, но Жолкевич был сладок, меня при допросах он звал не иначе, как Николай Васильевич, и даже лицам, которые приходили к нему, чтобы просить свидания со мною, звал меня по имени и отчеству. Котляревский держал себя, если не либеральничая, то и не с прокурорским достоинством, а как внимательный и образованный собеседник. Он рассуждал со мной о литературе, об идеях в журналистике, по поводу Драгоманова и участия его в «Деле»,



¹ Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист и социолог, идеолог народничества, один из редакторов журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство».

² Валуев Петр Александрович (1815—1890) — граф, министр внутренних дел в пору 60-х годов, председатель комитета министров во второй половине 70-х годов.

рассказал целую историю его эмиграции и насколько Чубинский¹ поступил мно, не уехав за границу, говорил о малороссийском сепаратизме и вообще превращал допрос в беседу, в которой следствие являлось чем-то «превходящим». На главном допросе, когда Котляревский мягко и вкрадчиво травил меня силлогизмами и когда я хотел просить его продиктовать мне показание (я всегда писал под его диктовку, во-первых, потому, что я был очень измучен и мне было легче механически записывать, а во-вторых, Котляревский лучше меня знал, где требуется юридическая краткость, и лучше меня владел форменным языком), — он мне ответил: «Мне будет тяжело диктовать вам это показание». В одном письме к Станюковичу я писал: «А Иван Григорьевич (Тихомиров) прислал статью в «Отечественные записки», а к нам, злодей, небось не прислал». — «Ну, вот и попались, — говорит мне, улыбаясь, Котляревский. — Как вы объясните это место письма?» Но когда я объяснил, что никаких точных указаний дать не могу ни относительно названия статьи, ни того, кому она была прислана, ни даже не убежден в том, чтобы статья была действительно выслана, и все это могло быть только слухом, то Котляревский продиктовал мне показание еще лучше, чем я его сделал. На одном вопросе, когда Жолкевич винтил меня самым безжалостным образом, Котляревский спас меня от этого мучителя. Дело было вот в чем.

Перед моим арестом пришел в редакцию какой-то юноша. «Возьмете вы статью об Успенском² из Парижа?» — спросил он меня. «Возьмем, если подойдет», — ответил я. Вот и все наши разговоры. Затем дня через два пришла рукопись об Успенском

(из-за границы) и при ней письмо, подписанное Тилло. Письмо не было именным и начиналось так: «Господин редактор!» А вверху было приписано «Н. В. Шелгунову». Рукопись была от Тихомирова и письмо тоже от него. И я отправил рукопись в типографию для набора на июньскую книжку. Но как Жолкевич производил следствие «доскональное» и дорывался до корней (вероятно, надеясь получить полковника), то, кроме конторских книг, он вытребовал из типографии и все рукописи на июньскую книжку. Жолкевич совсем очистил редакцию и контору, у него были все книжки «Дела» с 1881 г., все конторские и редакционные книги, все рукописи. Было, впрочем, ясно, что в аресте рукописей на июньскую книжку был не без греха Паршеков (наш конторщик и секретарь). Паршеков не был доносчиком, но его просто запугали, и из трусости он представил Жолкевичу и письмо Тилло. Допрос.

— Рукопись об Успенском — Тихомирова? — спрашивает Жолкевич.

— Нет, не Тихомирова, — отвечаю я.

— Ну полноте.

— Да ведь рукопись подписана Тилло.

— Но ведь она не Тилло, а Тихомирова.

— Чтобы я мог с точностью сказать, что рукопись Тихомирова, я должен иметь несомненные данные.

— Однако в письме говорится — «ожидаемая редакцией».

— Действительно, эта фраза может



¹ Чубинский Павел Платонович (1839—1884) — известный украинский этнограф и статистик.

² Успенский Глеб Иванович (1840—1902) — русский писатель, публиковал свои произведения в «Современнике», «Русском слове», «Отечественных записках», «Деле».

возбуждать эти вопросы; но мне думается, что Тилло или кто бы там ни был автор статьи, мог слышать, что статья об Успенском ожидается редакцией, но из этого еще ровно ничего не следует. Теперь об Успенском можно ожидать много статей, потому что выходит полное собрание его сочинений, мог написать эту статью и Тихомиров, и я все-таки не имею основания утверждать, что статья написана им. Все статьи Тихомиров писал своей рукой, письма тоже; а эта рукопись и письмо при ней написаны рукой мне незнакомой, и письмо подписано Тилло. Какое же я имею основание сказать, что рукопись Тихомирова?

— Ну, да ведь вы настолько опытные, что можете сейчас угадать по слогу.

— Не совсем так. Расскажу вам такой факт... — И я рассказал, как, находясь в Ницце, я одну из статей в «Деле», подписанную М. А., принял за статью Антоновича¹, а она была написана Протопоповым.

— Все-таки невозможно, чтобы вы не догадались, что статья эта от Тихомирова.

Котляревский, присутствовавший на допросе, конечно, понимал, что мы с Жолкевичем говорим «на разных языках», и прекратил его допрос, заметив, что действительно у меня не было оснований считать статью об Успенском статьей непременно Тихомирова.

Может быть, я не совсем прав, приписывая заступничество и мягкость Котляревского либеральничанью. В Киеве при политических допросах он стяжал себе славу жестокого и беспощадного следователя и либеральничаньем не отличался. Весьма вероятно, что со мной он держал себя иначе потому, что видел, как нелепо обви-

нение по 250-й статье. Но, однако, думаю, что и видя нелепость, Котляревский оказался бы последовательнее, если бы держал себя вполне официально, не высказывая своего неодобрения запрещению «Отечественных записок» и не делая намеков, что мой арест зависит не от него и не от Плева, а от Толстого и что мое заключение должно смягчить как очистительная жертва какого-то невидимого Аримана², который иначе не успокоится. Дело принимало такой вид, что Котляревский являлся моим защитником и спасал тем, что выдерживал меня в тюрьме. Впрочем, может быть и то, что Котляревский, человек литературного образования, производя следствие над литературным делом, старался и держать себя литературно.

В теперешнее время обаяние писателя уже кончилось, но все еще находятся люди, которые подходят к литератору с некоторой робостью. Вероятно, они смешивают литераторов с корреспондентами. Раз в предварительном приходит ко мне доктор, очень встревоженный, и спрашивает, как я нахожусь воздух в камере. Я не понял вопроса. Но затем доктор мне объяснил, что в «Новом времени» была статья о доме предварительного заключения и автор ее говорит, что воздух в камерах до того сух, что коробятся и выпадают из головы волосы. Доктор тревожился так, точно он строил дом предварительного заключения и точно он его отапливал. Когда Дубецкого (интеллигентный мазурик) выпустили из-под ареста, на



¹ Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — сотрудник «Современника», демократический публицист и критик 60-х годов.

² Ариман — дух тьмы, олицетворение зла в зороастризме — древнеперсидской религии.

другой же день в «Новом времени» явилась статья о доме предварительного заключения, но хвалебная. Случалось не раз, что фельдшер мне говорил «вот вы об этом напишите». И весьма вероятно, что моя литературность несколько содействовала вниманию, которым я пользовался. Кравченко, например, старший помощник управляющего домом, похожий несколько на того майора Томского острова, о котором пишет Достоевский, что он накидывался на арестантов, — был со мною не только вежлив, но и мягок. Этот Кравченко управлял церковным хором из арестантов и заведовал мастерскими. Доска, на которой я писал, лопнула, и я просил ее склеить. Кравченко сейчас же прислал ко мне своего помощника, и, несмотря на праздник, доска была склеена на другой же день. Случалось, что во время прогулки он подходил к моей клетке и разговаривал со мной совсем о посторонних делах, часто жаловался на то, что просто сил не хватает у него, что целый день с утра до ночи приходится бегать и суетиться и не бывать дома, так что и «детей-то некогда приласкать».

Смотритель дома¹ (полковник из сибирских казаков, только при мне поступивший) обнаруживал наибольшую склонность к либеральной лживости. Он заходил ко мне довольно часто и всегда припирали дверь, а в разговоре заглядывал на нее, точно боялся, что за дверью стоят уши. Говорил со мной полковник о таких вещах, о которых смотрителю дома с арестантом говорить не полагается. Он мне сообщал о побеге, который предполагался у уголовных из лазарета, но не состоялся, потому что явился доносчик; он мне передавал известие о Станюковиче и Кривенко и что Станюковичу

предлагали высылку в Ташкент (сомнительно, чтобы Толстой или Департамент полиции стали «предлагать»), но он пожелал в Восточную Сибирь², рассчитывая найти место на приисках; однажды рассказал мне, что уголовные теперь очень спокойны и что это не перед добром, ибо за затишьем всегда следует буря; затем вскоре после этого сообщил, что уголовные сговариваются перебить все стекла. Все эти сообщения, конечно не совсем удобные в устах начальника тюрьмы, оказываются вполне невинными в сравнении с постоянным порицанием жандармского управления, которое полковник недолюбливал, вероятно, по казачьей традиции. Полковник совсем всерьез возмущался страстью жандармской власти к заключению: «сажают зря, без толку и без всякой причины, а потом выпускают». Еще больше возмущался полковник предложением, которое было ему сделано, сажать в соседние камеры с арестованными шпионов. «Я им сказал (кому — полковник не объяснял), пускай дадут мне предписание, я его исполню, но иначе не могу, а они (?) не хотят дать предписание». В своем порицании Жандармского управления и прокурорского надзора полковник дошел даже до отрицания дома предварительного заключения. «Арест есть мера предупредительная, а они превращают его в меру карательную и на каждого заключенного смотрят, как уж на обвиняемого, и дом предварительного заключения превратили в исправительную тюрьму», — говорил мне полковник. Все это было бы справед-



¹ Ерофеев (примечание документа).

² Был сослан в Томск (примечание документа).

ливо, если бы это говорил не начальник тюрьмы, каждый вечер в половине девятого подсматривавший в «секреты», что делают арестанты в своих камерах. Этот же самый негодующий на неправду человек, когда в одно из его посещений я показал ему мои войлочные туфли, сказал, что он завел такие же, чтобы ходить по галереям (конечно, для подсматриванья и чтобы ловить врасплох надзирателей). Мне думается, что полковник отступал от своих обязанностей из невинного умышленного кокетства: чтобы показать, что он не тюремщик, а образованный человек; из того же кокетства он говорил, что «дом предварительного заключения превратили в исправительную тюрьму». Эта мысль для самого полковника была новостью, и очень может быть, что он только что вычитал ее в книге Никитина¹ («Тюрьма и ссылка»). Впрочем, не один полковник не желал, чтобы его считали тюремщиком. Когда в разговоре с одним надзирателем я назвал дом предварительного заключения тюрьмой, он меня поправил: «Это не тюрьма, а дом».

Возвращаясь, однако, к становой, вызвавшему меня на это отступление. Становой тоже не хотелось быть полицейским, как полковнику — тюремщиком. Я знал очень хорошо, что становой приехал ради меня, и все-таки он усиливался заводить какие-то разговоры, из которых ничего не выходило. Первый приступ к делу сделал я. Тогда все пошло, как и должно

быть. Становой возвратил мне мой вид и взял с меня подписку, что о каждом выезде из Воробьева я буду его извещать. Таким образом, обещание прокурора, что я буду выпущен на все четыре стороны, осуществилось только теперь, но я должен был для этого проехать полторы тысячи верст. Если отобранием вида и выдачей «пропуска» желали, чтоб я не скрылся, то эта цель вполне достиглась, но ведь то может помешать мне уехать теперь, куда бы я ни захотел? Одним словом, нельзя понять, для чего потребовалось все это осложнение.

Еще любопытнее «особый» надзор, под которым я очутился. Мне, конечно, не хотелось, чтобы деревенские власти следили за мной и проверяли мои действия, и я спросил станowego, не может ли он поручить надзор надо мной ближайшему сотскому или волостному управлению, что это было бы для меня во многих отношениях очень неудобно. «Нет, этого не будет, и они совсем не будут знать, что вы под надзором», — ответил становой. И я действительно не вижу никакой полиции — ни деревенской, ни городской и не чувствовал ни особого, ни вообще какого бы то ни было надзора. Правительство, конечно, завело бы с большим удовольствием жандармов и в деревне, но, слава богу, у него для этого нет еще средств.



¹ Никитин Виктор Никитич (1839—1906) — публицист, юрист, автор книг по тюремоведению.



Н. В. Фридман
**„Лучшая эпиграмма —
 время“**

Неизвестное письмо поэта
 Н. Н. Батюшкова

В начале XIX века разворачивается ожесточенная борьба между литературными партиями карамзинистов и шишковистов. Карамзинисты, развивая идеи своего учителя, крупного писателя и историка Н. М. Карамзина, выступали как новаторы. Они отстаивали необходимость и законность изображения внутреннего мира человека, новые жанры и новый литературный язык, близкий к разговорной речи образованного дворянского общества, и прямо называли себя теми, «кто пишет так, как говорит»¹. Шишковисты во главе с консервативным государственным деятелем, филологом и писателем адмиралом А. С. Шишковым безуспешно пытались возродить отжившие традиции главного литературного направления XVIII века — классицизма, вводили в свои произведения огромное количество вышедших из употребления славянских слов и упорно возражали против применения в русском литературном языке слов иностранных, даже тогда, когда это являлось необходимым (Шишков, как известно, предлагал заменить слово «калоши» словом «мокроступы»).

К числу карамзинистов принадлежал целый ряд лучших молодых писателей начала XIX века: В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, юный лицеист А. С. Пушкин и его самый любимый литературный учитель, выдающийся русский поэт К. Н. Батюшков. Выступая как воинствующий карамзинист, Батюшков еще в 1809 году направил против шишковистов сатиру «Видение на берегах Леты». А когда шишковисты образовали свое литературное общество «Беседу любителей русского слова», Батюшков в 1813 году написал новую остроумную сатиру «Певец в Беседе любителей русского слова», где пародийно «загримировал» членов этого общества под героев знаменитого стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов».

Однако и шишковисты старались наносить

¹ Выражение К. Н. Батюшкова («Певец в Беседе любителей русского слова»).

удары своим литературным противникам. В 1815 году член «Беседы» А. А. Шаховской поставил на сцене комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды», где изобразил Жуковского в лице Фиалкина. Этот постоянно попадающий в смешные положения молодой человек декламировал явные пародии на мрачные баллады Жуковского и его переводы из Шиллера. Выведенная из себя такими произведениями графиня Лелева рекомендовала ему:

Не мучить мертвецов
И не смешить живых плаксивыми
стихами.

Шаховскому ответил карамзинист Д. В. Дашков в прозаической сатире «Видение в какой-то огаде, изданное обществом ученых людей», где изображался Шаховской в бреду, и Шишков, обращавшийся к нему с советом «завидовать» и «уязвлять» литературных соперников. Действие этой сатиры происходило в Арзамасе, и она послужила поводом для образования литературного общества карамзинистов — «Арзамаса», первое заседание которого состоялось 14 октября 1815 года. (Батюшков был заочно избран членом общества.) Арзамасцы безжалостно и остроумно издевались над своими литературными врагами; в частности, в ритуал общества входило обязательное осмеяние Шаховского.

Публикуемое письмо К. Н. Батюшкова к другому талантливому поэту-арзамасцу, П. А. Вяземскому, хранящееся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (в фонде Вяземского), было послано уже после образования «Арзамаса». Служивший на Украине, в Каменце Подольском, и не подозревавший о существовании общества Батюшков узнал из журнала и более подробно из письма Вяземского о комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», направленной против Жуковского (она была в первый раз поставлена на сцене Малого театра в Петербурге 23 сентября 1815 года). Новое полемическое выступление шишковистов Батюшков принял

очень близко к сердцу и советовал друзьям предать литературный спор строгому и нелицеприятному суду времени, ответить шишковистам не «блестящими безделками» или эпиграммами, а значительными художественными произведениями.

11 ноября <1815 г.>

Каменец Подольский

Благодарю тебя, милый друг, за чай и за насмешливо-смешное послание. Если б я думал, что ты не в состоянии написать что-нибудь важнее блестящих безделок, то не давал бы тебе совету. Ограничить себя эпиграммами и Шутовским, тебе, с твоей душой и умом, все равно, что Ахиллесу палицей бить воробьев — и только! Но ты меня давно понял, а спорить для спору. Писать что-нибудь поважнее посланий и мадригалов не есть писать Плач Юнгов: от тебя зависит выбрать предмет тебя достойный. Поговорим об этом на досуге, а теперь о Шутовском. Я ничего не знал до твоего письма. Ни Дашков, ни Гнедич, ни Жуковский, никто ко мне не пишет из Петербурга; и думаю это Заговор молчания. Но бог с ними. Из журнала я увидел, что Шах<овской> написал комедию и в ней напал на Жук<овского>. Это меня не удивило. Жуковский не дюжинный и его без лап не пропустят к славе. Озерова загрызли. Карамзина осыпали насмешками; он оградился терпением и историей. Пушкин будет воевать до последней капли чернил: он обстрелян и выдержит. Я маленький Исоп посреди маститых кедров: прильну к земле, и буря мимо. И тебе, милый друг, не советую нападать на них эпиграммами. Они все прекрасны и на сей раз, сказать можно, что делают честь твоему сердцу, но, верь мне (я знаю поприще успехов Шутовского), верь мне, что лучшая на него

Эпиграмма и Сатира есть — время. Он от него не отделается. Время сгложет его желчь, а имена Озерова и Жуковского и Карамзина останутся. Пусть его венчают, чем хотят и как хотят. Надобно знать людей, которые его хвалят, чтобы не уважать ни их, ни Шутовского. Невежество, глупость, зависть — его хвалители. Верь мне, Шутовской не дурак. Он бы позволил себя высечь или чтобы его похвалил Озеров, Карамзин и Жуковский: я знаю его вдоль и поперек. Они не хвалят? Как же с ними жить? бранить. Они его не бранят; они презирают. Вот ему мучение. За столько и столько вялых стихов, комедий, трагедий, поэм и проч. С моей стороны ответом будет молчание и надежда что-нибудь написать хорошее. Если удастся, то я это все посвящу Шутовскому и товарищам. Они пробудили во мне спящее самолюбие. Не на эпиграммы, нет: на что-нибудь путное. Если богу угодно будет дать мне досуг и здоровье, которых я лишен, то я буду трудиться для славы: по крайней мере стану ее иметь в виду. Крапивные венки оставим им. Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуков<ского>. Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого. Заклинай его именем его гения переносить равнодушно насмешки и хлопанье и быть совершенно выше своих современников... Он печатает свои стихи. Радуюсь этому и не радуюсь. Лучше бы подождать, исправить, кое-что выкинуть: у него много лишнего. Радуюсь: прекрасные стихи лучший ответ Митрофану Шутовскому.

Я подал прошение в отставку и надеюсь быть в Москве по первому пути; ожидаю денег и сию без гроша.

Здесь очень скучно, и я теперь совершенно празден. Заняться не могу. Сердце мое не здесь, а где сердце, там и умишка. Желая его успокоить при тебе: дружество и сие сердечное излияние есть нужда, потребность, вожденнейшее желание. Если не умру от скуки, то увижусь с тобою. Обнимаю Левушку, которому советую выучить наизусть похвальное слово любви к отечеству старика, Буниной Фаетонта, стихи Олина-Анакреонта, Львова Храм Славы, наконец Шубы Шаховского и несколько стихов из Деборы: более не вынесет, хотя крепка его натура. Я видел опыты, что подобное воспитание образовало молодых людей и открывало¹ им путь в подмастерья в Беседу и далее. Вот мой совет: но я вопию в пустыне. Простите, обнимаю Вас от всей души, ото всего сердца; этого сказать Шутовской не может друзьям своим *et pour cause*². Еще раз до свидания.

К. Батюшков.

В письме Батюшков зло осмеивает «вялые» произведения Шаховского, саркастически окрещенного им Митрофаном Шутовским, — его высокопарную трагедию из древнееврейской жизни «Дебора, или Торжество веры» и метаящую в лагерь Карамзина героико-комическую поэму «Расхищенные шубы». Следует, однако, отметить, что Шаховской не был ни бездарным, ни реакционным писателем. Он значительно отличался от многих крайне посредственных писателей, входивших в лагерь Шишкова, сходясь с ними главным образом в решительном осуждении эстетических позиций карамзинистов. Его другом не случайно был гениальный автор «Горя от ума» А. С. Грибоедов. Вместе с ним

¹ В тексте письма зачеркнуто: «доставляло».

² И поделом.

и Н. И. Хмельницким Шаховской в 1817 году сочинил веселую комедию «Своя семья, или Замужняя невеста». Но для Батюшкова Шаховской в эту пору был прежде всего литературным врагом: поэт относился к нему с полной беспощадностью и далеко не беспристрастно.

В письме Батюшков насмешливо отзываясь и о «слове», посвященном Любви к отечеству, самого Шишкова («старика»), патриотизм которого он справедливо считал казенным и консервативным, о мистическом стихотворении шишковиста С. А. Ширинского-Шихматова «Ночь на гробах, подражание Юнгу» (английскому поэту религиозного направления), о произведениях плодовых, но бездарных членов «Беседы» П. Ю. Львова и В. Н. Олина (последний в шутку сравнивается с греческим лириком Анакреоном) и о слабой поэме, сочиненной также входившей в это общество А. П. Буниной, — «Падение Фазтонта». Все эти произведения, равно как и вещи Шаховского, Батюшков иронически советует заучить своему приятелю Левушке — брату знаменитого партизана Дениса Давыдова, Льву Васильевичу Давыдову (он вместе с Батюшковым был во время заграничного похода русской армии адъютантом генерала Н. Н. Раевского-старшего).

С горечью говорит Батюшков в письме о той травле, которой подвергали шишковисты его литературную партию — самого Карамзина, занятого в это время работой над «Историей государства Российского»; драматурга В. А. Озерова, который под влиянием литературных и служебных неприятностей пси-

хически заболел; смелого полемиста В. Л. Пушкина — дядю А. С. Пушкина, — направившего против шишковистов шуточную поэму «Опасный сосед». Самого себя Батюшков сравнивает с небольшим кустарником («маленьким исопом»), который может прильнуть во время грозы к земле и таким образом спастись от опасности. И особенно волнует Батюшкова литературная судьба Жуковского, которого он считал «талантом редким в Европе»¹. Он советует ему, не обращая внимания на насмешки врагов, с упорством взыскательного мастера работать над своими произведениями. Впрочем, Жуковский по собственной инициативе не принимал участия в споре о комедии Шаховского. «Около меня дерутся, а я молчу», — признавался он в октябре 1815 года².

В письме отражается также трагическая личная судьба Батюшкова, который возвратился на родину после заграничного похода русской армии, как он сам выражался, «на горести»³ и не имел ни прочного места в обществе, ни материальной обеспеченности. Но эта тема затронута лишь вскользь. Письмо представляет собой прежде всего замечательный документ литературной борьбы между карамзинистами и шишковистами и прекрасный образец живого эпистолярного стиля Батюшкова.

¹ Сочинения К. Н. Батюшкова, т. III, СПб., 1886, стр. 416.

² «Русский архив» за 1864 г., столб. 459—460.

³ Сочинения К. Н. Батюшкова, т. III, стр. 292.



А. Л. Авербах
(Ленинград)

Шаяпин в Америке

**Неопубликованное письмо Ф. И. Шаяпина
к Максиму Горькому**

Среди бумаг, переданных Максимом Горьким его биографу И. А. Груздеву, сохранилось письмо Шаяпина к Горькому из Нью-Йорка от 15 ноября 1907 года.

Это письмо характеризует впечатления, которые произвели Нью-Йорк и американцы на великого русского артиста при первом знакомстве. Несмотря на то, что политические взгляды Ф. И. Шаяпина в то время были достаточно далеки от взглядов Горького, их впечатления от города Желтого Дьявола и его обитателей во многом совпадают.

Письмо написано от руки на трех листах — бланках нью-йоркского отеля Hotel Savoy; оно было послано Алексею Максимовичу

в Италию, на Капри, где Горький находился в то время.

Письмо печатается с соблюдением орфографии подлинника. Слова, заключенные в квадратные скобки, в оригинале зачеркнуты.

Нью-Йорк, 15.XI. — 907 г.

Шесть дней тому назад рано утром я готов был прыгать, петь и ходить колесом от радости, что увидел после семи суток землю, а сейчас вся радость прахом пошла. Да, вода хотя и великолепная стихия, но я больше люблю смотреть волны и бури с берега. Так вот, мой милый Алексей, я обрадовался земле, но не могу сказать того же про город, статуя, олицетворяющая свободу, из города выгнана вон и стоит за воротами, она видимо оскорблена и потому покрыта пятнами темной ненависти, взор ее, по моему, с печалью обращен к Европе, кажется она думает, что там далёко есть хоть какая-нибудь надежда, и кажется, если бы это было возможно, она ушла бы по волнам океана туда к нам в Европу.

Итак, шесть дней прошло, а мне уже, немного хотя, но надоело быть здесь. Души тут ни у кого нет, а вся жизнь в услужении у доллара. Был я



HOTEL SAVOY

FIFTH AVENUE & FIFTY-NINTH STREET,
NEW YORK

New York

15/11 1907.

Моему другу Тому наряду
 рано утром я готовил
 свои изыскания, и пишу к тебе
 Коллегой о том, радости твои увидя
 помню ~~всегда, всегда, всегда, всегда~~
 фотю и величайшая счастия, но
 я больше люблю смотреть в море
 и бури с берега. Там война и
 мимолетная, я обрадовался зем-
 ли, но немому снахит убого же
 из города, Сталина американе -
 ющая свободу из города война
 вон и стон за воротами, она
 видимо оскорблена и пошлостью
 за темными темной неведомой
 взор ее, но моему, с негласно обра-
 щаясь к Европе, кажется она ду-
 маешь что там далеко, есть что

в концерте (симфонич.) и в театре оперы, судя по мордам никто ничего не понимает, и все пришли, хоть и с большим интересом, однако устают, потеют от желания постичь хорошо это или плохо. В театре имел три репетиции. На двух держался, а на третьей поругался и покричал. Слава Богу, хотя это их там обидело почти всех, но однако, того что мне было нужно — я добился — и сцены мои были поставлены, в смысле движения и освещения — так, как я хочу. — Они видимо обо мне понятие имеют весьма стереотипное — «бас» вот и все. — В сцене Брокена в Мефистофеле костюмы подпущены весьма странные, если бы я не слышал собственными ушами музыку Бойто, <я мог бы> меня никто не убедил бы, что это оперный театр. Девушки танцуют в таких костюмах, какие употребляют самые низкопробные кафешантаны. —

Бедное, бедное искусство. Если искусство можно себе представить в качестве фигуры мужского, напр., пола, то здесь оно явится настолько обглоданным, что не только у него не окажется, напр., икр на ногах, но даже будет обгрызена и та часть, которая делает разницу между мужчиной и женщиной. Эх, американцы, американцы! а говорили: Америка и то, и то — сволочи!!

Однако, я здесь веду себя, что называется, паинькой — тише воды и ниже травы, уж и глуп-то я, и кроме пения ничем не занимаюсь, и в церковь-то хожу, и на женщин-то не смотрю, и грехи-то считаю, и то-то и это-то, словом, такие турусы на колесах подставляю, что всякий американец, как у меня побывал, так прямо молодеет лет на 16-ть, а мне чорт с ними — наплевать! Долларов надо увезти отсюда больше — в этом году, может, это

не удастся, но зато если буду иметь успех... ограблю эту сволочь — ЛИЦЕМЕРОВ проклятых!..

Насчет концерта — это будет видно по тому, как пойдут здесь мои дела. Если хорошо, то я найду возможность и с удовольствием спою таковой для социалистов¹. 20 ноября, т. е. через пять дней я пою первый мой спектакль — не знаю что-то будет — я тебе пришлю все газеты и также напишу, как я сам буду чувствовать. Было бы необходимо иметь успех, потому что тогда и концерт можно сделать «денежный» надеюсь!

Милой мой Алексей!

Нужно ли говорить тебе, как я тебя люблю и уважаю — получи же мой горячий поцелуй и да хранят тебя Боги и Богини от тоски и скуки. Весной я приеду в Неаполь на автомобиле и возьму тебя порыскать по полям и лугам. — Прошу тебя не думать, что «Шпион»² длинный — это не верно — это великолепное сочное произведение, чего я не сказал бы о «Матери».

В Питере я виделся с Л. Андреевым — он был слегка выпимши и значит у него на языке было то, что у трезвого на уме. Скажу по совести, все, что он говорил было странно и мне не понравилось. У него есть таки «мания грандиоза» — затем он до крайности самолюбив и обидчив. — Ему показалось, что я на него смотрю свысока — (как тебе это понравится) я «свысока» (?!) и потому он сказал мне, что во втором издании «Василия



¹ Вероятно, Горький просил Шаляпина дать бесплатный концерт для американских рабочих-социалистов.

² «Шпион» — повесть Горького «Жизнь ненужного человека».

Фивейского»¹ он приказал снять «посвящ<ение> Шаляпину». — По моему, это очень мелко и Андреева должно быть не достойно. По крайней мере, когда он это мне рассказал, то душе моей было очень больно.

Ну, будь здоров, дорогой мой Алексей, я весь твой Федор Ш.

Пожалуйста, поцелуй ручку Марье Федоровне² и передай горячий привет Константину³ Петровичу, а Зине⁴ скажи, что фотографии ему вышлю на днях. Пусть он на меня не сердится, всем мой горячий привет.

Первое впечатление Шаляпина оказалось устойчивым. В. А. Теляковский в своих воспоминаниях⁵ сообщает, что Шаляпин в письме к нему весной 1908 года также отрицательно характеризует Америку и приводит другое письмо Шаляпина, написанное после возвращения из Северной Америки летом 1908 года:

«Да, Америка скверная страна и все, что говорят у нас вообще об Америке — все это сущий вздор. Говорят об американской свободе. Не дай бог, если Россия когда-нибудь доживет именно до такой свободы, — там дышать свободно и то можно только с трудом. Вся жизнь в работе — в каторжной работе, и кажется, что в этой стране люди живут только для работы. Там забыты и солнце, и звезды, и небо, и бог. Любовь существует — но только к золоту. Так скверно я еще нигде не чувствовал себя. Искусства там нет нигде и никакого. Напр., Филадельфия — огромный город с двумя с половиной миллионами людей, но театра там нет. Туда иногда один раз в неделю приезжает опера из Нью-Йорка и дает архипроvincialь-

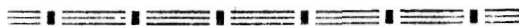
ные представления какой-нибудь «Тоски» или «Богемы», и местные богачи смотрят, выпучив глаза, ничего, разумеется, не понимая.

В Америке не видно птиц, нет веселых собак, ни людей. Дома огромные, угрюмые и неприветливые. Кажется, что там живут таинственные сказочные палачи.

Я так счастлив, что оставил эту страну, оставил навсегда».

В июле того же 1908 года Шаляпин посетил и Южную Америку и в письме В. А. Теляковскому от 12 августа из Буэнос-Айреса не менее отрицательно отзывался об образе жизни и отношении к искусству в Аргентине.

Однако, по словам Теляковского, «первая поездка Шаляпина в Нью-Йорк впоследствии оказалась роковой для его судьбы». Мемуарист считает, что знакомство с Америкой совершило перелом в артистической карьере Шаляпина. Он остановился в своем развитии как художник и все больше занимался заработком денег и выгодным их помещением. «Не выдержав выпавшей на его долю славы, — заключает эту главу В. А. Теляковский, — и не вынеся сказочных соблазнов, открывшихся перед ним, гениальный художник со временем окончательно уступил место общепризнанному гастролеру с тяжелой всемирной славой».



¹ «Василий Фивейский» — повесть Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского».

² Мария Федоровна — М. Ф. Андреева.

³ Константин Петрович — К. П. Пятницкий.

⁴ Зина — Зиновий Алексеевич Пешков (Зиновий Михайлович Свердлов) — приемный сын Горького.

⁵ В. А. Теляковский, Мой сослуживец Шаляпин. В кн.: «Федор Иванович Шаляпин. Статьи, высказывания, воспоминания о Ф. И. Шаляпине», т. 2. М., 1958, стр. 223—228.



Арк. Лишина
Революционный эмигрант
о Толстом и толстовщине

Письма Л. И. Мечникова

Имя Льва Ильича Мечникова (1838—1888), старшего брата великого русского микробиолога И. И. Мечникова, известно сейчас немногим. А между тем, по словам Г. В. Плеханова, он был одним из «самых замечательных и самых симпатичных представителей того поколения шестидесятых годов, которому много обязана наша общественная жизнь, наша наука и литература»¹.

Исключенный из Харьковского университета за участие в студенческих волнениях, Мечников сдал выпускные экзамены в Петербургском университете и уехал в качестве переводчика русской дипломатической миссии на Ближний Восток. Двадцати двух лет он вступил волонтером в армию Гарибальди и командовал батареями в битве при Вольтурно 1 октября 1860 года. Поправившись после тяжелого ранения, полученного в этом бою, он вынужден был стать эмигрантом. Двадцати пяти лет Лев Ильич — деятельный сотрудник «Колокола» и активный участник многих действий заграничных землепользователей. Мечников был близок к Первому Интернационалу, к польским, итальянским, французским и испанским



¹ Г. В. Плеханов, Л. И. Мечников. (Некролог.) В кн.: Г. В. Плеханов, Соч., т. VII, М., 1925, стр. 329.

революционерам. Он много путешествовал и много писал, был профессором Токийского университета и Невшательской академии.

Художник и журналист, путешественник и ученый, Л. И. Мечников был прежде всего революционером. Он умер пятидесяти лет вдали от родины, убитый туберкулезом и нищетой. «Лев Ильич, — писал Г. В. Плеханов, — был не только ученым; он был творцом, который умел с оружием в руках отстаивать дело свободы. Само собою понятно, что при современных русских условиях такой ученый должен был умереть изгнанником»¹.

Напечатав в 1861 году в «Русском вестнике» «Записки гарибальдийца», Мечников до последних дней продолжал сотрудничать в русских журналах. Его статьи на самые разнообразные темы появлялись под многочисленными псевдонимами в «Современнике», «Русском слове», «Отечественных записках», «Деле» и других журналах. Издатели дорожили Мечниковым как талантливым сотрудником, а читатели признавали за ним глубину и беспощадную трезвость суждений.

Примером остроты и беспощадности мечниковского анализа могут служить публикуемые ниже письма Льва Ильича к Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой. Высоко ценя художественный талант Л. Н. Толстого, Мечников решительно осуждает толстовщину как подход к решению социальных вопросов. Ядовитая критика морально-религиозного учения Толстого и страстная отповедь толстовщине очень характерны для Льва Ильича, который всю жизнь оставался человеком революционного действия.

Русская писательница Лидия Филипповна Маклакова-Нелидова (1851—1936) была близким другом семьи Мечниковых. Она познакомилась со Львом Ильичом, его женой Ольгой Ростиславовной и приемной дочерью Надеждой Владимировной Скарятиной-Кончевской в конце 1860-х годов в Швейцарии и около года прожила в их семье. Переписка Л. И. Мечникова с Л. Ф. Маклаковой-Нели-

довой не прерывалась до самой его смерти. Судя по письмам Льва Ильича, Л. Ф. Маклакова пользовалась его особенным доверием и откровенностью.

В публикуемых ниже письмах Лев Ильич делится своими впечатлениями о только что прочитанном XII томе пятого издания сочинений Л. Н. Толстого², который вышел в свет в 1886 году. Письма хранятся в личном архиве писательницы³. Первое из них датировано октябрем — ноябрем нового стиля, вероятно, потому, что писалось долго или не было сразу отправлено.

Второе письмо, строго говоря, представляет собой только постскриптум без даты. Судя по содержанию, он относится либо к приведенному выше письму, либо к другому, написанному вскоре после него.

1

Clarens, 12 окт<ября> — ноябрь
нов. ст. <1886 г.>

Драгоценная Лидия Филипповна!

Сего... не помню какого именно октября Лозанской губернии Вевейского уезда Шателлярской волости, в селе Кларансе, случилось чудо: на моем столе появился XII-й том сочинений графа Л. Н. Толстого. Приписать чудо сие персту Провидения не могу, ибо село мое вертеп <1 сл. нрзбр.> вальденских еретиков, держащихся богомерзких вероучений



¹ Г. В. Плеханов, Л. И. Мечников. (Некролог.) В кн.: Г. В. Плеханов, Соч., т. VII, М., 1925, стр. 331.

² В томе были напечатаны следующие произведения Л. Н. Толстого: Чем люди живы. — Упустишь огонь — не потушишь. — Свечка. — Два старика. — Где любовь, там и бог. — Тексты к лубочным картинкам. — Сказки. — Три старца. — Статья о переписи в Москве. — Мысли, вызванные переписью. — В чем счастье. — Смерть Ивана Ильича. — Народные легенды. — О народном образовании.

³ Центральный государственный архив литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ), фонд 331, опись 1, дело 213, листы 9—9 оборот, 32—34 оборот.

Иоаннуса Кальвина, и я, по благочестию своему, не могу допустить, чтобы Провидение стало тыкать перстом в столь нечистое место. Нелепо было бы, с другой стороны, приписать богоявление сие козням Лукавого; ибо сей последний, по причине упадка вексельного курса нашего рубля и иных экономических осложнений нашего времени¹, давно уже ликвидировал свои дела и отказался от своей расточительности доброго старого времени. К тому же, так как по званию своему он лукав, но отнюдь не глуп, то невозможно допустить, чтобы он истратил в книжном магазине наличных три рубля в платонической надежде приобрести через то со временем законные права на мою душу, коей стоимость по биржевым ценам Нового Времени не должна превышать медного гроша², коей существование вообще отрицается новейшими любомудрами...

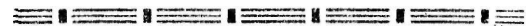
Короче говоря, по зрелом и всестороннем расследовании вышесказанного загадочного явления и при должном освещении его лучезарным блеском современного научного и философского развития, никому иному приписать его нельзя, как некоей благодетельной фее. По справкам же, тщательно мною наведенным, не только во всех российских общих календарях, но даже и в специальных (каков, например, врачебный календарь, издаваемый ежегодно нарочитым комитетом в Харькове) — на всем пространстве от Разгуляя до Тверской включительно, проживает только одна благодетельная фея, к которой без нарушения законов вероятности можно было бы отнести корни и нити сего богоявления. И фея сия есть — Вы...

Ergo!!!...

Чувствительнейше Вам за то благодарен.

Содержание присланного Вами мне последнего тома произведений нашего бессмертного беллетриста и чревовещателя, по ознакомлении с ним, было тотчас же разделено мною на 3 нижеследующие части:

1-е. Сказки с чертиками и свечками, т. е. все писанное для народа, т. е. не про нас или, более специально, не про меня: ибо читать сию часть невозможно, не рвавши на себе волос, а так как оных у меня нет, то мне пришлось бы рвать на себе лысину. Скальпирование же, по установленным непреложным законам самоновейшего этнографического знания, дозволяется только краснокожим; да и те до сих пор практикуют его еще исключительно на своих врагах; к самоскальпированию же обратятся только тогда, когда у них народится свой краснокожий гр. Л. Н. Толстой или же, когда сей 12-й том сочинений нашего не краснокожего Л. Н. Толстого будет переведен на их полисинтетические наречия. По поводу этой народнической беллетристики автора Казаков и Анны Карениной мною уже был сделан запрос одному из горячих литературных сторонников толстовщины: точно ли Л. Н. уже просветлел до чертиков или же это только «devant les gens»?³ Но запрос сей, как и следовало ожидать, остался без разъяснения, зато «сторонник» наговорил



¹ В 1882—1886 годах Россия переживала тяжёлый экономический кризис, второй за эпоху послереформенного развития.

² Газета «Новое время» своим глумлением над революционной молодежью и передовыми идеями снискала славу наиболее продажной и лицемерной газеты.

³ «Для публики» (франц.).

мне 7 страниц ругательно-любовно-революционно-прекраснодушной чепухи.

2-е. Апостольское послание Л. Н.¹, очевидно, предназначается им для нищих духом, но богатых кошельком московских дармоедов; но, по недоразумению, принимается голодающим духовно и телесно русским интеллигентом на свой счет и производит в анемичном мозгу оною интеллигента очень удачное подобие вавилонского столпотворения. Часть сию я уже читал прежде — не без зубового скрежета.

3-е. Наконец, Смерть Ивана Ильича, которую я так сильно желал прочесть вследствие Ваших же о ней отзывов. Чтение этого последнего произведения Толстого «для господ», которое я нигде раньше не мог достать (я не знал, что для этого нужно покупать целый том из перепечатаваемых журнальных статей и народных сказок), напоминало мне на каждом шагу японскую поговорку... Надо знать, что у японцев за разсупэ-деликатес считается рыба Тай... Они и говорят: «Тай хоть и протухнет, а все останется Тай!..» Что у Л. Н. талант — действительно Тай — это можно уже не говорить; но до чего этот Тай протух; в особенности же, если он имел в виду действительно покойного Ивана Ильича, т. е. (как помнится, Вы же писали) моего брата...² Иван Ильич был действительно карьерист, а я карьеристов не люблю; но насколько его психический регистр был богаче того, которым наделил Толстой своего героя!.. Вот что значит «просветление», думалось мне, если даже такому художнику, как Толстой, понадобилось душу опошляемого им героя обратить в квадрат плохо вычищенного паркета. Да и самый реализм рассказа больше уже напомина-

ет сцену родов из Pot Bouille («Une-fantastic de carabin en délire»³, — как выразился какой-то французский рецензент), чем Войну и мир или Анну Каренину...

Впрочем... Requiescat inpace⁴. А затем, т. е. больше за память обо мне, большое Вам спасибо. Только зачем Вы так <на> долго наложили печать молчания на свои уста и напоминаете нам о своем существовании только андреевскими чаями и толстовскими просветлениями?

У нас все обстоит благополучно. Здоровье мое, слава Богу, скверно; а в последнее время так просто и отвратительно: из рук вон.

Жена и Надя Вас целуют, а я удерживаюсь от этого светскими приличиями и

С истинным уважением и пр.

С искреннею благодарностью и др. приличными случаю ощущениями

Имею честь быть

Вашим, милостивейшая Государыня, Лидия Филипповна!

Покорнейшим слугою

Л. Мечников.

2

P. S. Толстовская «Свечка» оставила в моем мозгу такой чад, что у меня нет охоты читать какие бы то ни было, а в особенности народные произведения этого автора. Я Толстой любил очень и считаю его за самого талантливого современного беллетриста; но этот Толстой умер с Анною Карениною. Этот даровитейший

1 Апостольское послание — статья Л. Н. Толстого «В чем счастье».

2 Прототипом Ивана Ильича в рассказе Л. Н. Толстого был старший брат Льва Ильича — Иван Ильич Мечников (1836—1881), бывший член Тульского окружного суда.

3 «Бред студента-медика» (франц.).

4 Да почиет в мире (латин.) — надгробная надпись.

писатель сошел с ума — в этом нет ничего удивительного или даже особенно грустного. Но безмерно грустно положение современного русского интеллигента. Урядник усиленное тащит его в кутузку, чем когда-нибудь, а архи-нарродническое прекраснодушие ставит ему совсем уж неисполнимое требование: 1-е, возьми имение свое, продай и раздай нищим; 2-е, забудь грамоте и 3-е, не выходи из-под власти земли. — Но ведь имения какого бы то ни было, кроме грошовых долгов, за интеллигентом нет. Невозможно по щучьему Толстова или карасьему Златовратского¹ велению забыть, что б + а = ба, и уверовать, что «Семка младенца бы беспреренно воскресил, кабы становой не помешал»... Остается визжать, как поросенок, засаженный в мешок, не для того, чтобы символизировать угнетенную невинность, а в наказание за грехи борцов XVII-го столетия, его праотцев. Это, может быть, очень умилительно; но во мне — каюсь — это эпитимияльное нытье, даже при громадном таланте Гл. Успенского, не способно вызвать ничего, кроме боли под ложечкой. Все эти литературные факиры наши, самоистязующиеся среди буренинско-биржевых оргий и полицейского карнавала, мне претят. А тут изволь к ним питать совершенное уважение и пр...

Литературными факирами Л. И. Мечников называл тех писателей и журналистов, которые в годы разгула жестокой реакции проповедовали «прощение», «нравственное самоусовершенствование» и «христианское смирение», звали «на выучку к народу». Одним из таких «литературных факиров» был упомянутый в письме к Л. Ф. Маклаковой «сторонник толстовщины» Леонид Егорович Оболенский (1845—1906). В молодости Оболен-

ский участвовал в революционном кружке и привлекался по «делу 4 апреля 1866 г.». В 1880-х годах он стал редактором народного журнала «Русское богатство». Об этом журнале в феврале 1885 года Л. Н. Толстой писал А. Д. Урусову: «Это журнал, имеющий мало успеха, но с самым нам близким направлением. Он проповедует любовь на основании эволюции и прогресса, т. е. научным жаргоном, но в сущности это журнал с христианским направлением»².

Л. И. Мечников горячо сочувствовал «хождению в народ» и героизму народовольцев. С В. И. Засулич, С. М. Степняком-Кравчинским, В. К. Дебагорием-Мокриевичем и другими революционными народниками его связывала большая дружба. Но проповедь пассивности и христианского смирения ему претила, поэтому к либеральному народничеству он относился отрицательно. Протест Мечникова, высказанный им в письме к Оболенскому, был вызван попыткой совместить народнические теории с толстовским морально-религиозным учением и тем самым идейно разоружить русскую революционную интеллигенцию. Революционер и атеист Мечников отказывается сотрудничать в народническом журнале, предоставившем свои страницы для проповеди толстовства.

Письмо Л. И. Мечникова к Л. Е. Оболенскому, относящееся также к 1886 году, известно только в черновике, который набросан трудно поддающимся прочтению почерком³. Из этого письма ниже публикуются некоторые фрагменты.

3

Я только что получил Вашу последнюю книжку и душевно обрадовался,



¹ **Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — беллетрист-народник.**

² **Л. Н. Толстой, Собр. соч., т. 25. М., 1937, стр. 748—749.**

³ **Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 6753, оп. 1, д. 20, лл. 24—45.**

нам было малофакт нежить инокит на свои
 утии и непомиааийи намъ в Вашии црцаи Ивоалии
 поубно Андреевск. садии и Падубовск. гробъ Ивоалии?

У насъ бы адтомитъ Памнобулес. Зооракъ
 мае, стави Бугу, ебедно; с пачеца. Броне
 мае прити аибретибулес: въ руръ Коса.

Иванъ - Кудъ Васъ цубуланъ, а с цубу
 ривалат амъ тою аибретибулес притибулес

Съ итибулес у аибретибулес и пр.
 Съ итибулес аибретибулес и др.
 притибулес аибретибулес и пр.
 Итибулес аибретибулес

Вашии, итибулес и пр. Губурбулес,
 Итибулес аибретибулес!

Почариташии аибретибулес

И. Мертвица

не найдя в ней по недоразумению посланной Вам мною статьи. Журнал Ваш с каждым № все решительнее окрашивается тем направлением, которое я считаю по преимуществу предосудительным в настоящее время в России и на борьбу с которым желал бы посвятить остающийся еще в моем распоряжении слабый остаток сил. Но бороться с Вами ужасно трудно, цензура не позволит начать с чего следует, т. е. показать, что всякая религия, в особенности Ваша религия любви и сына божия, Адониса, Ваха или Христа, дающих на растерзание свою плоть для искупления грехов человечества, — всегда стояла поперек здравому развитию.

Я бы начал с той поры, когда человек житейскою эволюциею приводится к сознанию, что металлический нож режет лучше, а религия, прославляющая нищенство духа, ему предписывает употребление заостренного камня вместо ножа. Греховный прогресс доходит скоро до того, что человеческая мысль уничтожит кровопролитие, религия же заставляет хоть в торжественных случаях причащаться кровью жертвы, замученной во искупление всемирного греха.

Жизнь уясняет, что прописная мораль не имеет ровно никакого значения ввиду общего строя обстоятельств, обуславливающих наши поступки; религия твердит, что все дело в формулах, дающих духовное просветление, а что сама жизнь человека грех, скверна и суета. <...>

Вы скажете, что так действуют другие религии, а не толстовская, которая с вероисповеданиями ничего общего не имеет, а есть только квинтэссенция народничества, усиленная всей мощью толстовского беллетристического таланта, начитанности и его честности и

чистоты души. Вы уже и говорили что-то подобное в старых Ваших книжках, но я старый воробей и на такую мякину меня поймать нельзя.

Мой идеал — сознательный работник, строящий свое благополучие в самом греховном и плотском смысле этого слова, но служащий такому же благополучию всех людей.

Толстовский идеал — нищий дух, презирающий всякое благополучие ради просветления своей души, как поповский христианин презирает его ради спасения своей души. Разница между мною и Вами, как выясняется, громадна, разница же между православной или католической поповщиной и толстовщиной вся сполна исчерпывается разницею слов просветленный и спасенный. Но и этой плохонькой разницы за глаза достаточно, чтобы сделать Ваше просветление христиански вредным по существу... <...>

Объединять без насилия людей может только разумная, доказательная причина. При сильном таланте вдохновенный проповедник может вливать свое просветление в души более или менее многочисленных впечатлительных приверженцев, которые на первый взгляд как будто бы и объединены. Но какое преувеличенное значение придает одному человеку эта способность действовать чуть ли не волшебным образом на сотни сердец! На такой-то гипертрофии выдающегося личного обаяния хотите Вы основать проповедь равенства и братства всех людей?

Напрасно стали бы Вы возражать, что дело не в личном влиянии, а в учении. Выкиньте милейшую и даровитейшую личность Толстого, что останется от его проповеди: нагорная проповедь, насчитывающая свыше

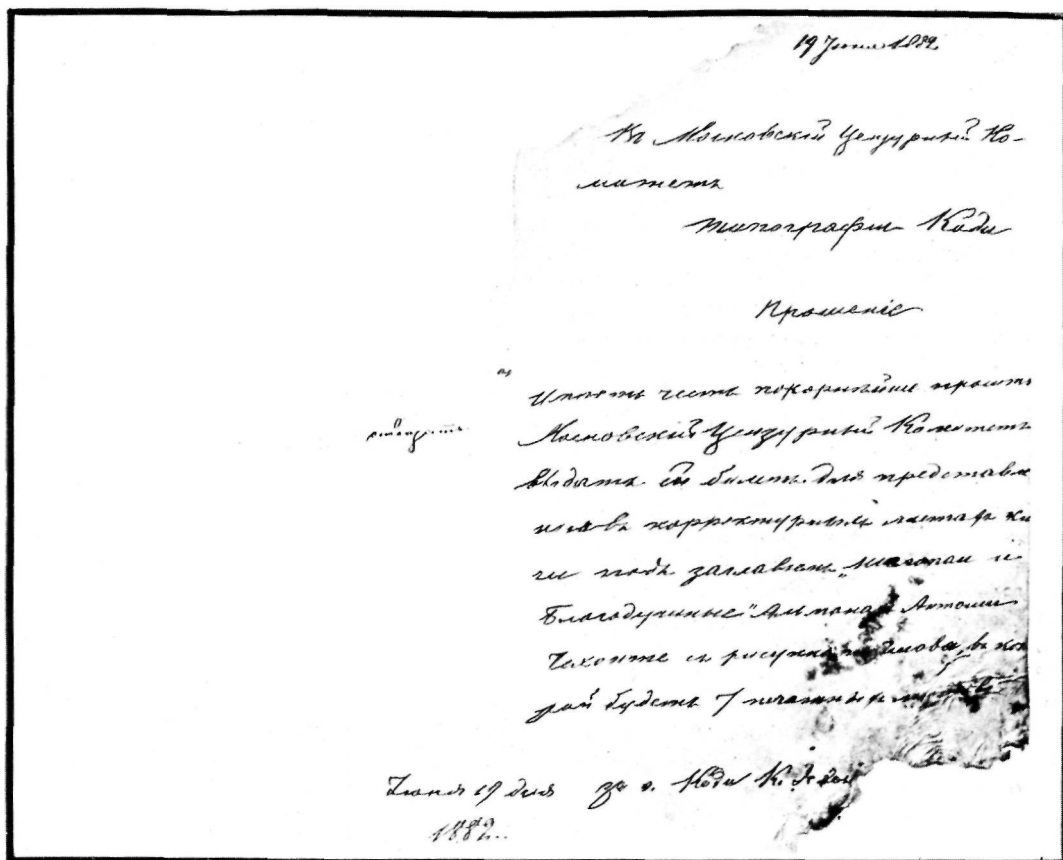
1 500 <лет> существования да <нрзбр> эластический принцип несопротивления злу... <...>

Вам, пережившему в России 60 г<оды>, додуматься до излечения общественных недугов детскими нравственными рассказами, хотя бы и без чертиков. Знаете, искреннего человека это одно может довести до отчаяния. <...>

Прочтя обвинение Вас в мракобесии, Вы победоносно указываете на научные рефераты, печатающиеся в Русском Богатстве и очень часто недурные сами по себе. Но непоследовательность — не оправдание.

Прежде, чем г. Толстой, лучшая наша молодежь, воспитанная на традициях «Современника» и пр., ходила жить в народ, и не затем, чтобы на-

учиться там верить, что юродивый Семка мертвого младенца воскресил бы, если бы становой не помешал. Не детские сказки с чертями и без чертей, с чудно горящими свечками, а искреннее старание учителя научить жить «по разуму» несли эти люди с собой в эти экскурсии, против которых только то и можно возразить, что они были неразумными подвигами, а не будничным делом. <...> Геройство рано или поздно непременно остынет, а проклятые будни шкурного вопроса будут вечно тут со всей своей неотразимой навязчивостью <...> Я сказал Вам, что народничество 70-х г. <...> было светлым моментом в нашей общественной жизни, но разбилось, потому что было недостаточно зрело для действительной жизни.



М. П. Громов
Антон Чехов: первая
публикация, первая книга

В каждой писательской биографии, сколь бы подробной она ни была, остаются свои неясности, свои загадки и «белые пятна». Но первое печатное слово, первая книга — кто же не знает о них, если речь идет о писателе великом и вовсе не древнем? Это события памятные.

В истории русской литературы есть, кажется, лишь один классик, в чьей биографии эти события не оставили ясных следов: Антон Чехов.

В 1903 году, когда почитатели собирались отметить двадцатипятилетний литературный его юбилей, он сказал В. С. Миролубову: «Нет уж, справлять юбилея не буду. Этого

свинства, которое со мной было сделано, забыть нельзя... Слишком много было тяжело-го... Да знаете ли вы, как я начинал? Да и до сих пор...»¹

Чехов оборвал разговор, не пояснил, что это было за «свинство», какую обиду на заре писательства пришлось ему пережить. Обида, однако, была жестока, если после стольких лет признания и успехов, в расцвете писательской славы, по существу — до конца своей жизни Чехов помнил о ней.

К истокам своей литературной биографии он не допустил никого.

Русские и зарубежные друзья, издатели и переводчики не однажды запрашивали Чехова о том, когда он начал печататься. Сведения, которые он сообщал по этому поводу в разные годы различным лицам, отличались едва ли не преднамеренной противоречивостью. Он называл то 1879, то 1880, то 1881 год. Или писал так:

«Вы спрашиваете, в каком году я начал сотрудничать. Право, не помню. Кажется, в 1881»².

Между тем достоверно известно, что в 1880 году Чехов профессионально работал в журналах, печататься начал раньше, до 1880 года, а писать и того раньше, в пятом или шестом классе гимназии. В ту пору он жил в Таганроге один. Семья разорилась. Павел Егорович, как сказано в официальной бумаге, был «обращен из купцов в мещане» и бежал в Москву; за ним потянулись домоладцы. В разлуке с родными Антон прожил больше трех лет, с 1876 по 1879 год. Первая его драма называлась так: «Безотцовщина».

Широко известны трогательные предания о том, как Антон продавал на рынке остатки домашнего скарба и вырученные полтинники отсылал в Москву, как в рваных калошах по таганрогской грязи ходил на уроки к богатым оболтусам. Таганрогские рукописи Чехова никому не известны, и за давностью лет почти не осталось надежды на то, что они целы и когда-либо каким-нибудь случаем еще обнаружатся.

В гимназические годы Чехов писал много. В письмах старшего брата, в отрывочных ме-муарных записях современников упоминаются юношеские его стихотворения, рукописный журнал «Заика», первая драма, три воде-виля, рассказы, сценки, юмористические «без-делушки» и «мелочи», которые посылались в Петербург и Москву, в редакции столичных юмористических журналов.

К упомянутому нужно прибавить таганрогские письма, которые, как и рукописи, были утрачены (писем было, во всяком случае, около ста); тогда окажется, что до нас не дошел по крайней мере один том — так сказать, «нулевой» том — полного собрания сочинений и писем Чехова; иными словами, остается неизвестным весь ранний период его творчества — гимназический («лицейский») период.

Если бы этот утраченный том был собран, когда его еще возможно было собрать, то в нем нашлись бы разгадки для всех неясностей, пробелов и тайн, над которыми столько лет ломают головы биографы Чехова.

Но собран он не был, и в этом, быть может, ярче всего выразилось то «неразумие, небрежность, халатное отношение к жизни своей и чужой», о котором Чехов писал старшему брату в 1883 году.

Первая публикация

До сих пор невозможно дать однозначный ответ на простой, казалось бы, вопрос: когда же начал печататься Чехов?

Первый его биограф А. Измайлов, обстоятельно изучив документы, писал:

«Все это, по-видимому, оставляет возможность думать, что мы не знаем первого дебю-



¹ «Литературное наследство». М., 1960, т. 68, стр. 520, 521.

² А. С. Лазареву-Грузинскому, 10 февраля 1899 г.

та Чехова-юноши... уважение к верности исторического факта требует от биографа заявления, что «Письмо помещика» может быть уже не первым чеховским опытом»¹.

Однако «уважение к верности исторического факта» со временем притулилось, и неизвестная первая публикация Чехова была подменена первой известной его публикацией — «Письмом донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху». Уже в 1930 году, в комментариях к первому тому полного собрания сочинений, отмечался «первый печатный рассказ... под псевдонимом «Антоша Чехонте» — рассказ «Письмо донского помещика»...»². В дальнейшем, совершенствуя эту гипотезу, стали писать, что Чехов сам «считал этот рассказ первым своим печатным произведением»³. В подтверждение цитировалось известное письмо к Ф. Д. Батюшкову от 19 января 1904 года:

«...первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте или в апреле 1880 г. в «Стрекозе»; если быть очень снисходительным и считать началом именно эту безделушку, то и тогда мой юбилей пришлось бы праздновать не раньше, как в 1905 г.»

Но «Письмо донского помещика» вовсе не безделушка, в журнальном тексте оно занимает не 10—15, а 153 строки. Это, по масштабам «Стрекозы», весьма пространный текст, и спутать его с безвестной безделушкой Чехов не мог, потому что правил «Письмо» для первой книги и, конечно, возвращался к нему впоследствии (экземпляр книги сохранился в его архиве).

Указания Чехова при всей их противоречивости не оставляют в этом вопросе ни малейших сомнений: первая его публикация появилась действительно в «Стрекозе» (во всех своих автобиографических заметках Чехов называет именно «Стрекозу»), но это не «Письмо донского помещика». Одно из самых ранних и, следовательно, наиболее достоверных свидетельств, данное в письме к Н. А. Лейкину 22 января 1884 года, — «работаю я недавно (5 лет)» — показывает для первой пуб-

ликации не 1880 и даже не 1879, а скорее 1878 год.

Так понимал вопрос и А. Б. Дерман, когда в своей книге писал:

«Есть все основания полагать, что Чехов начал печататься не позже 1878 г. Вероятно, его первое произведение было заметкой в несколько строк. Но точно установить ее — задача будущего, а пока литературным дебютом Антона Павловича почитается очерк, название которого: «Письмо донского помещика»...»⁴

Псевдоним «Крапива»

Первая публикация — не единственный пробыл в писательской биографии Чехова.

В 1883 году Он сообщил Н. А. Лейкину: «Как-то мне приходилось подписываться кое-где «Крапивой». В русской периодической печати, по крайней мере до 1883 года, этот псевдоним не обнаружен, хотя разыскивался он весьма настойчиво, в течение многих лет.

Недавно эти разыскания были возобновлены: казалось вероятным, что затерянный псевдоним связан с неизвестными публикациями Чехова, быть может, с первым его выступлением в печати. Просматривались не только популярные журналы вроде «Стрекозы», «Осколков» и «Будильника», но все вылущенные с 1876 по 1882 год юмористические альманахи и сборники, комплекты всех выходивших в эти годы газет. Были учтены и такие специфические издания, как журнал «Ребус», и такие специальные, как «Врач».



¹ А. Измайлов, Чехов. Биографический набросок. М., 1916, стр. 84—85.

² Полн. собр. соч. А. П. Чехова, т. I. М.—Л., 1930, стр. 430. Странная опечатка или, быть может, ошибка комментатора: «Письмо» опубликовано за подписью «...ль»; знаменитый псевдоним появился позднее.

³ Полн. собр. соч. и писем А. П. Чехова, т. I. М., 1944, стр. 536.

⁴ А. Дерман, А. П. Чехов. М., 1939, стр. 47.

Никто из литераторов, сотрудничавших в эту пору в русской периодической печати, к псевдониму «Крапива» не прибегал: подобной подписи в тогдашних журналах и газетах попросту не существует.

Но если упомянутое Чеховым «кое-где» обозначает не газету и не журнал, то что же оно обозначает?

В юмористических еженедельниках был заведен специальный отдел, он назывался «Почтовый ящик», в котором самостоятельные авторы извещались о судьбах присланных ими рукописей.

4 марта 1877 года «Будильник» сообщил:

«Не будут напечатаны: стихотворения Крапивы».

Поскольку в рамках 1876—1882 годов это единственный случай публикации редкостного псевдонима, нет оснований считать, что заметка «Будильника» адресовалась не Чехову, а какому-то другому лицу.

Речь, стало быть, идет об одной из самых ранних попыток Чехова пробиться в печать. Любопытно, что попытка эта была связана со стихами.

«Иов под смоковницей»

М. П. Чехов вспоминал:

«А. П., будучи тогда гимназистом пятого класса, спал под кучей посаженного им дикого винограда и называл себя «Иовом под смоковницей». Под ней же он писал тогда стихи... В то время А. П. вообще предпочитал стихи прозе, как, впрочем, и всякий гимназист его возраста»¹.

Все гимназисты писали стихи, но кто из них в 15—17 лет выбрал бы для себя имя библейского старца?

У Чехова, кроме литературных псевдонимов, которых насчитывается сейчас около 50, было множество шуточных прозвищ, принятых среди родных и друзей. Было и такое, письма характерное: Старец.

В детстве Чехов получил суровое религиозное воспитание, богослужение и церковные



книги знал наизусть. Библейская лексика у Чеховых была в обиходе. Письма, которые Павел Егорович присылал в Таганрог (они у Чехова сохранились), переполнены нравоучительными сентенциями и цитатами из божественных книг: «Будь мудр, как змея, и чист, как голубь... Начало премудрости есть страх божий... молись, учишь и трудись, бог тебе в помощь». Подписывался Павел Егорович так: «твой благословящий отец».

Единственное средство от несчастий и бед,

¹ М. П. Чехов, Антон Чехов на каникулах. В кн.: «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1954, стр. 66.



которое мог посоветовать Антону Павел Егорович, заключалось в послушании, посте и молитве. А в Таганроге Антон и впрямь жил отшельником, трехлетний невольный его пост был слишком суровым и долгим для юноши. И, пародируя религиозные заповеди отца, юноша изобрел для себя маску пустытника, «Иова под смоковницей», старца.

Пародия вытекала из поучений Павла Егоровича:

«Держись религии, она есть свет истинный, летами ты еще молод, но разумом будь стар, не увлекайся никакими мечтами Света, это дым, пар, тень исчезающая!»¹

Пародийное прозвище привилось, Антон настолько вжился в него, что, когда товарищи по гимназии любопытствовали, куда он пойдет после выпуска, отвечал: «Буду попом».

Старший брат в письмах 1876—1879 годов постоянно величал его «отче»: «О пресловутый отче Антоние», «Глубокопочитаемый отче Антоние», «велемудрый... глубокопочтенный... достопоклоняемый отче».

Пародия остается пародией, но когда молодого Чехова называли «отче», «старец» и

¹ 14 янв. 1879 г. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, отдел рукописей.



даже «дед», то в прозваниях этих по-своему воплощалась действительная черта его натуры, которую сам он впоследствии называл «талантом человеческим», — острое чутье к чужой боли, природная мудрость высокой и доброй души.

«Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души»¹.

«Старец» — обычная подпись Чехова: «Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник от старца Антония» (надпись на книге «Рассказы»,

20 авг. 1897 г.). «Впрдь тебе наука: слушайся старца-иеромонаха» (в письме к О. Л. Книппер, 1 марта 1901 г.).

«Юный старец»

В 1878 году под этим псевдонимом кто-то опубликовал в журнале «Стрекоза» два маленьких стихотворения и прозаическую юмореску «Кому платить».

«Юный старец» — псевдоним редкий. Про-

¹ К. А. Коровин, Воспоминания. «Литературное наследство». М., 1960, т. 68, стр. 550—551.

мелькнув в 1878 году в «Стрекозе», он исчез и в дальнейшем в русской юмористической периодике не возобновлялся.

В специальной литературе псевдоним не расшифрован; автор, избравший для себя столь своеобразную литературную маску, до сих пор сохраняет в тайне свое настоящее имя.

По стихотворениям Юного старца судить об авторе нельзя. Это стихи не бездарные, не безграмотные, но без ярких признаков индивидуальности и таланта. По меркам «Стрекозы», где постоянно печатались откровенно тупые и пошлые вирши, их нужно считать неплохими.

АКТЕРАМ РЕМЕСЛЕННИКАМ

(Экспромт)

На сцене вижу я премного
Так называемых артистов.
Им несть числа, и мне, ей-богу,
Не до статистики статистов!¹

РАЗОЧАРОВАННЫМ

Минутами счастья,
Верьте, не раз
Живет, наслаждаясь,
Каждый из нас.

Но счастья того мы
Не сознаем —
И нам дорога лишь
Память о нем².

Причастность свою к стихотворчеству Чехов настойчиво отрицал. «Стихов никогда не писал» — это утверждение, несмотря на очевидную его неточность, повторяется в письмах Чехова множество раз.

Совершенно так же, закончив «Иванова», Чехов сообщил в одном из писем: «Пьесу я писал впервые»³. А до «Иванова» были написаны: драма «Безотцовщина», водевили «Нашла коса на камень», «Недаром курица пела», «Бритый секретарь с пистолетом», пьеса «Барин» («На большой дороге»), сцена «О вреде табака» и драматический этюд «Калхас».

Почему Чехов в данном случае столь очевидно отступил от истины, это особый вопрос. Но от истины он отступил: и ранние пьесы и ранние его стихотворения известны.

Сообщая, что в пятом классе гимназии «А. П. вообще предпочитал стихи прозе», М. П. Чехов привел (по памяти) два его четверостишия:

О поэт заборный в юбке,
Оботри себе ты губки.
Чем стихи тебе писать,
Лучше в куколки играть.

Это посвящалось девочке, которая сочиняла стихи и записывала их мелом на заборе.

Еще четверостишие — начало сказки:

Эй вы, хлопцы, где вы, эй!
Вот идет старик Аггей.
Он вам будет сказать сказку
Про Ивана и Савраску.

Другие стихи Чехова-гимназиста до нас не дошли. Но сохранился автограф стихотворения, которое написал в 1886 году вполне зрелый человек и сложившийся прозаик А. П. Чехов:

Милого Бабкина яркая звездочка!
Юность по нотам *allegro* промчится,
От свеженькой вишни останется
косточка,
От буйного пира — угар и горчица.

В приписке отмечено, что четверостишие написано «в минуту идиотски-философского настроения», то есть, нужно думать, написано всерьез. Если бы автор его не был известен, то мысль о принадлежности этой «яркой звездочки» Чехову, конечно, и в голову бы никому не пришла.

Столь же невозможно было бы связать с именем Чехова и стихи Юного старца, если бы рядом с ними не была напечатана юмористическая сценка «Кому платить».

1. «Стрекоза», 1878, № 29, стр. 6.
2. «Стрекоза», 1878, № 37, стр. 6.
3. Ал. П. Чехову, 10—12 октября 1887 г.

1 «Стрекоза», 1878, № 29, стр. 6.

2 «Стрекоза», 1878, № 37, стр. 6.

3 Ал. П. Чехову, 10—12 октября 1887 г.

КОМУ ПЛАТИТЬ

(Снимок)

В ресторане. Плотно поужинав, два франта требуют счет. Счет подан. Оба франта намеваются расплатиться. Половой ждет.

— Брось! — говорит первый, — я заплачу.

— Нет, братец, это моя обязанность.

— Не болтай пустяков! Мне именно впаля идея поужинать, значит, я и заплачу.

— Не буду же и я на твой счет ужинать!

— А зачем же мне на твой счет?

— В последний раз ты заплатил, значит, теперь моя очередь.

— Тогда мы только бутылку пива выпили...

— Все равно, я ни за что не позволю...

— Ты меня обижаешь, Саша!

— Так же как и ты меня, Коля!

— Ну, если ты непременно так хочешь...

— Так и быть: плати, плати.

— Я согласен, чтоб ты заплатил.

— Мне кажется, что я уже согласился.

— Ну, все равно, плати.

— Значит... ты не хочешь...

— Нет, напротив: но ведь ты так настаивал.

— Ну, да, я готов заплатить! Только знаешь, братец, я забыл дома бумажник. Так ты отдай, а я тебе потом заплачу.

— Вот тебе на! Со мною совершенно такой же случай. А я на тебя положился.

— Да ведь ты же сам хотел заплатить! Я тоже на тебя положился. У меня ни гроша.

— У меня столько же.

(Лицо полового вытягивается. Картина)¹.

Это бытовая ресторанный сценка с анекдотическим сюжетом. Подобные сценки, забавные и безобидные, охотно печатались и «Стрекозой», и «Будильником», и другими юмористическими журналами конца прошлого века.

Примечательно, что из десятков возможных имен Юный старец выбрал для своих персонажей определенные два: Саша и Коля.

Мало сказать, что для «ресторанных» сце-

нок юмористы подбирали обычно более колоритные имена. Например, А. А. Плещеев («Скалозуб») в родственной сюжетной ситуации предпочел Пьера и Вольдемара².

Но Саша и Коля — это старшие братья Чехова, Александр и Николай. В диалоге они друг друга так и зовут: «братец».

Можно, разумеется, считать это двойное совпадение имен простой случайностью. Но в сценке Юного старца совпадают не только имена. Комическая ситуация «Кому платить» на редкость типична для Александра и Николая.

В 1878 году оба они жили в Москве, бедствовали, зарабатывая на жизнь уроками или, при удаче, продажей картин, которые писал Николай, но, огорчая родителей, оба крепко кутили.

В Таганрог Александр писал:

«Эту зиму мы с Николаем порядочно покутили, побывали раза четыре в Стрельне. Я думаю, ты знаешь, что такое Стрельна? Это роскошный ресторан в глухом лесу в Петровском парке. Побывать в Стрельне — это верх кутежа»³.

Что такое Стрельна, Антон, вероятно, знал, потому что приезжал в Москву на пасхальные каникулы 1877 года.

В 1886 году Александр вспоминал:

«...я помню твой первый приезд в Москву... Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по тогдашнему возрасту важно ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты с сдержанным упреком сказал мне: «Ты

¹ «Стрекоза», 1878, № 45, стр. 3.

² С к-б, Садовые картинки. «Стрекоза», 1881, № 25, стр. 3.

³ 25 февраля 1878 г. «Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова». М., 1939, стр. 54.

все еще такой же ашара, как и был». Я не понял тогда и принял это за похвалу»¹.

Кутежи студенческих лет закончились для Александра и Николая неизлечимым алкоголизмом.

Явно подразумевая Сашу и Колю, Павел Егорович наказывал Антону учиться, «невзирая на вечера и театры и маскарады, как на вещи прилагательные. Друзья и приятели найдутся вас угостить в трактире ужином и винца выпить... а для Папаши все оскорбление наносится подобными поступками».

Случайно ли это: явственный биографический колорит псевдонима «Юный старец», который, всего вернее, попросту был семейным

прозвищем Чехова; характерное совпадение имен в-сценке «Кому платить»; самый сюжет сценки, столь типичной для Александра и Николая, что Юный старец, кажется, писал ее прямо с натуры; время появления этих «безделушек» (в них, кстати говоря, насчитывается именно «10—15 строк») и, наконец, место их появления — журнал «Стрекоза»?

Проблема первой публикации Чехова чрезвычайно сложна, и работа над ней завершится, быть может, лишь с открытием новых документов или бесспорных свидетельств. Ре-



¹ Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939, стр. 132—133.



зультаты разысканий, связанных с публикациями Юного старца, не дают права на решающий вывод, но, возобновляя старый спор, они позволяют предположить, что Юный старец в петербургском юмористическом еженедельнике «Стрекоза» — это, вероятно, Антон Чехов,

«ШЕЛОПАИ И БЛАГОДУШНЫЕ»

В свет эта книга так и не вышла.

Сохранилось лишь два ее экземпляра, оба — без титульных листов, без последних страниц, без оглавления.

Один из них можно увидеть под музейным стеклом в доме Чехова на Садово-Кудринской. Он заключен в переплет домашней работы. На крышке переплета написано:

«Сохранившиеся листы первого сборника рассказов А. П., не вышедшего в свет (начало 80-х годов, до «Сказок Мельпомены»). И. Чехов. 31 марта 1913. Рисунки покойного брата Николая».

Михаил Павлович — младший брат А. П. Чехова и его биограф — писал об этой книге весьма осторожно: «Я не знаю, почему именно она не вышла в свет и вообще какова была ее дальнейшая судьба»¹.

Сам А. П. Чехов о первой своей книге никому ничего не говорил и не писал, и судьба ее осталась тайной даже для очень близких ему людей — для сестры, для жены и братьев.

Догадки и гипотезы

Шло время. Тайна не раскрывалась, но обростала догадками. Повторенные множество раз, скрепленные авторитетными именами, догадки обретали видимость фактов.

Л. Светлов, например, недавно писал:

«Еще будучи студентом, Чехов задумал во второй половине 1883 года издать в Москве свой первый сборник рассказов и фельетонов под названием «На досуге», подчеркивая этим характер включенных в него произведений,

предназначавшихся для легкого и занимательного чтения»².

Между тем ни точная дата набора книги, ни ее издатель, ни заглавие, ни полный объем до сих пор не известны.

Точнее, известны по догадке.

Так, к 1883 году книга была приурочена потому, что хронологически позднейшая в ней вещь — «Летающие острова» — появилась в «Будильнике» в мае 1883 года. Поскольку Чехов обычно публиковал свои рассказы в журналах или газетах и лишь затем перерабатывал их для сборников, то и принято было считать, что книга сложилась после мая, во второй половине 1883 года, хотя остальные одиннадцать рассказов из состава книги были напечатаны в различных периодических изданиях гораздо раньше, до апреля 1882 года.

Между апрелем 1882 и маем 1883 года Чехов создал множество рассказов, из которых ни один в книгу не попал.

Как объяснить этот странный пробел, когда сами «Летающие острова», судя по характерным особенностям содержания и стиля, принадлежат поре литературного ученичества и совершенно не вяжутся с тематикой и стилем прозы 1883 года?

Возможно лишь одно объяснение: пародия перепечатывалась не из журнала в книгу, а, напротив, из приостановленной книги в журнал. Иными словами: книгу нужно датировать не 1883, а 1882 годом.

Невозможно было принять и закрепившееся за книгой заглавие: «На досуге». Привилось оно потому, что сохранился (недавно передан дочерью М. М. Дюковского в московский музей А. П. Чехова) эскиз обложки, рисованной Н. П. Чеховым: «На досуге» Антоши Чехонте. С рисунками Н. П. Чехова».

Если эскиз действительно предназначался



¹ М. П. Чехов, *Вокруг Чехова. Изд. 4-е. М., 1964, стр. 137.*

² Л. Светлов, *Недопечатанная книга Чехова. «Нева», 1964, № 7, стр. 222.*

для первой книги, то Чехов должен был отвергнуть его: на книжном рынке уже существовал юмористический сборник «На досуге» (Спб., 1878). А дать своей первой книге ходовой и к тому же весьма тривиальный заголовок Чехов, конечно, не мог.

Должно быть, у книги было иное заглавие — неизвестное нам и, вероятно, неожиданное.

Не выдерживает критики и последняя догадка: издание приостановилось потому, что Чехов не смог расплатиться с типографией.

Судя по «Сказкам Мельпомены», книга должна была стоить 150—200 рублей — расход большой, но, имея в виду реализацию тиража, для Чехова все же посильный. О «Сказках Мельпомены» он писал Н. А. Лейкину: «Издание стоит 200 руб. Пропадут эти деньги — плевать... На пропивку и амуры просаживали больше, отчего же не просадить на литературное удовольствие?»

Можно в данном случае не поверить Чехову: это юношеская бравада. Но издатель, потратившись на набор, бумагу и прочее, не стал бы бравировать, выбрасывая деньги на ветер; он распродал бы книгу сам. Так и поступил А. А. Левенсон, издатель «Сказок Мельпомены». Он же предоставил автору кредит, широко распространенный в книжном деле.

«Книжку я напечатал в кредит, — писал Чехов Н. А. Лейкину 25 июня 1884 года, — с уплатой в продолжение 4-х месяцев со дня выхода».

Книжка разошлась в полгода.

В начале 80-х годов юмористика была предприятно очень доходным. Юмористические еженедельники, «веселые сборники» и альманахи целыми дюжинами выходили на книжный рынок — выходили в нарядных обложках, с броскими заголовками. Издание их обходилось дешево. Читатель их охотно раскупал. Благонамеренной юмористике мирволила цензура: А. М. Пазухин печатал по два сборника в год.

В 1882—1883 годах выпустили свои первые книги В. В. Билибин («Любовь и смех. Веселый сборник. Соч. И. Грэк». Спб., 1882) и А. А. Плещеев («Петербургские сказки Мухи». Спб., 1883) — молодые литераторы, начинавшие в одну пору с Чеховым, но далеко уступавшие ему в таланте и мастерстве. Даже А. Педро (А. П. Подуров) издал своих «Европейцев» (Спб., 1882). Подуров жил в Самаре, выпустить книгу ему было, конечно, труднее, чем столичным собратьям по перу.

Первую книгу Чехова следовало бы выставить в музее среди бесчисленных юмористических альманашков и сборничков, среди книжиц-однодневок, сочиненных на скорую руку, изданных кое-как, чтобы воочию убедиться, какую веселую, умную книгу создали братья Чеховы, насколько превышала она средний уровень книжной продукции 80-х годов.

Отпечатанная в большом формате, хорошим шрифтом, талантливо иллюстрированная Н. П. Чеховым (заставки, концовки, рисунки пером — может быть, лучшее из того, что Николай Чехов сделал как иллюстратор), книга должна была понравиться русскому читателю, уже знакомому с веселым талантом Антоши Чехонте.

«Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию, — писал Чехов старшему брату 13 мая 1883 года, — а андрюшки дмитриевы возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на литературных вечерах рассказываются мои рассказы...»

В коммерческом успехе книги сомневаться не приходилось.

Позднее Чехов писал:

«Что книжка моя разойдется, видно из того, что даже такая дрянь, как «Сказки Мельпомены», разошлась» (Н. А. Лейкину, 1 апр. 1885 г.).

А первая книга была лучше «Сказок» — ярче, острее, изящнее.

Вот она — отпечатанная в типографии, с отпистнутыми рисунками, совершенно готовая к выпуску в свет.

Минюграфу Н. Кови

Прошение

Ваше высочайшее повеление

Симею

И много честь покорнейше просить Московский
 Цензурный Комитет выдать ей билет для
 представления в корректурный листок книги
 "Шалость" А. Тихонца, с рисунками А. П. Тихова,
 книги, в состав которой входят статьи, уже напечатанные
 одновременно в подцензурных изданиях
 статьи, которые еще не были напечатаны, будут доставлены
 в рукописи. Книга будет состоять из 5-7 печатных
 листов.

Громов 30^{го} дня 1882 года за г. Кови Н. Тихонцев

Введен 24 июня 1882 г.
 24 июня 1882 г.

Но в свет она так и не вышла.

Если собрать в логическом порядке то многое, что бесспорно известно о книге, сопоставить догадки о ней с возражениями, которые возникают по ходу исследования, то получится следующее.

Книга была набрана в одной из московских типографий в самом начале 80-х годов (как указывает И. П. Чехов, до «Сказок Мельпомены», то есть до 1884 года).

Наиболее вероятной датой нужно считать не 1883, как это принято в литературе о Чехове, а 1882 год.

Заглавие книги не известно. Гипотетическое «На досуге» принять нельзя: книга должна была называться иначе.

Издание было приостановлено, но почему это произошло, сказать без документальных данных невозможно.

Эти данные и следовало найти прежде всего.

Обнаружились они в тексте самой книги.

Книга

В книге двенадцать рассказов: «Жены артистов», «Папаша», «Петров день», «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя», «Грешник из Толедо», «Темпераменты», «Летающие острова», «Перед свадьбой», «Письмо к ученому соседу», «В вагоне», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь».

Все эти рассказы, за вычетом «Летающих островов», были опубликованы в различных временных изданиях до апреля 1882 года. Для книги Чехов их переработал — усилил, выправил, отшлифовал. Например, длинный журнальный заголовок «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху» был заменен коротким и точным: «Письмо к ученому соседу»; вместо самого Степана Владимировича N появился «отставной урядник из дворян Василий Семи-Булатов».

Это правка Чехова, и смысл ее совершенно понятен.

Но целый ряд купюр и поправок объяснить гораздо трудней.

Так, из «Письма» был удален один из персонажей — священник отец Герасим, тот самый, что «со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал мысли и идеи касательно человеческого происхождения». Место его занял некий «сосед Герасимов».

Почему?

Ведь священник, отрицающий происхождение человека «от обезьянских племен», — лицо типичное, хорошо знакомое людям 80-х годов. В эту пору церковь ожесточенно боролась с Дарвином, а цензура не пропускала в печать никаких «сочинений, заключающих в себе грубый материализм и не признающих значение и участие божественной силы в сотворении мира»¹.

Довольно было указать, что речь идет о священнике, чтобы отношение его к теории происхождения видов объяснилось само собой.

А «сосед Герасимов» — лицо совершенно нейтральное, и без особых пояснений читатель уже не поймет, почему он «со свойственным ему фанатизмом» восстал против Дарвина, почему так озлобился, узнав, что «на солнце есть черные пятнушки».

Но никаких пояснений в книге нет. Просто — «сосед Герасимов».

Подмена персонажа существенно исказила смысл «Письма», а таких подмен и поправок в книге множество.

В рассказе «Грешник из Толедо» читалась фраза: «Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека?»

В этих словах, по существу, и был воплощен смысл маленькой повести о глупом испанце и его молодой прекрасной жене. Испанцу пришлось сделать выбор: любовь



¹ Центр. гос. архив г. Москвы. Дала Московского цензурного комитета, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2172.

к человеку — любовь ко Христу, и во имя Христа он предал инквизиторам Марию.

«Нет народа глупее испанцев!.. Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они!»

В книге слова Марии опущены.

Почему? Ведь убрать их — это почти то же самое, что перечеркнуть всю повесть. Чехов дорожил еретической мыслью Марии. Позднее, в 1894 году, в «Рассказе старшего садовника» он выразил ее так:

«Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!»

В рукописи «Рассказа старшего садовника» была вымарана единственная фраза — именно эта. Как заметил Чехов, вымарали ее «страха ради иудейска».

Но в тексте первой книги были опущены и все другие упоминания и намеки, связанные с церковью, духовенством и христианской религией — все до единого, вплоть до самых незначительных, самых мельчайших. Например, фраза «На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь» напечатана так: «На башне пробила полночь». Из рассказа «В вагоне» исчез невинный эпизодический персонаж: спящий дьякон. Еще один «русский дьякон» опущен в рассказе «Жены артистов».

Складывается впечатление, что кто-то разгадал эзопов язык чеховских «португальских легенд» и «переводов с испанского» и прошелся по книге бдительным красным карандашом.

Амаранта («Жены артистов») говорила так: «Эта мне еще цензура! С тех пор, как я стала твоею, я ненавижу эту цензуру всею душою!»

В книге она говорит другое:

«...я всей душой ненавижу редакторов!»

Редакторы праят книги, цензура их запрещает.

Предположение о цензурном запрете кажется совершенно естественным. Правда, до включения в книгу рассказы Чехова печатались в подцензурных юмористических жур-

налах; но то, что дозволялось в 1880—1881 годах, не могло быть дозволено позже: 1 марта 1881 года был убит Александр II.

К. П. Победоносцев потребовал «прекратить невообразимую болтовню, которою заняты все, — чтобы меньше было праздных слов», ибо, как писал он молодому царю, «невозможно предпринять ничего прочного и существенного для водворения порядка, покуда останется полная разнузданная свобода... для газет и журналов»¹.

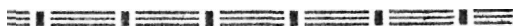
В развитие этих идей кн. П. П. Вяземский, занимавший в начале 80-х годов пост «и. д. начальника Главного управления по делам печати», указывал в циркулярном письме 25 декабря 1881 года:

«...предварительная цензура обязана не только устранять все то, что имеет прямо вредный или тенденциозный характер, но и все то, что может допускать предосудительное толкование»².

Перечитывая протоколы Московского цензурного комитета, можно наблюдать, как день за днем усиливался надзор над русской печатью.

Московский генерал-губернатор, ссылаясь на императорский указ 1879 года, потребовал от комитета, чтобы все сколько-нибудь неблагонадежное представлялось лично ему. Указ давал губернатору право запрещать и приостанавливать любые издания, помимо всякой цензуры.

Особенно придирчиво прочитывались теперь юмористические и сатирические издания: по цензуре было объявлено, что «начальник главного управления по делам печати вообще против сатирических журналов и не находит, чтобы они были необходимы для публики»³.



¹ Письма К. П. Победоносцева к Александру III, т. I. М., 1925, стр. 367.

² Центр. гос. архив г. Москвы. Дела Московского цензурного комитета, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2036.

³ «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». Спб., 1907, стр. 240.

Московский цензор Никотин был уволен от должности за либерализм. Остальные в своем рвении и бдительности подтянулись.

«Громы разверзлись страшные, — писал Чехову Н. А. Лейкин. — Мне приказано, чтобы весь запас каждую неделю посылаем был в комитет на новое рассмотрение, и мотивировано это тем, что неделю раньше могло быть дозволено, то неделю позже, вследствие некоторых циркуляров, не может быть уже дозволено»¹.

Ни одно сатирическое, как, впрочем, и любое другое издание, без предварительной цензуры в свет не выпускалось.

Архив

Дела Московского цензурного комитета хранятся в Центральном государственном архиве г. Москвы.

Старый особняк в узком консерваторском переулке, в глубине тесного двора. Крашенные полы, скрипучие деревянные лестницы.

В крошечный читальный зал приносят дела — пухлые папки, целые гроссбухи протоколов, прошитые суровой нитью, исписанные четким секретарским почерком. На переплетах пометы: «Итого в сей книге столько-то листов». Многие бумаги с грифами — «доверительно», «секретно».

Архивной пылью здесь вовсе не пахнет; дела сохраняются в образцовом порядке.

Итак, 1882 год.

Лапка прошений, с которыми, наклеив предварительно гербовую марку, обращались в цензурный комитет типографии, издательства, частные лица.

Множество осьмушек со штампом «Университетская типография. М. Н. Катков»; бумаги других известных издателей; прошения пресловутой книготорговли Леухина, — судя по неровному, колеблющемуся почерку подписи, Леухин едва ли умел писать.

Испрашиваются «билеты» — разрешения на предварительный набор книг и брошюр, с тем

чтобы цензура читала их в корректурных листах.

Если книга Чехова набиралась не в 1883 году, а, как было предположено, в 1882 году, то известия о ней хранятся в этой папке.

Бумаги, датированные апрелем 1882 года.

Прошения, поданные в мае.

Июнь: восемьдесят восьмой, девятый, девяносто первый листы.

Наконец лист дела девяносто пятый.

Верхний левый угол его, где обычно пишутся резолюции, оборван. Осталось одно четко и мелко написанное слово: «отказать».

На этом тщательно подклеенном и разглаженном листе написано:

«В Московский цензурный
комитет
Типографии Коди

Прошение

Имеет честь покорнейше просить Московский Цензурный Комитет выдать ей билет для представления в корректурных листах книги под заглавием «Шелопай и благодущные». Альманах Антоши Чехонте с рисунками Чехова, в которой будет 7 печатных листов.

За г. Коди К. Яхонтов.

Июнь 19 дня 1882 г.»².

Название у первой книги Чехова оказалось совершенно неожиданным: «Шелопай и благодущные».

И — теперь это не догадка, а факт — набиралась она не в 1883, а в 1882 году, в той самой типографии, где печатался юмористический журнал «Зритель».

Но обнаруженный в папке прошений документ неполон: что же было написано на верхнем оборванном клочке, от которого осталось одно только слово — «отказать»?

В книге протоколов под 19 июня 1882 года отмечено:

¹ «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 240—241.

² Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 1, оп. 3. ед. хр. 2251, л. 95.



Видь столичнаго города Лиссабона,
(Улица Четырехъ Гробоконателей).

«Слушали:

3. Прощение типографии Коди о корректурном билете на предварительный набор книги под заглавием: «Шелопай и благодущные». Альманах Антоши Чехонте с рисунками». 7 печатных листов. Определено: по неимению в виду закона для разрешения настоящего прошения — отказать»¹.

Определение написано таким классическим чиновничьим языком, что до смысла удается добраться не сразу. Вероятно, прошение было подано не по форме, с нарушением какой-то буквы цензурного делопроизводства.

Но тогда типография Коди должна была возобновить прошение, написав его так, чтобы

канцеляристам из цензурного комитета не к чему было придаться.

Снова листается книга прошений.

Лист 155.

«Типографии Н. Коди

Прощение

Имею честь покорнейше просить Московский Цензурный Комитет выдать ей билет для представления в корректурных листах книги «Шалость» А. Чехонте, с рисунками Н. П. Чехова, книги, в состав которой входят статьи, уже печатавшиеся разновременно в подцензурных изданиях. Статьи, которые

¹ Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2173, л. 125 об.

еще не были напечатаны, будут доставлены в рукописи. Книга будет состоять из 5—7 печатных листов.

Июня 30-го дня 1882 года.

За г. Коди К. Яхонтов»¹.

В новом прошении обойдены все подводные камни: изменено заглавие книги; предусмотрительно указано, что рассказы уже прошли цензуру; наконец, обещано представить в рукописи то, что до книги в печати не появлялось (в рукописи могли быть представлены лишь «Летающие острова», пародия на Ж. Верна).

Самое любопытное: этот документ — неизвестный автограф Чехова.

В книге протоколов 30 июня 1882 года отмечено:

«Слушали:

2. Прошение типографии Коди о разрешении представить к цензору книгу «Шалость» А. Чехонте с рисунками — в корректурных листах (до 7 печ. л.). Определено: разрешить и выдать билет на имя цензора Федорова»².

На самом прошении две пометки: «Выдать установленный билет» и «Выдан 30 июня 1882 г. за № 958, цензор Федоров».

Цензор Федоров. Судя по делам комитета, суровый цензор и влиятельный чиновник. Имея чин действительного статского советника, Федоров был старшим среди своих коллег. В 1882 году его назначили председателем Московского цензурного комитета.

Под его председательством 9 ноября 1883 года состоялось заседание комитета, где цензор Леонтьев столь резко оценил рассказ Чехова «В море» (мнение цензуры об этом рассказе известно до сих пор не было):

«За последнее время бесцензурная еженедельная газета «Мирской толк», издаваемая Пушкаревым, стала, как известно уже по докладам г. Назаревского, все более и более обнаруживать свое вредное направление. Последние два нумера ее (40 и 41) почти сплошь

составлены из статей более или менее непозволительного духа... Обращаю внимание Комитета на <...>

2) В море, перевод с английского. Ужасный рассказ про пастора, который продает на 1-ю ночь свою новобрачную богатому банкиру, и про двух матросов, отца и сына, которые вместе готовят себе в стенке отверстие, чтобы посмотреть на дела этой ночи»³.

Стало быть, книга Чехова попала к главе московской цензуры.

Дальнейшая ее судьба в архивных документах не отразилась. Ни в протоколах заседаний комитета, ни в списке книг, разрешенных к печати в 1882—1883 годах, ни среди черновиков цензурских донесений — о «Шелопаях и благодушных» или «Шалости» А. Чехонте нет ни слова.

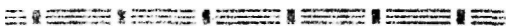
Остается поэтому привести последний документ — свидетельство самого А. П. Чехова.

Договариваясь с Н. А. Лейкиным об издании «Пестрых рассказов», Чехов писал:

«В Москве находятся издатели-типографы, но в Москве цензура книги не пустит, ибо все мои отборные рассказы, по московским понятиям, подрывают основы...» (1 апр. 1885 г.).

Поскольку «Сказки Мельпомены» цензурных препятствий не встретили, слова Чехова можно связать только с судьбой первой книги.

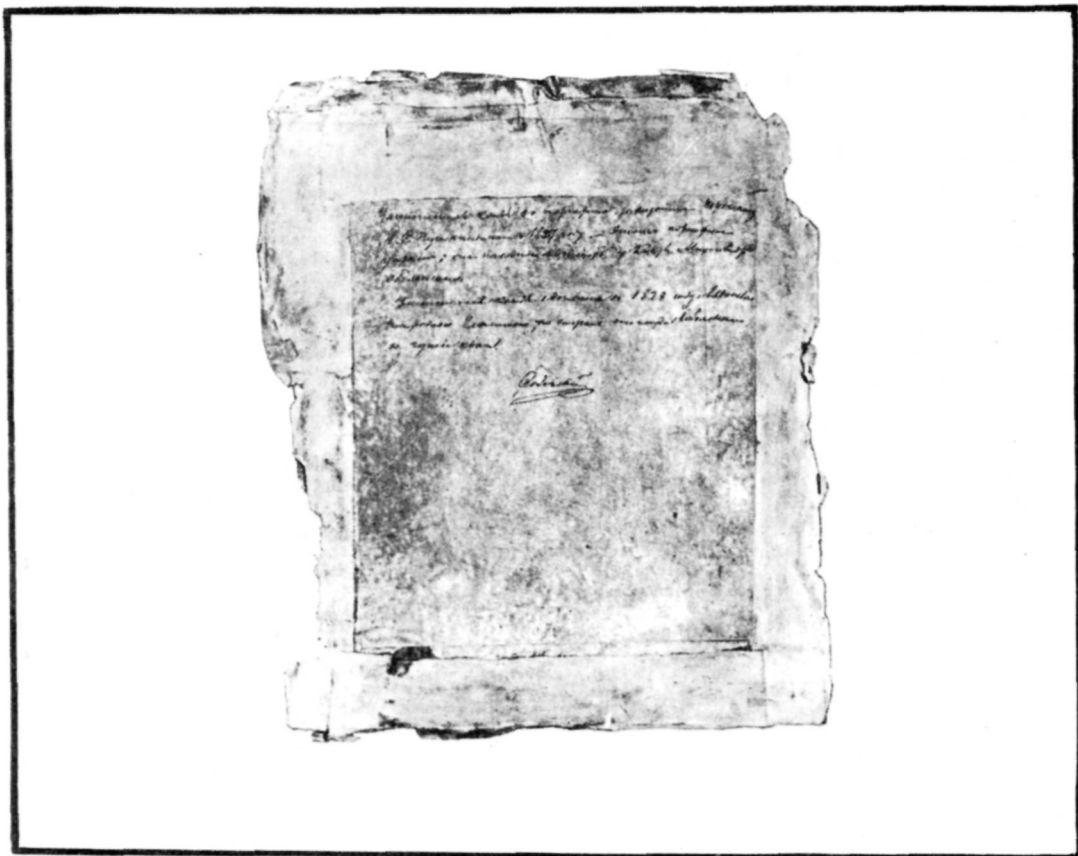
В них и заключен ответ на вопрос о том, почему книга не увидела свет: цензура запретила ее, ибо отборные рассказы Чехова подрывали основы.



¹ Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2251, л. 155.

² Там же, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2173, л. 134.

³ Там же, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, лл. 208—210.



Н. Баранская
„По случаю отъезда
Соболевского в чужие
края...”

Всем известен портрет Пушкина кисти Василия Андреевича Тропинина, подаренный поэтом Сергеем Александровичу Соболевскому (1803—1870) и находящийся теперь во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде. Но не все знают историю этого портрета, загадочно исчезнувшего из дома, куда Соболевский отдал его на сохранение, уезжая за границу, и случайно обнаруженного через 20 лет в лавке антиквара.

Может быть, не стоило бы и вспоминать эту историю, так и оставшуюся неразгаданной до конца, если бы недавно не была найдена уменьшенная копия со знаменитого портрета, сделанная еще при жизни поэта, в 1827 году.

Задача этой статьи — рассказать об этой копии, хранящейся сейчас в музее А. С. Пушкина в Москве, история же тропи-

нинского портрета вспоминается здесь попутно¹.

Известно, что портрет Пушкина был написан Тропининым в первые месяцы 1827 года. Сеансы происходили на Ленивке в доме, где жил художник. Первый отзыв о недавно законченном портрете появился в «Московском телеграфе» в июне 1827 года — Н. А. Полевой отмечал поразительное сходство с оригиналом и упомянул о том, что портрет принадлежит Соболевскому².

В ноябре 1828 года Соболевский отправился в заграничное путешествие. Перед отъездом он передал на сохранение своему приятелю Ивану Васильевичу Киреевскому библиотеку и портрет. Киреевский жил в доме матери, Авдотьи Петровны, по второму мужу — Елагиной, у Красных ворот. Дом этот, сохранившийся до наших дней, — каменный. Соболевский снимал квартиру в деревянном доме на Собачьей площадке и, как видно, побоялся оставить там ценные вещи без присмотра.

Через пять лет, в 1833 году, Соболевский вернулся. Портрет Пушкина находился в той же раме, в какой он его оставил. Однако, «к ужасу и огорчению Авдотьи Петровны, — как рассказывает ее внучка Мария Васильевна Беэр, — «Соболевский» объявил, что портрет подменен, что это — плохая его копия, которую он взять не хочет...»³.

Загадочное исчезновение портрета должно было породить в свое время множество толков и предположений, но до нас дошло лишь то, что проникло в печать и сохранилось в двух письмах Соболевского к Погодину. Все эти свидетельства относятся к 60-м и 70-м годам прошлого века. Почему же именно в эти годы всплыла в памяти современников старая история? Вероятно, потому, что в 1860 году была опубликована фоторепродукция тропининского портрета Пушкина, найденного в 1850-х годах, а в 1868 году портрет впервые попал на выставку и стал доступен для широкого обозрения.

Однако происшествие тридцатилетней давности потускнело в памяти тех, кто имел касательство к портрету. Две версии рассказов о пропаже портрета, проникшие в печать в 1860-х годах, подробно разбирает в упомянутой уже работе В. Згуры. К сожалению, исследователь отказался рассмотреть заметки, опубликованные М. П. Погодиным в его газете «Русский». Между тем за текстом одной заметки (№ 119, 1868 г.) скрылось письмо Соболевского, адресованное Погодину.

Автографы этого письма, а также заметки Соболевского о портрете Пушкина были затем обнаружены в архиве Погодина. Оба относятся к 1868 году⁴.

Свидетельства самого Соболевского, лица непосредственно заинтересованного, особенно же документальные свидетельства, а не устные рассказы, записанные другими, должны считаться наиболее надежным источником сведений о портрете. Для нас они интересны и тем, что в них упоминается наша уменьшенная копия.

Сохранилось четыре таких написанных Соболевским документа, относящихся к тропининскому портрету.

Если рассматривать их в хронологическом порядке, то первым является заметка о портрете, предназначавшаяся Соболевским для газеты Погодина. Погодин использовал ее, правда, лишь как материал для своего отзыва о выставке портретов, организованной Обществом любителей художеств в Москве, причем использовал вольно, изменив ряд фактов (газета «Русский», 1868 г., № 116). Недовольный этим Соболевский написал Погодину письмо. Это уже второй документ, содержащий данные о происшествии с тропининским портретом Пушкина.

Вот это письмо:

«Батюшка Михаил Петрович — генерал, а повираете не хуже нашего брата, обер-офицера!

¹ Вспомнить эту историю полезно, так как многое в ней до сих пор излагается неправильно. Например, в очерке Б. Бродского в его книге «Из жизни великих творений», 2-е изд. М., «Советский художник», 1963, в альбоме «Пушкин в изобразительном искусстве». М., 1961. Давно уже все ошибки и неточности двух версий пропажи были разобраны в статье В. Згуры «Портреты Пушкина работы Тропинина» («Московский пушкинист», вып. I. М., 1930). Многие уточнились и после публикации документов из архива М. П. Погодина («Литературное наследство», т. 58. М., 1952, стр. 344—347). Уменьшенная копия 1827 года также способствует уяснению некоторых непонятных ранее обстоятельств.

² «Московский телеграф», ч. XV, № 9, стр. 33—34. Дата выхода этого номера — 6 июня 1827 г. — указана Т. Г. Цяпловской в статье «Новонайденный автограф Пушкина (Эпиграмма на Булгарина)». «Русская литература», 1961, № 1, стр. 120.

³ Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Имп. Академии наук в Санктпетербурге, май 1899. М., 1899, стр. 7—8.

⁴ Публикация Л. Ивановой и Е. Коншиной. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 344—347.



1) Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами. (Стоил он ему 350 руб.).

2) О портрете, яко мне принадлежащем, было сказано в 18 номере «Телеграфа» за 1827-ой г.; итак, это было не в 30-х годах, как Вы изволите глаголить.

3) Я уехал за границу в 1828-м году и увез с собою уменьшенную копию, сделанную нарочно на сей предмет Авдотьею Петровною.

Между нами. Основываясь на статье «Телеграфа» 1827-го года и имея свидетелей, что портрет был у меня похищен, — не учинить ли мне иск о возвращении украденной у меня собственности? Как Вы думаете??»¹

Здесь Соболевский указывает Погодину его ошибки. Именно это письмо, правленное Погодиным, и было, как я уже говорила,

без всякой подписи напечатано в № 119 «Русского» под заголовком «Еще заметка о портрете Пушкина». Погодин сделал к нему такое примечание: «Рассказ во второй заметке совершенно ложный и показывает только, каким искажениям подвергается истина между современниками». Что именно имел он в виду, неясно. Возможно, ему просто не понравилось, что Соболевский указал его ошибки. Примечание Погодина неосновательно. Из трех сделанных Соболевским в его письме поправок к опубликованному в № 116 газеты Погодиным материалу правильность двух подтверждается документально: это датировка тропининского портрета Пушкина 1827 годом и время отъезда Собо-

¹ «Литературное наследство», т. 58. М., 1952, стр. 344.

левского за границу (ноябрь 1828 г.)¹. Теперь найден еще один документ, подтверждающий основательность данных Соболевского, — это упомянутая в его письме уменьшенная копия. Естественно, что и третья поправка Соболевского вызывает полное доверие: Соболевский подчеркивает, что портрет заказывал Тропинину сам Пушкин.

Судя по тону Соболевского, его задела бесцеремонная правка Погодина, настаивавшего на том, что портрет Тропинину заказал не Пушкин, а Соболевский.

Если говорить об ошибках, то в приведенном письме есть одна неточность — неверно указан номер «Телеграфа» с отзывом о портрете. В целом же письмо убеждает, что Соболевский, которому в это время было 65 лет, имел хорошую память.

Вернемся теперь к первому документу — заметке Соболевского, использованной Погодиным для отзыва о выставке. Мне хочется привести ту часть заметки, где Соболевский выступает как участник событий.

Вот что помнит он, как непосредственный свидетель:

«Портрет Ал<ександр> С<ергеевич> заказал Тропинину для меня и подарил мне его на память в золоченой великолепной рамке.

Уезжая за границу, я оставил этот портрет одному приятелю (И. В. Киреевскому)...

По возвращении моем из-за границы (где я провел 5 лет) оказался:

1) Что приятель... портрет и библиотеку (далеко не всю) передал другому приятелю... (Шевыреву).

2) Но тут очутилось, что в великолепной рамке был уже не подлинный портрет, а скверная копия с одного, которую я и бросил в окно.

О том, кто дал зевка К<иреевский> или Ш<евырев> — следы простыли².

Между тем подлинник нашелся у к. Оболенского, который купил его за 50 руб. у Бардина, известного плута и мошенника. Осталась у меня только очень уменьшенная копия, сделанная для меня Авдотьей Петровной Елагиною, для того, чтобы иметь возможность возить оную с собою за границей³.

Опущенную часть заметки, передающую предполагаемые обстоятельства пропажи портрета с чужих слов, мы еще рассмотрим.

Два приведенных документа содержат основные данные о портрете. Третий и четвертый — это аннотации Соболевского

к этюду Тропинина маслом на доске⁴ и нашей уменьшенной копии.

К истории пропажи портрета эти аннотации не прибавляют ничего существенного; они говорят о том, что обе вещи принадлежали Соболевскому, поясняют историю самих вещей и свидетельствуют еще раз о том, как глубоко был огорчен Соболевский утратой тропининского портрета Пушкина.

Аннотация к этюду состоит из двух частей. Первая — надпись по-французски на оборотной стороне доски, вторая — надпись по-русски на бумажной наклейке, повторяющая более распространено французскую:

«Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который и подарил Соболевскому. Этот портрет украли. Он теперь у кн. Мих. Андр. Оболенского. Для себя Тропинин сделал настоящий эскиз, который после него достался Алексею, после Алексея был куплен Н. М. Смирновым, а после Смирнова (ок. 3 марта 1870 г.) подарил его Соболевскому. Апрель 1870. Соболевский»⁵.

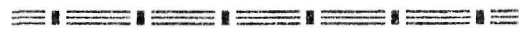
Аннотация к уменьшенной копии сделана Соболевским на картонном заднике, сохранившемся от старой окантовки портрета:

«Уменьшенная копия с портрета, заказанного Тропинину А. С. Пушкиным в 1827 году. — Этот портрет украли; он находится теперь у князя Мих. Андр. Оболенского.

Уменьшенная копия сделана в 1828 году Авдотьею Петровною Елагиною по случаю отъезда Соболевского в чужие края.

Соболевский».

В этой аннотации нет даты, но тонкий изящный почерк Соболевского и росчерк в подписи такие же, как в его письмах конца 1860-х годов. И здесь почти в тех же выражениях, как и в аннотации к этюду,



¹ По письму Н. М. Языкова из Дерпта. См. «Литературное наследство», т. 58, стр. 346, примеч. 5.

² Следует заметить, что за пять лет отсутствия Соболевского И. В. и П. В. Киреевские и С. П. Шевырев также выезжали за границу. Первые в 1829—1830, второй в 1829—1831 годах.

³ «Литературное наследство», т. 58, стр. 344.

⁴ Хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина.

⁵ Князь Михаил Андреевич Оболенский — археограф, директор московского архива Министерства иностранных дел; Алексеев Николай Степанович (умер в конце 1850-х годов) — друг Пушкина по Кишиневу, москвич; Николай Михайлович Смирнов — муж А. О. Россет-Смирновой (умер 4 марта 1870 года); подарили после Смирнова — вероятно, вдова его.

говорится о пропаже тропининского портрета. Вероятно, обе аннотации сделаны в одно время.

Что же представляет собой уменьшенная копия, странствовавшая вместе с Соболевским по «чужим краям»?

Это живопись на тонком полотне размером 26X21,5 сантиметра, примерно в одну шестую подлинника. Когда портрет поступил в музей, полотно было сплошь наклеено на картон. Видно, что портрет был сначала заключен в паспарту и окантован. Об этом свидетельствовала и оставшаяся кое-где по краю полотна узкая полоска золоченой тисненой бумаги, так называемого «бордюра», и наклеенная по всему периметру картонного задника полоса плотной бумаги, оборванная по краю. Когда-то окантовка была разрушена, и портрет вместе с задником был вставлен его владельцами в рамку из золоченого багета. Но рамка была мала, стекла не было. От долголетнего небрежного хранения полотно покоровилось, живопись покрылась толстым слоем копоти и грязи, а в одном углу была потерта. Портрет нуждался в реставрации.

Реставрацию произвел художник А. Д. Корин. Он дублировал холст (наклеил на новый), укрепил красочный слой и промыл портрет. После реставрации копия приняла свой первоначальный вид, краски ожили.

Старая копия со знаменитого портрета Пушкина представляет для нас тройную ценность — мемориальную, художественную, документальную, вещь эта идет из круга близких знакомых Пушкина. Портрет написан в доме, где Пушкин бывал, подарен другу поэта, сопровождал этого друга в долгих странствиях. Потом, когда исчез подлинный тропининский портрет, когда не стало Пушкина, эта небольшая копия была памятью о великом поэте среди его друзей и в течение двадцати с лишним лет, пока подлинник был где-то скрыт, напоминала о созданном Тропининым образе.

Поставим портреты рядом, для того чтобы посмотреть, насколько наша копия близка к подлиннику. Она выполнена на хорошем профессиональном уровне, в композиции и колорите следует подлиннику, но не передает живости тропининского мазка. Нет быстрого, полного мысли взгляда поэта, сглажена характерность его лица — меньше выдаются вперед нос и губы, уменьшен рот, смягчен его рисунок, округлен подбородок, меньше и аккуратнее ухо, не прикрытое здесь волосами, тоньше и длиннее шея.

Все эти, казалось бы, небольшие изменения значительно меняют образ, созданный Тропининым: в копии А. П. Елагиной Пушкин кажется юным, мягким, даже несколько женственным. Копия не передает главного — той внутренней силы и движения, которые ощущаются в тропининском портрете.

Когда же была сделана эта копия? Соболевский называет 1828 год. В архиве Елагиных было обнаружено письмо Авдотьи Петровны, где она упоминает о портрете и откуда мы узнаем, что к июлю 1828 года портрет уже был подарен Соболевскому. Она пишет своему другу и родственнику В. А. Жуковскому: «На днях у вас будет Соболевский по комиссии Вяземского и привезет от меня поклон... велите ему показать себе портрет Пушкина моей работы, и если что вам вздумается передать нам, то с ним можете, ибо он скоро опять сюда будет». Письмо помечено «28 июля»¹.

Однако выясняется, что портрет был сделан раньше. Сохранилась копия письма И. В. Киреевского к С. А. Соболевскому от 30 августа 1827 года, в которой читаем: «Матушка велела тебе сказать, что Пушкина получишь скоро, ибо он почти сух»².

Итак, Елагина кончала копию в августе 1827 года. Значит, тропининский портрет был передан Соболевским в дом Елагиных задолго до его отъезда. Известно, что сборы его затянулись.

Знала ли Авдотья Петровна до этого Пушкина, видела ли его, сказать трудно. Известно, что Пушкин был у нее в доме в конце 1828 года, когда он заезжал к И. В. Киреевскому, чтобы отобрать из оставленной Соболевским на хранение библиотеки свои книги, и что он посещал весной 1830 года жившего у Елагиных поэта Н. М. Языкова³.

Мы знаем еще один портрет Пушкина работы А. П. Елагиной — силуэт в ее альбоме на одном листе с силуэтами Е. А. Баратын-

¹ Эта выдержка из письма опубликована в статье А. Д. Соимова «Новые материалы о Пушкине и П. В. Киреевском», «Известия АН СССР. Отделение языка и литературы», М., 1961, вып. 2, стр. 145. Дата 28 июня указана неправильно (см. подлинник. Рукописный отдел Ленинской биб-ки, ф. 104, карт. VII, № 30).

² Цитирую по выписке, сделанной из копии письма Т. Г. Цяпловской в 1940 году в архиве Гослитмузея, и пользуюсь случаем поблагодарить ее за все ценные указания.

³ «Пушкинская Москва». Путеводитель под ред. М. А. Цяпловского. М., «Московский рабочий», 1937, стр. 142.

ского и П. Я. Чаадаева, которые постоянно бывали у Елагиных-Киреевских. Силуэт датируется концом 1820-х годов¹. Это изображение поэта, если сопоставить его с другими силуэтами и профильными автопортретами, также сглаживает и смягчает характерные черты Пушкина.

Итак, Соболевский в конце 1828 года отправился путешествовать и увез с собой подарок Авдотьи Петровны, оставив в елагинском доме у ее старшего сына тропининский портрет Пушкина. Вернулся Соболевский почти через пять лет, в июне 1833 года, и приехал прямо к Елагиным. У них он и остается на первое время.

Вот тогда-то и обнаружилась пропажа тропининского портрета, подмененного неточной его копией (назовем ее копией-подделкой). Разыгралась сцена, которую помогает представить рассказ внучки Елагиной и свидетельство самого Соболевского. Продолжим цитату из рассказа М. В. Безр, приведенную в начале этой статьи:

«Когда Соболевский возвратился и приехал за портретом, то, к ужасу и огорчению Авдотьи Петровны, объявил, что портрет подменен, что это — плохая копия, которую он взять не хочет. Никто из Елагиных не замечал разницы, и Авдотья Петровна очень рассердилась на Соболевского, считая это одною из его причуд. С этою уверенностью и жила бабушка почти 40 лет, когда совершенно неожиданно и таинственно всплыло наружу, что Соболевский был прав»².

Эту часть воспоминаний М. В. Безр подтверждает сам Соболевский. Напомню еще раз, что он писал Погодину:

«...тут очутилось, что в великолепной рамке был уже не подлинный портрет, а скверная копия с одного, которую я и бросил в окно».

Судить о том, каков был накал этого разговора, дает возможность не только эксцентричный поступок Соболевского, но и поведение Авдотьи Петровны в другом подобном же случае, о котором вспоминает она сама. Вот еще один документ того времени: ее письмо к Жуковскому от 29 сентября 1828 года. Из него мы узнаем, что когда-то Жуковский оставил ей на сохранение часть своей библиотеки, а впоследствии обнаружил, что многих томов не хватает. Между ними тоже происходило объяснение:

«Помните, некогда вы упрекали меня, что я худой сторож вашего имения, я огорчилась, ревели, плакала, бранилась, и вышло, что я кругом виновата! — Теперь муж в деревне нашел какой-то сундук запер-

той, запечатанной И запрятанной далеко...» (подчеркнуто мною. — **Н. Б.**)³.

Но вернемся в дом у Красных ворот, к Елагиной и Соболевскому. Соболевский видит, что портрет подменен, — он огорчен, возмущен; Авдотья Петровна сердится и с большим упорством убеждает его, что это невозможно, что он ошибается; Соболевский выходит из себя, и «скверная копия» в тяжелой раме летит в открытое окно.

Однако она не пропала, а была подобрана, внесена обратно в дом и появилась на юбилейной пушкинской выставке 1899 года в Петербурге. Репродукция ее была опубликована в альбоме выставки. Владельцы портрета, как это ни странно, настаивали на авторстве Тропинина. Впоследствии копия эта была передана в Русский музей, а оттуда в Пушкинский дом. Сейчас она находится в экспозиции музея Института русской литературы в Ленинграде. И хотя давно доказано, что это не точная копия с тропининского портрета поэта, уводящая далеко от образа, созданного знаменитым портретистом⁴, портрет почему-то до сих пор аннотируется как авторское повторение Тропинина.

Выдержка из письма Елагиной говорит нам о том, что в доме Елагиных не было особого порядка и присмотра за имуществом. Портрет давали копировать какому-то художнику, как это вспоминают Соболевский и Погодин. Соболевский в заметке для газеты «Русский» пишет, что И. В. Киреевский, которому был отдан портрет на сохранение, в отсутствие Соболевского давал его крепостному живописцу «для добывания копиями барышей». Погодин исправил это место по-своему: «У которого-то из них, первого или второго (т. е. И. В. Киреевского или С. П. Шевырева — **Н. Б.**), крепостной живописец (я помню его — звали его Александром) выпросил портрет для снятия копии, — и возвратил не портрет, а копию»⁵. Никто не следил за копиистом,

¹ См. в изд. «А. С. Пушкин в изобразительном искусстве» под ред. Э. Голлербах. Л., ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1937, стр. 4 и 117—118.

² «Почти сорок лет» — неточность. Тропининский портрет обнаружился в 1850-х годах.

³ Рукописный отдел Библиотеки имени Ленина, ф. 104, к. VII, № 30.

⁴ См. указанную работу В. Згуры и комментарий к портрету в уже названном альбоме под ред. Э. Голлербах.

⁵ Газета «Русский», 1868, № 116. Выставка портретов в Обществе любителей художеств.

и он вставил в «великолепную», то есть золоченую резную или лепную, раму вместо похищенного шедевра свою копию. Подмены не заметили и о портрете забыли, как некогда забыли о сундуке с книгами Жуковского.

После смерти Соболевского уменьшенная копия вернулась к Елагиным. Как это произошло?

Об этом мы узнаем из примечания издателя «Русского архива» П. И. Бартенева к публикации Н. В. Берга «Из рассказов С. А. Соболевского». Приводим его полностью:

«Упомянутая выше копия с тропининского портрета Пушкина была подарена Соболевскому Елагиными, и мы пользуемся здесь случаем заявить, что многократно в нашем присутствии покойный Соболевский выражал желание, чтобы по смерти его этот портрет был возвращен в дружеский ему дом Елагиных»¹.

До сих пор все считали, что слова Соболевского относятся к копии-подделке. Но как могли бы Елагины подарить Соболевскому копию, выброшенную им в окно в приступе огорчения и гнева? И как мог бы Соболевский вспоминать об этом подарке как о проявлении дружеского чувства?

Конечно же, переданное Бартевыми желание Соболевского относится к нашей маленькой копии и объясняет, каким образом этот портрет оказался у Авдотьи Петровны, а затем и у правнука ее Андрея Сергеевича Безра, передавшего его в музей.

Кто знает, не довелось ли и Пушкину держать в руках этот небольшой портрет, когда он встретился с вернувшимся из-за границы Соболевским в доме Елагиных 26 августа 1833 года — в один из своих приездов в Москву?²

Такова история уменьшенной копии, как бы вплетенная в историю тропининского портрета Пушкина. Теперь, когда опубликована эта копия, сделанная Авдотьей Петровной, следует предостеречь от путаницы: название «елагинская копия» закрепилось в литературе за копией-подделкой. По сути же, «елагинской копией» следует называть маленькую копию, написанную самой Елагиной.



¹ «Русский архив», 1871, № 1, стр. 193.

² Дата указана в статье А. Д. Соймонова, стр. 150.

М. Андреевская Вокруг одного портрета

Если о старинном портрете известно, кто здесь, кем и когда изображен, то это далеко не всегда исчерпывает все содержание вещи. У нее часто бывает своя история, и она тянет за собой события и судьбы, связанные с разными людьми и наполненные колоритной жизнью ушедшей эпохи.

Так случилось и с акварельным портретом И. К. Айвазовского работы Ст. Рымаренко. Этот портрет, приобретенный Государственным музеем А. С. Пушкина в 1961 году, нигде прежде не упоминался и в иконографии Айвазовского не был известен.

Вырезанный по овалу, портрет был вклеен в овальное же тисненное паспарту и вставлен под стекло в раму. В двух местах у нижнего края овала виднелись следы отрезанной подписи: слева около руки — верхняя часть заглавной буквы «Р», а справа под локтем — остатки даты: «12 Д...» Вдоль нижнего края на листе шла отчетливая подпись карандашом: «Рисоваль Ст. Рымаренко. 12 Дек. 1846. СПбургъ». Ниже, между тиснений паспарту, еще одна надпись карандашом: «И. К. Айвазовский».

Айвазовский изображен на этом портрете по пояс, в распахнувшемся коричневом сюртуке, заложив левую руку за борт желтого клетчатого жилета. Сомкнутые губы легко улыбаются, глаза блестят, лицо оживленное. Белый воротничок ослепителен рядом с черными бакенбардами и кудрявыми черными волосами.

Этот портрет очень отличается от других известных портретов Айвазовского. Сделанные разными художниками, они обычно сходятся в основных моментах трактовки лица и характера: лицо длинное, тяжеловатое, вы-

сокий лоб, длинный нос с горбинкой, длинные губы, изогнутые и крупные; в выражении — большая уравновешенность, мягкость, умиротворенность, иногда даже величавость. Лицо значительное и спокойное.

Но, видимо, сам себя Айвазовский воспринимал и чувствовал не всегда таким. Наиболее яркое тому доказательство — его автопортреты и особенно знаменитый автопортрет 1874 года. В нем подчеркнута присутствует то романтическое, неуспокаивающееся начало, которое знакомо нам по неповторимому и эффектному хаосу стихий в морских пейзажах Айвазовского и которое так не вяжется с невозмутимостью Айвазовского на портретах работы других художников.

Вдохновенность, приподнятость, может быть во многом внешняя, отличают облик Айвазовского на этом автопортрете. Непokoйный поворот: корпус повернут влево (в тон порывистому движению топорщатся острые уголки широкого галстука), а голова — вправо на три четверти. В благообразную прическу вторгается рассчитанная небрежность. Контрастное освещение снимает мягкость и сглаженность лица. Световой блик попадает как раз на границу радужной оболочки и белка, это, как всегда, усиливает яркость и выразительность глаз. Они следят за чем-то вне портрета и не смотрят на вас, они полны совершающейся в них жизнью и зафиксированы именно в момент оживленной мысли.

Таким чувствовал и видел себя сам художник. Остановиться на этом автопортрете так подробно пришлось потому, что именно к нему по своей праздничности и романтичности приближается Айвазовский на акварели Рымаренко, хотя его лицо лишено здесь внутренней значительности, миловидно и даже немного конфетно, полно радости и легкости.

Естественно, возник вопрос: кто же этот Ст. Рымаренко, который далеко отошел от портретной характерности лица Айвазовского и приблизил портрет скорее к настроению творчества Айвазовского и к взгляду художника на самого себя?

Ни в каталогах, ни в справочниках имени Ст. Рымаренко не встречалось.

Но последний владелиц портрета указал две интересные публикации: во-первых — напечатанные в «Прибавлениях к Харьковскому губернским ведомостям» за 1865 год в № 28—34 записки Ст. Рымаренко об И. К. Айвазовском; во-вторых — воспроизведенный в журнале «Иллюстрация» № 34 за 1846 год гравированный портрет Айвазовско-

го, очень близкий к акварельному его портрету работы Ст. Рымаренко.

Предположение о том, что гравюра была сделана с акварели, отпало сразу же: гравюра публиковалась в сентябрьском номере журнала за 1846 год, а Рымаренко поставил на своей акварели дату — декабрь 1846 года.

Гравюра имела имя мастера: ее резал по дереву Бируст (Birouste sc.) — надпись на гравюре), работавший в 40-х годах XIX века гравер. Он включен Д. А. Ровинским в его «Подробный словарь русских граверов XVI—XIX веков» как «Бируста» (стр. 84). Известно, что этим художником гравированы были произведения Домье и Монье¹. Кроме имени гравера, на гравюре была монограмма (R. Z.), скрывающая инициалы автора оригинала, но расшифровать эту монограмму по справочникам не удалось.

По-видимому, Ст. Рымаренко скопировал опубликованную гравюру и при этом внес в нее сильные изменения. Действительно, во всех деталях позы и одежды акварельный и гравированный портреты Айвазовского совпадают, но резко отличаются в трактовке головы и лица. На гравюре у Айвазовского глубоко запавшие вдумчивые глаза, широкий большой лоб, мягкие, слегка волнистые волосы. Он похож на другие свои портреты. А на акварели — сплошные «отступления» от привычного облика Айвазовского: крутые кудри вокруг небольшого лба, густые дуги черных бровей, глаза полны блеска, радости и кокетства.

Встал другой вопрос: если Ст. Рымаренко писал Айвазовского в 1846 году не с натуры, а копировал гравюру, то по крайней мере был ли он знаком с Айвазовским, видел ли его?

Отвечают на этот вопрос напечатанные Ст. Рымаренко воспоминания об Айвазовском. Он так описывает их первую встречу: «С 1850 года я жил в Харькове в доме Н. Д. Алфераки. В половине сентября 1854 года, рано утром, вместе с С. О. Шилкиным, в сотый раз любовался я картинами Айвазовского «Константинополь при луне», «Остров Хиос при закате солнца» и «Одесский маяк в лунную ночь»; безмолвно стояли мы (перед деревним) Истамбулом!.. вдруг раздаются твердые шаги по паркету залы... оглядываемся — перед нами высокий, стройный мужчина, в дорожном костюме, запылен-

¹ См. «Les graveurs du XIX siècle. II. Paris, Birouste». 1885, p. 77.



ный, но внушавший с первого взгляда какую-то невольную, необъяснимую к себе симпатию. Это был Иван Константинович Айвазовский. Еще прежде Шилкин знал его и назвал по имени; тогда Айвазовский, обратясь ко мне, сказал: «Адресуюсь к вам от имени хозяина этого дома, моего искреннего приятеля. Я бежал из Крыма — приютите меня!» На другой же день я нанял для него квартиру на Екатеринославской улице, в доме бывшем И. О. Калиниченко; мебель и все необходимое для хозяйства было доставлено мною из дома Алфераки, этой, как говорится, полной (в то время!) чаши. С первого же дня приезда Айвазовского в Харьков он пригласил меня бывать у него во всякое время. Воспользовавшись таким искренним приглашением, я проводил в мастерской зна-

менитого художника все свободное от занятий время»¹.

Таким образом, становится ясно, что Ст. Рымаренко скопировал в 1846 году портрет Айвазовского задолго до знакомства с ним. Должно быть, поэтому Айвазовский на этой копии и вышел не столько похожим на самого себя, сколько близким к настроению своих произведений, которые, конечно, знал и любил Ст. Рымаренко. На акварели как бы Айвазовский-«представление» — художник, как он рисуется воображению почитателя его творчества.

¹ «Прибавление и Харьковским губернским ведомостям» № 29 за 1865 год от 19/III, стр. 196.

В июне 1963 года «Советская культура» напечатала небольшую мою информацию о новых поступлениях в ГМП. Среди них был назван и воспроизведен портрет И. Айвазовского работы Ст. Рымаренко.

Эта публикация привела в музей правнука Ст. Рымаренко — Алексея Николаевича Рымаренко, звукорежиссера Всесоюзного радио. Он заинтересовался работой своего прадеда и пришел в музей узнать о ней подробнее. Оказывается, он не знал ни о напечатанных воспоминаниях своего прадеда об Айвазовском, ни о гравюре Бируста.

Что касается акварельного портрета Айвазовского, то он был Алексею Николаевичу знаком: бывая в доме у своей тетки, он видел у нее этот портрет висающим на стене. Существование гравюры, которую копировал Ст. Рымаренко, Алексей Николаевич воспринял как случай очень характерный: по семейным рассказам, его прадед часто перерисовывал репродукции в журналах.

А. Н. Рымаренко принес в музей и показал записки прадеда: толстую тетрадь, заполненную по принципу месяцеслова кратким перечнем семейных и родственных событий по месяцам. Только дважды в этот сухой перечень вторгаются пространные записи типа дневниковых и почти единственная запись, выходящая за пределы семейных событий, — это отмеченный смертью Пушкина январь 1837 года.

По месяцеслову в самом общем виде восстанавливается канва жизни С. А. Рымаренко. Он родился в 1813 году в городе Мглине Черниговской губернии, в семье уездного землемера. Учился в Новгород-Северской гимназии (1824—1832 годы) и в Московском университете (1832—1835 годы) на нравственно-политическом факультете. В 1836 году поступил в Петербурге на службу; в 1848 году из Петербурга уехал, а с начала 1850-х годов живет в Харькове до самой смерти (1878 г.), бывая наездами у друзей в других городах.

Никакого специального художественного образования он не получил, нигде в записях не упоминает о своих занятиях рисунком или живописью. Но по рассказам А. Н. Рымаренко, прадед его рисовал много — и с натуры и с чужих образцов. А. Н. Рымаренко ссылался на большой список рисунков своего прадеда, составленный при описи наследства, а один из портретов он хранит и показал его в музее: это акварельный портрет пожилого человека с трубкой. На обороте портрета тем же почерком, что и на портрете Айвазовского, написано: «Портрет Отца моего, Алек-

сея Савича Рымаренко. Рисовать съ натуры Стефанъ Рымаренко. 1849 года мая 18. В Еремшанскомъ заводу, Тамбовской Губернии».

Точно так же как С. А. Рымаренко не упоминает в своем месяцеслове о рисунках, он ни слова не пишет там об Айвазовском, словно это и не он в опубликованных своих воспоминаниях выказывает глубочайшее почтение к «великому художнику», и с удовольствием перечисляет все то, что свидетельствует о дружеском расположении Айвазовского к нему.

Вот примеры:

«В конце сентября, при отъезде из Харькова в Феодосию, Иван Константинович подарил мне две картины, надписавши на обороте одной из них: «С. А. Рымаренко. В знак истинного уважения. От И. Айвазовского 24 августа 1855 г.»¹.

Чувствуется, как горд С. А. Рымаренко тем, что посвящен в замыслы художника: «С августа 1861 года, находясь в постоянной переписке с Айвазовским, я узнал из его писем, уже в начале 64 года, что задуманные им, назад тому более 15 лет, две большие исторические картины: «Сотворение мира» и «Всемирный потоп», уже начаты им; причем он писал мне, что напишет еще третью картину: «Ной, приносящий благодарственную жертву у подошвы Арарата»². «28 февраля я получил от Айвазовского письмо, в котором, между прочим, он говорит: «Теперь, как доброму моему знакомому, сообщу Вам, что Его Величество купил «Потоп» и «Сотворение мира» за 17 000 рублей и пожаловал мне орден Св. Владимира на шею»³.

По этим воспоминаниям видно, что С. А. Рымаренко в высшей степени ценил в Айвазовском добрые качества человека, которые ни славой, ни успехом, ни сознанием собственного таланта не приглушались в художнике: «Истинно русское радушие знаменитого хозяина и его супруги никогда не изглаждаются из моего сердца! — пишет Рымаренко о своем пребывании в гостях у Айвазовского. — Встретить в великом художнике человека — большая редкость!»⁴

¹ «Прибавление к Харьковским губернским ведомостям» № 30 за 1865 год, стр. 202.

² Там же, № 31, стр. 211.

³ Там же, № 31, стр. 212.

⁴ Там же, № 30, стр. 203.

Рымаренко даже публикует свои стихи о картинах Айвазовского. Они слабые и тенденциозные, но как раз по их тенденции, по лексике, по настроению они близки одному пространным отзыву из его дневника, озаглавленного «Auto-dafe». Там С. А. Рымаренко с горьким пафосом говорит о том, что сжег все письма отца к нему в страхе перед молодым поколением материалистов и безбожников, которые могут над этими письмами надругаться: «Я хранил переписку отца с сыном сорок три года! И вдруг — все это уничтожил! Должна быть важная причина такой решимости. Чуть не полстолетия хранить эти священные для меня письма и уничтожить в пять минут?

Да, причина действительно важная: это прогресс бессмысленный!

Не правда ли? Дико? Несообразно? Прогресс не уничтожает, напротив — творит, созидает!

Но что созидает? Безверие, — Рено-атеиста, коммунизм, социализм и — венец всего — нигилизм! <...>

Неужели этим получеловекам оставить на поругание святые мысли стариков, отцов наших? Неужели эти религиозные листы могли быть отнесены в известное место? Странно думать, что это так, что нигилизм этого юного поколения подрывает основу России — святую веру, и рухнет все!»

Пафос и стиль — почти как в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.

А вот стихи этого же Ст. Рымаренко, вдохновленные картинами Айвазовского «Потоп» и «Сотворение мира» и опубликованные вместе с его воспоминаниями о художнике:

Тысячелетье вновь настанет,
А твой «Потоп» не перестанет
Быть поучением людей.
Быть может, мученик страстей,
Иль вольнодумец-прогрессист,
Или заклятый атеист,
Перед картиною твоей
Величье Божие откроет, —
И гнет губительных страстей
Слезой раскаянья омоет...

Так и по дневниковым записям для себя и по опубликованным стихам и воспоминаниям за неизвестной фамилией Рымаренко встает колоритная и во многом характерная для своей эпохи фигура консервативного и одержимого воинствующим благочестием человека, его характер и нрав.

У портрета Айвазовского работы Рымаренко есть «отклонение» еще в одну сторону: его облик здесь неизменно напоминает Пушкина у Кипренского, несмотря на различные одежды и позы и несмотря даже на незначительность миловидного лица Айвазовского.

О том, что Айвазовский похож на Пушкина, часто говорили современники.

Сильнее всего чувствовали это сходство в скульптурном портрете Айвазовского работы А. Н. Беляева 1847 года. Высокий лоб, длинный, с горбинкой нос, крупные изогнутые губы, бакенбарды, так подстриженные, что щеки кажутся худощавыми, и даже разлитое в лице величавое спокойствие, ассоциирующееся к 1847 году с «олимпийским» Пушкиным, — все это, видимо, и заставляло находить сходство с поэтом.

Айвазовскому не были безразличны эти наблюдения современников. Он всю жизнь любил Пушкина. Под конец жизни, за четыре года до смерти, Айвазовский описал в письме к Н. Н. Кузьмину свою единственную встречу с Пушкиным в 1836 году в Античной галерее, на выставке работ молодых художников, кончавших в этом году Академию художеств: «Узнав, что Пушкин на выставке, в Античной галерее, мы, ученики Академии и молодые художники, побежали туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхищался ею.

Наш инспектор Академии, Крутов, который его сопровождал, искал между всеми Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не было, а увидев меня, взял за руку и представил меня Пушкину, как получившего тогда золотую медаль (я оканчивал Академию). Пушкин очень ласково меня встретил, спросил, где мои картины. Я указал их Пушкину; как теперь помню, их было две: «Облака с ориентальского берега моря» и другая «Группа чухонцев на берегу Финского залива». Узнав, что я крымский уроженец, великий поэт спросил, из какого города, и если я так давно уже здесь, то не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда я его хорошо рассмотрел и даже помню, в чем была прелестная Наталья Николаевна.

На красавице супруге поэта было платье черного бархата, корсаж с переплетенными

черными тесемками и настоящими кружевами, а на голове большая палева соломенная шляпа с большим страусовым пером, на руках же длинные белые перчатки. Мы все, ученики, проводили дорогих гостей до подъезда» (19 мая 1896 года)¹.

Но не одна эта встреча связывает Айвазовского и Пушкина. Из всех немногих слов, написанных Айвазовским о Пушкине, видно, с каким пиететом относился он к нему. Айвазовский любил поэзию Пушкина. Стихи Пушкина часто его вдохновляли в его собственной работе. Известен такой характерный и интересный факт: картина Айвазовского, повидавшего Испанию своими глазами, — «Испанская ночь», — навеяна строчками Пушкина, никогда не перешагивавшего русских границ:

Вот взошла луна золотая.
Тише... Чу... Гитары звон.
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.

Кстати, это еще один пример того, как впечатление от искусства оказывается сильнее, чем впечатление от реальной действительности, подобно отражению в портрете Рымаренко не столько реального человека — Айвазовского, — сколько духа его творчества, в меру, конечно, заурядных возможностей автора акварели.

И наконец, Айвазовскому, певцу моря, был близок и дорог в Пушкине человек, сумевший так же, как и он сам, почувствовать и воплотить в искусстве красоту и поэзию моря.

Этот интерес к поэзии Пушкина и то впечатление, какое производила на Айвазовского сама личность поэта, очевидно, и объяс-

няют прошедшую через всю жизнь художника приверженность в его творчестве к «пушкинскому сюжету»: Пушкин в его общении с морем — любимый поэт и любимая Айвазовским стихия.

Понятно, что при таком отношении к Пушкину Айвазовский был рад, когда друзья находили в нем внешнее сходство с поэтом, а портретисты это подчеркивали.

Волею случая акварельная копия Ст. Рымаренко дает Айвазовского в новом аспекте его сходства с Пушкиным: Айвазовский приближается здесь не к «олимпийской» величавости Пушкина, а к той светящейся вдохновенной внутренней жизни, которая искрится в Пушкине на строгом портрете Кипренского.

Так оживает целый кусок жизни вокруг одного только старинного портрета: сам его автор, Степан Рымаренко, этот колоритный ретроград; его восторженное отношение к Айвазовскому, такое характерное для русского общества в то время; и неожиданное проявление этого отношения к Айвазовскому в портрете, для которого «натурой» был, по существу, не живой позирующий человек, а его творчество. Значит, таким радостным и эффективным, как на этой «заочной» акварели, представлялся людям Айвазовский по своим картинам. Значит, легкость и радость, разлитые во всем облике художника на этом портрете, связывались в сознании людей с обоими знаменитыми современниками — Айвазовским и Пушкиным, невольно объединенными в этом сходстве.

¹ Цитируется по книге Н. Барсамова «Иван Константинович Айвазовский». Крымиздат, Симферополь, 1953 г., стр. 220.



Несколько лет назад перед изумленными москвичами и ленинградцами открылся, по словам С. Т. Коненкова, «огромный мир неведомых чудесных образов эпического народного творчества, поражающего глубиной мысли и богатством неистощимой выдумки». Это произошло на выставке русской деревянной скульптуры. Великолепное искусство безымянных резчиков, оставивших нам в наследство подлинные шедевры, долгое время было неизвестным миру и самой России. Только теперь благодаря стараниям энтузиастов-первооткрывателей, среди которых в первую очередь следует назвать заслуженного деятеля искусств РСФСР Н. Н. Померанцева, мы получаем возможность восхищаться ими. На выставке была представлена лишь небольшая часть произве-

дений русской деревянной скульптуры, открытых преимущественно в самое последнее время. Там не было, в частности, «пермских богов», отысканных, собранных и сохранных заботами другого энтузиаста-первооткрывателя, недавно скончавшегося Н. Н. Серебренникова, и давно экспонируемых в Пермской государственной художественной галерее. Об этом собрании недавно рассказал писатель Лев Любимов («Новый мир», 1965, № 9). Ниже воспроизводятся фотографии пермской деревянной скульптуры, любезно предоставленные Ю. Д. Багрянским и Н. Н. Померанцевым. Публикацию фотографий сопровождает статья А. В. Луначарского, напечатанная в 1928 году («Советское искусство» № 5), но сохранившая до сих пор все свое значение.









А. В. Луначарский
Пермские боги

Из всех видов изобразительных искусств наименее повезло в нашей стране скульптуре. В культурном, индивидуализированном искусстве нашей страны скульптура, как таковая, т. е. изобразительное ваяние, вращающееся главным образом вокруг человека, занимает скромную роль. Мы имели в XVIII и XIX столетиях несколько очень хороших, крупных скульпторов. Однако наше скульптурное прошлое, с одной стороны, никоим образом не может быть поставлено на один уровень со скульптурой европейских стран и, с другой, уступает несомненно и в количестве имен, и в богатстве произведений, и в их значитель-



ности и нашей живописи, и графике, не говоря уже об архитектуре.

В настоящее время мы имеем как будто некоторый интересный перелом в этом отношении. Первая самостоятельная скульптурная выставка в Москве была неожиданным сюрпризом в смысле количества интересных экспонатов. На организованной Совнаркомом выставке государственных заказов к 10-летию Октября скульпторы, на мой взгляд, безусловно одержали верх над живописцами. Однако еще рано говорить о каком-нибудь повороте в этом отношении.

И устно и письменно иные знатоки нашего искусства и иные интересующиеся им диле-

танты любят повторять, что скульптура не свойственна натуре населяющих нашу страну народов и что, кроме того, скульптурный инстинкт их подточен православием, которое допускало в сыгравшем такую огромную роль в искусстве церковном изобразительном культе богатое участие живописи и всякого рода орнамента и резного и лепного, но с большим равнодушием, а иногда и с яркой враждебностью относилось к скульптурным произведениям. Скульптурное изображение бога и святых в течение очень долгого времени казалось прямым шагом к идолопоклонству; иконы принимали за менее опасное олицетвление божества. А церковный заказ



долгое время доминировал над всяким другим.

Быть может, во всем этом есть известная доля истины. Может быть, действительно, специфические социальные условия, условия нашего культурного развития мешали подлинному развертыванию скульптурного гения народов, населяющих территорию нашего Союза. Но что гений этот присущ если не всем, может быть, то многим национальным элементам нашей родины, — это не подлежит никакому сомнению. Дальнейшие изыскания в этой области найдут, вероятно, множество интереснейших линий скульптурного творчества, которым не хватало только достаточной под-

держки в социальной среде для того, чтобы расцвести с самой изумительной роскошью.

На такие мысли наводит недавно только во всем своем объеме открытая пермская народная скульптура, к изучению которой приступили лишь в самое последнее время.

Пермская деревянная скульптура собрана в Пермском государственном областном музее. Ей посвящена чрезвычайно интересная работа Н. Н. Серебrenникова «Пермская деревянная скульптура». (Материалы предварительного изучения и опись.)

При входе в большую залу, где собраны пермские «боги», я был поражен их обилием, разнообразием, неожиданной вырази-



тельностью и смесью наивности и непосредственности с искусством, иногда положительно утонченным.

Что же такое представляет собой эта пермская скульптура, развернувшаяся, по-видимому, в XVII веке, продолжавшая жить и эволюционировать в течение всего XVIII века и начавшая клониться к некоторому упадку в XIX веке, а сейчас замершая, — будем надеяться, в ожидании нового расцвета на новых началах!

Пермская скульптура служила церкви. Однако оригинальная нота, которая пронизывает эту скульптуру и делает ее и социологически и художественно необычайно ценной, есть

нота языческая, нота инородческая, идущая несомненно и прямо от пермяцкой культуры идолопоклонников.

Правда, несмотря на энергичное гонение православного духовенства (вернее, его руководителей) на церковное влияние, оно отнюдь не отсутствует в художественном убранстве православных храмов, отчасти благодаря влиянию католической церкви, которая, как известно, отводила церковной скульптуре не меньше места, чем живописи. Такое влияние шло из Германии через Новгород и Псков. Оно оставило значительные и интересные следы в виде памятников, главным образом деревянного убранства. С другой стороны, оно



широким потоком хлынуло на Украину через Австрию, Польшу, отразилось на многих и многих украинских церквах и стало просачиваться и на север. Нет никакого сомнения, что и до пермской окраины докатились обе эти волны. Пермская окраина не могла не ощущать действия культурных силовых линий, шедших от Новгорода в очень старые времена. Известно также, что в Перми работали некоторые украинские архиереи, несомненно более либерально настроенные по отношению к скульптурному убранству церквей, и приносили сюда свой вкус.

Однако чрезвычайное развитие скульптуры в Пермской губернии объясняется не только этим воздействием, а еще тем, что она нашла чрезвычайно плодотворную почву для своего развития среди пермяков, как видно, в течение долгих веков своего язычества выработавших свои особые скульптурные приемы. В самом деле, больше всего таких скульптур (в церквах или в кладовых на колокольнях церквей, в полузаброшенном виде) мы находим в Верхне-Камском и Коми-Пермяцком округах. Чем дальше на юг и на запад, тем меньше изваяний мы находим, т. е. изваяния убывают вместе с убылью процента коренного пермяцкого населения. Не меньшим доказательством служит и то, что пермяцкий расовый тип, резко отличный от великорусского, сказался на большинстве изваяний.

Можно сказать даже, что две основных фигуры пермской скульптуры — сидящий Христос и Никола Можай, представляют собой прямую замену раньше существовавших божественных изображений.

Мы знаем, что в течение долгого времени любимым изображением какого-то языческого существа была так называемая «Золотая Баба».

Многое заставляет предположить, что «Золотая Баба» — это докатившееся до пермяков через степи изображение сидящего Будды. Спокойный, в веках отдыхающий бог, в котором для высокоразвитой буддийской

религиозности отражалась философская идея нирваны, а для простого человека, задавленного трудом и страданием, — идея успокоения, принят был и первобытным пермяком с чувством глубокого удовлетворения.

На место этого сидящего Будды и стал водворяться сидящий Христос, в особенности в XVIII веке, когда великорусские завоеватели и их духовенство стали истреблять огнем и мечом, законом и беззаконием остатки первобытной религии и культа.

Интересно отметить, что пермяцкий сидящий Христос, раскрашенный и большею частью одетый в разные ризы, имеет всегда одну и ту же позу. Он сидит не столько задумчивый, сколько как бы далеко ушедший от мира, старающийся все перетерпеть в какой-то упорной пассивности, и всегда у него одна рука — либо правая, либо левая — поднята к щеке как бы для того, чтобы защититься от пощечины. Какой странный и совсем крестьянский бог! Он изображен в тот момент, когда его избивают и когда этому избивению он противопоставляет какое-то упрямое терпение.

Пермяк-язычник — тот молился «Золотой Бабе», у которой была неясная расплывчатая улыбка безмятежного сна, — языческую «Золотую Бабу» никто никогда не бил.

Но вот пришла христианская религия и вместе с нею и христианские нравы. Пермяк почувствовал всю прелесть великорусской цивилизации и стал под видом Христа изображать себя самого (его Христос — пермяцкий мужик) в виде избиваемого терпеливца.

Никола Можай — другой излюбленный бог пермяков. В одной руке он держит меч, а в другой — церковь (прежде — какую-то другую неясную мебельку). В нем узнают первобытного бога Войпеля — национальное божество, в которое, по-видимому, вложена тоже идущая с Дальнего Востока идея бога, который разрушает и созидает.

Можно думать, что и Параскева-Пятница,

изображающаяся в виде грозной, большеголовой фигуры аскетического типа, — Параскева, которой вовсе нет в церковных святцах, но поклонение которой сильно распространено в разных местах России, являет собою тоже отображение женского божества, с неясными функциями какой-то выродившейся северной сестры Изиды, Иштар и Афродиты.

Любопытно познакомиться с этой раскрашенной деревянной скульптурой пермяцко-русского происхождения в быту. Сейчас этот быт отходит безвозвратно в прошлое, от него остаются лишь некоторые обломки, но это не мешает ему быть интересным. Как мы уже сказали, боги эти близки пермяку, они связаны с ним длинной связью. Пермь все еще относится к изображениям богов, как к идолам; например, если святой или бог, изображенный на иконе, висящей в пермяцкой избе, не исполнил какой-нибудь молитвы, то пермяк в наказание перевешивает на определенное количество дней икону головой вниз. Когда из деревни Толстика Верхне-Камского округа изъяли несколько скульптур для галереи и просили крестьян привезти их к пароходу на камскую пристань, за пять верст, то просто заждались этих статуй. Они явились с величайшим опозданием. Оказалось, что опоздание объясняется желанием всего населения попрощаться со статуями. Староста заявил: «Людей провожают, и то прощаются». Кроме того, толстиковские пермяки никак не пожелали положить своих богов просто в ящики — «не вещи». Они устроили им гробы, постлали стружек и пакли, застлали все холстом, уложили своих богов и накрыли холстяными одеялами. Так и отправили в галерею.

В пермской часовне Петра и Павла находился знаменитый сидящий «Спаситель». По общему мнению, когда никто за ним не наблюдал, он поднимался и уходил из часовни и отправлялся по своим делам. При этом он изнашивал обувь, так что почитатели его каждый год приносили ему новую пару баш-





маков, а к концу года, глянь, он уже опять износит подошвы до дыр. Так же точно, по словам верующих, Никола Можай из деревни Зеленыты любил ходить. По свидетельству сторожа, он за семь лет износил восемь пар башмаков. Когда обследователь спросил сторожа, почему же Никола Можай так стремится совершать свои пешеходные путешествия, то сторож объяснил: «Ведь ись-то хочет, а дерево не заешь». Таким образом, бог ходил, очевидно, подворовывать, где мог, пропитание, ибо хотя сам он и резной из дерева, но «заедать» дерево казалось ему недостаточно аппетитным. На праздник этого зеленятского Николы Можая 16 июля обычно стекалось более десяти тысяч молящихся. Девять причтов служили непрерывные молебны и увозили крестьянские медные пятаки большими мешками. Молящиеся подходили целовать Николу Можая. Ежели целовать его без митры — 5 копеек, в старой митре — 50 копеек, в новой митре — рубль. Очевидно, бедняки целовали на пятак, середняки — на полтинник, а кулаки — на целковый. Больные места разрешалось потереть полкой Николы Можая, отчего ужасающим образом после каждого такого праздника распространялась трахома и иногда и сифилис.

Высокохудожественная выразительность пермяцких богов имела значение для духовенства. Так, например, в селе Троицы население протестовало против увоза сидящего Христа и, объясняя свою к нему привязанность, заявляло: «Очень уже жалостливо на него смотреть, без слез из часовни не выйдешь». И все же часть этих богов, по настоянию православного духовенства, объявляли заштатными, уносили в кладовые и даже попросту рубили на дрова.

Резали эти статуи и превосходно раскрашивали их особые мастера. О последних из них, братьях Филимоновых и Иване Ивановиче Мельникове из Обвинска, до нас дошли сведения. Еще во второй половине XIX века в Пермско-Уральском крае было 15 цеховых резчиков. Как видите, это была целая





школа, которая могла, путем зависимости резчиков друг от друга, развивать свое искусство.

Достаточно беглого взгляда на характер резьбы этой скульптуры, чтобы увидеть значительное влияние Запада, скандинавов и немцев, в меньшей степени итальянцев. Часто вся манера резьбы, и в особенности трактовка обильных одежд в позднеготическом духе или даже духе барокко, доходит почти до тождества с недюжинными произведениями соответственных западноевропейских эпох.

Очень жаль, что трудно проследить корни пермской скульптуры. Известно, что еще

в древнейшие времена пермяки обладали большим скульптурным талантом, о чем свидетельствуют многочисленные металлические фигуры, относимые к ранним временам их культуры. Была у них и деревянная, раскрашенная скульптура, но от того времени остался один только деревянный идол из Шигиринского торфяника. Еще в конце XV века Иона, епископ Пермский, окрестив Великую Пермь и ее князя, начал борьбу с истуканами, о которых так и сказано: «Боги были болваны истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезанные».

Таким образом, XVII век, начавший создавать церковную скульптуру после оконча-



тельной победы великороссов над пермяками (ногайцами, как их называли в то время), несомненно, связан со старой пермской культурой. Пермский простолудин, как правильно говорит Серебренников, явно носил в себе большое творческое горение, ибо скульптура эта если и создана «мастерами», то мастера-то эти были крестьянами.

Замечательно искусство резьбы, своеобразно развертывающееся за двухсотлетний период; полна вкуса также и раскраска. Серебренников правильно охарактеризовал ее: «...скромность и мерность в раскраске одежд, также и ограниченное число цветов удачно помогает мастеру избегать тяжеловатости в складках одежд. Однотонная раскраска каждой одежды в свой, обязательно почти приглушенный, цвет способствует передаче мягких теней и является одним из главных элементов, организующих композицию целостной и связанной. Любимыми цветами для раскраски являются белый, черный, синий, красный, сине-зеленый, затем введен был сиреневый, голубоватый и др.».

Не будем вдаваться в подробности технического порядка, в существующие, очевидно, течения и школы, развертывавшиеся как параллельно, так и последовательно; остановимся несколько на отдельных произведениях, которые нам пришлось видеть в музее. Обильно представлены здесь сидящие Христы. Для того чтобы дать полное понятие о таком Христе в бытовом отношении, выставлены полностью сидящие в темнице Спасители вместе с часовой, — то великолепной резьбы, как Канабековская, то простой, словно шкаф, как в Большой Коче.

Большекочевского весьма замечательного Христа, приложившего руку к пораженному пощечиной лицу, мы здесь приводим в виде иллюстрации. Однако в художественно-психологическом отношении более разительны некоторые другие сидящие «спасители», представленные в раздетом виде, как их непосредственно резали мастера. Приводим одно-

го такого спасителя-пермячка из часовни Редикоре. Несмотря на некоторую наивность изображения, он представляет собою изумительное произведение искусства в смысле смелой стилизации и почти страшного выражения лица, в котором сквозит тупая, упрямая покорность и в то же время внутренний ужас — символ заглушаемого народа.

Из распятий наиболее изумительное (хотя интересных распятий очень много) то, которое вывезено из Соликамской часовни. Если оно производит непосредственно болезненное и могучее впечатление на каждого, то знаток искусства не может не поразиться экономии приемов, глубокому инстинктивному расчету эффекта позы, в которой одновременно учтена пассивная покорность истрадавшего организма и тяготеющая вниз сила уже инертной массы. Нельзя не обратить внимания также на совершенно экспрессионистскую выразительность художественно трактованной полумертвой головы с ее черными, как уголь, спадающими кудрями.

Совершенно невиданным и совершенно потрясающим явлением надо признать бога Савофа из Лысьвинской церкви. Здесь мы имеем изображение бога необыкновенно могучего. Голова трактована под влиянием античной скульптуры, это — голова Юпитера. От всей композиции веет каким-то своеобразным соединением антика или высокого ренессанса и барокко. Серебренников склонен видеть в авторе этого произведения какого-нибудь крепостного, который путешествовал по Европе и видел южноевропейские образцы. Может быть.

Из Никол Можав, которые все необыкновенно характерны и любопытны, приводим почти загадочную фигуру из Покчи. Это положительно шедевр экспрессионистской скульптуры, имеющий в себе какую-то высокохудожественную манеру. Вся трактовка небольшой фигуры в строго падающих одеждах полна вкуса. Длинный меч в одной руке, церковь типа конца XVII века — в другой.



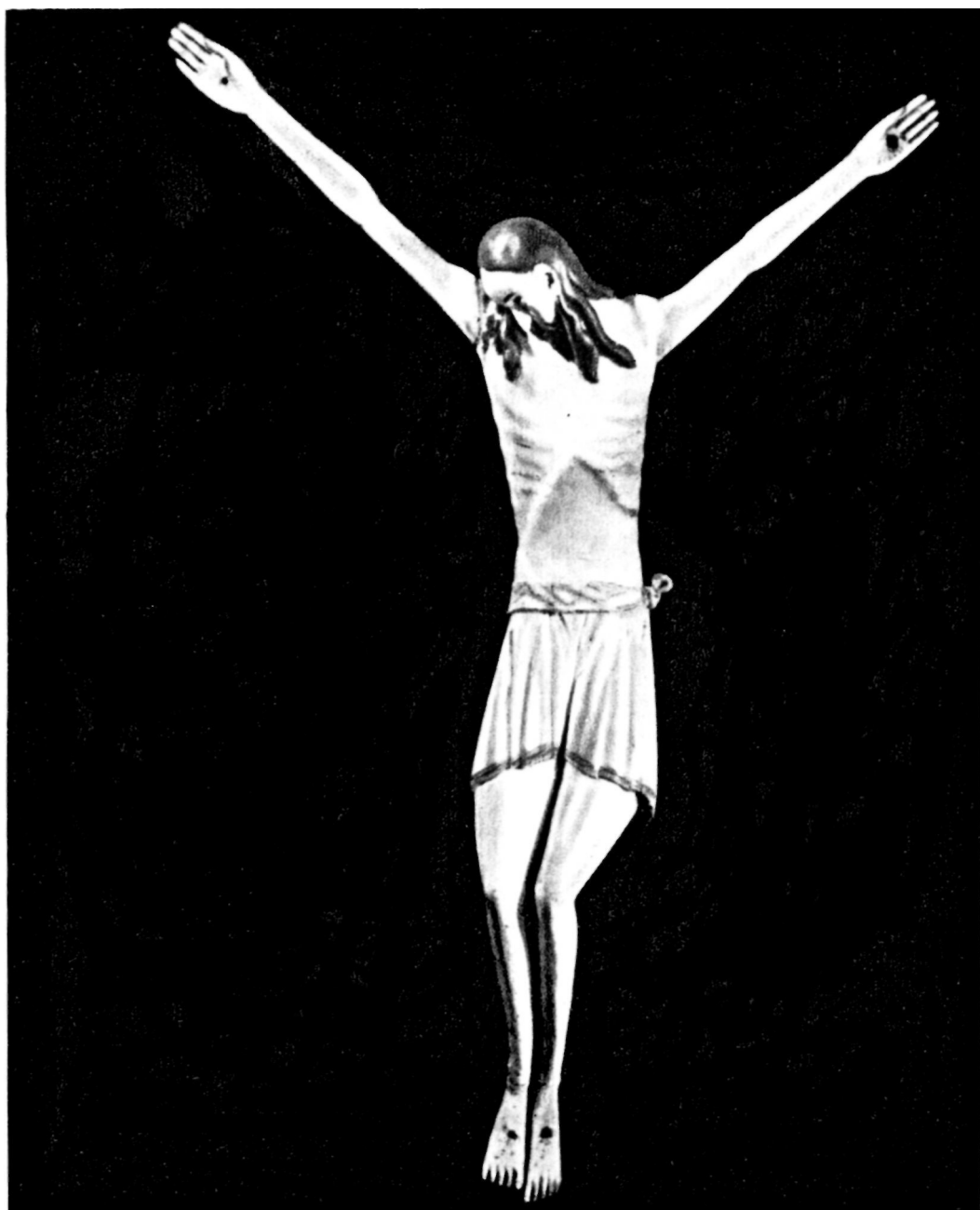
Но самое замечательное — его голова, сверхъестественно удлиненная, странным типом которой пост-скульптор хотел передать какую-то высокую психическую мощь. Статуя поражает именно изумительной уверенностью художества и полетом психологического воображения мастера.

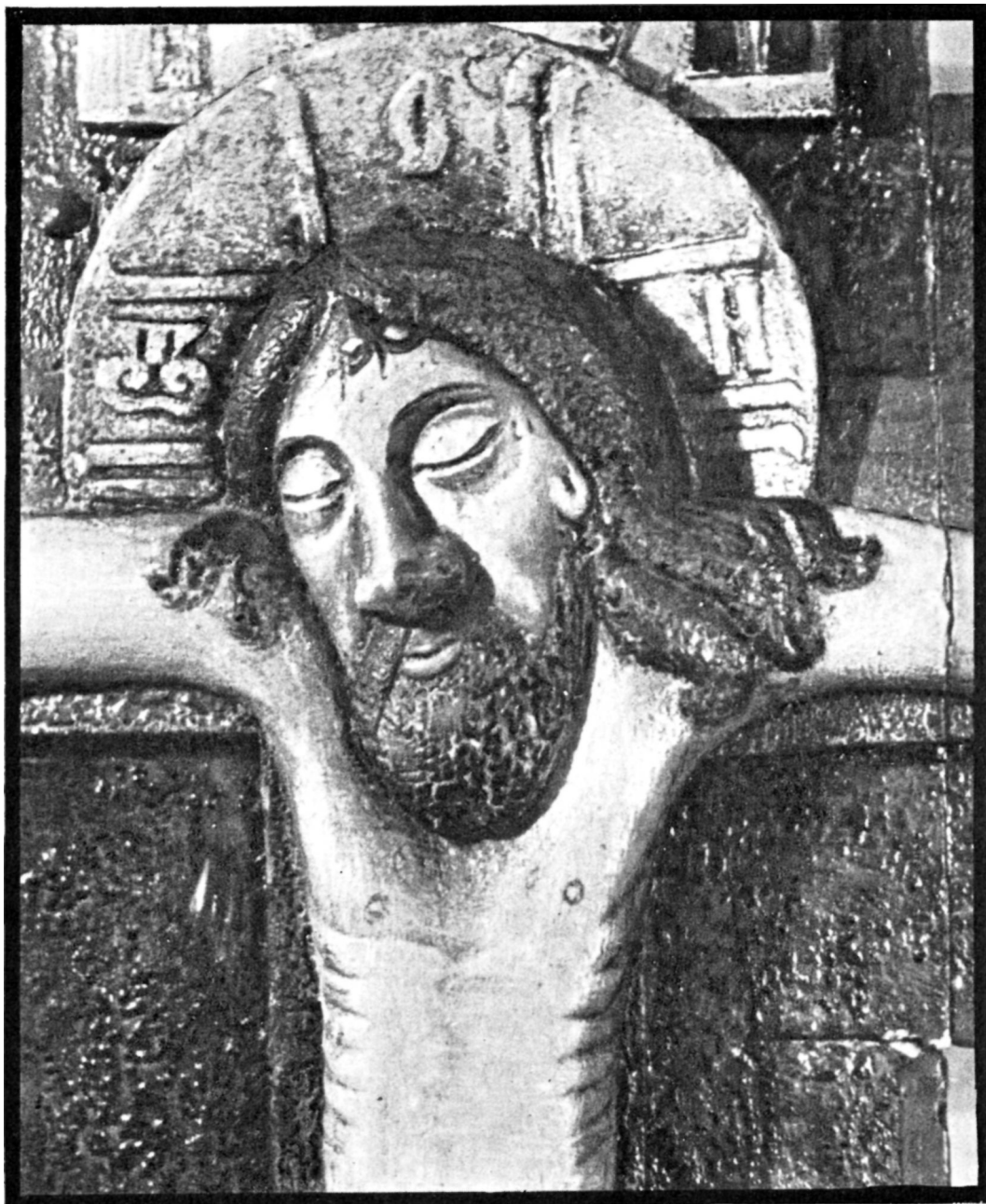
Наконец, древнее изображение богини Пятницы из Ныроба довершит приводимые здесь иллюстрации, которые лишь частично исчерпывают самое интересное в музее и книге Серебрянникова. Необычайно простыми приемами выполнена здесь эта фигура, беспощадная, суровая, полным живой укоризны взглядом глядящая повелительница — на-

стоящее отражение древнейшего матриархата.

Какие же выводы можно сделать из этой сокровищницы русско-пермских скульптурных произведений! По-видимому, высокий результат достигнут был скрещиванием зрелого искусства Запада с имевшимся на месте высоким скульптурным инстинктом древнеязыческой пермяцкой культуры. Инстинкт этот выливался не только в чувство формы — будь она упрощена или, напротив, виртуозна и витиевато выражена при помощи обильных складок одежды, — но главным образом в социально-психологическую выразительность, которую полусознательно вкладывали







пермяцкие мастера в свои произведения. Страдания оскорбляемого смертной мукой человека-жертвы, преклонение, с другой стороны, перед повелителями, будь то далекий бог-царь Саваоф, или какой-то правящий мозгом массы загадочный кудесник Никола Можай, или угрюмая матрона Пятница, — вот что мы находим главным образом отпечатленным в испуганном и скорбном воображении религиозного пермяка. Бог его либо выражает его собственную скорбь, либо является превосходящим его культуру господином и палачом.

Пожелаем всей душой, чтобы пермяцкий скульптурный гений не усох вместе с усы-

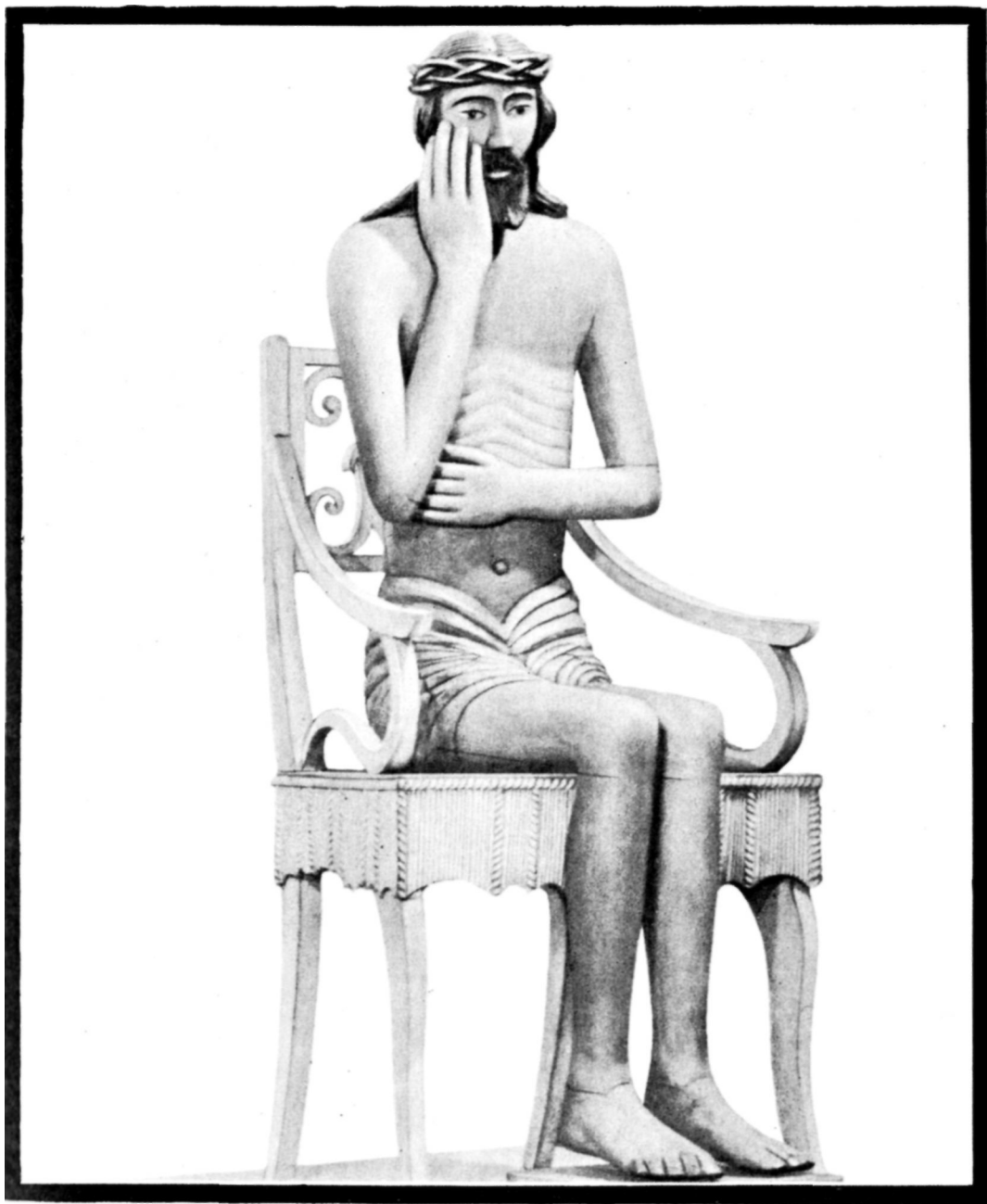
ханием церковной скульптуры. Там должны быть рассыпаны внуки и правнуки своеобразных, почти гениальных резчиков страны. Теперь им незачем будет обожествлять униженное терпение или беспощадную власть. Иные времена — иные песни; иные времена — иные статуи. Но нельзя не признать в пермских богах свидетельство огромного талантливости, огромного художественного вкуса, огромной способности выразительности, которая свойственна не только народам великорусско-пермяцкой смеси северо-восточной части пермского края, но, конечно, многим и многим другим группам высокоодаренного населения нашего Союза.

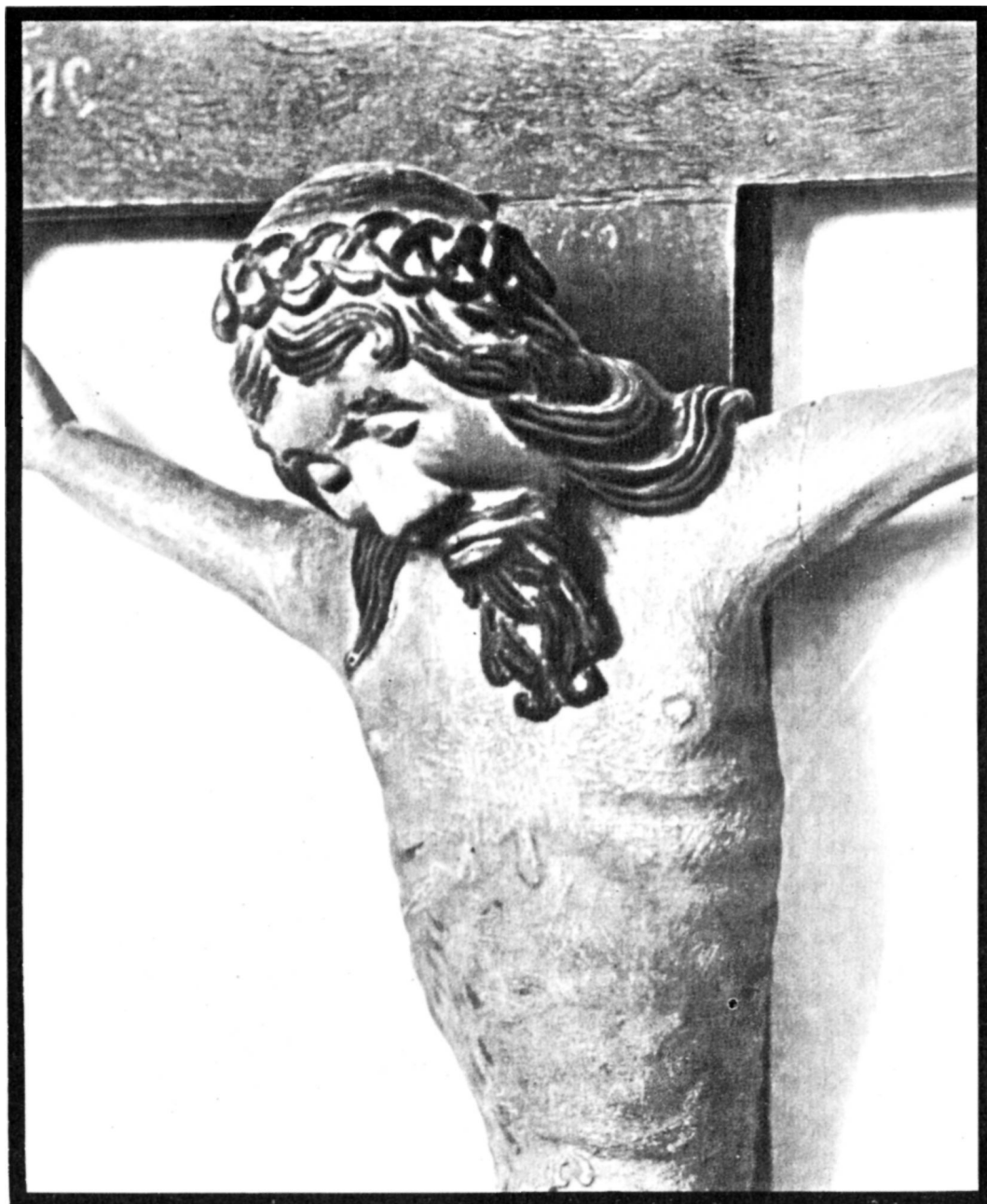
















Леонид Гроссман
Роман
Нины Заречной

Этот роман-исследование написал известный советский ученый и писатель Леонид Петрович Гроссман (1888—1965). Тонкий стилист, блистательный лектор, глубокий знаток русской и европейской истории поэзии, литературы, театра, не чуждый юридических дисциплин, он занял в советской литературе и советской литературной науке свое совсем особое место.

Сфера научных интересов профессора Л. П. Гроссмана была необычайно широкой: Пушкин и Достоевский, Лесков, Сухово-Кобылин, Чехов и Лев Толстой, Лермонтов и Аполлон Григорьев, Тютчев и Салтыков-Щедрин, Каролина Павлова, Блок, Вольтер, Стендаль, Бальзак, мастера русской сцены... Свои научные труды, ставившие новые проблемы, вносящие новые точки зрения, новые факты, Л. П. Гроссман писал так изящно, живо, картинно, доступно, что литературоведческие работы, подписанные его именем, читают не только специалисты, но и люди, не имеющие ровно никакого отношения к литературной науке. Они словно сами читаются, такие книги Гроссмана, как «Пушкин в театральных креслах», «Преступление Сухово-Кобылина», «Путь Достоевского», не говоря уже о монографиях «Пушкин» и «Достоевский», вышедших в серии «Жизнь замечательных людей» и предназначенных для массового читателя. Если вспомнить, что еще в 1928 году было выпущено Собрание сочинений Леонида Гроссмана в пяти томах и что в него вошли только историко-литературные работы его — исследования, статьи и этюды, то по одному этому можно судить о том, каким успехом пользовались и пользуются в нашей стране труды этого ученого-беллетриста.

Еще шире известен Л. П. Гроссман своими романами. Это «Записки д'Аршиака», «Рулетенбург» и «Бархатный диктатор» — историко-биографические повествования из трех эпох жизни русского общества, в которых предстают перед читателем Пушкин, Достоевский и Гаршин. Историческая достоверность, тонкое знание времени и характеров так убедительны, что, даже и закрывая книгу, читатель часто остается в убеждении, что перед ним не роман «Записки д'Аршиака», а подлинный мемуары секунданта Жоржа Дантеса. И даже не подозревают тут тонкой гипотетической реконструкции Гроссмана: что было бы, если б этот француз — свидетель трагического поединка Пушкина — оставил бы после себя мемуары?

Леонид Гроссман принадлежит к тем первым мастерам советской литературы, кото-

рые сблизили литературоведение с литературой, переплавили научное исследование в прозу, привлекли к историко-литературным проблемам внимание широкого круга читателей. Одним из первых он показал, что исследование литературного произведения — романа, поэмы, комедии — должно быть написано с ощущением стиля исследуемого писателя и должно иметь свой собственный стиль, или, как выражались в прежние времена, «стиль, приличный предмету».

Прочтите «Роман Нины Заречной». И посмотрите, как увлекательно можно раскрыть великое произведение литературы.

Ираклий Андроников

Глава первая

«Здесь все говорят, что Чайка заимствована из моей жизни», — пишет Чехову 1 ноября 1896 года Лидия Стахиевна Мизинова, более известная в артистических кругах старой Москвы и в биографии своего знаменитого друга под уменьшительным именем Лики. Ответ писателя до нас не дошел, но его корреспондентка сообщала известному актеру Александринского театра Н. Н. Ходотову, что в Нине Заречной Чехов изобразил именно ее, как в Тригорине — популярного в те годы беллетри-

ста Игнатия Николаевича Потапенко, а в Константине Треплеве — самого себя¹.

Творческая история «Чайки» неизмеримо сложнее такой схемы прототипов, но исходное сюжетное ядро знаменитой драмы здесь указано все же довольно верно. Изображенное в ней столкновение двух писателей разных направлений в их борьбе за новый стиль, романтический конфликт между ними из-за любимой девушки отражают отчасти психологическую ситуацию, сложившуюся в личной и творческой биографии Чехова незадолго до создания этих образов. Но драма любви, протекавшая в пестрой среде литераторов и артистов, превращалась под его пером в борьбу новейших эстетических идей и вырастала в схватку больших художественных течений в России конца XIX века. Чтоб охватить полностью необычайный замысел этой пьесы из мира искусств, в основу которой вошло, по выражению автора, и «пять пудов любви», следует обратиться к одному забытому романическому эпизоду и взглянуть в образ его главной участницы, чрезвычайно типичной для целого поколения русской общественной жизни той поры, когда новые пути к творчеству приходилось искать среди хмурого бездорожья переломного исторического момента.

Подготовленная строгими закономерностями истории, неотразимо наступила эта эра крушения боевых устремлений народовольцев и отказа либеральной интеллигенции от идейного наследства шестидесятников. В самом знаменитом трио 1882 года «Памяти великого артиста» Чайковский не только оплакивал друга, но словно возвещал наступление пасмурной и безрадостной поры. Эта скорбь великого композитора над урной Николая Рубинштейна оказалась гениальным предвестием наступающей в России эпохи насилия и гнета над вольной мыслью и независимым словом.



¹ Н. Н. Ходотов, **Близкое — далекое**, Л.—М., 1962, стр. 155.

Художники и поэты были обречены на полет с подрезанными крыльями. Раненая птица становилась символом целой полосы русского искусства.

Это было время, когда Александр III неуклонно осуществлял лозунг воинствующей реакции «подморозить Россию, чтоб она не гнила». Это означало сковать народ, чтоб сделать революцию невозможной. Практически это выражалось в правительственных контрреформах, отменявших «вольности» в земствах, городах, школах, университетах, судах и печати. Суровые фабричные законы подавляли рабочее движение, политика на окраинах глушила рост национальных культур. Шло полным ходом «глухое царствование».

Но, как писал Ленин, «в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «наступила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III.. Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль...»¹.

И такой же высокий подъем ощущался в художественной жизни страны. Начавшие в эту скорбную годину свое творческое восхождение, как и «рожденные в года глухие», подчас преодолевали это давление времени и открывали верные пути для воплощения своих смелых замыслов. Из их среды вышли такие великие мастера литературы, театра, живописи и музыки, как Чехов, Горький, Станиславский, Левитан, Врубель, Серов, Рахманинов, Скрябин, Шалапин, Александр Блок, Комиссаржевская, Качалов.

Но это были немногие избранные. Их окружали даровитые спутники, следовавшие за ведущими течениями дня, но не определявшие их дальнейшего направления. А за ними скрывалась безвестная масса дилетантов, неудачников, полуталантов и бесплодных мечтателей. Они не менее горячо влеклись в заветный мир идей и образов, но им не было дано воплотить их в неумирающих творениях. Они задержались где-то на подступах к искусству, трогательные в своей любви к нему

и жалкие в своей беспомощности овладеть его строгими законами. В храм славы им не дано было вступить, но жизнь их была драматичной и личности их привлекали внимание великих художников слова. Чехов создал трагический характер Константина Треплева, отразив в нем свои новаторские искания, но лишив его своей одаренности. И рядом с ним он обрисовал фигуру одной из участниц московской литературной богемы 90-х годов, щедро одарив ее сценическим талантом, о котором в действительности она едва смела мечтать. Нина Заречная просветляла жизненную участь Лидии Мизиновой, сообщая ей новый смысл и неведомую глубину. Она возводила ее метания и поиски в преображенный образ мудрой художницы театра, какую тщетно стремилась стать одаренная в жизни, но бесплодная на сцене меликовская собеседница Антона Павловича.

Вот почему биография этой малоизвестной женщины представляет для нас несомненный интерес, как исторический документ яркой выразительности, как свидетельство о духовном кризисе целого поколения, как память об одном из высших вдохновений Чехова.

II

На пороге жизни ее встретили великие образцы классической музыки и банальная семейная драма. Мать ее Лидия Александровна Юргенева была даровитой пианисткой; она родилась в 1844 году и училась в пятидесятых годах у знаменитого в то время композитора и виртуоза Адольфа Гензелъта, любимца Шумана и Листа. По словам его воспитанника В. В. Стасова, «учиться у Гензелъта, тогдашнего первого пианиста в Петербурге, считалось у нас чем-то вроде университетских музыкальных классов — и почетно и возвышенно!»². Самый факт обучения у такого извест-

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 331.

² В. В. Стасов, Избранные сочинения в 3-х томах, М., 1952, т. II, стр. 348.

ного маэстро свидетельствует о выдающихся способностях ученицы. Пройдя школу этого строгого педагога и тонкого композитора, Лидия Александровна усвоила знаменитую плавность и нежность его игры, понимание его блестящих жанров — романсов без слов, ноктюрнов, баллад, вальсов, написанных преимущественно в стиле Шопена. Ее маленькая Лидюша росла под аккомпанемент такой задумчивой, напевной, романтической музыки, и это отразилось на формировании ее пианистической манеры и вокального стиля.

В семье Мизиновых были живы предания и воспоминания о Пушкине. Отец Лидии Александровны был личным знакомым поэта, который назвал его в одном из своих писем к Алексею Вульффу. Подшучивая над своей приятельницей Александрой Ивановной Осиповой, Пушкин уверял, что она «заняла свое изображение... бакенбардами и картавым выговором Юргенева», одного из тверских уланов, стоявших в Старице. Этот друг Вульфа и был дедушкой Лики Мизиновой. В начале тридцатых годов он женился на Анне Сергеевне Сомовой, от которой имел двух дочерей — Серафиму Александровну, вышедшую замуж в 1852 году за Николая Павловича Панафидина, и Лидию Александровну, по мужу Мизинову, мать подруги и корреспондентки Чехова¹.

Эти сведения о происхождении Лидии Стахивны Мизиновой объясняют и ее позднейшие близкие отношения с тверскими Вульфами (из которых один даже сватался за нее) и, быть может, постоянное звучание в ее жизни лирических стихов, сказок, поэм и трагедий Пушкина, особенно в романсовой и оперной интерпретации Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского и Римского-Корсакова.

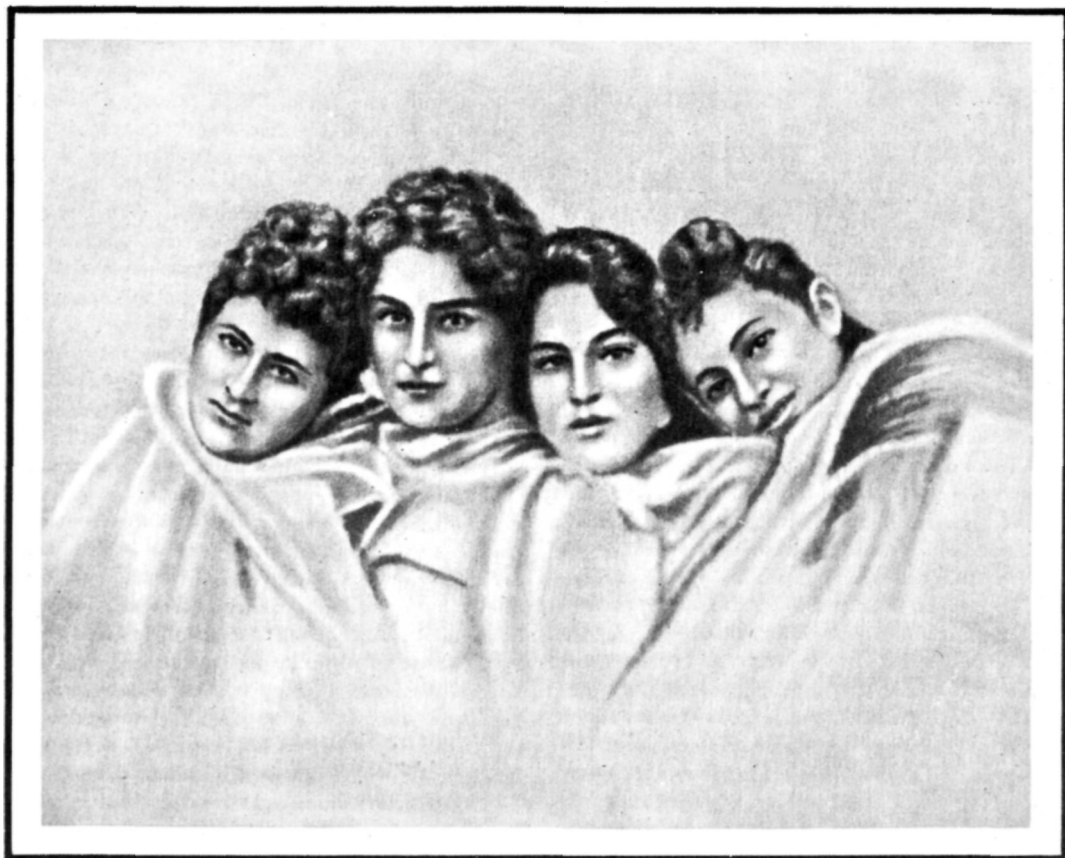
Младшая дочь А. Т. Юргенева, Лидия Александровна, посвятила себя исключительно преподаванию музыки. Нужно было заботиться о существовании семьи, не обеспеченной и уже распадавшейся. Замужество не принесло ей счастья. В конце шестидесятых годов уче-

ница Гензелъта вышла замуж за красавца мужчину Стахия Давыдовича Мизинова, скромного домашнего учителя. 8 мая 1870 года у них родилась дочь Лида, ставшая вскоре прелестной девочкой. Но отец уделял ей мало внимания. Успех у женщин вскоре и совсем отвел его от семейных радостей: он оставил жену и дочь, нашел себе новую спутницу жизни и, не располагая большим окладом, перестал заботиться о покинутой семье. Он даже предпочел совершенно скрыться с ее горизонта.

Уже в 1873 году Лидии Александровне пришлось обратиться в Московское губернское правление с просьбой произвести «повсеместный розыск» ее исчезнувшего мужа. Одновременно она поступает на службу в Московский сиротский институт учительницей музыки, где и прослужила бесшестидесяти лет. По выданному ей в 1899 году аттестату можно заключить, что муж ее был разыскан и состоял одно время секретарем Басманного отделения попечительства о бедных. Какие-то отношения с семьей, видимо, восстановились, и он оказался вынужденным выдавать некоторые суммы из своего оклада на содержание и воспитание подрастающей дочери. Из ее позднейших писем видно, что он служил по железнодорожному ведомству и занимал в начале девяностых годов уже значительный пост начальника движения по Ржево-Вяземской линии. Но в 1891 году происходит новый разрыв с семьей. «Мама все еще не может успокоиться за историю с отцом», — сообщает в своих письмах Лидия к концу этого года. «От отца больше ничего получать не буду, — пишет она 22 августа

1 Юргеневы принадлежали к дворянскому роду Юргеневых, происхождению которого не удалось установить. Юргеневы принадлежали к дворянскому роду Юргеневых, происхождению которого не удалось установить.

¹ А. Т. Юргенев был помещиком селъца Подсосонье Тверской губернии, которое вернулось впоследствии во владение его внучки Лидии Стахивны Мизиновой, как это видно из документов ее мужа режиссера А. А. Санина. На запрос петербургского городского общества взаимного кредита о его недвижимом имуществе Саннин ответил: «38 десятин земли в Тверской губернии Старицкого уезда при деревне Подсосонье» (Архив музея МХАТ).



1893 года М. П. Чеховой, — совершенно не знаю, на что буду существовать, а мама все больна». В 1900 году он снова находится, по официальным документам, «в безвестной отлучке». Кажется, резкий отзыв доктора Дорна в «Чайке» о «папеньке» Нины Заречной навеян Чехову личностью чересчур беззаботного Стахия Давыдовича.

Брошенная мужем, Лидия Александровна проявляет замечательную жизнестойкость и непоколебимую энергию в борьбе за существование. В полном одиночестве и без всяких средств она сумела вырастить и воспитать свою дочь, рано узнавшую драму безотцовщины.

Одновременно с работой в сиротском доме Лидия Александровна дает частные уроки и в течение ряда лет преподает игру на рояле в Московской елизаветинской гимназии, неизменно вызывая в своих ученицах любовь и уважение. Серьезная пианистка, она уже в семидесятых годах, когда Рихард Вагнер еще далеко не был признан в России, усиленно изучала его произведения: воспоминания детства ее дочери были навсегда связаны с лейтмотивами «Тангейзера» (о чем Л. С. Мизинова напоминала матери из Парижа в июне 1895 года).

Лидия Александровна высоко ценилась окружающими, как живая и увлекательная со-

беседница, «сохранившая, несмотря на все превратности судьбы, неизменную и драгоценную веселость и легкость разговора» (как писала ей 26 декабря 1900 года ее начальница А. Н. Возницына)¹.

Все это важно для понимания духовной атмосферы, в которой росла и формировалась ее единственная дочь, ставшая также серьезной пианисткой и поражавшая молодых Чеховых своей веселостью и тонким умением состязаться в остроумии.

Покинутая отцом, Лидия Мизинова-младшая росла в окружении заботы и ласки своих ближайших родственниц. Помимо матери, ее всегда опекала как родную ее тетка Серафима Александровна Панафидина, проживавшая с семьей в Тверском имении Покровском. Это поместье частично принадлежало кухне сестер Юргеневых, пожилой девице Софье Михайловне Иогансон, заменившей маленькой Лиде бабушку. В детских письмах к «бабе Соне» чувствуется резвая натура Лидюшки Мизиновой, «болтушки», уже достигающей к концу семидесятых годов заметных успехов в немецком, французском и на фортепианах.

Подростка собирались отдать на воспитание в Институт благородных девиц, но ее ущербленное семейное положение заставило родных удовольствоваться для их любимицы обычным гимназическим образованием. В 1889 году она оканчивает гимназию в ряду первых учениц и вступает на педагогическое поприще. Среди близких друзей семьи находилась владелица известной женской московской гимназии Л. Ф. Ржевская, которая и предлагает необеспеченной девушке преподавать русский язык в младших классах ее учебного заведения. С сентября 1889 года Лидия Стахиевна Мизинова начинает там свою деятельность.

Рядом с классной комнатой, где она давала свои первые уроки, преподавала историю и географию другая молодая учительница — Мария Павловна Чехова, сестра известного писателя, автора повести «Степь» и пьесы

«Иванов», незадолго до того удостоенного Академией наук Пушкинской премии за сборник рассказов «В сумерках».

Девушки сблизились. Той же осенью 1889 года Мизинова начинает бывать в доме своей новой подруги, а с приобретением Чеховым Мелихова постоянно гостит у них и входит в круг их лучших друзей. Способная музыкантша и начинающая певица, веселая и остроумная собеседница, наделенная при этом тонкой красотой, Лика² завоевывает сердца всех обитателей дома — от престарелого Павла Егоровича до студента Михаила.

Не станем приводить ставшего почти обязательным сравнения внешности Мизиновой с царевной Лебедь из русской сказки (сделанного Т. Л. Щепкиной-Куперник). На самом деле это был облик культурной русской девушки восьмидесятых годов, а несколько позже видной актрисы начала XX века. Выразительное лицо удлинненного овала, густые золотящиеся волосы при резко очерченных темных бровях, светлые глаза, живые и умные, но в юности иногда подернутые грустью, а несколько позже оживленные иронией и даже сверкающие подчас смелым вызовом, — таковы были эти выточенные черты, поражавшие с первого взгляда своей оригинальностью и законченностью. Секретарь «Осколков» В. В. Билибин, побывавший в Мелихове, писал, что видел у Чехова «девушку удивительной красоты», Марию Павловну знакомые останавливали вопросом: «Чехова, скажите, кто эта красавица с вами?»

Сохранившиеся портреты вполне подтвер-



¹ Архив музея МХАТ.

² В семье ее неизменно называли Лидюшкой. Письма к матери и бабушке она подписывает уменьшительным «Лидюшка». Гораздо позже это имя фигурирует и в письмах ее мужа А. А. Санина. Но в среде Чеховых и их друзей ее называли почти исключительно Ликой; это наименование как бы становится ее псевдонимом в артистических кругах тогдашней Москвы.



ждают такое впечатление. К тому же дар свободного, веселого и меткого разговора необыкновенно оживлял эту блистательную наружность. Не удивительно, что друзьями «прекрасной Лики» (как называли ее в семье Чеховых) становились крупнейшие художественные деятели ее времени. Это свидетельствует не только о внешней привлекательности, но и о щедрой одаренности ее своеобразной натуры.

Дружба с ней Чехова оставила неизгладимый след в ее биографии. Сестра писателя правильно отмечает сложность возникших отношений и в общем верно толкует этот застенчивый и мучительный роман своей подруги. Лидия Мизинова, по ее словам, «сильно увлеклась братом. Без сомнения, какие-то большие чувства питал к ней и Антон Павлович. Но в характере Лики были некоторые черты, чуждые брату. Она была бесхарактерна, хаотична. Как стало ясно из опубликованных лет двадцать назад нескольких писем Лики к Антону Павловичу, она глубоко любила брата, а он не ответил ей тем же. Он, видимо, поборол свое чувство к Лике, ибо видел, что женитьба на ней не внесет в его жизнь нужного ему покоя и творческой уравновешенности. На серьезные письма Лики он отвечал обычными шутками, доставляя ей страдания»¹.

Сестра Чехова и подруга Мизиновой является, конечно, авторитетнейшим свидетелем и судьей их отношений, и заключение ее остается в основном неоспоримым. Но при краткости ее изложения нам неясно, почему же Чехов не ответил этой влюбленной девушке тем же чувством и даже поборол свою любовь к ней. Располагая в настоящее время почти всей перепиской Чехова с Мизиновой, письмами ее к Марии Павловне, мемуарами и корреспонденцией их друзей, наконец, архивами ее близких родных², мы имеем возможность достаточно полно осветить сущность этих невыясненных отношений, ведущих к творческой истории одного из шедевров русской драматургии.

Существуют разные свидетельства о первом посещении Лидией Мизиновой дома доктора Корнеева на Садовой-Кудринской, где в то время квартировали Чеховы. Нам представляется наиболее достоверным рассказ об этом Михаила Павловича.

Возвратясь как-то из гимназии, Мария Павловна сказала своим братьям: «Вот подождите, я приведу к вам хорошенькую девицу». «И действительно, — продолжает М. П. Чехов, — она скоро привела к нам «прекрасную Лику», девушку лет восемнадцати, конфузливую и стыдливую, которая, по-видимому, чувствовала себя несколько неловко, когда все мы сразу окружили ее со всех сторон. Но все обошлось отлично, мы шутили, она нам очень понравилась, и было как-то странно, что и она тоже была учительницей гимназии, хотя и только что поступившей на должность. Казалось, что никто из учениц ее не мог бы слушаться. Мы думали, что этим наше знакомство и ограничится, но она пришла к нам в следующий раз. Все мы были в это время наверху и, когда услышали ее звонок, столпились на площадке лестницы и стали во все глаза смотреть вниз. Ей сделалось неловко, и она от стыда закрыла лицо в висевшие на вешалке шубы»³.

Все это происходило в октябре 1889 года. Добрая приятельница Антона Павловича артистка К. А. Каратыгина упоминает в письме к нему от 1 ноября этого года «Ликин

¹ М. П. Чехова, Письма к брату А. П. Чехову, М., 1954, стр. 26. — Ср. ее же: Моя подруга Лика, журнал «Москва», 1958, № 6.

² См. Примечания на стр. 288—289 этого тома.

³ М. П. Чехов, Вокруг Чехова. Встречи и впечатления, М., 1959, стр. 192. По рассказу же Марии Павловны, Мизинова поджидала ее в передней их квартиры, на что обратили внимание братья Антон и Михаил, которые начали деловито ходить по лестнице вверх и вниз, чтоб лучше рассмотреть привлекательную посетительницу, которая смущенно прикрывала свое лицо воротником шубы (М. П. Чехова, Письма к брату А. П. Чехову, М., 1954, стр. 25).

дебют», то есть, очевидно, первое посещение Мизиновой дома Чеховых, что могло произойти лишь незадолго перед тем.

С осени 1889 года по весну 1890 года длится первый период отношений Чехова с Лидией Стахивевой. Мы мало знаем о нем, но располагаем все же некоторыми указаниями на взаимную заинтересованность новых знакомых. В это полугодие Чехов подносит новой знакомой свои книги с шутивными надписями, уже свидетельствующими о добрых, дружеских отношениях. Их подтверждает и работа Мизиновой по собиранию материалов, необходимых для задуманного Чеховым сочинения о сахалинской ссылке. Вместе с Марией Павловной она трудится в Румянцевском музее над выписками из географической, этнографической и тюрьмоведческой литературы. В книге Чехова о царской каторге имеется некоторая доля и ее технического участия.

Это было время, когда двадцатилетняя Лидия стремилась совершенно эмансипироваться от своего домашнего быта и фамильных традиций. Бабушка Иогансон за какие-то заслуги своего отца воспитывалась в Смольном. Она хранила до конца убеждения бывшей институтки об особой чинности, приличествующей благородной девице. Чехов назвал эту старую даму «фарфоровой бабушкой».

Против ее аристократических воззрений рано взбунтовалась живая, независимая, стремящаяся к радостной и увлекательной жизни, влюбленная в театр и музыку шестнадцатилетняя гимназистка Лида. Ей едва исполнилось восемнадцать лет, как уже появился в доме «завидный жених», человек их круга, некий Евгений Баллас, на предложение которого она, к ужасу бабушки, отвечает отказом. Вскоре она решительно свергает бремя семейной опеки, бывает у каких-то неизвестных друзей, возвращается домой далеко за полночь. «Мать плачет горячими слезами: что из нее будет. Страшно подумать», — записывает 14 марта 1890 года в свой дневник С. М. Иогансон¹. Обе пожилые женщины

потрясены этой «бесшабашной жизнью», но тщетно пытаются образумить свою питомицу и направить ее по испытанному пути общепринятого благополучия.

Дружба с Чеховыми вносит некоторое успокоение в тревоги обеих воспитательниц этой «безумной девы». На этот раз их знакомят с членами новой дружеской семьи, во главе которой находится всем известный писатель. Правда, продолжают где-то поздние ужины, возвращения домой глубокой ночью, иногда и мнимое благочестье, прикрывающее веселые прогулки («Лидюша ушла с Чеховыми к Вознесению большому, потом узнали, что ездили кататься в Нескучное...»²). Характерен и запрос уехавшего вскоре в дальнее странствие Антона Павловича: «Кто теперь будет кутить с Лидией Стахивевой до 5 часов утра?»³

Но литературная репутация Чехова спасает положение. Софья Михайловна наслаждается «Скучной историей» и «Степью». Личное знакомство с автором раскрывает неповторимое очарование этой исключительно «симпатичной личности» — врача и писателя.

В самый день отъезда на Сахалин, 21 апреля 1890 года, Чехов приезжает к Мизиновой в час дня с прощальным визитом и уезжает в сопровождении Лики. К 7 часам вечера она едет на вокзал проститься с отъезжающим перед самым отходом поезда. Софья Михайловна в тревоге: «Боюсь, не заинтересована ли моя Лидюша им? Что-то на это смахивает... А славный, заманчивая личность!» Наконец-то бабушка поняла свою неумную внучку.

Гораздо позже, в 1898 году, Лидия Стахивева послала Чехову из Парижа свой порт-

1 Р. Б. Заборова. Встречи Л. С. Мизиновой с А. П. Чеховым в 1890—1893 гг. (по дневнику ее родственницы).

² Там же.

³ Письмо А. П. Чехова к М. П. Чеховой от 23 апреля 1890 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, М., 1949, стр. 62).

рет, надписав на обороте строфу из романа Чайковского на слова Апухтина:

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя, —
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Все для тебя!

Она приписала к этим стихам: «Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через десять лет». Это прямое указание на момент зарождения ее любви к Чехову: 1890 год.

Зимние месяцы и ранняя весна этого года были временем возникновения чувства этой девушки к обаятельному человеку и великому писателю, которого она со всей непосредственностью назвала в одном из своих писем «мой полубог».

Это был еще молодой Чехов, которому осенью 1889 года только шел тридцатый год. Волосы еще густыми и пышными прядями охватывали лоб; борода еле пробивалась легкой порослью у чуть улыбающихся губ; он еще не носил пенсне; открытый взгляд был по-юношески приветлив и чуть насмешлив. Воротник мягкой сорочки был повязан не галстуком, а студенческим тонким шнурочком. Лауреат Пушкинской премии Академии наук, он уже писал серьезные вещи, но в его наружности еще сохранялось нечто от Антоши Чехонте.

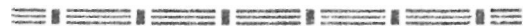
Разъезды молодого писателя надолго преваливали возникшие дружеские отношения. Уезжая в дальний путь, Чехов подарил новой знакомой свою фотографию с надписью: «Добрейшему созданию, от которого я бегу на Сахалин...»¹ Это казалось шуткой, но в этом была своя правда. Чехов действительно стремится поставить барьеры развитию возникших влюбленно-дружеских отношений, чтобы не связать себя женитьбой. «Жениться я не хочу, да и не на ком, — писал он Суворину 18 октября 1892 года. — Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы.

Скучно без сильной любви». Но преднамеренно возбудить в себе такое чувство Чехов не мог. И он стремится всячески продлить разлуку с полюбившей его девушкой. Восемь месяцев продолжалось путешествие по Сибири и вдоль побережий Азии. Только 8 декабря Чехов вернулся в Москву, но весь январь 1891 года он проводит в Петербурге, а с 11 марта уезжает до 2 мая в Италию и Францию. На другой же день по возвращении из Европы он переезжает на дачу в городок Алексин на Оке, а отсюда в старинную усадьбу Богимово. Все это похоже на бегство от собственного счастья.

В усадьбе он работает над одной из своих лучших повестей — «Дуэль». История нравственного возрождения героя, воссозданная на ослепительном фоне кавказского побережья, вызвала в творчестве Чехова новые глубокие ноты, как бы приоткрывающие перспективы в счастливое будущее мира и людей.

Тем безотраднее представлялась современность. Героиня повести, красивая молодая женщина, жаждущая счастья и любви, встречает на своем пути только чувственность и разврат, теряя понемногу все живое и чистое, к чему горячо стремилась ее душа. Среди распутников, требующих ее тела, она хотела думать только о том, «что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание»... Это была любимая чеховская вещь Мизиновой: гораздо позже, 2 июня 1895 года, она писала матери из Парижа: «Поищи мои книги, мамуся, и попроси... отыскать «Дуэль».

В летние месяцы 1891 года Лика изредка навещает Чехова. Их отношения — по крайней мере с его стороны — сохраняют характер веселой и доброй дружбы. Он не писал ей писем из Сибири, но передавал приветы,



¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XX, стр. 332.

почти всегда именуя ее шутивными прозвищами вроде «Жамэ» или «Тер-Мизинова». Этот тон, как бы заявляющий, что ничего серьезного в их отношениях нет, сохранится и в его дальнейшей корреспонденции с «блондиночкой», тщетно ожидающей простого и искреннего слова в ответ на захватившее ее чувство.

IV

Письма Чехова к Лидии Мизиновой полны шуток, острот, веселых поддразниваний и комических прозвищ, на которые он был таким мастером. Иногда его корреспондентка пытается поддержать этот тон, что сообщает их переписке характер непринужденного и оживленного разговора.

Но такая беседа имеет свой подтекст. Он говорит о сильном увлечении одного из собеседников, о большом и грустном чувстве любви, обреченной на непонимание и неразделенность. В письмах полюбившей женщины подчас явственно звучит ее затаенная душевная драма.

Великий лирик в прозе избегал лиризма в своих письмах, особенно к женщинам, с которыми был связан дружбой или увлечением. Чувство прикрывалось усмешкой и не выдавало себя. Еще сильнее действовал этот метод иронии, когда необходимо было за внешней приязнью скрыть внутреннее безразличие. Чехов не раз это изображал в своем творчестве. «Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом», — возмущенно бросает в лицо своему возлюбленному смелая и страстная Зинаида Федоровна в «Рассказе неизвестного человека». Это, в сущности, один из самых устойчивых лейтмотивов в переписке Мизиновой с автором этой повести.

Чехов-моралист осуждает такое типичное равнодушие заурядного мужчины к самоотверженному и безраздельному чувству полюбившей его женщины (вспомним, как в «Даме с собачкой» в момент смятения и ужаса Анны Семеновны от своего «падения» Гуров спо-

койно ест арбуз). Но в жизни он все же был сдержан на изъявление своих внутренних ощущений и нередко отвечал на внушенную им любовь блестящей сюитой комических пассажей, изредка лишь прерываемых глубокой и чистой сердечной нотой.

Так было и в его отношениях с Мизиновой. В его долголетней переписке с этой влюбленной девушкой встречаются подчас лаконичные фразы, хватающие за душу. Но их немного. Кажется даже, что они затеряны в непрерывной буфоннаде потешных неожиданностей и смехотворных прозвищ.

Первое письмо Чехова к Мизиновой имеет обращение к ней «Думский писец!»¹ и подпись «Ваш известный писатель». За исключением врачебных советов насчет кашля, оно состоит сплошь из шуток и даже содержит популярный опереточный куплет из «Прекрасной Елены». Следующее письмо подписано А. Кислота и полно веселых намеков на пристрастие адресатки к «высшему свету». Третье письмо начинается словами «Золотая, перламутровая, фильдекосовая Лика» и заканчивается подписью: «Ваш известный друг Гунянди-Янос»; в нем сообщается, что Чехов вывел бензином пятна от слез, которыми «прекрасная Лика» оросила его плечо. В четвертом письме вместо подписи дан рисунок сердца, пронзенного стрелой. 28 июня 1892 года он пишет: «Канталупа, я знаю: вступив в зрелый возраст, вы разлюбили меня. Но в благодарность за прежнее счастье пришлите мне три тысячи. Это вас ни к чему не обяжет, я же не останусь в долгу и пришлю вам зимой сливочного масла и сушеных вишен». Имеются письма, в которых пародируются объяснения в любви наивного парня («какая ты душка!»), уличного апаша или непобедимого сердцееда («я люблю вас страстно, как тигр, и предлагаю вам руку»). К первой пародии приложена фотография неизвест-



¹ Л. С. Мизинова служила в это время в Московской городской думе.

ного моряка с надписью: «Лиде от Пети». Встречаются и курьезные формулы прощания: «до свидания, кукуруза души моей... Не забывайте побежденного вами — царя Мидийского». В кратком пост-скриптуме сообщается: «наше дите здорово».

Многое в этих шутках Чехова кажется все же не соответствующим искреннему и серьезному чувству к нему адресатки его забавных записок. Но, не желая противоречить, она отвечает ему подчас в том же тоне, прибегая также к жанру эпистолярной пародии. Такова стилизация любовного признания в письме Мизиновой от 21 января 1892 года: «Скоро ли ты приедешь? Мне скучно, и я мечтаю о свидании с тобой, как стерляди в Стрельневском бассейне мечтают о чистой прозрачной реке» и пр. Такая же игра в письме от 13 июля 1892 года: «Итак, я невеста! (Жениху 72 года, он стар и толст, у него винный завод...) Долго боролась я между любовью к вам и благоразумьем — наконец последнее победило».

Но трудно выдержать до конца этот надрывный юмор. «Такой важный шаг жизни я не могу сделать без вас. Ах, дядя, не любите только никого больше, а то это мне было бы слишком больно. Я должно быть заразилась у вас благоразумьем и осторожностью, и вот что из этого вышло... В память прежней дружбы пишите чаще, право это совсем не так трудно. Не будьте эгоистом! Прощайте, полубог мой. Ваша Л. Мизинова».

Обычно она не скрывает своих горестных переживаний и раздумий. Она прямодушна и откровенна. В первом же письме к Чехову от 9 января 1891 года она пишет о мучительной смене своих переживаний в связи с неопределенностью его чувства и невыясненностью намерений. Оказывается, она уничтожила днем письмо, написанное к нему утром: это был «сплошной плач»... Отчего же «утром я могла написать такое мрачное письмо, а теперь мне кажется, что все это вздор?..»

Вообще она сильно страдала от этого шутивного обращения со всем, что для нее представлялось самым ценным и важным в жизни. Она просит написать ей письмо «без обычной насмешечки»; неужели же «...кроме иронии, я ничего не заслуживаю? Ни одного хорошего слова?».

Ее тревожит отношение к Чехову их общей знакомой Александры Алексеевны Похлебиной, имя которой она осторожно, но укоризненно называет в своих письмах. Это была учительница музыки и автор учебника по методике преподавания игры на рояле¹. В архиве Чехова сохранились письма этой корреспондентки, действительно свидетельствующие о ее сердечной привязанности к нему.

Все это усугубляет огорчения «перламутровой Лики». Она приходит к печальным выводам. «Мои письма ровно никакого значения для вас не имеют, и вы напрасно стараетесь мне это еще доказывать...», «Неужели вы не напишете? Ну, не будьте эгоистом, напишите десять строк, только не бранитесь и не насмехайтесь, а то лучше не пишите...»

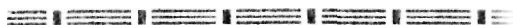
По своей жизнедеятельной натуре Лидия Мизинова не склонна принимать пассивно такое ироническое поклонение. Оно не может длиться до бесконечности, и эта необычная дружеская связь вступает понемногу в стадию непоправимых осложнений.

V

Прежде всего пускается в ход обычный маневр — возбуждение ревности. В первую пору этому служит, видимо, Левитан, который довольно часто упоминается в письмах Мизиновой.

«Сейчас только вернулась от ваших, — сообщает она Чехову 13 января 1891 года. — Меня провожал домой Левитан...»

«Софья Петровна со мной ужасно мила, —



¹ А. А. Похлебина, Новые способы для приобретения фортепианной техники. М., 1894. Чехов содействовал напечатанию этой работы.

пишет она в другом письме, — все зовет к себе, а Левитан мрачен и угрюм, и я часто вспоминаю, как вы его называли Мавром».

Софья Петровна — это художница Кувшинникова, жена участкового врача, устроившая в своей скромной казенной квартирке известный артистический «салон», сатирически описанный Чеховым в рассказе «Попрыгунья».

Это была талантливая женщина с оригинальной внешностью и смуглым лицом мулатки. Ученица Левитана, она оставила интересные воспоминания о совместных поездках с ним на этюды под Звенигород, в Плес, во Владимирскую и Тверскую губернии, где им были написаны знаменитые картины — «Вечерний звон», «У омута», «Над вечным покоем», «Владимирка».

В литературную гостиную Кувшинниковой при содействии знакомых артистов или музыкантов вошла по окончании гимназии и Лидия Мизинова. Это было ее вступление в художественный мир, с которым она уже никогда не расстанется. Здесь она познакомилась и со знаменитым живописцем, руководившим художественными занятиями хозяйки дома.

Встреча с ним нашей молодой пианистки произошла в самом конце восьмидесятых годов, когда он вошел в славу и выработал просветленный тон своих пейзажей с мерцающими бликами водных масс и бодрящим дыханием свежего ветра. Увидев его волжские этюды 1888 года, Чехов заметил: «На твоих картинах даже появилась улыбка...»¹

Дружба Левитана с Мизиновой представляла тоже светлый эпизод их жизни. Художнику было около тридцати лет. Это был мужественный красавец бедуин, который несколько позже встречал своего друга Нестерова «в нарядном бухарском золотисто-пестром халате, с белой чалмой на голове, каким он мог бы позировать и Веронезу для «Брака в Кане Галилейской»².

На рубеже девяностых годов это был мастер-художник в расцвете сил и красоты, ки-

пучий, страстный, влюбчивый, с бурными увлечениями, протекавшими у всех на виду. Так сказала и его влюбленность в юную Мизинову (о чем свидетельствует Михаил Чехов).

В мае 1891 года Левитан с Кувшинниковой поселяются для этюдов в городке Затишье Тверской губернии «вблизи усадьбы Панафидина, дяди Лики», как сообщает живописец Чехову 29 мая 1891 года:

«Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею — божественной Ликой!

Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть».

В таком шутилом тоне художник и писатель будут долго трактовать тему их любовного соперничества за общую «живописную» подругу. Так, по поводу рассказа Чехова «Счастье», в котором Левитана поразил пейзаж — «картины степи, курганов, овец» («это верх совершенства»), он сообщает другу-автору: «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике, и они обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь! Вот где настоящая добродетель!»³

Каникулярный роман Левитана в 1891 году проходил как бы на фоне его излюбленного живописного жанра. Недаром он так восхищался Тверской губернией. Это была чарующая природа русского северо-запада с ее застывающими озерами и тихими прудами,

¹ М. В. Нестеров, *Давние дни. Встречи и воспоминания*. М., 1941. — Ср. *И. И. Левитан. Письма. Документы. Воспоминания*, Под редакцией А. Федорова-Давыдова. М., 1956, стр. 122, 123.

² Там же.

³ И. И. Левитан, *Указ. сборник*, стр. 35—37.

с цветущей калиной и жимолостью, с далеким завуалированным солнцем, бросающим свой рассеянный и бледный отсвет на ниспадающую густую и трепещущую листву белоствольных берез и плакучих ив. Тенистые заросли, поблескивающие омуты, жемчужные облака, густые массивы зелени, четко выделяющие сквозные очертания узкой колоколенки, белеющей тонким обелиском в синих сумерках дальних рощ, — все это уже кажется картиной Левитана, раскрывающей самое подлинное и глубинное представление об этой задумчивой красоте верхнего Плеса.

...Перед тобой Россия,
Твоя любовь, бессмертие твоё¹.

Не удивительно, что это лето ознаменовалось созданием многих этюдов к знаменитым картинам тончайшего мастера русской природы. Его ученица описала в своих воспоминаниях и творческую историю этих полотен, и обстановку тихих уголков верхнего Поволжья, и теплую духовную атмосферу в старинном гнезде ближайших родственников Лидии Мизиновой — в селе Покровском.

«Омут» был написан в Тверской губернии в имении Панафиной близ Затишья, — сообщает С. П. Кувшинникова. — Этюд для этой картины Левитан сделал в Бернове, имении баронессы Вульф, на мельнице, куда мы ездили на пикник. Увидав Левитана за работой, баронесса подошла к нему и спросила: — А знаете, какое интересное пишете вы место? Это оно вдохновило Пушкина на его «Русалку».

И затем она рассказала трагедию, связанную с этим омутом. Пушкин не раз гостил в Бернове и соседнем имении, Малинниках, бывал на мельнице, здесь ему рассказали предание, связанное с омутом, и он написал «Русалку»...

— С моим отъездом в Москву, — продолжает Кувшинникова, — Панафидины предложили Левитану перебраться к ним в Покровское, и тут, в отведенном ему под мастерскую боль-

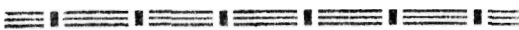
шом зале, он написал свою картину... Писал он ее с большим увлечением, всегда настаивая, чтобы я играла ему Бетховена и чаще всего Marche funebre. Вообще Левитан страстно любил музыку, чутко понимал ее красоту, и не раз проводили мы целые вечера за музыкой. Я играла, а он сидел на террасе, смотря на звезды и отдаваясь своим думам и мечтам. Семья Панафиных очень привязала к себе Левитана тою бережностью и уважением, с которыми она относилась и к художнику и ко всему его касавшемуся. За Левитаном ухаживал и заботился весь дом, куда летом съезжалось более 23 человек родни. В благодарность за такое отношение художник оставил своим тверским друзьям хорошую по себе память, «написав отличный портрет во весь рост с Николая Павловича Панафидина»².

Здесь же был написан этюд к превосходной картине Левитана «Осень» 1892 года, подаренной им Л. Мизиновой³. Густая трава желтеющим ковром раскинулась по лужайке, ветви берез почти обнажены, и лишь кое-где повисшие гроздья скудеющей листвы отсвечивают «багрецом и золотом». Это как бы красочное соответствие знаменитым стихам одного из любимейших поэтов Левитана — Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Прозрачный воздух, день хрустальный,
И лучезарны вечера...

Эти чудесные тверские этюды Левитана связаны с его увлечением сероглазой девушкой с пепельными волосами.

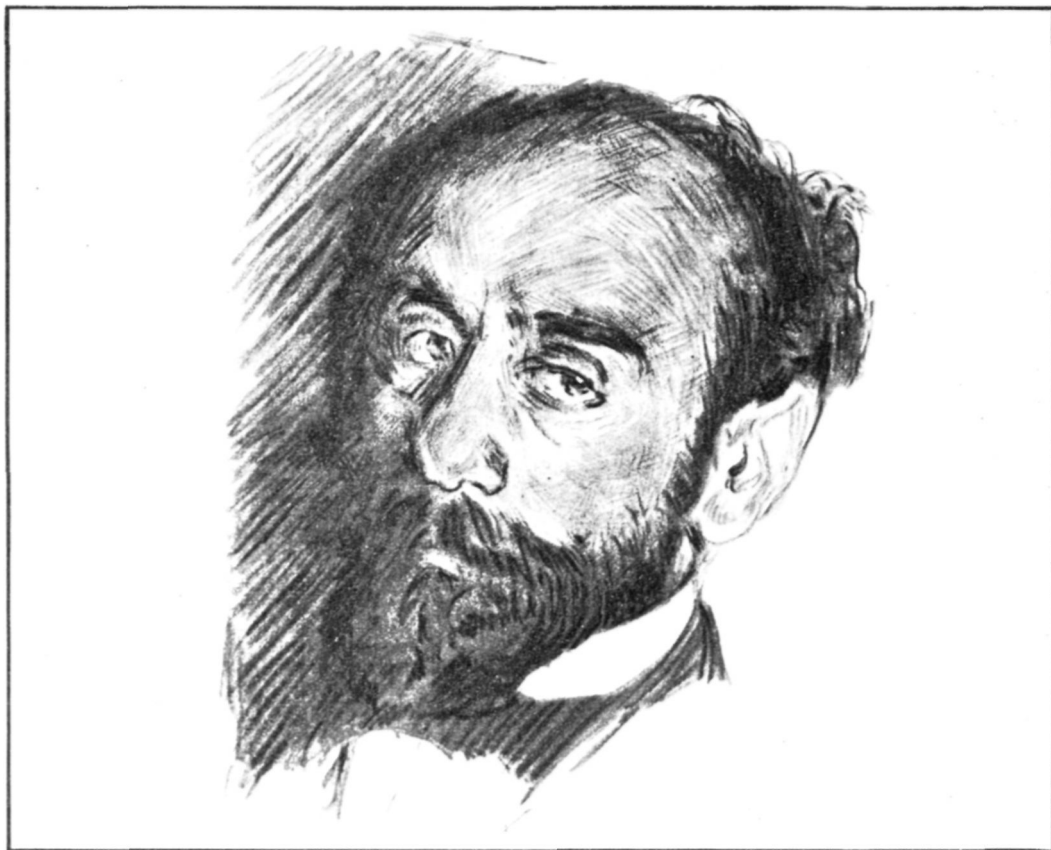
Увлеклась ли им Лика? Он несомненно



¹ Н. Рыленков, Левитан. («Мы возмужаем и верней оценим...») «Новый мир», 1942, № 7.

² Сергей Глаголь и Игорь Грабарь, Исая Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., (1912), стр. 59–62.

³ И. С. Зильберштейн, Подарки И. И. Левитана. (К пятидесятилетию со дня смерти.) «Огонек», 1950, июль, № 31, стр. 16–17.



отвечал ее представлениям о типе героя — она, конечно, любила сочетание знаменитости и мужественной красоты. Но ее сердце уже принадлежало другому великому художнику: «А знаете, если бы Левитан хоть немного походил на вас, — сообщает она своему другу-писателю 13 января 1891 года, — я бы позвала его поужинать».

Но за этой шутовской скрывается грусть. На вопрос Чехова в письме от 28 июня 1892 года, «снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти», Лидия отвечает ему 2 июля со всей серьезностью и душевной болью: «Для чего это вы так усиленно желаете напомнить мне о Ле-

витане и о моих якобы «мечтах»? Я ни о ком не думаю, никого не хочу и не надо мне...» Но дружба с Левитаном осталась одним из поэтических эпизодов ее биографии. Чехов запомнил его. Беглыми отражениями этой встречи отсвечивает и «колдовское озеро» в драме о девушке-чайке.

VI

От преходящего эпизода она устремляется к главному событию жизни. Летом 1892 года Лидия решает на смелый шаг. Она готова совершить большое совместное путешествие с Чеховым по Крыму и Кавказу. Маршрут поездки детально разработан: Москва — Сева-

стополь — Батум — Тифлис — Военно-Грузинская дорога — Владикавказ — Минеральные Воды — Москва. Своих родных она предупреждает, что собирается совершить поездку на юг «с одной дамой», и заказывает через своего отца — начальника движения — билеты на Кавказ к началу августа, при этом в разных местах поезда (очевидно, во избежание огласки).

Но план этот мало увлек Чехова. Он снова уклоняется и воздерживается. Получив известие о билетах, он отменяет поездку. «Вечно отговорки! — с досадой отвечает ему 26 июня 1892 года Мизинова, — кажется, не было случая, чтобы что-нибудь не мешало вам написать мне приличное письмо! А там, чтобы билетов не доставали, я уже написала, и вы можете не беспокоиться...» Чувствуется сдержанная обида, оставляющая надолго горький осадок.

20 июля 1892 года огорченная девушка пишет Чехову: «Итак, вы едете в Крым. Это называется благородно! Меня отговорить, а самому ехать... Жить стоит минутами и потом забывать эти минуты, чтобы воспоминаний не оставалось, и не требовать от людей больше того, что они способны дать... Вы-то именно и поступаете так, как я говорю!»

Все это свидетельствует о глубоких внутренних расхождениях. Они объяснялись коренным различием натур, воззрений, жизненных целей. Полюбившая девушка стремилась к счастью, писатель приносил его в жертву своему творческому труду. Он этого не скрывал от своей приятельницы. «Увы, я уже старый молодой человек, — писал он 27 марта 1892 года Л. С. Мизиновой, — любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю». Что же это за любовь? Не точнее ли было бы говорить о дружеской симпатии, о приятельской привязности, о «сердечной думе» (по тонкому выражению Пушкина). Да, солнца и весны не было в их отношениях. Не было и счастья. Была «златокудрая обольстительная дева», как назвал ее Чехов в 1890 году, был и погружен-

ный в свои творческие замыслы литератор, избегающий опасных обольщений жизни. Такова интимная история многих артистов и поэтов, поглощаемых без остатка своим талантом.

Чехову была чужда и вольная жизнь его приятельницы с богемной беспечностью развлечений и пестрым хороводом знакомых. Об этом он говорил ей подчас довольно откровенно (см. письмо ее к Марии Павловне из Покровского от 18 июля 1893 года: «в Москве видела всех своих любовников (извини за выражение, но оно твоего брата)»).

Видимо, Чехова располагали к его новой знакомой ее общая культурность и музыкальность. Игра и пение Лики даже оставили некоторый след в его творчестве. Он запечатлел, как увидим, ее пение в «Черном монахе» и в «Моей жизни», ее девичьи мечты о сцене в «Чайке». Он понимал при этом ограниченность ее музыкальных способностей и не считал ее настоящей артисткой.

Лидия Мизинова искренне стремилась к художественной деятельности и горячо любила музыку. Но она не имела к ней призвания. Героиня Чехова Екатерина Ивановна Туркина в рассказе «Июнь» поздно понимает свою ошибку: «Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница...» Так же поздно, не раньше 1902 года, то есть после пятнадцати лет исканий и метаний, поняла свою ошибку и Лидия Стахивевна: она не была рождена актрисой, певицей, виртуозом и никаким трудом не могла завоевать себе права на это звание. Но только долгий путь ошибок и крушений убедил ее в этом.

Еще 25 марта 1890 года Чехов подарил своей приятельнице «Скучную историю», недавно лишь опубликованную им. Наряду с медленным моральным умиранием знаменитого профессора, утратившего в удушливой атмо-

сфере безвременья свою «общую идею», здесь была раскрыта драма русской девушки восьмидесятых годов, страстно увлеченной магическим миром театра, но недостаточно одаренной, чтоб отдать ему всю свою жизнь. Воспитанница мирового ученого, она становится провинциальной актрисой, влюбляется в премьера труппы, испытывает вскоре глубокое разочарование в актерской среде, покусается на самоубийство, хоронит своего ребенка и медленно догорает, утратив веру в свое призвание и не видя иных путей в жизнь. Чехов здесь во многом предсказал судьбу Мизиновой и художественно выразил ее тип.

Одна из первых неудач ее на сценическом поприще относится еще к весне 1890 года. По свидетельству бабушки, двадцатилетняя Лидюша возмечтала приобщиться к драматическому искусству. По воззрениям Софии Михайловны, это была верная гибель для юной девушки. Вот почему старая смольнянка приветствует провал своей «внучки» на первой пробе ее театральной одаренности. Это было на сцене Пушкинского театра¹, где Лидия выступала в «Горящих письмах» Гнедича, но «ни малейшей способности не оказала». Путь в драму закрылся перед ней, в сущности, навсегда.

Чехов не мог сочувствовать такому дилетантизму. В его эстетике огромное значение имел труд — «тот гигантский, могучий труд», который он усмотрел уже в 1881 году в искусстве Сары Бернар, когда он даже предложил русским актерам «учиться у гостей работать». 27 июля 1892 года он пишет Мизиновой: «У вас совсем нет потребности к правильному труду... Потому-то все вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки и учиться у Федотова глупостям».

Александр Филиппович Федотов был известный театральный деятель Москвы, основавший в 1888 году вместе с Константином Сергеевичем Алексеевым (Станиславским) и Федором Петровичем Комиссаржевским «Общество искусства и литературы» с драма-

тической и оперной школой. Сюда-то и поступила учиться Мизинова. На критическое замечание Чехова она возразила, не оспаривая тезиса своего знаменитого друга, но противопоставляя искусству непосредственную жизнь и ставя превыше всего чувство, захватившее безраздельно сердце женщины. С такой позиции она укоряла за нечуткость своего корреспондента и отстаивала свою правду.

«В том, что у меня нет потребности к правильному труду, вы отчасти правы. Я не могу правильно трудиться над всем и раз занимаюсь чем-нибудь одним, то этому одному предаюсь с интересом и увлечением, а так как это одно у меня есть, то, конечно, все другое для меня отступает на задний план. Ко всему и всем относиться одинаково и ровно, как вы, я не могу. Это большой недостаток, может быть, но я все-таки предпочитаю быть такой, — для меня хоть что-нибудь бывает дорого, а для вас никогда и ничто...»

Это очень тонкая и скрытая полемика о самом важном — о смысле жизни, об отношении к людям, о значении для верного решения этой проблемы не только искусства, но и любви — двух начал, которые в биографиях художников бывают неразрывно слиты. Так уже сквозь тематику этой эпистолярной дискуссии проступает доминанта будущей «Чайки».

Лидии Мизиновой, как и Нине Заречной трудно говорить о своем чувстве. Одна из них обращается к цитате из творений своего кумира — писателя Тригорина. Другая дает любимому человеку полную свободу выбора в своем широком и открытом признании.

«Ну прощайте, — пишет Лика, — и не забывайте ту, которая постоянно думает о вас (не правда ли, красивая фраза? Но я боюсь,



¹ Имя Пушкина носил первый частный театр в Москве, основанный артисткой Малого театра А. А. Бренко в 1880 году и закрывшийся в 1882 году. Часть труппы перешла в новооткрытый театр Ф. А. Корша, который С. М. Иогансон и называет по традиции «пушкинским».

что она вас испугает, и потому спешу прибавить, что я пошутила). Где тут правда — не знаю».

К каким сложным переходам и тончайшей игре психологических нюансов приходится прибегать этой зачарованной девушке, непрерывно огорчаемой веселыми каламбурами своего корреспондента, сквозь которые изредка пробиваются проблески серьезного отношения к ней. Весьма характерно для суждения об этом контрастном стиле письмо Чехова к Мизиновой в Покровское от 28 июня 1892 года: «Передайте барону Штакельбергу, кузену и драгунским офицерам, что я не буду служить для них помехой. Мы, Чеховы, в противоположность им, Балласам, не мешаем молодым девушкам жить... В сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже заборсили мне на шею».

Не все здесь сводится к игре слов и шалости мыслей. Но умная адресатка не доверяет этой жажде любовного головокружения и жизненного порабощения у ее ног. «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!» (2—3 июля 1892 года). Она изверилась в чувстве своего блестящего собеседника. Она оставила свою заветнейшую надежду.

VII

С весны 1892 года она часто бывает в Мелихове. Ей полюбили маленькое скромное поместье с его незатейливым и просторным домом, с отдельным флигельком, где работал Чехов. В большом доме находился кабинет писателя, в окна которого зимой заглядывали из-за сугробов зайцы, что давало возможность шутнику хозяину уверять гостей, что косые зверьки любят на «золотую Лику». А вокруг полки с книгами по медицине и

литературе — этюды Левитана, фотографии друзей, портрет Льва Толстого. На письменном столе безделушки из тонкой бронзы и слоновой кости, вывезенные из Гонконга, Сингапура, Порт-Саида и Цейлона. На подоконнике венецианского окна — склянки с лекарствами для деревенских пациентов, на столе рукопись незаконченного рассказа и сметы школ, больниц и построек серпуховского земства. А из широких окон — зеленеют под солнцем или белеют под снегом — сад, лес и степь... Разговоры на диване, поздние ужины, Чайковский и Газтано Брага будут вспоминаться мелиховской посетительнице и в дальних заграничных центрах, как наилучшая пора ее жизни...

Когда в 1898 году Чехов решил поселиться в Ялте и продать свое подмосковное имение, Лидия писала ему (14 января 1899 года из Парижа): «Если бы я уже была великой певицей, я купила бы у вас Мелихово! Я подумать не могу, что не увижу его, так много там хороших воспоминаний, вся лучшая молодость соединена с ним».

Но уже эти годы молодой дружбы не отличались беспечностью. К концу 1892 года в письмах Лики начинает тревожно звучать тема разрыва. Возникает мотив расторжения мучительной связи, разлуки *par dépit*, измены с отчаяния, приступов любовной досады и отмщения равнодушному человеку новым увлечением наперекор собственному чувству к нему. Это мотив цыганщины, разбитого счастья, забвенья сердечных ран в разгуле страсти.

В чеховском кружке, как рассказывает его младший брат, любили рестораны и тройки, ужины у Тестова или в «Эрмитаже», заезды в «Лувр» к Л. Б. Яворской или в «Мадрид» к Т. Л. Щепкиной-Куперник. В пирушках участвовали, помимо «луврских сирен» (как называл их Антон Павлович), братья Чеховы, Мария Павловна, Лика Мизинова, В. А. Гольцев, И. Н. Потапенко. Было много шуток, остроумия, увлечений, признаний. Но сквозь веселое оживление прорывались подчас и сер-

дечные горести, и потребность забыться, и особая поэзия «жизни, брошенной в огонь» — все это в духе модного в те дни романа Чайковского — Апухтина «Ночи безумные», в котором юный Чехов нашел главную формулу для своей первой повести «Цветы запоздалые»:

Осени мертвой цветы запоздалые...

Такие мотивы звучат и в письмах Мизиновой. 8 октября 1892 года она пишет Чехову: «Я прожигаю жизнь, приезжайте помогать поскорей прожить ее, потому что чем скорее, тем лучше... Вы когда-то говорили, что любите безнравственных женщин — значит, не соскучились [бы] и со мной. Хотя вы и не отвечаете на письма, но теперь, может быть, и напишете что-нибудь — потому что переписка с такой женщиной, какой становлюсь я, право ни к чему не обязывает, да вообще я гибну, гибну день от дня и все *par dépit*. Ах, спасите меня и приезжайте! До свиданья. Л. Мизинова. Ах, как все грязно и скверно!»

Но Чехов не сочувствует этому прожиганию жизни. В письме от 23 ноября 1892 года он пишет: «Могу себе представить, как противен вам коньяк...» То же и в письме из Петербурга от 28 декабря: «Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. Меня обманывает Лика. Это хорошо в том отношении, что я могу теперь, ужиная с приятелями, говорить: «Меня обманывает блондинка...»

В ответном письме этой прожигательницы жизни слышатся горестные укоризны единственному человеку, который мог бы спасти ее и которому она остается непоколебимо преданной.

Вот что писала Чехову Лидия Стахиевна 30 декабря 1892 года:

«В Москве тоже холодно, но гр[афини] Мамуна¹ я во сне не вижу. Я вижу во сне вас и приписываю эти кошмары тому, что приходится пить много шампанского. Каждый раз, как мне наливают новый стакан, я вспоминаю вас и жалею, что не с вами пью!

Так-то, дядя, а вы еще пишете, что старый надоевший вздыхатель не может надеяться провести со мной целый вечер. Это только отговорка — просто вы сами могли подарить мне только несколько мгновений и то ради Маши. Скоро ли кончатся праздники — я так закружилась, что остановиться не могу сама, надо, чтобы начались занятия и тогда все пойдет по-старому. Ни в Петербург, ни в Мелихово я не поеду теперь. К вашим поеду 15-го января не раньше. Каждый день занят. Замуж *par dépit* я решила не выходить. *Par dépit* я теперь прожигаю жизнь! Это во всяком случае и приятнее и менее беспокояно. Есть на свете человек, который мог бы удержать меня еще от этого сознательного уничтожения себя, но этому человеку нет до меня никакого дела. Впрочем, уже поздно! Вы пишете, что я вас обманываю — это неправда, — я пью только шампанское и то только на праздниках и курю одну папиросу в три дня. Если же вы, ужиная с приятелями, будете говорить им, что вас обманывает блондинка, то, вероятно, их это не удивит, так как вряд ли кто-нибудь может предположить, что вам могут быть верны. Долго ли вы еще пробудете в Петербурге — ведь я вас почти три месяца не видала, а для меня это очень много значит! Если будете проезжать Москву, дайте знать заранее, а то опять я вас не увижу. Пишите, умоляю, побольше и не забывайте ту, которую вы бросили.

Ваша Л. Мизинова».

Элегическая грусть ранних писем сменяется тяжелым горем за проигранную жизнь. Женская душа, страстно рвавшаяся к счастью, к любви, к расцвету сердца, утомлена и обессилена. Сколько вокруг нее интересных зна-



¹ Графиня Клара Ивановна Мамуна («маленькая графиня»), одно время невеста Михаила Павловича Чехова. О ней в письме Антона Павловича к Мизиновой от 28 декабря 1892 года: «Видал во сне [графиню] Мамуну». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, стр. 459).

комых — часто из чеховского окружения! Знаток французской литературы князь Урусов, король репортеров Владимир Гиляровский, Южин-Сумбатов, Левитан, редакторы «Русской мысли» Вукол Лавров и Гольцев, Володя Немирович, издатель «Артиста» Куманин, директор Московской консерватории и главный дирижер симфонических концертов Русского музыкального общества Сафонов и ряд других — Ржевский, Баллас, кузен Панафидин, сосед по Покровскому Вульф — вот круг ее поклонников, над которыми подтрунивает подчас Чехов.

Но среди всех этих друзей и почитателей красавица девушка не находит ни одного верного друга, которому решилась бы доверить свою жизнь. В пестрой, беспечной, веселящейся толпе, как и в среде крупнейших знаменитостей художественного мира, она чувствует себя затерянной и одинокой. У нее припадки тоски. «Все и вся мне надоело, люди противны — особенно те, которые за мной хотят ухаживать». Это один из лейтмотивов ее писем. «В Москве отвратительно, угнетает вся эта мерзость...», «Настроение невозможное». Она хочет «все бросить и уехать куда-нибудь...», «Холодно, как на улице, так и в моей душе, — пишет она 16 декабря 1892 года. — Скоро ли лето, Антон Павлович? Надоела зима и Москва. Прощайте».

Наступал 1893 год, поворотный в жизни этой искательницы сильного и цельного чувства, — год, подаривший ей мимолетное счастье и открывший в душе незаживаемую рану.

Глава вторая

13 августа 1893 года Чехов сообщил Мизиновой о новых посетителях Мелихова. «Были у нас Потапенко и Сергеенко. Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет».

Петр Алексеевич Сергеенко был старшим товарищем Антоши Чехонте по таганрогской гимназии и автором первой рецензии о нем



в одной из одесских газет. Когда 17 июня 1889 года скончался в Сумах любимый брат Чехова Николай Павлович, чудесный человек и даровитый художник, Сергеенко совместно с актером А. П. Ленским пригласил Антона Павловича в Одессу, где в это время гастролировал Малый театр.

Чехов приехал сюда 5 июля и провел здесь десять дней.

Затея друзей удалась. Прогулки под платанами бульвара и в порт, морские купанья, катанья на яхте по искрящейся глади полуоткрытого моря, посещения погребков, торговавших вином, фруктами и восточными сладостями, обеды в Северной гостинице, а иног-

да и в дешевых ресторациях у загородного парка, посещения «Ауэрбаховского» кабачка, в полдень мороженое у Замбрини, вечером спектакли Малого театра, имевшего в своем репертуаре «Гамлета», «Дон-Жуана», «Тартюфа», «Горе от ума», «Таланты и поклонники» и ряд веселых современных комедий, наконец, в полночь собрания странствующих актеров в номере артистки Клеопатры Александровны Каратыгиной, получившие остроумное прозвание «вечеров Антония и Клеопатры»¹, — все это отвлекало мысль Чехова от пережитого несчастья.

К тому же он слегка увлекся молоденькой премьершей московской труппы Глафиры Викторовны Пановой, лишь незадолго до того перешедшей из балета в драму (в Одессе она уже играла Эльвиру в «Дон-Жуане», Марьяну в «Тартюфе», Негину в «Талантах и поклонниках»). Через пятнадцать лет Чехов не без тепла вспоминал эту «брюнеточку с маленьким лобиком» (за которую его свата в Москве жена А. П. Ленского).

Журналист Сергеенко стремился ввести Чехова в круг одесских литераторов и даже повез его на дачу к молодому сотруднику «Новороссийского телеграфа» Игнатию Николаевичу Потапенко, который пользовался уже известностью в столичных редакциях за свой рассказ «Святое искусство». Но после веселого общества столичных актеров и актрис этот провинциальный автор показался Чехову скучным.

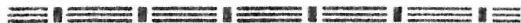
Между тем биография Потапенко была не совсем обыкновенна. Он был сыном украинской крестьянки и блестящего уланского корнета, оставившего в расцвете сил свой кавалерийский полк, чтобы вступить в ряды сельского духовенства. Сына своего он отдает на обучение в Херсонское духовное училище, а затем переводит в Одесскую семинарию, предназначая, очевидно, в свои приемники на селе. Но юный бурсак увлекается литературой и музыкой, поступает вскоре в молодой южнорусский университет, а отсюда, мечтая об оперной карьере, уезжает в Петербург,

где учится в консерватории по классам пения и скрипки. Вернувшись в Одессу, он начинает сотрудничать в местных газетах, а в 1881 году печатает в «Вестнике Европы» свой первый беллетристический опыт².

В начале девяностых годов Потапенко приобретает широкую популярность своими повестями и рассказами (особенно «На действительной службе», «Генеральская дочка», «Проклятая слава»). Академия наук удостоивает его половинной Пушкинской премии, критика величает «бодрым талантом» и возводит в «кумиры девяностых годов»³. Но быстрый успех вскоре прошел, и Потапенко занял принадлежащее ему место занимательного и плодовитого бытописателя без глубоких идей и яркого художественного слова.

В момент своего переезда в Москву в 1893 году он был в зените своей славы. По верному замечанию Михаила Чехова, «Потапенко в ту пору переживал самые красивые свои дни. Он пел, играл на скрипке, острил, и с ним действительно было весело»⁴. Он захватывал общество возбуждением и живостью своей увлекающейся натуры. «Женщины его очень любили, — пишет в своих «Воспоминаниях» В. И. Немирович-Данченко, — больше всего потому, что он сам любил их и — главное — умел любить».

Это сказалось и в чеховском кругу, куда Потапенко вскоре вошел постоянным его участником.



¹ Сохранилась фотокарточка Чехова с надписью: «Клеопатре Александровне Каратыгиной, на память о 48 № Северной гостиницы от одесского гастролера. А. Чехов» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XX, стр. 332).

² Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911, стр. 67—68.

³ М. Протопопов, Бодрый талант. «Русская мысль», 1898. IX. — Д. Струнин, Кумир 90-х годов. «Русское богатство», 1891, X.

⁴ М. П. Чехов, Вокруг Чехова, стр. 242.

И «Я и Лика очень подружились с Игнатием Николаевичем, — рассказывает Мария Павловна Чехова. — Мы стали называться его «сестрами», перешли на «ты». Он был искренен и трогателен в своих отношениях с нами.

И вот, как это нередко бывает в жизни, одна из «сестер», Лика, начала увлекаться Потапенко. Очень может быть, что вначале ей просто хотелось забыться и освободиться от своего мучительного безответного чувства к Антону Павловичу. Но у Потапенко была семья: жена и две дочери...»¹ Все это предвещало драму.

Пока же назревающий роман протекал в чрезвычайно поэтической обстановке. Потапенко прекрасно исполнял арии и хорошо владел скрипкой (впоследствии он написал оперетту на текст «Ревизора»). Мизинова аккомпанировала ему на рояле, а иногда соглашалась и спеть. С начала девятых годов она мечтала об оперной сцене и уже училась пению.

В программу мелиховских концертов широко входили романсы Чайковского. Эта песенная лирика великого композитора далеко выходит за грани его субъективных настроений. Его элегии близки к большим эпическим и философским созданиям — от страстных вздохов «Ромео и Джульетты» до скорбных напевов «Патетической». В малых камерных жанрах «личная тема» композитора проявляется преимущественно в раскрытии внутреннего мира человека, «упорно бьющегося за счастье, за право жить полной жизнью, дышать полной грудью»².

Эти раздумья Чайковского о страсти и скорби были близки Чехову, а тема борьбы за счастье и свободу чувств отвечала исконным жизненным устремлениям Лидии Мизиновой. Вот почему она и надписала на своем портрете, подаренном Чехову, одну из строф романса Чайковского на слова Апухтина «День ли царит». Она выписала вторую строфу с ее трагической темой («Скоро ли сгину я, жизнь

погубя...»), но исполняла, конечно, романс в целом с его ликующим введением:

День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая, —
Все о тебе!

«После нежной акварели ранних романсов, — комментирует эту песню современный музыковед, — этот радостный гимн торжествующей любви сверкает освобожденной страстью, говорит полным голосом. Его мелодия как бы впитала в себя живительное тепло и свет солнца. Она несется и парит в воздухе подобно птице, опьяненной сверкающими просторами»³.

Исполнялся, вероятно, и романс «Отчего я люблю тебя, светлая ночь», который назван в «Ионыче» и в «Моей жизни». Возможно, что звучала здесь и всеми любимая «Песнь цыганки» на слова одного из литературных друзей Чехова — Я. П. Полонского, как и знаменитые «Ни слова, о друг мой...» и «Нам звезды кроткие сияли...», написанные Чайковским на стихотворения другого приятеля Антона Павловича — А. Н. Плещеева. По свидетельству самого Чехова, он очень любил романс Чайковского «Снова, как прежде, один» на слова Д. М. Ратгауза⁴. Чехов любил также «Ночь» Рубинштейна и «Не искушай меня без нужды» Глинки.

Точных программ эти вечера, конечно, не имели, и описать их с исследовательской достоверностью невозможно. Но мы располагаем и некоторыми неоспоримыми свидетельствами о них. «...Лика садилась за рояль и

1 М. Чехова, Моя подруга Лика. «Москва», 1958, VI, стр. 213 (подчеркнуто мной. — Л. Г.).

2 А. Альшванг, Романсы Чайковского. «Советская музыка», 1938, IX—X.

3 Там же, стр. 106.

4 Письмо А. П. Чехова к Д. М. Ратгаузу от 10 марта 1902 г. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIX, стр. 260).

начала петь входившую тогда в моду «Валлахскую легенду» Брага», — сообщает М. П. Чехов. «Обыкновенно вторую партию в этой легенде играл Потапенко на скрипке. Выходило очень хорошо. В доме поют красивый романс, а в открытые окна слышатся крики птиц и доносится действительно одурманивающий аромат цветов, щедро насаженных в нашем саду сестрой Марией Павловной»¹.

Забывший ныне Газтано Брага (1829—1907) был виолончелистом-концертантом, которым в то время у нас увлекались. Он написал оперу «La reginella» и ряд романсов, из которых особенным успехом пользовалась «Legenda valacca».

В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее дивную песнь, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки, «но мать не понимает ее, и девушка в разочаровании забывается снова в больном беспокойном сне...».

Антону Павловичу очень нравился этот романс, и тема его зазвучала в его рассказе 1893 года «Черный монах». Это глубокий психологический этюд о магистре философии Коврине, который, переутомившись, ведет внутренний диалог со своим «двойником» — воображаемым черным монахом, нашептывающим ему его собственные сокровенные мысли о самоотверженном служении человечеству. В основном Чехов применяет здесь творческий метод Достоевского, но с новым поворотом темы. «Ты воплощение моих мыслей и чувств, только самых гадких и подлых», — говорит галлюцинирующий Иван Карамазов померещившемуся ему черту. «Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову», — заявляет черному монаху Коврин — страстный мечтатель о будущем царстве правды и красоты.

Лев Толстой был восхищен этим рассказом. Он «с живостью и с какой-то особенной нежностью сказал: «Это прелесть! Ах, какая это прелесть!» (Сообщал Чехову Г. А. Русанов 4 февраля 1895 г.)².

Философская новелла построена музыкаль-

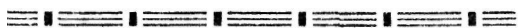
но, как это любил Чехов. В ней звучит пение Мизиновой. Именно она была вдохновительницей раздающейся здесь мелодической темы и ее композиционного контрапункта. В начале этой трагической истории поют два молодых голоса — сопрано и контральто, — разучивающие под скрипку серенаду Брага. Тот же мотив возвращается в конце рассказа, когда перед смертью героя «два нежных женских голоса» снова поют над севастопольской бухтой знакомый напев.

Исполнение лучших русских романсов в Мелихове совпало с полученным известием о смерти Чайковского.

Лишь за два месяца до того он закончил свою шестую симфонию — Патетическую. Он дирижировал ею в Петербурге 16 октября за девять дней до смерти. Одна из величайших оркестровых поэм мира не имела успеха. На приеме у Римского-Корсакова автору выражали уважение, но не восхищение. Он был огорчен. В одном из последних своих писем он заявлял с уверенностью великого мастера, что ничего лучше он не написал и не напишет. Потомство поставило его предсмертное творение рядом с Девятой симфонией Бетховена.

Чехов телеграфировал брату усопшего Модесту: «Страшная тоска. Я глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан. Сочувствую всей душой». В русском искусстве имена их остались навсегда объединенными общим лирическим стилем, как в жизни их сближали неразрывные личные симпатии и дружба великих артистов.

Другой друг-музыкант Чехова, Рахманинов, написавший фантазию к его рассказу «На пу-



1 М. П. Чехов, Вокруг Чехова, стр. 242.

² Г. А. Русанов, Письмо к А. П. Чехову от 4 февраля 1895 года. Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Вып. VIII, А. П. Чехов, М., 1941, стр. 58—59. Отзыв о «Черном монахе» Л. Н. Толстой высказал Русанову 2 апреля 1894 г. в Воронеже по пути из хутора В. Г. Черткова Ржевск в Москву.

ти» и несколько позже романс на слова последнего монолога Сони в «Дяде Ване», создавал свое элегическое трио о Чайковском «Памяти великого художника».



Создание «Черного монаха» сливается с большими событиями в жизни Мизиновой. Изверившись в ответном чувстве к ней Чехова, она принимает решение расстаться с ним. С начала осени 1893 года она начинает готовиться к поездке в Париж для серьезного изучения пения у лучших европейских вокалистов. Одна из ее приятельниц, хорошо известная и в чеховском кругу, — Варвара Аполлоновна Эберле — будет ее спутницей. Отъезд приурочивается к зиме или к началу весны.

8 октября 1893 года Мизинова пишет Чехову: «Вы, конечно, не знаете и не можете понять, что значит желать чего-нибудь страшно и не мочь, — вы этого не испытывали!

Я нахожусь в данное время в таком состоянии. Мне так хочется вас видеть, так страшно хочется этого, и вот и только — я знаю, что это желанием и останется. Может быть, это глупо и даже неприлично писать, но так как вы и без этого знаете, что это так, то не станете судить меня за это. Мне надо — понимаете — надо знать, приедете ли вы и когда или нет? Все равно только бы знать. Ведь мне осталось только три-четыре месяца вас видеть, а потом, может быть, никогда.

Умоляю, напишите две строчки, так как вы не приедете... Не возмущайтесь. Л. Мизинова».

Чехов отвечает 10 октября милым и успокоительным письмом: «Что за мерехлюндия, Лика? Мы будем видеться не 3 и не 4 месяца, как вы пишете, а 44 года, так как я поеду за вами или проще не пушу вас». Он обещает скорую встречу.

В следующем письме его корреспондентки — от 2 ноября 1893 года — тема предстоящей разлуки углубляется и драматизм

прощания приближается к отчаянию. «За что так сознательно мучить человека? Неужели доставляет это удовольствие? Или это делается опять-таки потому, что вы не хотите даже подумать, что другие могут думать и чувствовать! Зачем было поднимать вчера разговор о театре? — для того, чтоб опять я промучилась весь день! Вот что хочу я просить вас. Вы отлично знаете, как я отношусь к вам, а потому я несколько не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и ваше отношение — или снисходительная жалость, или полное игнорирование. Самое горячее желание мое вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой — умоляю вас, помогите мне — не зовите меня к себе — не выдайтесь со мной! Для вас это не так важно, а мне, может быть, поможет это вас забыть. Я не могу уехать раньше декабря или января, — я бы уехала сейчас! В Москве это так легко не видаться, а в Мелихово я не поеду — что мне до То[го], что могут подумать, да, наконец, давно уже и думают. Простите меня, что заставляю читать весь этот вздор, но, право, так тяжело. Пользуюсь минутой, в которую имею силу написать все это, а то опять не решусь. Вы не будете смеяться над этим письмом? Нет? Это было бы слишком! [Две строки зачеркнуты.] Все это не нужно! Слушайте, это не фразы — это просьба — единственный исход, и я умоляю отнеситесь к ней без смеха и помогите мне. Прощайте [одна строка зачеркнута]. Л. Мизинова».

Этот новый тон непереносимого страдания объясняется резко изменившейся ситуацией в интимной жизни Чехова. Лика узнает о новой опасной сопернице и понимает, что дальнейшая борьба за счастье безнадежна.

Осенью 1893 года в труппу Ф. Е. Корша поступила новая актриса — Лидия Борисовна Яворская.

Рассказ Т. Л. Щепкиной-Куперник о появлении у видного московского антрепренера никому не известной, никогда не выступавшей на

сцене молодой особы, потребовавшей себе дебют в «Даме с камелиями», относится к области театральных анекдотов. Яворская была в то время профессиональной актрисой, хотя и с небольшим стажем. Ученица В. Н. Давыдова, она играла свой первый сезон в Ревеле, где дебютировала в «Медведе» Чехова, а затем исполняла главные роли в пьесах Островского («Невольницы», «Без вины виноватые», «Женитьба Белугина»), Тургенева («Вечер в Сорренто») и в репертуаре модных драматургов — Шпагинского, Невежина, Немировича-Данченко,

Корш согласился испробовать провинциальную премьершу в легкой комедии. Через две-три недели она занимала первое положение в его труппе.

Это была «беспокойная женская фигура» с нервным, резковатым, чуть хриплым голосом, интригующая своей «змеиной грацией» и поражающая своим типом «тигрицы до кончика ногтей» (по впечатлению ее новой московской приятельницы Т. Л. Щепкиной).

Не признавая узких границ амплуа, Яворская выступала у Корша в самых разнообразных жанрах. Она играла Лидию в «Бешеных деньгах», Глафиру в «Волках и овцах», Реневу в «Светит, да не греет», Оливию в «Двенадцатой ночи» Шекспира, княгиню в «Самоуправцах» Писемского, Ольгу Ранцеву в «Чаде жизни» Маркевича, «Даму с камелиями» Дюма-сына, «Мадам Сан-Жен» Сарду. Она впервые поставила в свой бенефис драму Софьи Ковалевской «Борьба за счастье», в которой исполняла роль девушки Алисы, бунтарки из аристократической среды, отдающей свою жизнь на служение рабочему люду¹.

Вскоре Яворская познакомилась с Чеховым и даже подружилась с ним. Это заметно отразилось на его жизни и творчестве. Напомним малоизвестное свидетельство об этом самой артистки. «Об Антоне Павловиче у меня сохранился целый рой воспоминаний. Мы с ним очень дружили, когда я играла в Мо-

скве у Корша... У нас тогда был свой тесный кружок.

Каждый раз с приездом А. П. [из Мелихова] мы как-то теснее сходились... Обыкновенно сосредоточенный и малоразговорчивый в обществе, Антон Павлович в интимном кружке оживлялся и тогда привлекал наш общий интерес. Это был период, когда Чехов, написав «Иванова», перестал писать для театра...

Часто в разговорах он высказывал свое неудовлетворение современной сценой:

— Почему это мы на сцене непременно должны выводить дураков или людей, прикидывающихся умными, почему мы непременно должны дать со сцены картины, вызывающие или слезы, или смех? Почему бы не вывести просто умных людей; почему не дать картин обыденной жизни, которые вызовут не смех или слезы, а просто раздумье, анализ житейских явлений? Почему непременно нужно сосредоточить героя на одной какой-нибудь страсти, на одном чувстве, а не дать просто умного человека, в котором проявляются в той или иной степени все ощущения, все чувства?»²

Осенью 1893 года Чехов сообщает ей о своем намерении написать для нее пьесу. О таком же обещании Яворская напоминает ему в письме от 2 февраля 1894 года: «Надеюсь, вы помните данное мне обещание написать для меня хоть одноактную пьесу. Сюжет вы мне рассказали, он до того увлекателен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пьеса будет называться «Грезы». Это отвечает заключительному слову графини: «Сон!»

1 Т. Л. Щепкина-Куперник, О первом представлении драмы С. Ковалевской и А. Ш. Лефлер «Борьба за счастье». «Памяти Ковалевской». Сб. статей. М., 1951, стр. 138—142. Пьеса имела большой успех. В ней играл и совсем юный тогда Орленев. «А. М. Колонтай, вспоминая об этой пьесе, говорит, что при всей своей политической нечеткости, она волновала ее и её сверстников — молодежь того времени» (там же, стр. 143).

2 Артисты о Чехове. Л. Б. Яворская, «Новости», 31 августа 1904 года, № 240.

Так заканчивается, как известно, второй акт «Чайки»: Нина Заречная, восхищенная беседой с Тригориным, в глубоком и счастливом раздумье, оставшись одна, подходит к рампе и после глубокой паузы произносит одно только слово: «Сон!» О таком своеобразном финале акта Чехов думал уже за три года до написания «Чайки».

«Дорогой Антон Павлович, — продолжает Яворская, — не откажите украсить бенефис мой вашей пьесой... одно ваше имя возбудит тот интерес, которого не хватает мне, как новичку перед московской публикой. Поддержите меня, как робкую дебютантку»¹.

Но пьесу надо было написать за пять-шесть дней (к 8 или 9 февраля должна была выйти афиша; и Чехов, очевидно, не взял на себя творческой работы в таких стремительных темпах. Бенефис Яворской шел без его пьесы.

Через полгода, 23 марта 1894 года, Яворская, находясь в Риме, обратилась к Антону Павловичу с просьбой исполнить свое ноябрьское намерение и «написать несколько строк в Петербург». По письмам артистки видно, что она сильно увлечена своим новым другом. «Ваша сердцем и мыслями. Лидия», — подписывает она одну приглашительную записку к нему. «Целую и люблю. Ваша Лидия».

Чувство Чехова к Яворской было двойственное, сообщает близкая свидетельница их отношений Т. Л. Щепкина-Куперник: «она ему то нравилась, безусловно, интересовала его как женщина, но и чем-то раздражала...»

В одном из писем Яворской, адресованных в Мелихово, имеется сообщение: «У меня Лидия Стахиевна...»

Лица, несомненно, скоро узнала об увлечении коршевской премьерши Чеховым и с тревогой следила за их сближением.

IV

С начала ноября 1893 года имя Яворской открыто называется в письмах Мизиновой к Чехову. В ее записке от 7 ноября читаем:

«...Вчера опять провели невозможный вечер — мы с Варей [Эберле] легли спать в 8 час. утра. М-м Яворская была тоже с нами. Она говорила, что Чехов прелесть и что она непременно хочет выйти за него замуж... Просила меня содействия, и я обещала все возможное для вашего общего счастья. Вы так милы и послушны, что, я думала, мне не будет трудно вас уговорить и на это. Голубунька, как скучно! Что делать, чтобы не было так скверно? Скоро ли приедете делать предложение м-м Яворской? Хотя бы для этого, но и то хорошо! Напишите три строчки, если любите Ли[дию] Бор[исовну] [Яворскую], — конечно, не ей, а мне! Пишу вздор, но писать нечего, а хочется, простите и не злитесь. До свидания, приезжайте, мучитель души моей, и напишите — умоляю! Ваша Л. Мизинова. Варя уехала сейчас».

Чехов, как всегда в таких случаях, отвечает шуткой и называет свою корреспондентку «милый свахой» (в записке от 29 ноября 1893 года).

Все же наступала необходимость разрубить гордиев узел. В декабре Мизинова принимает окончательное решение. Она отказывается от безнадежной борьбы с Яворской и находит выход в увлечении своим музыкальным партнером Потапенко. Жребий брошен — и она сообщает об этом своему недавнему кумиру:

«...Куманин умоляет в последний раз увидиться со мной, а я — окончательно влюблена в... Потапенко! Что же делать, папочка? А вы все-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить на другого! Мне жаль бедного Игнатия Николаевича — пришлось ехать такую даль [т. е. в Мелихово], да

1 Л. Б. Яворская обращается и к редактору журнала «Артист» с просьбой повлиять в этом направлении на Чехова. А. Ф. Куманин пишет ему 3 февраля 1894 г.: «Дорогой мой Антон Павлович, Яворская спит и видит, чтобы вы написали хотя небольшую пьеску для ее бенефиса. Милый, если и моя просьба что-нибудь для вас значит, порадуйте нас новой вещью для сцены и поддержите молодую талантливого артистку. Право, она стоит этого, Ваш А. Куманин».

еще и говорить! Ужасно! Попросите у него завтра прощения за то, что два дня подряд подвергали его такому наказанию».

«23 декабря 93 г. Дорогой [зачеркнуто: Игна] Антон Павлович. Я все еду, еду и никак не доеду до Мелихова — морозы так страшны, что я решаюсь умолять вас (конечно, если это письмо дойдет), чтобы вы прислали чего-нибудь теплого для меня и Потапенко, который по вашей просьбе и из дружбы к вам будет меня сопровождать. Бедный он! Но, помня, как вы всегда настаивали на этом, я и на этот раз хочу угодить вам [...] В Эрмитаже половые спрашивают, отчего вас давно не видно. Я отвечаю, что вы заняты — пишете для Яворской драму к ее бенефису. Кончаю, страшно перечить и т. д.

Ваша Л. Мизинова».

О чувстве Потапенко мы узнаем из его писем к Чехову. 8 января 1894 года он приглашает своего мелиховского друга приехать в Москву к 12 января принять участие в пирушке на складочных началах. «Имеются виды на Марию¹ и Лидию². Сия последняя находится в путешествии, вследствие чего я состою в тоске, так как влюблен в Лидию почти по уши».

Аналогичное сообщение и в февральском письме к Чехову: «Я в страдательном состоянии духа. Влюблен в Лиду, и толку никакого». Но, по-видимому, это и было время их полного счастья. Лидия писала впоследствии, что оно длилось всего три месяца. Это, очевидно, декабрь 1893 — январь и февраль 1894 года. Это время надолго предопределило ее судьбу. Происходит разрыв с Чеховым, возникает увлечение Потапенко. Один продолжает колебаться, отшучиваться и уклоняться от решительного шага. Другой предлагает и обещает все: уход от семьи и новое счастье навсегда.

Чехов мог бы одним своим словом все приостановить и оберечь свою подругу от надвигавшегося несчастья. Через год она горько укоряла его за безразличие к ней на этом опасном повороте ее жизни.

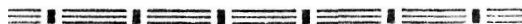
Гораздо позже Потапенко объяснял позицию Чехова в этот решительный момент свойствами его природы — рассудительностью, сдержанностью, уравновешенностью, осторожностью: причиной всего этого «был талант, который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни».

В этом есть, конечно, и объяснение и даже некоторое оправдание. Но, поступая так, Чехов проигрывал главное — жизнь. Вскоре он это понял. Тогда он написал Лидии Мизиновой, успевшей тоже проиграть свое иллюзорное счастье, несколько слов, простых и трагических в своей краткости и обнаженности: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как вас» (18 сентября 1894 года).

Во всей многолетней переписке Чехова, кажется, нет более безнадежных строк. И они звучат тем печальнее, что перед нами не только трагедия рока, но и трагедия вины.

V

Вернемся к хронологическому ходу событий. 5 марта 1894 года уезжает из Москвы в Париж Потапенко, а вслед за ним 12 марта едет из Петербурга и Лика. Она прибыла в Париж 16/28 марта. Предполагалось совместное пребывание за границей. Но из этого ничего не получилось. В Париже уже находилась жена Потапенко с детьми. Вскоре Мизинова сообщала об этом Марии Павловне: «Третьего дня послала Игнатию письмо *poste restante*, как мы уговорились, и сегодня он был у меня, но ровно на полчаса. Пришел в 10½ и ушел в 11 часов. У него очень убитый вид — по-видимому, ему нельзя уходить одному из дома. Принес даже мне на сохранение все мои и твои письма и мой портрет — значит, бедному плохо. Дней через пять они



¹ Мария Павловна Чехова.

² Лидия Стахиевна Мизинова.

все уезжают в Италию на три месяца. Он говорил, что застал свою супругу совсем больной и думает, что у нее чихотка, а я так думаю, что притворяется опять!

В общем наше свидание было такое, что радости ни малейшей не принесло, а у меня оставило тяжелое впечатление и настроение стало еще хуже... Грустно, грустно и грустно... Никогда я не чувствовала себя еще такой одинокой! Когда привыкну и когда начну дело — не знаю...

Напиши мне адрес Антона Павловича, я ему писала из Берлина в Ялту, но ведь он, верно, уже основался где-нибудь, и ты напиши поскорее. Когда я уезжала, мне казалось, что грустно расставаться только с людьми, а тут вдруг появилась тоска и по России. Вчера на улице вдруг услышала русскую фразу, и так приятно было!»¹

Вскоре — в мае 1894 года — она пишет Чехову о Франции, о Мелихове, о тоске по родному и близкому: «Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от вас ни слуху. Неужели и вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо. Без вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать...»

Как же сложилась жизнь Мизиновой в Париже?

Во многом удачно. Лучшие профессора пения, как знаменитый Амброзелли, поддерживают ее желание учиться и определяют ее голос как драматическое сопрано красивого тембра. Она берет уроки у превосходного вокалиста Массона. Она посещает концерты в Гранд-Опера, где в репертуаре «Фауст», «Отелло» Верди, хотя предпочитает этим постановкам спектакли московского Большого театра. Она бывает на художественных выставках в годичных «Салонах» Елисейских полей и Марсова поля, вероятно, и на других, но не примет новейших «левых»

течений и мечтает услышать об этом мнение Левитана. Она много читает по-французски, хотя литература *fin de siècle* ей не по вкусу. Она не оставляет рояля и разучивает новые опусы. Она слушает Бетховена, играет этюды Шопена и концерт Мендельсона, поет «Джоконду», разучивает арии из «Тангейзера». Это дает ей возможность выступать в ученических концертах. Она интересуется уличной жизнью Парижа и изучает ее с высоты императорских омнибусов. Она пробует заняться литературным трудом и описывает свои парижские впечатления в рассказах-очерках, которые рассчитывает поместить в «Артисте» или «Русских ведомостях» (но и на этот раз ее художественные начинания терпят неудачу). У нее милая и внимательная подруга Варя Эберле, контральто, готовящаяся, как и она, к оперной сцене. Наконец, она посещает вечера русской колонии, где иногда танцует, восхищая соотечественников прелестью своих черт и ритмичностью своих вальсов. Верная своим артистическим склонностям и, видимо, близкая к аполитическому течению в эстетике восьмидесятых годов, она мало интересуется мировыми событиями. Лишь бегло упоминаются в ее письмах такие международные сенсации, как убийство французского президента Карно итальянским анархистом или смерть Александра III. Начало процесса Дрейфуса — «дело о государственной измене перед Сенским военным советом», — заполнившее статьи и портретами всю печать мира, нигде не упоминается ею.

Эти парижские письма русской девушки показывают, что она живо воспринимала культуру большого европейского центра, превыше всего ценя свое родное искусство, которому и готовилась служить.

Но обстоятельства ее личной жизни сорвали все, а намечавшийся роман не развернулся и не удался. События приобрели нежиз-

¹ «Москва», 1958, № 6, стр. 213.

данный драматизм, опрокинувший все предначертания и все надежды.

Город Бальзака принес ей лишь боль «утраченных иллюзий». Ко всем личным неприятностям здесь присоединяются угрожающие признаки грудной болезни: кашель с кровью. Врач настаивает на немедленном оставлении Парижа и отъезде в горы. В августе она переезжает в Швейцарию. Живет в Люцерне, Монтрэ, в горной деревушке Вейто над Шильонским замком. Она ищет полного одиночества и с грустью находит его.

Поталенко вернулся в Россию к своим литературным делам. Варя Эберле получила ангажемент в русскую оперу и возвратилась на родину.

Никого из друзей!

И вот возобновляется переписка с Чеховым.

«20 сентября 1894 г. [...] Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом! Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с вами! Я очень, очень несчастна. Не смейтесь! От прежней Лики не осталось и следа, и, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему вы! Впрочем, такова, видно, судьба! Одно могу сказать, что я переживала минуты, которые никогда не думала переживать! Я одна. Около меня нет ни одной души, которой я могла бы поведать все то, что переживаю! Дай бог, никому не испытать что-либо подобное. Все это темно. Но я думаю, что вам все ясно! Недаром вы психолог! Почему я пишу все это вам, я не знаю. Знаю только, что, кроме вас, никому не напишу! А потому даже Маше не показывайте это письмо и ничего не говорите! Я в том состоянии, когда почвы нет и чувствуешь себя где-то, не знаю где, но там, где очень скверно! Не знаю, почувствуете ли вы мне! Так как вы человек уравновешенный, спокойный и рассудительный. У вас вся жизнь для других, и как будто бы личной жизни вы и

не хотите! Напишите мне, голубчик, поскорее! Напишите, потому что у меня нет никого, кто бы мог заставить меня прийти в спокойное и уравновешенное состояние! Мне кажется только, что еще несколько дней, и я не выдержу больше! Вам я верю, а потому хочу получить от вас несколько строчек!..

21 сентября (3 октября) [...] Если увижу вас, буду счастлива, хотя приготовьтесь ничему не удивляться. Пока у меня настроение убийственное, я больна душой и телом! Повидать вас хочу очень.

3 октября 1894 г. ...Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте! От нее не осталось и помину! Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне! Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камнем! Мне кажется, что вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям!.. Я нахожусь в том состоянии, когда не чувствуешь под собой почвы. И около нет ни души, которая могла бы что-либо посоветовать...

Я живу в 10 минутах ходьбы от Шильонского замка...

Я тоже кашляю непрерывно! Я живу в деревне у простой крестьянки и очень довольна, что никого чужих нет.

9 октября. Грустно, голубчик, бесконечно! Все на свете мне не удастся, и так и жизнь не удалась».

В среде, окружавшей Чехова, считалось, что Лика оставила его, изменила ему, бросила. Одна из приятельниц Чехова, Александра Алексеевна Лесова, бывавшая в Мелихове вместе с Мизиновой, иронически писала ему в мае 1894 года: «Что подделываете вы, покинутый жестокой Ликой?.. Будьте здоровы и постарайтесь найти ее, но не такую красивую и жестокою, как Лика. Я бы очень хотела, чтобы она приехала ко мне: у нас на фабрике пропасть молодых технологов и ни одной барышни (меня не ставят в грош —



ведь я дурнушка)... Нет, серьезно — мне ужасно жалко Лику. Хорошая вещь красота, но опасная...»

Все это, конечно, мало трогало Чехова. Но были основания, в силу которых он не хотел окончательного разрыва. Расстаться с бесконечно преданным сердцем всегда трудно. Очарование этой умной, блестящей, красивой женщины сохраняло свою притягательную силу. Не следовало ли исправить допущенную ошибку?

После возвращения Потапенко в Россию Чехов хотел одно время ехать в Париж познакомиться с Ликой. Он сообщает об этом сес-

тре из Ниццы 2 октября 1894 года. Повидаться — для чего? Чтоб утешить покинутую девушку? Чтобы возобновить прерванную дружбу? Но вскоре выясняется, что обстоятельства слишком изменились. Жизнь решает безапелляционно и бестрепетно приводит в исполнение все свои решения. Многие в ней становятся неповторимым и безвозвратным. Такую невозможность определили письма Лики из Швейцарии. Чехов не принимает брошенного ему вызова: «виной всему вы!» Его не соблазняет перспектива «ничему не удивляться». Он отказывается от встречи со своей недавней приятельницей, которая готовится через месяц стать матерью.

Пачка писем от нее, ожидавшая его в Ницце на *poste restante*, вызвала только недовольство: «О моем равнодушии к людям вы могли бы не писать». Поездка в Швейцарию невозможна, ибо «неудобно тащить Суворина» (с которым путешествует Чехов). Весь рассказ о душевных испытаниях и жизненной драме Лики остается без ответа. Все письмо состоит из нескольких строк.

Отказ Чехова тяжело ранит на этот раз прошедшую через ряд тяжелых испытаний молодую женщину. Через три-четыре месяца — 23 января 1895 года она с негодованием шлет через Марию Павловну свое осуждение ее чересчур благоразумному брату. «Я имела дурацкую фантазию считать также другом Антона Павловича, но это действительно оказалось только глупой фантазией».

И гораздо позже, в ту пору, когда уже нет ожиданий и надежд и когда только подводятся неумолимые итоги, она так же укоряет его в неспособности к большому чувству. Чехов писал ей 21 сентября 1898 года: «У Немировича и Станиславского очень интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я остался еще немного, то потерял бы голову. Чем старше я становлюсь, тем чаще и полнее бьется во мне пульс жизни». В ответ на эти строки она открыто и сурово выражает ему в письме от 11/23 октября 1898 года свое мнение о нем не как о писателе,

а как о человеке, призванном достойно ответить на возбужденную им любовь: «Я сильно опасюсь, что вы увлечетесь актрисочками Немировича... (Вы ведь трусы)».

Таков итог, подведенный почти целому десятилетью мучительных и сложных отношений, которым духовный смысл и внутреннюю поэзию сообщала любящая душа этой недооцененной девушки.

Как же понять слова Марии Павловны о «больших чувствах» своего брата к Лике? Очевидно, лишь как случайно сорвавшиеся с пера выражения, противоречащие всему, что сестра Чехова сообщала об этой загадочной «дружбе»: ведь Мизинова, по ее словам, «глубоко любила брата, а он не ответил ей тем же»; он «доставлял ей страдания»; она испытывала «мучительное безответное чувство к Антону Павловичу» и пр. Все это не оставляет сомнений в сущности сложившихся отношений.

Под «чувствами» же Чехова в данном случае можно понимать лишь некоторое увлечение писателя в начале девяностых годов этой незаурядной и обворожительной девушкой. Но и оно было свободно от всякой романтической страсти и длилось недолго — едва ли значительно переступив за грань 1892 года. Был затем момент резкого охлаждения с его стороны — в 1894 году. После этого наступило, видимо, другое «чувство» — добрые приятельские отношения, подчас даже по-прежнему шуточные, но уже без былой затаенной эмоциональности. В ялтинские годы друзья не встречались — если не считать возможного посещения Лидией Стахивной Саниной уже в сопровождении своего мужа чеховской дачи на Аутке во время их свадебного путешествия по Крыму летом 1902 года. Но это было уже не свиданием, а визитом. С начала же 1900 года прекращается и их переписка.

Таковы эти «большие чувства», о которых писала Мария Павловна. Другой близкий к Чехову человек, В. И. Немирович-Данченко, от-

метил в своих воспоминаниях: «Я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?»¹

Вспомним признание Чехова в письме к А. С. Суворину от 11 ноября 1893 года: «Для писания у меня не хватает страсти». Это многое объясняет и в его личной жизни. «Я боюсь жены и семейных порядков, — пишет он тому же Суворину 10 ноября 1895 года, — но все же это лучше, чем болтаться в море житейском и штурмовать в углой ладе распутства».

Из писем Мизиновой явствует, что в ее отношениях с Чеховым создалась известная «тургеневская» ситуация: смелая девушка открыто заявляет любимому человеку о своем чувстве к нему, но он отказывается от счастья ради сохранения своей независимости («Ася», «Рудин»).

Чехов разработал аналогичный мотив в своем рассказе «Верочка». Красивая, стройная, поэтичная девушка из старой усадьбы признается в любви молодому статисту Огневу. Она чрезвычайно нравилась ему. Но в этот момент он испытывает испуг, резкое чувство неловкости, растерянность, даже «что-то нехорошее и странное». «Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья серьезнее всяких статистик, книг, истин... «О собачья старость! Старость в 30 лет!»

¹ В. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. М., 1938, стр. 17 (разрядка мол. — Л. Г.).

Рассказ написан в 1887 году. Никакого отношения к Мизиновой он, конечно, не имеет. Но автобиографические ноты в нем, несомненно, звучат. Нескоро позже, в 1892 году, Чехов писал И. Л. Щеглову: «старость или лень жить, не знаю что, но жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело. Словом, душа вкушает хладный сон». Душевный конфликт Огнева порожден самоанализом его автора, много разъясняющим в письмах и чувствах самого Чехова в восьмидесятых и девяностых годах.

«Златокудрая» девушка с оригинальным характером, несомненно, нравилась ему. Но он не решался переступить границ, опасаясь неразрывных связей. Только гораздо позже брак показался ему жизненной ценностью, но это произошло уже перед лицом приближающейся смерти.

Итак, романа не было, была только несчастная любовь Лики. Это совершенно непрекаемо вытекает из ее поздних писем к Чехову, полных упреков, возмущения и самой горестной иронии. Она негодует по-лермонтовски —

За жар души, растраченной в пустыне...

Только чрезмерной осторожностью любимого человека объясняется ее внезапная и краткая связь с Потапенко. Это был результат ее страшной усталости от трехлетнего чувства, обреченного на безответность. Жизнь восстановила ее в правах женщины и матери.

VI

В начале ноября Лидия Стахивна возвращается в Париж. 8 ноября 1894 года у нее рождается дочь, названная ею Христиной. Это представляется полным обновлением жизни, поистине новым счастьем. Никаких больше метаний, поисков, праздных стремлений!

В Париже молодая мать снимает отдельную маленькую квартиру. Появляется кормилица-француженка, русская няня Настя. Предпри-

нимаются первые шаги для переезда в Россию, для сообщения самым близким родным о случившемся. В Москве Лидия Александровна еще ничего не знает об этом.

5 февраля 1895 года Лика как бы предупреждает или подготавливает мать: «Скоро, дорогая моя, увидимся, потому что мне это необходимо для подкрепления сил. Я только и живу мыслью тебя увидеть и говорить, как с другом! Правда? Ведь ты мой лучший и единственный друг?»

2 февраля 1895 года она посылает М. П. Чеховой письмо-исповедь:

«Сегодня получила письмо от Игнатия, что он рассказал тебе нашу печальную историю, дорогая моя Маруся! Я и не рада и рада! Не рада потому, что не хотела бы, чтобы ты знала все не от меня и не могла бы обвинять в чем-либо Игнатия из-за меня! Рада потому, что могу, наконец, поговорить по душе с тобой! Теперь, зная все, ты поняла, насколько все это было сложно и неопишимо в письме! Вот почему я молчала, а сколько раз у меня являлось непреодолимое желание поговорить с тобой! Вот почему я редко писала, потому что притворяться не могла, а правду написать не хотела, чтобы у тебя не явилось ложного представления обо всем! Что же сказать теперь? Веселого нет ничего! Вот уже почти год, как я забыла, что значат покой, радость и тому подобные приятные вещи! С первого дня в Париже началась мука, ложь, скрыванье и т. д. Затем в самое трудное для меня время оказалось, что ни на что надеяться нельзя, и я была в таком состоянии, что не шутя думала покончить с собой. В Швейцарии все последнее время я думала, что сойду с ума! Представь себе, сидеть одной, не иметь возможности сказать слова, ни написать, вечно бояться, что мама узнает все и это ее убьет, и при этом стараться писать ей веселые, беспечные письма! Затем поездка в Париж, опять дрожанье и скрыванье, наконец болезнь и рождение моей девчонки при самых ужасных условиях! На девятый день я

встала и начала делать все, этим вконец расстроила себе здоровье и теперь представляю из себя собрание всевозможных болезней! Затем отъезд Игнатия и в душе — сознание, что прощанье это навсегда. Вот так я и живу. Для чего и для кого, неизвестно! [...] Иногда является страшный подъем нервов и хочется забыться, завертеться, но после этого наступают еще худшие дни!

Но, несмотря ни на что, я ничего не жалею, рада, что у меня есть существо, которое начинает уже меня радовать. Девчонка моя славная! Я хотела бы тебе ею похвастаться! За нее мне можно дать медаль, что, несмотря на мое ужасное состояние все время до ее рожденья, она у меня вышла такой! Ей будет 8-го три месяца, а ей все дадут пять! Надеюсь, что будет умная, потому что теперь уже многое соображает, разговаривает сама с собой и со мной! Кормилица ее уверяет, что она вылитый портрет Игнатия, но я этого не вижу, ни, во всяком случае, она красивее его. Впрочем, сама увидишь, хотя еще не скоро! Вероятно, я проживу еще здесь года полтора, для того чтобы окончить пение. Теперь я опять много занимаюсь, и дело идет успешно. На этом я строю все свое будущее, и теперь мне это необходимо более чем когда-нибудь. После поездки в Россию изучу массаж и, надеюсь, не пропаду. Тебя, верно, удивляет, что я говорю о будущем в таком виде. Но, друг мой, в другое будущее я не верю. Я верю, что Игнатий меня любит больше всего на свете, но это несчастнейший человек! У него нет воли, нет характера и при этом он имеет счастье обладать супругой, которая не останавливается ни перед какими средствами, чтобы не отказаться от положения м-м Потапенко! [...] Вот почему я и говорю, что никогда не выйдет ничего. Поэтому можешь себе представить, что я чувствую и какова моя жизнь. Из твоей Лики сделался мертвец. Я надеюсь только, что недолго протяну. У меня идет кровь горлом, кашляю, мало-кровие такое, что делаются обмороки, и ес-

ли и дальше будет так, то окончится все довольно скоро. Один мой здешний поклонник говорит про меня, что у меня остались только глаза! Да, я принялась за литературу и пачкаю бумагу без конца! Если бы я сумела выразить все те чувства, которые наполняют мою душу, то вышел бы интересный психологический очерк! Если бы ты знала, как я жажду съездить домой, как невыносим мне Париж! Если б я не строила всю мою жизнь на пении, то давно бы бежала из него! До людского мнения мне нет дела. Я думаю, что немногие люди, которых я люблю, останутся ко мне по-прежнему и не отвернутся от меня. Мне так хочется тебя видеть и говорить с тобой обо всем. [...] Я мечтаю только поскорее рассказать все маме и быть покойной, что если со мной что-нибудь случится, то ребенок будет в ее руках. Да, представь! Супруга выражала желание отнять у меня ребенка и взять его к себе, чтобы он не мог привязать Игнатия ко мне еще сильнее! Как тебе это нравится! Ах, все отвратительно, и, когда я тебе расскажу все, ты удивишься, как Игнатий до сих пор еще не застрелился. Мне так его жаль, так мучительно я его люблю! Почему это случилось — не знаю! Вероятно, потому, что меня никогда никто не любил так, как он, без размышлений, без рассудочности! Он верит в наше будущее, строит планы, но я знаю, что ничего не будет! Ну пиши же мне, мне так необходимы твои письма, пиши все, что думаешь, как смотришь на все это. Буду ждать с нетерпением ответа. Прощай, целую тебя и дочь тоже [целует]. Лида».

5 февр. 1895. «Я страдаю только от обстоятельств... Мне все равно. Я права, потому что действовала не необдуманно и знала, на что иду. Правда, тогда нам все казалось легко! Все достижимо, а теперь оказалось, что то, на что мы оба надеялись, невозможно!

...У меня есть и будет одно только — это моя девочка! Но знаешь, бывают дни, когда я боюсь войти в детскую, боюсь по-

глядеть на нее, чтобы кормилица не увидела, как мне грустно, потому что я не могу не плакать, видя девочку! Она воплощение всего, что у меня в жизни было хорошего и светлого. И при этом сознание, что все кончено, что все хорошее продолжалось три месяца, а потом все прошло. Нет, не могу больше писать! Одно — молю тебя, — что бы ни говорили другие, как бы ты ни жалела меня, никогда не вини ни в чем Игнатия! Верь мне, он тот, каким мы с тобой его представляли».

К этим страницам применимы слова Тrepлева о письмах к нему Нины Заречной. «Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна, что ни строчка, то больной, натянутый нерв...»

Не жалуется и Мизинова. Но от ее исповеди веет подлинной жизненной драмой.

Чехов, несомненно, читал эти страницы, которые не могли не взволновать его и как человека и как художника. Среди многих личных впечатлений от театральной и литературной современности они остаются одним из важнейших первоисточников «Чайки».

VII

На самом деле Потапенко был другим, чем его представляли себе мелиховские «сестры». Способный музыкант и плодовитый литератор, он оказался робким, растерянным и беспомощным человеком перед лицом действительности. Подавленный домашними сценами, он признает себя бессильным построить счастье любимой женщины. Он теряет равновесие и сообщает Чехову из Парижа 10 мая 1894 года о своем «гнусном настроении»: «Решительно не понимаю, почему я сижу в Париже, а не в Орле, Твери, Москве, Серпухове. «Пустяки двигают нами», и никем так, как мной. Париж я совсем не вижу, а вижу какие-то свиные рыла, как было с городничим... Здесь Яворская с Коршем, но я ее не видел, так как не могу здесь предложить ей ночлега в случае, если она не поладит с своим антрепренером...

Я думаю, другого такого неопределившегося человека, как я, нет в природе...

Маше напишу... Лида поет вокализы».

Это были певческие упражнения без слов, без текста и без будущего!

Вскоре Потапенко вернулся в Россию.

Весною 1895 года Лидия Стахивна, оставив ребенка на попечение кормилицы и няни, приезжает ненадолго в Москву.

Мать оправдала надежды — она оказалась лучшим и единственным другом. Она все приняла, поняла, простила и взялась за устройство сложных домашних дел. Еще из Парижа дочь писала ей о своем намерении «взять номер для Христинки и Насти на Арбате. Сама я сделаю вид, что остановилась дома и таким образом все будет шито и крыто». Но происшедшую перемену в своей семье Лидия Александровна не могла держать в тайне от самых близких друзей и родных — от своих покровских кузен. 7 мая 1895 года Софья Михайловна Иогансон записывает в своем дневнике: «Сажусь писать Лидии и еще раз поздравить их с новорожденной».

К осени ее «Лидюша» с ребенком и няней возвращается из Парижа в Россию. К этому времени, видимо, относится недатированное ее письмо к матери, важное для понимания позиции Потапенко в сложившейся ситуации: «Игнатий Николаевич очень хотел бы тебя повидать и все время выражает это желание. К тебе ему приехать, по-моему, неудобно, ввиду Жени, Параша и могущего произойти смущения, которое, конечно, должно произойти! Если бы ты была такая великодушная до конца и решила бы заехать к нам! Дорогая моя, сделай это, конечно, если это не слишком большая жертва, которую мы просим! Все это я предоставляю на твое усмотрение, но, конечно, прибавлю, что была бы счастлива, если бы знала, что два человека, которые мне дороже всех, увиделись бы и поняли друг друга. Игнатий Николаевич очень мучается тем, что ты можешь думать о нем хуже, чем есть, и что он сейчас, сию мину-

ту не может убедить тебя и всех в том, что все, что должно произойти, произойдет очень скоро и к всеобщему благополучию! Я же, со своей стороны, хочу только, чтобы вы увидались, и тогда я уверена, что, если у тебя и есть к нему чувство горечи, оно пройдет, когда вы увидитесь».

Произошло ли это свидание, мы не знаем. Потапенко с этого времени навсегда уходит с горизонта московской семьи. Сохраняются, по-видимому, лишь чисто деловые отношения.

Лидия Стахивевна устраивает на время свою маленькую дочку на жизнь в Покровском у бабушки Иогансон и тетки Панафидиной. В усадьбе целая «детская колония» из шестерых малюток. При девочке живет няня Настя. На содержание их Лика выплачивает необходимые суммы.

Но такое решение основной жизненной проблемы терпит крушение. Бабушка Иогансон, которой в 1896 году исполнилось 80 лет, не в состоянии уделять много внимания своей «правнучке». Девочка, видимо, находится на полном попечении своенравной и небрежной Насти. В дневнике Софьи Михайловны очень мало упоминаний о ребенке. Записи о нем сразу переходят в катастрофический бюллетень.

В начале ноября девочка заболевает крупозным воспалением легких. Условия лечения в поместье, далеком от медицинских пунктов и городов, самые неблагоприятные. Врачей можно вызвать только из Ржева или Старицы. Бабушка кратко регистрирует неумолимый ход событий.

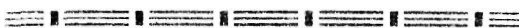
«9 ноября, суббота. Христинка очень плохо. Хрипит, мокроты полна грудь. 10, воскресенье. Доктор приехал, слава богу, осмотрел ее, и есть надежда, что поможет. 12, вторник. Лидюша уехала в Москву с вечерним поездом. Миша¹ провожал. Христинка все хрипит. 13, среда. Лидюша вернулась из Москвы. Христинка опасно больна. У нее круп. Послали телеграмму Лидии [Лидии Александровне Мизиновой], чтобы

приехала. Наш доктор был, надежды на выздоровление нет. Да будет его святая воля господня. 14, четверг. Скончалась наша дорогая "Христинька в 4-м часу утра. Бедная Лидюша, какого ангела девочки лишилась, да утешит ее господь и вразумит на все хорошее — вести жизнь разумную. 16, в субботу похороны Христины. У нас теперь большой погром, очищают весь дом, боясь, по словам бессердечного доктора, чтобы не заразить других детей, а бедная Христиночка была простужена нянкой, а заразной болезни не было, просто было воспаление легких, и бедный ребенок страдал, бочки почернели, воспаление, видимо, было. Грех взял на душу доктор. В тот же день с вечерним поездом уехала Лидюша с двумя нянками. Жаль, очень жаль Лидюшу. Как-то теперь заживет она? И ужасно ей приехать на свою квартиру пустую без малютки, которой были приготовлены гнездышко с игрушками...»

«22, пятница. Миша вернулся из Старицы, привез от фотографа снимки с покойной Христинки».

Эти фотографии сохранились. Их можно видеть в музейном архиве МХАТа. Маленькая умершая девочка еще не положена в гроб, она лежит как в кроватке и кажется уснувшей. У нее выщипанные густые кудри и прекрасное личико. Ей всего два года, но жизнь уже нанесла ей свои невидимые удары. Отца она не знала, с матерью уже бывала разлучена на длительные сроки. Какая короткая и печальная биография! Родилась в Париже, побывала в Москве и скончалась младенцем в Тверской глуши. Равнодушная эпоха не позаботилась о ней. Христинка росла и умерла в изгнании.

Через четыре месяца, 18 марта 1897 года, Софья Михайловна записывает в своем дневнике: «Получила от Лидюши письмо утешить



¹ Михаил Николаевич Панафидин, двоюродный брат Л. С. Мизиновой.

тельное, занимается делом, переводом и получает за то деньги, репетирует уроки и будет петь на 1-й неделе поста; дай бог ей успеха, хотя голоса ее не слыхала, но говорят, что есть».

Жизнь быстро вошла в свою привычную колею — занятия, заработки, уроки, пение подготовка к вокальным выступлениям. Высшей целью снова становится деятельность оперной певицы, условием жизни — мир искусства, столь манящий и столь недоступный.

В этот жестокий год Чехов пишет свою большую повесть «Моя жизнь». Она была напечатана в октябре и ноябре 1896 года, когда на Александринской сцене потерпела крушение «Чайка», когда в Покровском умерла двухлетняя девочка Христина. Это были события, разрезавшие жизнь на эпохи.

Несмотря на заглавие повести, в ней мало автобиографического. Но есть в ней беглый очерк Лики Мизиновой и как бы брошен блик света на всю ее судьбу.

О чем мечтает провинциальная девушка Маша Должикова, ищущая смысла жизни? К чему приводят ее эти нравственные поиски? К одному только: «Милое, милое искусство!» Ведь только оно «дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном...» И она поет на репетиции домашнего концерта романс Чайковского на слова Полонского:

Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —
Так люблю, что страдая, люблюсь тобой.
И за что я люблю тебя, тихая ночь, —
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

«...Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась, очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье, точно птица, которая вырвалась, наконец, из клетки и на свободе оправляет свои крылья».

Это не только внешняя зарисовка, это и

внутренний портрет Лидии Мизиновой. Здесь звучит как бы реприза к «Чайке», возвращение к ее главному мотиву, но одновременно и вариации к нему. Стремление к искусству — одна из высших ценностей жизни. Но и не достигнув его вершин, а только устремляясь к ним, уже вырываешься из клетки и расправляешь крылья на свободе...

В «Чайке» был показан другой полет — в заоблачные выси, к сверкающим кряжам, к вечным снегам. Как же трактовал Чехов эту труднейшую тему, как изображал эти порывы, падения и взлеты, эту жизнь небольшого кружка артистов и литераторов, из которого выросла его драма страстных художественных исканий и гениальных творческих достижений, о которых английская критика писала в 1922 году, что «со времени Шекспира не было такого проникновения в человеческую душу»? ¹

Глава третья

В начале июля 1895 года Чехов был вызван телеграммой в Тверскую губернию помочь Левитану, который покушался на самоубийство. Оказалось, что на живописном берегу озера Островно Вышневолоцкого уезда разыгралась интимная драма, вызвавшая такой внезапный исход.

Еще за год перед тем, в июле 1894 года, в имени сестер Ушаковых Островно, у самого водоема, поселился на лето для этюдов Левитан с обычной спутницей своих поездок по России С. П. Кувшинниковой. На противоположном берегу раскинулось поместье Горка, где проводила лето жена землевладельца — тайного советника Анна Николаевна Турчанинова с двумя дочерьми.

Вскоре семейство петербургского сановника познакомилось с кочующими художниками. Возникла дружба, которая не замедлила

1 «London Mercury», 1922, I.



18 98



Художественно-Общедоступный Театръ

Каретный рядъ, „ЭРМИТАЖЪ“.

Въ Четвергъ, 17-го Декабря,

ПОСТАВЛЕНО БУДЕТЬ, въ 1-й разъ:

Ч А Й К А.

Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч. Антона Чехова.

Дѣйствующія лица:

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса	О. Л. Книпперъ,
Константинъ Гавриловичъ Треплевъ, ея сынъ	В. Э. Мейерхольдъ,
Петръ Николаевичъ Соринъ, ея братъ	В. В. Лужскій,
Нина Михайловна Зарьччая	М. П. Роксанова,
Илья Аванасьевичъ Шамраевъ, управляю- щій у Сорина	А. Р. Артемъ,
Полина Андреевна, его жена	Е. М. Раевская
Маша, ихъ дочь	М. П. Лилина,
Борисъ Алексѣевичъ Тригоринъ	К. С. Станиславскій,
Евгеній Сергѣевичъ Дорнъ, врачъ	А. Л. Вишневскій,
Семень Семеновичъ Медвѣденко, учитель	Г. А. Тихомировъ,
Яковъ, работникъ	А. И. Андреевъ,
Поварь	А. Л. Загаровъ,
Горничная	М. П. Николаева.

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Сорина.

Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіями проходитъ два года.

Режиссеры: Н. С. Станиславскій и Вл. И. Немировичъ-Данченко.

Декорация 1-го и 2-го дѣйствій художника В. А. Симова.

Парики и прически Я. Иванова. Декоративныя украшенія
цвѣтами садоваго заведенія Ѡ. Ноева.

Начало въ 7¹/₂ час. вечера, окончаніе около 11¹/₂ час. ночи.

Въ Пятницу, 18-го Декабря, поставлено будетъ, во 2-й разъ:
„Чайна“ драма соч. Антона Чехова.

разразиться бурными душевными событиями. Увлечение Анны Николаевны Левитаном вызывает его разрыв с Софьей Петровной. Пейзажист покидает свою спутницу и поселяется в живописной Горке, где им увлекается и старшая дочь владелицы имения девушка Варя. Ей Левитан подарил свою превосходную пастель «Букет васильков» с надписью: «Сердечному чудному человеку В. И. Турчанинову — на добрую память И. Левитан. 1894».¹

Это отразилось отчасти в рассказе Чехова «Дом с мезонином»: его пейзаж — «широкий пруд с толпой зеленых ив», а главная тема — неудачный роман известного пейзажиста N с юной Волчаниновой (фамилия близка к родовому наименованию владельцев Горки). Сюжет новеллы развивается совершенно по-иному, но действие ее происходит в Т-й губернии, очевидно в Тверской.

В мае 1895 года Левитан возвращается в усадьбу Турчаниновых, где его снова окружают дружескими заботами и где он наслаждается природой и книгами из ценной семейной библиотеки. Но наметившееся соперничество матери с дочерью принимает, видимо, такую остроту, что 21 июня Левитан пытается застрелиться. Пуля, к счастью, лишь поверхностно ранила его, не задев черепа. Прибывшего Чехова он встретил с черной повязкой на голове, которую при объяснении с дамами сорвал и бросил на пол. «Затем Левитан, — рассказывает М. П. Чехов со слов своего брата, — взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива разработаны Антоном Павловичем в «Чайке»².

Об аналогичном случае, не относящемся к предшествующему периоду, живо рассказывает в своих воспоминаниях С. П. Кувшинникова. «Однажды рано утром мы собрались на охоту в заречные луга. В ожидании лодки, которая должна была нас перевезти за Волгу, я приютилась на завалинке у прибрежной избушки, а Левитан с ружьем под мышкой

рассеянно шагал по безлюдному берегу над рекой и над нами плавно кружили чайки.

Вдруг Левитан вскинул ружье, грянул выстрел, и бедная белая птица, кувыркнувшись в воздухе, безжизненным комком шлепнулась на прибрежный песок.

Меня ужасно рассердила эта бессмысленная жестокость, и я накинулась на Левитана. Он сначала растерялся, а потом тоже расстроился.

— Да, да, это гадко. Я сам не знаю, зачем я это сделал. Это подло и гадко. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам и клянусь, что ничего подобного никогда больше не сделаю.

И он в самом деле бросил чайку мне под ноги...

Мало-помалу эпизод с чайкой был забыт, хотя, кто знает, быть может, Левитан рассказывал о нем Чехову и Антон Павлович припомнил его, когда описал свою «Чайку»...³

Чехов действительно вспомнил эти эпизоды, когда решил писать пьесу о драмах любви и проблемах искусства. Во втором действии «Чайки» Треплев с ружьем в руке кладет к ногам Нины убитую птицу: «Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног».

Девушка неприятно поражена — что за разговоры с какими-то символами и что за символ погибшая чайка?

Эти факты действительности Чехов окрыляет своей идеей и разворачивает в драму.



¹ И. С. Зильберштейн, указ. соч., «Огонек», 1950, № 31, стр. 17—18.

² М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 121—122.

³ Сергей Глаголь и Игорь Грабарь, Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., [1912], стр. 53—54. В некоторых изданиях этот рассказ ошибочно приписывается Марии Павловне Чеховой, которая никогда не сопровождала Левитана на Волгу. Этот эпизод обычно сопоставляется с письмом Чехова к Суворину от 8 апреля 1892 года, где изложен случай охоты с Левитаном на вальдшнепа. Но к «Чайке» это не имеет прямого отношения, хотя и здесь речь идет о бессмысленно подстреленной птице.

Выступает главная тема — любовь и ревность Константина. Раздаются упреки в охлаждении, угроза самоубийством, сообщение о сожжении рукописи, осмеянной и непонятой. Возникает трагическая тема, стержневая для всей пьесы — неразрывность творчества и любви. Звучит убийственный афоризм: «Женщины не прощают неуспеха».

И в довершение эпизода запись Тригорина, раскрывающая непонятную символику застреленной птицы: на берегу озера живет молодая девушка, пришел человек и погубил ее, как чайку...

Кажется, Нина начинает понимать интригующие символы Треплева, уже переключенные в сюжет для небольшого рассказа Тригорина. Незначительный случай на охоте завязывается в центральный узел надвигающейся драмы. В третьем действии Треплев появляется с повязкой на голове после покушения на самоубийство. В действительности Левитан только оцарапал висок из-за соперничества двух женщин. Эпизод почти комедийный. Чехов раздвигает его в трагический лейтмотив судьбы Треплева. Герой этот отражает не только внешние эпизоды из биографии Левитана, но отчасти и духовный тип знаменитого художника. Несмотря на все различье их стилей, автор «Мировой души» и творец великих пейзажей отмечены оба повышенной впечатлительностью, легкой возбудимостью и глубокой ранимостью. Подверженный резкой смене настроений — бурным творческим подъемам и припадкам разочарования и тоски, Левитан во многом предвещает Константина Треплева с его вспышками отчаяния и покушениями на самоубийство.

Здесь звучит и главная тема пьесы — трагедия новатора, осмеянного современниками. Левитан не был баловнем славы, как можно было бы полагать. И для него путь к ней был длителен и труден. Он писал Чехову, что безграничная любовь к природе — источник глубоких страданий, ибо нет ничего трагичнее, чем чувствовать бесконечную красоту окружающего и не уметь выразить эти ощущения.

«Господи, когда же не будет у меня разлада?..»

Мемуарная литература о Левитане полна свидетельств о горестях и невзгодах его жизни. В юности он испытывал тяжелую нужду. В 1879 году он был выслан полицией за пределы Москвы. Поражавший уже на ученических выставках своим тонким восприятием родной природы, он при окончании училища живописи был лишен советом Большой серебряной медали, которую требовал для него Саврасов, и через несколько лет получил диплом учителя рисования и чистописания.

Непрерывные треволения и огорчения рано подорвали его здоровье. Он страдал припадками меланхолии и неизлечимой сердечной болезнью, которая и свела его в сорокалетнем возрасте в могилу. Его друг Нестеров имел основания назвать его «удачливым неудачником».

Главным источником его жизненной драмы был путь новатора. Стремясь раскрыть всю задушевную поэтичность русской природы, ее затаенную внутреннюю прелесть и еле уловимые сердцебиения, он искал новых приемов, неведомой выразительности, тончайшей техники. Так слагалась «музыкальность картины», напевность ее темы, звучание ее красок — все то, что так высоко ценил Чехов в левитановской «великолепной музе».

В этом смысле художник и отразился на образе трагического новатора — Константина Треплева, врага рутины и ненавистника шаблонов, страстного искателя новых форм и отважного провозвестника неведомых ценностей искусства, которые он еще не мог выразить своим неопытным пером.

Островно, восхищавшее Левитана, мало понравилось Чехову. «Здесь на озере погода унылая, облачная», — писал он 5 июля 1895 года Н. А. Лейкину. И тогда же в письме к Суворину: «Холодно. Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегами». Но в своем творчестве он преобразил эту первобытную Русь в один из самых поэтических уголков

современной России, зарисовав свое «колдовское озеро» в манере творческих этюдов Левитана.

II

Чехова-писателя всегда привлекала судьба русской актрисы. Уже в самом начале своего пути он воссоздает различные типы сценических исполнительниц и раскрывает их несхожие творческие и жизненные драмы. В одном из своих ранних рассказов он изображает молодую, неопытную, неловкую «инженю», которую выгоняют на улицу за бездарность и которая становится через несколько лет знаменитостью («Два скандала», 1882). В другом рассказе он рисует «любимицу публики». Она умна, но не культурна. Она капризна и непостоянна. Она скупа и бессердечна. Но со сцены она потрясает сердца («Он и она», 1882). Нетрудно различить в этих беглых набросках первые очерки будущих сложных и законченных образов — Нины Заречной и Ирины Аркадиной.

Обе героини «Чайки» отвечают любимым и давним замыслам Чехова. Но они сохраняют связи и с живыми фигурами текущей эпохи, на которые ориентировался автор «Попрыгуньи», создавая свои художественные образы.

В Аркадиной писатель отразил черты Яворской, с которой был связан в то время дружба. Это был все же чуждый ему тип артистки. Последовательница Сары Бернар и Режан, она стремилась к «внешнему успеху, который был для нее выше всего, — свидетельствует ее партнер Юрьев, — выше искусства, выше творчества». Задачей ее было пребывать в центре общего внимания ценою любой рекламы, постоянно вызывать шумиху вокруг своего имени, бить на эффект, добиваться сенсаций. Одаренная актриса ушла целиком в подражание внешним приемам французских знаменитостей и потеряла всю свою самобытность¹.

Но Аркадина играла королеву Гертруду и

Маргариту Готье. Тяга к серьезному репертуару ощущалась и у Яворской.

Еще при жизни Чехова она сыграла леди Макбет, Корделию, Клеопатру, Джульетту, Акулину во «Власти тьмы», Нину в «Маскараде», ряд образов Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, д'Аннунцио, Ведекинда, Шоу, Стриндберга. Позже она гастролировала с большим успехом в Лондоне и Париже, выступая в «Анне Карениной», «Гедде Габлер», «Норе», «Даме с камелиями». Она играла Нину Заречную в «Чайке» и Машу Прозорову в «Трех сестрах».

Но в репертуаре Яворской имелись и ходовые французские пьесы — «Мадам Сан-Жен», «Заза», «Сафо», «Трильби», «Фру-Фру». Из русской драматургии она выступила в пьесах савинского амплуа вроде «Чада жизни» Маркевича (роль Ольги Ранцевой). Но в этом репертуаре серьезная театральная критика не признавала ее. В «Мадам Сан-Жен», по мнению журнала «Артист», она не изображала женщину революционного Парижа, а лишь героиню салонной комедии². В древнеиндийской драме «Васантасэна» она играла баядерку, полюбившую брамина Карудатту; но ее исполнение отличалось «приподнятой патетической декламацией, преувеличенной чувственностью и страстностью вместо раскрытия духовного начала, которое господствует в отношениях героев³».

Из аналогичных черт слагается образ Аркадиной. Жажда похвал, успехов, рекламы, сенсаций; модный, ходкий, эффектный репертуар, в котором названы и «Дама с камелиями» и «Чад жизни»; забота о личных триумфах, а не жизни искусства; никаких творческих исканий — трафарет, наигрыш, готовые приемы. Боязнь всего нового и свежего. К ней обращает новатор Треплев свою гневную инвекти-

¹ Ю. М. Юрьев, *Записки*, т. 2. Л.—М., 1963, стр. 95—96.

² «Артист», 1894, № 42, стр. 237.

³ «Артист», 1894, № 43, стр. 183—190.

ву: «Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете сами, а остальное гнетете и душите».

Многие заявления Аркадиной перекликаются с письмами Яворской к Чехову: «Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!.. Студенты овацию устроили. Три корзины, два венка и вот... (Снимает с груди брошь и бросает на стол.) На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура».

В письме к Чехову в марте 1895 года Яворская описывает свое турне с труппой Корша (Нижний Новгород, Петербург); она довольна своими «театральными успехами»: «овациями и подношениями» и пр.

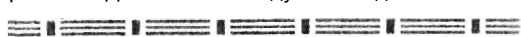
Имеются и другие аналогии. «Когда Антон Павлович приезжал и входил в синюю гостиную Яворской (рассказывает Щепкина), она принимала позу индусской героини, кидалась на колени на ковер и, протягивая к Чехову тонкие руки, восклицала: «Единственный, непостижимый, дивный!..» Отголосок этого имеется в «Чайке», где Аркадина становится перед Тригориным на колени и называет его «прекрасным, дивным, изумительным, единственным». В своих письмах Яворская действительно называет Чехова Карудаттой и обращает к нему стих: «святой, непостижимый, дивный!..» Сама она Васантасэна, «твой лотос»; цитируется стих о том, как баядерка вкушала с брамином «блаженство неземное».

Такая актриса французской школы ничем не отвечала представлениям Чехова о современной художнице сцены, одаренной глубоким лиризмом и душевной проникновенностью. В письме к Суворину от 30 марта 1895 года Чехов дал свой развернутый отзыв о коршевской премьерше: «Побывайте на «Madame Sans Gêne» и посмотрите Яворскую... Она интеллигентна и порядочно одевается, иногда бывает умна. Это дочь киевского полицмейстера Гибеннета, так что в артериях ее течет кровь актерская, а в венах полицейская... Московские газетчики всю зиму травили ее, как зайца, но она не заслуживает этого. Если

бы не крикливость и не некоторая манерность (кривляние тож), то это была бы настоящая актриса» (XVI, стр. 231—232).

Есть в этом отзыве и некоторая недооценка. Подводя итоги деятельности Яворской в 1921 году в связи с ее смертью за границей, один из лучших театральных критиков того времени, Н. Е. Эфрос, признал ее колоритной и своеобразной фигурой на русской сцене. «Это была бурная и боевая актриса, с громадной волей к действию, самоутверждению и славе. Она являла полную противоположность Ермоловой, сдержанной и скромной. Театральный эгоцентризм Яворской вел: к шумным успехам, разноголосице мнений, спорам знатоков, но уводил от серьезного и глубокого признания. В этом была ее личная трагедия. К тому же она была лишена важных сценических данных. У нее был надтреснутый голос, резкие движения, некоторая психическая надломленность, несвободная и от болезненных оттенков. Но искренняя страсть к театру и громадная воля к творчеству приводили ее к большим победам: она была трогательной Маргаритой Готье и грозной мадемуазель Фифи из рассказа Мопассана. Создавая такие несхожие образы, как мадам Сан-Жен и светлая героиня пьесы Софьи Ковалевской «Борьба за счастье», она умела интересно и выразительно показывать и ту и другую — с несомненностью демонстрируя свою сценическую гибкость и театральную работоспособность. Первою она ввела много ролей в наш репертуар, углубляясь в своих поисках даже вплоть до индийского театра»¹.

Образом Аркадиной Чехов отверг самый тип актрисы — гастролерши, премьерши, бенефициантки с ее претензиями и эгоцентризмом. Этим он возвещал и возникновение нового театра. Не пройдет и года с момента премьеры «Чайки», как Станиславский с Немировичем-Данченко поведут в отдельном но-



¹ Н[иколай] Э[фрос], Л. Б. Яворская. «Культура театра», 1921, VII—VIII, стр. 63—65.



мере «Славянского базара» такой диалог:

— «Вот вам актер А. Считаете вы его талантливым?» — «В высокой степени». — «Возьмете вы его к себе в труппу?» — «Нет». — «Почему?» — «Он приспособил себя к карьере, свой талант — к требованиям публики, свой характер к капризам антрепренера...»

Актриса Б. неприемлема: «она не любит искусства, а только себя в искусстве». Актриса В. не годится: «неисправимая каботинка». Так называли в то время артисток, озабоченных только внешним успехом и блестящей театральной карьерой.

«А актер Г.?» — «На этого советую обратить ваше внимание». — «Почему?» — «У него есть идеалы, за которые он борется; он не мирится с существующим. Это человек идеи...»¹

Такой возникающий театр невиданного типа с новым актером, освобожденным от гнета бытовых традиций и сценических предрассудков и охваченным большими темами нового искусства, — Московский Художественный театр с его мировым будущим — Чехов воздвигал памфлетным типом «неистой каботинки» Аркадиной и чистым образом смелой художницы, готовой бороться за свои творческие идеалы, какую выступает перед нами в четвертом действии Нина Заречная.



Почему Мизинова так уверенно заявляла исполнителю роли Треплева Н. Н. Ходотову, что в этом образе Чехов изобразил самого себя? Ведь художественный тип здесь так далек от предполагаемого прототипа.

Следует признать все же, что многое в этом утверждении оказалось обоснованным. Сам Чехов считал себя почти до самого конца своей деятельности неудачником в области драматургии. «Я совсем не драматург», «ах, зачем я писал пьесы, а не повести», «я же не драматург, послушайте, я доктор» и пр. В этом упорно убеждала его и театральная критика его эпохи, и публика его премьер, а иногда и крупнейшие деятели тогдашней сцены.

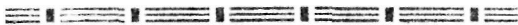
Это началось очень рано. Еще студентом

второго курса, то есть в 1880/1881 учебном году, Чехов написал большую проблемную пьесу о современном расслабленном герое и сильной русской женщине с гордым сердцем и могучими страстями. Он писал эту драму для молодой Ермоловой и рассчитывал, что она поставит ее в свой бенефис. Но артистка вернула ему рукопись, которую он и изорвал в клочки, как Треплев в четвертом действии «Чайки».

А между тем юношеская пьеса Чехова была полна обещаний и надежд. Студент-автор уже уверенно строил художественные типы и давал смелые предвещания своего будущего стиля.

Главный герой его драмы — сельский учитель Платонов, человек выдающихся способностей, обреченный на прозябание в глуши без широкой деятельности, соответствующей его одаренности и духовным запросам. Образ предвещает Иванова, доктора Астрова, Войницкого, отчасти Лаевского. В обществе его считают чудачком, резонером, эстетиком, байронистом, Гамлетом, Дон-Жуаном, «великим мудрецом и философом», «современным Чацким», потерявшим верную ориентацию в вопросах морали и любви. Такое отношение к жизни и приводит его к гибели от выстрела обманутой им молодой женщины. Судьба героя и вызывает размышления о нем окружающих и его высказывания, уже устанавливающие основную тональность будущей «пьесы настроений», пьесы-элегии, драмы с подтекстом. Здесь уже звучат мотивы, отдаленно возвещающие позднюю драматургию Чехова.

Не удивительно; что в наши дни эта юношеская рукопись стала мировым событием и обошла ряд сцен у нас и на Западе. Можно представить себе, как были бы изумлены и юный драматург и знаменитая артистка, если б они могли знать, что эта отверженная пьеса возродится через семьдесят лет в Париже,



среди рукоплесканий и славословий, на одной из лучших сцен Европы — в Народном национальном театре Франции с Жаном Вилларом и Марией Казарес в главных ролях? Еще раньше пьеса была поставлена в Стокгольме, затем в Харькове, Пскове, Алма-Ате.

Таков был первый «провал» Чехова-драматурга.

В 1887 году по предложению Корша он написал «Иванова». Свою задачу он считал оригинальной, задуманные характеры новыми, сюжет «небывальым». Пьеса не имела успеха и вызвала протесты. Радикальная молодежь увидела в главном герое проповедника «малых дел» и отрицателя борьбы за свободу. «Какой горький упрек вам, какое негодование и горе кипит против вас в душе», — писала ему на другой же день после спектакля девушка-революционерка В. М. Тренюхина. Публика не поняла сложный тип последнего «лишнего человека». Критика называла автора «клеветником на идеалы нашего времени», а его драму «цинической дребеденью». Пьесу пришлось радикально и многократно перерабатывать («сделал новую Сашу, изменил IV акт до неузнаваемости, отшлифовал самого Иванова»), чтоб добиться ее успеха в 1889 году на Александринской сцене, что объяснялось и таким превосходным составом исполнителей, как Стрепетова, Савина, Варламов, Далматов, Стрельская, Жулева и участник коршевской премьеры Давыдов. По свидетельству Модеста Чайковского, Стрепетова в роли Сары потрясала до глубины души¹.

В 1889 году Чехов поставил в московском частном театре Абрамовой комедию «Леший». Это уже была открытая декларация его новой драматургической поэтики: «все движение драмы перенесено внутрь героев», «общий тон — сплошная лирика» — эти принципы, вскоре восторжествовавшие в театре Чехова, вызвали возмущение печати, актеров, зрителей. Драматург оскорбляет законы сцены! Он напрасно мнит себя писателем для театра! Он стремится перенести на подмостки будничную жизнь такой, как она есть, — «это

положительно заблуждение» и т. д. На этот раз даже отличные актеры — Киселевский, Рошин-Инсаров, Новиков-Иванов, Соловцов, Мишурин-Самойлов, Рыбчинская и Глебова не спасли пьесу от провала.

Но автор не капитулировал. Он знал, что в тексте «Лешего» имелись драгоценные зачатки настоящей драмы и первые зарисовки превосходных сценических типов. Ряд диалогов и сцен представлял такую зрелость и художественную законченность, что мог без существенных изменений войти в окончательную редакцию новой пьесы. Уже в «Лешем» звучит знаменитый афоризм: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Всю эту непризнанную «красоту» своей пьесы 1889 года Чехов, подобно своему герою, оберегающему русские леса от уничтожения, решил спасти от гибели. С непоколебимой волей большого художника он переплавил «Лешего» в новую драму: случайные лица отпали, главным героем стал дядя Ваня, самоубийство Войницкого было заменено неудачным выстрелом в профессора, Елена Андреевна уже не оставляла мужа, искусственный и как бы «пришитый» финал вырастал в несравненную музыку заключительного монолога, образ Сони становился в ряд с прекраснейшими героинями русской литературы. Поражение превращалось в победу. Освистанный «Леший» становился одной из великих драм русского театра.

Таков был путь Чехова-драматурга. Неуклонное стремление к новым театральным формам, почти всегда обреченное на непонимание, осуждение, осмеяние. Даже «Три сестры» и «Вишневый сад» при своем появлении на сцене успеха не имели. В 1895 году, изображая драму новатора Константина Тrepлева, Чехов исходил в основном из печальной сце-

¹ Письмо М. И. Чайковского А. П. Чехову от 7 февраля 1889 г. Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. VIII, стр. 72.

нической судьбы своего «Лешего», из дискуссий, которые ему приходилось вести с адептами «искусства Малого театра» — Южиним, Ленским, Немировичем, Потапенко. Но он уже видел другие пути, раскрывающиеся русскому театру, и страстную тоску по ним выразил в образе обреченного на гибель бесстрашного искателя неведомых творческих ценностей.

Чехов не разоблачает Треплева, а глубоко раскрывает его трагедию. Сочувствие автора, как всегда, на стороне трагического героя. Пьесе Константина не приемлют «рутинеры» — Аркадина и Тригорин («декадентский бред», «я ничего не понял»), а лучшие люди озерного кружка — Дорн и Маша Шамраева в восхищении от нее («впечатление сильное», «прошу вас, прочтите из его пьесы!»). Нина Заречная, как робкая и скромная любительница, еще не понимает драму без любви и без действия, но, став настоящей актрисой, она вдохновенно произносит свой вступительный монолог: «Люди, львы, орлы и куропатки». Это не пародия, это вдумчивая и тонкая стилизация нового театра с его философской проблематикой и отвлеченными персонажами. «Так и следовало, — одобряет автора умный Дорн, — потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно». Какой высокий и мудрый, поистине чеховский девиз, примененный к смелому и непризнанному опыту!

Одной из причин провала «Чайки» в 1896 году было, по свидетельству А. И. Урусова, подозрение «наших маститых беллетристов», что автор сочувствует «декаденту» Треплеву и его символической пьесе¹. Театрально-литературный комитет императорской сцены в составе драматурга А. А. Потехина, исследователя и переводчика П. И. Вейнберга и профессора-филолога И. А. Шляпкина так формулировал свое суждение о новой драме Чехова: «Уже «символизм», вернее «ибсенизм» (в этом случае даже слишком близкий, если припомнить «Дикую утку» Ибсена), проходящий красной нитью через всю пьесу, действует неприят-

но, — тем более что здесь в нем не было никакой надобности, — и, не будь этой «чайки», комедия от того нисколько бы не изменилась, тогда как с нею она только проигрывает»².

Никто из этих ранних критиков «Чайки» не почувствовал в ней глубокого метода философской драмы, лирически переосмысленного Чеховым. В пьесе Ибсена подстреленная дикая утка нырнула глубоко в воду и прижалась к родным водорослям, чтоб здесь умереть. Но охотничья собака извлекла ее наружу, и искалеченная птица доживает свой век на чердаке в корыте, уже не стремясь к полету. Такова участь и главных персонажей драмы, обреченных в жизни на неудачи и прозябание. В финале пьесы нежная девочка Хедвиг, окрыленная беспредельной любовью к своему мнимому отцу, стреляет в свое сердце, чтоб доказать этому маловерному человеку, что она без колебаний готова отдать за него свою жизнь.

Глубокий и трагический символ Ибсена, как бы воплощающий действительность в ее жестокой несправедливости к духовной красоте и беззаветному чувству, сыграл свою роль в рождении чеховского символа, более воздушного, трепетного и как бы озаренного восходящим солнцем. Было бы излишним искать сюжетные параллели в двух названных драмах — их нет. Но творческий метод Ибсена, возводящий серенькую жизнь обыкновенных людей к глубокому и волнующему образу, был, несомненно, близок Чехову. Самый прием охвата прозаических и тусклых фигур страдальческим и величественным явлением из другого мира — в данном случае вольной птицы, лишенной навсегда крыльев, просторов и высей, сопровождал до конца автора «Вишневого сада». Не следует забывать, что



¹ А. И. Урусов, Второе представление «Чайки». «Курьер», 3 января 1896 г.

² «Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. Редакция С. Д. Балухатого. Л.—М., 1938, стр. 12.

7 ноября 1903 года Чехов писал А. Л. Вишневному: «Ибсен — мой любимый писатель»¹.

Такова была борьба Чехова за новый стиль драматургии. К тому времени, — правильно отмечал А. Роскин², — «в Россию доносились вести о «Свободном театре» Антуана в Париже, о независимых кружках драматургов и актеров-новаторов, о «Вольной сцене» в Берлине, на которой шли пьесы молодого Гауптмана, «чье мастерство уже не умещалось в старые представления о сценичности»... В «Артисте» 1894 года появилась статья, призывавшая начинающих драматургов к обновлению сцены и ставившая вопрос о создании «свободного театра» в России.

В таком движении идей Чехов писал свою пьесу 1895 года. Сам он в своих письмах признает себя драматургом-новатором. Он заявляет, что строил свою пьесу «вопреки всем правилам драматического искусства»: «страшно вру против условий сцены». Он требует «новых концов для пьес», «новой зры», решительного разрыва с обязательными финалами бракосочетания или самоубийства. Он находит неведомые открытые финалы, устремленные в далекое будущее.

Лучшие из современников высоко оценили этот творческий подвиг Чехова. Широко известен отзыв Горького о «Дяде Ване» и «Чайке»: это «новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа... Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений — Ваши делают это»³.

Станиславский признал «Чайку» целым переворотом в истории Художественного театра: «Линия интуиции и чувства подсказана мне Чеховым». Именно он дал новой сцене великолепный жизненный символ и одухотворил реализм новейшими течениями драмы. «А под конец: осенний вечер, стук дождевых капель о стекла окон, тишина, игра в карты, а вдали — печальный вальс Шопена; потом он смолк. Потом выстрел — жизнь кончилась...» Как на-

звать этот новый стиль неотразимой правдивости и душевной боли, в котором «тончайшие ощущения души [...] проникнуты неувядающей поэзией русской жизни»?⁴ Великий мастер театра назвал его сначала импрессионизмом, а потом — вернее и глубже — внутренним реализмом.

А главный инициатор знаменитой постановки 1898 года Немирович-Данченко считал, что Художественный театр начался не «Царем Федором», а «Чайкой» и что «только с Чехова определяется новый театр и его революционное значение».

Так крупнейшие деятели литературы и сцены ощущали в Чехове великого драматурга с беспокойным стремлением к новым целям, к новым заданиям современной сцены. Все они чувствовали, что перед ними не эпигон, а искатель, новатор, открыватель неведомых горизонтов. В этом прежде всего сказывалось его отличие от плодovitого Потапенко, который ничего не искал и никуда не стремился.

IV

Одновременно с ранними драмами Чехова была написана и первая пьеса Потапенко «Жизнь». Несложная по своим художественным заданиям, она была общедоступна и шла с огромным успехом в Малом и Александринском театрах, а затем и по всей русской провинции и даже в Национальном театре Сербии в Белграде.

Сюжет был прост и потому именно интересен для широкой аудитории. Крупный хирург



¹ Это заявление Чехова обычно не приводится исследователями. Его заменяет сообщение Станиславского, что Чехов не любил якобы Ибсена и считал, что тот не знает жизни. Но подлинная запись писателя решает вопрос.

² А. Роскин, История одного провала и одного триумфа. «Красная новь», 1938, кн. IX, стр. 192.

³ Письмо Горького Чехову в декабре 1898 г. М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 52.

⁴ К. С. Станиславский, Моя жизнь в искусстве, стр. 273, 276, 277.

удачно проводит сложную и рискованную операцию вопреки мнению всех докторов-рутинеров, создающих в отместку сложную интригу, в результате которой выдающийся врач тяжело ранен на дуэли и умирает, завещая своим ученикам мужественно служить жизни при свете солнца.

Свободная от всяких новаторских исканий и тревог, пьеса приходилась по плечу среднему зрителю и отвечала потребностям актеров в эффектных ролях. В ней выступали и такие мастера сцены, как Давыдов, Далматов, Ленский, Рыбаков, Леонидов. Об этой пьесе В. И. Немирович-Данченко сообщал из Москвы П. П. Гнедичу 11 декабря 1893 года: «Здесь мнения о ней делятся. Мне очень нравятся общая мысль и красота фабулы. Против пьесы — шаблонные приемы, отсутствие лиц и излишняя эксплуатация благородства»¹.

Впоследствии Александр Блок, писавший в 1917 году рецензии о новых пьесах для государственных театров, дал аналогичный отзыв о комедии Потапенко «Сказочный принц»: так назван разорившийся молодой князь, женившийся на купчихе-миллионерше, которой нужен его титул для кутежей в аристократических кругах Парижа. Два действия написаны с мастерством, наблюдательно, выпукло; в других ощущается плохая театральность и сильная чувственность: «как будто пахнет и мебелированными комнатами, и старой мебелью, и телом, и кредитками...»²

В. Л. Юренева в своих «Записках актрисы» вспоминает М. Г. Савину в пьесе Потапенко «Крылья связаны», в которой она играла бедную земскую учительницу. Финалом третьего акта, где пауза и жест без слов разрешают острую драматическую коллизию, Савина вызвала бурю аплодисментов. Пьеса была незначительной, но она оставляла материал для триумфа великой артистки³.

Такими противоречиями определялась и вся драматургия Потапенко, закончившего свою театральную деятельность уже в нашу эпоху. Он писал пьесы, имевшие огромный репертуарный успех. В его «Волшебной сказке» и

«Искуплении» выступала Комиссаржевская. Всюду ставились «Чужие», «Лишенный прав», «Жулик» и многие другие. В 1918 году в ряде городов шла его пьеса «Вольнонаемные», в 1922 году — «Ряса». Но внешний успех не свидетельствовал о внутренней значительности драмы, и ни одна из пьес Потапенко не сохранилась в советском репертуаре, в котором новой жизнью зажил театр Чехова.

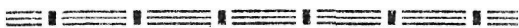
Противоположность воззрений этих двух драматургов на законы сцены вызывала между ними оживленные споры, раскрывавшие сущность их позиций, как авторов современных пьес. Все это представляет первостепенный интерес и для понимания «Чайки».

Потапенко не признавал драму Чехова сценичной: в ней не было «условного развития драматического сюжета с постепенным нарастанием и разрешением в конце», без чего драма не может захватить зрителя.

«Я говорил [Чехову], что сцена предъявляет вполне законные требования условности, и если писатель не хочет подчиниться им, то он не должен пользоваться сценой, а избрать для своих образов другой род литературы.

Но он этого не признавал... «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое с смешным. Вы, господа, просто загнипнотизированы и порабощены рутинной и никак не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые формы...»

«Эту последнюю фразу он повторял часто, а в «Чайке» вложил ее в уста Треплеву и заставил тоже повторять»⁴.



¹ В. И. Немирович-Данченко, *Театральное наследие*, т. 2, *Избранные письма*. М., 1954, стр. 75.

² Александр Блок, *Соч.*, т. XII, Л., 1936, стр. 95.

³ Вера Юренева, *Записки актрисы*. М.—Л. 1946, стр. 29—30.

⁴ И. Н. Потапенко, *Несколько лет с А. П. Чеховым. «Чехов в воспоминаниях современников»*. ГИХЛ, 1954, стр. 289.

Гораздо позже, через тридцать лет, Потапенко верно указал на трудности исполнения пьес Чехова старыми актерами, неразлучными со своим «амплуа». Это и вело к беспримерным фиаско.

«В чеховское время было такое мнение, что Чехова нельзя играть на сцене. Успешно играли «Иванова», написанного в старых формах, но на «Дяде Ване» уже обжигались. Там уже с некоторым усилием отыскивали героя и героиню, инженю, фата, резонера, простака и т. д. И актеры, привыкшие играть каждый свое амплуа, терялись, становились в тупик. «Чайка» же окончательно утвердила это мнение»¹.

Но такое представление о несценичности пьес Чехова в девяностые годы разделял и сам Потапенко.

Все это и возводит его личность к типу Тригорина. Это преуспевающий литератор, баловень успехов, не лишенный таланта, но идущий проторенными путями, рано достигший признания и славы, равнодушный к духовным исканиям и сложным проблемам нового искусства, неспособный подняться от «милой талантливости» к большим течениям эпохи и мощным запросам таких титанов, как Толстой и Золя. Только монолог о писательском труде, цитата из книги «Дни и ночи» и тригоринский метод тонкого неореализма (изображение лунной ночи блеском осколка на плотине) принадлежат самому Чехову. Во всем остальном, как и в его романе с Заречной, это Потапенко. Чехов особенно оттеняет «слабоволье» Тригорина, о чем ряд свидетельств имеется в письмах обоих участников парижского романа.

Так считали и авторитетные современники. В. И. Немирович-Данченко, хорошо знавший Чехова и его окружение, писал: «Многие думали, что Тригорин в «Чайке» автобиографичен... Я же никогда не мог отделаться от мысли, что моделью для Тригорина скорее всех был именно Потапенко». Отношение Тригорина к женщинам «не похоже на Антона Павловича и ближе к образу Потапенко». Как ав-

тор, он «оценивал то, что писал не высоко, сам острил над своими произведениями. Жил расточительно, был искренен, прост, слабоволен».

Все эти черты прототипа отразились на образе модного беллетриста в «Чайке», овладевшего секретом занимательности и доходчивости, но лишенного той священной тоски по новому и трудному, которая определяет настоящего художника. Вспомним, что даже молодого Горького Чехов предостерегал от «консерватизма формы».

▼

Немирович-Данченко не признавал Лидию Мизинову прообразом Нины Заречной. Черты сходства между ними, по его мнению, случайны. «Таких девушек в то время было так много».

Сюжет «Чайки» все же, несомненно, связан с романом Лики и Потапенко. В четвертом действии Треплев излагает историю отношений Тригорина с Ниной совершенно в соответствии с известной Чехову действительностью. Парижские письма покинутой девушки остаются первоисточником его пьесы. В ней сказывается и поразительное творческое прозрение автора: когда писался четвертый акт «Чайки», ничто еще не предвещало «смерти ребенка» — маленькая Христина еще резвилась в зарослях Покровского.

Но материал жизни Чехов разрабатывает свободно и творчески, согласно велениям своего замысла. Многое он узнал от самого Потапенко и все это отразил и преобразил в своей пьесе.

И финал был иным. Автор «Чайки» расправил своей птице поникшие крылья для полета к солнцу. Он открыл ей путь к творчеству. В четвертом акте перед нами великая трагическая актриса нового типа, во многом близкая к символическому театру в тех его



¹ И. Н. Потапенко, Двадцатая годовщина. «Новая рампа», 1924, № 5, стр. 3—4.

передовых устремлениях, которые удержали в советском репертуаре Ибсена, Гауптмана, Метерлинка.

Как пришел к этому смелому повороту Чехов?

Сменялись театральные вехи. Нарождались артисты, выражавшие устремленность молодого поколения к огромным сдвигам истории. Эти новые художники стремились воплотить в сценических образах возникшие искания своих лучших современников — новую психологию передовых людей девяностых годов. Эффектной Яворской с мадам Сан-Жен противостояла молодая Комиссаржевская с ее проникновенными созданиями — Ларисой Огудаловой и Верочкой в «Месяце в деревне». Как раз в тот момент, когда Чехов приступает к писанию «Чайки», молодая актриса, которую Станиславский уже звал в свой московский кружок, подписывает договор с Александринским театром, где вскоре сыграет Нину Заречную — по-новому, с глубокой взволнованностью и вдохновляющим предчувствием близящихся гроз.

Этот новый стиль игры, составивший эпоху в истории русского театра, — трагический и бунтарский, горестный, но устремленный в будущее, — этот полет чайки с окровавленным крылом над широкими водными просторами, — этот стиль игры Комиссаржевской лучше всего выражает судьбу Нины Заречной и предопределяет тон ее последнего монолога.

В своей пьесе Чехов отражает эту грань в развитии русского искусства.

Знаменитой и блестящей Аркадиной он противопоставляет свою безвестную и скромную актрису нового типа, в судьбе которой он угадал многое из жизни Комиссаржевской. Один из его друзей верно писал: «Чехов, до первого представления «Чайки» никогда не видевший Комиссаржевской, создает Нину — Чайку по ее точному образу и подобию до малейших житейских мелочей, и вот первое представление «Чайки», ставшее историческим поворотным моментом в обнов-

лении русской драмы, неожиданно и навечно связывается с именем той, которая смело и страстно пошла по пути этого художественного обновления»¹.

Вот почему гораздо позже Чехов сообщал Вере Федоровне о своем желании написать пьесу для нее: «Не для театра того или другого, а для Вас. Это было моей давней мечтой»².

Так решается вопрос о прототипе Нины Заречной — образе сложном и глубоком, выходящем за черты личности Лидии Мизиновой и вырастающем далеко за пределы ее жизненной судьбы.

Но сюжетное зерно пьесы совпадает с эпизодом ее романтической биографии. Сюда же относятся такие черты образа, как стремление на сцену, преклонение перед деятелями искусств, увлечение знаменитым писателем. И при этом робость, застенчивость, неумелость (у Заречной лишь в начале ее деятельности). Но закон лирической трагедии требовал борьбы, мужества и подвига. Отсюда и верное решение Чеховым запутанных жизненных отношений его героев: поражение неполноценного художника Треплева, отступившего от своих дерзаний к «успеху» у публики, и смелое восхождение Заречной, одержавшей над «грубой жизнью» свою моральную и творческую победу.

Потерпевшая немало поражений и не знавшая творческих побед, Лидия Мизинова лепила в душе своей образ чеховской Нины как некий идеал своей личности и судьбы, хотя и не осуществившейся в жизни. Тем сильнее дорожила она тонкими связями, какие тянулись от мелиховских встреч, московских бесед и парижских исповедей к девушке-чайке, окрепшей для безбрежного полета. Она выстрадала свою любовь к этому обра-



¹ И. Щеглов, Чехов и Комиссаржевская. Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской, П., 1911, стр. 382—384.

² А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XX, стр. 27, 29 (разрядка моя. — Л. Г.).

зу, который вносил надежду и радость в ее опустелую жизнь. Вот почему с глубоким волнением и кровной заинтересованностью она следит за сценической судьбой этой близкой ей пьесы¹.

VI

17 октября 1896 года «Чайка» была поставлена на сцене Александринского театра. Накануне Лидия Стахивевна прибыла в Петербург, чтоб увидеть первое сценическое воплощение своего печального романа.

Драма нового стиля не была понята ни режиссером, ни актерами, ни зрителями. Большинство смеялось, протестовало и шумело. Исполнители растерялись и утратили возможность удержать спектакль на уровне театральной нормы. Только часть молодежи с волнением слушала провозглашение Треплевых «новых форм» в искусстве, как живую декларацию новых устремлений современности. Только несколько поэтов и теоретиков искусства были преисполнены сочувствия и восхищения. Один из них воскликнул после третьего акта: «Это гениально!»

Были несомненные победы и на сцене. Модест Писарев создал непревзойденный образ доктора Дорна. Стихийный талант Варламова творил на чуждом материале полнокровную фигуру Шамраева². И наконец, как бы ни «оробела» от беспримерных демонстраций в зале Комиссаржевская, она сумела слить в образе Нины Заречной черты поэтической природы с болью растоптанного чувства, раскрывая смысл жизни в победе творческого начала над ударами судьбы и душевными страданиями. Она неотразимо убеждала в том, что главное в деятельности артиста «не слава, не блеск», а высокое мужество художника, его «умение терпеть» и непоколебимо верить в свое высокое жизненное призвание.

В этом спектакле Комиссаржевская открывала и утверждала новый стиль игры на русской сцене: «...худенькая белокурая девушка с бледным измученным лицом, большими

страдальческими глазами, с движениями тоскливыми и порывистыми. Речь нервная, торопливая, хватаящая за сердце своей глубокой искренностью... В этом отрывочном щемящем рассказе Чайки Вера Федоровна, сама того не подозревая, рассказала всю свою жизнь»³.

Приехав в Петербург на премьеру «Чайки», Лидия Стахивевна остановилась в одном номере с Марией Павловной в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади. Чехов сообщил сестре, что придет после спектакля к ней, поужинать в тесном кружке. Но он не явился. Потрясенный происшедшим, он долго бродил один по ночному Петербургу и только поздно ночью вернулся на квартиру Сувориных. Он и здесь отказался от бесед и уехал в Москву с первым утренним поездом. Сестре он оставил записку с поручением: «Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику». Сохранялась какая-то неуловимая связь драматурга с жизненным источником его поруганной драмы.

Постановки «Чайки» становятся важными событиями жизни Мизиновой. И в момент триумфальной реабилитации пьесы в Художественном театре 17 декабря 1898 года, когда в зрительном зале, по свидетельству критики, «запылал восторг», она шлет Чехову из Парижа (где узнала по газетам об этом спектакле) горячий привет в далекую Ялту:



¹ Имеются еще указания на близость некоторых фигур «Чайки» к реальным прототипам из чеховского окружения. Так, по мнению М. П. Чеховой, Аркадина напоминала рядом черт «малосимпатичную жену Потапенко Марию Андреевну». Нам это кажется сомнительным, поскольку М. А. Потапенко актрисой не была и не давала материала для типа «каботинки». Некоторые черты Маши Шамраевой были списаны с В. А. Эберле. «Она имела привычку нюхать табак, — сообщает Марья Павловна о своей приятельнице. — Эту странную особенность молодой интересной девушки Антон Павлович внес в свою пьесу «Чайка» (М. П. Чехова, Письма к брату, стр. 33). Но во всем остальном эти образы не схожи.

² П. Гайдебуров, Полвека с Чеховым. «Театральный альманах ВТО», 1948, кн. VII, стр. 303—304.

³ И. Щеглов, Указ. соч., стр. 383.

«Поздравляю, поздравляю, радуюсь от души колоссальному успеху вашей пьесы. Как жаль, что вы сами не были там!»

Это был праздник для друзей Чехова. 7 января 1899 года Левитан смотрел «Чайку» в Художественном театре. Узнал ли он свои черты в Треплеве? Во всяком случае, он несколько не был задет, как в свое время типом художника Рябовского из «Попрыгуньи», и проникся очарованием лирической драмы, вызывающей, по его выражению, «дивное впечатление». «Я пережил высоко художественные минуты, смотря на «Чайку». От нее веет той грустью, которой веет от жизни, когда всматриваешься в нее»¹.

Тогда же смотрел в Художественном театре «Чайку» Шаляпин. На другой день он телеграфировал Чехову: «Вчера смотрел «Чайку» и был подхвачен ею, унесен в неведомый до селе мне мир...»

Поразительную зоркость проявил и А. И. Урусов, писавший Чехову 5 января 1899 года: «О «Чайке» будут писать, когда нас уже не будет»².

Только через год, по возвращении Лидии Стахивны в Россию, ей привелось увидеть этот знаменитый спектакль. 22 января 1900 года она сообщает Чехову: «Смотрела на днях «Чайку». Говорить о ней самой ничего не буду — всё уже вам переговорили все! Была я в понедельник³, а сегодня суббота, и до сих пор я еще вся под впечатлением ее. Играют все превосходно! Роксанова очень хороша (говорят она совсем иначе играет теперь!). И я не знаю, почему вы были ею недовольны. Она так трогательна и дает именно ту молодость и свежесть, которая, по моему, главное в Чайке! Может быть, я ничего не понимаю, но на меня она произвела такое хорошее впечатление и я так редела в театре, как никогда. Станиславский скверен. Впрочем вам это все, верно, давно надоело, а я пишу потому, что для меня это еще очень ново!»

Чехов в известном письме к Горькому от 9 мая 1899 года объяснял свой отрицатель-

ный отзыв о главных исполнителях «Чайки» тем, что Заречная «все время рыдала навзрыд», а Тригорин «ходил по сцене и говорил, как паралитик». Станиславский признал впоследствии свою ошибку в трактовке «беллетриста». Но режиссерская ошибка была и в толковании Нины, которой, как и Треплеву, приписывалось «нервное, декадентски мрачное настроение». Молодой артистке Роксановой удалось преодолеть этот пессимизм, и запоздалый отзыв Мизиновой справедливо реабилитировал ее в этой роли.

Спектакль 17 декабря 1898 года отмечал одну из крупнейших дат в истории новой драмы.

Три произведения русской драматургии ставят тему искусства как основную проблему жизни. Это «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Театральный разъезд» Гоголя и «Чайка» Чехова.

Пушкин поднимает вопросы творчества на уровень высших требований морали. Гоголь вскрывает огромную общественную роль театра, объединяющую людей в одном мощном духовном порыве. Чехов утверждает великий закон художественного новаторства как главный стимул поэзии, возносящий артистический замысел на недосыгаемую высоту, но вызывающий подчас и трагический исход в жизни его творца.

Пьеса о раненой птице замечательна не только своей философской проблематикой. Она является и драгоценным документом по истории русских художественных течений в конце прошлого века. В ней отразилась борьба идей за открытие новых путей к постижению прекрасного. В репликах и монологах драмы слышатся живые голоса мастеров



¹ «И. И. Левитан». Указ. сборник, стр. 93.

² А. И. Урусов, Письма. Сб. «Слово», вып. 2-й, М., 1914, стр. 287.

³ Понедельник в этом году приходился на 17 января, то есть день рождения Чехова.

эпохи. Лирическая драма здесь соприкасается с историей искусства и откликается на художественную хронику одной переломной поры. Мы попытались раскрыть живые корни и творческие истоки этой великой драмы мирового репертуара.

Глава четвертая

Есть у Врубеля интригующий и поражающий портрет. Пожилой мужчина во фраке опустил свое грузное тело в глубокое кресло. Его богатырская грудь покрыта, как панцирем, плотным белоснежным пластроном. Над монументальным торсом властно поднята тяжелая голова с горбоносим профилем и пронзительными глазами, полными страсти и скорби. Корпус этого старца массивен, но руки его еле касаются деревянных подлокотников, как бы готовые вознестись над мольбертом или пультом в окрыленном и уверенном жесте творящего художника.

Таким изобразил гениальный портретист Савву Ивановича Мамонтова, одного из колоритнейших представителей торгово-промышленной и художественно-театральной Москвы конца прошлого столетия. Облик его схвачен на полотне в глубоком контрасте его предпринимательской деятельности и творческой активности. Перед нами организатор работ по проведению железных дорог к Белому морю и основатель содружества знаменитых русских живописцев во главе с Репиным, Суриковым и Серовым. Это магнат российского кораблестроения и создатель народной оперной сцены, раскрывшей миру могучие дарования Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова.

Этот видный меценат сыграл заметную роль и в артистической биографии Лидии Мизиновой. Он любил открывать дарования и смело вербовал новых рекрутов в армию искусства. «Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, — писал Горький, — [...] да и сам был исключительно, завидно даровит»¹. «Он обладал особым талантом, — вспоминал Вик-

тор Васнецов, — возбуждать творчество других». Таковы были Медичи во Флоренции, папа Юлий II в Риме и все подобные им творцы художественной среды в своем народе»². И наконец, Станиславский рассказал об умении Саввы Мамонтова вносить всюду искусство³. Даже в своем железнодорожном грюндерстве он любил мечтать о том, как на московском вокзале будут висеть картины Серова и Коровина, которые изобразят предельный пункт дороги в Архангельск, тогда еще только строящейся. «Надо приучить глаз народа к красивому на вокзалах, в храмах, на улицах...»

Полнее всего он осуществил этот лозунг в созданной им первой национальной русской опере. Здесь постановки отличались новаторскими тенденциями и отменяли штампы казенного театра. Массовые мизансцены смело строились по новому принципу: «Мне нужна толпа, — заявлял Мамонтов, — движение в народе, а не хор певчих. Довольно статуарности, надо добиться и сделать сцену реальной, живой, выразительной». Именно так он показывал бурное вече древнего Пскова в широком разливе народной вольницы. Новая музыкальная драма придавала исключительное значение художественному оформлению исторических сюжетов, заменяя профессиональных декораторов-ремесленников великими мастерами отечественной живописи. Врубель и Левитан, Серов и Поленов, Васнецов и Коровин глубоко изучили народный русский стиль и пластически воссоздали его в узорных орнаментах и костюмах целого



¹ М. Горький, *Собр. соч. в 30 томах*, т. 17, стр. 78.

² В. М. Васнецов, *Воспоминания о С. И. Мамонтове*. В кн.: В. С. Мамонтов. *Воспоминания о русских художниках*. М., 1950, стр. 63—69.

³ К. С. Станиславский, *Воспоминания о С. И. Мамонтове, прочитанные на гражданских поминках в Московском Художественном театре*. В кн.: В. С. Мамонтов. *Воспоминания о русских художниках (Абрамцевский художественный кружок)*. М., 1950, стр. 59.

ряда незабываемых спектаклей. Свободные от излишнего археологизма, эти великие живописцы исходили в своих воплощениях национальной старины из глубокого проникновения в замысел композитора.

Собственно, театр Мамонтова был непосредственным предшественником Художественного театра, а сам он первым воспитателем Кости Алексеева, который еще гимназистом приобщился к сцене на любительских спектаклях своего старшего друга. Станиславский знал с раннего детства этого певца, ваятеля, драматурга и режиссера. Он навсегда запомнил его как горячего энтузиаста искусств, который сумел увлечь юношу своим лозунгом: «Стоит жить только для красоты». В 1918 году в поминальной речи об этом реформаторе русской оперы Станиславский принес ему свою благодарность «за все то добро и за ту пользу, которую он принес мне, как человеку и артисту».

Лидия Мизинова, несомненно, восприняла многое из высокой художественной культуры мамонтовской оперы, но это сказалось не сразу. Воспитанная на западной классике, она, видимо, еще не принадлежала в девяностых годах к поклонникам «Могучей кучки» (как можно судить по некоторым отзывам в ее письмах). Но пройдет какое-нибудь десятилетие, и она станет в ряды активнейших пропагандистов новейшей русской музыки за рубежом своей родины.

■

В конце девяностых годов театр Мамонтова, основанный еще в 1885 году, переживал эпоху своего возрождения и расцвета. Здесь работали великие мастера с мировым будущим — Шаляпин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Врубель. В такую блестящую пору пришла сюда со своими робкими надеждами и наша скромная героиня.

12 сентября 1897 года она сообщает Чехову, что «пела Мамонтову и понравилась».

Открывается новый этап ее биографии — собственно оперный, когда она наиболее при-

ближалась к своей заветной цели, хотя и на этот раз не достигла ее.

Тонкий знаток музыки и пластики, Савва Мамонтов, видимо, заинтересовался воспитанницей знаменитых французских вокалистов. Ее «сопрано с красивым тембром» (по определению Амброзелли) и счастливая сценическая внешность, словно созданная для воплощения образов из русских сказок, явно привлекли внимание этого знатока итальянского *bel canto* и ценителя васнецовских царевен. Он согласился предоставить этой неопытной певице без репертуара и сценического стажа двухгодичную командировку в Париж или Милан для подготовки к оперной сцене.

Подруге Лидии Стахиевны — Вере Эберле удалось достичь большего. Она была принята Мамонтовым в его театр и вскоре исполнила в нем первые партии. Она пела Ольгу в «Псковитянке» с Шаляпиным — Грозным, выступала и в опере Гумпердинка «Гензель и Грета». Здесь же сложилась и ее личная жизнь. Она вышла замуж за молодого певца Петра Ивановича Мельникова (сына знаменитого баритона Мариинской оперы, высоко ценимого Чайковским).

Однако Савва Иванович не торопился с выдачей средств на намеченную командировку своей будущей певице, и Лидия выехала за границу лишь в апреле 1898 года. Почти весь сезон она прожила в Москве, что сблизило ее с труппой Солодовниковского театра и раскрыло совершенно новый мир интересов и отношений. 21 сентября 1898 года Чехов писал ей из Ялты: «Здесь концертируют Шаляпин и С[екар] Рожанский [первый тенор Мамонтовской труппы]. Мы вчера ужинали и говорили о вас... Вас хвалили, как певицу, и я был рад».

Молодой Шаляпин сразу вошел в круг ее друзей. Она присутствовала при сказочном восхождении к всемирному признанию великого народного самородка. С осени 1896 года безвестный бас Мариинской сцены выступает в Московской частной опере. Его дебютная партия — Сусанин — уже вызывает

в печати многообещающие отзывы: кажется, пришел на русскую сцену новый, очень интересный и своеобразный артист, взволнованно отмечает в своих рецензиях строгая музыкальная критика Москвы. Вскоре Шаляпин выступил в «Фаусте». Его Мефистофель явно нарушал оперный трафарет театрального дьявола. «Я был очень юн, эластичен, скульптурен, полон энергии и голоса», — вспоминал об этой роли сам исполнитель. Он напоминал горожан эпохи Возрождения с гравюр старинных германских графиков. Обновленный образ имел большой успех. Критика отмечала новаторство Шаляпина. Мамонтов сказал ему: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите!..» Молодому певцу показалось, что он рождается к новой жизни. «Все это одело душу мою в одежды праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным победить все препятствия»¹. Он заявил режиссеру и труппе, что хочет сыграть роль Грозного в «Псковитянке». Это вызвало смущение и недоверие всех, даже Мамонтова.

Но опера Римского-Корсакова была все же поставлена. Артист изучал историческую фигуру по знаменитой картине Репина, по скульптуре Антокольского, по рисункам Шварца. Но более всего поразил его портрет сурового царя работы Виктора Васнецова. «На нем лицо Грозного изображено в три четверти. Царь огненным темным глазом смотрит в сторону»². Мастер сцены синтезировал свои впечатления от всех этих изображений, выделяя пасмурный и пламенеющий взгляд Ивана IV — его властность и страсть. С этой ролью к Шаляпину пришла слава.

Следуя в основном сложившейся к тому времени исторической концепции, толковавшей Грозного как тирана, Шаляпин раскрывал в нем и глубоко человеческие черты: когда стража приносит дочь его, убитую в схватке, отцовское горе бурно прорывается сквозь всю условную величественность его верховного сана. Он еще надеется на спасение, он еще кидается к молитвеннику, разыскивая

священный текст, способный совершить чудо... Но оно не совершается. И всеильный повелитель падает с искаженным лицом, сраженный горем, судорожно прижимая к груди голову своей погибшей дочери³. Историческая опера возносится до высот шекспировской трагедии. Иван Грозный в такой трактовке становится в один ряд с Макбетом, королем Лиром и Ричардом Третьим.

Фотопортрет в этой лучшей из своих ранних ролей Шаляпин подносит весною 1897 года «милому дорожному другу Лике»; это подарок «от искреннего Феде Шаляпина». Вот все, что нам известно о их ранней дружбе. Слов немного, но они говорят о добром чувстве. Оно сохранится с обеих сторон на долгие годы.

На заре деятельности Шаляпина Мизинова, вероятно, слышала своего друга и в иных его знаменитых выступлениях этой поры: с осени 1896 по весну 1898 года (когда она уехала в Париж) он пел партии Мельника в «Русалке», Владимира Галицкого в «Князе Игоре», Досифея в «Хованщине», Варяжского гостя в «Садко». «Эта «варяжская песнь» — один из величайших chefs d'oeuvre'ов Римского-Корсакова, — писал В. В. Стасов⁴. — В ее могучих суровых звуках предстают перед нами грозные скандинавские гранитные скалы, о которые с ревом дробятся волны, и среди этого древнего пейзажа вдруг является перед нами сам варяг, у которого кости словно выкованы из скал [...] Гигантский голос, гигантское выражение его пения, великанские движения тела и рук, словно статуя ожила и двигается, выглядывая из-под густых насупленных бровей...» И наконец, на рубеже двух столе-

¹ Федор Иванович Шаляпин. Литературное наследство. Письма, т. 1, М., 1957, стр. 144; ср. так же, стр. 277—278.

² Там же, стр. 146.

³ Там же, т. 2, М., 1958, стр. 106.

⁴ В. Стасов. Радость безмерная. Избр. соч., т. III, М., 1952, стр. 230—231.



тий Шаляпин пел в Москве Олоферна, Сальери, Бориса Годунова. Какие могучие образы, какая высшая школа оперного искусства!

III

В Мамонтовском театре Мизинову окружали первоклассные артисты и режиссеры. Она узнала здесь выдающуюся певицу Надежду Ивановну Забела с редким нежно-свирельным колоратурным сопрано. Ее высоко ценил Римский-Корсаков, написавший для нее партию Марфы в «Царской невесте». Она создала образы царевны Лебеди в «Сказке о царе Салтане», Волховы в «Садко», Февронии в «Сказании о граде Китеже».

Весною 1896 года на спектакле «Гензель и Грета» Гумпердинка артистическим обаянием Забела был пленен художник театра М. А. Врубель. Летом они обвенчались. Оба продолжали свою работу в опере Мамонтова¹. Изобразитель лермонтовского Демона ценил выше всех искусств музыку. Он посещал каждый спектакль «Садко». На вопрос жены — не надоело ли? — он ответил: «Я могу без конца слушать оркестр, в особенности море. Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона...» «Салтана» он обожал, — свидетельствует Забела. — Тут опять оркестр, опять новое море, в котором, казалось мне, Михаил Александрович нашел свои перламутровые краски². Своим творчеством он воспитывал великих артистов. Когда в 1904 году Шаляпин спел Демона, общее мнение признало: это врубелевский демон.

Художник горячо любил Чехова и превосходно читал его вслух. «Гоголь и Чехов — два великих русских поэта-пейзажиста, — говорил Врубель, — первый воспел дорогу, второй — степь»³.

В архиве Л. С. Мизиновой имеется ряд фотографий известного певца и оперного режиссера Петра Сергеевича Оленина в ролях Бориса Годунова, Еремки из «Вражьей силы», князя Игоря, рыцаря из «Орлеанской девы». В 1898—1900 годах он пел в Московской частной опере, а в 1900—1903 годах — в Большом театре. Медик по образованию, он отстаивал начала реализма на русской оперной сцене. Начинаящая певица, видимо, живо заинтересовала его. На поднесенных ей портретах 1900—1901 годов Оленин сделал надписи, дополненные стихотворными цитатами преимущественно из любимых арий, в



¹ Воспоминания А. А. Врубель. В кн.: М. А. Врубель. С вступ. статьей А. П. Иванова, Л., 1929, стр. 24.

² «Музыка», 1911, № 15.

³ С. Яремич, М. А. Врубель. Жизнь и творчество. М., 1911, стр. 150.

большинстве случаев на темы любви и страсти.

Тесная дружба связывает Лику в ее «мамонтские» годы и с молодым певцом и режиссером Василием Петровичем Шкафером — первым Моцартом в камерной опере Римского-Корсакова и Василием Шуйским в народной трагедии Мусоргского «Борис Годунов». В обеих ролях он выступает партнером Шаляпина — царя Бориса и Сальери.

Чехов обращает внимание на этого нового почитателя Мизиновой и даже забавно пародирует его фамилию в письме к ней от 15 июня 1897 года.

Это был живой, остроумный, талантливый артист и выдающийся художественный руководитель музыкальных спектаклей (впоследствии режиссер Московского Большого театра и Ленинградской Академической оперы). Он был учеником Федора Петровича Комиссаржевского и другом его знаменитой дочери. В театре Мамонтова он подружился и с участницей состава «начинающих» Лидией Мизиновой. Даже ее отъезд за границу не прервал их отношений.

В начале апреля 1898 года она уезжает в Париж, готовится к оперной деятельности. Вскоре и Василий Петрович получает от Мамонтова командировку в столицу европейских искусств, где находилось несколько стипендиатов московского частного театра. «В Париже я нашел друзей, работавших над усовершенствованием своих голосов, — рассказывал в своих воспоминаниях Шкафер, — Петрушу Мельникова, жену его В. А. Эберле и Л. С. Мизинову»¹. Все они стали его «гидами» по кипучему мировому городу. Вместе они посещали Большую оперу и Французскую комедию, восхищались величественным трагиком Мунэ-Сюлли, осматривали по целым дням художественные сокровища Лувра, постоянно бывали в Латинском квартале, где наблюдали беспечных, веселых и вольных представителей «богемы», сравнивая

их с знаменитыми героями Пуччини — Родольфом, Мими и Мюзеттой.

Всем своим дружеским кружком они отравились «на отдых» в модный курорт Трувиль, где любовались приливами и отливами океана, пели полными голосами русские песни, романсы, арии: «природа и океан живительно действовали на нас, давая какой-то особый подъем и захват всему нашему существу. Было хорошо, привольно и радостно отдаться этому чувству наслаждения жизнью. И тогда огни казино, рулетки, звуки чувственного вальса говорили об ином, о безрассудных прожигателях жизни...» Весенние трувильские дни в тесной артистической семье были коротким и счастливым эпизодом в трудной жизни Лидии Мизиновой. Эта беспечная глава ее биографии длилась недолго. Через два месяца Шкафер вернулся в Москву.

Лидия обращается к своей вокалистике. Она берет уроки пения у преподавательницы Бертрами, которую ценит за «редкие познания». У нее же брал уроки и Шаляпин. Наша оперная стажерка разучивает арии из «Самсона и Далилы», «Гугенотов», «Юдифи», «Тангейзера» и «Джоконды». Она слушает в Гранд-Опера «Валькирию» и по-прежнему восхищается Вагнером. Выступает в ученических концертах, о которых появляются отзывы в печати с упоминанием и ее фамилии «среди заслуживших наибольшие аплодисменты». 21 февраля 1899 года она пишет Чехову: «Я недавно пела на нашем ученическом концерте, при публике в 500 человек! Ничего себе! Пела не хуже других. Зато дрожала, верно, больше всех. И даже, несмотря на свое уродство и неправильный лицевой угол, произвела, говорят, приятное впечатление» («лицевой угол» — намек на шутки Чехова). Она бывает на вечерах русской колонии и встречается с ее видными представи-



¹ В. П. Шкафер, *Сорок лет на сцене русской оперы. Воспоминания (1890—1930)*. Л., 1936, стр. 157.

телями. «12-го [января 1899 года] видела Ковалевского¹ на обеде, который устраивался парижскими москвичами [в Татьянин день, то есть в честь основания Московского университета]. Был он, Гамбаров², какой-то профессор Дерптского университета, два приват-доцента, какие-то три бывших студента Московского университета и их жены и сестры. Ковалевский славный и остроумный, без него было бы скучно». Автора письма мало интересуют политические речи бывших студентов. Она предпочитает им «добродушно-иронические» замечания Ковалевского. «Он рассказывал про вас, спрашивал про Хотяинцеву. Да, кстати, на днях один художник мне сказал, что Хотяинцева придет к салону и вы также. Правда это? Значит, опять мы с вами разведемся, так как я в апреле вернусь, вероятно. А там вы переселитесь в Крым, и, значит, к вашей радости, я не буду вам мозолить глаз». Неизменный укор за желание адресата быть подальше от непрощеной любви (незабываемое «Дальше, дальше от меня!» в письме Чехова от 28 июня 1892 года).

IV

В апреле 1899 года Мизинова возвращается в Москву. Она застаёт частную оперу накануне краха. Политический противник Мамонтова министр финансов С. Ю. Витте, сторонник государственного контроля над железнодорожными тарифами, не выносил независимой позиции председателя правления Северных линий. «Савва Иванович, — заявил он московскому меценату, — я вычитал в газетах, что вы везете за границу какую-то частную оперу. Что это за вздор такой? У вас там на дороге черт знает что происходит, а вы нянчитесь с какой-то там оперой!»³ В результате сложной правительственной интриги Мамонтов в 1899 году был обвинен в незаконном израсходовании 750 тысяч рублей из фондов Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги и посажен в долговую тюрьму. Имущество

его было описано, а московский дом продан с молотка.

В момент такой катастрофы знаменитые художники абрамцевского кружка выступили в печати с манифестацией своей братской любви и сердечного уважения к обвиняемому. За подписью Репина, Сурикова, Серова, Левитана, Врубеля, Поленова, Коровина, Антокольского и обоих Васнецовых появилось в печати открытое письмо к Мамонтову:

«Твоя чуткая художественная душа отзывалась на наши творческие порывы... Ты, как прирожденный артист сцены, начал на ней создавать новый мир истинно прекрасного... Мир художественного театра и есть мир твоего действительного творчества»⁴.

Вскоре Мамонтов предстал перед судом и был оправдан. Но он был разорен и к театральной деятельности никогда не вернулся.

Наступают для Мизиновой последние годы ее стремлений на оперную сцену. Она участвует в благотворительных концертах, готовится к «пробе» в оперный класс, едет в Серпухов для участия в музыкальном спектакле, ищет ангажемента в провинциальную

¹ Максим Максимович Ковалевский, известный государствовед и социолог, историк права, познакомился с Чеховым в Ницце в сентябре 1897 года. «Это тот самый М. Ковалевский, — писал Чехов сестре 29 сентября 1897 года, — который был уволен из [Московского] университета за вольнодумство и в которого незадолго до своей смерти была влюблена Софья Ковалевская. Это интересный, живой человек; ест очень много, много шутит, смеется заразительно, и с ним весело» (XVII, стр. 138). Ковалевский оставил интересные воспоминания о своих встречах с Чеховым («Биржевые ведомости», 1915, № 15185, 2 ноября).

² Юрий Степанович Гамбаров — цивилист, отстаивавший принципы социальной юриспруденции; его магистерская диссертация написана на тему «Общественный интерес в гражданском праве» (М., 1879). В 1899 году оставил кафедру Московского университета по настоянию министра народного просвещения Боголепова и работал в парижской высшей школе общественных наук, основанной М. М. Ковалевским. С 1901 года читал курсы в Петербурге.

³ Шкафер, Указ. соч., стр. 167.

⁴ Письмо друзей-художников. В кн.: В. С. Мамонтов, Указ. соч., стр. 70.

труппу, разучивает новые партии, берет уроки у знаменитой Э. К. Павловской (в свое время первой Татьяны на Мариинской сцене). Характерен отрывок из письма Лидии Стахивны к матери от 26 ноября 1900 года: «Планы мои таковы: у Любимова с поста будет опера — пост в Питере, затем в Киеве, Харькове и Одессе, а летом в Москве. Сейчас у него оперный класс здесь, и вот мне все советуют позаняться у него эти месяцы, и тогда он, наверное, возьмет в труппу. А опера солидная — Фигнеры, Собинов, Шаляпин, Фострем — это все гастролеры, и дело верное». Но и этот план не дает результатов.

В чем же причина ее неудач? Почему эта серьезная музыкантша с несомненными голосовыми данными, проходившая школу у лучших русских и заграничных певцов, была обречена на неизменный неуспех?

Драмой жизни ее был болезненный страх перед сценой, аудиторией, зрительным залом. Обстановка оперного спектакля вызывала в ней тяжелое нервное возбуждение. Даже концертная эстрада лишала ее самообладания. Она волновалась до потери памяти, до утраты намеченной формы исполнения, подготовленного рисунка и стиля роли. В письме к матери от 18 апреля 1901 года она дает подробный и беспощадный анализ своего душевного состояния перед концертной публикой:

«Дорогая мамуся! Опять письмо пропало. Я писала 12-го после концерта, в котором пела — и пела скверно. Говорят, что я пела птичьим голосом и было очень смешно! Настроение от этого очень скверное, и ты можешь себе это представить. Очень стыдно, но все поняли, что все это от страха. Наделала долгов, сшила платье и — осрамилась. Все-таки пела в Москве, и то хорошо, что хватило решимости... У меня в голове сейчас сумбур полный от неудачи, но все-таки не думай, что я пала духом! Сама виновата, что ни при ком не пою и так растерялась! Представь, что я пела совершенно бессознательно и ничего не помню с момента выхода

на эстраду. Все-таки бисировала, не ошибалась, а только пищала не своим голосом... Не сокрушайся обо мне. Если бы не расходы, я не горевала бы так. Саня уехала в Ялту, но перед этим спрашивала, скоро ли отдам ей долг, — вот это неприятно! А тут и еще задолжала с этим концертом! Пиши, что у вас. Обнимаю тебя и бедную мою старушку, как люблю. Тетю и всех целую. Лидия».

При такой застенчивости, робости, неуверенности в себе неудержимое влечение к сцене не сообщало ее существованию подлинный драматизм. Отсюда свойственные ей часто приступы тоски — сознание проигранной жизни, бесперспективности и безысходности.

Судьба действительно не баловала ее. Недостаток в материальных средствах рано обратил ее к напряженной работе в поисках необходимого заработка. Ей приходилось обращаться к разным занятиям и профессиям. Она преподавала в гимназии, давала частные уроки музыки, служила одно время в городской думе, занималась переводами, перепиской, пробовала свои силы в литературной работе, училась пению, английскому языку, собиралась учиться массажу, хотела открыть модную мастерскую, стремилась стать профессиональной актрисой. Она постоянно ощущала нужду, имела много долгов, отдавала в залог полученный в наследство небольшой участок земли, чтоб ехать учиться петь за границу. Характерно ее сообщение в письме к матери от 26 ноября 1900 года: «Недавно звали петь в двух концертах благотворительных, отказалась, потому что нет платья, а очень бы полезно было и важно для меня петь всюду; это для будущего много значит. Ах, проклятые эти деньги, все они портят!..» При этом постоянном напряжении сил она никогда не жаловалась на нужду, на трудности существования, на усталость от работы. «Она никогда не хныкала, — писал Михаил Павлович Чехов, — и всегда была весела, хотя мы и знали отлично, как иногда ей тяжело приходилось в жизни». Но она

не слагала оружия и продолжала отстаивать свое право на творческую деятельность, в которую верила непоколебимо.

А вокруг жизнь равнодушно меняла свои вехи. Появлялись новые лица. Прежние друзья отходили.

Медленно умирал Левитан, с которым «божественная Ли́ка» (как он когда-то называл ее) сохраняла свою дружбу. В декабре 1899 года он был в Ялте и посетил Чехова. «Солнце ярко сияло, — вспоминает Мария Павловна, — и вся природа была такая странная, ликующая какой-то особой красотой».

Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь и опираясь на палку, он все-таки хотел непременно подняться в горы.

«Мне так хочется туда, выше, где воздух легче, где легче можно дышать».

Но приходилось поминутно останавливаться, и Левитан сейчас же заговаривал о смерти.

«Marie! Как не хочется умирать! Как страшно умирать и как болит сердце!..»

Весною в Москве он слег. В мае 1900 года его посетил Чехов. Это была их последняя беседа. 22 июля Левитан скончался. Во дворе его у самой мастерской цвела густая сирень запоздалого лета. Пышные гроздья лиловых цветов заполняли благоуханием студию, где застывало тело усопшего мастера. Казалось, сама природа средней полосы России воздавала прощальную почесть влюбленному в нее художнику.

V

В эти оперные годы Ли́ки ее переписка с Чеховым продолжается, хотя и реже. Часть лета она проводила обычно в своем родном Покровском. Отсюда она писала Чехову 1 августа 1897 года: «Здесь очень хорошо. Все-таки я привыкла с детства и к дому и к саду, и здесь я чувствую себя другим человеком совершенно. Точно нескольких последних лет жизни не существовало и ко мне вернулась

прежняя Reinheit, которую вы так цените в женщинах...»

Она по-прежнему делится с ним своими личными заботами и успехами: «Приезжал Вульф, пробыл три дня и до сих пор мне верен. Я хотела заставить себя согласиться выйти за него замуж, но все-таки не смогла» (21 июня 1897 года).

Речь идет об Александре Николаевиче Вульфе, представителе семьи тех «тверских Вульфов», с которыми общался в свое время Пушкин, о чем мы рассказали в первой главе.

В письмах этого времени развиваются и основные мотивы прежних лет — укоры за безразличие к ее чувству, звучащие теперь нередко иронически: «Я жажду вас видеть, Иосиф! Жена Пентефрия» (18 января 1897 года); «Как вы однако испугались блаженства!» — читаем в другом письме (1 ноября 1896 года). Или сообщение от 24 июня 1897 года, что Чехов приснился ей: «Вы были холодны и приличны, как всегда». 4 октября 1897 года она пишет ему, пародируя его же афоризм: «Я когда-то глупо сыграла роль сыра, который вы не захотели кушать».

Но вопреки этим горестным сарказмам чувство ее остается в основном неизменным. Меняются только внешние формы его выражения — развивается желание ничего не требовать, покориться судьбе, не вызывать и тени тревог или недовольства в любимом человеке. Утверждается пушкинский мотив: «Я не хочу печалить вас ничем...»

«Вы и представить себе не можете, какие хорошие нежные чувства я к вам питаю, — пишет она Чехову 1 августа 1897 года. — Но не вздумайте испугаться и начать меня избегать, как Похлебину. Я не в счет и «hors concours»! Да и любовь моя к вам такая бескорыстная, что испугать не может... Если бы у меня были две-три тысячи, я поехала бы с вами за границу и уверена, что не помешала бы вам ни в чем...»

Она не в числе «поклонниц». Она ничего не требует, ни к кому не ревнует. Она от-

дает все свое сердце и не ждет ничего в ответ.

Но подчас прорывается мимоходом невольное признание, вызывающее в читателе глубокое сочувствие к этой мятущейся натуре, одаренной редкой способностью к сильному и цельному чувству. 13 января 1898 года она пишет своему кумиру: «[Я] сделалась, говорят, похожей на прежнюю Лику, ту, которая столько лет безнадежно любила вас».

11 октября 1898 года она послала Чехову из Парижа свой портрет, о котором мы упоминали выше: «Дорогому Антону Павловичу на добрую память о восьмилетних хороших отношениях».

Иногда, как и прежде, чувствуются в переписке разногласия корреспондентов из-за их различного отношения к связавшей их дружбе. На поздравление Лики к Новому году Чехов отвечает из Ялты 5 января 1899 года кратким и весьма холодным открытым письмом, задевшим адресатку своим тоном.

В начале 1900 года она получила его последнее письмо. Оно датировано 29 января 1900 года. В нем, как и прежде, много шуток, но последние строки серьезны и грустны: «Лика, мне в Ялте очень скучно. Жизнь моя не идет и не течет, а влачится. Не забывайте обо мне, пишите хотя изредка. В письмах, как и в жизни, вы очень интересная женщина». Здесь, как и в венском письме от 18 сентября 1894 года, слышится позднее признание непоправимой ошибки.

Но это уже прощание. Еще в 1898 году, 9 сентября, Чехов на репетиции «Чайки» познакомился с молодой актрисой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книппер. Эту встречу Немирович назвал «увлечением молниеносным, но сдержанным». Роман развивался медленно. Весной 1899 года они встретились снова и познакомились ближе. Через год Художественный театр приехал к Чехову в Крым с «Чайкой», «Дядей Ваней», «Одинокими» — драмами, в которых Книппер создавала центральные образы. Летом этого же года она гостила у Чехова в Ялте.

В русском обществе распространяется весть о предстоящей свадьбе знаменитого писателя и видной актрисы. 18 сентября 1900 года Лика ревниво пишет Чехову: «Мне сказали, что вы, может быть, приедете в Москву (вероятно, для свиданий с невестами?). Если захотите меня видеть — пришлите за мной, но тогда, когда у вас никого не будет, чтобы я не могла помешать, как последний раз! А то чувствуешь себя очень неловко, когда являешься не вовремя. А я последнее время у вас, по-видимому, всегда не вовремя! Сижку и целые дни зубрю свои оперы и готовлюсь к пробе [...] Ах, как скучно жить!»

«Последний раз» — очевидно, посещение Чехова Мизиновой во время его кратковременного пребывания в Москве в мае 1900 года, когда она, вероятно, и застала у него его «невесту». 26 ноября 1900 года она сообщает матери: «Да, ты спрашиваешь о Чехове. Я его видела, он выглядит недурно, занят театром, ухаживает и за ним ухаживают. Овации и вызовы бесконечны». В этом лаконичном сообщении она не скрывает своей горькой иронии.

В это время (с лета 1900 года) Чехов ведет с Книппер постоянную переписку, сначала очень спокойную и сдержанную. Но уже 9 августа 1900 года он обращается к ней: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» 25 мая 1901 года они обвенчались.

Это, в сущности, обрывает историю дружбы Чехова с Ликой Мизиновой.

Глава пятая

25 августа 1901 года в 3 часа дня началась вступительный экзамен в Художественный театр. В ту же ночь О. Л. Книппер, состоявшая членом приемной комиссии, писала Антону Павловичу: «...Ты сейчас удивился: знаешь, кто экзаменовался? Угадай... Лика Мизинова... Читала «Как хороши, как свежи были розы» Тургенева, потом Немирович дал ей прочесть монолог из 3-го акта «Дяди Вани» и затем сцену Ирины и Годунова, как видишь, все под меня, с каверзой. Но все прочитан-

ное было пустым местом (между нами), и мне ее жаль было, откровенно говоря. Комиссия единогласно не приняла ее. Санин пожелал ей открыть модное заведение, то есть, конечно, не ей в лицо... Расскажи Маше про Лику. Я думаю, ее возьмут прямо в театр, в статистики, ведь учиться в школе ей уже поздно, да и не сумеет она учиться»¹.

Через месяц Лидия Стахивевна сообщала своей матери: «Меня приняли в Худож. театр... Радует меня это очень и заботит ужасно, так как первый год жалованья у них не платят, и как просуществовать этот год, и сама не знаю. Расходов много лишних и на грим, и на извозчиков, и всякие другие расходы. Чехов мне сказал, чтобы я непременно держалась этого театра и сделала бы все, чтобы дотянуть до будущего года, когда дадут хоть маленькое жалованье, что тогда карьера обеспечена! Надо прилично одеться, а у меня нет ни шубы, ни кофты и всяких мелочей! Вот она, палка о двух концах! С одной стороны, это последний ресурс, с другой — не знаю, как и быть! Но ты не очень мучайся, мамуся, этим — все-таки я уже в театре, и это очень много значит. Встретили меня там товарищи тепло, сам Алексеев [К. С. Станиславский] и его жена [М. П. Лилина] очень хороши. Пока буду занята много, но в незначительных ролях, а там дальше и лучше роли дадут. Надо радоваться и благодарить бога и за это» (25 сентября 1901 года).

В театре она действительно занимает положение статистики, то есть исполнительницы бессловесных ролей в толпе или в группе гостей. Она сообщает матери, что «занята» в пьесе Немировича-Данченко «В мечтах»; но в программе ее имени нет — у нее не роль, а только появление на сцене. Правда, театр удачно пользуется ее музыкальными способностями и возлагает на нее дополнительно обязанности пианистки. «Мне часто приходится играть на рояле в театре, — сообщает она матери. — Сейчас учу *Soirées de Vienne* Листа для той же пьесы Немировича».



После премьеры этой драмы, 21 декабря 1901 года, группа участников спектакля поехала ужинать в Эрмитаж, где дождались утренних газет с первыми отзывами. Как сообщает Антону Павловичу Книппер, Москвин «напросился ко мне чай утренний пить вместе с Гельцер, Ликой и Александровым». Болтали, хохотали до 10½ ч. утра... «Нравится тебе эта беспутная жизнь?..» Оказывается, Ольга Леонардовна отказалась выпить брудершафт с Ликой: «Я этого не люблю. Она для меня

¹ Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. Редакция А. Б. Дермана. М., 1934, т. I, стр. 423—426.

совершенно чужой человек, я ее не знаю и особенного тяготения к ней не чувствую»¹.

Кратковременное пребывание Мизиновой в Художественном театре привело ее к сердечной дружбе с Василием Ивановичем Качаловым, длившейся до конца ее жизни.

Молодой артист еще только один сезон служил в Москве, но уже сыграл Берендея в «Снегурочке», Рубека в драме Ибсена «Когда мы мертвые пробуждаемся» и дублируя Станиславского, Вершинина в «Трех сестрах». Это было только началом пути, но, несомненно, блестящего. В 1901—1902 годах, когда в труппе служила и Мизинова, он исполнял роль Эйкдаля в «Дикой утке» и князя Старочеркасова в пьесе Немировича-Данченко «В мечтах»; он снова дублировал Станиславского в чеховском репертуаре, играя Тригорина в «Чайке».

Большой художник сцены, полный обаяния и благородства, получил всеобщее признание. Мизинова могла гордиться своим новым другом.

Об искреннем и теплом тоне их отношений можно судить по письму к ней Качалова, написанному несколько позже — в январе 1906 года: «Спасибо тебе, дорогая, прекрасная Лида, за твое милое письмецо и прости, что я не сразу ответил: мы сейчас очень заняты приготовлениями к отъезду — и в театре и дома». Художественный театр готовился к гастрольной поездке в Берлин в конце января: предполагалось провести лето за границей. «Как хорошо было бы, если бы ты с Катей [Е. А. Шенберг] захватили с собой Сашу [А. А. Санина] и повезли бы его за границу. Мы бы списались и снова провели вместе лето — в новой атмосфере, но в тех же незабвенных тонах, со старыми неумирающими настроениями. Даже помечтать приятно. Где-нибудь на Женевском озере или у голубого Неаполитанского залива. Правда, хорошо? Вместе подышали бы красотой и посмеялись и потосковали бы о нашей нескладной родине».

3 марта 1902 года Художественный театр

прибыл на гастроли в Петербург, куда в составе труппы отправилась и Мизинова. Она остановилась в одних номерах с Книппер, Лужским, Бутовой, Саниным. Общая совместная жизнь обнаружила и скрытые внутренние связи. 6 марта Ольга Леонардовна сообщает Чехову: «По-моему, Санин влюблен в Лику», а на другой день извещает его, что «Санин женится на Лике, принимает поздравления уже».

Антон Павлович не одобрил этого брака. 12 марта он писал из Ялты: «Лику я давно знаю, она, как бы ни было, хорошая девушка, умная и порядочная. Ей с С[аниным] будет нехорошо, она не полюбит его, а главное — будет не ладить с его сестрой и, вероятно, через год уже будет иметь широкого младенца, а через полтора года начнет изменять своему супругу. Ну, да это все от судьбы».

Но Лидия Стахиевна оказалась выше этих предсказаний. «Судьба» ее сложилась совершенно по-иному.

Интересно сообщение в письме к ней сестры Санина, Екатерины Акимовны Шенберг, от 21 февраля 1904 года: «Маша Чехова все менее любит Олю [Книппер], а я все больше тебя. Саша очень умный, что на тебе женился».

23 апреля 1902 года «Лидюша» сообщает своей матери: «...Я нашла человека, который меня бесконечно любит, и вот я согласилась быть его женой... Это наш режиссер Санин. Теперь он ушел из Художественного театра и поступил в Императорский в Петербург. Сестру его Катю ты видела у меня в прошлом году. Я знаю, что когда ты увидишь его, то полюбишь, как меня, за всю его безграничную, хорошую и высокую любовь ко мне — любовь, которая не только все прощает — даже и речи нет об этом, а относится с уважением ко всему, что было!.. 31 мая

¹ Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер, т. II, стр. 169—170.



едем в Крым на два месяца и оттуда в Питер на службу. Впрочем, все это поговорим лично, а пока я тебе скажу, что я счастлива так, что иногда не верю, что это все не сон!..»

Из семьи Чеховых Лидию Стахиевну поздравил, видимо, только Михаил Павлович, всегда относившийся к ней с теплым чувством. «Дорогая Лика, я и жена с большими пожеланиями поздравляем тебя, — выражаясь языком Марлинского и Карамзина, — с прибытием к тихой пристани. Пошли тебе бог всякого счастья. Пожалуйста, поздравь твоего мужа с тем, что он имеет женой такого превосходного человека и такого доброго

товарища, как ты... Надеюсь, что вы будете бывать у нас». В петербургские годы их дружба действительно возобновилась и окрепла.

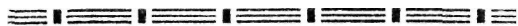
В письме от 31 мая 1902 года Чехов сообщает Марии Павловне: «В Ялту едут Лика и Санин, ее муж». Это известие он, вероятно, получил от самой Лидии Стахиевны. Следует полагать, что они встретились, как старинные добрые знакомые.

Лика впервые увидела Чехова в новой обстановке и другим, чем в Мелихове. Крым сообщал свой полуденный колорит биографии писателя. «После завтрака хозяин, окруженный гостями, сидит в глубоком кресле на террасе второго этажа. Черты глубокого утомления проскальзывают иногда на его задумчивом лице, но он так радушен, так не хочется ему, чтобы расходились гости. А внизу розы. Красные, белые, бледные, большие крымские розы, и горит вдали расплавленное серебро моря»¹.

■

Муж Лидии Мизиновой был человеком большого режиссерского дарования и редкого душевного благородства. Его творческая биография полна свидетельств о крупных художественных достижениях в таких театральных центрах, как Москва, Петербург, Париж и Лондон.

Александр Акимович Санин (Шенберг) еще студентом начинал свое театральное поприще в Обществе искусства и литературы, где выступал статистом при К. С. Алексееве (Станиславском), игравшем первые роли. Юноша отличался пылкостью и энтузиазмом. Его товарищ тех лет Ю. М. Юрьев рассказывает, что на гастролях Росси во время оации после спектакля «Людовик XI» кто-то вскарабкался на сцену, бросился перед знаменитым трагиком на колени и стал покрыв-



¹ Вл. Ладыженский, *Дача в Аутке.* — Чеховский сборник. М., 1910, стр. 460—461.

вать его руку поцелуями — это был Саша Шенберг.

В Художественном театре он работал с его основателями. По режиссуре он был главным сотрудником Станиславского. Ими вместе были поставлены «Царь Федор», «Венецианский купец», «Потонувший колокол», «Смерть Иоанна Грозного», «Снегурочка», «Дикая утка». Самостоятельной его работой была в 1899 году «Антигона» Софокла. По образованию историк и филолог, он стремился к исторической драме, античной трагедии, Шекспиру, Островскому-сказочнику, к сценической поэме и отчасти к символическому театру в таких его явлениях, как Ибсен. Чехов называл его в своем письме от 14 января 1900 года «интересным, полезным и значительным человеком». Он считал его серьезным режиссером с философским уклоном. 21 сентября 1903 года он сообщает О. Л. Книппер, что его новая пьеса [«Вишневый сад»] будет «веселая, легкомысленная: Санину не понравится, он скажет, что я стал неглупоком».

Интересны и значительны письма Санина к Чехову. «Бесконечно люблю вашу теплую и горькую музу», — пишет он Антону Павловичу в январе 1900 года.

«Кончили сезон, а я уж опять работаю, опять витаю, опять среди драматических образов, картин, жизненных изучений и наблюдений, — сообщает он 12 марта 1900 года. — Знаете, милый Антон Павлович, кого я часто вспоминаю. Гётевского Эгмонта. Да, именно его. «О, чудная привычка существовать и действовать!» — слышится мне в пылу моей работы, жизненного кипения, волнений и забот, его страстный призыв к жизни, делу, осмысленному и деятельному существованию, и я, как Антей, опять ищу бодрости, сил, одушевления в новых работах для сцены, в любимых занятиях литературой и искусством. Теперь занят «Снегурочкой» Островского, с ее главным героем — солнцем, светозарным, животворящим, красотой и счастьем несущим».

Письма Санина к друзьям и родным широ-

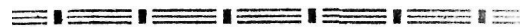
ко разворачивают театральную хронику его времени.

Это был живой, остроумный, увлекательный собеседник, мастер серьезного или веселого разговора, восхищавший своей вольной импровизацией самых выдающихся деятелей артистической России.

Летом 1914 года в Мариенбад, где отдыхали многие артисты Художественного театра, приехал Санин с женой. По воспоминаниям литературной сотрудницы Станиславского Любови Яковлевны Гуревич, «шумный и восторженный в своих суждениях об искусстве, Санин бывал очень забавен, когда мы сидели за ужином в недорогом ресторане и он рассказывал своим хриповатым голосом, сохраняя серьезность на своем круглом лице, в своих круглых глазах, разные юмористические истории из жизни. Все неудержимо хохотали, и Константин Сергеевич смеялся чуть не до слез, приоткрывая свои белые зубы»¹.

Но долгое время личная и общественная жизнь молодого режиссера складывалась неудачно. Он был, правда, первым помощником Станиславского, но самостоятельной работы почти не имел. Талантливый актер, он с успехом сыграл Иоганна Фокерата в «Одиноких» Гауптмана и Соленого в «Трех сестрах». Но обычно получал второстепенные роли. Он уже не был молод — в начале девяностых годов он завершал свой четвертый десяток, но он все еще не знал личного счастья и тяготился своим одиночеством.

«Кончаем второй сезон, — писал он в январе 1900 года Чехову. — Успех и нравственный и материальный очень большой. А я тоскую. Как режиссеру и актеру пришлось на мою долю дело небольшое. Такая была жажда деятельности живой, трепетной, мысль зажигающей — и осталась жажда эта неудовлетворенной. С другой стороны, жажда



личного счастья, пустота души, потребность любви и привязанности — это другая незадача моего существования. И вот все еще я мечусь, ищу, бурлю, опускаюсь и поднимаюсь и «несть конца» этому вечному Sturm'у и Drang'у».

Женитьба на Лидии Стахивне принесла ему долгожданное счастье. Он полюбил свою умную и пленительную жену благоговейно и глубокой любовью. Он нашел в ней преданного, культурного и ценного сотрудника во всех своих замыслах и осуществлениях. Уже в письмах 1903 года он называет ее не только «моя гордость и радость», но и «мой разум и сердце мое». Сердечная привязанность сочетается с благодарным уважением к незаменимому помощнику в творческом труде. «Безумно горжусь твоей красотой и нежностью, мое сумасшествие, моя поэзия», «моя жизнь, мое дыхание», «моя опора». «Ты хороший большой человек». «До твоего приезда я ничего предпринимать не буду. А когда ты приедешь, то мы решим, родная, что делать, без «моего разума» и без «моей воли» ничего не будет сделано» (21 мая 1903 года). 1 марта 1903 года он пишет Лидии Александровне Мизиновой, что, «несмотря на тоску, злую, гложущую» по отсутствующей жене, он рад, что Лида поехала в Москву. Она заслужила этот отдых: «мое дорогое существо столько мне отдало крови и нерв[ов] своих за этот сезон, так стойко помогало мне в моей борьбе и начинаниях, что я рад ее свободе и московским триумфам... Ведь это моя жизнь, моя забота, мой дар. Это центр моего существования... Ведь того, что я с ней изжил, мне уж не вычеркнуть — это основание и надежда моего будущего». Разлука еще ярче и глубже показала ему место и роль Лидии в его жизни, в сфере всех его начинаний, работ, отношений к делу и людям.

Ширь и благородство характера Санина сказались полностью и в отношении его к постаревшей, но духом юной Лидии Александровне. «Какое это большое, терпеливое,

неустанное сердце», — пишет о ней ее зять, — какой он «дорогой мудрец!» Письма ее — «одна прелесть, восхищение, полны ума, любимого мной романтизма, чистой поэзии, ласки, привета, мудрости». Через ряд лет, уже в 1909 году, он пишет жене: «Ты прочтешь все с твоей матерью, которая так мне дорога, которая так чутко, умно и глубоко умеет и любит делить со мной все тревожения и трудности моей жизни». Он вел с ней обширную переписку, полную дружбы, юмора, товарищеских чувств и настоящей родственной любви. Он был счастлив, что эта поседлая женщина обо всем заботится, горит, всем интересуется и что он может с ней много беседовать и философствовать.

После долгих лет всяческих испытаний в семью Мизиновых пришло счастье. Перед ними раскрылся заветный мир искусств — не из кресел театрального партера или концертного зала, а в самой жизни, в деятельности, в творческой борьбе, которую страстно вел Санин, включая в нее и своих близких. Театр стал, наконец, сферой активности отвергаемой им годами певицы, музыкантши, актрисы, приняв ее в качестве режиссера, консультанта, знатока композиторов и великих артистов. Весь свой огромный опыт питомицы мамонтовской оперы и слушательницы мировых знаменитостей на сценах Москвы и эстрадах Парижа она безраздельно вложила теперь в труд своего мужа. Это была большая и ответственная работа. В Александринском театре он поставил «На дне» Горького, «Антигону» Софокла, «Месяц в деревне» Тургенева, «Дмитрия Самозванца» и «Сердце не камень» Островского, «Победу» Трахтенберга, «Калигулу» Дюма; готовил и «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого.

Игравший под его руководством Ю. М. Юрьев высоко оценил режиссерский талант Санина.

«На первых порах [обновления Александринского театра в начале XX века] сильно шумел А. А. Санин своей постановкой пьесы

Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский».

Пьеса дала ему возможность во всю ширь развернуть свою режиссерскую индивидуальность — яркую, сильную [...Он] всех поразил своей энергией — он проявлял такой горячий темперамент, что положительно всех зажег своим огнем. Все кипело вокруг него, творческая атмосфера накалялась до высшей точки напряжения, особенно в массовых сценах. Народные сцены были его коньком: никто не умел так справляться с толпой, как Санин, — в этом отношении его можно считать непревзойденным [...]. Санин хорошо знал, как подчинить всех своей воле, как увлечь за собой [...]. Чтоб внушить доверие к себе, он пускал в ход весь арсенал психологических воздействий. Обладая исключительной памятью, он изумлял всех, обращаясь к каждому из статистов по имени и отчеству. То и дело, бывало, в разгар самой горячей сцены врзался громкий его возглас: «Молодец, Иван Петрович, так! Отлично, Николай Семенович, bravo!» «Вот это здорово!» — подбадривал он наиболее усердных. А то: «Сергей Гаврилович, ай-ай-ай, сплеховал! А ну-ка покажи, как ты можешь, принажми немного, вот так, вот так, еще и еще!.. Молодчинище!» и т. д. И все старались — польщенные, что их величают по имени и отчеству [...].

Как режиссер, А. А. Санин обладал талантом огненным по яркости, сочности неудержимого темперамента, — другого такого я не знал. Он на первых же порах пленил александринцев и в короткое время стал общим фаворитом...»¹

Петербург ввел Саниных в новый круг артистов, драматургов, литераторов, ученых. В письмах режиссера встречаем имена М. Г. Савиной, В. Ф. Комиссаржевской, Р. Б. Аполлонского, Н. Н. Ходотова, Ю. Э. Озаровского, А. П. Петровского, К. С. Бравича, П. П. Гнедича и других.

Из актеров Александринки Николай Николаевич Ходотов чрезвычайно ценил свою творческую дружбу с Саниным, через кото-

рого сказалось на игре молодого актера благотворное влияние Художественного театра² (особенно в таких ролях, как царь Федор Иоаннович, Федя Протасов, князь Мышкин). Мы уже видели, что Ходотов вел беседы о «Чайке» с Лидией Стахивной Саниной. Он поднес своей собеседнице портрет с надписью: «Глубокоуважаемому дорогому человеку Лидии Стахивне от верного друга Коки Ходотова. 1903 год, 5 апреля». Над этим посвящением — афоризм: «Жизнь начинается там, где начинается искание правды». Изречение это принадлежало Рёскину и служило девизом Вере Федоровне Комиссаржевской. В своей книге «Близкое — далекое» Ходотов вспоминает о своих встречах и беседах у Саниных с Чеховым, который «всегда подчеркивал основную черту писателя и актера — тонкую чувствительность и восприимчивость»³.

Это указание важно как свидетельство о продолжении прежних дружеских отношений Антона Павловича с обоими супругами Саниными. Но речь здесь может, видимо, идти лишь об одной встрече. Она могла произойти только 14 или 15 мая 1903 года, когда Чехов приехал из Москвы в Петербург для деловых переговоров с А. Ф. Марксом. «Сейчас Чехов в Петербурге. Неужели он к тебе не заглянет?» — писал Санин жене из Москвы 15 мая 1903 года. Воспоминания Ходотова (очень правдивого и точного мемуариста) свидетельствуют о том, что такое посещение действительно произошло⁴.

¹ Ю. Юрьев, Записки, т. 2, стр. 164—166.

² Актеры и режиссеры, под ред. В. Лидиной, М., 1928, стр. 321.

³ Н. Ходотов, Близкое — далекое, стр. 150—151.

⁴ Из Петербурга Чехов выехал 15 мая, как телеграфировал в этот день О. Л. Книппер: «Сегодня севастопольским», а на другой день — 16 мая сообщал в Москве В. А. Гольцеву: «Я только что вернулся из Петербурга». Указание в письме к С. Я. Елпатьевскому от 16 мая «вчера я вернулся из Петербурга» следует признать неточным.

После этой встречи Ходотов вступил в чеховский репертуар, сыграв роли Треплева в «Чайке», Астрова в «Дяде Ване» и Трофимова в «Вишневом саде».



На 17 января 1904 года была назначена премьера «Вишневого сада» в Художественном театре. Газеты были полны сообщений о предстоящей постановке.

Спектакль приурочили ко дню рождения Чехова. Решено было чествовать его по поводу исполнявшегося 25-летия литературной деятельности.

Для семьи Саниных это было большим событием. Новая пьеса Чехова, новая постановка Станиславского, юбилей любимого друга, торжество русского театра.

Они послали юбиляру из Петербурга приветственную телеграмму: «Пусть ваш нежный талант и глубокая поэзия ваших писаний еще долгие годы так цветут и дышат и благоухают, как ваш сегодняшней Вишневый сад. Сердечный привет и пожелания здоровья и счастья шлют вам Лидия, Александр Санины».

В ряду пространных адресов, хвалебных характеристик, торжественных речей и поздравлений эти несколько слов прозвучали искренним и горячим дружеским словом.

Но это уже были «цветы запоздалые». Великолепный юбилей, по свидетельству Станиславского, оставил тяжелое впечатление: «от него отдавало похоронами».

С грустью и тревогой следили друзья за медленным угасанием любимого всей страной писателя. Еще в августе 1903 года Санин писал жене: Тихомиров «показал мне последний портрет Чехова — очень мне не понравившийся. Почти не узнал я прежнего Чехова. Очень мне больно было видеть карточку.

...Но Книппер храбрится и говорит Тихомирову: «Ничего нет — мы сами соскучились по

Ялте». А потом тут же спрашивает смущенно: «А разве вы, Иосиф Александрович, что-нибудь находите?!» Сама себе боится признаться...

Но были у Чехова и неверные друзья, не прощавшие ему даже перед гробом неумолимой правды его раздумий и выводов. Таким был Потапенко, глубоко затаивший обиду за Тригорина. Только этим можно объяснить его прощальные напутствия своему «дорогому Антонио».

В конце 1903 года Санин поставил пьесу Потапенко «Высшая школа». Она прошла с большим успехом. Это сблизило драматурга с режиссером. «Мы разговорились сегодня о Чехове, — сообщает Санин жене 14 декабря 1903 года. — Потапенко говорит, что это конченный писатель и человек. «Это просто жалость читать его, видеть его теперь в жизни или на портрете. Для Художественного театра писать просто нельзя — я убедился, и знаете, Чехов с его замечательной простотой пишет для театра с фокусами» (это, очевидно, его игра в антитезы, в игру светотеней)... «Нет, я на Чехова ставлю крест, — заявляет мне довольный автор «Высшей школы». — И вот еще убедитесь! Завтра в [театральную] школу я пришлю [вам] его новый рассказ «Невесту». Убедитесь! Я хочу, чтобы вы прочли эту вещь. Эфрос налгал, ничего там нет нового, свежего. Уперся в тупик человек и погиб. Зачем эта Книппер вышла за него замуж? Был я у них в Москве, видел Марию Павловну: «Какой ужас! Какое несчастье!..»

Но, несмотря на свою тяжелую болезнь, Чехов до конца был преисполнен замыслов, планов, любви к людям, готовности творить. Он стремился оказать помощь родине в грозную годину испытаний — и принял решение к концу лета выехать на Дальний Восток врачом. Он мечтал о поездке по северным рекам в Соловки, в Швецию и Норвегию, хотел ехать из Германии в Россию через Италию, манившую его своими красками,

музыкой и цветами¹. «До самой смерти росла его душа»².

В 1904 году он задумал новую пьесу на тему, волновавшую его всю жизнь, — о великой любви, торжествующей даже над смертью. Драма выростала из душевных глубин. Молодой ученый любит женщину, которая не отвечает на его чувство. Он уезжает в Арктику. Корабль затерт льдами, вокруг тишина, покой и величие полярной ночи — он в полном одиночестве... И только образ любимой женщины выступает на фоне северного сияния, как бы возвещая ему о ее смерти.

Так запомнила этот замысел Книппер. Несколько по-иному излагает его К. С. Станиславский: два друга любят одну и ту же женщину; общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения; оба уезжают в экспедицию на Северный полюс и т. д. «Он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления...»³

Это было весной 1904 года.

Творец «Чайки» умирал, но он оставался неутомимым новатором, пролагавшим новые пути мировому искусству.

В середине июня он был в Баденвейлере. Шварцвальдский курорт ему понравился. Оздоровляющий воздух, во всем порядок. Но «наша русская жизнь гораздо талантливее!»

Он провел здесь мучительный месяц. Кашель, одышка, бессонница, неподвижность. «Весь день он сидит покорный, терпеливый, кроткий, ни на что не жалуется... На душе у него тяжело», — писала друзьям Ольга Леонардовна⁴.

Вечером 1 июля по поводу запоздавшего гонга он стал импровизировать юмористическую миниатюру об избалованных обитателях курорта — американцах, англичанах, банкирах, неожиданно оставшихся без ужина. Писатель завершал свою деятельность так же, как начинал ее, — маленьким сатирическим рассказом, на этот раз устным, так как записать его он уже не успел.

В полночь Антон Павлович стал задыхаться.

Врач применил лед на грудь, баллоны с кислородом, шампанское. Чехов отнесся скептически к этим медицинским усилиям спасти его гаснущую жизнь. Он знал, что умирает, и уверенно заявил об этом доктору. В разрушенном организме мозг работал со всей отчетливостью. Но утомленное сердце отказывалось служить. Перед самой зарей больной выпил свой последний бокал и тихо уснул навсегда, без жалоб, без напутствий, без прощаний.

3 июля экстренные выпуски телеграмм с последними известиями об обороне Порт-Артура помещали полученную из Берлина депешу о смерти Чехова.

8 июля цинковый гроб с останками писателя прибыл в Петербург. Его встречали родные и друзья покойного. В тот же день сопровождающие тело выехали в Москву, где 10 июля состоялись похороны.

Они мало соответствовали личности Чехова и сдержанной манере его страниц. Все здесь, напротив, было официально и шумно. Друзья молчали. Полиция, опасаясь антиправительственных демонстраций, запретила всякие речи и бдительно следила за церковными «литиями» у зданий Художественного театра и редакции «Русской мысли». Охранное отделение пресекало возможность митингов. Московское население той поры в своей значительной части еще воспринимало погребение знаменитого писателя лишь как интересное зрелище или злободневную сенсацию. Об этом сообщал Горький жене своей Е. П. Пешковой: «Над могилой ждали речей.

¹ О. Книппер-Чехова, *Несколько слов об А. П. Чехове (1898—1904)*, Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. М., 1934, т. I, стр. 21.

² И. А. Бунин. *Из записной книжки*. Полн. собр. соч. П., 1915, т. VI, стр. 313.

³ К. С. Станиславский, *Моя жизнь в искусстве*, стр. 331.

⁴ В. И. Немирович-Данченко, *Из прошлого*. М., 1936, стр. 179—180.

Их почти не было. Публика начала строптиво требовать, чтобы говорил Горький... Что это за публика была? Я не знаю». Обыватели толковали о договоре Чехова с Марксом, о театральном окладе Книппер. «Все это лезло в уши насильно, назойливо, нахально. Не хотелось слышать, хотелось какого-то красивого, искреннего, грустного слова, и никто не сказал его. Было нестерпимо грустно. Шаляпин заплакал и стал ругаться...»¹

По маршруту погребальной процессии — Мясницкой, Камергерскому, Волхонке, Пречистенке — все переулки были перетянуты канатами, а студенческая молодежь сомкнутой цепью охраняла кортеж.

«Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, — вспоминал Михаил Павлович, — началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас... Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась в кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, валиться памятники, рушиться решетки и затаптываться цветы...»

Погребение грозило катастрофой.

И все же было в этих многолюдных похоронах нечто чисто чеховское.

Была мать писателя Евгения Яковлевна с простыми словами своей материнской скорби: «Нет уже нашего Антоши».

В толпе провожающих находилась и Лидия Санина. Она хоронила свою молодость, свои ранние надежды, свою первую любовь, безнадёжную и неугасимую.

Из погребальной сутолоки одинокая женщина, горячо любившая Чехова, пришла в его дом, где так часто беседовала с ним, выплакать свое безмерное горе.

7 июля 1906 года Мария Павловна писала своей «милый Ликусе»: «Хочется с тобой плакать, я не могу забыть твоих слез два года тому назад в это время...»

И через много лет сестра Чехова отмечала в своих воспоминаниях: «Мне не забыть, как в Москве после похорон Антона Павловича, Лика вся в черном пришла к нам и часа два молча простояла у окна, не отвечая на на-

ши попытки заговорить с ней. Все прошлое, пережитое стояло перед ее глазами»².

Последние годы разлучили долголетних друзей. Они жили в разных городах, не переписывались и почти не встречались. У каждого были свои новые связи и новые чувства. Ранняя осень восемьдесят девятого года, Садово-Кудринская, Мелихово, серенада Брага — все это отошло в далекое прошлое. Но из этой отдаленности продолжал звучать неумолкающий лейтмотив любви, увековеченный в торжествующей песне Чайковского:

С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя...
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Все, что в душе дорогого, святого, —
Все от тебя!

Такие строфы перекликались со знаменитыми симфоническими фантазиями великого композитора, как «Буря», «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта». Все они возвещали вековую тему мировой поэзии: любовь сильнее смерти. Таков был, как мы видели, последний драматургический замысел Чехова, и это чувство принесла к его раскрытой могиле Лика Мизинова.

Эпилог

Горестное событие 1904 года застигло героиню этой повести «на полпути земного бытия». Ей только что исполнилось тридцать четыре года, и ей оставалось прожить почти столько же, но уже в творческой атмосфере трудов ее мужа. Даровитый питомец Станиславского сумел включить спутницу своей жизни в круг своих театральных замыслов и тем самым сообщить ее существованью ту радость активного приобщения к миру искусств, к которому она издавна так настойчиво и так безуспешно стремилась.

¹ М. Горький, *Собр. соч.*, т. 28, стр. 311.

² М. П. Чехова, *Письма к брату*, стр. 27.

Увлеченная с ранних лет европейской музыкальной классикой, которую она тщательно изучала для рояля и пения, эта поклонница Шопена и Листа, воспитанная на ариях Гуно и Верди, обращается теперь к шедеврам русской драматургии, над сценическим воплощением которых преимущественно трудится Санин. Это на сцене Александринки репертуар Островского, Тургенева, А. К. Толстого, Горького, а в Петербургском народном доме — оперы Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Серова. Все это открывает новые горизонты артистической натуре Лидии Стахиевны и широко приобщает ее к большому творческому труду в заветном мире «личины и кинжала».

Незаметная, но значительная работа «помощницы режиссера», возведенной в такой скромный и увлекательный ранг самой жизнью, сливает ее личную биографию с репертуарными опусами ее неутомимого супруга. В кабинете у Санина концертный рояль, на котором исполняются партии и оперные фрагменты певицей мелиховских *Lieder* Abend. Но теперь это не дилетантский романс или аккомпанемент певцу-любителю, а серьезнейшая подготовка спектаклей на первых сценах мира.

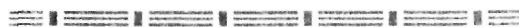
В 1909 году Санин заключает договор на постановку русских опер за границей и вскоре ставит в Париже и Лондоне «Князя Игоря» и «Псковитянку», а в Лионе «Бориса Годунова». Из иностранного драматического репертуара он показывает французскому зрителю «Елену Спартанскую» Верхарна и «Саломею» Уайльда. Все эти представления проходят с огромным успехом и доставляют их инициатору мировое имя. Все это составляет и большие события в жизни главной сотрудницы знаменитого постановщика.

В 1913 году Санин был приглашен в Московский Свободный театр К. А. Марджанова, где поставил «Сорочинскую ярмарку» Гоголя — Мусоргского, вызвавшую восхищенный отзыв М. Н. Ермоловой (в письме к А. А. Санину от 9 октября 1913 года)¹.

С 1917 года он возобновляет работу в Художественном театре, а вскоре ставит и в Малом «Горе от ума», «Лес», «Ричарда III» с А. И. Южиным, «Марию Стюарт» с В. Н. Пашенной. В 1925 году Ермолова писала Южину: «По-моему, нужен Санин в Малом театре»².

В эти московские годы организатор знаменитых спектаклей выступает и в качестве кинорежиссера. В 1918 году коллектив «Русь» привлек его к постановке фильма, написанного по «Волжским легендам» Е. И. Чирикова. Критика отмечала правдивость и страстность его творческой манеры, его одержимость искусством, неиссякаемую энергию и замечательное умение мобилизовать свой актерский коллектив³. «Это, безусловно, самая роскошная и самая художественная постановка, какие имеются в области русского производства фильмов», — писал об этой картине Луначарский⁴. В этом же коллективе Санин поставил вскоре «Поликушку» с И. М. Москвиным и «Сороку-воровку» с О. В. Гзвской.

Автор только что цитированной нами книги «Пути советского кино и МХАТ» М. Н. Алейников, имевший в 1918 году постоянные деловые отношения с кинорежиссером Санинным, как руководитель коллектива «Межрабпом Русь», сообщил нам весной 1959 года, что Александр Акимович в двадцатых годах продолжал свою работу в Париже и временно в Милане, где он поставил в «La Scala» в 1926 году «Хованщину». В конце двадцатых годов он был приглашен в Москву для съемки фильма «Война и мир».



¹ «Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников». М., 1955, стр. 226.

² Там же, стр. 264.

³ М. Н. Алейников, Пути советского кино и МХАТ. М., 1947, стр. 37.

⁴ Там же, стр. 54.

Но эта работа не состоялась — Санин к этому времени тяжело заболел душевным расстройством.

Годы счастья Лики Мизиновой обрывались. Муж ее был переведен в психиатрическую больницу, где пробыл довольно долго. При содействии А. В. Луначарского Советское правительство перевело на его имя 500 долларов.

Как сообщила М. Н. Алейникову Лидия Стахиевна, в одно прекрасное утро больной пришел в себя, узнал ее, расплакался, снова овладел своим сознанием и вернулся на жительство домой. Он даже возобновил по-немногу свою работу.

Но в тридцатые годы заболевает сама Санина (видимо, сердцем). Когда в августе 1937 года МХАТ гастролировал в Париже, старый друг их семьи В. И. Качалов пожелал повидаться с ними. Но Лидия Стахиевна не решилась показаться ему в своем измененном болезнью виде и приняла только его жену Нину Николаевну Литовцеву (сообщено мне научным сотрудником музея МХАТ В. М. Левашовой).

Вскоре состояние Саниной резко ухудшилось. Писатель Борис Зайцев сообщил в печати: «В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина.

— Знаете, кто это? — спросила моя знакомая.

— Нет.

— Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась»¹.

Образы многих знаменитых деятелей искусства могли проноситься в памяти постаревшей женщины, медленно агонизировавшей

в застекленной камере на улице Дидо. Шаляпин, Левитан, Станиславский, Рахманинов, Врубель, Качалов... Но документы ее биографии позволяют предполагать, что над всем этим миром великих художников господствовал в ее памяти тот тончайший поэт-драматург, который к этому времени уже владел сердцами народных масс в Европе, Америке, Японии и Китае — во всех странах мира, где шла его драма о девушке-чайке с простреленным крылом, но рвущейся к солнцу.

Примечания

Главными источниками настоящей работы являются следующие архивные материалы:

1) Письма Л. С. Мизиновой к Чехову, хранящиеся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ф. 331, К. 52, № 2 а—2 д).

2) Письма Л. С. Мизиновой к М. П. Чеховой (Там же, К. 93, № 78).

3) Письма Л. С. Мизиновой к своей матери Л. А. Мизиновой за 1893 и ряд следующих годов (до 1905 г.). (Музей МХАТ, архив А. А. Санина, № 5323).

4) Письма Л. С. Мизиновой к своим родственницам С. М. Иогансон и С. А. Панафидиной (Там же).

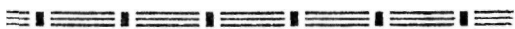
5) Письма к Л. С. Мизиновой-Саниной Л. А. Мизиновой, М. П. Чеховой, М. П. Чехова, В. И. Качалова, Т. Л. Щепкиной-Куперник, Н. Е. Эрфоса, С. Я. Юшкевича, Н. Н. Литовцевой, Е. А. Шенберг, М. Л. Роксановой и Л. В. Селивановой (Там же).

6) Письма А. А. Санина к жене Л. С. Мизиновой-Саниной (Там же).

7) Письма А. А. Санина к теще Л. А. Мизиновой (Там же).

8) Письма к Чехову Л. Б. Яворской, И. Н. Поталенко, К. А. Каратыгиной, Т. Л. Щепкиной-Куперник, А. А. Похлебиной, А. А. Лесовой, А. Ф. Куманина (РО ГБЛ, ф. 331).

9) Письма к А. А. Санину К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, М. Н. Ермоловой, А. А. Блока, К. А. Марджанова, В. Э. Мейерхольда, С. П. Дягилева, Ф. И. Шаляпина, С. В. Рахманинова, А. Т. Гречанинова, Игоря Стравинского, Эмиля Верхарна, В. Ф. Комиссаржевской, М. Г. Савиной, В. Н. Давыдова, К. А. Варламова, В. И. Качалова.



¹ Борис Зайцев, Чехов. Нью-Йорк, 1954.

лова, А. И. Южина, Иды Рубинштейн, Т. Л. Щепкиной-Куперник, И. Н. Потапенко, Н. Н. Ходотова, Н. Е. Эфроса и др. (Музей МХАТ).

10) Дневник С. М. Иогансон за 1895—1897 годы (Там же).

11) Личные документы А. А. Санина и материалы по его работе в разных театрах (Там же).

Из опубликованных материалов важнейшим первоисточником являются: письма Чехова к Л. С. Мизиновой-Саниной, напечатанные в Полном собрании сочинений и писем Чехова. ГИХЛ, 1948—1951, тт. XV—XX.

Ряд дополнительных сведений в книге М. П. Чеховой «Письма к брату А. П. Чехову». М., 1954.

К письмам Л. С. Мизиновой-Саниной впервые обратился покойный биограф Чехова Ю. В. Соболев, приведя в своей книге «А. П. Чехов» (М., 1934) несколько отрывков из этого обширного эпистолярного наследия. Приведенные цитаты были, к сожалению, напечатаны по непроверенным копиям, что привело к многочисленным отступлениям от подлинников, а в ряде случаев и к явным искажениям смысла. Биографам Чехова приходится до сих пор пользоваться этой публикацией, которая для исследовательских целей совершенно непригодна.



Н. Л. Трауберг
(Вильнюс)
Г. К. Честертон —
биограф и историк

Я никогда не относился серьезно к моим книгам, но всегда принимал всерьез свои мнения.

(Г. К. Честертон, Автобиография)

Гилберт Кийт Честертон родился в 1874 году в семье потомственного лондонского коммерсанта — из тех, которых в начале эпохи так хорошо описывал Диккенс, в конце — Голсуорси. Сам Честертон в «Автобиографии» описал ее скорее по-диккенсовски, и трудно не поверить, что его детство прошло в рождественски-уютной атмосфере. Вероятно, у Честертонов действительно не было фор-

сайтовских пороков. Позже о них писали многие, и все вспоминают не ханжество и высокомерие, а суровую честность деда, тихие чудачества отца, мастеровившего кукольные театры, и шумное добродушие матери, в чьих жилах текла и шотландская и французская кровь.

Он учился в школе св. Павла, чуть ли не самой старой из английских школ. Окончив ее, он хотел стать художником, но скоро оставил занятия живописью. Писал он с юности, но писателем стал почти случайно. Совсем не думая ни о славе, ни о литературе как профессии, он стал, как теперь бы сказали, внештатным рецензентом одного крупного издательства. Его заметки о книгах оказались такими блестящими, что о нем заговорили в литературном мире. Видные критики посоветовали и помогли ему опубликовать первые эссе и юношеские стихи. Когда его имя появилось в печати, им заинтересовались и Шоу, и Киплинг, и многие другие. За год он стал известен, а лет через пять был одним из первых писателей Англии.

Он прославился во всех жанрах. Его рассказы о патере Брауне стали классикой детектива. Его романами зачитывались Чапек, Хемингуэй, папа Пий XI. Без его стихов трудно себе представить антологию английской поэзии. Он написал 6 романов, 11 сборников рассказов, 10 биографий, 7 книг стихов. Эссе его сосчитать невозможно; их издают до сих пор, составляя сборники из не собранных при жизни, разбросанных по газетам и ящикам письменного стола.

В 20-х годах он стал широко известен у нас. Были изданы почти все его романы, почти все рассказы и одна биография — «Диккенс». Его переводили К. Чуковский, Н. Чуковский, В. Стенич, М. Зенкевич, И. Карнаухова. О нем писал Луначарский, им восхищался Фадеев, его любил Эйзенштейн, оставивший на полях его книг много интересных замечаний. Я думаю, можно сказать, что Честертон оказал немалое влияние на писателей и кинематографистов того времени.

Он умер в 1936 году от болезни сердца. Лучший его биограф, Мэзи Уорд, пишет, что это парадокс в его вкусе: у Честертона, добрейшего из добрых, сердце оказалось слишком маленьким.

Действительно, рассказывая о нем, прежде всего думаешь о его доброте. В предисловии к одному из его посмертных сборников Артур Брайант¹ пишет: «Я никогда не видел человека добрей и никогда не видел человека счастливее». В его многочисленных биографиях не найдешь ни слова о том, что он сердился на кого-нибудь в быту или был с кем-нибудь резок. Но доброта его не была пассивной или, как он сам говорил, «безобидной и пристойной»: он активно и шумно радовал людей, например — собирал вокруг себя детей и развлекал их, ловя ртом булочки или играя своим любимым огромным перочинным ножом. Его книги издавались и переиздавались, а он не стал богатым — на его счет учились и лечились бесчисленные родственники, знакомые и даже незнакомые люди. И когда читаешь его, трудно не почувствовать, что все это писал по-настоящему добрый человек.

Его сравнивали с мудрым и толстым доктором Джонсоном — прославленным лексикографом XVIII века. Сравнивали его и с Томасом Мором, в котором тоже сочетались страсть к истине, рыцарство и юмор. Но сам он никогда не сравнивал себя с великими. Он был очень скромным, или, точнее, смиренным — ведь скромность мы часто ассоциируем с тихостью, а он ни в коей мере не был тихим. («Он любил веселых людей, — писал о нем Хескет Пирсон, — громкую песню, грубую шутку, пил доброе пиво, когда оно было, и предпочитал плохое пиво трезвости».) Во всяком случае, как ни называть это качество, оно поражало многих в таком известном писателе. Он никогда не обижался и всегда первый смеялся над собой. К своим книгам он относился так легко, что друзья и почи-



¹ Брайант, Артур (р. 1899 г.) — современный английский критик.

татели нередко приходили от этого в отчаяние. Когда умерла его мать, он просто выбросил огромный архив, который собирали много лет его родители: рисунки, письма, рецензии. А когда его спросили: «Какую из своих книг вы считаете самой великой?» — он удивился и ответил: «Я не считаю великой ни одну из своих книг».

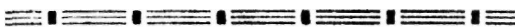
Его недостатки были оборотной стороной его достоинств. Он казался смешным, а часто и нелепым, потому что в нем не было и капли высокомерия. Он ошибался, путал цитаты, как-то раз даже выдумал за Броунинга целую строчку — если б он не писал так много и так пылко, он бы мог тщательней все проверять. Он был очень рассеян, но только потому, что непрерывно спорил в уме, доказывал, убеждал. Многие его друзья считали, что он никогда не перестает работать — «прикован к мысли».

Но есть Честертон, и есть легенда о Честертоне. Многие думают, что это был огромный, толстый добряк, абсолютно не ведающий зла, слепо восхищающийся старой доброй Англией, и новой доброй Англией, и вообще всем на свете. Действительно, он был так весел и кроток, что, «глядя на него, люди в это верили» (см. эссе «Альфред Великий»). «Из вас бы вышел великолепный бог», — писал ему Э. В. Льюкас¹. Но в отличие от легенды о короле Альфреде эта легенда не правдивей и не историчней факта; она мешает, а не помогает понять Честертон. Прежде всего Честертон прекрасно ведал зло. В юности, по собственному его признанию, он, выйдя в мир из диккенсовской детской, дошел до полного отчаяния, и его апология надежды и радости спасла его от безумия. Он никак не был толстокожим — он был из тех лишенных кожи людей, которые действительно не могут выносить зла. И уж никак нельзя назвать его оптимистом, если понимать под оптимизмом сытое довольство («Чего они волнуются? Жить можно»). Он волновался всегда, до самой смерти; если б он был равнодушной, он жил бы дольше. Он прекрасно понимал,

что жить можно далеко не всегда, и много раз писал о том, что добрая смерть лучше худой жизни. Он радовался добру — и ненавидел зло. Первое заметней, потому что радовался он не по-взрослому сильно. Может быть, единственный его недостаток как писателя в том, что он не мог изобразить уныния. Все, что он писал, весело читать. Атмосфера его романов похожа на атмосферу сказок — такие яркие и чистые там краски, такие четкие характеры, такие немыслимые, на грани клоунады, сцены. Он ненавидел гордость, трусость, жестокость; умел их высмеивать — но не умел передать дух уныния. Приблизительно это он писал о Диккенсе и Стивенсоне, но к нему это относится гораздо больше. У Диккенса есть «Тяжелые времена», у Стивенсона — «Владетель Баллантре», да и в других их книгах можно найти атмосферу отчаяния и уныния. У Честертона ее нет, и, может быть, поэтому многие из его горячих поклонников видят в нем прежде всего сказочника и юмориста.

Его постоянные шутки мешали многим понять, насколько он искренен и глубок. Шутил он не случайно, совсем не потому, что ему, как думали нередко, всегда весело. Он убежденно и пылко доказывал, что не беспечная шутка пуста, а безответственная серьезность. «Не так уж много на свете веселых чудаковатых писателей. Зато земля кишит писателями многозначительными, велеречивыми, важными. Важность в наше время — враг искренности. И единственный ответ на яростный, веселый натиск искренних — пустая многозначительность важных» («Еретики»).

И еще одно способствовало легенде о живом Деде Морозе: он не умел ненавидеть людей, только идеи. С кем бы он ни скрешивал шпаги, он никогда не злился на противника и никогда его не презирал. Уэллс и Шоу, с которыми он спорил непрерывно, были его



¹ Льюкас Эдвард Верэл (1868—1938) — английский писатель-эссеист.

ближайшими друзьями; Уэллс сказал как-то чуть ли не в отчаянии, что с Честертоном просто невозможно поссориться. Может быть, только один раз он призывал ненавидеть человека — когда меньше чем за год до смерти писал, что надо относиться к Гитлеру, как люди относились к Ироду.

О том, что он думал о старой доброй Англии, я скажу позже. К новой же Англии он относился очень и очень горько. Конечно, он был патриотом, но никак не шовинистом. «Если мы гордимся лучшим, что у нас есть, мы должны раскаиваться в худшем», — говорил он в статье «Плата за патриотизм». Что думал он о худшем, можно узнать, прочитав «Альфреда Великого» и «Карикатуру и кичливость». Много раз он повторял, что ни одна страна не имеет права на колонии, и начал свою газетную деятельность с яростных выступлений в защиту буров. В 1908 году он писал: «Как хорошо, должно быть, в Англии, если ее не любишь!» В 1925 — что для блага Англии ей надо «встать в ряды несчастных наций». Какой шовинист скажет так? Честертон видел свою страну «глазами безрассудной, беззаветной любви», которые — как писал он сам — «зорче и беспощадней, чем глаза ненависти». Так же видел он и весь свет.

2

Нередко говорят, что реалистическая биография обнаруживает слишком много важных и даже связанных сведений. На самом же деле она плоха тем, что обнаруживает самое неважное. Она обнаруживает, утверждает и вбивает вам в голову именно те факты, о которых сам человек не думает: его социальное происхождение, подробности о его предках, его почтовый адрес... Имя человека, доходы, адрес, фамилия его невесты не священны, они просто неважны.

(Г. К. Честертон, «Шарлотта Бронте»)

Честертон написал 10 биографий и несколько десятков биографических эссе. Биографией была первая его большая книга, «Роберт Броунинг»; биографические эссе составили первый большой сборник — «Двенадцать портретов». Он писал об историче-

ских деятелях, художниках, поэтах, прозаиках. Многие считают, что именно в жанре биографии Честертон сильнее всего.

Лучшей из его биографических книг по праву считается «Чарльз Диккенс» (1906). Когда она вышла, дочь Диккенса писала, что со времен Форстера никто не рассказал лучше об ее отце. С тех пор появилось много других работ о Диккенсе, и все-таки для тех, кто прочитал эту, она навсегда остается особенной. Можно не соглашаться с ней (см., например, очень интересный спор В. Шкловского с некоторыми ее положениями в «Художественной прозе»), но ее веселый, диккенсовский дух поневоле заражает вас. «Честертон, вы просто прелесть! — писал Честертону Уильям Джеймс. — Это хорошо, как Рабле. Спасибо!» Не надо забывать, что для Честертон Диккенс не был мертвым классиком чужого века. Диккенс умер за четыре года до его рождения. Старшие современники Честертон были младшими современниками Диккенса, и в семье жило предание о не так уж давно скончавшемся приятеле Диккенса, капитане Джордже Лэвеле Честертоне. Но главное, конечно, не в этом — Честертон и Диккенс очень похожи. Иногда кажется, что Честертон оруженосец Диккенса или преданный ученик.

Лавры лучшей биографии оспаривает книга о Броунинге (1903). Она действительно очень интересна, но, мне кажется, с «Диккенсом» в сравнение не идет — то ли Броунинг менее близок нам, то ли он был менее близок самому Честертону. Я бы скорее сравнила с «Диккенсом» предпоследнюю из честертоновских биографий — «Чосер» (1932). Задача ее, несомненно, гораздо сложнее: Диккенса любят и читают все, Чосер нередко воспринимается только как объект филологических исследований. Но когда узнаешь о нем от Честертон, он становится совсем живым, и тот, кто не читал «Кентерберийских рассказов», спешит их прочитать.

В последние десятилетия Честертон соби-рался написать книгу о Шекспире. Судя по

заготовкам, опубликованным в посмертных сборниках (например, «Сон в летнюю ночь»), эта книга действительно могла бы оспаривать у «Диккенса» первое место.

Честертон никогда не причислял себя к ученым. Дело тут не только в его скромности (он вообще называл себя не писателем, а журналистом). Он действительно не был ученым, и книги его не научные труды. В них сравнительно мало фактов. Сплошь и рядом он опускает самые привычные сведения — «подробности о предках» или «почтовый адрес». Бывают у него и прямые ошибки; так, он написал, что любая открытка Диккенса была литературным произведением; на самом же деле Диккенс не писал на открытках, их просто не было при его жизни, они появились в конце 1870 года, а он умер в начале. Однако только педанты ругали его за это; в его книгах такие ошибки ничему не мешают. Подставьте слово «письмо» — и все; дело не в этом. Суть и ценность честертонских биографий в необычайно остром его чутье. Если (следуя его словам из «Шарлотты Бронте») такие биографии нельзя назвать реалистическими, то придется сказать, что они реальнее реального. Герой его книги — как будто под увеличительным стеклом или в луче очень яркого света. Он всегда становится живым для нас. Можно не соглашаться с концепциями Честертона, но трудно не поражаться остроте его зрения.

Честертон не считал, что его книги заменяют или отменяют научные труды. Он просто думал, что взгляд со стороны особенно свеж и увидит многое, чего специалист не заметит. В сущности, он понял то самое, что позже у нас Шкловский назвал остранением. На принципе свежего глаза он настаивал десятки раз. Может быть, лучше всего он сказал об этом так: «И вот один из четырех или пяти парадоксов, которые следовало бы сообщать грудным детям, сводится к следующему: чем больше мы смотрим — тем меньше видим; чем больше учимся — тем меньше знаем» («Двенадцать обычных людей»).

Если он вторгался в чисто ученую область (скажем, в сферу филологии), он никогда не навязывал своих мнений и всякий раз подчеркивал, что он не специалист. В «Чосере», например, он заканчивает тонкое рассуждение о смысле одной строки фразой особенно трогательной и поучительной, если вспомнить, что в 1932 году он прочно пользовался мировой славой: «А может, я не прав». Начиная с 1903 года ему предлагали читать университетский курс литературы — и он не соглашался.

Мы говорили, что герои его книг — реальнее реального. С этим связано важнейшее свойство его биографий: они романтичны в лучшем смысле слова. Он верил, что «правда не только удивительней выдумки — она нередко чище выдумки. Ведь правда — это правда, а выдумке приходится быть правдоподобной» («Новый Иерусалим»). В отличие от многих своих современников он не пытался принизить своего героя, чтобы сделать его понятней и ближе, — он делал его понятней и ближе, возвышая. Как истинный романтик, он не заменял низких истин возвышающим обманом, а умел увидеть по-настоящему высокую правду. Он писал: «Я ничуть не осуждаю тех, кто соскабливает позолоту с пряника, — пряник много важнее для меня, чем позолота. Но, к огромному сожалению, люди редко на этом останавливаются. Очилив пряник, они тратят остаток своих дней на соскабливание позолоты с огромных слитков золота» («Дж. Б. Шоу»). В этом смысле он, конечно, был и оптимистом и романтиком. Он верил, что есть чистое золото; а тем, кто в это не верит, лучше не читать его биографий.

3

Достоверно мы знаем одно: полный провал настоящего. Чтобы это знать, совсем не нужно идеализировать средние века — нужно просто понимать век нынешний... Мы не считаем, что человеку положено жить в жемчужных и сапфировых чертогах будущего или в пестрой таверне прошлого; зато мы глубоко уверены, что ему не положено жить в калкане.

(Г. К. Честертон, «Новый Иерусалим»)

Во время первой мировой войны Честертон попросили написать историю Англии. Он отказался — сказал, что он не историк. В конце концов он все-таки ее написал (долго было бы рассказывать почему; честно говоря, издатели просто сыграли на его добродушии и честности). Правда, он назвал ее «Краткой историей Англии» и много раз на ее страницах напоминал, что это не научный труд. Тем не менее серьезные историки говорили, что он сумел схватить что-то такое, чего им схватить не удалось. В исторических работах ему помогала все та же свежесть взгляда и та же любовь к своему герою; а в «Краткой истории Англии» героем был народ. Он ставил высоко и короля Альфреда, и Томаса Мора, и Нельсона, но выше всех их он ставил тот самый «незаметный народ», которому посвятил одно из лучших своих стихотворений. Рассказ о битве при Ватерлоо он кончает так: «А когда исследователь истории или литературы, чувствуя, что эта война была, что ни говори, героической, оглядывается в поисках героя, он не находит никого, кроме толпы».

Точно так же, как в биографиях, он был здесь истинным романтиком. «Краткую историю Англии» называли эпосом и даже поэмой. И действительно, когда в самом начале читаешь, что Британские острова были для римлян сказочной страной на краю света, по ту сторону заката, кажется, что открыл книгу стихов или «Алису в стране чудес».

Написал он и настоящую поэму об истории, «Балладу о белом коне» — длиннейшую, в восьми главах, стихотворную повесть о борьбе с данами своего любимого героя, Альфреда Великого. В самые трудные дни второй мировой войны «Таймс» поместила вместо передовицы строфу из этой поэмы; а когда произошел перелом и войне стал виден конец — две строки из нее.

Честертон писал об истории много меньше, чем о литературе, хотя очень ее любил и еще в школе удивлял учителей зрелостью исторических характеристик. Он посвятил ей

две книги («Краткая история Англии» и «Преступления Англии»), поэму и около 20 эссе. Кроме того, во многих его книгах — особенно, конечно, в биографиях — есть главы, посвященные той или иной эпохе. Может быть, он не всегда решался писать об истории, поскольку понимал, что тут мало свежего глаза. И все-таки его можно назвать настоящим историком: он умел схватить и передать суть исторических событий. Его книги и эссе полезно читать в начале — или в конце — изучения эпохи. Например, после его главы о Тюдорах все события той смутной поры становятся на место.

И еще одно свойство истинного историка было у него: он умел предвидеть. Роналд Нокс¹ говорил, что его будут вспоминать как пророка в век лжепророков. Недавно газета «Гардиан» писала о том, как много его пророчеств подтвердилось. В начале века, когда считалось, что в Англии не может быть ни монополий, ни кризисов, он упорно предостерегал англичан. И трудно не удивиться его здравому чутью, когда читаешь, например, что он писал во времена веймарской республики, когда многие политические деятели считали излишней паникой толки о надвигающемся фашизме: «Гинденбург никогда не был диктатором и никогда им не будет. Он держит тепленьким место для будущего диктатора».

У каждого, кто пишет об истории, есть, вероятно, своя любимая эпоха. Такой эпохой были для Честертона средние века. Может быть, Честертон из легенды воспевал театральные красоты условного средневековья, но совсем не их любил настоящий Честертон. Как ни жаль, несмотря на многократные объяснения, и противники его и даже многие сторонники приписывали ему именно это. Конечно, если прочитать не все, что он написал, так подумать можно. Например, в некоторых стихах («Крестоносец возвращается



¹ Нокс Роналд Арбетнотт (1888—1957) — английский исследователь литературы.

из плена», «Медиевализм») он просто славит рыцарский дух и старую добрую Англию. Но стихи не статья; далеко не всегда поэт приводит в стихах все «за» и «против». Так может подумать и тот, кто прочитает его романы «Наполеон из Ноттинг-хилла» и «Возвращение Дон-Кихота». Но тот, кто читал его лучший роман, «Перелетный кабак», поймет, что именно защищал он и славил — не преимуществе меча перед прозой компромисса (как в «Наполеоне») и даже не чистоту рыцарского идеала (как в «Дон-Кихоте»), а свободу и радость человека, или, как писал он в «Автобиографии», «бесконечное достоинство отдельной души». В отличие от героев «Наполеона» и «Дон-Кихота», Патрик Делрой не возрождает ни рыцарских орденов, ни геральдики, ни гильдий, ни самоуправления городов — он просто катит ногой по Англии бочонок рома и голову сыра, причиняя бесчисленные неприятности лорду, запретившему бедным веселье и пиво. В «Охотничьих рассказах» тоже нет театрального средневековья; веселье чудаки мятежники вспоминают разве что Робин Гуда и возрождают «добрую Англию» под лозунгом: «Три акра и корова». Вот это Честертон действительно хотел возродить — свободное английское крестьянство, существовавшее (с грехом пополам) до того переворота сверху, который он называл «мятежом богатых». Одно время он участвовал в движении дистрибутизма — собственно, он был одним из его зачинателей. Дистрибутисты противопоставляли свободный союз крестьянских хозяйств и капитализму и социализму. Они предлагали заменить плутократию и монополии системой крестьянских хозяйств. Однако на вопрос: «Считаете ли вы, что дистрибутизм спасет Англию?» — он ответил: «Нет. Англичане спасут Англию, если им дадут малейшую возможность».

Честертон любил совсем не то условное средневековье, которое ругали утилитаристы и воспевали эстеты. Об этом говорится в эссе «История против историков» и во многих других. В эссе «Загадка реставрации» он

предлагает способ отличить настоящего романтика от мнимого («А это немаловажно, — писал он, — если ваш собеседник претендует на звание поэта, историка или зятя»): мнимый романтик любит средние века за то, что они мертвы. Если так, сам он снова оказывается истинным романтиком. Он любил то, что живо. Из людей той поры он выбрал Робин Гуда и Чосера; не призрачную принцессу, а веселого йомена. В «Истории против историков» вы прочитаете, что он думал о модных в его время взглядах ценителей средневековья. Смеялся он и над теми, кто презирал средние века, считая их черным провалом в истории. Он верил — и утверждал, — что уныния в то время было не больше, а много меньше, чем в Англии его времен. «В тот аскетический век, — писал он, — любовь к жизни была так сильна, что ее приходилось обуздывать. А во времена гедонизма радости так мало, что приходится силком тащить людей к веселью» («Дж. Б. Шоу»). А в эссе «Золото Глестонбьюри» он рассказывает, как археолог показал ему обломок старого свода: «...и на беловато-сером фоне я увидел мазок золота. Жалость пронзила меня — так трогают нас внезапной хрупкостью забытые, брошенные вещи. Этот золотой мазок был нелеп и нежен, как рождественский подарок в бедном доме. И я узнал, что мои предки были такие же, как я. Я вспомнил, что наши снобы любят мрачную сень старинных аббатств и сами одеваются в стиле руин, темных стен и вялого плюща... Конечно, они лучше меня понимают величественный косяк и пышные мхи мертвого Глестонбьюри. Но я стоял в живом Глестонбьюри — веселом, золотом, раскрашенном, как детская книжка».

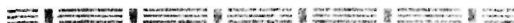
Повторяю: Честертон считал, что в те века было больше свободы, веселья и здравомыслия. Так это или нет, решать не мне; вопрос этот слишком серьезен, его и не решишь в маленьком предисловии; но он в это верил. Однако он никак не считал, что средние века были золотым веком. Жаль, что его

противники не заметили (или не приняли всерьез) того, что писал об этом он сам. Приведу хотя бы два его рассуждения: «Тех, кто любит средние века, нередко обвиняют — как это ни глупо — в том, что для них средневековье совершенно. Но в том-то и дело, что оно было несовершенным — несовершенным, как незрелый плод или маленький ребенок. Несовершенство его — особое; именно такой вид несовершенства современные мыслители любят больше, чем зрелость... То было время прогресса... Люди редко двигались так быстро и сплоченно от варварства к цивилизации»¹ («Новый Иерусалим»). «Они совсем не были верным местом... Они были только верной дорогой или, быть может, началом верной дороги. Нельзя сказать, что все шло тогда правильно; скорей уж то было время, когда все шло не так... Совсем не нужно их идеализировать, чтоб о них сожалеть» (там же).

Верной дорогой он считал только ту эпоху, которую называл «ранней, лучшей порой средневековья». В книге о Шоу он говорит мимоходом, что «веселая готика XIII века сменилась готическим уродством XV»; ключ тут в слове «веселая». Ему бы и в голову не пришло ругать уродство как таковое — он осуждает мрачность XV века, его зловеющий дух. «Мы помним их (средние века) по запаху последней, упадочной поры, — пишет он в эссе «Кукольный театр». — Для нас средневековая жизнь — жуткая пляска демонов и грешников, прокаженных и еретиков. Но это не жизнь средних веков — это их смерть. Это дух Людовика XI и Ричарда III, а не Людовика IX и Эдуарда I»².

А почему он относился с недоверием к тому, что пришло после, говорится в «Савонароле» — одном из самых известных его эссе; он писал об этом не раз и в очерках и в книгах. Может быть, его самого надо причислить к тем пылким историкам, которые видят половину правды (см. «Историю против историков»); но именно эту половину видели очень немногие. А что касается другой половины, мне кажется, он знал и ее. Кто, как не он, так сильно любил Рабле, Эразма и Томаса Мора? Предположим, что он пристрастен; предположим, что он не всегда верно судит о прежних веках. Но от этого не станет слабее предостережение живым. Трудно не понять, читая «Савонаролу», что Честертон так страстно сражается прежде всего с пороками и опасностями своего века.

В этом — ключ к его историческим работам. О чем бы он ни писал, что бы ни высмеивал, что бы ни славил в прошлом — он страдает о настоящем. И как бы ни относиться к советам и выводам Честертона, трудно не полюбить того, кто так сильно любил людей, так боялся за них и так хотел им помочь.



¹ Надо иметь в виду, что термином «средние века» (Middle Ages) обозначается в Англии период с начала II тысячелетия до XVI века. Эпоху от падения Рима до конца I тысячелетия называют темными веками (Dark Ages). Таким образом, под ранним средневековьем Честертон всегда понимает XI—XIII века.

² Напомним, что Людовик XI царствовал с 1461 по 1482 год, Ричард III — с 1483 по 1485. Людовик IX — с 1226 по 1270, Эдуард I — с 1272 по 1307 год.



Г. К. Честертон

Пять эссе

Перев. с англ. Н. Л. Трауберг

История против историков

В невинную пору пламенной юности я носился с одной идеей. Я считал, что детей в школе надо прежде всего учить истории. Только в тяжелой раме истории все становится на свое место. Мальчик не поймет, как важна латынь, если станет зубрить ее; но он поймет, как она важна, если узнает историю латинян. Кто видит пользу арифметики или географии? Но в славный канун Аустерлица, когда Наполеон на чужбине готовился к неравной битве, ему пригодилась, должно быть, и география и арифметика. Я думал: если дети будут учить одну историю, они научатся учить все остальное. Алгебра может показаться порядочной гадостью, но само ее сарацинское имя звенит романтикой крестовых походов. Греческий скучен, пока вы не знаете о греках; но не после. История — рассказ о человечестве — о человеке все науки, даже антропологию.

Но невинная пора миновала; я узнал, что все не так просто. Беда в том, что учить нечему — истории

нет. Это не цинизм; иначе и быть не могло, ведь в наши дни нет единомыслия, у каждого своя вселенная, потому все так ужасно одиноки. Истории нет; есть историки. Рассказать о событии просто и прямо много труднее теперь, чем исказить его. Нелегко сообщать факты, так и тянет их извратить.

Беспристрастных историков нет. Историки делятся на две группы: одни говорят половину правды, другие — чистую ложь. Пылкий историк видит одну сторону вопроса, спокойный не видит ничего, даже самого вопроса.

Но ознакомиться с прошлым можно еще одним способом, и я никак не пойму, почему им так мало пользуются. Можно читать не историков, а историю. Попробуем год, или месяц, или две недели читать о Кромвеле только то, что писалось при его жизни. По памяти (у меня здесь нет ничего под рукой) я назову немало длинных и хороших книг, пытающихся рассказать о той эпохе: «История» Кларендона, записки Эвелина, жизнь полковника Хатчинсона; и, кстати, письма и речи Кромвеля, опубликованные Карлейлем¹. Только, прежде чем их читать, заклейте поаккуратней все, что писал Карлейль. Вычеркните из каждой книги всю критику, все комментарии. Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мертвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди.

Мне пришел в голову хороший пример. Современные сведения о ранней, лучшей поре средневековья почерпнуты, как правило, из романов и ученых трудов. Романы много до-

¹ Карлейль Томас (1795—1881) — знаменитый английский историк.

стоверней — романист хотя бы пытается описывать людей; ученым-историком это не всегда удается. И, честно говоря, мы представляем себе ту эпоху прежде всего по романам.

Представление среднего англичанина о средних веках состоит из следующих напластований:

1) Старый добрый романтический взгляд — странствующие рыцари, принцессы, поединки. С этой точки зрения средние века не столько темны, сколько залиты лунным светом. Это выдумка, но не ложь. Любовь и приключения были всегда; были они и в то время.

2) Дешевый манчестерский взгляд. Его в счастливом неведении разделял сам Диккенс. Самодовольный делец обвиняет в излишней осторожности рыцарей, закованных в доспехи. Ответ тут может быть один: спросим дельца, так ли недостойно защищен рыцарь, как его оружейник, и не храбрее ли даже оружейник, чем современный фабрикант оружия?

3) Взгляд Россети¹ — нежные тона, тонкие запахи, изысканность и прозрачность. Тут хороша добрая доза Чосерова мельника².

4) Взгляд покровительственный. Так Маколей³, без тени шутки, радуется, что темных людей, не способных путешествовать из любознательности или «стремления к выгоде», гнало в путь суеверие. Приятно думать, что герой и святой — всего лишь предтечи коммивояжера.

И Диккенс, и Россети, и Маколей — люди великие, и, хотя все они знали очень мало о средних веках, их взгляды интересны сами по себе. Но есть еще одна скромная группа людей, которые могут рассказать нам о средневековье: те, кто тогда жил. Их мемуары почти неизвестны у нас

в Англии. Но я с удовольствием узнал, что хроники Жуанвиля и хроники Вильардуэна⁴ прекрасно переведены на английский. Откройте Жуанвиля — и средневековье Диккенса, Россети, Маколея упадет с ваших плеч, как тяжелый плащ. Вы увидите обычных чувствительных людей, совсем таких, как мы, только похрабрее и поубежденней. Жуанвиль болтает о себе так же простодушно, как Пепис⁵, и оказывается намного лучше. Поневоле уважаешь его; он скрупулезно правдив и всякий раз оговаривает, что видел сам, а о чем слышал; он инстинктивно, внутренне честен — Людовик⁶ спросил его, что лучше, проказа или смертный грех, а он ответил: «Лучше пятьдесят грехов!»; он благородно хвалит чужую храбрость — он привязывается к людям и простодушно гордится их любовью; наконец, он, как истый джентльмен, трясется над своим достоинством — Людовик ругал его за это, но мы узнаем тут черты полковника Ньюкома⁷.

1 **Россети Данте Габриэль (1828—1882)** — английский художник и писатель, один из так называемых прерафаэлитов, возродивших интерес к искусству доразраделовой поры.

2 Имеется в виду в высшей степени грубый и смешной рассказ мельника из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера (XIV век).

3 **Томас Бэбингтон, лорд Маколей (1800—1859)** — крупнейший английский историк и политический деятель.

4 **Жуанвиль Жан де (1224—1317)** — советник французского короля Людовика IX; внесил в свою летопись События до 1309 года. **Вильардуэн Жофруа де (ок. 1150—ок. 1212)** — летописец, участник четвертого крестового похода.

5 **Пепис Сэмюэль** — автор знаменитого в английской литературе дневника (XVII в.).

6 **Людовик IX (1214—1270)** — король Франции с 1226 года.

7 **Ньюком** — герой романа Теккереля «Ньюкомы».

А больше всего мы благодарны ему за описание короля, в чьем сердце лежали рядом лев и ягненок.

Если XVIII век был веком Разума, XIII был веком Здравомыслия. Людовик говорил, что излишняя роскошь в одежде дурна, но одеваться надо хорошо, чтоб жене было легче любить вас. Сразу чувствуешь, что в то время речь шла о фактах, а не о вкусах. Конечно, там была романтика; Людовик не только умно и весело судил под дубом — он прыгнул в море со щитом на груди и копьем наперевес. Но это не романтика тьмы и не романтика лунного света, а романтика полуденного солнца.

(Из сборника „Безумие и ученость“)

Альфред Великий

Тысячелетняя годовщина со смерти короля Альфреда¹ породила единение в самой гуще разногласий. Независимо от частных ученых мнений все чувствуют, как очищает воздух мысль о великом человеке, который жил очень давно; ведь древнее всегда особенно живо, далекое — особенно близко. Только мертвый может стать миротворцем — так, в евангельском рассказе не живой, а мертвый Христос примирил небо и землю. В определенном смысле прошедшие века всегда человечны для нас, наш собст-

венный — дик и непонятно бесчеловечен. Подробности ошеломляют нас; погоны и пуговицы растут как в кошмаре. Изучать людей, наблюдая своих современников, все равно что рассматривать гору в лупу; изучать их, глядя в даль прошлого, все равно что смотреть на нее в подзорную трубу.

Вот почему Англия, как все великие страны, отыскала своего героя во мгле полузабытой старины. Никто не сомневается в личных достоинствах Альфреда — величие его и благородство не зависят от достоверности легенд. Может быть, он не совершил того или другого подвига; но легче совершить подвиг, чем стать героем легенды. Легенда правдивее факта: она говорит нам, каким был человек для своего века, факты же — каким он стал для нескольких ученых крохоборов много веков спустя. Может быть, Альфред не пек лепешек для жены пастуха; может быть, он не пел в стане данов — это не важно никому, кроме тех, кто, презрев препоны, пытается возвести к нему свой род. Но эти предания рассказывают о нем точнее и ярче, чем сотни излюбленных в наше время сведений о том, что он ел на завтрак и какую любил музыку. Легенда историчнее факта: факт говорит об одном человеке, легенда — о миллионах. Если мы прочитаем, что герой обращал солнце в луну, а зелень — в багрец и пурпур, мы можем усомниться, но мы узнаем самое главное; мы узнаем, что, глядя на него, люди в это верили. Доблесть и слава Альфреда, как и всех героев утренней древности мира, неподвластна переворотам вне-

¹ Альфред Великий (848–901) — был королем англосаксов с 871 по 899 год. Он изгнал из Англии данов.

запных открытий; ее не уничтожишь, расшифровав документ или выкопав камень. Возможно, плали те, кто рассказывал нам, что он пленил врага песней прежде, чем полонить мечом; но мы слишком хорошо знаем, что нам такого не припишешь. О каждом из нас создаются мифы — сказители и летописцы охотно пускают слухи о том, что мы любим выпить или бьем жену. Но мало кто говорит, что мы, не жалея жизни, спасли свою улицу от злого врага. Истории плодятся легко, но доблести в них мало. А если она есть, можно не сомневаться, что человек действительно был великим. Тысячи кривд указуют перстом легенды на скрытую от нас правду.

Уже поэтому культ Альфреда и хорош и полезен. Все народы рады найти у своих истоков героя, чья ценность, как ценность ружья, доказана дальнобойностью. Прекрасно и странно, что мы так ценим даже сплетни о человеке, умершем тысячу лет назад, и можем сказать Альфреду, как говорил Ростан Орленку:

Dors, ce n'esl pas toujours la légende qui ment;
Une rêve est parfois moins trompeur qu'un document.¹

Когда знаешь, что во мгле старины твой народ представлен таким простым и честным человеком, восстанавливается связь времен и смягчаются ужасы столетий. История кажется милей и понятней, покинутый храм веков — уютным, как кабачок.

Достоверные ли факты дошли до нас или еще более достоверные выдумки, король Альфред ни на кого не похож, его не спутаешь с другим героем. Лорд Розбери² не случайно

назвал его истинным англичанином. Величие англичанина укладывается в слово «служба». Быть может, нет на свете нации, где сильные люди так упорно предпочитали бы службу власти, радости подчиненного — радостям короля. Даже наши тираны — Эдуард, Елизавета³ — напоминали своей деловитой озабоченностью расторопных управляющих большого поместья. Наш типичный герой — Веллингтон: он был блестящим и знатным, но сквозь его блеск сквозило странное смирение — как мог бы он иначе без тени стыда или усмешки пасть на колени перед наглым невежей Георгом IV?⁴ Сквозь даль веков и туман легенды мы чувствуем, что Альфред был наделен этим редким свойством; что он тушевался, отступал в тень. Признавая все наши промахи, мы все же вправе сказать, что даже властители Англии не были так властны, как многие народные герои других стран. И чем больше об этом думаешь, тем нестерпимей становится теперешний культ самоутверждения и позы.

Лорд Розбери предложил нам представить себе, как обрадовался бы Альфред успехам своей страны, ее бескрайним владениям, ее могучему

¹ Дословно: «Спи, не всегда легенда лжет — порой мечта достоверней документа» («Орленок», пьеса Э. Ростана о сыне Наполеона I).

² Э. П. Примроз, граф Розбери (1847—1929) — знаменитый английский историк и политический деятель.

³ Эдуард I (1239—1307) — был королем Англии с 1272 по 1307 год. (Не путать с Эдуардом I, королем англосаксов с 899 по 924 год.) Елизавета I (1533—1603) — была королевой Англии с 1558 по 1603 год.

⁴ Артур Уэллсли, герцог Веллингтонский (1769—1852), прозванный Железным Герцогом, — полководец, командовавший войсками при Ватерлоо.

Георг IV (1762—1830) был регентом с 1810 по 1820 год, королем с 1820 по 1830 год.

флоту, ее огромному вкладу в технический прогресс. Что ж, полезно подумать о том, что Альфред удивился бы им и порадовался; полезно понять, что, на детский взгляд старинного героя, наши изобретения и новшества не так уродливы и грубы, как на наш. Пароход показался бы ему морским змием, а почта — чудом великого волшебника. Полезно это понять; но можно сделать и другие выводы из видения лорда Розбери. Что сказал бы Альфред, если бы ему предложили тратить деньги не на лечение и просвещение народа, а на борьбу с вестготами, населяющими клочок земли на краю света? ¹ Что сказал бы он, если бы узнал, что письменность и словесность, которые он дал Англии, помогают не учить людей, а морочить заверениями, не более правдивыми, чем фразы «огонь не жжет» или «в море не утонешь»? Что сказал бы он, если народ, который, не изменив идеалам служения и здравомыслия, терпел бесчисленные беды, чтоб одолеть Наполеона, если этот самый народ зовет своего кумира Наполеоном Южной Африки? ² Что сказал бы он, если бы узнал, что Англия отвернулась от честных людей долга и стала заигрывать с грязной мистикой человека судьбы?

Что-ж, мы можем тешиться всем этим, если не знаем лучшего. Но мы не вправе считать, что это понравилось бы Альфреду, — с таким же успехом можно предположить, что Фра Анджелико восхитился бы Обри Бердслеем ³. Мы можем так жить, если хотим; но будем же честными, примем связанные с этим неудобства и не забудем на вершине побед, что они омрачены тенью — великому Альфреду было бы стыдно за нас.

(Из сборника „Разные люди“)

Кукольный театр

В сером каменном городке, приютившемся в одной из набитых историей йоркширских долин, я попал в кукольный театр и смотрел представление, как смотрели мои деды пятьсот лет назад. Пьеса, превосходно переведенная со старонемецкого, излагала нам истинную историю Фауста, а куклы были очень смешные и очень достоверные. Но если смех и вера несовместимы для вас, вам нечего делать в средних веках, да и вообще в жизни.

Кажется, пьеса была поздняя, XV века; в легенде о Фаусте вообще есть привкус этого причудливого и мрачного столетия. Как жаль, что мы так часто видим прошлое с хвоста, помним только закаты ушедших дней! Примеров тому немало. Один — Наполеон. Мы всегда думаем о нем,



¹ Честертон имеет в виду англо-бурскую войну, против которой выступал много раз.

² Речь идет о генерале Герберте Китченере (1850—1916).

³ Джованни да Фьезоле, прозванный Анджелико (Ангельским) (1387—1455), — великий итальянский художник.

Бердслей (Бердсли) Обри (1872—1898) — модный художник-декадент конца XIX века.

как о жирном старом тиране, задавившем Европу безжалостной военной машиной. Но, как сказал бы лорд Розбери, такой была последняя фраза, точнее, предпоследняя. В начале своей карьеры, в славные годы, обесмертившие его, Наполеон был скорее мальчик, и неплохой мальчик, — упрямый, конечно, и честолюбивый, но искренне влюбленный в женщину и искренне преданный делу французской справедливости и равенства.

Другой пример — средние века. Мы тоже помним их по запаху последней, упадочной поры. Для нас средневековая жизнь — жуткая пляска демонов и грешников, прокаженных и еретиков. Но это не жизнь средних веков — это их смерть. Это дух Людовика XI и Ричарда III, а не Людовика IX и Эдуарда I.

Невеселая легенда о Фаусте высмеивает гордыню учености, в ней много здравого смысла, много суровости, она мрачна, но болезненности в ней нет. И все-таки это не самый лучший образец средневекового духа. Истинную суть средневековья мы найдем скорее в благородном сказании о Тангейзере, где расцветает мертвый посох в посрамление епископа, который отказал хоть одному человеку в жалости и милосердии.

Но в этой пьесе живут две великие глубокие мысли, которые не покидали человека тех времен даже в самую тяжелую пору, — две великие шутки средневековья, вечные шутки человечества. Где они есть — остается надежда и разум; где их нет — царят гордыня и безумие. Первая: бедняк должен взять верх над богачом. Вторая: муж боится жены.

Я слышал, что, если ударить чело-

века под колено, нога подпрыгнет, а если не подпрыгнет — человек ненормален. И вот я уверен, что такие места есть и в душе. Если вы не реагируете на эти две шутки — дух ваш в параличе. Есть надежда для тех, кто томится в преисподней корысти и экономического порабощения (во всяком случае, я надеюсь, что есть, ибо все мы — там), но нет надежды для того, кто не обрадуется, что крестьянин обдул вельможу. Есть надежда для праздных и для распутных, для тех, кто бросил жену, и для того, кто ее бьет; но нет надежды для человека, который не боится жены.

Первую мысль воплощает в нашей пьесе Каспар, слуга доктора Фауста. Сентиментальные тори, оплакивая феодальные времена, любят говорить, что в те дни Джек был не хуже своего господина. Но почти во всей средневековой литературе Джек много лучше господина; и Каспар, несомненно, лучше Фауста. К концу пьесы ученый гибнет, а Каспар весело пляшет, потому что он стал городским стражником.

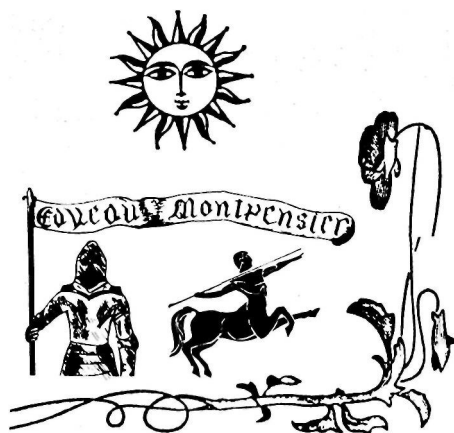
В более ранних вариантах легенды эта средневековая шутка была еще веселей. Ученый обрыскал все библиотеки в поисках формулы (почти забытой в наше время), дающей власть над злыми духами. Наконец он нашел драгоценную книгу, открыл ее на нужной странице и пошел за какими-то магическими аксессуарами. Тут вошел слуга, прочитал заклинание, и явились духи стихий. Он заставил их попотеть. Неумолимо, как насос, он вызывал и прогонял их, и они носились от докторского дома к своему не упоминаемому в приличном обществе жилищу, пока не сбились с ног. В этой сцене — вершина средневекового духа: здравая мысль о том, что

в смехе и радости все равны; великая мысль о том, что шутка побеждает ад.

К моему восторгу, куклы говорили на йоркширском диалекте. В этом было что-то очень здоровое и очень средневековое. На старых картинах и в старых пьесах быт всегда современен. Так единственное новшество точнее всего передало дух средних веков.

Другая старая добрая шутка — шутка о злой жене — есть в последней сцене. Доктор (в шубе навыворот для пущей важности и пышности), убегая от чертей, сталкивается со своим слугой. Тот гостеприимно указывает ему на дом с голубыми воротами. «Моя старуха там живет, — говорит он, — а черти ее боятся куда больше, чем вы их». Фауст не внемлет совету и продолжает рассуждать (в чем и была его ошибка); но на башне бьет полночь, страшные голоса говорят с неба по-латыни, Фауста в роскошной шубе уносят черные чертики — и правильно делают, человек он был замный.

(Из сборника „Тревоги и размышления“)



Савонарола

Наверное, мы не поймем Савонаролу¹, пока не узнаем, какое страшное зло таится в сердце цивилизации. А этого мы не поймем, пока мы цивилизованы. Что ж, может быть, нам лучше никогда его не понять...

Великие освободители освобождали людей от древних врагов человеческих, от того, что сами люди считали дурным. Законодатели спасали от анархии, врачи — от чумного поветрия, реформаторы — от голода. Но есть на свете огромное, бездонное зло, по сравнению с которым все эти беды ничтожны, как укусы блохи; страшное проклятие падает порой на людей и на целые народы, и нет ему иного имени, как сытость. Савонарола спасал не от анархии, а от порядка; не от чумы, а от паралича; не от бедности, но от богатства. Такие, как он, свидетельствуют о безымянной и предельно важной психологической истине: они знают, что довольство — худший враг радости, а роскошь чревата смертью.

¹ Савонарола Иероним (1452—1498) — флорентийский монах-доминиканец, религиозно-политический реформатор, вождь народного восстания против тирании Медичи во Флоренции. Сожжен как еретик.

Я уверен, что, бросая вызов роскоши, Савонарола не просто боролся с грехами. Современные его почитатели — от Джордж Эллиот¹ и ниже — стараются оправдать его гнев, расписывая преступления и пороки, пятнавшие палаццо Возрождения. Они правы; но, в сущности, незачем так старательно доказывать, что Савонарола просто тыкал пальцем в черные пятна греха с дотошностью и чистоплывством члена этического общества. Я склонен думать, что он ненавидел всю цивилизацию своего века, а не только ее грехи; именно в этом он был глубже и умнее наших моралистов. Он видел, что преступление не единственное зло; что кражи бриллиантов, и отравленные вина, и бесстыдные статуи — только симптомы, а болезнь заключается в том, что люди попали в плен к бриллиантам, винам и статуям. Вот о чем забыли те, кто судит аскетов и первых пуритан. Отказ от невинных удовольствий далеко не всегда вызван слепой ненавистью к тому, что только узкий моралист назвал бы грешным. Человек может отказаться от них, если остро ненавидит то, что только узкий моралист назовет безгрешным. Иногда аскеты видят меньше, иногда — много больше, чем обычные люди.

Именно эта ненависть жила в душе Савонаролы. Он встал не против мелких человеческих грешков, а против безбожной неблагодарной сытости, против привычки к счастью, мистического греха, погубившего некогда Адама. Он проповедовал суровость, которая неотъемлема от юности и надежды. Он проповедовал ту бодрость и ясность духа, без которой немислима не только святость, но и радость; свежесть чувств, необходимую и любовнику и монаху. Один ученый

не без пронизательности заметил, что вряд ли Савонарола совсем уж не любил искусства, если его друзьями были Микеланджело, Боттичелли и Лука делла Роббиа². Но в том-то и дело, что чистота и строгость нужны прежде всего для восприятия красоты и смеха. Чтобы увидеть каждую птицу, назвать по имени камни и травы, вместить все краски заката, нужна дисциплина радости и тренировка благодарности.

Цивилизация, со всех сторон окружавшая Савонаролу, уже свернула на ложный путь — тот самый, где кишат изобретения, но нет открытий; где новое мгновенно стареет, а старое не обновляется. Изошренная жестокость ренессансных преступлений говорила отнюдь не о богатстве воображения; она, как и всякое уродство, говорила о том, что воображение иссякло. Человек выдумывает кентавра, когда перестает видеть лошадь; он поклоняется дьяволу, когда не может дивиться быку. Демонизм подхлестывает угасающее воображение. Савонарола же хотел другого, куда более трудного: он призывал людей оглянуться и удивиться простым вещам, которые они перестали видеть. Как странно, что самая непопулярная доктрина на свете та, что признает божественной простую жизнь! Нет ничего трудней демократии; люди не могут спокойно слышать, что каждый из них — король. Нет ничего трудней христианства (а для Савонаролы оно неотъемлемо от демократии); люди не могут спокойно слышать, что все они дети божьи.

1 Джордж Эллиот (Мери Энн Ивонс) (1819—1880) — английская писательница.

2 Лука делла Роббиа (1400—1482) — флорентийский скульптор.

Савонарола погиб, его республика пала. Людей опоили сонным зельем деспотии, и они забыли, кем были прежде. В наши дни многие питают столь удивительное уважение к искусствам, наукам и гениям, что дух Медичи¹ кажется им лучше духа Савонаролы. Именно этих людей, их цивилизации должны мы теперь бояться. Нас окружают со всех сторон те самые симптомы, которые вызвали некогда праведный гнев флорентийца, — гедонисты устали от счастья больше, чем больные от боли, а искусство, исчерпав природу, обратилось к преступлению. Красота крови, поэзия убийства снова пленяют поэтов и художников. Воображение иссякло, и люди перестали видеть, что живой человек много поразительней мертвого. А вместе с тем, как и при Медичи, усиливается деспотия, растет тяготение к сильному, неведомое сильным. Мы преклоняемся перед наглым тираном, потому что в себе самих находим только слабость. Нам хочется переложить свой долг на чужие плечи, а в этом суть и душа рабства, независимо от того, рабам или владыкам мы препоручаем свои дела. Но великий монах-республиканец бросает вызов нашей эпохе, предпочитая поражение победе своих врагов. Как и тогда, идет борьба между ним и Лоренцо — между ответственностью свободы и безответственностью рабства, между опасностями правды и безопасностью молчания, между радостью труда и непосильным трудом радостей. Единомышленники Великолепного живут среди нас — те, кто жертвует страной и вечностью ради минутных наслаждений; те, кто последний душевный час лета предпочитает суровому ветру весны. Их живопись, литература, политика должны немедленно дей-

ствовать на эстетическое чувство, и никого не интересует судьба человеческого духа. Их статуэтки и сонеты совершенны; по сравнению с ними «Макбет» — набросок, а «Моисей» — неотесанная глыба. Их битвы всегда победоносны, но Цезарь и Кромвель прошли сквозь сотни унижений. А ведет это все в ад бесформенной мягкости, похожий не на усталую коврами комнату, а на обитую войлоком палату сумасшедшего дома.

Это последнее и худшее из всех человеческих несчастий Савонарола предвидел и всей своей огромной силой пытался предотвратить. Почти никто не понимал его: одни считали его безумцем, другие — шарлатаном, третьи — врагом человеческой радости. Они бы не поняли, если бы он сказал им, что спасет их от беды довольства, с которым кончается и радость и печаль. И в наши дни есть люди, ощущающие ту же опасность и отдающие свои силы тому же сопротивлению; конечно, их тоже подозревают в мелких политических интересах.

Защищая Савонаролу, некоторые говорили, что на Сожжении Сует погибло не так уж много произведений искусства. Я надеюсь — и не боюсь в том признаться, — что их погибло немало, иначе это отчаянное действие само покажется суетным. В одном я уверен: друг Савонаролы, Микеланджело, нагромоздил бы свои статуи одна на другую и уничтожил бы их дотла, если бы знал наверное, что пламя, озарившее небо, не закат, а заря нового, лучшего мира.

(Из сборника „Разные люди“)

© 2012 г. Все права защищены. Никакое издательство, ни одно из средств массовой информации не несет ответственности за содержание и достоверность размещенного автором материала. Автор гарантирует, что это не нарушает действующего законодательства. Публикация произведена с использованием материалов, размещенных на сайте www.1000knig.com

¹ Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным (1449—1492), — правитель Флоренции, меценат и поэт.

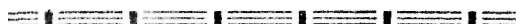
Карикатура и кичливость

Если вам непременно нужно гордиться собой, гордитесь хотя бы теми чертами и талантами, которых у вас нет. Тогда ваше тщеславие будет в той или иной степени поверхностно. Вы просто ошибетесь, как люди, которым показалось, что в их жилах течет королевская кровь или что они открыли бесприоритетную систему для рулетки. Несуществующее достоинство не испортит и не извратит достоинств настоящих. Можно гордиться тем, чего у вас нет, и быть очень скромным. Настоящие достоинства останутся неприкосновенно чисты, вы не увидите их и не испортите. Если вас преследует мысль, что вы великий скрипач, вы можете остаться джентльменом и честным человеком. Но если хоть в какой-то степени вы догадаетесь, что вы джентльмен, это скоро пройдет.

Но есть еще один вид самодовольства, с которым я встретился не так давно. Человек может гордиться не мнимыми достоинствами и не настоящими. Он может кичиться, что у него нет определенного недостатка, даже не спрашивая себя, так ли уж это хорошо. Надутый мелкий клерк ска-

жет вам: «Могу себя поздравить, я человек цивилизованный, не то что этот кровожадный Безумный Мулла»¹. Надо ответить ему: «Хороший человек не такой кровожадный, как Мулла. Но вы не кровожадны не потому, что вы хороший, а потому, что вы не совсем человек. Вы не пощадите врага, а просто убежите от него». Угрюмый пуританин скажет: «Могу себя поздравить. Я не поклоняюсь идолам, как эти язычники-греки». И тут надо ответить: «Можно не поклоняться идолам, потому что ты выше этого. Но вы не поклоняетесь им только потому, что ни в коей мере не способны их извратить. Истинная религия, возможно, выше идолопоклонства; но вы — ниже. Вы недостаточно благочестивы, чтоб поклоняться камню».

Мистер Ф. С. Гульд, наш славный и блестящий карикатурист, произнес недавно прекрасную речь о современной английской карикатуре. Конечно, современная английская карикатура вряд ли может быть поводом для самодовольства, у нас мало причин ею гордиться — разве что сам мистер Гульд. Но скромность не позволила ему воспользоваться этим приятным примером, и он обрадовался другому — тому, что уже говорили многие люди, но еще ни разу не поддержав своим авторитетом настоящий карикатурист. По его мнению, «мы можем себя поздравить с тем, что наши карикатуры сильно отличаются от грубых шаржей старого времени». Потом, как сообщает газета, он говорил так: «Если мы взглянем на политический шарж времен Роландсона и



¹ Безумный Мулла — так называли в Англии Мохаммеда ибн Абдула, дервиша из Сомали, поднявшего восстание против англичан в начале XX века.

Гилрея¹, он покажется нам грубым и жестоким. Кое-где за границей, «даже в Америке», политическая карикатура — это дубинка. Надо признать, мы миновали эту стадию. Если мы поступаем жестоко, нападая на человека из политических соображений, мы хотя бы вызываем сочувствие к нашим жертвам. Мы применяем резинку там, где раньше шаржировали особенно резко. (Смех, аплодисменты.)»

Каждый, кто читает эти слова, и каждый, кто их слышал, найдет в них очень много правды и много добродушия. Но кроме правды и добродушия, в них есть тот ложный оптимизм, о котором я говорил. Раньше чем поздравить себя с отсутствием определенных пороков, надо спросить, почему их нет. Потому ли, что им на смену пришла противоположная добродетель? А может, потому, что их сменил противоположный порок? Правда ли, что наша английская политическая сатира так умеренна по своему великодушию и милосердию? Правда ли, что она все больше и больше проникается всепрощением и любовью? Потому ли мы щадим министра, что сквозь его явные преступления и безумства мы провидим скрытые добродетели, неведомые ему самому? Потому ли милуем лидера оппозиции, что по доброте сердечной растроганы его героизмом? Короче говоря, правда ли, что мы не жестоки, потому что выше и добрее этого? Правда ли, что мы лучше жестокости? Действительно ли мы миновали стадию дубинки?

Боюсь, что в лучшем случае это не так. Не кажется ли вам, что мягкость нашей политической сатиры обусловлена полной прозрачностью нашей политической жизни? Роландсон и Гилрей дрались не потому, что они были

по природе кабацкие хамы. Они дрались потому, что им было за что драться. Очень легко сохранять вежливость в том, до чего тебе нет дела; но люди кидались в яростный бой и, обезумев от гнева, вытряхивали из врага душу во имя свободы Англии, свободы Франции, свободы Ирландии. Нетрудно доказать, что утонченность у них пропадала не от грубости. Никто не боролся ожесточенней, чем поистине тонкие люди. Никто не был яростней и нетерпимей, чем люди мягкие и чувствительные. Нельсон, например, был нервен и деликатен, как женщина; ни один нормальный человек не назвал бы его грубым. Но когда дело коснулось его страны, он разразился бранью, он кричал: «Бей! Бей! Бей... французов!» Нетрудно найти примеры и в другом стане. Камилл Демулен² был человек того же самого типа — блестящий, благовоспитанный, почти до раздражения мягкий. Но он сказал, что готов «обнять Свободу на горе трупов». Еще больше примеров в Ирландии. Роберт Эммет³ только самый прославленный из огромного множества очень чувствительных и очень ожесточенных людей. Мне кажется, мистер Гульд совершенно не прав, когда говорит, что политическая ярость — пережиток грубых времен, вроде каменного топора или косматого варвара. Жестокость, наверное, худший из грехов. Интеллектуальная жестокость, без сомнения, худший вид жестокости.

¹ Роландсон Томас (1756—1827), Гилрей Джемс (1757—1815) — английские карикатуристы.

² Демулен Камилл (1760—1794) — журналист и адвокат, деятель французской революции.

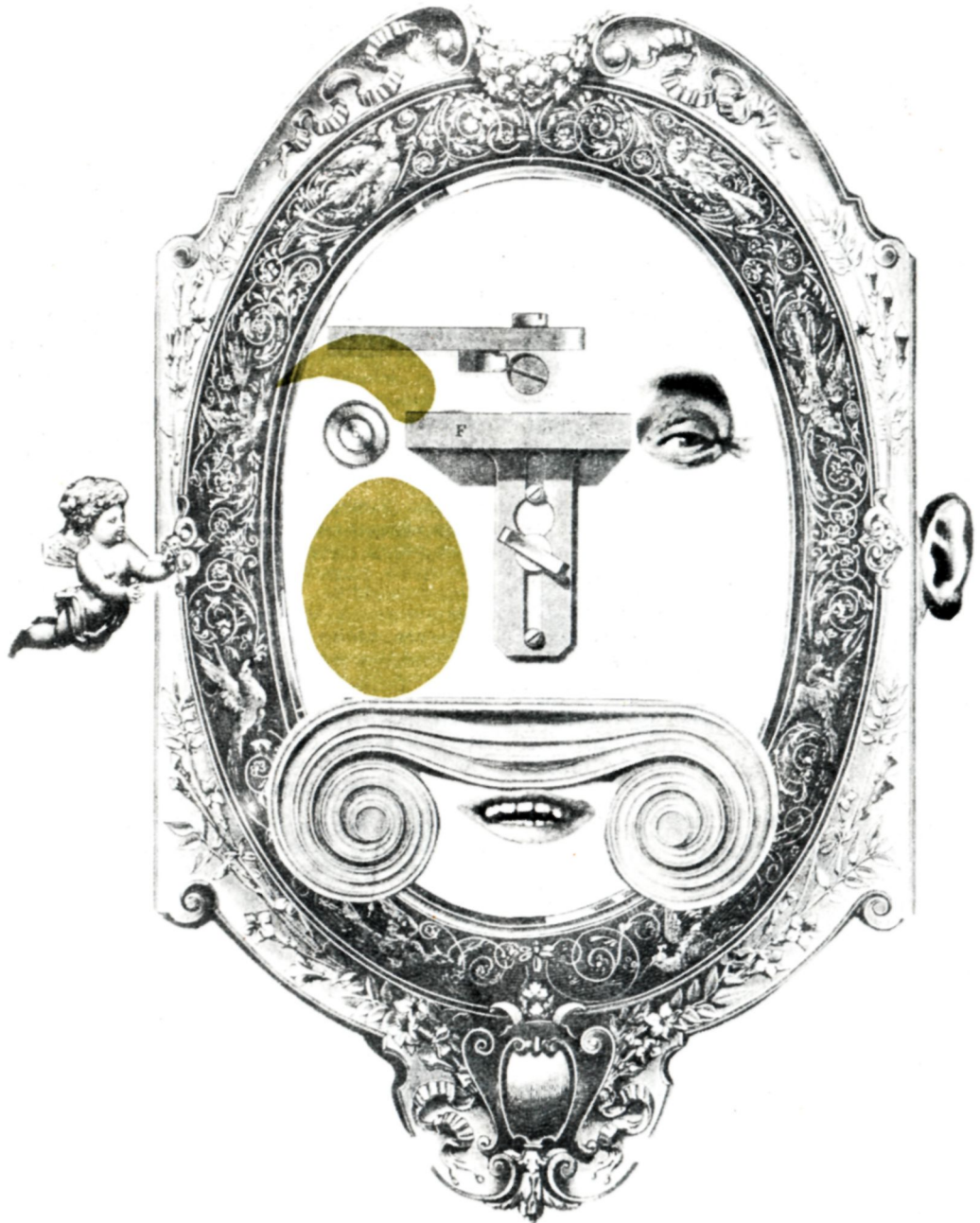
³ Эммет Роберт (1778—1803) — руководитель ирландского восстания 1801 года.

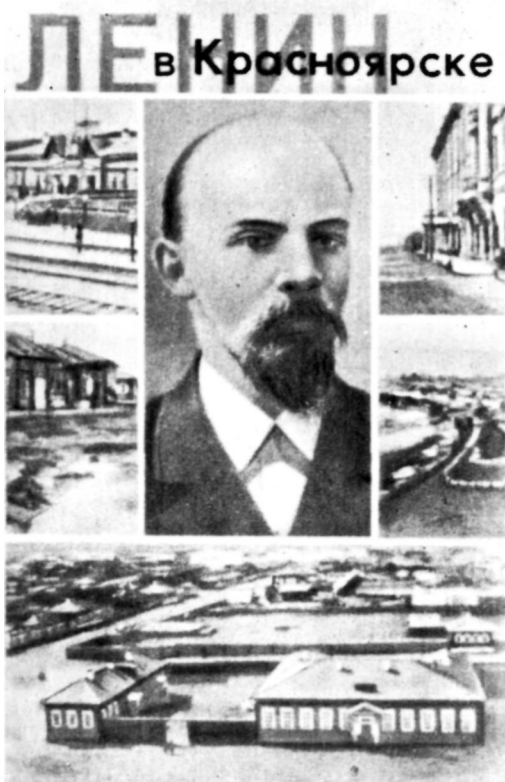
Но ни капли невежества или варварства нет в ней. Великие художники Возрождения мастерски смешивали краски и так же мастерски смешивали яды; великие князья Возрождения изобретали музыкальные инструменты и не менее искусно изобретали орудия пытки. Жестокость, коварство, желание причинить боль — ужасные вещи, и возникают они в атмосфере напряженной реальности, когда великие народы или великие дела встают друг против друга. Мы можем радоваться, что у нас этого нет; но не совсем безопасно этим гордиться. Вряд ли мы это переросли — быть может, мы не доросли до этого. Быть может, великие добродетели — добродетели Нельсона или Эммета — должны родиться, прежде чем нас, хотя бы в искушении, посетит это зло. Я, во всяком случае, считаю, что наши карикатуристы милуют своих врагов не потому, что выше ненависти, а потому, что враги ниже. Мы не миновали стадию дубинки, мы еще не подошли к ней. Мы должны быть лучше, смелее и чище, чтобы к ней подойти.

Что ж, будем гордиться добродетелями, которых у нас нет. Но не будем слишком горды тем, от чего избавиться не в нашей власти. Человек на необитаемом острове может радоваться, что у него, наконец, есть время для размышлений. Но он не может хвалить себя за то, что, в своем са-

моограничении, не ходит каждый вечер в гости. Наша Англия может радоваться, что ее политическая жизнь тиха, беззуба и монотонна. Но она не должна хвалить себя за то, что в своем самоограничении не знает политических схваток. Взаимная вежливость двух английских политиков говорит о хорошем воспитании, но никак не о милосердии. С этим связан другой предмет простодушной британской кичливости. Наши государственные деятели прекрасно ладят в частной жизни, хотя и сидят в парламенте на разных скамьях. И здесь не должно быть иллюзий. Не мистическое всепрощение и не безумная логика помогают им ненавидеть ближнего с трех до двенадцати и любить с двенадцати до трех. Их отношения лучше, чем во Франции, или Америке, или в Англии сто лет назад, потому что наша политическая жизнь тише, скажем даже — потому, что наша политическая жизнь фиктивной. Наши деятели не ссорятся в частной жизни по той простой причине, что они не ссорятся в общественной. А не ссорятся они потому, что принадлежат к одному классу. Жизнь званых обедов и есть их настоящая жизнь. Тори и либерал любят друг друга не потому, что оба они — люди великодушные, а потому, что оба — люди великосветские.

(Из сборника „Обо всем“)





Каждый год появляются у нас статьи и брошюры, воспоминания старых большевиков, исследования ученых и художественные произведения писателей, посвященные ленинской теме. Лениниана растет и ширится. Многие значительные факты, еще недавно известные лишь специалистам, становятся достоянием широкого круга читателей. Это свидетельство огромного роста духовной культуры советского народа. К авторам предъявляются все более и более высокие требования. И всякая попытка написать новую интересную книгу о Ленине становится равносильной подвигу.

Я не оговорился о подвиге: оригинальная и волнующая книга о великом мыслителе и вожде требует отточенных знаний, смелого поиска, ясных обобщений и самого добросовестного анализа фактов. Более того, писать такую книгу нужно искренне, страстно, с огромной мерой ответственности, без которых немислима коммунистическая партийность автора...

Борис Яковлев, недавно опубликовавший книгу «Ленин в Красноярске», как раз и предстает перед читателем человеком партийным и хорошо эрудированным. И вдобавок острым полемистом. Его полемический тон обнаруживается на многих страницах. Мы замечаем его, когда подвергаются критике некие досужие вымыслы писателей А. Коптелова, Н. Вирты, И. Кычакова и очеркиста Н. Бутенко; когда отвергаются необоснованные предположения публициста Р. Пересветова; когда разоблачается крупнейшая фальсификация нашего времени, которой занимался в личных целях покойный самаркандский «профессор» В. Анучин.

Книга Б. Яковлева небольшая — 207 страниц. Но она очень «густая» по материалу и требует внимательного чтения. А читается временами как повесть с острым сюжетным ходом. Это обстоятельство тоже следует отнести к достоинствам стиля автора: документальный очерк воспринимается как увлекательное повествование с элементами художественного решения темы.

Такая работа требует больших усилий. И мастерства. И когда идешь за автором от страницы к странице, без особых усилий видишь, что ему пришлось преодолеть немало трудностей. И уже не удивляешься, что ра-

Сто ленинских дней ¹

¹ Яковлев Б., Ленин в Красноярске. Документальный очерк. М., Политиздат, 1965, 207 стр., 50 000 экз.

бота над книгой продолжалась более трех лет: Б. Яковлев постарался прочитать многое из того, с чем знакомился Ленин в те дни, проехал по маршруту от Москвы до Шушенского и повидал кое-кого из тех людей, с которыми встречался Владимир Ильич.

В книге получили отражение всего сто дней из сорокалетней кипучей революционной деятельности В. И. Ленина. По форме это своеобразный дневник, в котором описано много важных событий. Начинается он с того памятного дня, когда Владимир Ильич вышел на волю из камеры дома предварительного заключения на Шпалерной, 25 в Санкт-Петербурге. Заканчивается приездом Ленина в глухую деревушку Шушенское, где предстояло пробыть почти три года в ссылке под гласным надзором полиции.

Название книги «Ленин в Красноярске» в какой-то мере условно: в сибирском городе у Красного Яра Владимир Ильич пробыл лишь 56 дней, остальные провел в дороге.

Но такое название можно считать и приемлемым. Ведь именно в Красноярске Ленин особенно продуктивно работал над книгой «Развитие капитализма в России» в библиотеке Г. В. Юдина. Именно в Красноярске Ленину удалось провести совещание с товарищами по «Союзу борьбы», направлявшимся в ссылку. Наконец, именно в Красноярске Владимир Ильич сколотил группу рабочих-пропагандистов и единственный раз встретился с Н. Е. Федосеевым, которого очень высоко ценил еще с казанского периода жизни.

Автору удалось хорошо передать атмосферу дороги, которой следовал Ленин в ссылку. И эта дорога стала понятием не только географическим. Это дорога молодого Ленина к «Искре», к партии пролетарских революционеров. Все это выписано зримо: словно из многих знакомых читателю эскизов автор нарисовал картину. И на этой картине виден нам Ленин со всеми его характерными чертами.

Читателя все время не оставляет ощущение, что автор, раскрывая перед ним свою лабораторию поиска, зовет его с собой. Вот факты известные, но они освещены по-новому, и читателю дана возможность поразмыслить. Вот факты, доселе неизвестные, и они обогащают читателя новыми знаниями. Постепенно развеивается легенда о красноярском купце Юдине, которого некоторые авторы обвиняли в том, что он продал библиотеке американского конгресса редкие рукописные

издания и автографы выдающихся людей России. Вот получают новое, более полное освещение образы тех людей, которые оказывали Ленину немаловажную услугу на пути в Шушенское, — Клавдии Поповой и Николая Мартьянова. У одной он нашел удобное пристанище, другой разрешил пользоваться книгами Минусинского музея и устраивать встречи с товарищами. Вот опрокинуто давно бытовавшее представление, что Владимир Ильич на пароходе «Святой Николай» прибыл в Шушенское и что сопровождали его два жандарма. На самом деле старенький пароход сел на мель возле деревни Сорокино, и Ленин отправился в Шушенское на подводе. А жандармов не было. Вот раскрыты новые штрихи биографии П. А. Красикова, который вскоре станет седьмым соредактором «Искры», и т. д.

Автор смело применяет аналогии, заглядывает в будущее. И все сто дней ленинской жизни становятся тем плацдармом, с которого раскрывается простор биографии Владимира Ильича. И нам уже ясно: все, что было заложено в молодом Ленине, не подвергнется ломке. До горестного январского дня в 1924 году останется Владимир Ильич выдающейся, цельной личностью — великий пролетарский революционер, непримиримый к идейным шатаниям, всегда вожак и вождь, вокруг которого кипела самая передовая партийная мысль его друзей и единомышленников.

С удовлетворением можно отметить, что книга Б. Яковлева — хороший вклад в Лениниану. Но это не означает, что автор в чем-то не поддался темпераменту полемиста и не избежал каких-то промахов.

В полемическом задоре открывателя он упустил из виду, что сибиряки давно интересовались личностью Н. М. Мартьянова, а в 1961 году в Абакане вышла книжка Г. Яворского «Николай Михайлович Мартьянов». И категорическое утверждение Б. Яковлева, что «ни в одном из энциклопедических словарей нет ни слова об этом человеке», грешит против истины: о Мартьянове есть статья в III томе Сибирской Советской Энциклопедии. Но Б. Яковлев прав в одном — о минусинском хранителе музея Н. М. Мартьянове надо писать больше, о нем должен шире знать всеобщий читатель.

Видимо, в «документальном очерке» не следовало опираться на воспоминания сына Мартьянова — Евгения Николаевича, которому в 1897 году едва исполнилось десять лет. И уж вовсе не стоило ссылаться на мнение

внука Мартыанова, который не видел ни Ленина в Минусинске, ни своего деда, умершего в 1904 году.

Наконец, «анучинская история» в книге могла быть дана значительно шире, фундаментальнее, тем более, что автор предпринимал соответствующие текстологические розыски и имел возможность шире ознакомить читателя с найденными материалами.

Но все это незначительные, мелкие «накладки» в интересной книге, хорошо встреченной читателем. Суть же в том, что книга написана живо и увлекательно и к тому же снабжена уникальными фотографиями конца XIX столетия.

Вл. Архангельский

Тайные корреспонденты „Полярной звезды“¹

Любите ли вы, читатель, встречая в книге место, требующее комментариев, искать их не в сноске внизу страницы, а в специальном разделе в самом конце тома?

Я, признаться, не очень, в особенности если я перевернул сотни страниц ради того, чтобы лишний раз удостовериться в том, что действительно «А. С. Пушкин (1799—1837) — великий русский поэт».

Но есть книги, примечания к которым читателю поразительно интересно и где даже по кратким ссылкам на книги, журналы, архивы можно составить себе представление о труде, вложенном автором в свое детище.

Одна из таких книг — «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“» Н. Я. Эйдельмана.

Кто были люди, отозвавшиеся на призыв Герцена поддерживать затеянное им издание, не побоявшиеся вступить в контакт с лондонским изгнанником и снабжать его

запрещенными стихами, секретными правительственными документами, мемуарами людей, которых николаевская Россия стремилась навсегда сделать немыми, и другими материалами? «Найти имена тайных корреспондентов Герцена и Огарева, узнать их судьбу очень важно, — справедливо пишет исследователь. — Во-первых, этого требует историческая справедливость. Корреспонденты не искали славы. Каждая статья и заметка могла быть оплачена крепостью и Сибирью. Без этих людей, их решимости, риска, героизма Вольная типография не могла бы существовать. Во-вторых, от статей и корреспонденций, помещенных на страницах Вольной печати, идут пути к еще не раскрытым страницам истории целого революционного поколения, тайные же корреспонденты «Полярной звезды» имеют отношение одновременно к двум крупнейшим революционным поколениям — дворянскому и разночинскому».

Пространная цитата эта во многом выражает пафос работы Н. Я. Эйдельмана. Живой человеческий интерес, любопытство к разгадке неясных обстоятельств появления в «Полярной звезде» той или иной статьи, уважение к самоотверженности людей, которых нередко вообще не упоминали в истории революционной печати, сочетаются у автора с умением увидеть обнаруженные им факты в широкой перспективе, найти им место в истории освободительного движения, проникнуть в их более общий смысл.

Начиная с рассказа о путешествии в Лондон доктора Пикулина перед нами выступают все новые и новые лица, быть может, и прежде нам известные, но оказавшиеся к тому же добровольными помощниками Вольной печати.

Удивительно обаятельна фигура Евгения Ивановича Якушкина, ставшего соединительным звеном между декабристами и Герценом и не только собирателем, но в огромной степени «организатором» мемуаров участников восстания. В новом свете выступил в книге знаменитый собиратель русских народных сказок Александр Николаевич Афанасьев, деятельность которого по переправке материалов в «Полярную звезду» и дневниковые высказывания ясно обнаруживают в нем человека «партии Герцена и Огарева».

Этот список можно продолжать и пополнить именами П. А. Ефремова, Н. В. Гербея,

¹ Н. Я. Эйдельман, *Тайные корреспонденты «Полярной звезды»*, М., «Мысль», 1966, 302 стр. с илл., 27 000 экз.

М. И. Семевского и других, снабжавших А. И. Герцена материалами — кто с ясным намерением помочь наступлению каких-то новых, свободных порядков, кто, как нам кажется, из более частных побуждений, из желания сделать достоянием печати красно-речивые факты и похороненные цензурой произведения.

Достоинство работы Н. Я. Эйдельмана в том, что эта интереснейшая полоса истории революционной печати является здесь в живых судьбах, в пестрых переплетениях литературных связей (зачастую парадоксальных, как было, например, при публикации в «Полярной звезде» мемуаров реакционера Греча!), в живых противоречиях, неминуемо и закономерно сопровождавших — да что там сопровождавших! — формировавших вызревание прогрессивной, освободительной, революционной мысли в России. И это богатство материала, выразительных характеристик, четких портретов, выходящих из-под пера автора, хотя он нисколько не стремился к поверхностной беллетризации, наполняют реальным, убедительным для читателя смыслом итоговые размышления исследователя:

«Таким образом, «Полярная звезда» оказалась своего рода школой, которую прошла целая группа видных литераторов, историков, издателей, библиографов второй половины XIX в.

Мы часто говорим о преемственности двух революционных поколений в России... однако из поля зрения исследователей, к сожалению, почти совершенно выпал тот факт, что в самом издании «Полярной звезды» Герцена и Огарева было очень много примеров этой преемственности, живого, конкретного сотрудничества дворянских революционеров-декабристов с такими деятелями разночинно-демократического направления, как А. Н. Афанасьев, Е. И. Якушкин, В. И. Касаткин, П. А. Ефремов и другие».

Есть еще любители иронически прохаживаться насчет людей, «копающихся в архивной пыли». Конечно, архивы архивам рознь, но сколько таких, где эта пресловутая пыль священна, как пороховая гарь великих битв за свободу и счастье и как самая обыкновенная пыль тяжелых и славных дорог, пройденных человечеством!

Перефразируя известные слова поэта, можно сказать, что автор рецензируемой книги умеет будить «в каждой пылинке... пафоса медь», заставляя нас услышать в разрозненных фактах страстный голос истории.

А. Турков

Летопись жизни и творчества Лермонтова¹

Выход в свет нового варианта биобиблиографического справочника В. А. Мануйлова «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» приурочен к столетию со дня рождения поэта.

До сих пор мы не располагаем биографией Лермонтова, сколько-нибудь достойной этого названия и могущей заменить монографию П. А. Висковатого «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» (М., 1891), давно устаревшую и по своим материалам и по методам их обработки. Правда, отдельные периоды жизни и творческого пути Лермонтова освещены советскими исследователями с исключительной точностью и полнотой.

Особенно много в этом отношении сделано и продолжает делаться И. Л. Андрониковым в его замечательных исследованиях, исключительных по своей оригинальности, глубокой аргументированности, мастерскому анализу первоисточников, а главное, по богатству неизвестных ранее творческих документов, позволяющих заново перетолковать и многое «общезвестное» в литературном наследии Лермонтова. Продолжает пополняться новыми фактами и наблюдениями и первый том биобиблиографического труда Н. Л. Бродского «М. Ю. Лермонтов. 1814—1832» (М., 1945), оборвавшегося, к сожалению, на первых годах его творчества. Наконец, нельзя не вспомнить и о недавно вышедшей книге Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова»

¹ В. Мануйлов, Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., изд-во «Наука», 1964, 198 стр., 4500 экз.

(М., 1964), многолетние разыскания которой в области последних лет жизни поэта так обогатили наши прежние представления о Лермонтове и его окружении 1839—1841 годов.

В. А. Мануйлов принадлежит к числу старейших советских знатоков и популяризаторов биографии Лермонтова. Приняв ближайшее участие в «Книге о Лермонтове» П. Е. Щеголева (Л., 1929), в которой впервые дан был критический свод документальных, мемуарных и эпистолярных свидетельств о поэте, рассчитанный на широкий круг читателей, В. А. Мануйлов в приложениях к пятитомному полному собранию сочинений Лермонтова под редакцией Б. М. Эйхенбаума опубликовал свой первый вариант «Хронологической канвы жизни М. Ю. Лермонтова» (т. V, «Academia», 1937, стр. 577—628). Второй вариант этой работы, исправленный и дополненный, появился двадцать лет спустя в новом академическом издании сочинений Лермонтова (т. VI, 1957, стр. 777—875).

Отличительной чертой всех ранних публикаций «Летописи жизни и творчества Лермонтова», подготовленных к печати В. А. Мануйловым (кроме отмеченных выше, он неоднократно печатал в некоторых изданиях и сокращенные варианты своего справочника), являлось преимущественное внимание исследователя к документам в юридическом значении этого слова (формулярные данные, приказы, переписка о Лермонтове государственных учреждений, материалы дознаний о нем, цензурные протоколы, газетная и журнальная хроника и т. п.). Несравненно меньшее внимание уделялось при этом фактам литературной биографии Лермонтова, его творческому наследию, истории создания его произведений.

Это обстоятельство долгое время не вызывало особых возражений, так как в течение четверти века летопись жизни и творчества Лермонтова печаталась лишь в качестве приложения к Полному собранию его сочинений, в комментариях к которым читатель и получал необходимые ему сведения хронологического порядка.

Положение существенно изменилось только сейчас, когда «Летопись», оторвавшись от текстов Лермонтова и от примечаний к ним, оформилась в универсальный по своим заданиям биобиблиографический справочник, образцы построения которого хорошо представлены в советском литературоведении летописями жизни и творчества Пушкина, Белинского, Достоевского, Л. Н. Толстого, Чехова,

М. Горького и других классиков русской литературы.

Правильно характеризуя в предисловии к своей книге установившиеся приемы построения «Летописей» как особого жанра биографического исследования, В. А. Мануйлов неоднократно подчеркивал важность критического учета всех печатных и рукописных первоисточников хронологической канвы. Эти разъяснения подкреплялись ответственной информацией о том, что в юбилейном издании летописи жизни и творчества Лермонтова «факты творческой и личной жизни поэта» даны «по возможности с наибольшей полнотой» (стр. 9).

К сожалению, это обещание в целом осталось невыполненным. Новое издание «Летописи» отличается от прежних только в количественном, а не в качественном отношении, так как ни один из пробелов в передаче фактов «творческой жизни» поэта не был ликвидирован при перепечатке прежней биографической канвы, а расширение книги произошло лишь за счет неизвестных ранее данных о Лермонтове, вошедших в научный оборот за последние годы. Правда, этих материалов оказалось довольно много.

Впервые включены были в «Летопись жизни и творчества Лермонтова», по копиям С. И. Недумова, около 25 документов, относящихся (прямо или косвенно) к истории пребывания поэта в юнкерской школе (за время с 4 ноября 1832 по 4 ноября 1834 года). Из архива С. И. Недумова были извлечены и новые данные о Лермонтове в письмах князя П. А. Вяземского к жене (с 14 марта по 2 апреля 1840 года), а из недавней публикации Ф. Ф. Майского «М. Ю. Лермонтов и Карамзины» — интереснейшие свидетельства о поэте и его окружении в письмах С. Н. Карамзиной, относящихся к 1838—1839 годам¹. К последнему, петербургскому периоду жизни Лермонтова относились и неизвестные записи о нем в дневниках А. И. Тургенева (с сентября 1839 по май 1840 года), представленные для юбилейного издания «Летописи» М. И. Гиллельсоном.

Но самым большим вкладом в «Летопись» оказались, конечно, данные о Лермонтове

¹ Материалы эти впервые опубликованы в статье Ф. Ф. Майского «М. Ю. Лермонтов и Карамзины» в изд. «М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов». Ставрополь, 1960. При переучете в «Летописи» все письма С. Н. Карамзиной были проверены заново по подлинникам.

(в основном за время с 13 мая 1838 по 8 мая 1840 года) в богатейшем архиве А. М. Верещагиной (по мужу — баронессы Хюгель), поступившие в СССР из Западной Германии в 1963 году¹.

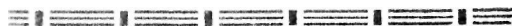
Впервые внесены были в «Летопись» на основании новейших публикаций И. Л. Андроникова, И. А. Гладыш и Т. Г. Динесман новые точные даты таких шедевров Лермонтова, как «Казачья колыбельная песня» (конец 1838, а не 1840 год), «Есть речи — значенье темно иль ничтожно» (4 сентября 1839 года), «Любовь мертвеца» (10 марта 1841 года). Из вовсе не известных ранее произведений Лермонтова, оказавшихся в архиве А. М. Верещагиной, вошло в «Летопись» стихотворение «Один среди людского шума» (1830 г.) На основании же книги И. Л. Андроникова «М. Ю. Лермонтов. Исследования и находки» (М., 1964) впервые отражена была в «Летописи» интереснейшая запись о поэте в изданном воспоминаниях В. И. Бухариной-Анненковой (посещение ею Лермонтова в лазарете юнкерского училища в конце 1832 года).

Ни в одном из прежних изданий своей работы В. А. Мануйлов не ставил перед собою задачи систематического изучения хронологии рукописей Лермонтова — всех без исключения, лист за листом. Правда, эту задачу не ставили перед собою в таких масштабах и другие исследователи, но для составителя «Летописи жизни и творчества Лермонтова» изучение творческого архива поэта представляется нам совершенно обязательным². Дело в том, что специальный источниковедческий пересмотр всех дошедших до нас автографов Лермонтова в целях установления их хронологии (как это сделано, например, для академического издания сочинений Пушкина) тем более необходимо, что около трехсот рукописей его произведений, в том числе и очень значительных, не имеют авторских дат, а некоторые из дат, гипотетических до сих пор, являются объектом ожесточенных споров биографов и комментаторов поэта.

Таковы, например, даты создания поэм: «Исповедь» (1830?), «Последний сын вольности» (1830?), «Каллы» (1830—1831?), «Литвинка» (1832?), «Аул Бастунджи» (1833?), «Боярин Орша» (1835 или 1836?), «Сашка» (1835, 1836, 1839?), «Беглец» (1838?), «Сказка для детей» (1839 или 1840?). Точно не установлены и даты создания трагедии «Испанцы», стихотворений «Великий муж! Здесь нет награды...», «Не смейся над моей пророческой тоской...», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Гляжу на бу-

душность с боязнью...», эпиграммы «В Большом театре я сидел...» (1835 или 1837?), ранних переводов элегии Томаса Мура «Вечерний выстрел» («Ты помнишь ли, как мы с тобою...») и поэмы Байрона «Мазепа» («Ах, ныне я не тот совсем...»), трех стихотворений, вдохновленных Н. И. Бухаровым, — «К портрету старого гусара», «К Н. И. Бухарову», «Росписку просишь ты, гусар...» и многих десятков других произведений.

Как же отражено в «Летописи» время их создания? Каковы результаты собственных разысканий В. А. Мануйлова в этой области? Как относится он к тем или иным спорным датировкам своих предшественников? Увы, ни на один из этих вопросов «Летопись» не отвечает. Больше того, читатель не найдет в ней не только дат, но даже названий ни одного из только что перечисленных произведений. Эти пробелы, по самым своим масштабам беспрецедентные в истории всех известных нам видов «Летописей», не могут быть оправданы даже в том случае, если бы исследователь сознательно ограничил «Летопись жизни и творчества Лермонтова» лишь авторскими датами его сочинений. Однако для такого предположения у нас нет оснований не только потому, что В. А. Мануйлов обязан был бы точно оговорить (если не мотивировать) эту свою позицию в предисловии к «Летописи», но и оттого, что мы не найдем



¹ См. публикации И. Л. Андроникова «Рукописи из Фальдафинга» и И. А. Гладыш и Т. Г. Динесман «Архив А. М. Верещагиной» в «Записках отдела рукописей Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 26, М., 1963. К сожалению, материалы эти оказались использованными в «Летописи» далеко не полностью. Особенно досадно отсутствие в ней данных о новой редакции стихов «Гляжу часами в зеркала...», с неизвестным прежде обращением этого послания к С. С. Сабуровой (1831 г.), нового варианта элегии «Я не крушусь о былом...» (нач. 1835 г.) и двух вовсе не известных стихотворений: «Катерина, Катерина, удалая голова...» и «Возьми назад тот нежный взгляд...», оба — 1835 года.

² Некоторые вопросы хронологии юношеских произведений Лермонтова заново поставлены, хотя и далеко не всегда убедительно разрешены в только что вышедшей в свет книге С. В. Обручева «Над тетрадями Лермонтова» (М., 1965, стр. 73—87). На основании неизвестных ранее автографов Лермонтова и библиографических материалов о нем ценные уточнения в летопись жизни и творчества великого поэта вносят «дополнения» И. Л. Андроникова к последнему «Собранию сочинений М. Ю. Лермонтова в четырех томах» (см. т. 4, М., 1965, стр. 509—513).

в его книге некоторых очень известных дат, принадлежащих самому поэту. Таковы, например, авторские справки о времени создания «Молитвы» («Я, мать божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Расстались мы, но твой портрет...» и других лирических произведений, включенных в первое издание «Стихотворений М. Лермонтова» (1840 г.).

И в то же время нетрудно обнаружить в «Летописи» некоторые очень условные позднейшие редакторские датировки таких, например, произведений, как «Прощай, немытая Россия...» (1837 или 1841?), «Пленный рыцарь» (1840 или 1841?), «Над адской бездною блуждая...» (1840?), «Под фирмой иностранной иноземец...» (1836, 1840, 1841?). Даты написания всех их гораздо более, конечно, гипотетичны, чем время создания «Испанцев», «Боярина Орши» или «Сказки для детей».

Рационально построенная «Летопись» всегда предусматривает объединение дат тех или иных творческих и бытовых документов, извлекаемых из архивных и печатных источников, с датами, отсутствующими в рукописях, но устанавливаемыми, точно или приближенно, в результате систематических исследовательских разысканий, позволяющих определить время и условия создания тех или иных произведений, уяснить их исторический или интимно-биографический смысл, расшифровать всякого рода неясности и даже загадки. И чем менее исследован какой-нибудь период жизни и творчества писателя, тем с большею тщательностью необходимо изучать все относящиеся к этому отрезку времени документы, тем досаднее становится любое упущение в учете и осмыслении соответствующих фактов.

Время пребывания Лермонтова в юнкерской школе принадлежит, как известно, к числу наименее освещенных этапов его творчества, его литературных и общественно-политических интересов. Однако, обратившись к «Летописи» В. А. Мануйлова, читатель не найдет в ней даже некоторых произведений этой поры, хорошо известных по любому собранию сочинений Лермонтова. Не найдет он ни элегии на смерть юнкера Е. Сиверса («В рядах стояли безмолвной толпой...»), точно датированной началом декабря 1833 года, ни стихов «На серебряные шпоры я в раздумии гляжу...», относящихся к 1833—1834 годам, ни «Панорамы Москвы», письменной работы, выполненной по заданию преподавателя юнкерской школы, известного педагога и литературного

критика В. Т. Плаксина в первой половине 1834 года.

К середине 1834 года относится, как есть все основания предполагать, и антипольская ода «Опять народные витии...», отнесенная в академическом издании Лермонтова к разделу «разных годов» (т. II, 1954, стр. 223—224), а в последнем, юбилейном издании — условно к 1835 году (т. I, 1964, стр. 636—638). Именно об этой оде С. А. Раевский писал в своих показаниях по делу о нелегальном распространении стихов «Смерть поэта», что она написана, «кажется, в 1835 году» в связи с опубликованием статьи «в каком-то французском журнале» («Вестн. Европы», 1887, № 1, стр. 339—340). Много лет спустя об этой же верноподданнической оде упоминал в своих мемуарах А. П. Шан-Гирей, рассказывая, что она создана «незадолго до смерти Пушкина, по случаю политической тревоги на Западе» («Рус. обозрение», 1890, № 8, стр. 743).

Если внимательно вчитаться в оду Лермонтова и сопоставить ее строфы в защиту «чести» русского царя со всем тем, что писалось о Николае I в западноевропейской печати в период 1833—1837 годов, то наиболее вероятным поводом для создания этих стихов следовало бы признать политическую обстановку 1834 года¹.

В самом деле, 13(25) января 1834 года в Брюсселе глава демократического крыла польской эмиграции, знаменитый историк Иоахим Лелевель обратился к своим соотечественникам и передовой западноевропейской общественности с пламенной речью по случаю трехлетней годовщины свержения Николая I с польского престола. Через три недели после этой речи во влиятельной парижской газете «La Temps» от 4(16) февраля 1834 года напечатана была по этому же поводу яркая памфлетная характеристика императора Николая под названием «Nicolas et ses apologistes». Памфлет не имел подписи, но редакционная справка о принадлежности его «одному знаменитому поляку» не оставляла никаких сомнений в том, что автором этой статьи являлся князь Адам Чарторыйский, личный друг Александра I, участник восстания

¹ Внешние условия создания оды Лермонтова «Опять народные витии...» несколько уясняются содержанием оды М. Маркова «Русский царь» («Достигнула Европа цели, — Святая Русь поражена...» и пр., опубликованной в «Библиотеке для чтения», 1835, № 1 (январь), стр. 5—8). Время создания этой официальной оды — последние месяцы 1834 года.

1830 года, а в эту пору претендент на польский престол.

Вслед за памфлетом Адама Чарторьского в апрельской книжке журнала «Revue de Paris» (стр. 174—182) М. Тайо (Tayo) опубликовал «Esquises historiques. Alexandre et Nicolas» — сравнительную характеристику Александра I и Николая I, в которой последний едко трактовался как трусливый, невежественный и лицемерный деспот, далекий от своего народа.

Ответом на все эти статьи и речи, грубо дискредитировавшие царя не только политически, но и лично, явилась передовица в зарубежном органе русского правительства «Journal de Francfort» от 1(13) апреля 1834 года, полностью или частично перепечатанная во всех польских журналах и газетах, выходящих в Петербурге, Варшаве и Вильне¹.

К лету 1834 года следует отнести поэтому и оду «Опять народные витии...», написанную, судя по ее официозной тональности, не собственной Лермонтову (никаких других подобных его высказываний мы не знаем), под прямым, видимо, нажимом начальства юнкерской школы, от которого зависела в это время (перед предстоящим выпуском) дальнейшая его судьба. Не будучи еще офицером, Лермонтов не мог уклониться от полученного им литературного заказа, но опубликования оды все же не допустил.

Датировка оды 1834 годом подтверждается и находящимся на обороте ее черного автографа перечнем фамилий одиннадцати знакомых поэта, который мы толкуем как список лиц, коим надлежало нанести официальные визиты после производства Лермонтова в офицеры, то есть в первых числах декабря 1834 года. Поэтому список и начинался фамилией генерал-майора К. А. Шлиппенбаха, начальника юнкерской школы, которую только что оставил Лермонтов, а продолжался именами некоторых знатных особ, близких не столько самому поэту, сколько его бабушке Е. А. Арсеньевой. Фамилии же двух офицеров лейб-гвардии гусарского полка, оказавшиеся в этом же списке (Щербатов и Пономарев), имели, вероятно, в виду тех новых однополчан Лермонтова, с которыми он был знаком до своего выпуска из школы и с которыми должен был встретиться перед официальной явкой в полк.

Наше толкование этого перечня фамилий несколько расходится с его пониманием в статье И. Л. Андроникова «День Лермонтова» («Литерат. газета» от 15 сентября 1964 года, № 110; более точно — в комментариях его

же в последнем издании сочинений Лермонтова — т. I, 1964, стр. 637).

Полностью принимая ту расшифровку имен и фамилий, которую предлагает И. Л. Андроников, впервые опубликовавший этот автограф, мы не можем согласиться, однако, ни с его датировкой (1835 г.), ни с утверждением исследователя, что перечень этот характеризует якобы лишь «один день» обычной светской жизни поэта.

Каково же мнение В. А. Мануйлова об этом документе? К сожалению, оно остается неизвестным, так как перечень фамилий на обороте оды «Опять народные витии...» оказался неучтенным в «Летописи», как и самая ода.

Читатель не найдет в «Летописи», как это уже нами отмечалось выше, и многих дат несущественных замыслов Лермонтова. Для первых лет работы поэта особенно досадно отсутствие в биографической канве наброска плана трагедии, навеянной романом Шатобриана «Атала». Этот замысел существует вдвойне — и как факт творческих интересов Лермонтова в 1830 году и как совершенно конкретное свидетельство вхождения в круг его ранних чтений крупнейшего произведения французской прозы начала века. Другой, более поздний замысел Лермонтова, не получивший отражения в «Летописи», не менее значим. Мы имеем в виду начало повести в стихах «Это случилось в последние годы могучего Рима», из которой дошли до нас лишь 32 первых ее гекзаметра. До сих пор не установлены ни источники поэмы, ни время работы Лермонтова над нею. Однако, учитывая тот факт, что неизвестная нам христианская легенда оформлялась Лермонтовым в том же жанре и тем же размером, что и повесть в стихах Жуковского «Ундина», вышедшая в свет в 1837 году и подаренная автором Лермонтову в самом начале 1838 года, можно предположить, что к этому же времени относился и неожиданный опыт освоения им ритмико-метрической схемы «Ундины».

1 Нет никаких оснований связывать оду Лермонтова со статьей в «Journal des Débats» от 11 ноября 1835 года по поводу русской политики в Польше в связи с речью, произнесенной Николаем I перед депутатами города Варшавы 10 октября этого года. Ни по своей политической значимости, ни по особенностям своего содержания (отсутствие личной дискредитации царя) эта статья и относящиеся к ней материалы, перепечатанные в «Journal de St. Petersburg» от 21 ноября (3 декабря) 1835 года, не могли явиться поводом для создания оды Лермонтова.

В этом же отношении очень показательны результаты разысканий Т. А. Ивановой в статье «Творческая встреча: Лермонтов и Вашингтон Ирвинг», позволившие установить факты отражения в произведениях Лермонтова («Испанцы», «Боярин Орша», «Мцыри» и др.) некоторых образов и ситуаций повестей В. Ирвинга «Таинственный портрет», «Таинственный иностранец» и «Приключения молодого итальянца». Все эти повести переведены были на русский язык в журнале «Атеней» 1829 года, издававшемся профессором М. Г. Павловым, одним из воспитателей Лермонтова. Выход в свет номеров «Атеней» точно определяет и время знакомства Лермонтова с повестями В. Ирвинга («Известия АН СССР». Серия литературы и языка, 1964, № 5, стр. 393—401).

Вовсе не упоминается в «Летописи» и начало повести Лермонтова из жизни петербургского большого света «Я хочу рассказать вам историю женщины», а из семи редакций «Демона» учтены почему-то лишь четыре.

В предисловии к своей книге В. А. Мануйлов отмечает, что в новое издание «Летописи» включены «исторические, политические и литературные события, мимо которых не мог пройти Лермонтов» (стр. 9). И действительно, в «Летописи» мы найдем дату информации в «Московских ведомостях» о начале революции 1830 года во Франции, даты восстания в Польше и бунта военных поселян в Старой Руссе. Но наряду с этими фактами, оставившими заметный след в творчестве Лермонтова, следовало бы учесть и дату полицейской ликвидации в Москве кружка Герцена и Огарева (июль 1834 года), тем более значительную, что в числе арестованных был университетский товарищ Лермонтова Н. М. Сатин. Не нашли места в «Летописи» и даты выхода в свет четырех номеров «Современника» Пушкина, публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева (3 октября 1836 года) и закрытия в связи с этим журналов «Телескоп» и «Молва» (22 октября 1836 года).

На страницах «Летописи» не раз мелькает по разным поводам имя М. Н. Каткова, молодого московского поэта и литературного критика, члена кружка Станкевича. Вместе с Бакуниным, а затем и с Белинским именно Катков был одним из самых горячих апологетов теории «примирения с действительностью», пропагандируемой, с опорой на философию истории Гегеля, в декларациях «Московского наблюдателя» 1838—1839 годов и «Отечественных записок» 1839—1840 годов.

Нам хорошо известна программная статья

Бакунина в «Московском наблюдателе» 1838 года, затрагивавшая тот же круг проблем (философских, политических и литературно-эстетических), который занимал и Лермонтова. Нам известны и противоречивые отклики Лермонтова на эту проблематику — от «Думы» (конец 1838 года), прямо противостоявшей платформе Бакунина, до «Трех пальм» (июнь — июль 1839 года), восторженно принятых Белинским как поэтическое оправдание концепции «примирения с действительностью», как прямое осуждение всех форм революционного протеста. Характерно и возвращение поэта к установкам «Думы» в стихах «Как часто, пестрою толпою окружен...», «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» и в других произведениях 1840 года.

Весною 1839 года М. Н. Катков приезжал на некоторое время в Петербург, где очень быстро сошелся с Краевским, частым гостем которого в эту же пору был и Лермонтов. И Катков и Лермонтов принадлежали к числу ближайших соратников «Отечественных записок». Личное же их знакомство подтверждается недавно опубликованным письмом Каткова к Краевскому из Москвы от 7 июля 1839 года. Предупреждая редактора «Отечественных записок» о скором приезде в столицу Бакунина, Катков заканчивает свое письмо многозначительными строками: «Засвидетельствуйте мое уважение Плетневу и Лермонтову. Постарайтесь познакомить с последним Бакунина: это было бы, как я уверен, приятно для обоих»¹.

Очень досадно, что этот замечательный документ, проясняющий историю борьбы за Лермонтова московских гегельянцев (1838—1839 гг.), остался неучтенным В. А. Мануйловым².

В новом издании «Летописи» уделено большое внимание свидетельству о Лермонтове в дневниках, переписке и воспоминаниях его современников, особенно его товарищей по



¹ В. И. Кулешов, «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в. М., 1958, стр. 43. Впервые — «Вопросы литературы», 1958, № 3, стр. 153.

² Трудно объяснить и пропуск в «Летописи» В. А. Мануйлова недавно впервые установленной даты возвращения Лермонтова в Петербург после его перевода из лейб-гвардии Гродненского полка в лейб-гвардии гусарский — 24 или 25 апреля 1838 г. (Л. И. Прокопенко, Поездки Лермонтова в Петербург в 1838 г. — «М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества». Орджоникидзе, 1963, стр. 202—205).

перу, его первых читателей и критиков. Ко всему тому, что уже включено в «Летопись» из этой категории материалов, следовало бы прибавить еще два ценных показания.

Одно из них — письмо декабриста Н. А. Бестужева к его брату Павлу от 4 июля 1838 года. Письмо это отправлено в Петербург из Петровского завода и свидетельствует о живейшем отклике на первые публикации Лермонтова большой группы декабристов, недавно вышедших из своих каторжных нор на поселение. Вот эти строки, выпавшие из поля зрения всех комментаторов Лермонтова:

«Недавно прочли мы в приложении к Инвалиду Сказку о купеческом сыне Калашникове. Это превосходная маленькая поэма. Вот так должно подражать Вальтер Скотту, вот так должно передавать народность и ее историю! Ежели тебе знаком этот ...в, объяви нам эту литературную тайну. Еще просим тебя сказать: кто и какой Лермонтов написал «Бородинский бой»?»¹

К несколько более позднему времени относится письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от второй половины июня 1840 года: «Я прочел Лермонтова «Героя нашего времени» е связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца»².

Как и все предыдущие публикации «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова», новое ее издание не вполне отвечает всем тем требованиям, которые предъявляются к этому виду биобиблиографических справочников. Это еще, конечно, далеко не последняя редакция «Летописи», а лишь некоторые категории очень ценных материалов для нее, ученых живо и занимательно, с большим знанием дошедших до нас документальных первоисточников, но нисколько не претендующая на полноту отражения всех произведений Лермонтова, как законченных, так и незавершенных, самого движения их во времени, его литературных планов и замыслов, его связей и отношений.

Мы имеем все основания, однако, рассчитывать на то, что В. А. Мануйлов, так много сделавший для изучения биографии Лермонтова, в ближайшие годы доведет до конца новую, исправленную и дополненную редакцию своего труда.

Ю. Григорьев

Библиотека А. Н. Островского³

Русское литературное источниковедение справедливо гордится образцовыми описаниями нескольких личных книжных собраний крупнейших писателей XIX и начала XX века. Правда, этих библиотек дошло до нас не очень много. Важнейшая из них — «Библиотека А. С. Пушкина», описанная Б. Л. Модзалевским (Спб. 1910). По этому образцу впоследствии описаны были Л. П. Гроссманом «Библиотека Достоевского» (Одесса, 1919), С. Д. Балухатым «Библиотека А. П. Чехова» (Сборник «Чехов и его среда». М., 1930), Л. Р. Ланским «Библиотека Белинского» («Литерат. наследство», т. 55, 1948), Г. М. Коровиным «Библиотека Ломоносова» (М.—Л., 1961). В 1958 году появился первый том научного описания огромной «Библиотеки Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», но издание это остановилось на букве «И».

Все эти книжные собрания, документально устанавливая круг чтения их собирателей, их живые литературные связи и интересы, все шире и шире используются в биографических и историко-литературных трудах как основные первоисточники, а не только бытовые реликвии или музейные экспонаты.

¹ «Бунт декабристов». Юбилейный сборник 1825—1925. Под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева. Л., «Былое», 1925, стр. 371. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» впервые была опубликована в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» от 30 апреля 1838 г. за подписью: — в.

² С. Т. Аксаков, История моего знакомства с Гоголем. М., 1960, стр. 43.

³ Академия наук СССР. Библиотека А. Н. Островского. (Описание.) Ответственный редактор и автор вступительной статьи А. Н. Степанов. М., 1963, стр. 273.

Большой интерес представляет в связи с этим и выход в свет научного описания библиотеки драматурга А. Н. Островского. В новом описании с исключительной тщательностью объединены данные двух фондов библиотеки писателя — книги, хранившиеся в московской квартире А. Н. Островского к моменту его кончины в 1886 году, и книги, вывезенные им в разное время в его костромскую усадьбу Щельково. Московская часть этого книжного собрания хранится ныне в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, а щельковская часть, расплывшаяся по государственным и частным библиотекам еще в 1918—1920 годах, библиографически восстановлена по краткой полочной описи 1886—1887 годов, сделанной по распоряжению брата драматурга.

Всего описано в «Библиотеке А. Н. Островского» 1150 книг, журналов и альманахов на русском и нескольких иностранных языках. Особенно ценен в этом собрании подбор произведений русской и мировой драматургии и специальных работ по теории и истории драмы — античной, французской, итальянской, испанской, английской, немецкой и др. Многие из книг и оттисков, сохранившихся в библиотеке Островского, испещрены замечаниями его самого, некоторые же из них имеют дарственные надписи его друзей и читателей (в их числе: Л. Н. Толстой, Тургенев, Некрасов, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Писемский).

Пользуемся случаем обратить внимание специалистов на оттиск романа Тургенева «Накануне» из журнала «Русский вестник», 1860 г., № 1, с исправлениями рукою автора на стр. 132, 173 и 202. На оттиске надпись: «Александр Николаевич Островскому от приятеля и почитателя. Ив. Тургенев. Москва. 1-го фев. 1860». Этот оттиск остался, к сожалению, неучтенным и в последнем академическом издании сочинений Тургенева (см. перечень источников текста романа «Накануне» в т. VIII. М.—Л., 1964, стр. 494).

Сошлемся еще на один пример, характеризующий значение материалов «Библиотеки А. Н. Островского». В только что опубликованном исследовании норвежского слависта профессора Э. Крага «Островский и Лесажа» очень убедительно доказывается «тематическое сходство» основных характеров и некоторых фабульных ситуаций пьесы Лесажа «Тюркаре» (1704 г.) и драмы Островского «Последняя жертва» (1875 г.). Профессор Э. Краг выражает при этом основательное предположение, что А. Н. Островский не мог

не учесть в процессе своей работы над «Последней жертвой» публикации русского перевода «Тюркаре» в ноябрьской книжке журнала «Вестник Европы» 1874 года¹. Гипотеза Э. Крага получила бы документальное подтверждение, если бы он учел, что в «Библиотеке А. Н. Островского» (см. стр. 175 и 208) сохранились и французский двухтомник Лесажа (издание 1791 года) и русский перевод «Тюркаре», напечатанный С. Боборыкиной в «Вестнике Европы» 1874 года.

Описание библиотеки А. Н. Островского, сделанное под общей редакцией А. Н. Степанова, отвечает самым высоким библиографическим требованиям как в основной своей части, так и в разделе именных и тематических указателей к книге. К сожалению, тираж издания всего 800 экземпляров.

Ю. Григорьев

Вук Караджич²

К столетию со дня смерти великого сербского ученого и просветителя в Югославии вышла в свет монография профессора Белградского университета Миодрага Поповича.

Имя Вука Караджича — простого сельского пастуха, поднявшегося до высот европейской науки, — неотделимо от истории сербского возрождения. Многие истоки новой сербской культуры восходят к нему. Этот гениальный самородок был, по сути, первой сербской академией.

Вук — это пять сборников сербских народных песен, прочно вошедших в сокровищницу мировой культуры. Вук — это первая

¹ Академия наук СССР. Отделение литературы и языка. Проблемы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965, стр. 413—417.

² Миодраг Поповић, Вук Стефановић Караџић. 1787—1864. Београд, 1964.

сербская грамматика и первый сербский словарь из 26 270 слов, поясненных подробным описанием народных нравов и обычаев. Вук — создатель сербохорватского литературного языка. Живой народный язык он сделал литературной нормой и упростил азбуку до совершенства: «Пиши, как говоришь, читай, как написано». Вук — первый сербский историк нового времени. Он основатель и родоначальник сербской этнографической науки, зачинатель сербской литературной критики, публицист и общественный деятель.

На склоне дней Вук характеризовал свою деятельность удивительно просто: «В 1814 году я сделался сербским писателем. Тогда сербская литература была почти в том же состоянии, в котором и русская до Петра Великого... Так как я родился в сердце Сербии, вырос между настоящими сербами и знал их чистый язык со всею тонкостью, то я предположил себе непремennую цель: показать свету сербский народный язык во всей его первоначальной чистоте, таким, каков он есть».

Знаменитый «главный референт о Сербии на Западе», по образному выражению одного из биографов, был лично знаком или находился в переписке со многими выдающимися учеными и деятелями культуры России и Европы. Сборники сербских народных песен, собранные и изданные Караджичем, изучали и перевели Пушкин, Мицкевич, Гёте, братья Grimm, Гердер, Мериме, Вальтер Скотт и многие другие. Еще при жизни Вука вышло 20 изданий сербских народных песен в переводе на иностранные языки. Значение трудов Вука как фольклориста станет еще более впечатляющим, если добавить к сказанному, что в настоящее время шедевры сербской народной поэзии переведены на 40 языков. Это дало основание болгарскому писателю Ивану Шишманову заметить, что «сербы имеют право гордиться своими народными песнями, но еще больше они должны гордиться своим Вуком». Эту же мысль прекрасно выразил большой знаток и почитатель сербского героического эпоса, великий русский революционный демократ Н. Г. Чернышевский. «Сербские эпические песни прекрасны не менее греческих», — писал он, считая Караджича «лучшим из всех собирателей песен».

Подвижническая жизнь Вука Караджича полна драматических коллизий, научных, общественных и личных, которые, однако, не сломили его бунтарского духа. Со всеми

перипетиями этой драматической жизни знакомит читателя книга Миодрага Поповича.

Начав с поэтического описания небольшого сербского селения Тршич в Западной Сербии, где родился знаменитый Вук (по-русски Волк), нареченный так, чтобы обезопасить младенца от ведьм, якобы виновных в смерти пяти старших его братьев и сестер, автор заканчивает свое повествование описанием смерти своего героя в Вене, столице Австрийской империи, где волею судеб сербский писатель и ученый вынужден был прожить большую часть жизни. Вместе с Вуком читатель как бы участвует в первом сербском восстании, переживает муки изгнания, путешествует в Петербург и Москву, возвращается на родину и снова покидает ее, послав с дороги знаменитое письмо князю Милошу, переживает революцию 1848—1849 годов, творит и борется, как подлинный новатор и первооткрыватель. Книга Миодрага Поповича не только посвящает нас в тайны творчества ученого, но одновременно воссоздает целую историческую эпоху в развитии близкого и родственного нам сербского народа.

Общеизвестно, какое большое место в жизни Караджича занимала Россия. Но Вуку по необходимости приходилось иметь дело с двумя Россиями — официальной и народной. И об этом повествует автор, справедливо подчеркивая, что все симпатии его героя целиком и полностью были на стороне демократической России.

Книга Миодрага Поповича является органическим синтезом научного исследования и художественного, образного осмысления материала. Нельзя не согласиться с мнением советского рецензента Т. П. Поповой, которая писала об этой стороне исследования: «Автор нередко сознательно пользуется теми же приемами, что и писатель, заменяя, однако, неизбежный в художественном произведении вымысел искусно отобранной, но реально существовавшей некогда исторической деталью. При этом он смотрит на своего героя то глазами его современников, то с позиций нашего времени, стремясь проникнуть в самую суть его научной и общественно-культурной деятельности, внутренне мотивировать и объяснить каждый факт его биографии («Советское славяноведение», 1965, № 1).

На русском языке не существует общедоступной биографии великого сербского ученого и просветителя. Книга Миодрага Поповича вполне заслуживает того, чтобы стать достоянием русского читателя.

В. Г. Карасев

Новая книга о Михаиле Бакунине ¹

После сорокалетнего перерыва вышла в свет новая книга о Михаиле Александровиче Бакунине.

Деятельность этого выдающегося революционера прошлого века оставила неизгладимый след в истории.

Один из вождей русского народничества, основоположник анархизма, получившего широкое распространение в Италии, Испании, Латинской Америке, а несколько в меньшей степени во Франции и Бельгии.

Участник восстаний в Праге и Дрездене, в Лионе и Болонье.

Узник саксонских, австрийских и русских тюрем, дважды приговоренный к смертной казни, бежавший из далекой сибирской ссылки...

Бакунин, начавший поиски «абсолютной истины» «примирением с нашей прекрасною русскою действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни», через несколько лет и на всю жизнь пришел к не менее активному революционному бунтарству.

Он умел бороться не только словом, но и делом. Когда в той или другой стране начиналось «настоящее дело», Бакунин был на баррикадах. Неуемная энергия, бешеный темперамент, искренность убеждений, непрерывные поиски — и при этом великолепные находки и ужасные ошибки — словом, все что угодно, но только не застой, не самодовольство. Это притягивало к Бакунину людей, делало их его единомышленниками.

Но уже задолго до всемирной известности Бакунина в его характере намечались и менее привлекательные черты. Белинский, бывший другом Бакунина, писал ему в 1838 году:

«Идея для тебя дороже человека... Всегда признавал и теперь признаю в тебе благородную, львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум; но в то же время признавал и признаю: чудовищное самолюбие, мелкость в отношении к друзьям, ребячество, легкость, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе на счет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других».

Бакунин был человек крайностей. Эту характерную его черту заметил еще А. И. Герцен: «Поставьте его куда хотите, только в **крайний ряд**, — анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоца, другом Гракха Бабефа, и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов».

Главное исходное положение в учении Бакунина состояло в том, что нельзя навязывать народу формы организации общества. Бакунин был врагом всякой государственности. «Анархия и социализм» — вот его лозунг. Свою программу он кратко сформулировал так: «Мир, свобода и счастье всем угнетенным. Война всем притеснителям и грабителям». И в то же время в практической борьбе за освобождение народа Бакунин исходил часто из принципа активного, даже насильственного руководства меньшинства.

«Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, — писал А. И. Герцен, — она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос».

Наибольшая активность Бакунина проявлялась не в России, а на Западе. Там сформировались его анархистские воззрения, там созревали его бесчисленные гигантские замыслы. Успех идей Бакунина среди наиболее отсталой части пролетариата Западной Европы вносил раскол в ряды международного рабочего движения, в деятельность Первого Интернационала, руководимого Карлом Марксом. Сам Бакунин, вступивший в Интернационал в 1864 году, восемь лет спустя за раскольническую деятельность был исключен из него.

Совсем иная роль принадлежала Бакунину, вернее бакунизму, в России.

В русском освободительном движении середины и второй половины XIX века ясно

¹ Н. Пирумова, Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. М., изд-во «Наука», 1966, 159 стр., с илл., 25 000 экз.

прослеживаются две тенденции. Одну из них представляли А. И. Герцен и П. Л. Лавров (разумеется, представляли по-разному). Исходя из огромной экономической и социально-политической отсталости России, эти революционеры свою главную задачу видели в долгой и терпеливой подготовке условий для революционных преобразований в стране.

Революционеры другого направления ориентировались на крестьянскую революцию в России в ближайшем будущем и только в этом видели «настоящее дело». Бакунин был наиболее ярким и, пожалуй, крайним представителем этого направления.

Считая русского крестьянина «прирожденным социалистом», Бакунин верил, что «ничего не стоит поднять любую деревню». Известная революционерка-народница В. Н. Фигнер писала о Бакунине: «Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм... Под влиянием его статей мы верили в творческие силы народных масс, которые, стряхнув могучим порывом гнет государственного деспотизма, создадут самопроизвольно на развалинах старого строя новые, справедливые формы жизни, идеал которых инстинктивно живет в душе народа». Бакунинские призывы к «немедленному бунту» привели в революцию немало честных людей.

Можно только пожалеть, что в книге Н. Пирумовой русскому аспекту бакунизма уделено мало внимания. Однако можно предположить, что автор исходил из другой задачи: показать жизнь и деятельность самого Бакунина, не углубляясь в проблемы влияния его идей. В этом случае Н. Пирумова справилась со своей задачей. Гигантская фигура Бакунина показана во всей сложности и многогранности. Это выдающийся революционер и незаурядный человек, который часто ошибался, но всегда искал, который был непримирим в борьбе с врагами и умел самоотверженно отстаивать свои убеждения.

Бакунин был прежде всего человек дела, действия. В нем, по словам Герцена, «лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было спроса». Н. Пирумова сумела показать не только эту деятельность, но и объяснить трагедию революционера, который, достигнув немало на пути к поставленной цели, создав ряд организаций и приобретя последователей, под конец жизни стал терять веру в близость социальной революции.

Э. Павлова

Очерки культурного прошлого Вятской земли ¹

«Проходчиком литературных руд» назвал известный советский писатель Вл. Лидин в своем предисловии к книге «Литературные находки» ее автора, Евгения Дмитриевича Петряева.

Более четверти века посвятил Е. Д. Петряев тщательному, кропотливому поиску материалов, связанных с изучением культурного прошлого нашей Родины. В центре его внимания были события и люди самых глубинных мест Сибири, Нерчинска, Забайкалья, Кяхты. Так родились его книги «Люди и судьбы», «Нерчинск», «Исследователи и литераторы старого Забайкалья», «Кяхтинский листок».

Новая книга Е. Д. Петряева — результат его огромных разысканий, связанных с культурным прошлым Вятского края. Собрав по крупицам богатейший материал о судьбах интеллигенции Вятской земли, Петряев представил широкую картину развития культуры этого края, служившего в царской России местом ссылки.

По каким направлениям ведет Е. Д. Петряев поиски неизвестных литературных материалов? Какую дорогу избирает каждый раз этот неутомимый следопыт из тех многочисленных дорог, по которым распылились документы далекого прошлого? Как удалось ему напасть на след пропавшего документа и к каким результатам привел его тот или иной поиск? Ответы на эти и еще многие другие вопросы, с которыми постоянно стал-

—————

¹ **Евг. Петряев, Литературные находки. Очерки культурного прошлого Вятской земли. Волго-Вятское книжное издательство, 1966, 239 стр., 10 000 экз.**

кивается исследователем, избравший нелегкий, но увлекательный путь первооткрывателя, содержатся в книге Е. Д. Петряева.

Передать все содержание книги «Литературные находки» просто невозможно: так густо она насыщена фактами и документами, так обильно снабжена сведениями о многих десятках людей, родившихся или в силу разных обстоятельств оказавшихся на Вятской земле. Хочется обратить внимание ее читателей прежде всего на то, что цементирует разные эпизоды о находках Е. Д. Петряева, что составляет пафос его интересной книги.

Известно, что многие выдающиеся представители русской культуры были связаны с Вятским краем. Здесь отбывали ссылку А. И. Герцен и М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко и Ф. Ф. Павленков. В Вятке прошли отроческие годы К. Э. Циолковского, здесь родился писатель Александр Грин и поэт Николай Заболоцкий. Е. Д. Петряев старается рассказать о всяком новом факте, который удалось ему выявить в процессе поисков, справедливо считая, что в биографии великого писателя или ученого имеет значение каждый добытый новый факт, а главное — он всегда может привести к новым крупным открытиям.

Но книга рассказывает не только о выдающихся людях прошлого. Приведя в предисловии «От автора» слова А. П. Чехова: «В литературе маленькие чины так же необходимы, как в армии, — так говорит голова, а сердце говорит еще больше», Е. Д. Петряев прежде всего уделяет внимание в своих поисках скромным и малозаметным деятелям местной культуры, не жалеет времени и сил, чтобы собрать все, что еще осталось от них на Вятской земле.

Этим малоизвестным (или до находок Е. Д. Петряева неизвестным) сподвижникам культурного прошлого посвящены многие страницы первого большого раздела книги, названного автором «Книги и судьбы». Более всего места отвел он им в главе «Дорога поисков», где рассказывается история возникновения и развития Кировского литературно-музея. Значительный интерес представляет в этом отношении очерк «Первые десятилетия», посвященный литературной жизни Вятки и ее представителям в первые годы после Великой Октябрьской революции (П. А. Щелканов, И. И. Халтурин, М. И. Горев и др.).

Благодаря кропотливой работе Е. Д. Петряева по собиранию документов и сведений о жизни и деятельности многих десятков не-

заслуженно забытых людей восстановлена теперь в известной мере «литературная карта» Вятской земли, хотя сам Е. Д. Петряев считает, что сделано еще недостаточно, что она «еще почти сплошь покрыта «белыми» пятнами».

Очень важно, что Петряев старается привести в своей книге все известные ему сведения о рассказываемых им людях, обильно снабжает свои портреты датами, хронологическими разысканиями, так что теперь его книга неизбежно станет важным справочным пособием для каждого, кто изучает историю культуры Вятского края.

В разделе «Книги и судьбы» Е. Д. Петряев увлекательно рассказывает о тех жителях Вятки, которые терпеливо и настойчиво собирали редкие и редчайшие издания, создавали важнейшие очаги культуры — частные библиотеки. Оценивая домашние библиотеки вятских старожилов как один из источников для изучения истории культуры края, Е. Д. Петряев много внимания уделяет выявлению этих библиотек и поиску изданий, которые в них хранились. Причем он не сосредоточивает своего внимания только на библиотеках литераторов. С не меньшим энтузиазмом разыскивает он книги из библиотек старых вятских интеллигентов (врачей и педагогов), среди которых было немало библиофилов. Существенный интерес представляют, например, сведения о найденной Е. Д. Петряевым книге из библиотеки Е. П. Машковцева, которой мог пользоваться Герцен. Хорошо, что в книге воспроизведен найденный Петряевым экслибрис владельца. Он, возможно, позволит обнаружить другие книги из этой библиотеки.

Очень важны собранные Е. Д. Петряевым сведения, раскрывающие совершенно новую страницу пушкинианы: связь Пушкина с Вяткой. В очерке «Нити к Пушкину» автор подробно рассказывает о жизни А. И. Емичева, опубликовавшего в пушкинском «Современнике» статью «Мифология вотяков и черемис», высказывает предположение, что Емичев переписывался с Пушкиным, говорит о настоятельной необходимости вести поиски рукописей и литературного наследия Емичева, а также выяснить историю его библиотеки и возможное местонахождение его бумаг. А как значительны могут быть находки, связанные с поисками на Вятской земле книг из библиотеки Пушкина, подаренных вдовой Пушкина Н. Н. Ланской Вятской мужской гимназии! Известно, что среди этих книг был томик Байрона с пометами Пушкина. Судьба этой и других книг теперь неизвестна.

Е. Д. Петряев воспроизводит книжный знак библиотеки Вятской гимназии, по которому «придется искать заветные томики, затерянные в книжном море».

Важное значение в распространении знаний стали приобретать те частные библиотеки, которые становились общедоступными. Такой стала в Вятке открытая в 1859 году библиотека А. А. Красовского, в которой вскоре было более 300 читателей. Ставшая центром вятских революционно настроенных разночинцев, она была закрыта властями, но книги ее перешли в библиотеку Н. И. Вершинина. Е. Д. Петряев восстанавливает интереснейшую историю этой библиотеки, рассказывает об изданиях, которыми она располагала.

Не меньший интерес представляют разыскания Е. Д. Петряева, связанные с судьбами редких книг. Среди них, немалое место уделено специально вятским изданиям, а также деятельности «Вятского книгоиздательского товарищества», тесно связанного с В. Г. Короленко. Увлечателен рассказ о редчайшем издании «Вятской незабудки», почти весь тираж которой был уничтожен царской цензурой.

Многообразие материалов, представленных в книге Е. Д. Петряева, поистине удивительно: публикация неизвестных писем Л. Н. Толстого и В. Г. Короленко, краеведческие разыскания о домах, в которых жили в Вятке К. Э. Циолковский и писатель Александр Грин, сенсационное известие о найденном в Вятке автографе письма Гёте к матери его сына Генриетте Трейтер, сведения о хранящихся материалах поэта Н. А. Заболоцкого в архиве живущего в Кирове его двоюродного брата Л. В. Дьяконова и многое, многое другое. Перечислить все просто невозможно!

Хотелось бы только видеть обобщенными и сконцентрированными в одном месте книги сведения об успехах в поисках материалов, связанных с именами Герцена, Салтыкова-Щедрина, Короленко. Так, например, вятские связи Герцена до сих пор остаются не до конца выявленными, еще требуют больших и серьезных изысканий. И хотя имена людей,

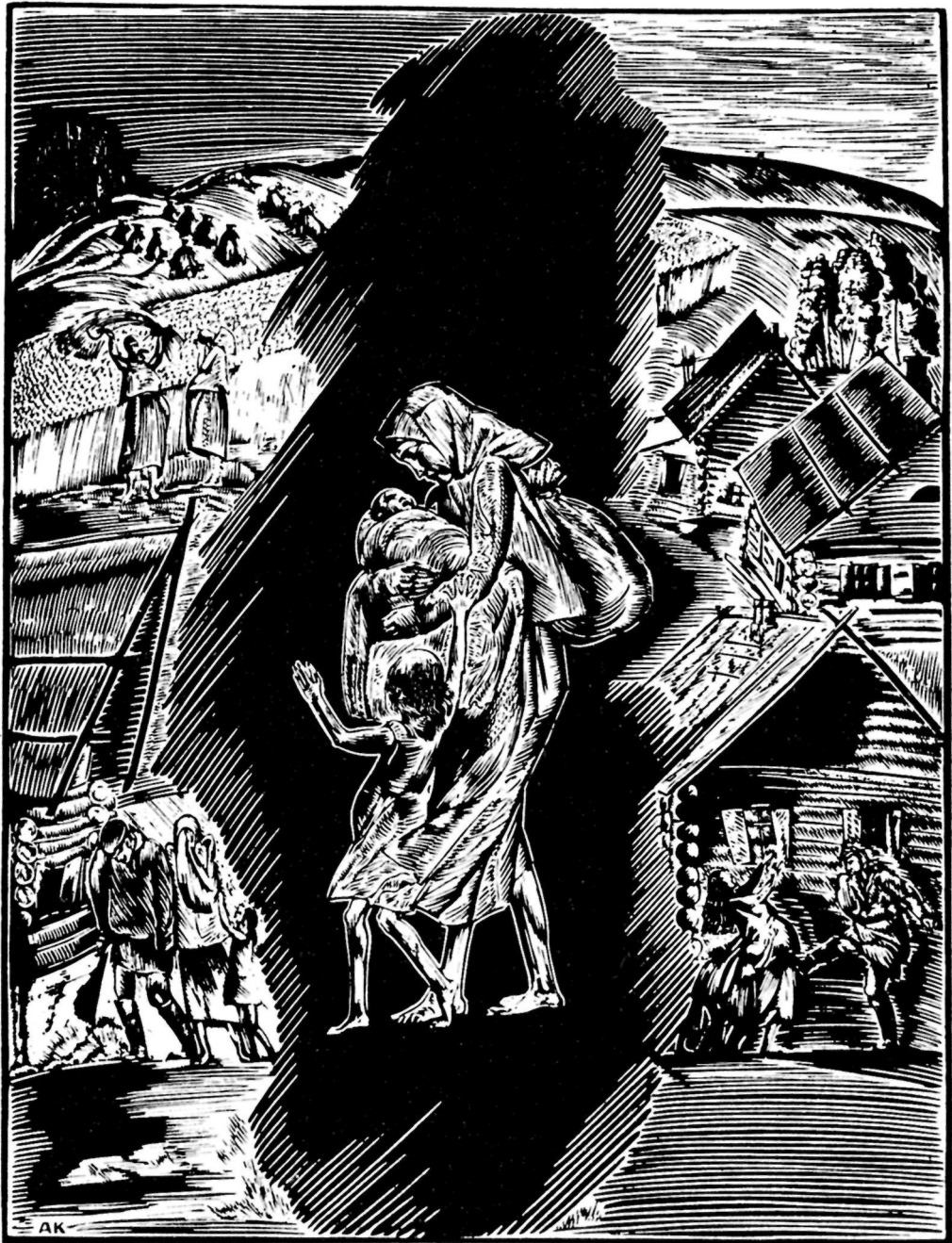
с которыми был связан Герцен в Вятке, мелькают в книге (например, Машковцевы, Г. К. Эрн, А. Е. Скворцов и др.), но о поисках документов, которые могли оказаться в их архивах, к сожалению, ничего не говорится.

Совершенно особое место занял в книге Е. Д. Петряева рассказ о жизни врача Савватия Ивановича Сычугова. Когда читаешь страницы, на которых взволнованно повествуется история жизни и дел С. И. Сычугова, то удивляешься его подлинному бескорыстию, доброму, сердечному отношению к простому народу, крестьянину и соглашаешься, что «его имя еще долго будет жить в памяти потомков, умеющих понимать и ценить красоту и благородство таких высоких подвигов гуманизма». Прав В. Г. Лидин, что «описание жизни и дел примечательного врача-литератора Сычугова является примером того, как умеет Петряев «сочетать документальный материал с формой изложения, близкой к художественному повествованию».

В «Заключении» к книге автор справедливо пишет, как недостает для всестороннего и глубокого изучения истории и культуры Вятского края библиографических указателей, как важно создание библиографических пособий. Особенно необходимым представляется появление таких трудов, как «Вятский биографический словарь» и «Летопись культурного развития края». Можно с уверенностью сказать, что книга Евг. Петряева «Литературные находки» — важнейшая веха на пути создания этих работ. Приложенный к книге указатель имен поможет исследователям легко ориентироваться в том огромном богатстве имен, которые включил Е. Д. Петряев в поле своего пристального внимания.

Книга Е. Д. Петряева многими своими сторонами обращена к исследовательской молодежи; она определяет пути, по которым должен идти исследователь при разыскании новых материалов. Книга учит любить свою Родину, живо и действительно интересоваться ее прошлым и настоящим.

И. Плуicina



М. С. Альтман
**Из истории имен,
 фамилий и прозвищ**

После Октябрьской революции в нашей стране широко распространилось стремление к перемене фамилий. Это свидетельствовало, по словам Максима Горького, «о росте человеческого достоинства, об отказе человека носить фамилию или прозвище, которое унижает его, напоминая о тяжелом рабском прошлом дедов и отцов».

История возникновения и приемы образования имен и фамилий так называемых «побочных», или «незаконнорожденных», детей, а также имена и прозвища крепостных содержат любопытный материал для характеристики этого «тяжелого рабского прошлого дедов и отцов».

**1. Имена и фамилии
 «незаконнорожденных»**

Наиболее распространенными приемами при образовании имен и фамилий «незаконнорожденных» были уничтожение, усечение или перевертывание фамилии, а также использование нарицательных имен.

Усечение фамилии

Этот прием практиковался лишь в древней Руси. Так, два сына князя Святослава от наложницы назывались Мстиславец и Ярославец. «Слава» отца была в именах детей сохранена, но добавление к их именам суффикса «ец», который в древности имел смысл уничижительный, должно было свидетельствовать и напоминать о «незаконном» происхождении¹.

Усечение фамилии

Этот прием начиная с XVIII века наиболее частый и распространенный. Так, фамилия писателя XVIII века — Пнин — часть фамилии его отца фельдмаршала Репнина, Уманцев — сын фельдмаршала Румянцева, а Иван Иванович Бецкий, президент Академии художеств при Екатерине II, был сыном Ивана Юрьевича Трубецкого. Все они, Пнин, Уманцев и Бецкий, — «незаконнорожденные»...

А. П. Кетов в своих воспоминаниях (опубликованных в сентябрьском номере «Русского архива», 1904 г.) рассказывает, что его отец — первый председатель общества истории и древностей при Московском университете П. П. Бекетов. В этих же воспоминаниях Кетов сообщает, что московский обер-полицмейстер Цынский был сыном актрисы Ветрецынской. Поэт и филолог, академик А. Х. Востоков получил от двойной фамилии своего отца Остен-Сакен только первую фамилию с добавлением «ек» — Остенек, которая в переводе на русский язык перешла в «Востоков».

И поэт Я. П. Полонский о своей бабушке, Александре Богдановне, рассказывает: «Она... была дочь одного из графов Разумовских, побочная дочь... Как моя бабушка, так и ее братья не назывались Разумовскими, а как побочные дети, Умскими...»

Усеченной является и фамилия слуги в доме Грибоедовых, молочного брата писателя — Александра Грибова. Александр Грибов с тем же именем и почти с той же фамилией, что и у Александра Сергеевича Грибоедова, видимо, ему брат не только молочный... Он по всем приметам «незаконнорожденный» сын его отца. Статьи сказать, А. М. Горький в письме (от 29 марта 1929 года) к Ю. Н. Тынянову, в «Вазир-Мухтаре» которого Грибов фигурирует, упоминает Грибова Смердякову из «Братьев Карамазовых», тоже, напомним, «незаконнорожденного» сына Федора Карамазова.

Число подобных примеров можно было бы еще дополнить, ограничусь, однако, лишь остроумным рассказом о происхождении своей фамилии первого иллюстратора «Мертвых душ» художника Александра Алексеевича Агина.

¹ См.: Г. Г. Гинген, Древнейшие русские двусложные личные имена и их уменьшительные. «Живая старина», 1893, вып. IV, стр. 452.

«Почему я Агин, а не Елагин? Елагин — фамилия моего отца, помещика, бывшего офицера кавалергардского полка, а мать — его крепостная экономка. Агиным я стал потому, что приставка «ел» мне в будущем не полагалась. Я потом очень мало ел. Мой отец догадался, что, пустившись на чужую сторону, я не очень-то обильно буду есть, — вот, выправив нам с Васей <братом> вольные, начало фамилии и откинул. Потому не Елагин, а просто Агин. Это было принято с незапамятных времен с такими... побочными»¹.

Встречается, хотя гораздо реже, и обратный прием наименования: когда от собственного имени не отнимается какая-нибудь частичка, но, напротив, прибавляется, и этим имя по-новому осмысливается. Так, в записной книжке Н. С. Лескова имеется заметка о том, что некий Овечкин попросил архиерея переменить ему фамилию. Архиерей велел «прибавить веку» и вышло Вековечкин.

В рассказе «Заячий ремиз» Лесков использовал свою заметку, переименовав прямо на глазах у читателя фамилию «лютого» писателя «Овечкин» на «Вековечкин». Тогда «все его грубые деяния открылись благодаря отмене не собственного этому волку, овечьего прозвища»².

Фамилия наизнанку

Не реже, чем усеченными фамилиями, «побочные» дети наделялись и фамилиями или именами их родителей наизнанку. Когда у князя Владимира Михайловича Волконского родилась от связи с одной замужней женщиной дочь, то «фамилию ей дали по имени отца, но читая наоборот «Владимир», это и вышло Римдаль, совершенно иностранная фамилия»³. Такого же происхождения и фамилия русского архитектора XIX века Ивана Павловича Ропета. Эта фамилия также звучит как иностранная, на самом деле Ропет — «побочный» сын Петрова, и фамилия архитектора — анаграмма фамилии его отца.

И фамилия провинциального артиста 60-х годов Александра Александровича Ральфа, по свидетельству А. П. Ленского, была Атилл — анаграмма фамилии «его вельможного отца Литта, знаменитого графа». И фамилия «незаконнорожденного» художника Кипренского — анаграмма фамилии его отца Капорского.

Александр Михайлович Исленьев (прототип Иртеньева-отца в «Детстве и отрочестве»

Льва Толстого) вступил в брак с Софьей Петровной Козловской, разошедшейся с мужем. Брак этот не был признан законным, и дети Козловской и Исленьева получили фамилию Иславин, состоящую из тех же букв, что Исленьев, в несколько измененном виде.

Такой же случай приводит и Н. К. Михайловский: «Был у меня приятель Нибуш, незаконный сын богатого помещика... Шубина». И дальше Михайловский продолжает иронически: «Отпрыску старого красивого типа пришла фантазия вывернуть имя наизнанку для своего незаконного детища, чтобы, дескать, видно было, что мой, да с левой стороны»⁴.

Нарицательные имена и фамилии

Среди русских поговорок многие связаны с именем Богдан: «Не крещен младенец, так Богдан», «Рожден, а не крещен, так Богдашка»; «Богданушке — все батюшки»; «Безыменный младенец — Богдан».

Во всех этих поговорках имя Богдан по своему нарицательному значению осмысливается как «богом данный» ребенок, не имеющий законом признанного отца, — «незаконнорожденный», «побочный». Поэтому таким детям очень часто давали фамилию Богданов или имя Богдан. У нас уже упомянутой бабушки поэта Полонского, побочной дочери Разумовского, не случайно отчество Богдановна, хотя среди графов Разумовских мы не знаем ни одного с именем Богдан.

И единоутробная сестра И. С. Тургенева, (дочь матери писателя, Варвары Петровны Тургеневой, и Андрея Евстафьевича Берс, отца Софьи Андреевны Толстой), как известно, получила фамилию Богданова-Лутовинова:

¹ См.: Ал. Алтаев, *Памятные встречи*. М., 1946, стр. 30.

² Этим приемом, между прочим, широко пользовалась сатирическая литература XIX и начала XX века, выводя под фамилиями Перекверкиева — Аверкиева, Экстасова — Стасова, Дичьго-родичева — Родичева, Скудоуминского — Минского, От-куприна — Куприна и др.

³ Д. Благово, *Рассказы бабушки*. СПб., 1885, стр. 186.

⁴ Н. К. Михайловский, *Впережку*. Сочинения Н. К. Михайловского, 1897, т. IV, стр. 217.

Лутовинова — от названия тургеневского поместья Спасское-Лутовиново, а Богданова, потому что была «побочной».

И художник Н. П. Богданов-Бельский о своей фамилии рассказывает: «Я «незаконнорожденный» сын бедной бобылки, оттого Богданов, а Бельским стал от имени уезда»¹. И у автора «Симфонии» и «Описания Петербурга с 1703 по 1751 г.», «незаконного» сына японца и русской, также фамилия Богданов².

В свете сказанного разъясняется одна особенность в собственных именах на Сахалине, поразившая Чехова, когда он там производил перепись населения. Он пишет: «По какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых». Это не случайность, ибо, как свидетельствует сам Чехов, «нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения... как на Сахалине»; и об этом же он пишет еще раз: «Приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне пришлось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов»³. Вот этой-то распространенностью незаконных браков и обилием приемышей объясняется и множество на Сахалине Богдановых.

По своему нарицательному значению «Богдан» то же, что по-гречески «Феодор» (в обратном порядке его составных частей Дорофей) и «Федот». Поэтому и Федотов, так же как и Богданов, фамилия «побочных» детей. В тщательно составленном реестре крепостных Собакевича, где было означено при каждом, кто его отец и кто мать, «у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины».

Что Федотов однозначен Богданову, было хорошо известно, особенно судейским чиновникам, и в комедии Капниста «Ябеда» один из них, единственно честный, пытается убедить своих сослуживцев: «Разве Богдан не Федот?» (III, 4), но приказные крючкотворы, делая вид, что этого не знают, собираются лишить владельца его законного наследства под предлогом того, что истец Богдан раньше назывался Федотом:

**Нет нужды знать, зачем он имя пременял:
Но ныне он Богдан; а я вам доложил,
Что Прямыкова сын, в свое, сударь, крещение
Федотом назван был; то малое ль сомнение
Тут предстоит, что сей Богдан не тот Федот,
О чем наследии ваш иск, сударь, ведет.**
(«Ябеда», II, 2)

Примета «незаконного» происхождения и в фамилии Найденов. Вот что автор извест-

ной пьесы «Дети Ванюшина» рассказывает о своей фамилии — Найденов:

«В прежнее время, как известно, прозвание «Найден» (так же как и «Богдан») давалось «приемышам» и «подкидышам» и присваивалось таковым вместо имен. При таких условиях... Василий Михайлов Найден, означенный в книге 1710 года, может считаться родоначальником нашего рода»⁴.

И у Горького в повести «Мать» у «незаконнорожденного» фамилия паронимная Найденову — Находка.

К этому роду наименований относится и фамилия «незаконнорожденного» в драме А. Н. Островского «Без вины виноватые» — Незнамов. С этим Незнамовым его приемные родители в общем обращались неплохо, хотя под сердитую руку и попрекали его незаконным происхождением. Выросши, Незнамов очень остро ощущал свою социальную отверженность и завидовал даже таким забулдыгам, как Шмага: у них все же «чистый вид», а он «бродяга, не помнящий родства». Сетование «без вины виноватого» Незнамова напоминает «Вопль невинности» Пнина, «незаконнорожденного», как и Незнамов.

Кончается драма Островского (но кончается ли этим и драма Незнамова?) тем, что Незнамова находит его мать, артистка Кручинина, которая советует сыну не отыскивать своего недостойного отца, отказавшегося ему дать свое имя, а принять ее имя.

Этот совет Кручининой, в сущности, совпадает с обычным «исходом» из подобных коллизий: ведь очень часто детям, «не имеющим отцов», давали фамилии их матерей. Так и в «Воскресении» Льва Толстого Катюша Маслова на вопрос, какое у нее отчество и фамилия, отвечает, что она незаконнорожденная и потому у нее отчество по крестному отцу, а фамилию «писали по матери Масловой» (ч. 1, глава 9)⁵.

И Александр Амфитеатров в своем рома-

¹ Ал. Алтаев, *Памятные встречи*. М.—Л., Издво «Искусство», 1946, стр. 211.

² См.: *Критико-биографический словарь С. А. Венгерова*, т. IV, стр. 115.

³ А. Чехов, *Остров Сахалин*, гл. II.

⁴ Николай Найденов, *Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном*. М., 1903, т. 1, стр. 4—5.

⁵ И фамилия Смердякова из «Братьев Карамазовых» также от фамилии его матери — Лизаветы Смердящей.

не «Девятидесятники» (гл. 2), описывая «пробные браки», практиковавшиеся в селе-нии Теплая Слобода, рассказывает, что прижитые от этих временных связей дети носили такие фамилии, как Сестрины, Дочерины, Племянницыны, Девкины, Золовкины, Снохины.

К этому перечню мы могли бы еще прибавить фамилию крепостного художника графа Г. Д. Шереметева — Безлюдный и из произведений Горького: Девушкин (в «Городке Окурове»), Прачкин (в «Жизни Матвея Кожемякина») и Диомидов (в «Жизни Клима Самгина»). Последняя фамилия (Диомидов, а не Демидов) звучит несколько странно и даже иностранно (ср. древнегреческое Диомид или Диомед). Но это нас не должно удивлять. В рассказе историка Н. Костомарова «Незаконнорожденные» его персонажи носят имена: мальчик — Вах, девочка — Епистилия. И эти имена сопровождаются пояснением автора: «У сельского духовенства существует обычай давать при крещении незаконнорожденным имена мудреные, то есть которые редко даются. Целый календарь таких имен сохраняется у них про запас исключительно для незаконнорожденных».

Не случайно и в «Нови» Тургенева фамилия «незаконнорожденного» — Нежданов. В «Нови», как известно, имеются некоторые отклики на революционное движение, связанное с С. Г. Нечаевым, и сам Нечаев упоминается под именем Василия Николаевича (ч. 1, гл. X). Можно было поэтому предположить, что и у революционно настроенного Нежданова фамилия, аналогичная Нечаеву («не ждаты» — «не чаять»). Между тем фамилия Нежданов разъясняется в самом романе: князь Г. сообщает о нем: «Он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым... Отец этого никогда не ожидал — оттого он и Неждановым его прозвал» (ч. 1, гл. III)¹.

К наименованиям «незаконнорожденных», полагаю, должна быть отнесена и фамилия генерала Инзова, того самого, у которого в Кишиневе на службе состоял сосланный Пушкин. В своих «Записках» Ф. Ф. Вигель об Инзове сообщает: «Глубокая тайна покрывает его рождение. Приемышем вырос он в доме Трубецких, которые дали ему наречение Иной Зов, или Инзов... С малых лет воспитанника своего посвятили они в мартинисты». Фамилия Инзов, возможно, символическая в связи с мистическими увлечениями Трубецких, но вероятнее, что Инзов, как внебрачный ребенок, не мог получить фамилию сво-

их родителей, и ему дали иное название — Ин-зов...

В связи с вопросом о праве наследования внебрачными детьми фамилии их родителей небезынтересно вспомнить обращение Добчинского к Хлестакову:

«Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства... Старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака... То есть, оно только так говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уж был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

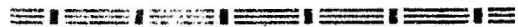
Хлестаков. Хорошо, пусть называется, это можно».

Эта просьба Добчинского об узаконении сына и милостивое разрешение Хлестакова должны были для зрителей первых постановок «Ревизора» иметь особое значение. Ведь как раз при Николае I прекратилось «узаконение» внебрачных детей, очень частое при его предшественниках. При Александре I многим удавалось добиться усыновления своих «побочных» детей. Но когда с подобной просьбой кто-то попробовал обратиться к Николаю I уже в самом начале его царствования, то последовал ответ: «Беззаконного не могу сделать законным», — после чего усыновление надолго прекратилось.

Так в связи с резолюцией Николая I, запретившего узаконение внебрачных детей, очень забавно, остро и злободневно звучало милостивое разрешение Хлестакова: «Пусть называется...»

2. Прозвища и клички

В своем известном письме (1847 г.) к Гоголю Белинский, указывая на унижение человеческого достоинства в крепостной России, напомнил и о том, что в ней люди называются «не именами, а кличками: Васьками, Штешками, Палашками». Это указание Белинского можно было бы проиллюстрировать множеством примеров, я ограничусь,



¹ В той же главе «Нови» фамилия Нежданов сходным образом обыгрывается еще раз: «Генерал изредка поглядывал на Нежданова как на нечто неприличное... неожиданное...»

однако, лишь немногими характерными и типичными.

Шутиха императрицы Анны Иоанновны была по ее повелению прозвана Буженинова — в память о ее любимом блюде — буженине. Не этому ли примеру следуя, и фаворит Екатерины II Потемкин майору Фихтель-Кнабе повелел называться Супом Ивановичем (см. выпущенную сцену в «Ревизоре» Гоголя, д. IV, яв. 6).

При Екатерине II существовало даже специальное наказание — лишение человека его имени и фамилии. Так, некий Арсений Мациевич получил высочайшее приказание забыть свое имя и фамилию и называться Андрей Враль и Андрей Бродяга. И эту фамилию он вынужден был передать и своему потомству. По такому же «щучьему велению» Екатерины, предпочитавшей немецкие фамилии русским, русский танцовщик Лесогоров должен был переменить свою фамилию на соответствующую немецкую — Вальдберг.

Практиковались и обратные случаи: переименование немецких фамилий на русский лад, при этом они нарочито искажались, если звучали политически «нежелательно». Так, в начале XVIII века жила в Москве жена доктора Поганенкампа. По смерти мужа она поступила в актрисы, и ее фамилию стали писать Поганкова, и уж эта фамилия была оставлена за ее потомством. Так слово «кампа» («борьба») было исковеркано, и фамилия «поганена».

До чего доходила в этом отношении фантазия Екатерины II, может свидетельствовать фамилия Рибопьер. Парикмахер, состоявший при Екатерине II, казался любвеобильной императрице особенно милым, когда смеялся, и она подчас говорила ему: «*Ris, beau Pierre*» («Смейся, красавец Пьер»). Отсюда и пошла фамилия Рибопьер, к которой позже был присоединен и графский титул¹.

Эта карьера парикмахера, выскочившего в графы, была в некоторой степени типичной для того времени.

Анатоль Франс в очерке «Бернарден де Сен-Пьер» рассказывает, что, когда французский философ Бернарден ехал в Петербург, он на судне встретил много «комедиантов, танцоров и парикмахеров, которые отправлялись ко двору Екатерины II искать счастья. Философы и парикмахеры одинаково надеялись на эту императрицу...».

К сказанному добавим, что, несмотря на всю лицемерную благосклонность «Тартюфа в юбке» (так Пушкин квалифицировал Екатерину II) к знаменитым западноевропейским фи-

лософам, ни один из них, конечно, не мог бы сделать при ее дворе такой карьеры, какую сделал парикмахер...

Не худшую карьеру, чем парикмахер Екатерины Рибопьер, сделал камердинер Павла Кутайсов. Взятый в плен в войне с Турцией, он, снискав благоволение императора, получил графский титул и, как уроженец г. Кутайса, назван Кутайсовым.

Тот же Павел, объезжая однажды с попечителем Московского университета М. Н. Муравьевым (отцом декабриста) кадетский корпус, спросил у одного кадета, как его фамилия. «Приказный», — ответил кадет. «Терпеть не могу приказных», — сказал Павел, — быть этому мальчику Муравьевым». И уже на другой день был подписан указ о переименовании кадета Приказного в Муравьева².

И сын Павла Николай I распоряжался фамилиями своих подданных не менее произвольно. Услышав, что фамилия зрителя Малого театра в Москве Караколпаков, Николай I сказал: «Не может быть таких фамилий». И этого было достаточно: дети Караколпакова уже носили фамилию — Востоков³.

И подобно тому, как коронованные особы бесцеремонно именовали и переименовывали своих подданных, владельцы крепостных распоряжались их именами и фамилиями по своему произволу. Актрисы Н. Шереметева, носившие «плебейские» имена — Кучерявникова, Ковалева, Чечевицына, Кочедыкова и другие, по графскому приказу превратились в Изумрудову, Гранатову, Яхонтову, Аметинову и т. п. Актеры же стали именоваться Милорадовым, Кремневым, Сердоликовым и т. п.

А граф Нарышкин в наименовании своих крепостных пошел еще дальше. Каждого из музыкантов своего родового хора он наделил названием музыкальной ноты, так что, когда два музыканта из его хора попали однажды в полицию, то на вопрос, кто они такие, один ответил: «Я нарышкинский Ц», другой — «Я нарышкинский Фис»⁴.

И так распоряжались наименованиями «сво-

¹ Вл. Гиляровский, *Друзья и встречи*. М., 1934, стр. 75.

² В. П. Долгоруков, Михаил Николаевич Муравьев. Биографический очерк. «Листою» (Брюссель), 1863, № 15.

³ С. В. Танеев, *Театральные мелочи*. Выпуск пятый. СПб., 1890, стр. 12.

⁴ А. Яцевич, *Крепостные в Петербурге*. Л., 1933, стр. 61.

их» музыкантов и артистов не только титулованные владельцы крепостных, но и самые заурядные, захолустные помещики. Актриса П. А. Стрепетова в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что своей фамилией она обязана капризу помещика, у которого ее дед был крепостным. Фамилия его была Григорьев, но однажды помещик повелел: «Будь ты отныне не Григорьев, а Стрепетов». И этого оказалось достаточно, барская воля — закон¹.

Иногда в переименовании крепостных сказывалась приверженность их владельцев ко всему иностранному. Так как нанятые слуги-иностранцы в домах знатных бар ценились дороже «собственных» крепостных, то и русские имена переделывались на иностранный лад, и среди лакеев были Пьеры, Жаны, Людвиги². Камердинер пушкинского «полумилорда» Воронцова, Иван Донцов откликался лишь на имя Джiovани.

Некоторые помещики, меняя имена своих крепостных, этим всячески потешались. Ярославский помещик, живший в начале XIX века, давал своим крепостным фамилии приближенных Наполеона. Отпуская на оброк крестьян, он вписывал в их паспорта: «Крепостной мой, дворовый человек, Ермил Ерофеев, сын Даву, или Фуше, или Бернадот...» Одно из своих отпущенников он наименовал Коленкур — фамилией французского посла при русском дворе. Впоследствии, впрочем, при перемене паспорта Коленкур обратился в более порусски звучащую фамилию — Коленкоров...

Переменой фамилий своих крепостных забавлялась и ярая крепостница Варвара Петровна Тургенева, мать писателя. Она потехи ради не только «присваивала» своим слугам придворные звания, но и наделяла их фамилиями тех министров, которые занимали соответствующие должности при царском дворе. Так, например, дворецкий назывался министром двора, и ему была придана фамилия шефа жандармов Бенкендорфа...³

А когда Фамусов в «Горе от ума» называет буфетчика Петрушкой, то эта примета не возрастная только, а и социальная. «Такие Петрушки, — читаем мы в журнале «Репертуар и пантеон» за 1839 год, — ...были и в 50 лет и более: семилетний Петрушка, приставленный к пятилетнему барину... вечно слыл Петрушкой. А когда среди многочисленной барской дворни появлялось несколько Петров или Иванов, им давали еще особую кличку. Была Аришка Большая и Аришка Маленькая. Был Макарка Вихор и Макарка Пучеглазый. Случалось, что такой Макарка Вихор, получив в детстве свое прозвище, но-

сил его потом до седых волос. И часто бывало, что на зов барина «Степка» или «Афонька»... появлялся старец 70 лет»⁴.

О том, как к этим кличкам относились сами «Афоньки» и «Степки», мы находим краткое, но очень выразительное свидетельство у А. С. Пушкина в пропущенной главе «Капитанской дочки». В ней, между прочим, рассказывается, как молодой барин, приезжая домой, натывается на бунтующего мужика и...

«— Где Андрюшка земский, закричал я ему. Кликнуть его ко мне.

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, отвечал он мне, гордо подбоченясь». И поза и ответ мужика явно свидетельствуют о сознании собственного достоинства, окрепнувшего в нем не без связи, конечно, с восстанием Пугачева...

Отметим, кстати, что феодальная практика именования крепостных уничижительными прозвищами и кличками перешла в буржуазном обществе пореформенной царской России на наименования людей «низших» сословий и, в частности, на слуг. Очень типичен и характерен в этом отношении эпизод из «Мелкого беса» Федора Сологуба. Варвара, сожительница Передонова, нанимая прислугу, узнает, что ее имя Клавдия.

«— Клавдия? А ейкать ее как же я стану? Квашка?» Но приятельница ей посоветовала: «А вы ее зовите Клавдюшкой». Варваре это понравилось. Она повторяла: «Клавдюшка, дюшка», — и смеялась: надо заметить, что дюшками в нашем городе называют сви-ней»⁵.

Подобные случаи имея в виду, Горький в статье «О литературе» (1933 г.) писал: «Проповедовалось человеколюбие, в теории оно распространялось на всех людей без различия классов и сословий, но на практике некоторых Василиев именовали Василиями Ивановичами, а большинство — Васьками, кое-которых Марий — Марьями Васильевнами, всех остальных — Машками...»

1 П. А. Стрепетова, Воспоминания и письма. Асад, 1934, стр. 70—71.

2 Ср. в стихотворении Маяковского «Маруся отравилась!» Там ни одного ни Ваньки, ни Пети, одни Жаны, одни Кэти.

3 О. Аргамакова, Семейство Тургеневых. Орывки из воспоминаний. «Истор. вестник» 1884, № 2.

4 А. Яцевич, Указ. соч., стр. 36.

5 Ф. Сологуб, Мелкий бес, гл. III.

И. В. Порох
(Саратов)

Тургенев и Милютин

15 января 1864 года в редакционной заметке «Колокола» между прочим было написано: «Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, му-чась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого «она прервала все связи с друзьями юности»¹.

Этот гневный упрек Герцена относился к И. С. Тургеневу, который, получив в Париже официальный вызов в Петербург для дачи показаний по делу «О сношениях с лондонскими пропагандистами», написал 22 января (3 февраля) 1863 года письмо Александру II².

И. С. Тургенев безошибочно узнал себя в «седовласой Магдалине» и в письме к Герцену от 21 марта (2 апреля) 1864 года пытался оправдаться. Он даже привел в нем текст своего угодливого обращения к царю. Но Герцен не признал убедительными доводы Тургенева и 29 марта (10 апреля) 1864 года послал ему уничтожающий ответ: «Наше дело, может, кончено. Но память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, останется. И твоя совесть тебе это скажет, и размяклый мозг Боткина еще осилит понять. Мы спасли честь имени русского — и за это пострадали от рабского большинства»³.

В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» процитировал осуждение «седовласой Магдалины» и высоко оценил позицию Герцена в этом вопросе.

Казалось бы, все ясно в этой неприглядной для И. С. Тургенева истории. Однако есть неизвестные до сих пор материалы, позволя-

ющие если не оправдать, то, во всяком случае, объяснить поступок писателя.

В обширном фонде Милютиных⁴, среди материалов известного государственного деятеля середины XIX века, одного из главных участников подготовки реформы 19 февраля 1861 года Николая Алексеевича Милютина хранятся «Дневники» и «Черновые записи» его жены. Мария Агеевна Милютинина (урожденная Абаза) имела широкий круг знакомств и была женщиной очень наблюдательной. Она близко принимала к сердцу все успехи и неудачи служебной карьеры мужа, в которые он ее постоянно посвящал. Под живым впечатлением тех или иных встреч и событий мемуаристка делала предварительные заметки для памяти, которые позднее подвергались литературной обработке и переписывались в «Дневник» — несколько толстых, в кожаных переплетах тетрадей заполнены ее аккуратными записями. Но не все черновые заметки вошли в беловой текст «Дневника». Между тем некоторые из них представляют немалый самостоятельный интерес. К числу таких «черновых записей» относятся любопытные странички об Иване Сергеевиче Тургеневе.

В конце 1862 — начале 1863 года Мария Агеевна вместе с мужем, после его неожиданной отставки с поста товарища министра внутренних дел, жили в Париже. Н. А. Милютин очень тяжело переживал свой вынужденный уход со службы. Уязвленное самолюбие не давало ему покоя, и он явно избегал встреч с должностными лицами. Как описывает Мария Агеевна, в Париже ее муж делил свой досуг «между двумя старцами, сошедшими с политического поприща, гр. Киселевым⁵ и Николаем Ивановичем Тургене-

¹ А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах, т. XVIII, стр. 35.

² См.: И. С. Тургенев, Письма, т. V, М.—Л., 1963, стр. 382—383. Ср.: Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908, стр. 160—174.

³ А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах, т. XXVII, ч. 2-я, стр. 454—455.

⁴ Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦИИАЛ), фонд 869. Объем 2 тысяч единиц хранения.

⁵ Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — русский государственный деятель, в 1837—41 годах провел реформу управления государственными крестьянами, в 1856—1862 годах был послом в Париже, затем вышел в отставку.

вым¹, с которым только что познакомился и с которым дружеские отношения с тех пор не прекращались. Изгнанник 25-х годов проживал в Париже уже около 40 лет и составил себе кружок людей образованных, умных и в высшей степени политически честных, какими наполеоновская Франция не очень была богата и в обществе которых Николай Алексеевич любил находиться. Но всего более любил он самого Николая Ивановича. Живое участие маститого старца ко всему, что делалось в России, в особенности к только что совершившемуся делу освобождения крестьян, и радость его в благополучном разрешении этого вопроса должны были почти с первой встречи сблизить эти две личности. Еще весной 1861 года, до личного с ним знакомства, Николай Алексеевич послал автору «*La Russie et les Russes*» издание Редакционных комиссий, и на эту посылку Николай Иванович отозвался следующим письмом:

«Вербруа, 8 июня 1861

Милостивый государь Николай Алексеевич. Я получил через г. Грота «Издание материалов редакционных комиссий», которое вам угодно было мне предназначить. Приношу вам за это чувствительную благодарность. Проникая в подробности, я все более и более убеждаюсь в огромном труде...»

Приветствуя реформу, он писал: «К несчастью, так называемые «усмирения» превратили мою радость в глубокую печаль. Если следовало кого усмирять, то это самих беснующихся усмирителей»².

И все же наиболее близкими и теплыми были отношения Милютиных с жившим в это время в Париже Иваном Сергеевичем Тургеневым. Как явствует из записей М. А. Милютиной, И. С. Тургенев откровенно и подробно рассказывал ее мужу и ей о своих встречах и переписке с русскими эмигрантами. Так, Иван Сергеевич сообщил Милютиным о своей поездке в Гейдельберг, «куда ездил диспутировать с находящимися студентами и стараться обращать их на пути истинные...» По его рассказам, прием ему был не очень благосклонный, из 60 человек едва 6—7 согласились его слушать и то с горячей протестацией и яростной защитой Герцена и Огарева. Муж очень оплакивает горестное влияние этих людей на молодежь нашу. Какие они политики? Герцен очень умен и талантлив, но, едва выступает из литературного поприща, рассуждает как мальчишка». Оставим на совести Н. А. Милютина его оценку политической деятельности Герцена и Огарева. Отметим лишь достоверность черновой

записи М. А. Милютиной в отношении И. С. Тургенева. Она подтверждается письмом последнего к Герцену от 31 января (12 февраля) 1863 года, в котором И. С. Тургенев сообщал своему адресату: «Я подозреваю, что в Гейдельберге за мной следили шпионы — потому что все мои тогдашние поступки стали известны, хотя в них не было ничего особенного»³. Какие именно поступки имел в виду И. С. Тургенев, он не пояснил. Поэтому свидетельство М. А. Милютиной позволяет получить более широкое представление о том, чем занимался И. С. Тургенев в Гейдельберге.

Но особую значимость имеет следующее место из черновика М. А. Милютиной. Повествуя об отношениях Тургенева с Герценом, мемуаристка пишет, что они «были чисто дружеские, а не политические; в последнее время его переписка с ним окончилась даже бранью, ибо Тургенев выразил явное несочувствие к статьям Огарева. К сожалению, по мягкости, даже дряблости своего характера Тургенев, может быть, подал другой повод обратить на себя подозрение. Как бы то ни было требование немедленно воротиться в Россию (переданное ему послом нашим Будбергом), чтобы отвечать на вопросы комиссии, привело его в немалое смятение — он хотел окончательно разорвать с Россией, эмигрировать».

Благодаря увещаниям мужа, который, несмотря на живость и некоторую долю раздражительности в мелочах, очень осмотрителен и осторожен в делах серьезных, особенно когда касается друзей (а Ивана Сергеевича он очень любит, хоть и называет тряпкой), Тургенев отложил это намерение и остановился на том, что напишет в собственные руки государю письмо, в котором, не отказываясь приехать для объяснений в Петербург, просит отложить возвращение до весны, когда ему нужно по своим делам быть в России.

Николай Алексеевич принял живейшее участие в составлении и отправке этого письма. (Пакет(?) был написан у него в кабинете, и они вместе отнесли Будбергу.) Мнение мужа

¹ Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, заочно приговоренный к вечной каторге. «*La Russie et les Russes*» («Россия и русские») — самое известное его сочинение.

² ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1136, л. 30.

³ И. С. Тургенев, Письма, т. V, стр. 95.

таково, что можно было бы поступить деликатнее с человеком, который несколько выходит из ряда вон по своему таланту. Вот забавен был во время всей этой тревоги другой наш приятель из литераторов, Василий Петрович Боткин, неразлучный друг Тургенева. Он также товарищ Бакунина и Герцена, также имеет на душе переписку с ними, и, хотя следственная комиссия о нем не упоминает, он теперь как на иголках. С одной стороны дружба, с другой — страх, что и его притянут к делу, привели его в такое состояние, что на нем последние дни лица не было. Василий Петрович далеко не отличается гражданским мужеством. На беду его, секретарь посольства объявил Тургеневу, что у него еще несколько имен вызываемых лиц к суду»¹.

Таким образом, выясняется активная роль Н. А. Милютина в неприглядном для писателя инциденте с письмом и исправляется ошибочное утверждение М. К. Лемке о том, что якобы оно было написано по совету А. Ф. Будберга².

Искушенный в придворном этикете, столь насыщенном верноподданнической лестью, Н. А. Милютин в момент полной растерянности И. С. Тургенева, вероятно, оказал решающее влияние как на содержание, так и на тон письма писателя к Александру II. Поведение же И. С. Тургенева и В. П. Боткина очень показательно для значительной части русской умеренно-либеральной интеллигенции, которая в обстановке реакции проявляла трусливость и полную неспособность к решительному сопротивлению. Напрашивается предположение, что именно соединение настойчивого воздействия Н. А. Милютина с политической беспринципностью и мягкотелостью И. С. Тургенева породило верноподданническое обращение последнего к царю.



Борис Чельшев
(Кишинев)

История одного рисунка

Наше представление о художнике зачастую складывается лишь на основе его законченных и общепризнанных полотен. За пределами внимания остаются десятки и сотни различных этюдов, набросков, рисунков, эскизов. А ведь этот материал — частичка души художника, какой-то момент в его жизни, творческой биографии. Даже как будто бы и незначительный на первый взгляд рисунок может рассказать много интересного.

Пожелтевший лист бумаги. На нем карандашный рисунок — фигура молодого человека с длинными волосами. Внизу, в правом



¹ ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1136, лл. 150 об. — 152 об.

² Мих. Лемке, Указ. соч., стр. 164.

углу, подпись: «Это Малявин в 1902 году». В левой части листочка фигура сидящей женщины, и ниже — две буквы: «В. С».

Да, это Валентин Александрович Серов изобразил молодого петербургского художника Филиппа Андреевича Малявина — одного из лучших учеников Репина, впоследствии академика живописи.

Филипп Малявин как художник больше всего обращал внимание на простых крестьян. Он находил для своих картин типичные лица, фигуры, образы всюду: в русских деревнях, на больших дорогах, на базарах. «Вихрь», «Крестьянская девушка с чулком», портрет матери, сотни набросков, этюдов с лицами и фигурами крестьянских девушек, женщин, мужиков. И все это яркое, пестрое, цветистое, выполненное в своеобразной манере.

Филипп Малявин был не только близким знакомым Серова. Во многом их объединяла общность тематики — изображение русского крестьянина. И Серов, приезжая в 90-х годах из села, привозил такие картины, как «Баба в телеге», «Баба с лошастью». Полотна обоих художников экспонировались вместе на выставках.

Малявин пользовался особым расположением руководителя Советского государства В. И. Ленина. Ильич подолгу беседовал с ним о жизни, искусстве. Художнику удалось сделать ряд карандашных рисунков с вождя, которые хранятся сейчас в фондах Центрального музея В. И. Ленина...

...Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР художник Васильев показывает мне рисунок Валентина Серова, изображающий Малявина.

— Видите ли, — говорит он, — рисунок этот представляет несомненную ценность. Ведь портретов Филиппа Малявина, написанных другими художниками, по существу, нет, за исключением литографии Л. С. Бакста и портрета, выполненного художником Б. М. Кустодиевым. Да и судьба этого рисунка прямо-таки романтична.

И художник Васильев поведал мне удивительную историю.

В самом начале нашего века в петербургских художественных салонах, на вечерах, где сходились музыканты, актеры, живописцы, нередко появлялась молодая девушка — художница Евгения Малешевская. Ученица Репина, она только что покинула стены Петербургской академии художеств и теперь всецело отдавалась любимому занятию — живописи. Малешевская посещала вечера художников, где они нередко рисовали друг друга. Живопис-

цы дарили на память ей свои работы, она отдавала свои.

Евгения Марцелиновна попала как-то на вечер к молодому художнику Филиппу Малявину. Был там в это время и Валентин Александрович Серов. Он набрасывал от нечего делать на листке бумаги первое, что попадется на глаза, — вешалку с висящими пальто, видневшуюся из раскрытой двери.

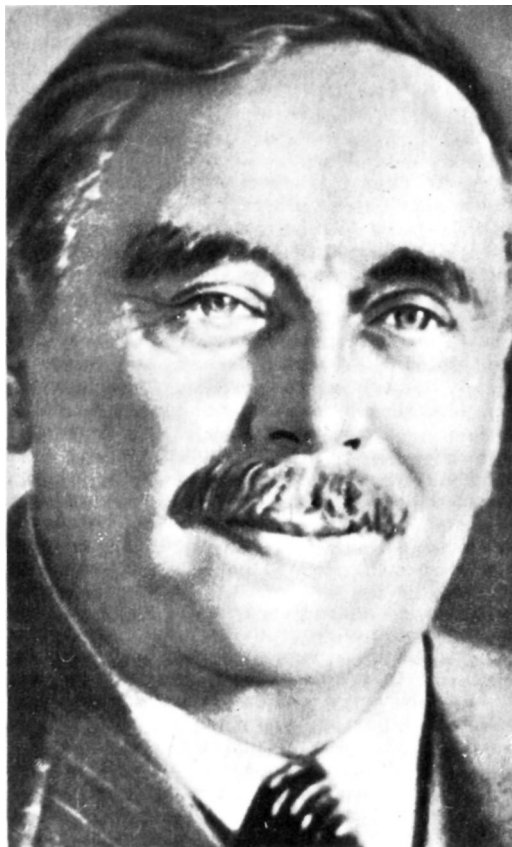
Сделав набросок, Серов перевернул лист и стал рисовать сидящую на пуфе женщину, как видно мать Малявина. Набросав контуры, он вдруг остановился. Карандаш застыл без движения в его руке: хозяин дома Филипп Малявин стоял в картинной позе, внимательно слушая одного из гостей. Карандаш Серова быстро забегал по бумаге. Вот на листе появилась голова с чуть вьющимися волосами; несколько штрихов — и вся фигура художника запечатлана в непринужденной позе. Небольшая доработка рисунка, и выставляются две буквы, инициалы автора в углу.

Как попал этот набросок к Малешевской, неизвестно. Но зато известно, что еще до Октябрьской революции Евгения Марцелиновна Малешевская переехала из Петербурга в Кишинев и поселилась с сестрою в доме на Купеческой улице (ныне улица Котовского в Кишиневе, дом № 75). Она по-прежнему занималась живописью; сестра, профессор Кишиневской консерватории, вела большую педагогическую работу. В доме Малешевских бывали известные музыканты, композиторы, художники, приезжавшие в Кишинев. Здесь пели и Федор Шаляпин и Александр Вертинский; композитор Рахманинов исполнял на фортепьяно свои новые произведения.

В 1941 году в Кишинев приехал молодой художник, окончивший ВХУТЕМАС, Алексей Александрович Васильев. Он познакомился с ученицей Репина, стал готовить выставку ее полотен, организовал о ней радиопередачу. Но началась Великая Отечественная война. Малешевская тяжело болела, и эвакуировать ее в тыл было нельзя... Когда в 1944 году Васильев вернулся в освобожденный Кишинев, Евгения Марцелиновна он уже не застал в живых. Она скончалась в 1942 году.

К счастью, папка с рисунками и полотна покойной Малешевской сохранились. Васильев бережно собрал более ста тридцати работ художницы и передал их в музей.

И вот тогда-то, рассматривая одну из папок с карандашными набросками, Васильев обнаружил рисунок, изображающий художника Малявина, выполненный замечательным мастером.



Б. Шоу
Герберт Уэллс
 (Каким я знал его)

Итак, нашего Г. Дж. больше нет. Он сам сочинил себе эпитафию, а написанная им самим история его жизни, подобно большинству автобиографий, куда более правдива, чем любое жизнеописание постороннего, и мне незачем пытаться повторить ее на иной лад. Но так как я знал этого человека — а впечатление, которое он производил на меня, он сам передать не смог бы, даже если бы пожелал, — то о нем — плохо ли, хорошо ли — я поведаю сам.

Г. Дж. не принадлежал к благородному сословию. Никто лучше его не знал это сословие, чему беспорным доказательством — его роман «Клиффорд». Но он не мог или не желал играть роль человека «из благородных». Ни одна из устоявшихся общественных категорий не подходила для него. Отец его служил садовником и был профессиональным

игроком в крикет. Мать была экономка, причем, по свидетельству сына, не слишком умелая. Супруги содержали посудную лавочку в Бромли, где малыш Г. Дж., сидя в полуподвале, созерцал сквозь решетку в тротуаре подметки местных жителей, отмечая, что они по большей части дырявые. Случалось ему наблюдать мельком и жизнь высшего общества, гостя в имени, где служила его мать и где его самого, по-видимому, изрядно баловали, хотя вспоминал он об этом после с чувством, весьма далеким от благодарности.

Он начал зарабатывать себе на жизнь приказчиком у торговца полотном; по мнению его матери, о лучшем месте нельзя было и мечтать. Затем он поднялся до положения школьного учителя, окончил университет, получив звание бакалавра наук, а вскоре, подобно Диккенсу и Кипплингу, перешагнул че-

рез это, став знаменитым рассказчиком, популярнейшим писателем, навсегда свободным от материальных затруднений, человеком, которому были открыты все сословия Англии. Так он оказался вне класса. Эрберт Уэллс стал Г. Дж. Уэллсом, эсквайром, но никогда не держался ни джентльменом, ни приказчиком, ни школьным учителем — никем на свете, кроме себя самого. И что это был за чаровник!

К одной категории, впрочем, его все-таки можно причислить. Это был самый избалованный ребенок, каково я когда-либо знал. Тех, кто полагал, будто в молодые годы талант Уэллса созрел в безвестности и нужде, это ставило в тупик. На самом же деле успех пришел к нему рано, и поднимался он с нижней ступеньки по лестнице славы, ни разу не оступившись и не встречая преград. Он никогда не ложился спать на пустой желудок, не бродил без гроша в кармане по улицам в поисках работы, не одевался в потрепанное платье и был всеми облакан, как своего рода юное чудо. Когда он упрекнул меня в том, что я сноб и штампованный дворянчик, мне пришлось ответить, что ведь ему-то не довелось испытать на себе ужасов хронического безденежья, с которыми так хорошо знакомы потомки младших отпрысков аристократических семейств, вынужденные сохранять замашки и образ жизни «благородных» и лишенных средств на это. Его рассказы и романы редакторы и издатели буквально выхватывали у него из рук, я же, написав пять увесистых романов, должен был девять лет терпеть сплошные неудачи, пока хоть один солидный издатель решился напечатать мои вещи. Я огрубел и закалился в испытаниях — Г. Дж. был до того изнежен, что превратился в чувствительнейшее растение литературной теплицы. Читатели воображали, будто этот все понимающий человек наделен и даром всепрощения. Ничуть не бывало! Малейшая тень неодобрения повергала его в ярость, и он разражался потоками брани, не щадя самых преданных своих друзей.

Однако не спешите заключить из всего этого, что Г. Дж. был несносным брюзгой, который повсюду наживал себе врагов. Нет! У Г. Дж. не было ни единого недруга на свете. Он был так обаятелен, что как ни бушевал против нас всех, никого это не задевало. Его нападки были беззлобны, уговоришь, уймешь его, и они стихали, как слезы и крики обиженного ребенка. Он и сам преждедаль друзей, что на него порой «находит»

и не надо обращать на это внимания. Однажды он посоветовался с Беатрисой Уэбб, стоит ли ему занять какой-то официальный пост, и когда она прямо, но категорически заявила, что для этого он недостаточно хорошо воспитан, что, кстати, было чистойшей правдой, — чего он только не вытворял: и издевался над ней, и чернил ее, и пасквили на нее сочинял — а между тем я никогда не слышал, чтобы она сказала о нем хоть одно дурное слово, и в конце концов они стали самыми лучшими друзьями.

Как-то он разбил меня на двух столбцах газеты «Дейли кроникл» в таких выражениях, что мне, по справедливости, оставалось бы оттузить его, и только, а на другой день мы встретились на заседании подкомитета Общества литераторов и беседовали так же сердечно, как всегда, — мне даже в голову не пришло, что может быть иначе; правда, он-то сам пришел, явно опасаясь иного приёма, но неловкость тотчас рассеялась, уступив место обычной нашей душевной приязни.

Обаянию его не было границ. Мне довелось однажды выступать против него на публичном диспуте; он в то время вступил в Фабианское общество и принялся нападать на его лидеров (борцов закаленных и опытных, не ему чета, лет на десять к тому же старше его), не только осуждая их политику, но безудержно поливая клеветой их самих и приписывая им бесчестные побуждения. Я намеренно вызвался выступить в защиту интересов общества, дабы спасти Г. Дж. от куда более свирепой расправы. Что я без труда разбил его в пух и прах — заслуга невелика: он был похож на новичка-боксера, который сам себя нокаутирует в каждой схватке; примечательно другое: общество, не отдав ему, правда, ни одного голоса, выразило мне, своему адвокату, порицание за излишнюю жестокость, и сочувствие было целиком на стороне Г. Дж. Будь он самым тактичным и выдержанным из смертных, его и тогда так сильно бы не любили.

Г. Дж. был честен, трезв и прилежен, а эти качества не всегда сопутствуют таланту. Он любил собирать молодежь и придумывать для нее новые игры или с свистком в руке, как подобает сыну спортсмена, выступать судьей в старых. В эпоху таких великих мастеров диалога, как Честертон, Беллок и Оскар Уайльд, этот король беседы, он был первоклассный собеседник, без тени актерской позы. Никто не мог пожалеть, что встретился с ним.

Перевела с английского **М. Кан**



Д. Парро, А. Вюрмсер

Бальзак и дело Пейтеля

В Париже 6—7 ноября 1964 года состоялся коллоквиум, в котором приняли участие видные балзаковеды Франции и других стран. На коллоквиуме было прочитано больше двадцати сообщений, по-новому осветивших отдельные стороны жизни и творчества писателя. Материалам коллоквиума посвящен специальный балзаковский номер журнала «Эроп» (январь — февраль 1965 года).

Ниже мы публикуем сообщение лионского адвоката А. Парро «Бальзак и дело Пейтеля» и выдержки из выступления его оппонента — известного писателя А. Вюрмсера.

А. ПАРРО:

Чтобы понять, почему Оноре де Бальзак принял участие в деле Пейтеля, нужно вспомнить все обстоятельства этого дела и ту обстановку, в которой проходил процесс.

В ночь на 1 ноября 1838 года в полумиле от Бэллей, у холма Ля Дард было совершено преступление. Ночь была темная, шел проливной дождь. Что же произошло в этом пустынном месте? Лишь теперь можно со всей уверенностью заявить, что истина установлена полностью.

Факты таковы: нотариус Пейтель незадолго до этого события купил контору в Бэллей и женился на молодой девушке Фелиситэ Альказар. Пейтель на 14 лет старше жены. Поздним вечером Пейтель возвращается из Макона вместе с Фелиситэ. Супружескую пару сопровождает слуга Луи Рэй, двадцатилетний юноша. Внезапно обернувшись, Пейтель видит, что жена обнимается со слугой, незаметно прокравшись в коляску. В ящике на козлах хранится седельный пистолет. Пейтель достает пистолет и в упор стреляет в любовников. Пистолет заряжен двумя пулями, обе попадают в лицо Фелиситэ. Она пытается убежать, блуждает по затопленным лугам, падает и гибнет. Разъяренный Пейтель гонится за слугой, стреляет в него из двух небольших пистолетов, но не попадает. Настигнув обидчика, Пейтель убивает его ударами молота по голове. После этого, спустившись с Ля Дард, нотариус находит труп жены. Чтобы перенести труп, ему нужна помощь, и Пейтель стучится в дверь местного кузнеца Термэ. Они переносят тело Фелиситэ в коляску; Пейтель привозит труп в Бэллей.

Итак, по всем обстоятельствам дело Пейтеля — типичная любовная драма, и поэтому на убийцу распространяется положение § 2

статьи 324 уголовного кодекса. На основании этой статьи муж, убивший жену, застигнутую с любовником, не несет никакой кары. Но если избрать такой способ защиты, Пейтелю придется раскрыть все обстоятельства дела, рассказать, что толкнуло его на убийство двух человек. Чтобы доказать свою невиновность, ему придется признать себя обманутым мужем, признать, что Фелиситэ предпочла ему человека из весьма низкой социальной среды. Ночью Пейтель все взвешивает и к утру сочиняет ложную версию. По версии Пейтеля, Луи Рэй якобы хотел убить своих хозяев с целью грабежа; Фелиситэ он убил, и Пейтель прикончил его с целью самозащиты. Версия нотариуса в общем довольно проста. Он поставил слугу на свое место и дальше рассказывал все, как было. Именно так, спасая свою честь и честь жены, и построил защиту Пейтель. Нотариус был уверен, что родители жены поддержат его версию, ибо от нее в конечном счете пострадает лишь один Луи Рэй, или, вернее, память о нем. А Луи Рэй никого не интересует, он всего только слуга, да к тому же еще и найденыш. Вымысел Пейтеля не отличался оригинальностью. Не раз уже за долгую историю человечества любовника во избежание скандала и огласки представляли вором. Да и потом, кто усомнится в правдивости Пейтеля, человека почтенного и к тому же единственного свидетеля драмы?

К несчастью, нотариус потратил несколько часов на то, чтобы обдумать свою версию в деталях, и за это время обронил несколько неосторожных замечаний. Он разыграл небольшую инсценировку, чтобы доказать версию преднамеренного нападения с целью грабежа. Но увы, медицинская экспертиза, произведенная на следующий день тремя экспертами, оказалась для него крайне неблагоприятной, так как ставила под сомнение его рассказ: во-первых, экспертиза отрицала возможность убийства Фелиситэ одним выстрелом из большого седельного пистолета, а во-вторых, утверждала, что пострадавшая не могла передвигаться после ранения. Заключение это было дано 3 ноября 1838 года.

И дело Пейтеля с самого начала пошло по ложному пути, ибо не только Пейтель дал ложные показания, но и эксперты дали неправильное заключение.

На основании данных экспертизы версию Пейтеля объявили несостоятельной. Нотариуса тотчас же арестовали. Когда следователь познакомился с первыми показаниями аресто-

ванного, у него сразу мелькнула догадка, что за этим скрывается любовная драма. Однако это предположение вызвало яростный отпор со стороны Пейтеля, и он обратился за помощью к доктору Оливье из Анжера, человеку весьма авторитетному. С его помощью без особого труда удается доказать ошибку первых экспертов. Основные пункты обвинения благодаря этому отпадают. У Пейтеля появляется надежда, что он сумеет защитить свою позицию на суде. Его защитник, видный лионский адвокат Маржеран, верит в успех, поскольку в обвинении не указан мотив, который мог бы толкнуть нотариуса на столь тяжкое преступление.

26 августа 1839 года начались прения. Альказары, родственники пострадавшей, не собирались предъявлять гражданский иск. Суд заседал четыре дня и приговорил Пейтеля к смерти, несмотря на речь адвоката, длившуюся около семи часов. Приговор был вынесен 29 августа 1839 года.

Теперь можно перейти к выводам: в течение десяти месяцев, пока шло следствие, нотариус Пейтель имел полную возможность строить защиту по своему усмотрению. И тем не менее суд признал его виновным в убийстве двух человек без каких бы то ни было смягчающих вину обстоятельств. Чтобы спасти жизнь осужденного, оставался лишь один выход: кассационная жалоба и просьба о помиловании. Гаварни¹ и Луи Денуайе² рассказывают Бальзаку о деле Пейтеля, и по их просьбе начиная с 6 сентября Бальзак принимает живое участие в деле. 7 сентября Бальзак предпринимает отчаянные попытки раздобыть денег на поездку, а уже 8-го художник Гаварни и Бальзак трогаются в путь. Проехав 440 километров на почтовых и проведя 30 часов в пути, они к ночи добираются до Бурга. Ранним утром Бальзак посещает Пейтеля в тюрьме, тот раскрывает ему истинную подоплеку преступления, и Бальзак очертя голову бросается на его защиту. Для этого он решает выступить со статьей в газете «Ле Сьекль». 10 сентября Бальзак осматривает место преступления, 11 сентября он вместе с Гаварни возвращается в Бург. К этому времени в газетах уже появились сообщения

¹ Гаварни (1804—1866) — французский художник-график, иллюстратор очерков Бальзака.

² Денуайе Луи (1802—1866) — французский писатель, основатель «Общества литераторов».

о том, что Бальзак выступит в защиту Пейтеля. 12 сентября Бальзак возвращается в Париж, 14-го он заболевает, но к 15 сентября у него уже готов первый набросок статьи «Письмо о процессе нотариуса Пейтеля», а 16 сентября почти готов и окончательный текст. И вдруг 17 сентября события принимают неожиданный оборот. Пейтель возражает против того, чтобы его признание предали гласности. Он не хочет порочить репутацию своей жены. 18 сентября Оноре де Бальзак работает над окончательным текстом «Письма», но 21 сентября адвокат Маржеран по требованию своего клиента обращается к Бальзаку с просьбой не ссылаться на признание Пейтеля.

Бальзак считается с волей осужденного, но все же 27 сентября публикует «Письмо» в газете «Ле Съекль». Чтобы понять всю сложность положения, в котором оказался Бальзак, нельзя забывать о запрете Пейтеля, ставшем непреодолимой преградой на пути писателя. Он должен был себя постоянно ограничивать, и его письмо, блестящее в той части, где автор доказывает всю неправдоподобность версии убийства из корыстных побуждений, становится далее крайне бледным и неубедительным. Письмо это в том виде, в каком Бальзак его опубликовал, могло нанести вред Пейтелю по следующим причинам: во-первых, оно не сообщало ничего нового, ничего такого, что не было бы уже ранее известно присяжным, и во-вторых, Бальзак хоть и не прямо, но все же дает понять, что из седельного пистолета стрелял сам Пейтель, а значит, и Фелиситэ убил он. Между тем до этого осужденный нигде ни разу не признавал этого факта.

Письмо Бальзака, несомненно, повлияло бы на общественное мнение, если бы в нем содержались факты, опровергающие вину Пейтеля или хотя бы смягчающие ее, но благодаря своей путаности и неубедительности оно лишь подтвердило вину Пейтеля.

Этот документ, содержащий нападки на приговор суда, не мог не иметь самых плачевных последствий. В четверг 10 октября кассационный суд отклонил просьбу Пейтеля о помиловании, король Луи-Филипп согласился с решением суда, и 28 октября Пейтель был казнен в Бурге. Бальзак выступил с обвинением Фелиситэ Пейтель, не приведя ни единого доказательства ее вины. А ведь мысль о том, что убийца для спасения своей жизни пытался еще и опорочить жертву, могла вызвать лишь возмущение. О. де Бальзаку, несомненно, следовало воздержаться

от вмешательства в это дело, после того как его лишили возможности опубликовать новые данные и, в частности, предоставить в распоряжение суда письмо капитана Монришара, подтверждавшее связь Луи Рэя и Фелиситэ Пейтель.

Выступив в роли импровизированного адвоката, Бальзак забыл о том, что защита должна быть прежде всего обоснованной, и если уж опытный адвокат Маржеран потерпел неудачу, то О. де Бальзак мог рассчитывать на успех лишь в том случае, если бы он опирался на новые факты, которые мог подтвердить документально.

Анализируя выводы из дела Пейтеля, характеризующие самого писателя и его творчество, нельзя не признать, что это дело показывает его в самом привлекательном свете. Нельзя не восхищаться великодушием Бальзака, который после того как растянул ногу, был в течение нескольких недель прикован к постели в своем имении в Жарди, но едва придя в себя после болезни, ни минутой не колеблясь, принимает участие в судьбе человека, не мешкая отправляется в долгое тридцатидневное путешествие, занимает деньги на поездку и тратит пятнадцать дней своего драгоценного времени на защиту Пейтеля, а ведь в это время за ним самим гонится по пятам свора кредиторов. Он почти не знает Пейтеля и тем не менее использует все свое влияние для его защиты. На первой исправленной корректуре «Письма о процессе Пейтеля» Бальзак пишет слова, идущие из самого сердца: «Все за работу! Наймите еще рабочих; дело идет о жизни человека!» Не так уж много найдется писателей, способных на такое великодушие.

Но дело не только в этом. Интересно разобратся в отношении писателя к самому Пейтелю. Оноре де Бальзак оправдывает Пейтеля, давшего ложные показания и оклеветавшего своего слугу; нотариус обвинил Рэя в грабеже, а ведь бедный юноша был виноват лишь в том, что уступил голосу страсти.

А. Вюрмсер отлично показал в «Бесчеловечной комедии», что позиция и провинциального нотариуса и светского писателя была классово обоснованной: когда речь идет о буржуазном понятии чести, обвиняемому дозволено направлять правосудие по ложному пути — ведь с этим связаны денежные и семейные интересы, а они, по мнению О. де Бальзака, играют главную роль в правильно организованном обществе. Поэтому Бальзак прежде всего винит правосудие в не-

понимании этих важнейших вопросов. А между тем, если бы писатель захотел докопаться до сути, он убедился бы, что истинным виновником драмы является так называемый социальный «порядок». Нелегко бороться с собой молодому человеку, красивому и пылкому, и маленькой провинциальной дикарочке, чей долг перед старым мужем, капризным, требовательным, диктуется лишь положениями гражданского кодекса и брачного договора.

Интересно и то, как сам писатель оценивает дело Пейтеля и свое участие в нем. Прежде всего его, как и всегда, занимает проклятый денежный вопрос. В феврале 1840 года Бальзак пишет Ганской:

«Вы не писали мне, потому что редко получали от меня письма: да, я писал редко, так как у меня не было денег для отправки писем и я не хотел Вам в этом признаться. Вы видите теперь, какую нужду мне приходилось терпеть... Все это очень страшно и очень печально, но это так же верно, как то, что есть на свете Украина, а на Украине — Вы. Да, были дни, когда мне приходилось довольствоваться лишь булочкой, которую я съедал на бульварах. К тому же мне пришлось за это время очень много выстрадать: моему самолюбию, гордости, надежде — всему был нанесен удар... Дело Пейтеля обошлось мне в 10 тысяч франков, а говорили, что я получил за него 50 тысяч! И это дело и падение, приковавшее меня на 45 дней к постели, помешали моей работе и стоили мне более 30 тысяч франков».

А затем Бальзак в завуалированной форме рассказывает все то, что ему известно о деле Пейтеля, все то, что он так и не смог опубликовать. Разочарование Бальзака вполне понятно. Под влиянием этого чувства он писал Ганской 29 октября 1839 года, сразу же после казни Пейтеля: «Наградой мне послужила лишь клевета. Теперь мне кажется, что, увидев, как убивают невинного, я не стану вмешиваться. Я поступлю так, как поступают испанцы, которые спасаются бегством, видя, как убивают человека».

Этот процесс еще более укрепил веру Бальзака в то, что над людьми всегда тяготеет рок. Именно так обстояло дело и с процессом нотариуса: ведь поводом к его аресту послужило ошибочное заключение экспертов. И именно ошибка обусловила в конечном счете не только арест, но и приговор. Против рока, разящего души благородные и чистые, бороться невозможно. Обманутый

Пейтель убил жену. Все смягчающие вину обстоятельства на его стороне. Он шадит память жены, которая того не стоит, он не хочет признать свой позор, но тут чисто внешнее, случайное обстоятельство — ошибка экспертов — сметает искусно возведенное здание защиты. Бальзак, импровизированный адвокат, находит в этом деле лишь подтверждение своей основной идеи: спасение обретают лишь те, кому покровительствует рок, но такие чудеса редки. Писатель не скрывает своего откровенно скептического отношения к роли людского правосудия. Для него защитник — фигура, нужная лишь для соблюдения правил игры. Адвокат может быть велик, он может достичь недостижимых высот, он будет на волосок от успеха, но в последнюю минуту какое-нибудь непредвиденное обстоятельство или искусно подстроенное событие разрушит все надежды. А если справедливость все же восторжествует, то это наверняка случится так поздно, что ничего уже нельзя будет предотвратить. Насморк, который подхватил следователь Попино в «Деле об опеке», помешал ему явиться в положенный день во Дворец правосудия, и это позволило заменить его более сговорчивым представителем закона. Это один из примеров тех неожиданных ударов судьбы, какими изобилует «Человеческая комедия».

Значение дела Пейтеля, по существу, не в том, чем оно было на самом деле, а в том, чем оно могло бы стать. Представим себе, что вмешательство Бальзака увенчалось успехом, что дело пересмотрено и Пейтель оправдан. Справедливость восторжествовала бы, а теория неизбежности несчастья потерпела бы крах. Пейтель обзавелся бы новой женой и детьми и стал бы живым опровержением бальзаковских теорий. Не будем искать в «Человеческой комедии» дальнейших примеров, подкрепляющих наши выводы, это завело бы нас слишком далеко. Однако я все же думаю, что Бальзак не без мрачного торжества переживал свое поражение.

Начало жизни Бальзака было отмечено делом Бальза, когда дядюшка писателя поплатился жизнью за соучастие в преступлении, которое принесло ему всего 200 франков. В деле Пейтеля правосудие вновь проявило беспощадность: и в драме, вызванной корыстью, и в драме, где на карту поставлена Честь, конец одинаково ужасен. Помимо редких, но грозных проявлений «имманентной» справедливости, когда на виновных,

казалось бы, обрушивается гнев самого неба, людское правосудие оказывается бесильным. Заключительные слова Бальзака в «Пьеретте»: «Согласитесь, что закон мог бы служить превосходной защитой для общественных плутней, не будь божественной справедливости» — звучат не только как вывод и вопль отчаяния, в них, на мой взгляд, слышится и голос протеста.

А. ВЮРМСЕР:

У меня возникают два вопроса в связи с выступлением А. Парро, который изучил дело Пейтеля и так интересно рассказал нам о нем.

Первый связан с проблемой права и морали. Нотариус не скрыл правды от Бальзака, а Бальзак, проявив на сей раз чрезмерную сдержанность, так и не обнародовал те факты, которые изменили бы или по крайней мере могли изменить приговор присяжных. Он скрыл и причину убийства, то есть главное смягчающее вину обстоятельство. Он солгал, или, как он сам говорил, проявил «сципионовскую» сдержанность. Тот же Бальзак в «L'Envers de l'Histoire Contemporaine»¹ осыпает проклятиями Бурлека и заставляет его терзаться угрызениями совести, хотя прокурор узнает о невинности мадам де Шантери лишь через пятнадцать лет после процесса, тогда как сам он, отлично зная о невинности Пейтеля, не спас его от гильотины. Как мы должны оценить поведение человека, который под предлогом сохранения чужой тайны скрывает истину и направляет правосудие по ложному пути? Ведь именно эта тайна позволила обществу совершить преступление, которого — не молчи Бальзак — могло бы и не быть. Этот вопрос так и остается открытым.

Второй вопрос — вопрос исторического порядка. Бальзак взывает к классовой солидарности «человека из той социальной среды, к которой и принадлежит большинство моих читателей». То, что он пользуется этим доводом лишь потому, что не может употребить главный козырь («Она меня предала, и я ее убил»), — дело случая. Однако отнюдь не случайно то, что он требует для буржуазии таких же привилегий в области

юрисдикции, какими пользовалась при феодализме аристократия. Он поднимает этот вопрос как вопрос принципиальный. «Всякий раз, когда обвиняемый принадлежит к высшим классам общества, — пишет Бальзак, — суд должен проявлять величайшую осторожность и вести следствие с величайшей осмотрительностью». Для Бальзака речь идет о верности своему классу, и тут он руководствуется законом джунглей: «Мы одной крови, ты и я». Пейтель получил такое же воспитание, какое получают все дети из порядочных семей. Состояние его — семьдесят-сто тысяч экю. Как нотариус он принадлежит к той самой буржуазии, которая теперь почти суверенна во Франции, и поэтому «разве не наш долг встать на его защиту?» Бальзак поставил вопрос об отношениях власти и правосудия, и это, на мой взгляд, самое интересное в деле Пейтеля. Здесь Бальзак — выходец из буржуазии, противопоставляет себя буржуа прогрессивному, защищавшему Каласа², и другому прогрессивному буржуа, защищавшему Дрейфуса³ против власти, представлявшей его собственный класс. С другой стороны, понятны и причины такого превращения: адвокаты и дельцы, которые за десять лет до рождения Бальзака вели рабочих на штурм Бастилии, через два года после смерти Бальзака стреляют в этих же рабочих. К этому времени прошло уже полвека с тех пор, как буржуазия стала правящим классом, и утверждение, что она как таковая имеет право на свое правосудие, которое выше Правосудия вообще, вполне соответствует представлениям тех времен, над которыми «Человеческая комедия» приоткрывает завесу.

Перевела с французского

Ф. Ефимова

1. «Оборотной стороне современной истории». 2. Калас Жан — французский купец-протестант, казненный в 1762 году по подозрению в убийстве сына за переход в католичество. Вольтер добился его оправдания. 3. Дрейфус Альфред — офицер французской армии, еврей, несправедливо обвиненный реакционной военщиной в шпионаже. В оправдании Дрейфуса большую роль сыграло выступление Эмиля Золя с письмом «Я обвиняю» к президенту республики.

¹ «Оборотной стороне современной истории».

² Калас Жан — французский купец-протестант, казненный в 1762 году по подозрению в убийстве сына за переход в католичество. Вольтер добился его оправдания.

³ Дрейфус Альфред — офицер французской армии, еврей, несправедливо обвиненный реакционной военщиной в шпионаже. В оправдании Дрейфуса большую роль сыграло выступление Эмиля Золя с письмом «Я обвиняю» к президенту республики.



Н. Натанов
Николай Бестужев:
портрет Рылеева

В сибирской каторге и ссылке декабрист Николай Александрович Бестужев (1791—1855) создал целую портретную галерею друзей-декабристов. Это был единственный в своем роде памятник лучшим людям страны, чьи мысли, имена и образы власть стремилась предать забвению.

И. С. Зильберштейн, опубликовавший основную часть этих портретов и посвятивший им большое и содержательное исследование¹, насчитал 125 известных живописных работ Бестужева (из них — 115 портретов декабристов и их жен)².

Среди изображений были и нарисованные по памяти (знаменитый портрет брата, А. А. Бестужева, сделанный в 1828 году, портреты А. П. Барятинского, В. Л. Давыдова и другие). Странным могло казаться, что в галерее Бестужева отсутствовал портрет К. Ф. Рылеева. Ведь Николай Бестужев был не только близким другом Рылеева, но и автором замечательных воспоминаний о нем, написанных в Сибири и впервые опубликованных в 1861 году в «Полярной звезде» Герцена и Огарева.

Автор данной заметки считает, что следует с доверием отнестись к портрету К. Ф. Рылеева, опубликованному М. Ю. Барановской в 1950 году как работа Н. А. Бестужева³. Портрет хранится в Ленинграде в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, в альбоме Николая Васильевича Гербеля⁴ и представляет собой карандашный рисунок, наклеенный на лист альбома. Под изображением Рылеева рукою Н. В. Гербеля написано: «Портрет К. Ф. Рылеева, сделанный на память Н. А. Бестужевым в Петровском (в Сибири)».

Нет ничего удивительного в том, что этот портрет оказался у Гербеля. Поэт и переводчик Н. В. Гербель был в 50—60-х годах XIX века одним из активнейших собирателей и распространителей запрещенной в России литературы. Он участвовал в подготовке сборника «Русская потаенная литература

¹ И. С. Зильберштейн, **Николай Бестужев и его живописное наследство. «Литературное наследство», т. 60, кн. 2, 1956.**

² Там же, стр. 10.

³ М. Ю. Барановская, **Декабристы-художники. «Искусство», 1950, № 5, стр. 75.**

⁴ Отдел рукописей ГПБ имени Салтыкова-Щедрина, ф. 179, ед. хр. 12, л. 177. Пользуюсь случаем, чтобы выразить мою благодарность Т. Г. Цяловской, чья консультация была для автора этой работы очень полезной.

XIX века», выпущенного Вольной типографией Герцена и Огарева осенью 1861 года. При содействии Е. И. Якушкина, П. А. Ефремова, М. И. Семевского, В. И. Касаткина и других литераторов и историков Н. В. Гербель издал за границей «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений» (Берлин, 1861), «Полное собрание сочинений Рылеева» (Лейпциг, 1861), «Собрание стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862).

Содержание альбома, в составе которого находится портрет Рылеева, также довольно определенно характеризует обладателя и могло погубить его в случае успешного жандармского налета. Гербель сохранил в альбоме, например, фотографию Сигизмунда Сераковского (под нею подпись Гербеля: «Виделся с ним в последний раз в январе 1862 г.»), визитную карточку и фотографию Герцена, а также два письма Герцена и Огарева (одно — к самому Гербелю, а одно — к лицу, чья фамилия из предосторожности выскоблена)¹.

Все материалы, содержащиеся в альбоме Гербеля и поддающиеся датировке, относятся к 50-м — началу 60-х годов XIX века, хотя расположены они без хронологической последовательности. Вполне естественно предположение, что тогда же попал к Гербелю и бестужевский портрет Рылеева.

В то время группа прогрессивных литераторов и общественных деятелей вела борьбу за публикацию сочинений Рылеева в России. Еще в 1858 году И. И. Пущин и Е. И. Якушкин подготовили издание Рылеева, которое, однако, не было разрешено цензурой. Затем материалы этого издания вместе со вступительной статьей Е. И. Якушкина были переданы Н. В. Гербелю, который обладал хорошими связями с немецкими издательствами. По сохранившейся переписке Н. В. Гербеля можно судить, что в подготовке заграничных изданий ему, кроме Е. И. Якушкина, помогали П. А. Ефремов, В. И. Касаткин, М. И. Семевский и др. Возможно, существует какая-то связь между бестужевским портретом Рылеева и первым полным собранием сочинений Рылеева, которое Гербель осуществил за границей в 1861 году. Вступительная статья к этому собранию написана на основе прежнего предисловия Е. И. Якушкина. Через М. И. Семевского Гербель мог быть свя-

зан и с членами семьи Бестужевых: именно в составе «Полного собрания сочинений Рылеева» были впервые опубликованы отрывки из воспоминаний Михаила Александровича Бестужева.

Таким образом, сохранение портрета Рылеева среди материалов Гербеля представляется естественным и закономерным.

Рисуя профиль Рылеева по памяти, через пять-семь лет после казни поэта, Бестужев представил погибшего друга вдохновенным и молодым. В то же время портрет будто подернут дымкой скорби, грустные воспоминания будят задумчивый, устремленный куда-то взгляд поэта, его нежные черты, мягкая линия подбородка и белизна лица, подчеркнутая зловещим черным воротником. Портрет вызывает в памяти начальные знаменитые строки из воспоминаний Николая Бестужева: «Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи². Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобой? Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? — сказал Рылеев.

Портрет Рылеева, созданный Николаем Бестужевым между 1830 и 1839 годами (время пребывания в Петровском заводе), дополняет воспоминания декабриста о Рылееве, может быть, сопутствовал им. Отныне невозможно представить себе издание этих исключительных по ценности воспоминаний, не сопровождаемое публикуемым портретом.

¹ Ленинградская исследовательница Е. Н. Дрыжакова доказала, что адресат письма — декабрист Н. Р. Церинов (см. А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXVII, стр. 653—654).

² Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной:
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю.

О. А. Сайон
Н. А. Рубакин —
народоволец

Известный русский писатель-просветитель и библиограф Николай Александрович Рубакин (1862—1946) в юные годы участвовал в революционном движении. Свидетельство об этом сохранилось в архивах Департамента полиции¹.

Весной 1883 года в Петербурге возникла революционная организация, объединявшая студенческие кружки и группы высших учебных заведений обеих русских столиц. Она получила название «Студенческой лиги», или «С.-Петербургской студенческой корпорации». В числе руководителей организации жандармский документ называет и Н. А. Рубакина, студента Петербургского университета.

«Студенческая лига» вела революционную пропаганду среди студентов. Она имела кассу, составленную из добровольных пожертвований, библиотеку революционной литературы, намеревалась издавать свой печатный орган. Корпорация была связана с Красным Крестом партии «Народная воля» и собирала деньги для помощи ссыльным революционерам. По своим взглядам «Лига» примыкала к «Рабочей группе» «Народной воли».

Известно, что «Рабочая группа» выпустила в переводе на русский язык произведения К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест Коммунистической партии», «Научный социализм»², «Гражданская война во Франции» и положила их в основу революционной пропаганды среди рабочих Петербурга³. Эти сочинения широко использовались и другими народо-вольческими кружками, в том числе и «Студенческой лигой», в нелегальной библиотеке которой они, то всей вероятности, имелись.

В конце 1883 года на базе «Студенческой лиги» известный революционер П. Ф. Якубо-



вич⁴ создает «Союз молодежи», одну из крупнейших организаций «Народной воли» в последний период ее существования. И в этом есть определенная заслуга Н. А. Рубакина, который вместе с товарищами создал «Студенческую лигу», организацию, предшествовавшую «Союзу молодежи».

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), фонд 102 (7-е делопроизводство Департамента полиции), оп. 181, 1884 г., ед. хр. 417, т. II, лл. 251—251 об.; т. IV, лл. 194—194 об., 203 об.

² Имеется в виду работа Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке».

³ И. И. Попов, Петр Филиппович Якубович. М., 1930, стр. 17; Вл. Бурцев, Из моих воспоминаний. «Свободная Россия», Женева, 1889, № 1, стр. 48—49.

⁴ Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — пост-народовец, организатор «Молодой партии Народной воли» (1884 г.).

Б. В. Смирнский Новелла о Лас-Казасе

21 марта 1866 года умерла писательница-воин Надежда Андреевна Дурова, участница Отечественной войны 1812 года, оставившая, кроме «Записок кавалерист-девицы», большое литературное наследство. Среди многочисленных рассказов Н. Дуровой есть один замечательный рассказ, показывающий прогрессивность воззрений писательницы. Этот рассказ, входящий в книгу «Добавления к кавалерист-девице» (1839), называется «Лас-Казас».

Бартоломе де Лас-Казас, посвятивший жизнь борьбе за освобождение индейцев от испанского рабства, сочинения которого сжигались инквизицией, смело выступавший против королевской власти в Испании и разоблачавший разбойничий характер испанских завоеваний в Америке, — этот человек становится для Н. Дуровой примером подражания. Писательница неоднократно обращалась в своих произведениях к судьбе угнетенных народов бывшей царской России. Таковы «Рассказ татарина», повести «Серный ключ» («Черемиска»), «Клад» и другие. Особенно выделяется интересная повесть «Нурмека», в которой поставлена тема народного бунта казанских татар против завоевательной политики Ивана Грозного.

В рассказе «Лас-Казас» симпатии Дуровой не на стороне завоевателей, чего можно было бы ожидать от кавалерийского офицера по профессии, а, наоборот, на стороне покоренного народа Перу. И хотя Бартоломе Лас-Казас был тоже испанцем и участвовал в походах, но, вернувшись из Америки, он предложил реорганизовать колониальную систему. Именно он описал опустошения, произведенные испанцами на неоткрытых землях Америки, и, главное, призывал индейцев

к вооруженному сопротивлению колонизаторам.

Вот как описывает Дурова чтение своим героем трактата Лас-Казаса в защиту индейцев, покоренных конкистадорами под руководством Кортеса:

«Я принялся читать принесенную книгу. Тут описывались жестокости гишпанцев в Перу. Я ужасался, негодовал, выходил из себя, бросал книгу на пол, проклинал Кортеса, благословлял Лас-Казаса и до того умилится поступком этого последнего, что поклялся в душе при первом случае делать что-нибудь подобное...»

И герой Дуровой решается на смелый поступок.

«Постепенно воображение мое воспламенилось, негодование наполняло душу мою... и когда многие из героев последовали примеру Лас-Казаса и сели грести вместо бедных, измученных жителей богатого Перу, в это время слышу звук цепей выводимых на помост арестантов. Я вскочил и прыжком очутился близ часового. «Что это значит?» — спросил я у унтер-офицера. Тот отвечал, что это арестанты, подлежащие строгому наказанию. «Долой цепи!» Унтер-офицер стоял в изумлении.

«Ваше благородие!..»

«Долой цепи!» — сказал я твердо, решительно и таким покойным голосом, по которому старый унтер-офицер никак не мог подозревать, что это приказание отдается подражателем Лас-Казаса, выпившим в первый раз от роду огромный стакан шампанского. Цепи сняты.

«Ступайте, дети мои, вы свободны!» Говоря это, я считал себя превратившимся в Лас-Казаса.

На другой день генерал получил рапорт, что шесть человек важных арестантов отпущены караульным офицером корнетом Арским. Участь моя скоро решилась. Через полтора месяца я был высочайшим приказом разжалован в солдаты — из снисхождения к молодости и уважения к неукоризненному до сего времени поведению — на один только год.

Нельзя не отдать должного ярко выраженному сочувствию писательницы к поработаемому народу.

Рассказ «Лас-Казас» — еще один пример благородного мужества Н. Дуровой, который особенно дорог нам теперь, в связи с отмеченным в 1966 году (31 июля) 400-летием со дня смерти великого испанского гуманиста.



А. П. Москаленко Последний либертадор

21 апреля 1965 года в Сан-Хуане в страшных мучениях, вызванных болезнью, полученной в американской тюрьме, скончался выдающийся борец за независимость Пуэрто-Рико Педро Альбису Кампос. Вся жизнь этого замечательного человека была связана с борьбой пуэрто-риканского народа против чужеземного господства. Этой борьбе была посвящена и принесена в жертву вся его жизнь. Его не сломали ни тюрьмы, ни пытки, ни травля со стороны врагов, видевших в нем непримиримого борца против колониализма и несправедливости.

Его слова «Родина — это мужество и жертвы» стали лозунгом тех, кто сегодня продолжает его дело. Не случайно поэтому его имя ставят в один ряд с именами Боливара, Бетансеса, Марти.

Альбису Кампос родился 12 сентября 1893 года в городе Понсе, в бедной семье. Получив среднее образование в Пуэрто-Рико, Кампос учится в университете Вермонт (США), а затем в Гарвардском университете. В 1921 году Кампос получает звание бакалавра юридических наук.

В те годы формируются политические взгляды молодого борца за свободу. На формирование этих взглядов большое влияние оказали личные контакты и переписка с лидерами национального движения ряда азиатских стран.

Активно включившись в студенческое движение, Кампос выступает в поддержку борьбы за независимость народов Ирландии и Индии, чемнискал большую популярность среди передовой студенческой молодежи.

Вскоре после возвращения на родину Кампос вступает в партию «Союз Пуэрто-Рико»

(юнионистская партия). Однако, убедившись в соглашательской, антиреволюционной политике руководства союза, Кампос выходит из него и активно участвует в создании новой партии — партии националистов. Основной своей целью эта партия ставит борьбу за независимость Пуэрто-Рико, против американского господства. Альбису Кампос становится одним из лидеров вновь созданной партии. В течение 1927—1930 годов он совершает поездку в ряд стран Латинской Америки. В этих странах Кампос встречается с руководителями национально-освободительного движения, устанавливает с ними контакты, призывает к совместной борьбе против империализма янки, подчеркивает важность единства сил, выступающих против американского господства. При его участии на Гаити и в Санто-Доминго возникают мощные движения в поддержку борьбы пуэрториканцев за независимость. «Когда-нибудь эта наша Америка, довольно неблагодарная, признает его одним из своих героев», — писал в этот период об Альбису Кампосе видный мексиканский философ Хосе Васконселос.

Вскоре после возвращения из поездки Альбису Кампос становится руководителем националистической партии. Он убеждает пуэрториканцев в том, что янки добровольно никогда не уйдут из Пуэрто-Рико. Поэтому он призывает народ к вооруженной борьбе против интервентов.

Результатом усиления борьбы рабочего класса за свои права явилось создание в эти годы Национальной федерации трудящихся Пуэрто-Рико. По всему острову возникают группы и отряды освобождения, проходящие военную подготовку.

Рост политического влияния националистов среди трудящихся, их призывы к вооруженной борьбе, организация отрядов освобождения вызывают серьезную озабоченность местных властей и их американских хозяев. Движение за независимость они провозглашают врагом номер один.

В марте 1937 года в результате жестокой расправы полиции над безоружными националистами в городе Понсе было убито 20 и ранено более 200 человек, в том числе женщины и дети. Вслед за этим по всему острову были проведены массовые облавы на сторонников Кампоса. Число арестованных превышало 1000 человек. Альбису Кампос был осужден на 12 лет и отправлен вместе с другими националистами в тюрьму Атланты (штат Джорджия).

В тюрьме его подвергают нечеловеческим

пыткам, которые серьезно подорвали его здоровье.

После семилетнего пребывания в тюрьме Альбису Кампосу была «дарована» условная свобода, и он, ставший к 50 годам, по существу, инвалидом, был отправлен в нью-йоркскую больницу на излечение.

15 декабря 1947 года мужественный патриот вернулся на родину, где был восторженно встречен земляками. Демонстрация в Сан-Хуане по случаю его возвращения продолжалась шесть часов.

С удвоенной энергией Альбису Кампос включился в борьбу за освобождение своей родины. Он становится признанным всеми руководителем национально-освободительного движения в Пуэрто-Рико, символом мужества и стойкости. Под давлением усилившейся борьбы пуэрториканцев правительство США вынуждено было пойти на некоторые уступки.

Однако мелкие уступки уже не могут удовлетворить борцов за независимость. Наоборот, они только убеждают их в том, что янки не собираются покидать остров. С новой и новой силой звучат призывы Альбису Кампоса положить конец американскому господству и добиться независимости острова.

Провозглашение Пуэрто-Рико «свободно присоединившимся к США государством» вызвало новый подъем национально-освободительной борьбы, результатом которого явилось восстание 1950 года, охватившее весь остров. Особенно ожесточенные столкновения произошли в городе Хаяя. Восставшие нанесли поражение местной полиции и провозгласили независимую республику. В этот город были направлены командованием американских вооруженных сил две роты солдат с танками, пулеметами и противотанковыми ружьями.

Во главе восстания стояли коммунистическая партия, националистическая партия, партия борьбы за независимость Пуэрто-Рико, Всеобщий союз трудящихся.

Но революционеры были побеждены. Только в столице Сан-Хуане было арестовано около 600 членов партии националистов и

коммунистов. Пуэрто-риканский суд приговорил лидера А. Кампоса к 75 годам тюремного заключения, в том числе к 15 годам каторжных работ. В тюрьме Альбису Кампос подвергался радиоактивному облучению. В медицинском заключении доктор Даули утверждал: «1. Боли, которые испытывает Альбису Кампос, вызваны сильными дозами облучения. 2. Симптомы явно показывают, что больной подвергался интенсивному радиоактивному облучению...» А вот что писал сам А. Кампос в письме, которое он сумел тайком передать из тюрьмы: «Они сожгли мне лицо, руки, ноги, нет ни одной части тела, которая не подвергалась бы действию облучения. Это продолжается все время, днем и ночью, каждую секунду всех двадцати четырех часов в сутки, особенно тогда, когда я мог бы уснуть или хотя бы отдохнуть, сидя или лежа». Подобные нечеловеческие истязания вызвали сердечные приступы и кровоизлияние в мозг. В результате у него была парализована правая сторона тела и отнялась речь.

Боясь, что Кампос умрет, губернатор Муньос Марин распорядился перевезти его в пресвитерианский госпиталь. Врач, который увидел его, воскликнул: «Как рискнули везти его сюда в таком состоянии!»

В госпитале А. Кампос длительное время оставался также без медицинского обслуживания. 15 ноября 1964 года он был отпущен домой. А через пять месяцев его не стало.

Лишь за пять дней до смерти он смог увидеть свою жену, которая еще 15 лет назад была выслана по распоряжению американских властей. В течение этого срока ей было запрещено посещать своего мужа.

Так оборвалась жизнь одного из выдающихся борцов против американского господства, за независимость своей родины. «Альбису Кампос является примером огромного мужества не только для своей националистической партии, но также и для всего пуэрториканского народа, — писал о нем Хуан Сантос Ривера. — Его жизнь достойна того, чтобы на ней воспитывались новые и новые поколения революционных борцов».

Г. Кессельбреннер
Казак Софоний в стране
„десяти тысяч островов“

Среди десяти тысяч индонезийских островов, раскинувшихся на экваторе, между Сулавеси и Западным Ирианом, затерялись десять маленьких осколков суши. Этот крошечный архипелаг Банда — родина мускатного ореха, сердце обширного «пряного края» — издавна притягивал к себе любителей легкой наживы.

Вслед за голландцами в начале XVII века сюда проникают англичане. И те и другие стремятся во что бы то ни стало захватить Острова пряностей. Длительное время здесь велась настоящая необъявленная война. Наконец англичанам удалось обосноваться на Макассаре, расположенном примерно на полпути между Явой и Островами пряностей. А вскоре они проникают и на архипелаг Банда. В относящихся к этому периоду документах о деятельности английской Объединенной Ост-Индской компании, сохранившихся до наших дней, зафиксирован необычный факт.

...В марте 1615 года английские корабли «Конкорд» и «Спидвел» бросили якорь у одного из островков архипелага — Нейра. Затем «Конкорд» направился на соседний Ай и оставил там пинассу — утлое суденышко — для закупки пряностей. Пинассу эту привел с Явы «казак Софоний».

Нет ли здесь ошибки? Ведь события происходят в начале XVII столетия... и вдруг английский парусник под командой русского, да еще на архипелаге Банда... Нет, все правильно. Английские исследователи, ссылаясь на такие серьезные источники, как дневники экспедиций и письма служащих компании в Лондон, единодушно упоминают в своих трудах о таком случае.

Казак Софоний — можно предполагать, что он был первым русским человеком в этих краях, — весьма успешно ведет торговые дела с островитянами. Впервые Софоний отправляется на далекие индонезийские острова с экспедицией Дэвида Миддлтона в 1609 году на корабле «Экспедишн». По словам английского ученого Петера Флориса, в ноябре 1612 года Софонию поручается важное задание — его «с одним ювелиром» посылают основать торговую факторию на юго-западном побережье Калимантана, в Сукадана, где в то время голландцы уже добывали в значительных количествах золото и алмазы.

В апреле 1614 года сюда прибыло английское судно «Дарлинг», которое нашло казака «в добром здравии, но почти без денег». Несколько севернее, в Самбасе, Софоний открывает еще одну факторию. Ему также поручается, как указывает известный английский исследователь Фостер, «выяснить возможность завязать торговые отношения» и с населением соседних районов побережья Калимантана.

Затем Софоний возвращается на Яву, а от туда вскоре с новым поручением отправляется на архипелаг Банда. Здесь он также ведет весьма успешную торговлю, и уже в апреле 1615 года английские купцы увозят с Ай закупленный Софонием значительный груз пряностей. Однако об этих торговых операциях своих конкурентов прослышали голландцы; вскоре на островок Ай высаживается их вооруженный отряд и нападает на английских купцов. Но в борьбу вступают островитяне. В результате голландский отряд, понеся значительные потери, был сброшен в море. Так Софоний и несколько его спутников были спасены от верной гибели.

Но сами спасители нуждались в срочной помощи: было ясно, что разгромленный голландский отряд, получив новое подкрепление, вновь попытается совершить карательный набег на островок Ай. И тогда казак Софоний, чтобы помочь своим спасителям-островитянам, а заодно, по-видимому, и себя оградить от нависшей опасности, самостоятельно принимает важное решение и совершает далеко не безопасное длительное путешествие — везет на своей пинассе посла вождей племен Банда к главному резиденту английской компании Иордану, который обосновался на Яве. Однако в Батавии русского торгового гостя ждет серьезное разочарование — ни заступничество казака Софония, рассказавшего, как банданезцы спасли жизнь

ему и его компаньонам, ни настойчивые просьбы самого посла ни к чему не привели. Хитрый и вероломный Иордан явно затягивал переговоры. Англичане уклонились от предоставления какой-либо помощи, бросив островитян на произвол судьбы.

Лишь в январе 1616 года английская экспедиция из пяти судов под командой Кастлтона отправилась с Явы на Банда, да и то только лишь, как свидетельствуют источники, «для продолжения переговоров». Командиром одного из судов был назначен Софоний, который и отвозит обратно на Ай посла банданезцев. Тем временем с Нейра навстречу англичанам вышла голландская эскадра. То ли Кастлтон выполнял специальные инструкции своих хозяев, то ли просто струсил, но 13 марта он капитулировал без боя. А через несколько дней голландские каратели напали на Ай и расправились с его обитателями.

Спустя полгода англичане вновь делают попытку закрепиться на Банда. С этой целью с Явы в этот район направляются два корабля. Софоний был участником и этой экспедиции. В середине января 1617 года его посылают на «Сване» основать торговые фактории на Лонторе и Розенгайне. Это поручение было выполнено, и Софоний начал торговать с обитателями этих двух соседних с Ай островков. Вскоре Софоний отплывает на Церам, чтобы запастись там пресной водой. Тем временем голландские агенты прослышали о торговых операциях своих английских конкурентов. И вот 2 февраля 1617 года, когда Софоний возвращался на остров Рун, его корабль был вероломно атакован уже поджидавшим его голландским судном.

Вот как описывал это пиратское нападение английский купец Томас Спурвей в том же году в письме, адресованном своим лондонским хозяевам: «Голландский корабль «Стар», приблизившись на расстояние пушечного выстрела и не предупредив о своих намерениях, самым неожиданным образом выпустил по «Свану» несколько крупных и мелких ядер. ...Одно из крупных ядер разорвало на куски купца казака Софония...» А «Сван» был захвачен голландскими моряками.

Пока, к сожалению, не удалось узнать, каким образом казак Софоний очутился в Англии. Нет также никаких сведений, которые могли бы объяснить мотивы, побудившие казака отправиться с английской экспедицией в далекую Ост-Индию. Известно лишь, что поскольку такого рода морские походы были

связаны в те времена с серьезным риском — как правило, четвертая часть моряков погибала, — то комплектование экипажей наталкивалось, естественно, на большие трудности. Поэтому-то хозяева конкурирующих компаний — голландской и английской — зачастую брали к себе на службу уроженцев из других стран, «искателей приключений».

А. Левандовский

Именем Орлеанской девы

Тот, кто заглядывал в учебник истории, наверное, помнит о похождениях Лже-Смердизов, Лже-Неронов, Лже-Дмитриев и Лже-Петров. Страницы прошлого оставили много материалов о самозванцах, пользовавшихся именами царей, королей, императоров и принцев. Но, пожалуй, уникальным является случай, когда объектом спекуляции стало имя... простой крестьянки!

Правда, не совсем простой. Речь идет о народной героине, спасшей свою родину. О легендарной пастушке из Домреми Жанне д'Арк. И имя ее использовалось в особых условиях, при необычных обстоятельствах.

Известно, что Жанна была сожжена в Руане 30 мая 1431 года. Но напрасно ее палачи демонстрировали обгоревшее девичье тело жителям столицы Нормандии: народ не поверил в смерть своей избранницы. Крестьяне и простые горожане, безвестные помощники и приверженцы героини, не верили ни расказам очевидцев, ни грамотам, ни заявлениям английских глашатаев. Для них Орлеанская дева оставалась вечно живой; они ждали вестей о ее новых подвигах и победах.

На этих настроениях простых французов не прочь было сыграть и правительство короля-



предателя Карла VII. Мертвая Жанна была не страшна царедворцам, а имя ее можно было использовать для поддержания народного энтузиазма — ведь война с англичанами была еще далека от завершения.

Только учитывая эти условия, можно понять успех и продолжительность авантюры самозванок, пытавшихся снискать себе популярность и средства именем Орлеанской девы. Средневековые хроники сохранили сведения о трех Лже-Жаннах. Наиболее подробно освещены «деяния» той из них, которую называют Жанной Армуаз.

В мае 1436 года, через пять лет после гибели Жанны д'Арк, в одной из деревень Лотарингии появилась девушка лет двадцати пяти, сопровождаемая группой итальянских рыцарей и утверждавшая, что она Жанна-

Дева, спасшаяся от руанского костра. Она собирала добротные дары от населения и пользовалась поддержкой королевской администрации. Официальные лица повсюду признавали ее за подлинную Орлеанскую деву. Ее «узнали» даже братья Жанны д'Арк, имевшие, очевидно, соответствующие инструкции. Но, используя поддержку французского правительства и завязав личную переписку с Карлом VII, новоявленная Жанна предпочитала совершать свои подвиги вдали от театра военных действий. Она покинула Францию. Целых три года подвизалась она при дворе герцогини Люксембургской, участвовала в различных интригах и даже вышла замуж за некоего Робера д'Армуаза, знатного сеньора, которому родила двоих детей. С супругом, однако, она не ужилась. В 1439 году Жанна бежала от семьи; на этот

раз — во владения французского короля. Впрочем, и сейчас, вместо того чтобы сражаться с захватчиками-англичанами, она предпочитала морочить добрых людей и мирно пожинать плоды своей популярности. В первую очередь самозванка обобрала жителей Орлеана, благоговевших перед памятью Жанны д'Арк. Но вдруг ее эпопея неожиданно оборвалась.

Десять лет прошло со дня руанского коста. С именем бессмертной Девы на устах французский народ продолжал одерживать победы. Многие области и города, в том числе и столица Франции, были отобраны у завоевателей. Главный союзник англичан, герцог Бургундский, чувствуя, к чему идет дело, вступил в союз с Карлом VII. Перспективы войны не вызвали сомнений. В этих условиях французский двор пересмотрел свое отношение к самозванке. Она не оправдала возложенных на нее надежд. Хлопот с нею было много, денег шла уйма, а что проку? По мере того как война приближалась к концу, придворные все более приходили к мысли, что гораздо выгоднее использовать память о подлинной Жанне, нежели зависеть от авантюристки, спекулирующей на этой памяти. Идея реабилитации Орлеанской девы имела своей оборотной стороной отказ от поддержки девы самозванной.

Весной 1440 года Жанна направилась в Париж, рассчитывая пооблегчить кошельки доверчивых жителей столицы по примеру их собратьев — орлеанцев. Но в Париже ее ожидали власти с заранее принятым решением. Чтобы Лже-Дева не ускользнула, ее перехватили по дороге и препроводили прямо в парламент. Для дамы Армуаз наступили печальные дни. Она была допрошена, признана самозванкой и выставлена для публичного покаяния у позорного столба. Однако ее не казнили. Сжечь на костре можно было подлинную героиню, разоблаченная же авантюристка с точки зрения придворной камарильи не стоила таких хлопот.

С этого момента сведения о Жанне Армуаз исчезают со страниц истории.

Эпопея второй самозванки, Жанны Сармез (названной так по имени деревушки, где она впервые себя обнаружила), была гораздо более кратковременной и оставила меньше следов в документах. Эта особа появилась в 1452 году, накануне окончания Столетней войны. Она вербовала себе приверженцев, разъезжая по дорогам Анжу. Но выступление девицы Сармез сильно запоздало: всем

было известно о подготовке процесса реабилитации Жанны д'Арк. Самозванку обвинили в каком-то уголовном преступлении, бросили в тюрьму, а затем выдворили из Франции. Она путешествовала, испытала множество приключений, вышла замуж за некоего Жана Дуйе и, наконец, особой грамотой, датированной 3 февраля 1456 года, получила разрешение вернуться на родину под условием благонравного поведения и отказа от мужского платья.

Около этого же времени появилась и последняя Лже-Жанна, история которой особенно поучительна. Жанна Ферон (такова была фамилия ее отца) подвизалась в Лавале как «пророчица» и «святая». Ее направили для «проверки» к епископу Манскому, которого эта девушка, в интимном содружестве с неким клириком, ловко одурачила. Престарелый епископ уверовал в «святую» и за любовь к богоматери окрестил ее Марией (сверх Жанны!). Все это, однако, вызвало крайнее недовольство в королевском совете. Память Жанны-Девы была давно восстановлена, и новые самозванки теперь казались не только ненужными, но и опасными. В декабре 1460 года девице Ферон устроили радикальную «перепроверку», которая привела к весьма плачевным для нее результатам. Оказалось, что эта дева вовсе не дева, ибо она находилась в длительном сожительстве с указанным клириком. Открылись и другие слабые стороны ее деятельности. Жанну Ферон объявили колдуньей, ведьмой, прелюбодейкой и заставили публично каяться в трех городах, причем, наказание на нее наложили сравнительно мягкое: шесть лет церковной тюрьмы. Тюрьма не сломила бодрого духа и предприимчивости девицы Ферон. После отбытия срока, как утверждают источники, она сделалась... содержательницей публичного дома!..

Таков был схожий с фарсом финал истории Лже-Дев. Впрочем, материалы о самозванных Жаннах, заботливо, по крупицам собранные исследователями, представляют скорее исторический курьез, нежели историю в подлинном смысле слова. Ибо ни одна из этих авантюристок не оставила ни малейшего следа в памяти народа. В памяти народа всегда жила и будет жить вечно одна лишь Жанна: Жанна, народом созданная и за народ погибшая, бессмертная героиня, чей славный подвиг, пройдя сквозь руанский костер, озарил ярким светом всю историю Франции.

**„Мои сапоги испортят
вам суп“**

Исторические анекдоты

В Париже Александр фон Гумбольдт был гостем известного психиатра. Он попросил хозяина показать ему кого-нибудь из душевнобольных. Тот пообещал сделать это завтра, во время обеда. К столу явились двое незнакомых Гумбольдту людей. Один, задумчивый и тихий, все время молчал. Другой был полон огня, говорил не переставая, перескакивал с темы на тему, отчаянно жестикулировал. Когда обед кончился, первый, церемонно поклонившись, ушел, а второй даже в дверях продолжал возбужденно что-то рассказывать.

— Твой сумасшедший, — заметил Гумбольдт, оставшись наедине с психиатром, — доставил мне большое удовольствие.

— Чем? — удивился врач.

— Ведь он все время молчал.

— Не может быть! А кто же был этот восторженно-буйный господин?

— Это был Бальзак.

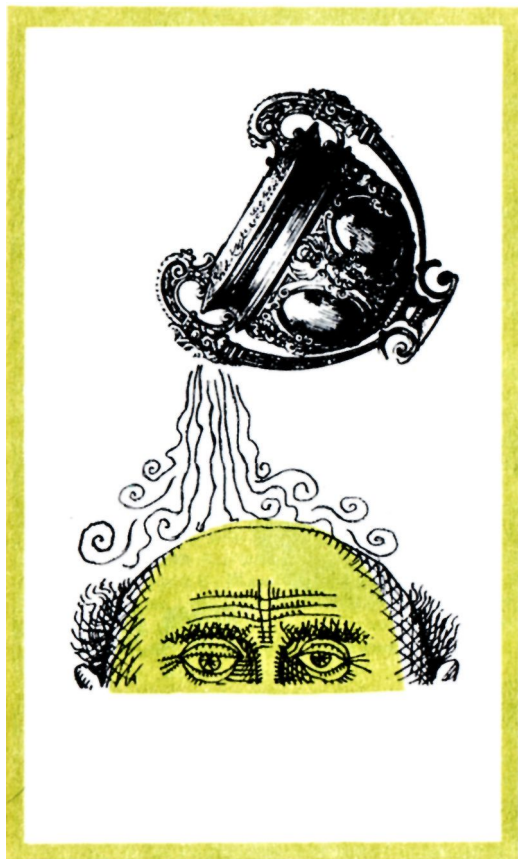


Однажды Эйнштейн ехал в Лейпциге в трамвае. Кондуктор, беря с него плату за проезд, сказал, что не хватает пяти пфеннигов.

— Не может быть, — возразил Эйнштейн, — я сосчитал правильно.

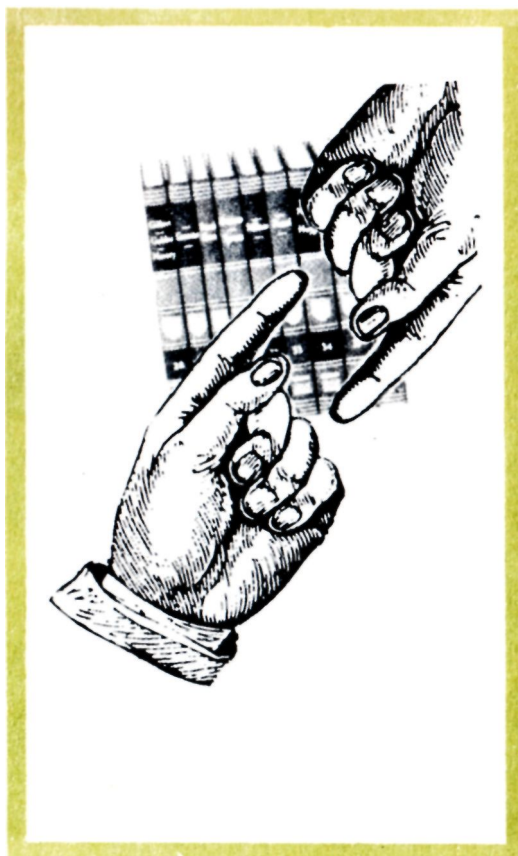
Кондуктор вернул ему деньги — пяти пфеннигов действительно не хватало — и укоризненно покачал головой:

— Неужели, сударь, так трудно научиться считать в уме хотя бы до двадцати?



Куно Фишер, историк философии, был человеком редкой невозмутимости. Однажды во время торжественного обеда служанка, неловко повернувшись, вылила на его огромную лысину целый соусник горячего соуса. Все обомлели. Куно Фишер, обращаясь к служанке, дружелюбно спросил: «Фрейлейн на самом деле уверена, что это восстановит мою шевелюру?»

Присутствовать на обедах, даваемых в его честь, Брамс соглашался неохотно. Но в Гамбурге он принял приглашение одного крупного коммерсанта. Хозяин рассыпался в любезностях: — Кан Брамс лучший из композиторов, так и вино, которое мы будем сейчас пить, лучшее из вин! Брамс пригубил бокал: — Если это Брамс вашего винного погреба, то велите лучше подать Бетховена.



Готфрид Келлер пил вина
значительно больше, чем
позволяло здоровье.
Встревоженный врач предупредил
его деликатно, чтобы он
потреблял меньше жидкости.
Келлер помрачнел, но через
минуту лицо его осветилось
улыбкой:
— Конечно, господин доктор.
С сегодняшнего дня я
отказываюсь от супа!

О Галлере Вольтер отозвался
однажды с большой похвалой.
На это друзья ему сказали, что
Галлер очень плохого мнения
о его книгах. Вольтер улыбнулся:
— Возможно, мы заблуждаемся
оба.



Карл Гольдмарк оказался однажды в обществе очень любопытной и разговорчивой дамы. Она поинтересовалась, кто он по профессии.

— Композитор. Дама молчала. Гольдмарк уточнил:

— Композитор, автор «Царицы Савской».

— О, — обрадованно воскликнула дама, — почему же вы сразу не сказали, что занимаете при дворе царицы важный пост!

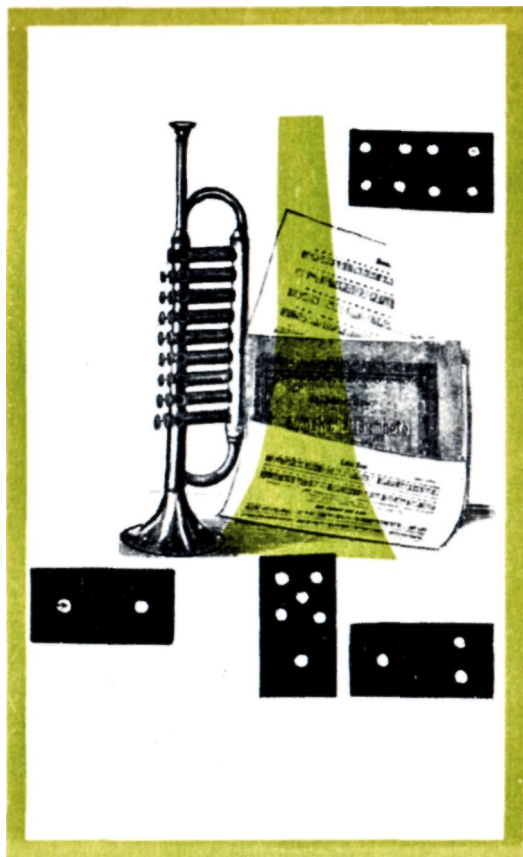


Людвиг Бёрне, совсем еще юный поэт, однажды невольно оказался участником жаркого диспута.

Убеленный сединами господин, отчаянный спорщик, с которым Бёрне не соглашался, возмущенно его перебил:

— Как вы смеете мне возражать! Да в ваши лета я был круглым ослом!

— Вы чудесно сохранились! — с поклоном ответил Бёрне.



На премьеру «Женитьбы Фигаро»
один из зрителей воскликнул
с восторгом:
— Бомарше — гений!
Сидевший неподалеку Бомарше
вернулся к нему:
— Вы могли бы сказать
«господин Бомарше».
— Совершенно верно, — бросил
реплику его сосед. — Бомарше —
гений, а господин Бомарше —
дураки!

Шоу не выносил застольной
музыки. Однажды на званом обеде
он обратился к дирижеру:
— Окажите мне любезность и
сыграйте то, о чем я вас попрошу.
— С удовольствием, мистер
Шоу, — ответил польщенный
дирижер.
— Очень прошу вас, пока я буду
обедать, сыграйте партию
в домино.



Наполеон III написал «Историю Юлия Цезаря». Перед опубликованием он решил посоветоваться с рядом видных историков, в том числе и с Моммзеном, которого пригласил в Париж. Когда книга вышла, один знакомый спросил Моммзена, стоит ли купить ее сыну.

— А сколько ему лет?

— Четырнадцать.

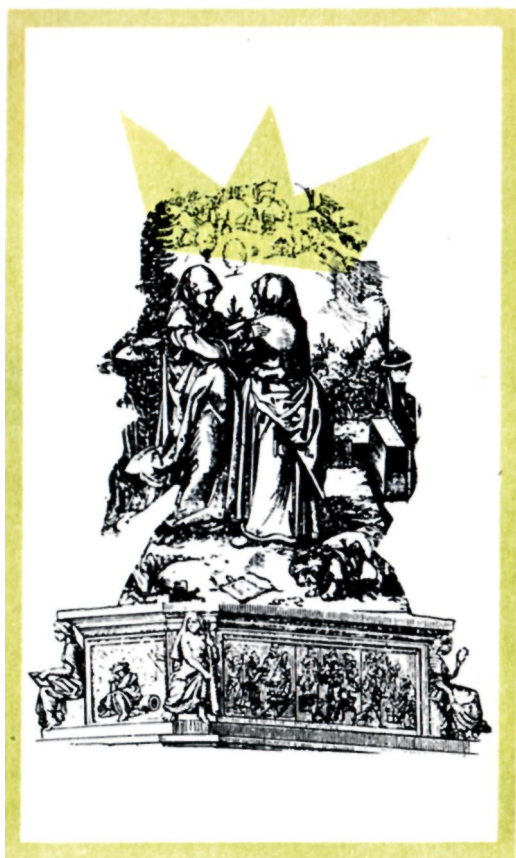
— Тогда торопитесь ее приобрести. Через год она будет вашему сыну уже не по возрасту.



Оскар Уайльд, беседуя с пожилой актрисой, очень хвалил ее последнюю роль. Она же, рассчитывая на дальнейшие комплименты, воскликнула с притворной скромностью:

— Да будет вам, в этой роли следовало бы выступать женщине молодой и красивой!

— Нет, сударыня, вы доказали обратное.



Венский дирижер Хельмесберггер сердито сказал комедиографу Бауэрнфельду, который разговаривал и смеялся во время концерта:
— Почему вы смеялись, когда мой оркестр играл? Я ведь никогда не смеюсь на ваших комедиях.

Император Карл V спросил Микеланджело, что он думает об Альбрехте Дюрере. Тот ответил:
— Если бы я не был Микеланджело, то предпочел бы быть Дюрером, а не Карлом V.



В 1803 году в Лондоне невиданным успехом пользовалась пьеса «Гастух и его собака»: дрессированный пес, по кличке Карло, неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды утром актер, игравший главную роль, явился к директору — Шеридану и сказал:

— Спектакль придется отменить. Болезнь есть болезнь. Шеридан изменился в лице.

— Да, господин директор, — продолжал актер, — я болен.

— О, — облегченно вздохнул Шеридан, — слава богу, что не собака! Вам-то мы замену найдем!

Когда однажды лондонский психиатр Джон Монро обходил лечебницу, душевнобольные, работавшие на кухне, внезапно схватили его за руки и за ноги, чтобы бросить в котел с кипящим супом. Врача спасло присутствие духа.

— Постойте минутку, — сказал он, — дайте мне раздеться, иначе мои сапоги и сюртук испортят вам суп.

Перев. с франц. Т. Погосовой

- | | | | |
|---|----|---|-----|
| 1. Вид из окна кабинета В. И. Ленина на Кремль. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 3 | вые. Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, ф. 685, ед. хр. 595 | 66 |
| 2. В. И. Ленин. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 4 | 22. Аркадий Гайдар со своим другом Михаилом Ландсманом в период завершения работы над «Обыкновенной биографией». Фото. Москва. 1929 г. | 72 |
| 3. Обложка книги: Ленин. Рис. Натана Альтмана. 1920 г. | 5 | 23. Альберт Швейцер. Фото. 1959 г. | 77 |
| 4. В. И. Ленин. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 6 | 24. Госпитальная улица в Ламбарене. Вечер. Фото. | 80 |
| 5. Ленин за работой. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 7 | 25. Швейцер готовится к операции. Фото. | 81 |
| 6. Ленин у телефона. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 8 | 26. Самые маленькие пациенты доктора Швейцера. Фото. | 86 |
| 7. Ленин беседует с германскими рабочими. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 9 | 27. Швейцер со своими сотрудниками. Берег реки Огове. Фото | 87 |
| 8. В. И. Ленин. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. | 10 | 28. «Лоцманский корабль в Гематоне». Рис. Ф. В. Каржавина. | 92 |
| 9. Обложка первого издания книги В. И. Ленина «Что делать?», Штутгарт, 1902 г. | 12 | 29. Титульный лист русского издания сочинения Витрувия. 1790 г. Надпись, удостоверяющая имя переводчика Ф. В. Каржавина, сделана, по-видимому, архитектором М. Ф. Казаковым | 94 |
| 10—11. Автограф незаконченной автобиографии В. И. Ленина. Май 1917 г. | 17 | 30. «Башня наподобие Сухаревской». Рис. Ф. В. Каржавина. | 95 |
| 12. Первая страница рукописи В. И. Ленина «Как чуть не потухла «Искра»?» Август 1900 г. | 19 | 31. «Арапка в Мартинике». Рис. Ф. В. Каржавина. | 97 |
| 13. Первая страница рукописи В. И. Ленина «Рассказ о II съезде РСДРП». Сентябрь 1903 г. | 20 | 32. Страница из дневника Ф. В. Каржавина, 1782 г. с силуэтами Малых Антильских островов | 99 |
| 14. Обложка «Письма к петербургским рабочим», посвященного IV (Объединительному) съезду РСДРП. Май 1906 г. | 31 | 33. Паспорт, который Ф. В. Каржавин выдал самому себе под именем Ивана Баха на Мартинике для поездки в США в 1782 г. Французский текст. Фрагмент с печатью | 100 |
| 15. В. И. Ленин и представители английских профсоюзов. Рис. Натана Альтмана. Май 1920 г. Фрагмент | 33 | 34. То же. Полный русский текст | 101 |
| 16. А. Ф. Иоффе. Фото. Мюнхен, 1906 г. | 34 | 35. Паспорт, выданный Ф. В. Каржавину в 1779 г. французским консулом для возвращения из Бостона в Виргинию | 103 |
| 17. А. Ф. Иоффе. Фото. Сентябрь 1960 г. | 34 | 36. Паспорт, содержащий приметы Ф. В. Каржавина, с которым он отправился в 1776 г. за океан. | 104 |
| 18. О. Н. Писаржевский. Фото. 1963 г. | 59 | 37. Карта звездного неба. XVI в. | 107 |
| 19. Аркадий Гайдар — командир 58-го отдельного полка. Фото. 1922 г. | 60 | 38. Кардинал Роберто Беллармино. Гравюра, XVII в. | 110 |
| 20. Групповой снимок Аркадий Гайдар (в шинели, с трубкой) среди товарищей по редакции «Звезды». Первый сверху — Александр Плеско. Пермь. Ноябрь 1925 г. | 64 | 39. Галилео Галилей в возрасте 40 лет. Фрагмент гравюры по рисунку Санти ди Тито | 111 |
| 21. Дарственная надпись на обороте фотографии (см. № 19), подаренной Сергею Семенову. Публикуется впервые. | | | |

40. Н. В. Гоголь. С портрета маслом (на меди) Горюнова. 1850-е годы(7)	114	75. Мария Магдалина и Богоматерь. Из Воскресенской церкви г. Соликамска. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	207
41. Дом на улице Гоголя (ранее Надеждинской ул.) в Одессе. Здесь в 1850—1851 гг. жил Гоголь. Фото. 1948 г.	116	76. Богоматерь из церкви в зав. Пашии. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	208
42. Дом предварительного заключения в Петербурге, открытый в 1875 г.	120	77. Распятый Христос (без креста). Из часовни при кладбищенской церкви г. Соликамска. XVII в. Фото Ю. Д. Багрянского.	209
43. Н. В. Шелгунов. Фото. 1880-е годы	121	78. Голова Христа. Деталь распятия из церкви в с. Вильгорт. XVII в. Фото Ю. Д. Багрянского	210
44. К. Н. Батошков. Автопортрет. 1817—1819 гг.	146	79. Иоанн Богослов и Лонгин Сотник. Из Воскресенской церкви г. Соликамска. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	211
45. Герб отеля в Нью-Йорке, где остановился Ф. И. Шалапин.	150	80. Сидящий Спаситель. Из церкви в с. Усть-Косьва. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	212
46. Ф. И. Шалапин. Фото. 1900 г.	150	81. То же, Деталь. Фото Ю. Д. Багрянского	213
47. Первая страница письма Ф. И. Шалапина к Горькому.	151	82. Сидящий Спаситель. Из церкви в зав. Чермоз. XVIII в. Деталь. Фото Ю. Д. Багрянского	214
48. Л. И. Мечников в японском костюме. Фото, 1885 г.	154	83. То же. Общий вид. Фото Ю. Д. Багрянского	215
49. Последняя страница письма Л. И. Мечникова к Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой	159	84. Деталь распятия. Из церкви в с. Дмитриевском. XVIII в. Фото Н. Н. Померанцева	216
50, 55. Автографы А. П. Чехова — прошения в цензурный комитет за подписью «К. Яхонтов»	162, 173	85. Параскева-Пятница. Из церкви в с. Ныробе. XVII в. Фото Н. Н. Померанцева	217 218
51—54, 56. Рисунки Н. П. Чехова к рассказам А. П. Чехова из невышедшей книги	177	86. Л. П. Гроссман. Фото	
57. Надпись С. А. Соболевского на картонном заднике окантовки портрета (см. илл. 58)	179	87. Т. Л. Щепкина-Куперник, Л. С. Мизинова, В. А. Эберле, Л. Б. Яворская. Фото, 1895 г.	222
58. Копия А. П. Елагиной с портрета Пушкина работы Тропинина. 1827—1828 гг.	181	88. И. И. Левитан, 1899 г. Литография Л. Бакста	231 236
59. Портрет И. К. Айвазовского работы Ст. Рымаренко, 12 декабря 1846 г., С.-Петербург.	187	89. И. Н. Потапенко. Фото	246
60. Портрет И. К. Айвазовского из журнала «Иллюстрация», 1846 г., № 34	187	90. Л. С. Мизинова. Фото	253
61. Летящий ангел с трубой в руках. Из церкви в с. Сириинском. XIX в. Фото Ю. Д. Багрянского	191	91. А. Чехов. Фото. 1895 г.	
62. Апостол Марк. Из Пермского кафедрального собора. Первая половина XVIII в. Фото Н. Н. Померанцева	192	92. Программа первого спектакля «Чайки»	254
63. Апостол Петр. Из Пермского кафедрального собора. Первая половина XVIII в. Фото Н. Н. Померанцева	193	93. Сцена из спектакля. II действие. В роли Нины — М. Л. Роксанова, в роли Тригорина — К. С. Станиславский	259 272
64. Бог Саваоф. Верх иконостаса церкви с. Лысьва. Деталь илл. 65. Фото Н. Н. Померанцева	194	94. Л. С. Мизинова. Фото	
65. Саваоф на облаках. Из церкви с. Лысьва. Вторая половина XVIII в. Фото Н. Н. Померанцева.	195	95. Сцена из спектакля. II действие. В роли Нины — М. П. Лилина, в роли Тригорина — К. С. Станиславский	278 280 290
66. Группа фигур из церкви с. Язьва. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского.	196	96. А. А. Санин. Фото	290
67. Деталь распятия из Рубежской церкви в г. Усолье. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	197	97. Г. К. Зестертон. Фото	
68. Никола Можай из часовни в д. Зеленията. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	198	98—100. Коллажи А. Брусиловского	298, 305, 311
69. Никола Можай из церкви в с. Покче. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	199	101. Обложка книги Б. Яковлева. Ленин в Красноярске	312
70. Иоанн Богослов из часовни в д. Толстик. XIX в. Фото Ю. Д. Багрянского	201	102. Крестьянка-мать в дореволюционной России. Гравюра на дереве А. И. Кравченко. 1928 г.	328
71. Богоматерь из часовни в д. Толстик. XIX в. Фото Ю. Д. Багрянского	201	103. Ф. А. Малявин. Рис. Валентина Серова, 1902 г.	337 339 339 341
72. То же. Деталь. Фото Ю. Д. Багрянского	203	104. Бернард Шоу. Фото	346
73. Снятие с креста. Группа из церкви в с. Шахшере. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	204	105. Герберт Уэллс. Фото	348
74. Иоанн Богослов из церкви в зав. Пашии. XVIII в. Фото Ю. Д. Багрянского	205	106. Бальзак. Рисунок	
		107. К. Ф. Рылеев. Рис. Н. А. Бестужева	346
		108. Н. А. Рубакин. Фото. 1900 г. (РОГБЛ)	348
		109. Никогда не забудется. Гравюра Хосе Вентуралли	350
		110. Жанна д'Арк и Лже-Жанны. Фото-монтаж	355
		111—125. Коллажи А. Брусиловского	357—64

На первой стр. обложки — илл. 109, на четвертой стр. обложки — деталь илл. 70.

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ. ПОРТРЕТЫ

- Натан Альтман. **В. И. Ленин**. Рисунки с натуры 3
 Б. Яковлев. **«Вот она, судьба моя»**. Страницы автобиографии Ленина 10
 Олег Писаржевский. **Академик Иоффе**. Главы из книги. Послесловие Виталия Гольданского 34
 Борис Камов. **Командир отдельного полка**. Эпизоды биографии Аркадия Гайдара 60
 Борис Гиленсон. **Добрый человек из Ламбарене** 77
 Ю. Герчук. **Жизнь и странствия Федора Каржавина** 92
 А. Штекли. **После поражения** 107

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- Ф. Е. Никольский. **Гоголь в Одессе**. Вступительная статья и публикация Н. Ф. Бельчикова 114
 Н. В. Шелгунов. **Неизвестные страницы воспоминаний**. Вступительная статья и публикация Ф. Кузнецова 120

ПИСЬМА. ДОКУМЕНТЫ

- Н. В. Фридман. **«Лучшая эпитафия — время»**. Неизвестное письмо К. Н. Батюшкова 146
 А. Л. Авербах. **Шалпин в Америке**. Непубликованное письмо Ф. И. Шалпина к Максиму Горькому 150
 Арк. Лишина. **Революционный эмигрант о Толстом и толстовщине**. Письмо Л. И. Мечникова 154

ПОИСКИ. НАХОДКИ. ГИПОТЕЗЫ

- М. П. Громов. **Антон Чехов: первая публикация, первая книга** 162
 Н. Баранская. **«По случаю отъезда Соболевского в чужие края»** 179
 М. Андреевская. **Вокруг одного портрета** 185

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

- «Пермские боги»**. Фотографии Ю. Д. Багрянского и Н. Н. Померанцева. Статья А. В. Луначарского 191

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

- Леонид Гроссман. **Роман Нины Заречной**. Предисловие Ираклия Андроникова 218

МАСТЕРА ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА

- Н. Л. Трауберг. Г. К. **Честертон — биограф и историк** 290
 Г. К. Честертон. **Пять эссе**. Перев. с англ. 299

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОК

- Вл. Архангельский. **Сто ленинских дней** 312
 А. Турков. **«Тайные корреспонденты «Поллярной звезды»** 314
 Ю. Григорьев. **Летопись жизни и творчества Лермонтова** 315
 Ю. Григорьев. **Библиотека А. Н. Островского** 321
 В. Г. Карасев. **Вук Караджич** 322
 Э. Павлова. **Новая книга о Михаиле Бакунине** 324
 И. Птушкина. **Очерки культурного прошлого Вятской земли** 325

СМЕСЬ

- М. С. Альтман. **Из истории имен, фамилий и прозвищ** 329
 И. В. Порох. **Тургенев и Милотин** 335
 Борис Челышев. **История одного рисунка**
 Б. Шоу. **Герберт Уэллс. Каким я знал его**. Перев. с англ. 337
 А. Парро, А. Вюрмсер. **Бальзак и дело Пейтеля**. Перев. с франц. 339
 Н. Натанов. **Николай Бестужев: портрет Рылова** 341
 О. А. Сайкин. **Н. А. Рубакин — народо-волец** 346
 Б. В. Смирнский. **Новелла о Лас-Казасе** 348
 А. П. Москаленко. **Последний либертадор** 349
 Г. Кессельбрэннер. **Казак Софоний в стране «десяти тысяч островов»** 351
 А. Левандовский. **Именем Орлеанской деви**
«Мои сапоги испортил вам суп». Исторические анекдоты. Перев. с франц. 357
Список иллюстраций 365

ПРОМЕТЕЙ

Историко-биографический альманах
серии «Жизнь замечательных людей».
Том второй. М., «Молодая гвардия».
1967 г., 368 с., с илл.

9

Редактор **Ю. Коротков**

Художники:

Б. Жутовский, Ю. Соболев, Э. Неизвестный.

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Л. Курькова**

A01132. Подп. к печ. 4/II 1967 г.
Бум. 70X90¹/₁₆. Печ. л. 23(26,91). Уч.-изд.
л. 33,5. Заказ 629. Тираж 100 000 экз.
Цена 1 р. 27 к. Т. П. 1966 г., № 434.

Типография «Красное знамя» изд-ва
«Молодая гвардия». Москва, А-30, Суще-
вская, 21.

